АЛЬБЕРТ ВАНДАЛЬ

НАПОЛЕОН
и
АЛЕКСАНДР I

ФРАНКО-РУССКИЙ СОЮЗ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ИМПЕРИИ

ТОМ

IV

РАЗРЫВ ФРАНКО-РУССКОГО СОЮЗА

Перевод с 6-го французского издания В.Шиловой С-Петербург, 1910 г.

ФЕНИКС
Ростов-на-Дону
1995

ББК 63.3
В 52

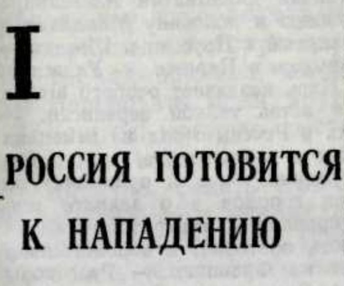
А. Вандаль.

В 52 Сочинение в четырех томах. **Наполеон и Александр I.** Том IV. Разрыв франко-русского союза. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс», 1995 г.— 608 стр.

ISBN 5—85880—233—8
ISBN 5—85880—237—0 (т. IV).

В $\frac{4700000000}{4МО(03)—95}$ БКК 63,3

ISBN 5—85880—233—8
ISBN 5—85880—237—0 (т. IV)



I

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К НАПАДЕНИЮ



Под покровом официально поддерживаемого союза Александр 1-й готовится к наступательной войне с Наполеоном. На какую обиду ссылается он. В чем истинная обида. — Тайное предложение варшавянам через князя Адама Чарторижского; Александр хочет восстановить Польшу ради своих собственных интересов и сделаться освободителем Европы. — Его поощряет картина всеобщего притеснения. — Обзор государств. — Герцогство Варшавское. — Позлащенная нищета. — Наполеон всюду восстановил против себя материальные интересы. — Пруссия: король, кабинет, партии, армия, настроение умов. — Швеция: первые шаги Бернадота в роли наследного принца; его характерные черты. — Король и два министра в роли главных руководителей. — Экономические интересы сближают Швецию с Англией. — Положение дел на Дунае; мир русских с Портой — дело недалекого будущего. — Австрия: император, императрица, общественное мнение, армия. — Огромное влияние салонов. — Коалиция женщин. — Влияние и обаяние русской колонии. — Меттерних боится навлечь на себя немилость салонов. — Православный император и австрийские славяне. — Французская Германия. — Вице-император. — Строгости блокады. — Возрастающее озлобление. Пробуждение и рост национального сознания. — Тайные общества. — Другие очаги агитации. — Александр приказывает собрать сведения о состоянии умов в Италии. — Франция: внешний блеск и внутренние недуги. — Экономический кризис. — Народ верен императору. — Наполеон по-прежнему владеет

народным воображением и подчиняет его силе своего обаяния. — Средние и высшие классы отдаляются от него. — Тайный заговор. — Испания. — Англия. — Александр замышляет сблизиться с нашими врагами на экономической почве. — Ответ Чарторижского, доставленный таинственным курьером. — Возражения князя Чарторижского; его недоверие. Он просит гарантий и ответа на свои вопросы. — Второе письмо Александра. — Царь обещает Польше автономию и конституционый образ правления. — Он подробно перечисляет свои военные силы. — Какими доводами пользуется он, чтобы убедить и обольстить поляков. — Первое условие, в зависимость от которого ставит он выступление в поход. — Усилия привлечь на свою сторону Австрию или, по крайней мере, добиться ее нейтралитета. — Тайная дипломатия Александра 1-го. — Он предлагает Австрии Валахию и половину Молдавии в обмен на Галицию. — Шаги, предпринятые в Пруссии и Швеции.— Подстрекательство Германии. — Чернышев в Париже. — Ухаживание за женщинами и шпионство. — Царь назначает особого агента состоять при Талейране. — Другая ветвь тайной переписки. — Охота за Жомини. — Проект создать в России отряд из немецких эмигрантов. — Интриги. — Он вводит в заблуждение герцога Виченцы насчет своих планов и вооружений. — Как принимает он известие о присоединении ганзейских городов и о захвате герцогства Ольденбургского. — Проектированный императором канал в Балтийское море. — Александр вновь повторяет и положительно утверждает, что никогда не нападет на Францию. — Разговоры в салонах. — Русское посольство во Франции. — Занятия князя Куракина вне дипломатической сферы. — Благодаря его ничтожеству его оставляют на посту. — Официальный протест по поводу герцогства Ольденбургского. — Враждебные нам влияния заключают союз с целью оказать давление на Александра. — Наши враги упорно преследуют в продолжение всего периода революции и империи один и тот же план. Они никогда не отказываются от надежды ниспровергнуть французское могущество и вернуть все, что отнял у них Наполеон.

I

В начале 1811 г. Александр I чуть было не двинулся в поход против Наполеона, вовсе не думая объявлять о расторжении союза, связывающего, в силу договора, судьбы Франции и России. По его мнению, оскорбительный ущерб, нанесенный его интересам и достоинству, и его неопровергнутые подозрения давали ему нравственное право напасть, когда ему будет угодно. Ущерб был вполне определенный, был нанесен грубо, пред лицом всего мира: то было присоединение к французской империи Ольденбурга, родового владения принца, состоявшего в близком родстве с русским императорским домом. Спора нет, этот не имевший никакого оправдания грабеж и оскорбительно-дерзкое, деспотически-пренебрежительное отношение к чужим интересам давали царю право открыть враждебные действия; но для того, чтобы решиться на такое рискованное предприятие, этого было слишком мало. Не из-за этого он позволил себе решиться на войну, а в силу укоренившегося в нем убеждения, что Наполеон, создав, а затем и усилив герцогство Варшавское, хочет сделать из него новую Польшу с тем, чтобы она стала центром тяготения для доставшихся России по тройному разделу провинций и, в конце концов, привела к отторжению их от России. Вот где таилась смертельная обида, тот глубоко скрытый предмет распри, та причина разлада, которую царь не хотел открыто высказать. «Истинная причина, из-за которой два человека готовы перерезать один другому горло, почти всегда бывает не та, которую выставляют на вид»[1],— писал Жозеф де Местр.

Конечно, видеть единственную причину страшной войны только в герцогстве Варшавском — значило бы умалять ее значение. И помимо герцогства причин было более, чем достаточно. Каждое новое событие в Европе, вызывая беспокойство Александра, создавало и новые причины к войне. Чудовищное развитие могущества Франции, непрерывное перемещение и расширение ее границ, захват Голландии и ганзейских городов, распространение владений империи до берегов Балтийского моря, цепи рабства, наложенные на Пруссию, возрастание требования континентальной блокады — все указывало на стремление к всемирному порабощению, противодействовать которому Александр считал своим долгом. На Севере авангардом непрерывно движущейся вперед Франции, ее головной колонной, отточенным острием ее копья, прикасавшимся к телу России и грозившим вонзиться в него, было герцогство Варшавское. Александр не вынес мучительного чувства этого прикосновения. Чтобы избавиться от гнетущей, постоянно ожидаемой опасности, он сам бросается в нее, и из опасения, чтобы Наполеон не переделал Польши ему во вред, сам хочет восстановить ее и использовать ради своих целей. Именно в этих видах он и обратился, без ведома канцлера, к князю Адаму Чарторижскому с просьбой передать, под большим секретом, варшавянам его предложение пересоздать их небольшое герцогство в соединенное с Россией королевство, при условии, что они присоединятся к двумстам

[1] Полное сочинение XI, 513.

тысячам русских, собранных тайком на границе, и вместе с ними бросятся на освобождение Европы.

После этого тайного предложения прошло несколько недель. За это время план его созрел и принял определенную форму. Все его поступки, все движения его войск основывались на гипотезе наступательной войны. Конечно, нужна была большая смелость, чтобы напасть на вечного победителя, на полководца, который сломил пять каолиций, и, победоносно покончив около двух лет тому назад с войнами на континенте, за исключением войны в Испании, впервые стал на твердую почву и достиг вершины своего могущества. Но Александру известно, что война в Испании с непримиримым и мстительным врагом поглощает большую часть боевых сил императора и что она вынудила его вывести часть войск из Германии. Александр знает, что в Германии, в первой линии, он встретит только сорок шесть тысяч французов, далее еще шестьдесят. Положим, Наполеону стоит только мигнуть, чтобы тридцать тысяч саксонцев, тридцать тысяч баварцев, двадцать тысяч вюртембержцев, пятнадцать тысяч вестфальцев «и другие немецкие войска»[1] присоединились к французам и чтобы со всех сторон горизонта сбежались к ним на помощь и другие войска. Всем известно, что в распоряжении Наполеона все регулярные армии от Эльбы до Таго, от Северного моря до Ионического; что у него заранее вычислено, сколько каждый народ должен выставить ему солдат. Но, когда Александр рассматривает главные элементы, из которых слагается это беспримерное в истории могущество, когда взоры его проникают за кулисы с виду покорной, лишенной воли Европы, он во многих местах замечает дошедшие до крайних пределов недовольство и склонность к восстанию, а это обещает ему союзников. Последовательно разбирая состояние государств, начиная от границ России вплоть до Атлантического океана, он всюду находит побудительные поводы отважиться на смелое дело.

В ближайшем, непосредственном соседстве с Россией лежит герцогство Варшавское. Это и есть то государство, куда прежде всего нужно направить таран

[1] Note des forces qui peuvent se trouver en présence, приложенная Александром к письму князю Адаму. Mémoires de Czartoryski, II, 251.

и где должна быть пробита первая брешь; но, с другой стороны, тут же встречается и главное препятствие. Конечно, дело не в материальных и военных затруднениях. Двумстам тысячам русских стоит сделать один шаг, чтобы силой завладеть герцогством, раздавить своей массой пятьдесят тысяч польских солдат. Крепости на Висле — допотопные укрепления; они беззащитны против современной артиллерии. Правда, с фланга прикрывает и может поддержать герцогство Данциг, но Наполеон сократил гарнизон этой крепости до полутора тысяч французов. Это нечто иное, как оставленный им на Севере отряд, своего рода часовой на ответственном опасном посту. И все-таки, сопротивление великого герцогства, как бы кратковременно оно ни было, задержало бы наступление; оно разрушило бы то моральное впечатление, на которое Александр рассчитывал при внезапном появлении в Германии. Вся суть была в том, чтобы преграда рухнула сама собой, как бы по волшебству, чтобы варшавяне сами стремительно бросились навстречу России и подали остальным нашим вассалам сигнал к восстанию. Но разве царю неизвестно, что в Варшаве все законы, все учреждения, все привычки, чувства, склонности — все пропитано французским духом; что там Наполеон царствует над сердцами, тогда как в других местах его господство основано на насилии, на лишении свободы; что население восторженно поклоняется ему и чтит в нем героя; что оно любит его не только за его благодеяния, но и в силу того, что явило ему столько доказательств своей преданности; что помимо всего этого, оно обожает его за то, что видит в нем избранного Провидением восстановителя национального единства? Возможно ли изменить в один миг, как бы по мановению волшебного жезла, символ веры четырех миллионов людей?

Александр не теряет надежды свершить это чудо. Он знает, что в Варшаве под внешним покровом единодушия кроется глубокий раскол, что русская партия не отказалась от борьбы и ведет подпольную работу. В ее рядах стоят люди, одно имя которых составляет силу. Разветвления этой партии встречаются в самых аристократических семьях, известных своей преданностью Франции. «В Польше,— пишет наш агент,— часто можно встретить полную противоположность в мнениях

между отцами и детьми»[1]. Может быть, думает царь, достаточно будет одной надежды на сильную внешнюю поддержку, чтобы изменить взаимное положение партий и переместить влияние.

Затем, можно было использовать бедственное финансовое положение варшавян. Этот до невозможности хвастливый народ, который, упершись рукою в бок, старается придать себе вид кутилы и рубаки, в сущности несчастнейший и беднейший из народов. Роскошная жизнь штабных военных, вплоть до их шитых золотом мундиров — ничто иное, как блестящая мишура, за которой скрывается нищета. В Варшаве все приносится в жертву армии, в особенности внешнему ее виду,— красоте и страсти к украшениям; обмундировка и содержание двух гусарских полков стоят в герцогстве столько же, сколько в другом месте обмундировка и содержание четырех[2]. С одной стороны, армия разоряет государство, с другой — отвратительно управляемое государство едва может прокормить войска; уплата жалованья задерживается до семи месяцев. Следующая причина бедности герцогства та, что оно — страна исключительно континентальная. Втиснутая между Россией, Пруссией и Австрией, она лишена тех выходов к морю, которыми пользовалась прежняя Польша. Дворянство, которому принадлежит земля, уже не может вывозить ни через Ригу, ни через Одессу продукты сельского хозяйства; оно лишено возможности вести в широких размерах торговлю хлебом. Источник его доходов исчез; магнаты, «торгующие зерном»[3], входят в неоплатные долги и, живя среди богатств, которых нельзя использовать, платят непосильные проценты. Всюду царят жестокая нужда и страшный недостаток в деньгах[4]. Если варшавяне и мирятся с этими печальными явлениями, то только потому, что видят в них переходное время, неизбежный путь к лучшим дням,

[1] Дипломатический агент Франции в Варшаве Биньон Шампаньи, 9 мая 1811 г. Все приводимые нами в этом томе выдержки из переписки наших заграничных агентов с министерством иностранных дел взяты из архивов министерства.

[2] Биньон Шампаньи, 23 июля 1811 г.

[3] Биньон Шампаньи, 27 апреля 1811 г.

[4] Переписка французского посланника в Варшаве, в 1811 и 1812 гг. Письма Даву и Раппа императору за тот же период времени; Archives nationales, AF. IV, 1653, 1654, 1655. Mémoires de Michel Oginski, II, 23—24.

когда Польша свободнее вздохнет в своих раздвинутых границах. Без денег и почти без хлеба, они, в полном смысле слова, живут одними надеждами. Несмотря на свой стоицизм, они находят свое положение крайне тяжелым; жалуются, что Наполеон медлит с исполнением их желаний и безжалостно долго заставляет их ждать, и император Александр не без основания думает, что, если он преподнесет полякам осуществление их мечты, да, сверх того, пообещает при новом режиме более обеспеченное существование, непостоянная, действующая по первому впечатлению нация не устоит перед его предложениями. Если их отпадение состоится, тогда сразу все упрощается. Благодаря их отпадению, линия Вислы окажется уже занятой, река перейденной, и русские, оставив направо от себя Данциг, без выстрелов вступят в Германию.

В Германии они сразу же найдут себе верного союзника и горячего соратника, ибо, перейдя Вислу, очутятся на прусской территории. Нигде гнет не чувствуется в такой степени, как в Пруссии. В течение четырех лет Наполеон держит Пруссию на дыбе. Он постоянно терзает ее политическими, военными, финансовыми и коммерческими требованиями. Помимо того, его подозревают в стремлении совсем уничтожить Пруссию, и подобные подозрения всюду в этой стране внедряют мысль о неизбежности борьбы за существование. Конечно, не нужно смешивать народ с правительством. Правительство малодушно и слабо. Королевы — вдохновительницы смелых решений — уже нет в живых. Она скончалась снедаемая скорбью, изнуренная горем, и ее безутешным слугам кажется, что, в лице их обожаемой, нравственно убитой королевы сошла в могилу сама родина. Король проводит дни свои в Потсдаме, погруженный в мрачное оцепенение. Сверхчеловеческие несчастия убили в нем всякое проявление личной воли, вследствие чего у подножия трона вспыхивает борьба политических партий. Канцлер Гарденберг ведет двусмысленную политику. Чтобы получить согласие Наполеона вернуться к власти, он принес повинную и сделался его покорнейшим слугой. В Совете нет недостатка в людях, стоящих за союз с победителем. Они настойчиво твердят, что необходимо раскаянием и покорностью заслужить благосклонность Наполеона. Король выслушивает их советы, но в душе по-прежнему остается верен России. Он ведет переписку с Александ-

ром, умоляет царя не покидать его, и иногда как бы обращается к нему за помощью. Конечно, можно опасаться, что в решительную минуту он станет колебаться, что его энергия ослабнет, но нация, думает Александр, проявит больше мужества, она заставит его действовать.

Нужно сказать, что тяжелые бедствия и непрерывные унижения способствовали развитию в Пруссии тайных обществ, благодаря неутомимой деятельности которых создалось направление общественных умов, сотканное из либеральных стремлений и патриотического злопамятства. Дошедшая до фанатизма ненависть к Франции соединяет все слои общества. С этих пор нация начинает думать, жить и действовать независимо от правительства. У нее есть свои старшие, свои коноводы: Шарнгорст, Гнейзенау, Блюхер и некоторые другие; они составляют в Берлине партию неустрашимых. Стоя у кормила власти, занимая важные административные и военные должности, поддерживая сношения с Петербургом, они только и ждут момента появления русских на Одере, чтобы вступить в ожесточенную борьбу с нерешительностью короля. Тогда, по всей вероятности, они возьмут верх над людьми, стремящимися возвести трусость в государственный закон.

Но в силах ли восставшая Германия оказать России существенную помощь? С первого взгляда можно было бы усомниться в этом. В самом деле, чего можно ждать от ампутированного, ослабевшего государства, из ран которого еще сочится кровь, которое истощено огромной контрибуцией победителю, окружено им со всех сторон и состоит под строгим надзором? На востоке Пруссию сдерживают и налагают на нее узду крепости на Одере: Штеттин, Кюстрин и Глогау, удержанные Наполеоном в виде залога и охраняемые французскими и польскими полками; с севера на нее давит занятый сильным отрядом французов Гамбург; на западе, взяв на прицеп Берлин, стоит Магдебург; еще далее к западу за Пруссией следят вестфальцы, на юге саксонцы; и те и другие смотрят на нее, как на свою будущую добычу. Сверх того, территория Пруссии изборождена и исполосована военными дорогами, по которым Франция оставила за собой право прохода для своих войск и по которым разъезжают французские патрули. Но, несмотря на сеть, которой опутана Пруссия, в ней безостановочно вводятся начатые Штейном административные и социальные реформы и заканчивается преобразование армии.

Бедствия Пруссии сокрушили, принизили короля, но не заставили его отречься от военных традиций своего дома. Они не отбили у него охоты к ремеслу его предков. Он остался королем-солдатом, влюбленным в свою армию, посвящающим ей все свои мысли и в этом его заслуга перед родиной. По недостатку денежных средств и во исполнение договора, ограничивающего его боевые силы до сорока двух тысяч, он вынужден был распустить большую часть своих войск, но сохранил кадры. Ремонт крепостей, пополнение вооружения и материальной части шли безостановочно. Уволенные из армии люди оставались в ведении правительства, которое знало, где их найти. Таким образом, несмотря на принятые Неполеоном меры, Пруссия сохраняла скрытую от его взоров армию прекрасно обученных солдат; рассеянная в народе, она могла явиться по первому зову. Затем система kvumpers, то есть очередной призыв молодежи, которая проводит несколько недель под знаменами, и после роспуска обязывается являться в известные сроки на учения, позволяла в случае надобности прибавить к наличному составу элемент, правда, сам по себе не особенно грозный, но который, будучи размещен по кадрам и имея опору в старых солдатах, мог храбро сражаться. Таким образом, прибегая к разного рода подтасовкам, действуя под прикрытием лжи и обмана, Пруссия получила возможность быстро собрать сто тысяч человек, и император Александр далек был от истины, определяя в пятьдесят тысяч количество пруссаков, которые тотчас же по вступлении русских, могли сражаться заодно с ними. Далее царь рассчитывал на народные восстания, на взрывы мятежа, которые должны возникнуть сами собой, на ополчение, над устройством которого работал Шарнгорст. Он думал, что французские гарнизоны на Одере, вкрапленные в восставшее население, не в силах будут помешать регулярным войскам соединиться с русскими; что наступательная армия, которая благодаря присоединению к ней поляков и пруссаков, дойдет до трехсот тысяч, поддержанная и

увлеченная воинственным пылом всего народа, может без выстрела дойти до Берлина[1].

Но этот смелый план может быть выполнен только при условии, если Россия обеспечит безопасность своих флангов, если ей не нужно будет бояться какой-нибудь диверсии на севере или на юге. На флангах обширной империи стоят два государства — Швеция и Турция. Царю необходимо устроить так, чтобы ни Швеция, ни Турция не двигались с места. Особенно важно для него вывести войска из недавно завоеванной и плохо ассимилированной Финляндии; важна уверенность, что Финляндия не подвергнется нападению со стороны Швеции в то время, когда она на Висле будет нуждаться во всех своих войсках. Был ли он настолько уверен в шведах, чтобы, положившись на их добросовестность, оставить без защиты отнятую у них провинцию? И если был — на чем основывалось его доверие?

В декабре 1810 г. Бернадот трижды дал честное слово — никогда не выступать против России. Его ненависть к Наполеону служила порукой его искренности. Но Бернадот не был неограниченным хозяином Швеции: не сумел сразу взять в руки бразды правления. Зимой 1811 г., вместо того, чтобы упрочить свое влияние в королевских советах, он был занят приобретением дешевой популярности. Он вызвал к себе жену с сыном и представил шведам в трогательной семейной картине всю совокупность их надежд. Каждый день делались приемы и ответные визиты, давались балы, вечера, на которых Бернадот благосклонно принимал знаки почтения и не пугался слишком большой лести. Когда в составленном льстецами списке выигранных им сражений наряду с другими был помещен и Аустерлиц, он ограничился только тем, что принял скромный вид[2]. Он много выезжал, делал смотры войскам, посещал провинции, путешествовал, показывая себя во всей красе.

[1] О положении Пруссии смотрите в особенности среди немецких сочинений: Haûsser, Deutsche Geschichte, III, 485—526. — Duncker, Aus der Zeit Friedrichs des Grossen und Friedrich — Wilhelms III, озаглавленной: Preussen während der französisichen Occupation; том II истории Scharnborst, Lehmann; Les Mémoires de Hardenberg, опубликованные Ranhe, V. Gf. Lefebvre, Histoire des cabinets de l'Europe, IV; переписка Пруссии хранится в архивах министерства иностранных дел; письма, донесения, всякого рода документы хранятся в национальных архивах, AF, IV, 1653—1656.

[2] Французский посланник Алькиер Шампаньи, 24 января 1811 г.

И нравился толпе своей представительной наружностью и чрезмерной добротой. К несчастью, он слишком много занимался своей особой, что подрывало его обаяние в глазах высших классов и отвлекало его от более серьезных занятий. Он без устали говорил и мало делал. В своем кабинете, куда всякому был открыт доступ, он всех выслушивал и не разбивал ничьих надежд. Алькиер пишет: «Его приемные дни — бесконечные аудиенции, во время которых он выслушивает целый поток фраз, относящихся ко всевозможным вопросам — к планам войны, к военным, финансовым, административным и полицейским реформам, с предложением которых являются к нему и о которых он говорит совершенно откровенно и с добротой, поистине бесконечной»[1]. Даже его манера быть приветливым приводит в смущение шведов высшего круга, привыкших видеть в своих принцах больше достоинства и сдержанности. «Например, у него дурная привычка: каждому, кто имеет честь приблизиться к нему, подавать и крепко жать руку»[2]. Когда ему делают замечание по поводу его неуместной фамильярности, он отвечает, что он от природы неисправимо любезен, откровенен и приветлив; что эта склонность — его наследственная семейная черта. «Я унаследовал это от матери»[3], — говорит он. Его друзья желали бы видеть в нем поменьше благосклонности — не для всех и без разбора, — побольше выдержки и сдержанности в обращении, побольше усердия к делам, а, главное, побольше твердости и решительности. Говорят, что он не сумел воспользоваться вызванным его приездом энтузиазмом, чтобы заставить всех уважать себя и слушаться; что он упустил случай сделаться главой Швеции и создать в ней власть.

За неимением истинной власти, где найти надежное влияние? С кем, помимо Бернадота, мог бы император Александр начать переговоры и сговориться? Король окончательно впал в детство; его речь — несвязный лепет; единственное, еще живущее в нем чувство, это чувство трепетного восхищения перед императором французов. Королева внушает всем отвращение и обесславлена на весь свет. Среди членов совета только двое пользуются доверием короля и распоряжаются этой ма-

[1] Алькиер Шампаньи, 18 января 1811 г.

[2] Id.

[3] Id.

шиной, способной только подписывать свое имя. Во-первых, генерал-адъютант Адлер Крейц, творец революции, возложившей корону на главу Карла XIII; во-вторых, его родственник, барон Энгестрем, глава министерства иностранных дел. «Он не вполне лишен ума, таланта и характера,— ядовито говорится о нем в одном донесении. — Но помимо уважения, которым пользуется у короля генерал-адъютант, порукой его прочного положения служит неспособность короля судить о бездарности своего министра, а также неспособность отказаться от столь дурного выбора. Для поддержания своего влияния Энгестрем пользуется средством, всегда верным при столь немощном старце. Оно состоит в неослабной угодливости и добровольном лакействе, которые простираются на все мелочи домашней жизни монарха. Кроме того, он обладает особой способностью, которая еще более сближает его с королем. Несчастный король до такой степени умственно ослабел, что без слез не может говорить даже о совершенно безразличных вещах. Министр плачет вместе с ним, ибо у него такая способность плакать, какой я ни у кого не видал. Это свойство, составляя полный контраст с его гигантским ростом и геркулесовским сложением, делает его смешным»[1]. — «Этому-то dunmviral'у, составленному из Энгестрема и Адлер Крейца,— прибавляет дипломат, у которого мы заимствуем эти характерные черты,— предоставил наследный принц власть, которая должна была бы находиться в его руках». По правде говоря, у самих министров, овладевших королем, только подобие власти. Они сделались прислужниками общественного мнения и идут за капризными вспышками этого «блуждающего огонька»[2]. Дурные стороны конституции, которая систематически сводила к нулю деятельность исполнительной власти, периодически повторяющиеся съезды, на которых открыто торгуют своей совестью, затем безобразия наглой, не стесняющейся в средствах прессы и распущенность всего админитративного механизма,— все это, предоставляя полную свободу наглому хозяйничанию партии, держит Швецию в положении узаконенной анархии.

В Швеции существует русская партия, состоящая,

[1] Алькиер Шампаньи, 18 января 1811 г.

[2] Слова, приведенные в сочинении M. Tegner, о бароне Армфельте III.

главным образом, из богатого, довольно влиятельного дворянства; но оно составляет меньшинство нации; у большинства же шведов сердце переполняется горечью при одном воспоминании о Финляндии. Они живут мечтой отвоевать ее обратно. Но это не смущает Александра; он основывает свою надежду на том, что материальные интересы — этот главный регулятор народных стремлений — все более разобщают Швецию с Наполеоном и сближают ее с его врагами. Он знает, что в Швеции влияние в руках дворянства и богатого купечества, то есть в руках двух или, вернее, одного класса, так как члены их часто заключают между собой брачные союзы, пользуются одинаковыми привилегиями, живут приблизительно на равной ноге и сознают общность своих интересов. Дворяне — крупные землевладельцы; их богатство заключается в лесах и рудах: чтобы вывозить за границу и продавать там лес, железо, медь, они нуждаются в торговом сословии; купечество же, увлекая за собой «занимающуюся торговлей аристократию», неудержимо стремится сблизиться с Англией — центром крупных дел и выгодных торговых сделок[1]. Объявление войны англичанам, вырванное Наполеоном у шведского правительства, было пустой комедией; но и этого было достаточно, чтобы возбудить волнение в народе и вызвать явно антифранцузское направление общественного мнения. Следовательно, думает Александр, с того момента, когда Россия сблизится с Англией, когда состоится между ними союз, вполне возможно, что шведы будут поддерживать добрые отношения с Россией из уважения и симпатии к Англии. Конечно, есть средство теперь же привлечь шведов на сторону России: это — указать им на Норвегию, как на компенсацию за Финляндию, предоставить им овладеть ею. Александр отступает еще перед этим решением, так как считает нужным щадить владелицу Норвегии Данию. Введенный в заблуждение некоторыми пристрастными отзывами, он думает, что этот неподкупный союзник Франции мечтает освободиться от тиранического покровительства императора. При подсчете боевых сил, которые царь считает возможным выставить против нас, он принимает в расчет тридцатитысячный датский корпус. Он думает, что, в худшем случае, Дания

[1] Алькиер Шампаньи, 18 января 1811 г. В этой депеше дается поразительная картина положения в Швеции.

будет держать себя спокойно и, подобно Швеции, не примет участия в войне; что оба эти государства будут взаимно сдерживать друг друга; что Скандинавский север или будет соблюдать нейтралитет, или присоединится к нему.

Иное положение было на другом фланге России — на Востоке. Там все еще тянулась война с турками — война вялая, нерешительная, то на одном, то на другом берегу Дуная. Конечно, Турецкая империя, истощенная людьми и деньгами, полурасчлененная непокорными, стремящимися к независимости, провинциальными пашами, не была способна к серьезной диверсии в нашу пользу, но все-таки она занимала часть русских войск, и Александр торопился развязаться с этим, если не опасным, то, во всяком случае, нежелательным врагом. Еще в 1808 г. начались переговоры, но были прерваны. С тех пор они неоднократно возобновлялись и прерывались. В описываемый момент они официально велись в Молдавии и секретно в Константинополе, где Поццо ди Борго усиленно работал, стараясь вовлечь английскую дипломатию в интересы России, и была некоторая доля вероятности, что в текущем году переговоры приведут к заключению мира. Конечно, Александр мог бы сейчас же примириться с турками, если бы согласился возвратить им Молдавию и Валахию, то есть ставку, из-за которой возгорелась война; но подобная жертва не входила в планы его политики. Правда, у него не было намерения присвоить себе целиком княжества, тем не менее, он упорно стремился отнять их у султана, имея в виду сделать из них предмет купли и обмена с Австрией.

Без явного или тайного содействия Австрии великое предприятие было бы делом рискованным. Углубляясь в Пруссию, русские подставили бы Австрии свой фланг; ее войскам достаточно было бы выйти из Богемии, чтобы напасть на зачинщика и нанести ему поражение. С 1810 г. отношение Австрии к Наполеону удивляло и скандализировало Европу. Император Франц выдал за него свою дочь. Меттерних прожил при нем пять месяцев, приятно проводя время в его обществе, и, по всей вероятности, вступил с ним в подозрительные сделки. По возвращении в Вену австрийский министр наотрез отказался от разговоров с представителями России и только что спровадил Шувалова и других лиц, явившихся к нему с предложениями. Но следовало ли, в силу этого, отчаиваться и отказаться от надежды выманить у Австрии согласие на предполагаемую комбинацию? Нельзя ли было, прибегнув к более сильным средствам, то есть предлагая ей обменять Галицию на территории, гораздо более ей полезные, имеющие для нее большее значение, втянуть ее в свое предприятие и добиться ее содействия восстановлению Польши?

Австрия не могла особенно дорожить Галицией. По венскому договору у нее отнята была лучшая ее часть. Оставшиеся за нею округа должны были неизбежно попасть в орбиту независимой Польши и рано или поздно присоединиться к ней. Таким образом, Галиция только тонкой нитью была прикреплена к Австрии. Откажется ли венский двор оборвать эту нить при условии, что ему будут предложены определенные верные и блестящие приобретения? Вот тут-то и можно было сделать превосходное употребление из княжеств. Александр решил удержать за собой только часть их, а именно: Бессарабию, то есть восточную опушку Молдавии, и немного более половины самой Молдавии, те территории, которые тянутся до реки Серета, левостороннего притока Дуная. Самый же большой кусок, состоящий из другой половины Молдавии и всей Валахии, предполагалось теперь же отдать императору Францу в уплату за его содействие, что не исключало безграничных надежд, которые счастливая война против Наполеона могла открыть честолюбивым стремлениям Австрии. Устоит ли Австрия против предложения такой сделки, если суметь вовремя пустить в ход все пружины политики и интриги?

Но помимо того, сколько еще других возможностей завладеть Австрией! В Вене нет единой, разумной воли, которая управляла бы государством; эту громоздкую машину движут и дергают во все стороны всякого рода влияния, страсти и предрассудки небольшого кружка высокопоставленых лиц. Император слаб, робок, ограниченного ума, прислушивается к нашептываниям состоящего при нем низшего персонала и поглощен мелочами. В то время, как его министры стараются так или иначе привести в порядок шаткое здание монархии, пересоздать администрацию и упрочить доверие народа, он забавляется пустяками или воображает, что восстанавливает финансы, урезая личные расходы и наво-

дя экономию на своем винном погребе[1]. В политике у него нет идей, а только жалобы, воспоминания, злопамятство. Несмотря на уважение, которое он из трусости оказывает супругу своей дочери, он «не теряет из виду ни Нидерландов, ни Милана, ни Германской империи, ни пышного титула Римского императора»[2]. Непрерывный рост французского могущества приводит его в ужас, и он повторяет слова, которые у всех на устах: «Где же будет этому конец?»[3]. Императрица Мария-Луиза-Беатриса д'Есте проводит время в обществе лиц, наиболее ожесточенных против Франции»[4]. Она вечно хворает, но, невзирая на это, постоянно взвинчена; она интригует, суетится, как будто чрезмерное напряжение нервов и свойство ее болезни требуют непрерывного движения. Исхудалой, но искусной рукой она неутомимо ткет женскую коалицию против Наполеона, увлечение которым, вызванное его браком с Марией-Луизой, уже прошло и при дворе, и в правительственных сферах, и в народе, ибо возлагавшиеся на это событие надежды не сбылись. Все ожидали прочных выгод, надеялись получить обратно провинции, а получили только знаки внимания вперемешку с властными требованиями, и последовавшее отсюда разочарование вызвало реакцию. В почти что восстановленной армии заметно возрождается прежняя ненависть; ее снова охватывает неугасшая надежда на реванш. В последнюю войну она была бита меньше обыкновенного; этого достаточно, чтобы внушить ей мысль, что она вышла из борьбы почти победителем. Послушать некоторых офицеров, так «эрцгерцог Карл упустил случай устроить свою главную квартиру в Сен-Клу и присоединить к Австрии Ломбардию, Эльзас и Лотарингию»[5]. В глазах солдат француз опять становится тем избранным врагом, с которым бы хотелось померяться силами и побить его. Когда офицеры спрашивают солдат: «Хотите воевать с русскими? — Нет,— отвечают они.— С пруссаками? — Нет.— С англичанами? — Нет. —С французами? О, да! Весьма охотно»[1].

Однако главную роль в направлении умов в Вене играют не армия, не широкая публика, не двор; не они внушают решения. Великая сила, пред которой все стушевывается и склоняется — высший свет. Это — комплот аристократов, к которому примыкает блестящая колония иностранцев. Никто не может избавиться от влияния светского общества, никто не может ускользнуть от власти правил приличия и тирании светских предрассудков. Представители австрийского правительства имеют много общего с салонами высшей аристократии; они также заняты нарядами, также развратны, также легкомысленны и спесивы. Ухаживание замешано во всем; дела ведутся под звуки оркестров, обсуждаются под прикрытием веера; в правительстве, как и во всяком хорошо поставленном салоне, главную роль играют и задают тон дамы. «Несмотря на безупречную жизнь монарха,— они пользуются большим влиянием, чем некогда в Версале»[2]. Одни руководят общественным мнением, пользуясь «обоянием своей красоты и искусством нравиться», другие — в силу приобретенного положения. Из-за рядов молодых, хорошеньких женщин выступает внушительный резерв вдов, «у которых, помимо воспоминаний о прежних подвигах, громкое имя, твердый характер и искусство создавать и ронять репутации»[3].

Нигде женщины не проклинают так Францию и ее правительство, как в Вене. Победы революционного народа затронули их интересы, подорвали их благосостояние, уязвили их гордость. Венские аристократки усматривают в этих победах не только свое несчастие, но даже своего рода неприличие. Они гордятся своей непримиримой враждой к Франции, ибо та забыла свое прошлое великосветской дамы и бросилась в объятия выскочки: ведь Бонапарт — человек не из общества. Наоборот, они любят Россию и идут за нею, ибо, вопервых, видят в ней борца за освобождение, носителя мести, во-вторых, русские в Вене, то есть группа лиц,

---

[1] Отто Маре, 3 июля 1811 г.: «Третьего дня он сказал одному придворному: «В моем погребе не найдется ни одной бутылки бургунского или шампанского».
[2] Id., 20 октября.
[3] Id., 9 января.
[4] Id., 14 апреля 1812 г.
[5] Отто Шампаньи, 2 февраля 1811 г. Передавая эти слова, Отто прибавляет: «Несколько дней тому назад генерал Кернен сказал мне: «Надо сознаться, что австрийская армия — первая армия в мире». — «Вы льстите нам, барон».

[1] Французский посланник в Саксонии барон Бургуэн Шампаньи, 29 сентября 1810 г.
[2] Отто Шампаньи, 24 июля 1811 г.
[3] Id., 2 февраля.

во главе которой стоит граф Разумовский, задают всему тон и дают самые блестящие балы. В городе, где двор редко показывается и ведет очень скромный образ жизни, где обедневшее дворянство помешано на удовольствиях, всегда открытый дом Разумовского, дом, «похожий на царский дворец»[1], затем салон княгини Багратион и салоны ее соперниц служат для общества притягательной силой и сборным пунктом. Русская партия занимает в Вене первое место и привлекает к себе всех обаянием своего блеска и своей неугомонной деятельностью.

Меттерних, несмотря на приписываемую ему слабость к Тюльерийскому двору, вынужден считаться с этими силами, и нельзя не удивляться, глядя как этот государственный человек, этот эквилибрист от дипломатии, никогда не теряя равновесия, склоняется то в ту, то в другую сторону, и сыплет обещаниями направо и налево. Он умеет, в известные часы дня, менять и место, и речь. Он то занят делами с Францией, то кокетничает с Россией. После утренних совещаний с представителем императора французов, графом Отто, он обедает у Разумовского. В то же утро рядом с кабинетом, где он дает аудиенции, он устраивает репетицию балета, который вечером дается у Разумовского и в котором главная роль предназначена его дочери. Димпломаты, приезжающие к нему для серьезных разговоров, не верят ушам своим, слыша несущиеся им навстречу мелодичные звуки скрипок или увлекательный ритм вальса[2]. Меттерних лично принимает участие в дивертисментах, устраиваемых русской колонией, и выступает в живых картинах. Правда, такое пустое времяпрепровождение вытекает у него из политического расчета, но и помимо того, желание и потребность вращаться в обществе и страсть к женщинам постоянно влекут его туда, где веселье и любовь. Отто сам признается, что его увещания будут забыты под взглядом княгини Багратион»[3]. При таких условиях, не говоря уже о доводах, которые могут повлиять на легкомысленного и всегда нуждающегося министра, устоит ли Меттерних перед влиянием светских кругов, когда они общими силами примутся убеждать его в ценности соблазнительной приманки, которую русский император имеет в виду поднести Австрии?

[1] Id., 30 января.
[2] Отто Шампаньи, 30 января и 2 февраля 1811 г.
[3] Отто Шампаньи, 6 февраля 1811 г. «Княгиня Багратион, — пишет наш посланник 2 февраля,— так горячо отдается политике, что была подругой трех министров иностранных дел».

Если Австрия не поддастся искушению, ее можно вынудить к бездействию застращиванием. Россия в состоянии нанести ей огромный вред: она может создать серьезные затруднения во внутренних ее делах. Вечно неладящие со своим государем венгерцы ищут для борьбы с австрийским произволом внешние точки опоры и обращают взоры свои на Север. Среди миллионов населяющих Австрию славян многие исповедуют греческую веру. Общность религии служит узами, связующими их с русским царем[1]. Как главе и покровителю православных Александру стоит только слово сказать, и в Австрии начнутся народные восстания и мятежи. Но вполне вероятно, что Австрия не доведет до применения столь крайних, непринятых между законными монархиями, приемов. Надо думать, что она предпочтет сговориться по-приятельски и согласится на предложенный ей обмен. Предполагая даже, что она не захочет сразу кинуться в новую коалицию, есть основание надеяться, что она, по меньшей мере, согласится соблюдать доброжелательный нейтралитет; что ее выстроенные на границах войска останутся спокойными зрителями, и будут стоять шпалерами на пути русских, когда те, ради освобождения Пруссии, ускоренным маршем пойдут через северную Германию на Эльбу.

Только на Эльбе покажется стоящий на страже французский корпус, центр которого опирается на Гамбург, правый фланг — на Магдебург и левый — на море. Это 1-й корпус, трехдивизионный корпус Даву, состоящий из пятнадцати пехотных полков, восьми кавалерийских и восьмидесяти орудий. За этой преградой из войск начинается собственно французская Германия. Во-первых: соединенные округа, то есть ганзейское побережье и примыкающие к нему королевство Жерома-Наполеона и герцогство Бергское — страны, управляемые непосредственно именем императора; во-вторых,

[1] «Даже в хижинах крестьян православного исповедания, — пишет Отто 17 июля 1811 г., — можно встретить образа св. Екатерины и св. Александра, пред которыми каждую субботу заботливо зажигают маленькую свечку или, в крайнем случае, лучину смолистого дерева».

беспорядочная группа вассальных владений и униженно покорных городов; далее к югу лежат наиболее важные государства Конфедерации: Бавария, Вюртемберг, герцогство Баденское — крупные лены Франции. В этих странах войска и государственные доходы находятся в руках повелителя; короли повинуются его дипломатическим агентам или военным командирам. Между Северным морем и Майном высшее начальство поручено Даву, недавно возвратившемуся в свою главную квартиру — Гамбург. Кроме первого корпуса, он командует тридцать вторым военным округом, в который входят и все присоединенные территории. Фактически он генерал-губернатор всех государств по правую сторону Рейна и вице-император Германии. Под его суровой, твердой рукой народы не смеют шелохнуться, но втихомолку составляют заговоры, ибо их страдания постоянно возрастают, и чаша терпения переполнилась.

Всюду, куда ни взглянешь, нужда и отсутствие деятельности. До сих пор Гамбург жил своей гаванью. Закрытие Эльбы разорило этот крупный торговый дом. Магазины или пусты, или переполнены ненужным товаром; конторы опустели; банки и кредитные учреждения с треском лопаются. Еще характерный симптом: число публикаций о продаже имений растет с каждым днем в правильной и безотрадной прогрессии, ибо нет желающих приобрести имения[1]. В других местах, как на побережье, так и в центральных частях — Вестфалии, Ганновере, Гессене и Саксонии — прекращение торговли, препятствия, поставленные обращению колониальных товаров, и масса запретительных постановлений остановили экономическую жизнь. Введенные повсюду для наблюдения за строгим выполнением блокады французские таможни и французский или подобный ему сыск терзают народы. Это нечто вроде новой инквизиции, которая наносит ущерб интересам частных лиц и опустошает их кошельки. У нее свои изысканные и жестокие приемы розысков, свои шпионы, доносчики, своя короткая расправа и свои аутодафе. Она устраивает костры то в Гамбурге, то во Франкфурте, и сжигает в огромном количестве подозрительные товары в присутствии жителей, приходящих в ужас при виде истребления стольких богатств.

---

[1] Бюллетени полиции, январь-март 1811 г. Archives nationales, AF, IV, 1513—1514.

Эти с трудом переносимые испытания ускорили возрождение национального духа. Германия проснулась от нестерпимой боли. Ее раны привели ее в чувство, вернули ей сознание своего единства. Теперь все ее усилия направлены на неустанное изучение, на выяснение происхождения и преданий населяющих ее народов; ее цель — объединить ее сынов общими преданиями и надеждами, создать нравственное единство нации, вдохнуть единый дух в общее отечество, а затем восстановить и его тело. Вот к чему сводится работа университетов, салонов, мыслящих и образованных кругов общества, задача литературы, философии, книги и журнала. Несмотря на строгий надзор, печать прославляет прошлое, дабы ярче выставить унижения настоящего. Пользуясь французскими формулами, она в замаскированных фразах провозглашает «единство и нераздельность Германии[1], и тот факт, что ее замаскированные воззвания распространяются от Берлина до Аугсбурга, от Альтоны до Нюренберга, доказывает, что ее чувство ненависти разделяется всеми, что оно всех объединяет. Возникшие в Пруссии тайные общества разветвляются далеко за ее пределы: они захватывают Саксонию и Вестфалию, поднимаются вверх по течению Рейна и проникают в Швабию. Они всюду разносят свою таинственную деятельность, условные знаки, символический язык своих формул и обрядов, задача которых возбудить мистический ужас к иностранцу, создать в Германии культ ненависти к Франции. Таким образом, умы подготовляются к идее о поголовном восстании. Конечно, как справедливо замечает русский агент[2], Германия никогда не будет Испанией. Эта рыхлая, неповоротливая и терпеливая нация не восстанет по собственному почину, не нападет на узурпатора в бешеном порыве, подобно сухой и горячей Испании. Этому мешают и ее темперамент, и свойство ее почвы. Германия не начнет сама, ее нужно подтолкнуть. Но нет сомнения, что, после соединения русской армии с прусской, попытки 1809 г. возобновятся с удвоенной силой, что возродятся и появятся во множестве разные Шилли и Брауншвейг-Оли; что они организуют шайки, чтобы тревожить фланги и тыл французской армии. Тогда вос-

---

[1] Отто Маре, 10 февраля 1811 г.
[2] Recueil de la Société imperiale d'histoire de Russie, XXI, 113—114.

стание разольется и распространится далеко по подземным ходам, проложенным тайными обществами[1].

Правительства, за исключением французских властей, в буквальном смысле этого слова вряд ли устоят против натиска народов. По-видимому, их покорность держится на волоске. На юге — в Мюнхене, Штутгарте, Карлсруэ — у королей и принцев все более изглаживаются воспоминания о благодеяниях императора, о расширении их владений; они желали бы поменьше территорий, но побольше независимости. Бесконечные, несносные требования и ужасная мысль опуститься мало-помалу «до роли французского префекта» могут каждую минуту довести их до отчаянных поступков. Среди этих государей, по крайней мере, один — баварский король — уже говорит, что нужно последовать примеру Людовика Голландского: бросить свой пост, покинуть государство, «бежать тайком»[2] и скрыться от человека, из-за которого ремесло короля становится невыносимым.

Недовольство не останавливается на границах Германии. По побережью оно распространяется на запад и с особенной силой сказывается в Голландии. Тут стойкий национализм, не желая умирать, борется за свое существование. На юге Германии долины Альп хранят очаг, пылающий ненавистью: это тот мужественный Тироль, у которого в 1809 г. были свои герои и мученики. Если наблюдатель перейдет Альпы и спустится в равнины Ломбардии, если он объедет ту Италию, которую еще недавно Наполеон приводил в восторг, он легко убедится, что энтузиазм уже потух, любовь угасла. Новая власть своей педантичной строгостью заставляет иногда жалеть об уничтоженных ею злоупотреблениях. Она чересчур давит на текущую жизнь, и этот гнет заслоняет собой ее созидательную, плодотворную работу — те семена будущего, которые

---

[1] О положении Германии см. кроме предыдущих сочинений о Пруссии, Kleinschmidt, Geschichte des Koenigreichs Westrhalen, 340—366; Rambaud, E'Allemarge sous Napoleon 1-er, 425—479; переписка Саксонии, Вестфалии, Баварии, Вюртемберга хранится в archives des affaires étrangères. Письма Даву и Раппа с приложениями хранятся в archives nationales AF, IV, 1653—1656 и представляют драгоценный источник сведений.

[2] Донесение французского агента Марсель де Серра, доставленное Даву 30 сентября 1810 г. Archives nationales, AF, IV, 1653. Cf. Les Memoires de Rapp, nouvelle edition, 154

она всюду сеет в стране. Осенью 1810 г. Александр приказал собрать сведения о состоянии умов в Италии[1]. На основании их он мог убедиться в непопулярности французского режима: в упорном нежелании платить налоги, в недовольстве, порождаемом континентальной системой, а главным образом, рекрутскими наборами, и в придачу ко всему этому, в негодовании верных католиков на монарха, сделавшегося тираном Папы, мучителем служителей алтаря. На окраине полуострова Мюрат возмущается против гнета и начинает посматривать в сторону Австрии: с его языка срываются неладные слова[2]. Во всей центральной Европе Наполеон потерял власть над сердцами; его неограченная, всеподавляющая власть непрочна; она опирается только на силу.

По ту сторону Италии и Германии, за блестящим но призрачным прикрытием, созданным из вассальных государств и присоединенных к ним округов, выступает сама Франция. На первый взгляд, эта возбуждающая удивление и ненависть Франция являет картину ни с чем не сравнимого блеска и силы. В ней, прежде всего, бросается в глаза нация, на диво дисциплинированная, превосходно упорядоченная, действующая как вышколенный, готовый на героические подвиги полк; затем администрация — исполнительная до пунктуальности, уверенная в себе, знающая, что не останется без поддержки; далее — великие учреждения; одни уже входят в плоть и кровь, другие начинают свою деятельность, третьи только намечены, но их величественные очертания уже рисуются на горизонте. Всюду ведутся работы, созидающие благо и величие государства. Правда, о частной инициативе нет и помину; но с высоты престола оказывается покровительство и поощрение талантам и самоотверженным деятелям, наукам и искусствам, равно как и ученым трудам по военному делу. Постоянно подстрекать и поддерживать соревнование — вот что сделалось главной задачей правительства. Общественная жизнь устроена наподобие громадного конкурса с раздачей денежных наград и знаков пальмовых ветвей, что возбуждает усердие к службе и желание отличиться.

---

[1] Archives de Saint-Pétersbourg.

[2] См. по поводу этого письмо, написанное 30 августа 1811 г. герцогом Бассано графу Отто. Archives des affaires étrangères, Vienne, 389.

Но за этой блестящей декорацией скрывается глухое недовольство и глубоко удрученное состояние. Франция страдает, и прежде всего в материальном отношении. Налоги непосильны и увеличиваются из года в год, распространяясь на все виды производства, в особенности на пищевые продукты. Но самый тяжелый налог — налог на кровь. Он истощает народонаселение, отнимая от него его жизнетворные силы. Торговля падает. В промышленности, мечтавшей вследствие прекращения английской конкуренции сделаться госпожой европейского рынка, действительно, на короткое время произошел страшный подъем; но затем перепроизводство и страсть к рискованным спекуляциям вызвали кризис. Теперь в Париже и в главных провинциальных городах банкротства следуют одно за другим; самые солидные торговые дома прекращают платежи. Это угнетает рынок и вызывает панику среди капиталистов[1]. Фабрики и крупные металлургические заводы закрывают свои мастерские. Лионская промышленность в отчаянном положении; в Авиньоне, в Рив-де-Жире боятся беспорядков; в Ниме, по донесениям полиции, тридцать тысяч безработных[2], а в скором времени и в предместье Сен-Антуан их наберется двадцать тысяч. Рядом с материальной нуждой идет моральный гнет. На мысль и на слово наложен запрет; всюду мертвая тишина. Из бояни подозрительной и придирчивой полиции, которая в излишнем недоверии и ложном усердии доходит до идиотизма, вся нация говорит шепотом. На этом фундаменте из недовольства и скорби высится ослепительное по своему блеску здание администрации и двора; во-первых, мир гражданских и военных чинов — жизнерадостный, блестящий, по горло засыпанный золотом, которое он в лихорадочной погоне за наслаждениями разбрасывает полными горстями; затем красота и блеск столицы — высшие государственные учреждения, идущие в постепенно возрастающем по значению порядке; еще выше сгруппированная вокруг трона старая и новая аристократия, и, в завершение, венец всего — император, теперь менее доступный, чем в прежние времена. Теперь он окружает себя людьми старого режима; любит, чтобы ему служили царедворцы по рождению, чтобы пред ним курили тонкий фимиам лести. Приписывая себе божественные свойства, он застывает в священных позах; отдаляется от всех окружающих и, подобно его мысли, одиноко носящейся в области его сверхчеловеческих планов, одиноким живет среди своего народа. Его возрастающая строгость, его деспотизм тирана и вечно омраченное чело всех отталкивают от него, всех настраивают против него. Близится время, когда один русский агент напишет: «Все его боятся, и никто его не любит»[1].

Эти продиктованные ненавистью слова в высшей степени несправедливы в применении ко всей нации. Несмотря ни на что, значительное большинство городских и сельских жителей остаются верны тому человеку, который предстал пред ними на другой день революции в роли великого умиротворителя, который сумел вызвать в них самые благородные инстинкты и сделать их сверхчеловеками. Простой народ остается верен тому, кто овладел им, кто очаровал и привел в восхищение его душу. Без Наполеона он не может представить себе ни настоящего, ни будущего. Он страдает из-за него, но не винит его в этом. Однако, нельзя сомневаться в том, что средние и высшие классы отдаляются от императора; что по мере того, как из памяти изглаживается время революции, они все меньше ценят благодеяния восстановленного им порядка и начинают сожалеть об изгнанной свободе. Их угнетает мысль, что церковный мир — это великое дело консулата — снова нарушен, что произвол развивается до невозможности, что он воскресает в тысяче видов. Вдвойне верно, что сверхъестественные удачи наводят их на тревожные мысли; они сознают, что жизнь их какой-то волшебный сон. Они живут под страхом неизбежного пробуждения, и уже наиболее ловкие и предусмотрительные подумывают о том, чтобы своевременной изменой подготовить себе будущее. Еще два с половиной года тому назад несколько вельмож составили против императора тайный заговор. Они готовы вос-

---

[1] О крахе 1811 г., см. Correspondance imperial (XXVIII, passim) и Memoires de Mollien III, 288—289, собрание Bulletins de police, archives nationales AF, IV, 1513 et suiv. Bulletin от 18 января 1811 г.: «Благоразумнейшие купцы боятся за будущее. Кризис дошел до того, что каждый день всякий банкир, благополучно доживший до четырех часов, восклицает: «Слава Богу! День прошел!»

[2] Bulletin от 16 марта.

---

[1] Recueil de la Société imperiale d'histoire de Russie. XXI, 271.

пользоваться первой внешней неудачей, первым народным бедствием, чтобы под шумок нанести предательский удар, кооторый бы ускорил падение пошатнувшегося колосса. Александру все это известно, ибо с 1809 г. то непосредственно, то через других, он поддерживает переписку с Талейраном, одним из главных двигателей интриги[1]. Он знает, что даже среди членов императорской семьи есть недовольные: в его секретной папке лежит письмо, которое написал ему король Людовик и которое по горечи нападок на императора превосходит самые едкие памфлеты[2]. По собранным сведениям, по перехваченным письмам ему известно, что образованные классы под сурдинку порицают правительство, что служебный персонал измучен, что народ устал, что все функции государственного организма ослаблены и истощены. Еще далее, позади сгибающейся под тяжестью своего собственного величия Франции, позади ее надорванного народа, он видит зубами вцепившуюся во Францию Испанию,— ту чудную, но ужасную Испанию, которая шаг за шагом отстаивает свою пропитанную кровью, заваленную трупами землю, свои превращенные в развалины города и опустевшие храмы; которая, сама выбиваясь из сил в этой ужасной войне, где только можно, по частям избивает оккупационные войска. Он знает, что у Наполеона в Испании пять армий, и что, все-таки, он не может справиться с ней. В завершение картины он видит на самой окраине полуострова, на юге Португалии — Веллеслея с его англичанами, который все еще борется, прикрывая Лиссабон и удерживая на месте Массена; он видит, что упорство Британии, засевшей в верхах Торрес-Ведраса, ставит предел бурному потоку французского нашествия.

Вся Европа, за исключением ее окраин, фактически в руках Наполеона, но океан — вне его власти. Близ берегов крейсирует английский флот и держит французские эскадры взаперти в их собственных портах. Установленной берлинским и миланским декретами блокаде Англия противопоставляет свою контр-блокаду и охватывает огромную империю враждебными морями. Преграждение Англии дотупа на континент — пустая фикция. Вопреки строгостям блокады, британские товары

[1] См. том II, ст. 18.
[2] Archives de Saint-Petersbourg.

непрерывно проникают в Европу через Север, через оставшуюся для них полуоткрытой Россию. Колониальные товары, единственным поставщиком которых сделалась Англия, принимаются в русских гаванях, лишь бы они ввозились американскими кораблями, хотя бы и нанятыми и приспособленными для этой цели англичанами. Одни из этих продуктов продаются на месте, другие провозятся через обширную империю. После того, как они как будто поглощаются и затериваются в России, они вдруг снова появляются на ее западной границе и вывозятся через Броды, обратившиеся в крупный центр контрабанды, а затем незаметным образом расходятся по Германии. Александр по-прежнему покровительствует запрещенной торговле и ее провозу. Более того, он намерен развить и упорядочить экономические сношения с Англией, ибо видит в этом единственное средство покончить с экономическим кризисом, от которого страдают его подданные, и, таким образом, вновь создать благосостояние своего народа. Будет ли война, нет ли, он решил уже, что, лишь только представится удобный случай, он откроет гавани английским кораблям и массовому ввозу британских произведений. С этих пор это намерение делается одной из его сокровенных мыслей[1].

Что же касается политического сближения с Лондоном, то царь не находит нужным ускорять его. Зачем преждевременно раскрывать свои карты, зачем спешить с нарушением официального мира и союза, когда и так между самыми деятельными партиями России и Англии существуют все данные для соглашения? И без этого во многих столицах представители царя, равно как и проживающие за границей русские, то есть члены того кочующего общества, которое расползлось по всем странам Европы, действуют заодно с тайными агентами Англии, которых та содержит при различных дворах; итак, их общий труд подготовляет элементы для шестой коалиции и служит для них связующим звеном. Конечно, страх, внушаемый Наполеоном, так велик, что может мешать деятельности этого сообщества. Все главы государств, все министры, толкующие о необходи-

[1] Это признание мы найдем в докладной записке, составленной графом Нессельроде вследствие разговора с императором Александром. Эта докладная записка приведена и разобрана нами в главе VIII.

мости восстания, дрожат при одном его взгляде. Как только он выступает на сцену, как только начинает браниться и угрожать, у них со страха делаются колики. Нужно сказать, что в этот исторический момент вся Европа представляла зрелище борьбы ненависти со страхом,— и, чтобы в то время с положительностью предсказать, какое из этих чувств возьмет верх, нужно было обладать большой смелостью. Тем не менее, Александр думает, что один быстро и смело нанесенный удар может разрушить обаяние непобедимости Наполеона; что он уничтожит создавшееся о его мощи представление и произведет в умах переворот, который приведет к всемирной войне; что Наполеон будет побежден в тот момент, когда все проникнутся уверенностью, что это возможно. Занятие великого герцогства, превращение этого верного стража Франции в ее недруга, разгром французских войск между Вислой и Эльбой и появление русских в центре Германии — все это может послужить наглядным доказательством такой возможности. Вот почему Александр, по собственному его выражению[1], «с живейшим нетерпением» ждет ответа Чарторижского, который откроет или закроет ему пути. Он надеется, более того — почти убежден, что, если ему удастся привлечь на свою сторону Польшу, отвлечь от Наполеона Австрию и окончательно изъять из-под его влияния Швецию, их громкая измена всех увлечет за собой; что тогда короли, министры, народы, армии — все восстанут против деспота, гнет которого сделался невыносимым для Европы, и все, без исключения, устремятся навстречу царю-освободителю.

II

В самом конце января из Пулав, поместья Чарторижских в герцогстве Варшавском, выехал переодетый агент и направился к русской границе. Избегая проезжих дорог и «находящихся под надзором мест»[2], он со всевозможными предосторожностями перебрался через границу и приехал в Гродно. Там он передал пакет городничему Ланскому. В пакете к городничему

[1] Письмо, помещенное в Mémoires de Czartoryski, II, 253.
[2] Memoires de Czartoryski, II, 270.

было вложено письмо, адресованное императору всея России; это и был ответ Чарторижского на первые предложения Александра. С соблюдением строжайшей тайны оно было доставлено в зимний дворец. Страх, внушаемый Наполеоном всем государям, вынуждая самых могущественных уподобляться ничтожнейшим, заставлял их замышлять восстание в глубочайшей тайне и делать из них заговорщиков[1].

Письмо Чарторижского было полно возражений. А между тем, дело шло о том самом проекте, к которому некогда сводились все его упования, который он поставил себе целью своей жизни. Согласно преданию, в 1805 г., во время пребывания Александра в Пулавах, Чарторижский и его родные бросились к ногам царя и на коленях умоляли его возвратить им родину. Но то было в 1805 г. В то время Польша, разделенная между тремя государствами, без сил, без надежды на чью-либо помощь, могла ждать своего возрождения только от великодушного и благородного порыва Александра, могла рассчитывать только на его милосердие. С тех пор дело круто изменилось: заря надежды на возрождение Польши вспыхнула на Западе; Наполеон коснулся ее своей рукой. Он наполовину вытащил ее из могилы и созданием герцогства положил начало полному ее восстановлению. При этих-то условиях, думал Чарторижский, вместо того, чтобы упрочить свою дальнейшую судьбу, не скомпрометируют ли ее жители герцогства Варшавского, отворачиваясь от Наполеона и идя навстречу предложениям России? Не будет ли отречение от Наполеона вызовом, брошенным Провидению? Сверх того, искренни ли предложения Александра? Следует ли смотреть на них, как на нечто солидное, устойчивое, а не как на обманчивую приманку — на средство, вызываемое потребностями данного момента? Даже допуская, что царю удастся победить Наполеона, сдержит ли он свои обещания после одержанной им победы? Все эти опасения Чарторижскоого сквозят в его недомолвках; чувствуется, что в нем происходит мучительная борьба патриотизма с чувством признательности. Когда он рассуждает, его мысли, его упования влекут его к Наполеону, но сердце рвется к Александру, живет рядом с ним.

[1] Ответ Чарторижскому и второе письмо Александра, из которых мы даем многочисленные выдержки, опубликованы в приложении к Memoires du prince Adam Czartoryski, II, 255—278.

Не отклоняя и не принимая целиком всего проекта, он обсуждает его. Он указывает, при каких, по его мнению, условиях, предприятие может сделаться менее безнадежным. В принципе, он не отвергает основной мысли Александра. Подчеркнув весьма естественные восторженные чувства привязанности варшавян к императору французов, он признается, что в их сердцах всякое чувство уступает место страстному желанию вернуть свою родину, при том безраздельную и жизнеспособную. Возможно, что они перейдут на сторону того, кто предложит им теперь же то, на что Наполеон позволяет им надеяться только в далеком будущем. Но необходимо, чтобы в них не было и тени сомнения относительно искренности и устойчивости этих предложений, чтобы они прониклись убеждением, что их желания будут удовлетворены вполне. Следовательно, недостаточно того, что император Александр пообещает и даже в принципе решит восстановить королевство; необходимо, чтобы государь сообщил, из чего будет состоять восстановленное королевство, каковы будут его будущее, его отношения к России; чтобы он принял на себя подробно и точно определенные обязательства, Чарторижский несколько раз возвращается к этой мысли в выражениях, показывающих упорное недоверие. Вполне сознавая, что герцогство может своей тяжестью склонить весы в сторону того или другого императора, он откровенно ставит условия и требует гарантий.

Он желает, чтобы русский император соблаговолил высказаться по трем пунктам, чтобы точно определил свои великодушные намерения. Во-первых, спрашивает он, расположен ли великодушный благодетель восстановить Польшу в том виде, как она была до раздела, со всеми ее провинциями? Гарантирует ли он полякам не только самоуправление под его верховной властью, но и политическую свободу и представительный и конституционный образ правления? Конституция 3 мая 1791 г., говорит он, «запечатлелась в их сердцах неизгладимыми чертами». Действительно, эта конституция служит показателем громадного усилия, какое сделала над собой Польша — ее стремления переродиться и уничтожить из ряда вон выходящие недостатки ее прежнего политического строя. Введением статута, устанавливавшего свободу и подавлявшего анархию, Польша доказала свое право на жизнь, и это было в ту самую

минуту, когда три участвовавших в дележе государства готовились нанести ей смертельный удар. Второй желаемой гарантией, очевидно, и было восстановление в силе конституции 3 мая. Наконец, третья гарантия состояла в необходимости обеспечить восстановленной Польше торговые рынки, т. е. такой экономический режим, который доставил бы изнуренному лишениями, обезличенному и изнемогающему народу некоторое материальное облегчение — возможность свободно дышать. При этих трех условиях можно надеяться, что варшавяне пожертвуют долгом благодарности ради высших интересов национального возрождения.

Предполагая, что желаемое соглашение состоится, все-таки успех предприятия останется гадательным, так как при его осуществлении придется столкнуться с человеком, обладающим гением и могуществом — с тем, кто уже пятнадцать лет держит в своих руках победу. Между перечисленными Александром шансами на успех, Чарторижский подчеркивает не один, который кажется ему сомнительным. Разве так легко внезапно напасть на Наполеона, так легко застать его врасплох. «Не притворяется ли он мертвым», не делается ли это умышленно, не ставит ли он западню своим врагам? Допуская, что «его летаргия» не притворна, можно ли довести дело до конца, не возбудив его внимания? Разве в распоряжении его посланника в России, генерала Коленкура, мало средств осведомления и надзора? Подумал ли император Александр, о том, чтобы принять меры предосторожности относительно Австрии; заручился ли он содействием этого необходимого сотрудника? Уверен ли он, что на поле сражения окажутся в наличности войска, показанные в донесениях генералов и администраторов? Оградил ли себя от всякого рода недочетов? «Мне так часто случалось видеть в России на бумаге сто тысяч человек, тогда как в наличности, по всеобщему признанию, было только шестьдесят!.. Точно ли рассчитаны время переходов, возможность оставить без войск угрожаемые места? Прибудут ли войска в срок к назначенному месту? Ваше Величество будет иметь дело с человеком, по отношению к которому ошибка не проходит безнаказанно».

Чарторижский не довольствуется простыми уверениями; ему хотелось, чтобы царь высказался определенно, чтобы он хорошо осведомил его о своих планах и сообщил достоверные данные. Он просит его об этом с

почтительной смелостью, обставляя свои вопросы комплиментами, выражениями трогательной благодарности и глубокого почтения. В заключение, он высказывает готовность при вышеуказанных им условиях послужить великой идее. Он непрочь поехать в Варшаву, повидаться с некоторыми лицами и, в ожидании новых указаний, осторожно прозондировать почву. Но последние строки его письма еще раз выдают его душевную тревогу; они показывают, что неожиданное доверие, которым его удостоили, скорее взволновало его, чем обрадовало. «Не могу,— говорит он,— выразить всего, что происходит во мне; сколько надежд, сколько опасений постоянно волнуют меня. Какое было бы счастье потрудиться ради освобождения стольких страждущих наций, ради счастья моей родины и во славу Вашего Величества! Какое счастье сделаться свидетелем того, как сольются воедино все эти многообразные интересы, которые, по-видимому, сама судьба поставила в вечное противоречие! Но часто мне кажется, что для того, чтобы это могло осуществиться, все это слишком хорошо, слишком большое счастье и, думается, что злому гению, заботящемуся только о том, чтобы разрушить слишком счастливые для человечества планы, удастся расстроить и этот план».

Несмотря на то, что в ответе Чарторижского было так мало обещающего, Александр все-таки не нашел повода приходить в отчаяние. Решение его слишком окрепло, чтобы отступать при первом же препятствии. Продумав день и две ночи, он снова берется за перо, пишет второе письмо Чарторижскому и высказывает в нем решимость идти вперед, если только ему не будет ясно указана несбыточность его надежд. «Третьего дня вечером, — пишет он, — получил я, дорогой друг, ваше интересное письмо от 18—30 января и спешу сейчас же ответить вам. Указанные в нем затруднения очень велики; с этим я согласен, но, так как большинство их я предвидел, и ввиду того, что последствия этого дела чрезвычайно велики, остановиться на полдороге было бы самым плохим решением».

Высказав это положение, он шаг за шагом разбирает возражения Чарторижского и старается их опровергнуть. Что же касается гарантий, он согласен на все. «Прокламации о восстановлении Польши,— говорит он,— должны идти в первую голову, и, конечно, с этого дела и должно начаться выполнение плана». В состав новой Польши войдут, помимо герцогства, отданные России по трем разделам провинции и даже, если возможно, австрийская Галиция; ее границами на востоке будут Двина, Березина и Днепр. Александр не боится щедрой рукой обкорнать границы России, чтобы дать место обширной, смело очерченной Польше. Он обещает ей полную автономию, отдельное правительство, армию и администрацию из уроженцев края. Не высказываясь в положительном смысле о конституции 3 мая, текст которой ему мало знаком, он обещает, «во всяком случае, либеральную конституцию — такую, которая может удовлетворить желание жителей». Связь с соседней империей будет носить характер личной унии. Смотря по месту, будут и права, и обязанности государя; самодержец в России — он будет конституционным королем в Варшаве.

Переходя к возможностям успеха, на которые позволительно надеяться в настоящее время в войне с Францией, Александр уверяет, что они основаны на верных, точных, отнюдь не на гадательных данных. В своем первом письме он ограничился словами: «С Божьей помощью нельзя сомневаться в успехе, ибо расчет на него основан не на надежде на равносильные Наполеону таланты, а единственно на недостатки имеющихся в его распоряжении войск и на раздражении против него умов повсюду в Германии». Тогда, давая подобие сравнительной таблицы, он выставил против ста пятидесяти тысяч французов и их союзников, которых Наполеон может с трудом собрать в Германии, двести тысяч русских, сто тридцать тысяч поляков, пруссаков и датчан, не принимая в расчет двухсот тысяч австрийцев, число которых он приводил на память. Во втором письме, так как Чарторижский не довольствуется общими данными, а просит подробных сведений, имеющих доказательную силу, он готов дать их. В нем Александр высказывается откровеннее и делает поучительные признания, доказывающие, до какой степени был разработан план нападения. С документами в руках он устанавливает, что не был вполне точен, беря круглым числом двести тысяч русских, что на самом деле у него, по точному подсчету, вполне готовых выступить в поход двести сорок тысяч пятьсот человек, да еще резерв в сто двадцать четыре тысячи. Он как бы пропускает мимо Чарторижского все три армии, поставленные им одна позади другой. Он разбивает их на составные части, вдается в подробно-

сти, определяет задачу каждой армии, и, отвечая на просьбу Чарторижского, говорит:

«Армия, которая должна оказать поддержку полякам и сражаться заодно с ними, вполне сорганизована и состоит из восьми пехотных дивизий по 10 тысяч человек в каждой, в полном составе: второй, третьей, четвертой, пятой, четырнадцатой, семнадцатой, двадцать третьей, и дивизии гренадер; затем четыре кавалерийских дивизии в 4000 лошадей каждая, а именно: дивизии первая, вторая, третья и вторая кирасирская, что в общем составляет 96000 человек; сверх того, 15 казачьих полков, что составляет 7500 лошадей; всего 106 500*.

Все, что находится не в строю, в счет не идет.

Эта армия будет поддержана другой, которая состоит из 11 пехотных дивизий: первой, седьмой, девятой, одиннадцатой, двенадцатой, пятнадцатой, восемнадцатой, двадцать четвертой, двадцать шестой, одной гренадерской, одной гвардейской и из четырех кавалерийских дивизий, а именно: четвертой, пятой, первой кирасирской и дивизии гвардейской кавалерии, сверх того, семнадцать казачьих полков. Итого 134 000 человек.

Наконец, третья армия, составленная из резервных батальонов и эскадронов, состоит из 44000 солдат, усиленных 80 000 рекрутов, вполне обмундированных и обучавшихся в местах сбора в продолжение нескольких месяцев».

Перечислив свои военные силы, царь раскрывает свой дипломатический план. Он открывает тайну маневра, посредством которого рассчитывает привлечь на свою сторону Австрию, или, по крайней мере, вынудить ее соблюдать нейтралитет. «Я решил,— говорит он, — предложить ей Валахию и Молдавию до р. Серет в обмен на Галицию». «Мне,— прибавляет он,— остается сказать еще о возникших у вас опасениях, чтобы Коленкур не проник в тайну, о которой идет речь. Проникнуть в нее невозможно, ибо даже канцлер[1] не знает о нашей переписке. Вопрос не раз обсуждался с ним, но я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что я уже действую в этом направлении». Что же касается военных приготовлений, то, предполагая, что Коленкур что-нибудь проведает о них, Александр намерен был придать им чисто оборонительный характер; сверх того, по его словам, он сумеет ослабить и скрыть их серьезное значение.

* Неправильно подведенная сумма 106500 дана в подлиннике (прим. перев.).

[1] Граф Румянцев, министр иностранных дел с 1807 г. и канцлер с 1809 г.

Итак, им все было предусмотрено, все обдумано и рассчитано: все шансы на успех были в его пользу. Теперь дело варшавян решить, хотят ли они допустить выполнение плана. Чтобы вырвать их согласие, Александр старается с математической точностью доказать им, что их собственная выгода требует бросить французское дело и действовать с ним заодно. С этой целью, в целом ряде сопоставлений «за» и «против», он разбирает две гипотезы: первую, когда солдаты и жители герцогства останутся верны Франции, и вторую, когда они примкнут к противной стороне.

В первом случае, их бездействие вынудит русских принять оборонительное положение. «В таком случае возможно, что Наполеон не захочет начать войны, по крайней мере, до тех пор, пока будет занят делами в Испании и пока большая часть его войск находится там. Тогда все останется по-старому и, следовательно, возрождение Польши будет отложено на более отдаленный и весьма неопределенный срок». Допуская же, что Наполеон возьмет инициативу враждебных действий на себя, что он провозгласит восстановление королевства, восстановление такого рода не будет полным, ибо ему придется еще отнять русско-польские провинции, находящиеся в настоящее время во владении России; а она будет защищать до последней капли крови. Следовательно, эти провинции и герцогство сделаются ареной яростной и опустошительной борьбы, которая обагрит их кровью, покроет развалинами, сделает из них место скорби. Войны примут еще более ожесточенный характер по смерти Наполеона, «ибо ведь он не вечен.— Какой источник бедствий для бедного человечества и для потомства!»

Теперь пусть предположат вторую гипотезу, пусть проследят за ее развитием. Быстрая перемена фронта варшавян даст русскому императору возможность действовать и опередить своего противника. Высказав с полной откровенностью, что при настоящем положении вещей он не перейдет первым в наступление, «не сделает этой ошибки», Александр прибавляет: но дело примет совсем иной оборот, если поляки захотят при-

соединиться ко мне. Подкрепленный 50 000 человек, которыми они меня ссудят, далее 50 000 пруссаков, которые тогда без риска могут присоединиться ко мне, и пользуясь психологическим переворотом, который вследствие этого неизбежно произойдет в Европе, я получу возможность без выстрела дойти до Одера». Следовательно, театр военных действий сразу же перенесется по ту сторону Польши. Возрождение польского народа совершится мгновенно, без потрясений, без ущерба для их территории. Таковыми, наверное, будут результаты союза двух славянских народов; к вероятным же результатам должно причислить полное ниспровержение французского владычества, освобождение всех народов и восстановление Европы, в которой Польша мирно займет свое место. Этой подвергавшейся столь жестоким испытаниям нации Александр дает надежду на спокойное и счастливое будущее, на возможность залечить свои раны, развить источники своих доходов и расцвести под защитой могущественной империи, которая будет ей покровительствовать, не притесняя ее. Он сгущает краски, стараясь представить возможно ярче создаваемую им картину. Но так как он не желает легкомысленно пускаться в предприятие, то за обещанные чудеса требует и для себя гарантий и залогов. Не имея уверенности, «будет ли иметь место вышеупомянутое сотрудничество поляков с русскими», он хочет получить на этот счет несомненные обеспечения и доказательства. Дело Чарторижского доставит ему таковые; он должен заручиться обещаниями, собрать подписи военных начальников и выдающихся лиц, которые по праву рождения или по службе стоят во главе нации. Подстрекая князя приступить к вербовке, Александр советует ему поступать осторожно под строжайшим секретом, избегая подозрений французской полиции. Его письмо оканчивается следующими сердечными словами: «Всем сердцем и всей душой ваш на всю жизнь. Прошу передать мои наилучшие пожелания вашим родителям, братьям и сестрам».

III

Обратившись вторично к Польше с предложениями, поставив ей свои условия, Александр начинает действовать на Австрию. Его способ действия в Вене напоминает бывший уже до него в употреблении знаменитый прием. Чувствуется, как будто вновь появляется на сцену тайная дипломатия Людовика XV, оставившая по себе столь пикантную память. Нужно сказать, что в продолжение известного периода своего царствования Людовик XV вел переписку со своими посланниками при разных дворах через старшего секретаря, Терсье, о котором ничего не знали его одураченные министры. Александр нашел своего Терсье в лице какого-то Кошелева, сенатора, состоявшего в министерстве иностранных дел. Этого-то чиновника он и избрал для передачи своему посольству в Австрии непосредственно от него, императора исходящих распоряжений и для получения ответов из Вены. В собственноручном письме к посланнику своему в Вене, графу Штакельбергу, он указывает на него, как на своего поверенного, и говорит: «Вы будете вести переписку непосредственно со мной, в случаях же, требующих особой осторожности, адресуйте ваши письма и посылки Кошелеву, который пользуется полным моим доверием. Канцлер не должен знать, о чем говорится в письмах»[1]. Александр, конечно, знал, что и канцлер Румянцев сознавал необходимость на случай войны с Францией вступить с Австрией в более близкие отношения, но ему было известно и то, что Румянцев, насколько это было в его силах, стремился избежать войны с Францией, что он отвергал самую идею о нападении, хотел придать соглашению с Веной чисто оборонительный характер и потому готов был удовольствоваться обеспеченным нейтралитетом. Вот где причина секретничания царя. Он хочет большего, чем его канцлер; он хочет идти дальше и решительнее своей официальной дипломатии.

11 февраля Румянцев с кажущегося одобрения царя препроводил Штакельбергу длинную инструкцию. В ней с душевной тревогой указывал он на возрастающее могущество Наполеона. По его мнению, единственное средство положить этому предел заключалось в том, чтобы Австрия обязалась не выступать против России в том случае, если бы России пришлось вести войну с Францией. Для воздействия на венский двор канцлер не считал целесообразным предлагать ему территории на нижнем Дунае. Настойчиво преследуя свою мечту на Востоке, престарелый государственный человек не

[1] Mémoires de Metternich, II, 419.

мог мириться с мыслью пожертвовать результатами, добытыми с таким трудом и так дорого оплаченными. Кроме того, не будучи поставлен в известность о проекте восстановления Польши, он не знал, что государю нужна будет Галиция, и что тот должен будет вознаградить теперешних владельцев этой провинции. Поэтому он счел достаточным подать Австрии надежду на возврат плородородных провинций в Италии и Германии в том случае, если Наполеон вызовет войну и будет побежден[1].

Совершенно иного содержания была контр-инструкция, которая «сплошь была написана рукой императора»[2] и которую император приказал отправить секретно в Вену, так, чтобы она не попала на глаза канцлеру[3]. В иносказательных, но достаточно ясных, выражениях Александр излагает в ней свой план относительно Польши и старается доказать, что в интересах Австрии согласится на него. Он рассуждает так: если не упредить императора Наполеона, он рано или поздно выскажется за полное восстановление Польши; следовательно, Австрия во всяком случае потеряет свои галицийские владения. Для нее целесообразнее пожертвовать ими для блага Европы, чем отдавать их в угоду деспоту, и гораздо выгоднее сговориться по поводу их с русским правительством, которое вознаградит ее в широких размерах. Это вознаграждение уже намечено: таковыми будут лучшие части княжеств Молдавии и Валахии. На этих основах может быть заключен договор. Он не повлечет за собой немедленного разрыва с Францией, тем не менее, в особой статье должно быть признано за Россией право определить время начала войны. Предлагая эту статью, Александр ясно выразил намерение удержать за собой право инициативы. Он старался добиться от Австрии обязательства, чтобы он ни предпринял, следовать за ним и повиноваться его сигналу[4].

Секретная инструкция была помечена 13-м февраля. Несколько дней спустя агент по тайной корреспонденции Кошелев имел откровенный разговор с посланником императора Франца в Петербурге, графом Сен-Жюльеном. От имени царя он отдавал в распоряжение Австрии Молдавию до р. Серет и всю Валахию с прибавкой всего, что пожелала бы присвоить себе Австрия в Сербии[1]. Эти положительные предложения были неопровержимой попыткой осуществить великий проект, так как подразумевалось, что следствием их будет уступка Австрией Галиции, а это было исполнением одного из обещаний, данных Чарторижскому.

Оставалось выполнить еще два предварительных условия, необходимых для успеха дела: убедить Пруссию решительно стать на сторону России и заручиться доброжелательным нейтралитетом Швеции. В январе русский посланник в Берлине Ливен приступил к выполнению данного ему поручения,— теснее сблизить оба двора[2]. В следующем месяце ему поручено было выбрать надежного человека, например, госпожу Фосс, обер-гофмейстерину двора, или адъютанта Врангеля для передачи королю Фридриху-Вильгельму секретного письма царя. В этом письме Александр приводит весьма сильные доводы в пользу «необходимости для Пруссии присоединиться к России, а не к Франции»[3].

От Швеции он не просил так много. Он хотел только подготовить ее к зрелищу великих событий, в которых не было ничего опасного для нее самой, но из которых она смогла извлечь выгоду. Не доверяя Бернадоту настолько, чтобы открыть ему свой проект, он позаботился только о том, чтобы в личной с ним переписке поддерживать расположение к себе принца, поощрять полунамеками и замаскированными предложениями его чувство ненависти к императору французов и возбуждать его честолюбие. Однажды, говоря о Наполеоне со шведским посланником Штедингом, он спросил его: «Вы замечаете, как изменилось к нему вознесшее его и поддерживавшее его до сих пор общественное мнение, как раздражены против него все умы, в особенности в Германии? Если его постигнут какие-нибудь неудачи, вы увидите, что он падет. За крупными успе-

---

[1] Martens. Traités de la Russie, III, 80. — Beer, Orientalische Politik Oesterreich's, 250.

[2] Martens, III, 79.

[3] Штакельберг сказал Меттерниху, что император Александр удалил бы канцлера, если бы этот шаг не был объявлением войны Франции. Memoires de Metternich, II, 418). Ввиду того, что Румянцев дал нам обязательства и был сторонником союза, оставление его в должности позволяло скрыть намерение порвать с Францией.

[4] Martens, III, 78—79.

[1] Beer, 250, по донесению Сен-Жюльена от 10—22 февраля 1811 г.

[2] Martens, Traités de la Russie aves les pussances étrangeres, VII, 16, et suiv.

[3] Id.

хами часто следуют большие невзгоды. Некогда из Швеции вышел Густав-Адольф, который сражался за освобождение Германии. Кто знает, не придет ли оттуда другой Густав-Адольф?»

Штединг ответил, что после постигших Швецию несчастий ей, прежде всего, необходимы покой и мир. Александр не захотел противоречить ему, но дал заметить, что всем заботящимся о своей независимости государствам грозит война с Наполеоном. После того он признался, что комплектует свою армию, подробно рассказал о своих приготовлениях, перечислил все шансы на успех; но затем, испугавшись, что, быть может, сказал слишком много, прибавил: «Впрочем, я вполне согласен с вами, что ничего не следует предпринимать опрометчиво, а следует сидеть смирно, пока это будет угодно Наполеону; но мне кажется, что нам, северянам, во всяком случае, выгоднее всего быть добрыми друзьями, и я прошу засвидетельствовать королю и наследному принцу, что таково мое истинное желание, и я все сделаю для этого»[1].

В государствах, официально присоединенных к Франции или подчиненных ее политической системе, можно было действовать против Наполеона только подпольными путями. На королей старались влиять через приближенных, на министров — через их жен, на власти — путем общественного мнения. Не в одном Берлине русский посланник окружает себя нашими врагами и сообщает им план действий. При второстепенных дворах Германии, в конфедеративных королевствах та же игра, то же подстрекательство. В Баварии, по рассказу одного путешественника, русский посланник Барятинский стал во главе «англо-русской партии, в которую вовлек госпожу Монжелас (жену первого министра). Тут стараются, говорит он, заронить в ум короля всевозможные подозрения о предполагаемых по отношению к нему намерениях Франции... Стараются убедить народ, что Бавария не особенно нуждается в союзе с Францией, и что под защитой России и Англии она может обойтись без всякой посторонней помощи»[2]. Прибегая к таким приемам, русские агенты действовали не

[1] Депеша Штединга от 10—30 января 1812 г. Archives du royaume de Suède. Часть донесений Штединга была опубликована в конце его Мемуаров.

[2] Предыдущее донесение Марселя де-Серра.

по оофициальным инструкциям своего двора, написанным под диктовку Румянцева и, по обыкновению, весьма благоразумным; напротив, они поддавались собственному вдохновению, своей закоренелой ненависти, и императору Александру, чтобы быть обслуженным сообразно его тайным желаниям, оставалось только предоставить им свободу действий. И то сказать, на то и был назначен Кошелев, чтобы, в случае надобности, поощрить их, чтобы подать сигнал правительствам, желающим стряхнуть с себя французское иго или оказать открытое сопротивление нашему оружию. Известно, что подготовка первых сношений русского государя с мятежными кортесами Кадикса была делом Кошелева; он же поощрял и сопротивление испанцев, подавая им надежду на крупную перемену[1].

Было бы делом невозможным найти ходы в главном центре французской мощи, в самом Париже? За спиной посла Куракина — этого манекена, покрытого нарядным костюмом, умственные способности которого под тяжестью лет, болезней слабели с каждым днем,— Александр имел тайного поверенного в делах, не обладавшего никаким званием в дипломатической иерархии. Это был тот самый молодой гвардейский полковник, граф Чернышев, который, как помнят, служил в 1809 и 1810 гг. посредником в личной переписке императоров и который тогда же начал заниматься во Франции шпионством. 4 января 1811 г., по исполнении двусмысленного поручения в Швеции, он снова явился в Париж под предлогом передачи императору письма русского государя, в действительности же, чтобы понавести справки и понаблюдать. В Париже он нашел целое агентство по собиранию сведений о военных делах, устроенное с давних пор секретарями русского посольства при участии

[1] В марте 1812 г. Александр признался шведу Левенхильму, «что он уже давно состоит в тайных сношениях с кортесами в Кадиксе». В то же время Левенхильм подметил другой факт тайной дипломатии и также указал на него в своей переписке: «По отъезде генерала Сухтелена (русского посла в Швеции) я узнал, что, вследствие недоверчивости императора, у него две инструкции: одна, написанная собственноручно императором, другая канцлером, который не знает о существовании первой». В большинстве «тайных переговоров» посредником служит одно и то же лицо. Однако, пользуясь Кошелевым, чтобы обманывать Румянцева, подозрительный монарх не вполне доверяет и самому Кошелеву. Депеша Левенхильма от 12 марта 1812 г. Archives du royaume de Suède.

презренных, купленных за деньги, низших служащих французской администрации. Чернышев имел в виду взять на себя заведование этим делом и расширить его, но это было немного позднее. В настоящее же время главным его занятием было шпионство в обществе. Он горячо отдался этому делу, хотя полиция, догадываясь о его роли, не спускала с него глаз.

Чернышев поселился в самом центре многолюдного и шумного Парижа, в меблированном отеле на улице Тетбу, в двух шагах от бульвара Тортони — места свиданий сплетников и праздношатающихся. Жил он скромно, на холостую ногу; прислуживал ему лакей немец и крепостной (moujik), который ходил за ним как тень. Чернышев много выезжал, поддерживал обширное знакомство, сумел втереться во все слои обощества и всюда занял прочное положение. Так как Париж всегда был падок до азиатов, всегда увлекался блестящими погремушками, то мода приглашать блестящего иностранца, чем тот с таким искусством пользовался во время своих предыдущих поездок, возросла еще более. Конечно, его манера держать себя была не высокой пробы. В этом чересчур нарядно одетом, завитом, прикрашенном и страшно надушенном молодом человеке было что-то неестественное, слащавое, что не допускало известной близости, тем не менее, его томные взгляды, его то заискивающее, то слишком вольное обращение по-прежнему доставляли ему успех у женщин. Его любовным похождениям не было числа, и, если верить молве, одна из принцесс императорской фамилии, красавица Полина Боргезе, далеко не была равнодушна к его ухаживаниям.

Обладая искусством разговаривать с женщинами, он умел заставлять их болтать и извлекал из их болтовни полезные сведения. Это было одним из главных его источников осведомления. Кроме того, он обладал замечательным чутьем и поразительно угадывал в свете и в высшей администрации людей с податливой совестью, у которых наша политическая неустойчивость извратила, а то и совсем уничтожила нравственное чувство — те элементы, которые сформировались из грязных отбросов революции и сумели выплыть на поверхность. Он вращался преимущественно среди них, затем посещал салоны иностранной колонии, куда сходилось порядочное число людей, служивших Франции или в силу необходимости, или из-за выгоды, но сердца ко-

торых не переменили родины. Члены дипломатического корпуса обходились с ним по-товарищески, и когда ему удавалось получить доступ в их рабочий кабинет, он с большим искусством «скашивал глаза» на лежавшие на столе бумаги и украдкой прочитывал некоторые отрывки из писем[1]. Сверх того, во время его махинаций в парижском обществе, его нередко видели в компании молодых людей, только что выпущенных из военных школ в полки; он старался сойтись с нашими будущими офицерами, старался снискать их дружбу и, таким образом, иметь возможность следить за всеми частями армии. Одним словом, в Париже он сделался оком царя — оком бдительным, нескромным, с острым и всепронизывающим взором. Помимо всего сказанного, это была правая рука русского государя, который пользовался им еще и для того, чтобы завязать более тесные отношения с людьми исключительного значения[2].

После того, как Талейран, явившись в Эрфурт к императору Александру, приветствовал в нем надежду Европы и вступил с ним в тайные сношения, царь счел полезным назначить в качестве представителя при этой мощной величине особое лицо. Эта роль выпала на долю секретаря русского посольства во Франции графа Нессельроде — молодого дипломата с большим будущим. Вскоре после свидания в Эрфурте Нессельроде явился к Талейрану и сказал ему буквально следующее: «Официально я состою при князе Куракине, но на самом деле я назначен состоять при вас. Я веду частную переписку с императором и принес вам от него письмо»[3]. С этих пор он постоянно виделся с Талейраном, получал от него ценные сведения о состоянии умов во Франции, равно как и о планах Наполеона, и без ведома своих прямых начальников передавал эти сведения государственному секретарю Сперанскому, который со-

[1] Он сам хвастается подобным подвигом в своем донесении от 10 мая 1811 г., t. XXI du Recueil de la Société imperiale d'histoire de Russie, p. 170. Все донесения Чернышева императору и канцлеру были опубликованы в этом томе.

[2] О проделках Чернышева см. особое дело, хранящееся в национальных архивах, F, 7, 6575, и изданные документы о процессе чиновника Мишеля и его сообщниках, Париж, 1812 г.

[3] Этот текст взят из ценного сочинения об Александре I, которое генерал Шильдер обещает в скором времени выпустить в свет. Сообщение об этом сочинении было любезно доставлено нам самим автором и Сергеем Татищевым.

общал их государю. Эта переписка была одной из ветвей тайной дипломатии.

В начале 1811 г. Александр счел нужным непосредственным обращением к Талейрану поощрить его с большим усердием собирать и доставлять сведения. Нессельроде состоял при Талейране в качестве посланника; Чернышев был назначен чрезвычайным послом. Ему поручено было передать князю Беневентскому собственноручное письмо императора Александра. Содержание этого письма не обнародовано; тем не менее известно, что Талейран был чрезвычайно польщен письмом и в знак признательности отплатил добрым советом. «Его светлость, — писал Чернышев, — беседовал со мной как истинный друг России, и в особенности подчеркнул свое желание, чтобы мы при теперешних обстоятельствах как можно скорее заключили мир с турками. Вопрос только в том, был ли он искренен»[1].

Чернышев имел тайные поручения и к некоторым из высших чинов главного штаба. Это он прошлой осенью, до отъезда Бернадота в Швецию, «через некоторых женщин»[2] довел до сведения маршала, что русский император благосклонно смотрит на его возвышение и относится к нему с особым уважением; этим он насадил первые семена сближения. Теперь он вел правильную осаду на одного генерала, швейцарца Жомини, большого знатока по отделу технических знаний, которого крайне неосторожно оскорбили целым рядом несправедливостей. Дело шло о том, чтобы похитить его у Франции, привлечь на русскую службу и таким образом хитростью лишить императора одного из самых ученых специалистов.

Когда Чернышев освобождался от своих операций во Франции, он переносил свои взоры на Германию, через которую неоднократно проезжал и которую изучил до тонкостей. Он мечтал использовать там недовольство отдельных лиц и задумал план, который намерен был представить на благоусмотрение императора Александра. Основная мысль его плана состояла в том, чтобы пригласить в Россию как можно больше находившихся не у дел немецких офицеров, страстно желавших сразиться с Наполеоном и жаждавших реванша. По его

[1] Донесение от 9—21 января 1811 г., цитированный том, 59.
[2] Алькиер Шампаньи, 18 января 1811 г., по признанию самого Бернадота.

мнению, их можно было бы набрать в тех странах, где они томились от безделья. Присоединив к ним другие космополитические элементы, можно было бы составить из них легион иностранцев на жалованье царя — отряд эмигрантов всякого происхождения, в некотором роде армию Конде*. Имелось в виду посадить в момент разрыва это войско на английские корабли и перевести с оружием, боевыми припасами и лошадьми в Гамбург или в Любек с тем, чтобы вызвать восстание в Германии. Чернышев вступил по этому делу в переписку с графом Вальмоденом — ганноверцем, бежавшим в Вену, человеком с головой и шпагой, готовым сражаться, где угодно, с кем угодно, только бы против Франции. Вальмоден сохранил в Германии многочисленные связи еще с 1809 г., когда он по поручению австрийцев занимался там подготовкой восстания. Теперь он предлагал предоставить в распоряжение России эти вполне приспособленные к делу агитации элементы. Его посредником с Чернышевым был некий барон Теттенборн[1]. Итак, повсюду были пущены в ход всевозможные интриги. Нити их переплетались во многих центрах и тянулись по всей Европе, поддерживаемые перепиской и поездками тайных агентов, с подпольной работой которых можно ознакомиться по некоторым выплывшим наружу данным. И сколько еще можно было бы раскрыть тайных сообществ и секретных соглашений, если бы в настоящее время было разрешено приподнять завесу и заглянуть в чужую душу! Словом, агенты всякого рода: и состоящие на службе, и добровольцы, лица надлежащим порядком уполномоченные, и получившие молчаливое одобрение, по приказаниям из Петербурга и упреждая таковые,— не покладая рук, возбуждают и поддерживают в народах раздражение против императора. Они подвергают искушению верность его генералов и министров, выведывают тайны его канцелярии, эксплуатируют ему во вред и чувства законного гнева, и преступные слабости людей, чувства священной ненависти и стремления, в которых стыдно сознаться. Все они, предвидя момент, когда императору придется стать ли-

* Принц Конде, происходящий из боковой ветви Бурбонов, собрал во время первой революции армию из эмигрантов, которая и называлась его именем. (Прим. перев.).
[1] Донесение Чернышева от 5—17 апреля 1811 г., цитированный том, 110—125.

цом к лицу с выступившими за пределы своих границ русскими войсками, изо всех сил стараются подготовить в тылу у него мятежи и всякого рода затруднения, стремятся опутать его интригами и окружить изменниками.

IV

Ради успеха колоссального заговора необходимо было хранить тайну до последнего дня и, обманывая Наполеона, поддерживать в нем душевное спокойствие и уверенность в безопасности. Скрыть проявлявшееся почти во всех частях Европы враждебное настроение русских дипломатов не было никакой возможности. Но так как оно всегда существовало и даже после свидания в Тильзите без стеснения проявлялось во внешних формах, то в этом не было ничего нового или имеющего особое значение. Александр сваливал эти странности на агентов, которые, говорил он, не знают своих обязанностей и по старой привычке держатся в оппозиции. В сношениях, которые поддерживались между императорами через их посольства, он старался быть, по крайней мере с виду, невозмутимо спокойным и весьма доброжелательным. Задавшись целью провести герцога Виченцы[1], он великолепно выполнял эту задачу, пользуясь знанием характера нашего посланника, которое он приобрел в течение многолетних дружеских с ним отношений. Имея за три года пребывания герцога достаточно времени, чтобы изучить его, он знал, что Коленкур соткан из усердия и беспредельной преданности; но ему не безызвестно было, что именно эти-то качества и застилали иногда его взоры, что его рыцарская душа с трудом верила в зло, а его благородное и любящее сердце охотно приписывало другим высокую честность, свойственную ему самому.

В декабре 1810 г., в дни, предшествующие обнародованию указа, убийственного для французской торговли в России, Коленкур был предметом усиленного внимания и предупредительности. На балу у императрицы-матери Александр особенно отличал его. Милостиво поговорив с ним, «он подозвал,— рассказывает посланник в своем донесении Наполеону,— проходившего мимо

[1] Как известно, Коленкур в 1808 г. получил титул герцога Виченцы.

графа Румянцева (Romanzof)[1]. Я хотел удалиться. Император сказал: «Останьтесь, генерал, посланник Франции никогда не будет лишним в нашем обществе». Разговор продолжался. Император был чрезвычайно весел и разговорчив. Так как разговор втроем, то с канцлером, то со мной, затянулся на весьма долгое время, то канцлер, видя, что поблизости стоят и наблюдают за нами австрийский посланник и еще несколько лиц, шутя, сказал, что у них будет неосязаемый материал для длинной, основанной на догадках депеши. Так как Сен-Жюльен в продолжение целого часа не сходил с места и очень внимательно прислушивался к разговору, я поддержал шутку, сказав, что между ними есть такие, которые так добросовестно зарабатывают свое жалованье, что лишают себя даже развлечений. Император горячо возобновил разговор и сказал чрезвычайно дружеским тоном, что ему доставит большое удовольствие, если убедятся, как он ценит союз с Вашим Величеством, и будут знать, что другого союза он не желает»[2].

Сенатское решение о присоединении ганзейского побережья, которым предрешалось присоединение Ольденбуга, сделалось известным в России в начале января. В день, когда пришло это известие, Коленкур обедал во дворце. «Знаете ли вы, что у вас прибавились новые округа?» — просто спросил его император. Коленкур хотел предупредить протест царя против совершившегося факта. Согласно данным ему инструкциям, он сделал попытку оправдать присоединение побережья представившейся императору необходимостью герметически закрыть английской торговле главные гавани Германии. К тому же, заметил он, такое расширение наших границ окажется в конце концов выгодным всему свету, а в особенности России. В присоединенных странах Франция намерена выполнить огромное дело международной пользы. Между Любеком и Гамбургом, по границе Гольцтинии, император намерен прорыть соединительный канал из Балтийского моря в Северное. Благодаря этому водному пути, корабли, выходящие из Балтийского моря или идущие в него, не должны оги-

[1] В цитируемых документах мы сохраняем правописание фамилии графа Румянцева.

[2] 116-е донесение, отправленное 17 января 1811 г. Все донесения Коленкура императору, цитируемые в этом томе, хранятся в Archives nationales, AF, IV, 1699.

бать Ютландского полуострова и Датского архипелага. Они избавятся от потери времени и опасности длинного обхода; торговля России с Западом, особенно с Францией, будет чрезвычайно облегчена[1]. «Конечно, не Россия порвет дружеские отношения между обеими странами»[2], — только и сказал на это Александр.

Несколько дней спустя царь из достоверных источников узнал о захвате Ольденбурга. Предложив сперва царствующему принцу на выбор сохранить свои владения, при условии включения в состав империи, или же взять взамен Ольденбурга Эрфурт, Наполеон вслед за тем бесцеремонно предрешил его волю. Наши войска заняли Ольденбург, устранив администрацию герцога. На этот раз неслыханное нарушение законных прав не позволяло царю хранить молчание: его честь была затронута и требовала протеста. Он сделал это откровенно, в чрезвычайно корректных, полных достоинства выражениях, но в заключение сумел придать своим жалобам миролюбивый характер. Только что сделано покушение на тильзитский договор, сказал он, на статью, по которой немецким принцам, состоящим в родстве с русской императорской фамилией, возвращены их владения. Зачем этот акт произвола? К чему это грубое, ничем не вызванное насилие? «Очевидно, это сделано с намерением нанести оскорбление России. Может быть, даже для того, чтобы вынудить меня стать на другую дорогу? Ошибаются, события, не менее неприятные для моей империи, не заставили меня отклониться от союза и моих принципов. И этот случай не заставит меня уклониться с прямого пути. Если спокойствие мира будет нарушено, меня нельзя будет обвинить в этом, ибо я сделал и сделаю все, чтобы сохранить его»[3].

Нанесенное ему оскорбление обязывало его к некоторой холодности в обращении с французским посланником. В продолжение пятнадцати дней он не приглашал его к обеду. По прошествии этого времени он нашел, что изгнание продолжалось достаточно долго и что он может, не роняя своего достоинства, возобновить с Коленкуром близкие и дружеские отношения, что давало ему возможность лучше скрывать свои планы.

[1] Шампаньи Коленкуру, 14 декабря 1810 г.
[2] 119-е донесение Коленкура, отправленное 17 января.
[3] 120-е донесение Коленкура, отправленное 27 января.

Посланник снова появился во дворце и, как и раньше, часто присутствовал за императорским столом в качестве постоянного гостя. За обедом Александр с большим интересом говорил о Франции, наводя разговор на Париж, на его украшения; он говорил, «что по описаниям так хорошо знаком со зданиями, что, если бы когда-нибудь ему пришлось поехать в Париж, он не заблудился бы в нем». После обеда он увел посланника в свой кабинет. Тут он стал кротко жаловаться. Он проводил параллель между поступками, жертвой которых сделался, со своим собственным поведением, которому хотел неизменно следовать и впредь. «Не я буду нарушителем договора в чем бы то ни было,— сказал он.— Не я пойду против континентальной системы. Если император Наполеон подступит к моим границам, иначе говоря, пожелает войны, он добьется войны, но без всякого повода жаловаться на Россию. Первый сделанный им пушечный выстрел найдет меня столь же верным союзу, столь же далеким от Англии, как и три года тому назад. В этом даю вам мое слово, генерал. Если он хочет пожертвовать истинными выгодами союза и спокойствием мира ради иных расчетов, которые, конечно, не стоят этих выгод, мы будем защищаться, и он увидит, что преданность России делу континента обусловливается отнюдь не слабостью, а желанием охранять всюду спокойствие, равно как и общие интересы; к этой цели я и теперь еще стремлюсь»[1].

Немного времени спустя, он снова утверждал, что «если мы нарушим мир, то не он подаст этому повод и что Европе не придется упрекать его в нарушении его обязательств и в измене делу континента». В другом разговоре он высказался еще определеннее, еще яснее. «Передайте императору, — сказал он, — что я всегда буду предан ему и союзу, если и он будет предан союзу и мне. Передайте же ему, что не русские хотят войны, не они хотят идти на Париж, ибо не они подвигаются вперед, не они вышли из своих границ. Мы хотим только мира и покоя, и если император, как он уверяет, не пойдет на нас, он может рассчитывать, что мир не будет нарушен, ибо я не выйду из своих границ и до последней минуты буду верен моим обязательствам»[2].

[1] 121-е донесение Коленкура, отправленное 4 февраля.
[2] 123-е донесение, отправленное 10 февраля.

Что же касается обид, на которые ссылалась Франция, он видел в этом простые придирки. По его словам, указ от 31 декабря 1810 г., на который так горячо жаловался Коленкур, был мерой чисто внутреннего характера, против которого ничего нельзя сказать. Это нечто вроде закона против роскоши, задачей которого было помешать русскому дворянству разоряться на покупки иностранных изделий. Необходимо было сделать что-нибудь, чтобы деньги частных лиц не уходили за границу. Да и вообще Россия сделала только то, что вправе делать, что принимать в видах предосторожности, известные меры для своей обороны не только ее право, но даже обязанность, раз она видит, что Наполеон по соседству с нею поддерживает польскую агитацию и провозит через Германию в Варшаву ящики с ружьями. Александр не отрицал, что ввиду этих угроз он приказал укрепить линии Двины и Днепра, но при этом указал, что эти укрепления так же далеки от границы, как Париж от Страсбурга. «Если бы император стал укреплять Париж, было ли бы основательно обвинение его в том, что он воздвигает укрепления с целью нападения?»[1] — сказал он.

Коснувшись как-то усиленной деятельности военного министерства, царь сказал, что в этом следует видеть работу, имеющую целью преобразовать некоторые корпуса, не увеличивая их наличного состава. После того, как он признался шведскому посланнику, что создал тринадцать новых полков, он клялся Коленкуру, «что ряды его войск не увеличились ни на один штык»[2]. Он постоянно возвращался к своей излюбленной теме: «Если в конце концов придется от него защищаться,— говорил он,— мы, скрепя сердце, будем сражаться; но все русские, начиная с меня, готовы будут умереть с оружием в руках ради защиты своей независимости. Я не перестану повторять, что только от императора зависит, чтобы опять дела пошли по-старому, ибо здесь ничто не изменилось и все по-прежнему желают жить в добром согласии с соседями и в особенности в союзе с вами»[3].

С этих пор Александр уже не довольствовался тем,

[1] 129-е донесение, отправленное 21 марта.

[2] Депеша Штединга, 30 января 1811 г., архивы Стокгольма и 125-е донесение Коленкура, отправленное 4 марта.

[3] 123-е донесение, отправленное 10 февраля.

что время от времени повторял свои уверения; он сделал их постоянным и главным предметом своих разговоров с посланником. Он возобновлял их при каждой встрече, при всяком удобном случае. В течение нескольких недель он повторил их счетом не менее 12 раз, и всякий раз это был поток изысканно-выразительных, образных и сильных фраз, всякий раз — трогательное выражение лица, медовые речи и неподражаемая прелесть в жестах и дикции.

Коленкур не в силах был противостоять чарующим звукам голоса, обладатель которого умел сочинять на один и тот же мотив бесконечные вариации. Он верил словам, которые с невыразимо прелестной улыбкой расточал перед ним Александр. Он не замечал, что верхняя часть лица царя, помимо его воли, не отвечала выражению его губ; что голубые, лишенные блеска глаза никогда не улыбались, не смотрели доверчиво; что упорный, почти страшный по своей неподвижности взор никогда не останавливался на собеседнике, а как бы уходил в созерцание таинственного призрака[1]. Итак, мы видим, что Александр с каким-то безотчетным, болезненно тревожным чувством отдался во власть великого плана, к которому привели его страх и другие чувства, имевшие более чем законные основания. Он увлекся проектом, который отвечал и его глубокому недоверию, и благороднейшим свойствам его характера и примирял его честолюбивые стремления с величием его души. И в то самое время, когда он более всего был занят этим проектом, он говорил, что у него нет задней мысли; что его политика вся, как на ладони; что никто более него не питает такого отвращения к окольным путям, к извилистым тропам. «Я ничего не скрываю, генерал, да мне и нечего скрывать»[2], повторял он до пресыщения. Но именно эта-то настойчивость и должна была обратить на себя внимание посланника, заставить его быть настороже: не следовало доверять тому, кто при всяком удобном случае хвастался своим прямодушием и искренностью.

Чтобы вернее водить за нос Коленкура, Александр ничего не имел против того, чтобы прослыть одураченным. Он позволял наиболее горячим головам из высшего света говорить, что его терпение и слепота превос-

[1] Mémoires de la comtesse Trembicka, I, 261.

[2] 121-е донесение Коленкура, отправленное 4 марта.

ходят всякие границы; что он все проспит и подготовит себе печальное пробуждение. В салонах на перерыве говорилось: чего еще ему надо, чтобы открыть глаза на намерения Наполеона; чего еще ждет он, чтобы отказаться от вероломного союза и ответить на просьбы Англии, на ее предложения содействия? — «Видно, нужно, чтобы французское ядро шлепнулось в Неву, чтобы этот упрямец император и дурак канцлер поняли, что можно спастись только с помощью Англии»[1]. Александр не особенно огорчался такими словами и находил, что они для него выгодны. По его приказанию лица, близко стоявшие к правительству, высказывались в сдержанных, осторожных и примирительных выражениях. Распространявшиеся по временам слухи о войне не находили ни малейшего отклика ни во дворце, ни в канцелярии канцлера. Дойдя до этих мест, заботливо лишенных малейшего резонанса, как бы законопаченных, они замирали и прекращались.

Речь русской миссии в Париже соответствовала этим предосторожностям. Чернышев, присланный в качестве доверительного агента, на диво понимал намерения своего государя и удивительно умел служить им. Он непоколебимо верил в необходимость упредить противника, и, тем не менее, постоянно говорил Наполеону, что неизменное желание Его Величества русского императора — «сохранять и все более скреплять существующие между империями союз и дружбу..; что Его Величество твердо решил по-прежнему поддерживать континентальную систему»[2]. Что же касается Куракина, то, очевидно, нашли излишним посвящать его в тайну или предписывать ему быть осторожным. Для того, чтобы он не возбудил внимания смелыми речами, нужно было только предоставить его миролюбивым склонностям и беспробудной лени.

Парижская хроника, доходившая до Петербурга путем письменных сообщений, занималась еще Куракиным, но говорила, что он все более ограничивает круг своих обязанностей почетной стороной дела, что он попрежнему забавляет общество доходящей до смешного пышностью, которой обставляет свои самые ничтожные

[1] Feuille de Wouvelles et Ondit, приложенные Коленкуром к депеше от 27 марта.

[2] Донесение от 9—21 января 1811 г. (число восстановлено), цитируемый том, 54.

действия, своим пристрастием ко всем мелочам этикета, своим огромным и наивным тщеславием и манией при всяком случае писать на заказ с себя портреты во весь рост, среди атрибутов и эмблем, которые должны служить символами его дипломатических подвигов. В промежутках между припадками подагры, он присутствовал на приемах и балах, разыгрывал роль мецената, посещал мастерские художников, путался во французской комедии и «разбирал ссоры между мадемуазель Бургонь и мадемуазель Вольней из-за ролей одного и того же амплуа, которые они оспаривали друг у друга»[1]. Остаток его времени поглощался надзором за составом посольства. Он управлял им, как глава семьи: был со своими подчиненными то груб, то отечески нежен; делал вид, что относится очень строго к правилам нравственности, не подавая сам примера; разносил молодых секретарей, которые слишком увлекались удовольствиями Парижа, и кончал тем, что платил за них долги[2]. Видя, как он занят подобными обязанностями, кто бы в Париже мог подумать, что двор, представителем которого состоит такой добродушный посланник, замышляет недоброе, что он питает наступательные планы? Престарелый князь был неоценим, уже в силу своего ничтожества. Этого золоченого манекена, с блаженно улыбающимся лицом, эту украшенную драгоценностями и отличиями куклу поставили перед французским правительством только для того, чтобы за нею с большим удобством скрывать свои замыслы и махинации. «Куракин — выживший из ума старик, — отозвался о нем при всех Александр, желавший, чтобы его слова дошли до герцога Виченцы, — но император Наполеон знает, что он сторонник союза. Пошли я другого на его место, император Наполеон подумает, что тот будет хитрить. А так как мои намерения прямодушны, то я предпочитаю дурака, поведение которого не может возбудить никаких подозрений, умному, который мог бы возбудить таковые»[3].

Однако, так как обязанность делать официальные представления, т. е. передавать ноты русского кабинета французскому, лежала на Куракине, нашли нужным завести эту машину на тему об Ольденбурге. Александр

[1] Nouvelles et Ondit de Petersbourg, отправленное 4 марта 1811 г.

[2] Bulletins de police. Archives nationales, F, 7, 3719.

[3] Feuille de Nouvelles et Ondit, отправленное 27 марта.

желал, чтобы от его протеста остался письменный след. Сперва Куракину дали поручение повидать министра иностраных дел и выразить протест на словах. Шампаньи, вынужденный защищать дело, которому не было оправданий, был в весьма затруднительном положении. Он уверял, что с герцогом Ольденбургским обошлись крайне милостиво, так как ему, вместо простого присоединения его владений, как это было с его соседями, был предложен обмен. Чтобы покончить разговор, Шампаньи сослался на политическую необходимость и государственную пользу. Он сказал, что Наполеон, в качестве преемника Карла Великого, имеет права верховной власти над всеми германскими землями и может распределять их сообразно своим глубоким предначертаниям. Ввиду такого довода русское правительство предписало Куракину вручить ноту с протестом, составленную в чрезвычайно умеренных выражениях. Шампаньи, по приказанию Наполеона, отказался принять ее, и между посланником и министром произошла курьезная сцена. Куракин употреблял все усилия, чтобы Шампаньи принял пакет, вскрыл его и прочел бумагу; Шампаньи с не меньшей энергией отталкивал пакет и не хотел дотронуться до него. Устав бороться, Куракин кончил тем, что оставил запечатанный конверт на министерском столе[1]. После этого русский двор нашел целесообразным сообщить протест всем государствам и дать ему огласку на всю Европу. Для него это было средством заявить о своем праве и указать на уверенность, с какой он отстаивал его.

В ноте говорилось, что управление герцогства Ольденбургского не могло свершиться «без оскорбления чувства справедливости», без посягательства на неоспоримые права России; что Россия смотрит на герцогство, как на неприкосновенную собственность. После таких сильных фраз, в ноте с протестом резко менялся тон и все заканчивалось восхвалением союза[2]. Составленный в таких выражениях документ имел двоякую цель: смотря по обстоятельствам, он мог служить предлогом и к разрыву, и к переговорам. В случае, если император Александр заручится преданностью поляков и приведет в исполнение свой наступательный план, предварительное заявление об обидах будет служить ему оправданием в глазах общественного мнения. Европа менее удивится при известии, что для поддержания своего протеста он объявил войну. Если же поляки откажутся следовать за ним и вынудят его остаться на мирном положении, он будет вправе сослаться на последнюю фразу, может, благодаря ей, вступить с Наполеоном в соглашение, потребовать от него вознаграждения и, быть может, заручиться гарантиями по отношению к дальнейшим событиям.

[1] Bogdanovitch, Histoire de la guerre patridigue (1812) в немецком переводе Баумгартена, I, 12—17. Cf. Bernhardi, Gesehichte Russlands, t, Ji, u Popof. Relations de la Russie avec les puissances européennes avant la guorre de 1812, Revue du ministére de J'nstruction publigue russe, GL XXVII.

[2] Текст протеста был опубликован Bignon'ом в его Histoire de France de puis le dix-huit brumaire, X, 52—54.

В настоящую минуту в его уме все еще преобладает мысль о наступательном плане. Его признания по секрету доказывают, как упорно засел в нем гнев, вызванный недавними поступками Наполеона и надменными выходками французской политики[1]. Сверх того, его окружают враждебные нам течения. С некоторого времени употребляются огромные усилия, чтобы окончательно вызвать его из-под сдерживающего влияния Сперанского и отдалить от миролюбиво настроенного канцлера. Эта работа сблизила людей самых разнообразных лагерей. В ней принимают участие: мать императора и многие из его родственников; затем лица, бывшие некогда его друзьями, которым он мало-помалу возвращает свое доверие, и русские старого закала, мечтающие о том, чтобы освободить Россию из-под влияния французов — стряхнуть с себя их опеку; далее немецкие эмигранты и миссионеры тайных обществ. Работают и поклонники самодержавия, и революционеры, приверженцы узкого патриотизма, и космополиты — люди, мечтающие о том, чтобы Россия думала только о своих интересах, и люди, которые хотят сделать ее орудием всемирного освобождения[2]. Одни указывают на предстоящую войну, как на конец слабой политики, как на пробуждение народной гордости; другие напо-

[1] 28 января Штединг пишет: «Я знаю одного человека, которому он сказал: «Я устал от постоянных придирок Наполеона. У меня приготовлено для него двести тысяч прекрасного войска и триста тысяч милиции, и мы еще посмотрим». Меня уверяли, — и я вполне верю этому,— что подобные слова вырываются у него в частных кругах, которые состоят далеко не из скромных людей». Archives duroyaume de Suéde.

[2] Schildner, 236.

минают царю, что Европа ждет его, что она жаждет его прихода, что все угнетенные возлагают на него свои надежды. Они предлагают государю с впечатлительным умом и пылким воображением взять на себя новую, величественную роль. Они достигли уже того, что заставили его поверить в эту роль; заставили его говорить во время дружеских бесед, что его назначение — «защищать страждущее человечество от нашествия дикого варварства»[1]. И все они в один голос твердят ему, что время благоприятно; что теперь обстоятельства позволяют перенести войну на территорию неугомонного обидчика; «что подобный момент подвертывается раз в жизни»[2]. В этом стараются убедить его и немец Паррот, и французский эмигрант Аллонвилль,— первый, в силу продолжительной сердечной дружбы с Александром, обращается к его миросозерцанию и его сердцу, второй выступает во всеоружии чисто военных и технических соображений[3]. Все любители давать советы и составлять докладные записки усиленно действуют в том же направлении. Опыт ничему не научил этих людей, несчастье не умудрило их. Горя нетерпением, опьяненные ненавистью, они советуют все тот же маневр, который в 1805 г. привел к Аустерлицу, а в 1809 — к Ваграму; они дают все тот же негодный совет — воспользоваться случаем, когда внимание Наполеона отвлечено от центральной Европы, когда взоры его направлены на Испанию, и в это время напасть на него с подавляющими силами. Неравенство военных сил и положение дел в Германии, где французы могут выставить против целой армии только один корпус, постоянно возбуждают в Александре желание упредить Наполеона и, смело выступив в поход, напасть на него врасплох.

[1] Id.

[2] Слова Александра, сказанные Чарторижскому, Memoires du prince, II, 252.

[3] La Correspondance de Parrot aves Alexandre была опубликована в Deutsche Revue. 1894—1895. Насчет Аллонвилли (см. Bogdanovitch, J, 73.).

II



ПЛАНЫ ИМПЕРАТОРА

Наполеон в начале 1811 г. — Будучи, по-видимому, владыкой мира, он сознает, что употребляемые *им* до сего дня средства укротить *Англию* и добиться всеобщего мира — недействительны. Блокада будет бесполезной, доколе она не будет повсеместной и полной. — Бесплодные усилия Массена перед Торрес-Ведрас. — Север озабочивает Наполеона и не позволяет ему нанести решительного удара в Испании. — Боязнь сближения России с Англией. — Возрастающее недоверие; явные улики; запретительный указ. — Гибель Наполеона; характерные слова. — Поляки в Париже. — Валенская и Нарышкина. — Наполеон решает исподволь и в тайне готовиться к походу в Россию. — Его взгляд на это исполинское предприятие. — В чем, по его мнению, условие успеха. — Восемнадцать месяцев на приготовления. — План на 1811 г.; план на 1812 г. — Каким путем хочет Наполеон создать в Германии значительные военные силы. — Армия для прикрытия. — Отправка войск в Данциг. — Меры для сокрытия цели и важного значения этих приготовлений. — Наполеон как военные приготовления, так и дипломатическую кампанию начинает позже Александра. — Какие государства они оспаривают друг у друга. — Сношения с Пруссией. — Австрия и княжества. — Сношения с Турцией. — Первая размолвка между Наполеоном и шведским наследным принцем. — Бернадот стремится сблизиться с Францией. — Сокровенные причины этого стремления. — Просьба о присоединении Норвегии. — Одновременные уверения русскому императору. — Бернадот будет на стороне того, кто ему лучше заплатит,

и никому не будет безусловно предан. — Император и слышать не хочет о Норвегии. — Аудиенция адъютанту принца. — Бернадот упорно возвращается к своим просьбам и обещаниям. — Наполеон не намерен связывать себя преждевременно союзом со Швецией. — Его отношения к России в продолжение этого времени. — Смесь притворства и откровенности. — Предложение вознаградить герцога Ольденбургского. — Преувеличенные нападки на указ. — Почему Наполеон умышленно придает трагическое значение этой чисто коммерческой мере. — Требование торгового договора. — Затаенная обида и главная причина неудовольствия императора; по его мнению, главный вопрос — вопрос о нейтральных судах и блокаде; пока он избегает возбуждать его. — Длинное и достопримечательное письмо Наполеона императору Александру. — Обратная сторона медали — письмо к вюртембергскому королю. — Какие весьма серьезные причины заставляют императора рассматривать войну на Севере, как нечто вероятное и видеть в ней венец своего дела. — Наполеон увлекается политикой Рима и Карла Великого. — Впрочем, он отказался бы от войны, если бы Россия снова вступила в континентальную систему; но он не допускает мира без союза. — Александр и Наполеон оба стараются подготовить себе благоприятную для нападения почву: Александр — на 1811 г., Наполеон — на 1812 г.

I

Пятнадцать лет непрерывных побед вознесли Наполеона на высоту могущества, но он не наслаждался ни счастьем, ни славой. Новый год сулил ему много радостей: ожидаемое разрешение императрицы давало ему надежду на сына; никогда еще короли не оказывали ему такой почтительной покорности. И, несмотря на все это, по временам он переживал приступы необъяснимой душевной тревоги. Ему казалось, что над будущим витает смутная опасность. В неподвижном и еще спокойном воздухе он чувствовал тяжесть приближающихся гроз.

Его великий ум не обманывался ни относительно опасностей, созданных долго длящейся морской войной, ни относительно непосильных тягот, притеснений и ужасных бедствий, которые она возложила на народы. По собственному его признанию, весь дух его управления оказался извращенным. А между тем ни у кого в такой степени не было развито врожденное влечение к принципам твердой умеренности и справедливости — единственным принципам, обеспечивающим прочную власть над людьми. Он ясно видел, что увлечения внешней политикой выбили его из колеи; что он дошел до тирании; что всюду вынужден заменить авторитет власти деспотизмом. От него не ускользало, что все вокруг него пропитано ненавистью и страданиями; что число его врагов растет с каждым днем, и что пока Англия будет продолжать борьбу, они не потеряют надежды одолеть его. Он не знал, как развязаться с этой войной, которая, поддерживая неуверенность в завтрашнем дне, была источником всех зол, и постоянно подрывала его престиж. Он тщетно спрашивал себя, где средства найти мир, в котором он нуждался не менее самого последнего из его подданных, и иногда «быстро, подавленным голосом, с оттенком нетерпения говорил, что, если англичане продержатся еще некоторое время, он не знает, что из этого будет и что делать»[1].

Средства, придуманные для укрощения соперницы, несмотря на их колоссальное развитие, на суровое, неуклонное применение, не привели ни к чему. На двух окраинах горизонта его непомерно разросшаяся власть встречала свой предел. Север по-прежнему оставался открытым для британских произведений, и эта брешь в блокаде сводила к нулю все результаты, полученные в других местах: Англия страдала, но не гибла. На юге — в Португалии, ему не удавалось прогнать англичан с южной окраины континента, где они высадились и укрепились на неприступных позициях. Тщетно Массена исследовал линии Торре-Ведрас; он не мог нащупать слабого пункта, не мог найти уязвимого места неприятельской позиции. Он отправил генерала Фуа в Париж с поручением изложить положение дел, умолял о помощи, просил поддержки и совета. Он признавался в своем бессилии: не один раз обещанный, по-видимому, близкий, заранее учтенный им успех не давался ему в руки.

Невольно напрашивается вопрос, почему в это время, когда императору не были еще известны наступательные планы Александра, он не собрал всех своих армий и не нанес смолого удара в Испании; почему не дал принцу Эслингу столько войск, чтобы сбросить англичан в море и кончить, по крайней мере, с этой частью задачи? Дело в том, что Север, где он не видел еще явной опасности, уже озабочивал его, парализовал его действия. Он сознавал, что ожидаемое им примирение России с нашими врагами рано или поздно приведет к тому, что Россия станет на их сторону; что

[1] Донесение Чернышева, 9—21 января 1811 г., предыдущий том, 54.

она устроит для него неизмеримо более страшную диверсию, чем долговременная война в Испании; что она, может быть, вынудит его на колоссальное предприятие — поход на Север; что она заставит его нанести жестокий удар англичанам в России и победить их в Москве. И хотя от него ускользали планы царя относительно Польши, он ясно сознавал, что, если Россия, следуя за ним, остановилась и замерла на месте, то спустя некоторое время она начнет менять курс, мало-помалу будет отдаляться от него и направится к Англии. Первое указание на это он увидел в отказе обложить колониальные товары почти запретительным тарифом, равно как и в отказе конфисковать контрабандные суда. Вскоре после того, не имея еще сведений о происходящем, по приказанию Александра, размещении войск на западной границе, он узнает, что русские сооружают много укреплений по Двине и Днепру. Конечно, эти работы, предпринятые в видах обороны, вполне законны. Но не для того ли, думается ему, русские так заботливо прикрывают свои границы, чтобы предохранить себя от последствий замышляемой измены? Заключив мир с Турцией, «не захотят ли они заключить его и с Англией? Это немедленно послужит поводом к войне»[1], — говорится в его переписке. Может быть, Наполеон и Ольденбург-то захватил с целью испытать Россию, выведать ее планы, посмотреть, не воспользуется ли она первым же предлогом, чтобы порвать с ним. В ожидании выяснения этой тайны он не увеличивает своих военных сил в Германии и до поры до времени оставляет Даву без поддержки; он ограничивается тем, что преобразовывает первый корпус, не прибавляя к нему ни одного человека, и только торопит с отправкой предметов вооружения в герцогство Варшавское[2]. Он по-прежнему занимается Испанией, торопит Массена покончить с ней, приказывает другим командирам корпусов оказать ему поддержку и помочь сломить сопротивление. Он мысленно переносится то на север, то на юг — от Пиринеев к Висле и обратно, и не знает еще, в какую сторону придется ему направить войска, которые предоставит в его распоряжение новый рекрутский набор.

[1] Corresp., 17187.
[2] Id., 16991, 16995, 17283.

Когда он был в таком тревожном состоянии — в состоянии, полном сомнений и ожиданий, до него вдруг доходит известие о запретительном указе: в его глазах это сигнал к тревоге. Указ направлен исключительно против французской торговли. Им русский рынок закрывается нашим произведениям; мало того, в нем содержится приказ сжигать их, если бы им удалось проникнуть в Россию. Это громогласный разрыв на экономической почве, на той почве, которая при существующих условиях должна быть существеннейшей основой союза. Наши враги примут этот акт за косвенное поощрение со стороны России, за первый залог. Нет сомнения, думает император, что в настоящую минуту в Лондоне идет ликование, и гнев его прорывается наружу. Он пользуется данной дипломатическому корпусу аудиенцией, чтобы выказать представителям России, в особенности Чернышеву, почти оскорбительную холодность. «Вместо России, сказал он вечером, я много говорил сегодня с Польшей»[1]. В польской колонии в Париже поднялось всеобщее ликование. Члены ее, собиравшиеся в салоне пани Валевской, громко заговорили о своих надеждах. По странному совпадению две польки, Мария Антоновна Нарышкина и Мария Валевская, пользуясь силою своего обаяния, своих ласк, одновременно действуют на обоих императоров в одном и том же духе и нежным голосом защищают дело своей родины[2].

Но если Наполеон и думает выступить в защиту Польши против России, он решится на это, конечно, не ради прекрасных глаз пани Валевской. Уже теперь, по

[1] Донесение Чернышева от 9—21 февраля 1811 г., предыдущий том, 147.

[2] Донесение Чернышева от 9—21 февраля 1811 г.: «Теперь большую роль играют женщины, в особенности с приездом Валевской, с которой Наполеон близко познакомился во время последней кампании. Благосклонность к этой даме весьма прочная; она получала приглашения на семейные вечера при дворе — отличие, которым ни одна иностранка не пользовалась. Она привезла с собой маленького ребенка, который, говорят, появился на свет вследствие ее частых поездок из Вены в Шенбруннен: о нем страшно заботятся». Вышеупомянутый том, 149.

Депеша Коленкура от 17 января: «Никогда еще Н... не пользовалась таким вниманием. Император проводит у нее каждый вечер по крайней мере один час; словом, с ней обходятся так, как никогда. Приезд из Москвы князя Гагарина, на которого публика указывает как на ее любовника, ничего не изменил».

его приказанию, в департаменте иностранных дел работают над тем, чтобы путем сближения чисел точно установить, вышел ли указ до или после того, как известие о сенатском решении относительно германского побережья дошло до России. Результат этой справки весьма убедителен[1]: сенатское решение сделалось известным в Петербурге 2 января; указ, который вырабатывался долго и втайне, был подписан 31 декабря; следовательно, он не был ответом на поступок, который Россия могла счесть за оскорбление. Это была заранее обдуманная, исходящая непосредственно от самой России, враждебная мера. Несколько времени спустя, огласка, данная русскими протесту по поводу Ольденбурга — этот прием привлечь на свою сторону Европу и сделать ее судьей своего дела, усиливает и подтверждает подозрения императора. Сомнению нет более места: Россия с каждым днем все более стремится отделиться от него и избавиться от союза. Он высказал эту мысль в следующих словах: «Вот еще большая планета, которая берет ложное направление. Я перестаю понимать ее движение: она может действовать так только при намерении нас покинуть. Будем же настороже и примем меры, какие требуются благоразумием и осторожностью»[2]. Тогда после трех бессонных, посвященных глубокому размышлению ночей, в продолжение которых он взвешивал расходы, которых потребуют усиленные вооружения и своевременное их выполнение, он решается сделать чрезвычайный расход в сто миллионов и начать готовиться к войне[3].

Но из этого вовсе не следует, чтобы он считал нужным спешить с военными приготовлениями или ограждать себя от возможных случайностей близкой войны. По его расчету, нет повода торопиться. Следует только положить начало, но нужно, чтобы все делалось обстоятельно, спокойно, осторожно, а главное — в глубокой тайне. Он думает, что движение России по направлению к Англии будет продолжаться так же, как и началось, то есть шаг за шагом, с известной последовательностью; что оно не кончится ранее середины или конца года, и что нетрудно будет оттянуть конфликт до 1812 г. Наполеон думает, что война на Севере не дело ближайшего будущего, но что вероятность ее увеличивается с каждым днем и что избегнуть ее делается все труднее. Идея о войне, имевшая до сих пор смутный неопределенный характер, формулируется в его уме в ясных, определенных выражениях. Контуры ее определяются, обозначается остов, обрисовываются главные черты и в уме его создается глубокий, колоссальный план, который может быть подготовлен в течение года.

Если ему придется вести войну, он намерен не только вести, но даже и начать ее на территории врага, ибо только при этом условии она может дать крупные результаты и будет иметь значение. Поражения, нанесенные русским в Германии и Польше, например; Аустерлиц и Фридланд — нанесли удар гордости царя и знати, но не затронули жизненных функций русского государства, не ограничили заметно ни его могущества, ни способности к дальнейшему распространению. В настоящее время требуется большее: нужен Аустерлиц или Фридланд в самой России, нужно нанести рану столь глубокую, чтобы можно было предписать побежденным как условия мира отказаться от их наступательных действий, заставить их отодвинуть свои границы к Востоку, уйти в Азию. Как же думает действовать Наполеон для достижения столь решительного успеха, если ему удастся вступить в Россию? Каков будет план его действий в России? По каким путям пойдут там его войска? Его мысль не касается еще этих сторон предстоящего предприятия. Веруя в свой стратегический и тактический гений, полагаясь на свое вдохновение, он уверен, что будет одерживать в России победу за победой, лишь бы ему удалось проникнуть туда и сразу же ввести от четырех до пятисот тысяч человек; лишь бы эти войска были настолько снабжены всем необходимым (одеждой, боевыми припасами и провиантом), чтобы в продолжение нескольких месяцев просуществовать и действовать в огромной, безлюдной и малообследованной стране. Прежде всего он подходит к главному вопросу. Как незаметным образом доставить французские силы до границ России, как затем перекинуть их в Россию со всем снаряжением и вполне организованным тылом; как устроить таким образом, чтобы наши армии вступили в Литву такими же свежими и так

[1] Он находился в национальных архивах в виде письма Шампаньи к Наполеону, AF, IV, 1699.

[2] Донесение Чернышева, 5—17 апреля (число восстановлено) 1811 г., предыдущий том, 70.

[3] Об этом факте Наполеон лично сообщил князю Шварценбергу в разговоре, цитируемом Helfert'ом, Maria Louise, стр. 199.

же хорошо снаряженными, как если бы они только что вышли из Страсбурга или Майнца; как обеспечить их военными припасами, транспортом и провиантом в стране, где придется все везти с собой, в стране, которая находится на расстоянии восьмисот лье от наших границ. Он думает, что если ему удастся разрешить эту задачу, доведя до чудесного дело организации и предусмотрительности, его дело выиграно. По его мнению, когда дело идет о нападении на Россию, секрет победы всецело заключается в искусстве подготовиться к войне; и он, который без подготовки, с собранными наспех войсками, вел столько войн, думает, что ему потребуется не менее года, чтобы тщательно обдумать и подготовить нападение; чтобы собрать военным средства; чтобы довести их до беспримерного совершенства, перенести на место действий и доставить к границам России вполне готовыми к бою.

Но дадут ли ему русские довести до конца его продолжительный и упорный труд? Не постараются ли они предупредить нас, занять раньше нас Польшу и Германию? Наполеон не считает нужным бояться этого. Ссвершенно не ведая того, что творится в западных губерниях России, он думает, что все войска, которыми располагает Россия, задержаны на Дунае, что в ней самой только гарнизоны. Он полагает, что Александр, занятый Турцией так же, как он Испанией, и не подумает изменить ему, пока не избавится от этой обузы. Но ясно, что мир с турками не за горами. Судя по положению дел, это вопрос нескольких месяцев. Очевидно, что как только в предстоящей весной кампании русским представится случай одержать решительную победу, мир будет заключен. Следовательно, весьма вероятно, что летом русские войска возвратятся к западным границам России, займут оборонительные линии и укрепленные лагеря и сделаются внушительной силой. Без сомнения, это-то время и наметил себе царь, чтобы снова завязать сношения с Англией и покинуть нас. Если Наполеон отложит до этого времени приготовления к войне, если он не перебросит заблаговременно части своих войск в Германию, можно опасаться, что, узнав о движении наших войск, русские не устоят перед искушением, что они воспользуются своим кратковременным преимуществом, перейдут границы и разрушат или, по меньшей мере, выбьют из колеи направленные против них огромные военные при-

готовления. Итак, необходимо, чтобы к предполагаемому времени наши первые движения были уже выполнены, чтобы у Франции в Северной Германии было достаточно войск — не для того, чтобы напасть на русских, а чтобы не позволить перейти в наступление, чтобы помешать им что-либо сделать, дать им почувствовать свою силу и преградить дорогу. Наполеон решает, что до конца весны корпус Даву втихомолку будет преобразован в восьмидесятитысячную армию, в состав которой войдут его лучшие войска; что эта армия будет под командой самого надежного и обстоятельного из начальников; что она будет подкреплена немецкими войсками и доведет свои колонны до Штеттина и линии Одера, чтобы иметь возможность при первой же тревоге прийти на Вислу раньше русских. Он решает, что Данциг, который в изобилии будет снабжен людьми и боевыми припасами, будет главным центром сопротивления и первоклассной крепостью. Следовательно, когда русские передвинутся с юга на северо-запад и направятся во французскую Германию, они очутятся перед двумя незаметно созданными препятствиями. Сперва Данциг, который будет служить точкой опоры герцогству Варшавскому, далее — расположенная на обоих берегах Эльбы армия Даву. Они натолкнутся на внушительную часть французских сил, тогда как воображают, что все силы Франции направлены в Испанию и поглощены полуостровом. Захват французами выгодного стратегического положения запрет русских внутри их собственных границ. Наполеон задержит их на конце своей шпаги, которую он коварно подставит им, незаметно продвинув ее через всю Германию до самой Вислы[1].

По мнению императора, под такой угрозой Россия, вероятно, не дерзнет обнаружить своих планов, не посмеет сбросить с себя маску союза. Вероятно, что император Александр смутится, начнет колебаться, поведет двойственную игру, откроет переговоры. Наполеон поступит точно так же. «Возможно, пишет он Даву, что начнутся объяснения, и мы оба постараемся выиграть время»[2]. Тем временем, под прикрытием развернутых защитной завесой в Германии войск, будут сфор-

---

[1] Этот план изложен в письме императора к Даву, 24 марта 1811 г. Corresp., 17516.

[2] Corresp., 17516.

мированы войска второй и третьей линий. В тылу восьмидесяти тысяч Даву император соберет вчетверо больше. На Рейне, в Голландии, Северной Франции, Майнце, Везеле, Утрехте, Булоне, за Альпами, в верхней Италии будут устроены военные лагеря, т. е. огромные вместилища людей и запасов, из которых те и другие мало-помалу разольются по всей Германии. В надлежащий момент эти войска присоединятся к армии Даву, станут позади нее или рядом с ней, доведут великую армию до ужасающих размеров, подготовятся к нападению, и тогда занятые на севере Германии оборонительные позиции превратятся в базу для наступления. Вместе с тем, не довольствуясь содействием всех своих вассалов — северных и южных немцев, швейцарцев, итальянцев, иллирийцев, испанцев, португальцев — император хочет обратиться к государствам, номинально сохранившим независимость: к Пруссии, Австрии, Турции и Швеции. В то время, как Александр надеется, что два из этих государств сохранят нейтралитет, а другие два перейдут на его сторону, Наполеон уверен, что войска всех четырех государств войдут в состав его полков. Таким образом, допуская, что переговоры с Александром не приведут ни к какому результату и что он не добьется от России точных гарантий ее верности союзу, Наполеон будет располагать против нее в начале 1812 г. всей старой Европой — притом, Европой, которая будет заблаговременно поставлена на военную ногу, войска которой будут организованы, дисциплинированы, соединены в бригады, мобилизованы, сосредоточены в одном месте и составят одну громадную штурмовую колонну. Вот в каком виде представляется ему будущее.

II

Первые приказы о подкреплении корпуса Даву были отданы в конце января, а затем дополнены целым рядом распоряжений. При выполнении этой операции имелось в виду не прибегать к бьющим в глаза, вызывающим разговоры, мерам. Дело шло не о том, чтобы сразу же перебросить по ту сторону Рейна значительные силы, ибо это могло привлечь всеобщее внимание. По плану Наполеона, армия в Германии должна создаваться путем непрерывного, незаметного прилива

людей и материальной части в уже существующие кадры. Первый корпус должен усиливаться исподволь, не меняя ни своего внешнего вида, ни вида входящих в него частей войск. Составляющие его единицы: дивизии, полки, батальоны будут увеличиваться путем медленного пополнения их состава; когда получится излишек в их наличном составе, их разделят надвое, затем каждую часть будут снова увеличивать, соберут около них другие группы, другие единицы и мало-помалу вместо корпуса предстанет в полном вооружении армия в восемьдесят тысяч человек.

21 января император сообщает Даву об отправке к нему одного французского полка и четырех голландских. Он приказывает распределить эту пехоту между тремя дивизиями 1-го корпуса, между образцовыми дивизиями Фриана, Морана и Гюдена, от которых будет затем отнят излишек для сформирования четвертой дивизии, которая будет поручена генералу Дессе[1]. В то же время, ввиду того, что рекрутский набор 1812 г. даст сто тысяч рекрутов, находящиеся на службе во Франции батальоны, обучение которых уже заканчивается, могут выступить в поход и присоединиться к полкам в Германии. Таким образом, полки, не имеющие еще достаточного количества людей, пополнятся и будут состоять из четырех батальонов вместо трех, а затем из пяти, и в течение лета вследствие непрерывного притока людей сформируется армия из пяти дивизий четырехполкового состава и двух бригад. В кавалерии тоже не будут формироваться новые полки, она будет увеличена отправленными в боевые эскадроны кавалерийскими отрядами, составленными из обученных уже молодых солдат. Лошадьми же будут пополняться на месте.

Уже с этого времени Наполеон начинает заниматься отправкой материальной части, беря в основу своих расчетов не теперешний наличный состав армии на Эльбе, а то, какою она будет через шесть месяцев. Он приказывает отправить полковую и дивизионную артиллерию и резервные парки, всего сто восемьдесят артиллерийских орудий. Он организует инженерную часть и снабжает ее пятнадцатью тысячами инструментов. Всецело отдаваясь кропотливым вычислениям, он высчитывает, что Даву, чтобы везти с собой пятьсот восемь-

[1] Corresp., 17289.

десят четыре тысячи патронов, потребуется шестьсот артиллерийских повозок и двести восемьдесят пехотных фур; запас же в три миллиона патронов будет сложен в магазинах Гамбурга и Магдебурга. Особенно заботится он об усовершенствовании транспортной части, т. е. военных обозов, ибо в войне, которую придется вести далеко от Франции, видит в них необходимых пособников победы. Все войсковые части создадутся из тех элементов, которые будут выделены из всех полков в самой Франции, они будут переходить Рейн отдельными группами, едва заметными отрядами и крадучись проникать в Германию[1].

Чтобы облегчить войскам поход, Наполеон приказывает офицерам главного штаба ознакомиться с путями сообщения и привести их в порядок. Дороги в Германии большею частию плохи. Что делать! Надо устроить другие. Между Везелем* и Гамбургом через Вестфалию и Ганновер намечается широкая военная дорога, наподобие тех, какие устраивались древними римлянами, и которая останется будущему поколению на память о проходе французов и в назидание грандиозности их работ. Властям Вестфалии и великого герцогства Бергского предписывается руководить работами по ее устройству. Даву поручено заблаговременно позаботиться о помещении своих будущих войск, заранее обеспечить провиант, обмундировку, жалованье и определить бюджет; затем укрепить Гамбург и превратить этот открытый город в большую крепость. Даву должен принять все нужные меры, но проводить их в строжайшей тайне, действовать молча — таковы наставления, которые неизменно сопровождают приказания и которые выдают мысли, неотступно занимающие императора.

Еще более глубокую тайну соблюдает он при передвижении тех войск, которые должны составить гарнизон Данцига, удесятерив его теперешний наличный состав. Прежде всего, он приказывает шести польским батальонам, двум саксонским и одному французскому полку, занимающему Штеттин, присоединиться к имеющимся в крепости тысяче пятистам человек. Пусть Даву поставит там один из самых «блестящих полков» из дивизии Фриана, приказывает император, причем он должен «говорить о России только самое хорошее»[1] и не пускаться ни в какие откровенности с варшавским правительством, ибо «поляки рассказывают и разглашают на все лады все, что им говорят»[2]. Немного позднее император отправляет в Данциг через Магдебург и Пруссию роты артиллеристов, минеров, саперов, затем вестфальский полк из двух тысяч четырехсот человек и бергский полк. Для отправки туда же он требует полк у Баварии и полк у Вюртемберга, и к вновь занимаемому посту со всех сторон Германии направляются отряды. Но отправляются они туда неспешно, украдкой, так, чтобы не слышно было их шагов. Вместе с ними император приказывает доставить в Данциг пушки, мортиры, лафеты, ружья — все, что требуется для упорной обороны и, сверх того, — существенный элемент нападения — материалы для постройки мостов, которые он приказывает сложить там и хранить ради потребности будущего[3]. При этом комендант Рапп получает строгий приказ следить за своими словами и «не давать волю языку»[4]. Ему приказывается сложить в крепости имеющую в скором времени прибыть материальную часть, отнюдь не выставляя ее на видном месте.

Тем не менее, Наполеон сознает, что скрыть от русских такое скопление войск вблизи их границ нельзя. Тогда, не видя возможности отрицать сам факт, он искажает смысл своих намерений. Он приказывает приготовить для Куракина объяснительную ноту, наполненную такого рода объяснениями, которые, несмотря на приличную внешность и некоторое правдоподобие, можно счесть за насмешку. В ней должно быть сказано, что большая английская эскадра направляется в Балтийское море и что у нее предполагается намерение напасть на Данциг, вследствие чего император считает себя вынужденным привести крепость в оборонительное положение и собрать там несколько тысяч человек, вменяет себе в обязанность предупредить об этом Россию, дабы она не беспокоилась по поводу направ-

---

[1] Corresp., 17289, 17336, 17355, 17372, 17382, 17384; 17414; 17441, 17469, 17493, 17499, 17503, 17512, 17513; 17519; 17533. Cf. Ответ Даву и другие документы хранятся в национальных архивах. AF, IV, 1653.

* Крепость при впадении Липпе в Рейн. (Прим. перев.).

[1] Corresp., 17115.

[2] Id.

[3] Id., 17212, 17323, 17415, 17488, 17490, 17491; 17505; 17510; 17515, 17520.

[4] Id., 17516.

ленных против общего врага военных приготовлений[1].

В этой же ноте делается признание, что во Франции были куплены ружья за счет саксонского короля, великого герцога Варшавского, права которого никаким договором не ограничены; «но куплено их только двадцать тысяч вместо предположенных шестидесяти». В действительности же, запас оружия, назначенного Наполеоном в пользование польских крестьян, которые, в случае надобности, должны восстать поголовно, гораздо значительнее. Его агенты нашли для него в Вене пятьдесят четыре тысячи ружей, которые Австрия соглашается уступить ему. Саксонскому королю дается совет купить их и доставить в Дрезден, заплатит же за них император. Со своей стороны, император устраивает на Рейне два оружейных склада, один в Везеле на тридцать четыре тысячи ружей, вывезенных из Голландии, другой в Майнце на пятьдесят пять тысяч, вывезенных из Франции. Не переправляя еще их по ту сторону Рейна, он приказывает сложить их в магазине и в ящиках «держать упакованными и готовыми к отправке». «Прикажите, — пишет он военному министру, — чтобы это было сделано насколько возможно секретнее и притом так, чтобы в первых числах мая, когда мне понадобятся эти семьдесят шесть тысяч ружей, их можно было бы отправить через двадцать четыре часа после моего приказания»[2], что даст возможность доставить их к месту назначения через несколько недель. Наполеону и в голову не приходит, что еще до лета он вынужден будет не только вооружить варшавское население, но даже набрать в герцогстве регулярные войска, не говоря уже о необходимости иметь в Данциге пятнадцать тысяч, которые втихомолку он уже начал отправлять туда.

Военные мероприятия опередили его дипломатическую деятельность. Оно и понятно. Четырем государствам, на которых он смотрит, как на своих предопределенных помощников — Пруссию, Австрию, Турцию и Швецию — не нужно, как нашим армиям до вступления в линию проходить больших пространств: они и так все граничат с неприятелем, на которого имеется в виду напасть. Было бы делом бесполезным и даже

[1] Corresp., 17492, 17523. Cf. Письмо Шампаньи императору от 19 и 28 марта. Archives nationales, AF, IV, 1699.
[2] Corresp., 17371.

опасным вступать с ними в переговоры, слух о которых мог дойти до Петербурга, и ускорить разрыв. Впрочем, Наполеон был уверен, что эти союзы состоятся сами собой, роковым образом, что Пруссия и Австрия, всецело подпав под его влияние, покорно последуют его призыву; что своего рода гипноз приведет их к нему; что же касается Турции и Швеции, они вернутся к нему в силу традиций. Пока же он старается путем более или менее сильного давления на эти четыре государства предписать каждому из них отвечающее его планам поведение.

От Пруссии он требует только бездействия. Так как Пруссия лежит на пути между Францией и Россией, то, если она начнет волноваться, если будет вооружаться, в Петербурге могут подумать, что все это делается по нашему подстрекательству, и что Наполеон хочет создать из нее свой авангард. Поэтому необходимо, чтобы она как можно дольше держалась в тени — так, чтобы забыли о ее существовании. Но, нужно сказать, что требования нашей политики не отвечали желаниям дрожавшей за свою судьбу Пруссии. Потсдамский двор, предупрежденный со стороны Александра, что время разрыва между императорами приближается, осведомленный на этот счет лучше самого Наполеона, жил в постоянном страхе. Он боялся сделаться первой жертвой войны, боялся погибнуть в предстоящем столкновении, все равно на чью бы сторону он ни стал. Чтобы отстоять свое жалкое существование, он прибег к обману, начал тайком вооружаться и призвал на службу часть резерва. В чью пользу употребит он эти силы? Пойдет ли он на зов своей заветной мечты, своей ненависти и бросится в объятия России? Или же, уступая роковой необходимости, даст сбить себя с этого пути и направится в сторону Франции? Этого он и сам не знал. Канцлер Гарденберг колебался между двумя решениями. Он одновременно вел переговоры с Наполеоном и Александром. И тому, и другому давал то искренние, то фальшивые уверения и всегда обманывал кого-нибудь из них, но не всегда одного и того же: в его двуличном поведении бывали и перемены[1]. Во всяком случае, чтобы заслужить снисходительность императора, чтобы заставить его закрыть глаза на за-

[1] Duncker, вышеупомнутое сочинение, 343—365. Martens. Traités de la Russie., VII, 15 et, suiv. Corresp. de Prusse, aux archives des affaires etrangéres, janvier a avril 1811.

прещенные по договору вооружения, он считал необходимым почаще обращаться в Париж с униженными просьбами о союзе и с предложениями содействия. Но император считал несвоевременным обращать внимание на просьбы Пруссии и ограничивался только тем, что позволял ей надеяться, что союз может быть заключен в будущем. Более того, как только он замечал, что в Пруссии происходят какие-нибудь подозрительные движения, что она производит набор рекрутов свыше установленной нормы, он прибегал к грубости и гневным голосом призывал ее к порядку.

Точно так же и с Австрией он избегал определенного разговора о союзе. Тем не менее он считал необходимым внушать ей шаги, способные тревожить русских на Дунае, которым он хотел дать занятие и поглубже завязить их на Востоке. Исходя из положения, что венский двор скорбит при виде неизбежного присоединения княжеств к России и что при небольшой поддержке и поощрении он охотно стал бы создавать препятствия, Наполеон вызвал его на обмен взглядов по этому вопросу. Он высказал сожаление, что незадолго до этого согласился на столь большое усиление русского могущества; дал понять, что в настоящее время у него иные намерения; спрашивал Меттерниха и императора Франца, как они рассчитывают поступить, как далеко решились бы они идти, дабы предотвратить роковой для их интересов результат, и не скупился на выражения своего благорасположения. Его игра была ясна. Он хотел, чтобы на первый план выступила Австрия, чтобы она взяла на себя инициативу, так как точные эрфуртские обязательства не позволяли ему взять ее на себя. Он хотел, чтобы она высказала протест против завоевания княжеств и в случае надобности поддержала свои дипломатические ноты военными демонстрациями. Такое выступление Австрии, давая туркам надежду на помощь, оживило бы их мужество, побудило бы к более упорной защите своих провинций, отклонило бы от решения заключить мир и продлило бы войну, вследствие чего, по расчету Наполеона, отсрочилось бы массовое появление русских на границах Польши[1].

[1] Corresp., 17387, 17388. Cf. Письмо от 26 марта по поводу Сербии, в котором говорится, что русские только что заняли Белград. Corresp., 17518.

С самой Турцией он избегает вступать в такие соглашения, которые бы нарушили статьи договора, пока еще связывающего его с Россией, т. е. гарантировать султану неприкосновенность его империи и возврат княжеств. Его усилия были направлены только к тому, чтобы вместо заметной холодности установить между Францией и Турцией прежнее доверие. Он написал министру иностранных дел: «Прикажите Латур-Мобуру, — это был наш поверенный в делах в Константинополе, — чтобы он, насколько возможно, примирился с Портой, и, не компрометируя себя, повел дело так, чтобы новый султан написал мне и послал посланника. Тогда и я отвечу ему, возобновлю с ним сношения и пошлю посланника»[1]. Таким образом, должны создаться пути к сближению. Не приглашая еще Турцию вернуться к нему, Наполеон позаботился о том, чтобы поставить ее на путь к прежним отношениям. Он старается добиться от турок, чтобы они, не требуя с его стороны формальных обязательств, отдались в его распоряжение и положились на его волю.

Того же самого хотел он добиться и от другого государства — от Швеции, которой на севере Европы предназначалась та же роль, что Турции на юге, и значение которой обусловливалось не столько ее военным могуществом, сколько ее топографическим положением. Пока он требует он нее только более ясно выраженной услуги против Англии и безусловного послушания в деле борьбы с нею, не решая еще, каких услуг придется ему потребовать от нее против русских и что сам для нее сделает. Но антагонизм между требованиями императорской политики и материальными интересами Швеции, которая отстаивала их всевозможными способами, и вызванные таким антагонизмом страсти и народные бедствия не позволяли её правительству быть послушным и покорно исполнять требования императора, не получая за это никакого вознаграждения. Что ни день, неповиновение Швеции доставляет Наполеону новые поводы сердиться на нее. В то же время ему приходится отмахиваться от несвоевременного усердия и докучливых просьб. Характер человека, которому он позволил подняться на ступени трона в Стокгольме, поразительно осложняет задачу

[1] Corresp., 17365.

его отношений. Не имея в виду ни окончательно ссориться со Швецией, ни преждевременно связывать себя с нею союзом, он вынужден будет действовать так, чтобы достичь и той, и другой цели, и его отношения к Бернадоту, далеко не всегда одинаковые за этот период времени, довольно точно определяют его теперешние планы относительно России.

III

Выехав из Парижа с изменой в душе, Бернадот не мог удержаться, чтобы не отзываться дурно о своем бывшем повелителе. Он сделал это при первом же свидании с эмиссаром России, который был уполномочен вызвать его на откровенные беседы. Нескрываемое проявление неблагодарности, выказанное им в присутствии Чернышева[1] в 1811 г., было проявлением его истинных чувств. Впрочем, честью обязываясь — никогда не наносить вреда России, он подчинялся и политической идее, тому инстинкту дальновидности, который подсказывал ему, что в будущем безопасность Швеции покоится на примирении с великой Восточной соседкой, и который, отклоняя его от всяких попыток вернуть Швеции Финляндию, побудил его перенести честолюбивые стремления новый его родины на Норвегию. Но, движимый желанием понравиться царю, чтобы у того не оставалось и тени прежней враждебности, увлеченный к тому же потоком собственного воображения, он сказал более, чем хотел: его слова вышли за пределы его мыслей. Он выставил, как свою непреклонную волю, то, к чему только что стремился. В сущности, его политическая система не была выработана. Его неустойчивый и своенравный ум постоянно переходил от одной мысли к другой. Правда, он сразу же коснулся той почвы, на которую хотел поставить его русский император, но он не стал твердо на нее. Мы увидим, что вскоре он покинет ее и только длинным обходом вернется назад.

В недели, следующие за его первыми откровенными разговорами с Россией, измученный нашими требованиями относительно блокады, оскорбленный властным и резким тоном, с каким наш представитель в

[1] См том II, 514—519.

Стокгольме, бывший член народного конвента Алькиер излагал эти требования, он и сам принял в сношениях со своей прежней родиной надменный тон. Того, — сказал он, что всюду ведется контрабанда, что война с англичанами остается «жалкой комедией»[1], никто не в силах изменить. При малейшей просьбе он становился на дыбы. Как-то обратились к королевскому правительству, чтобы оно, согласно традициям старого режима, дало Франции известное количество моряков или, еще лучше, целый полк для несения службы в нашей армии, — он отказался поддержать эти предложения. «Какая мне выгода, — сказал он барону Алькиеру, — отправлять полк для вступления в ряды французской армии? — Та, чтобы воспитать офицеров в лучшей школе Европы, — ответил барон. — Знайте, милостивый государь, — сказал Бернадот, — что человека, создавшего своими наставлениями и своим примером множество превосходных офицеров и генералов во Франции, вполне достаточно, для обучения и усовершенствования его армии»[2].

Ответ императора на подобное бахвальство не заставил себя ждать. Видя, что Бернадот все такой же, каким он его всегда знал, т. е. наглый хвастун, упрямый и несговорчивый, он отвернулся от него, отказался от непосредственной с ним переписки, отозвал французских адъютантов принца и предоставил его самому себе[3]. В январе 1811 г. отношения держались на волоске, как вдруг Бернадот, по собственному его обыкновению, быстро переменил фронт и метнулся к Франции.

Такую перемену можно, прежде всего, объяснить самым прозаическим денежным интересом. В своем новом положении Бернадот должен был отказаться от походов, полагавшихся имперскому маршалу и принцу Понте-Корво. Переданный им при отъезде, по приказанию императора, миллион быстро растаял, а шведский сейм, ввиду бедности государства, назначил наследному принцу, его жене и сыну весьма скудное содержание. Видя, что его средства подходят к концу, Бернадот начал раскаиваться, что слишком невнимательно отнесся к монарху с широкой натурой, щедроты

[1] Выражение Алькиера, письмо к Шампаньи от 19 ноября 1810 г.
[2] Алькиер Шампаньи, 6 января 1811 г.
[3] Corresp. 17218 et 17229, Correspondance de Suéde aux archive des affaires étrangéres, decembre 1810 et janvier 1811.

которого могли бы оказать ему полезную поддержку, и следует заметить, что его первые заявления о желании быть послушным совпали с письмом, в котором он полагался на великодушие императора и ходатайствовал о вознаграждении за утраченные доходы.

Следующая причина: влияние наследной принцессы, приехавшей уже в это время к своему супругу, было в пользу Франции. Чем дальше к Северу ехала Дезире Клари, тем сильнее была охватывавшая ее невыносимая тоска. Ее мысли постоянно переносились к блестящему и дорогому ей Парижу, к горячо любимому парижскому обществу, где она хотела сохранить за собой право приезжать на отдых. Поэтому она употребляла все усилия, чтобы помешать разрыву, который навсегда заточил бы ее в королевском уединении[1]. Наконец, и сам Бернадот, несмотря на все старания понравиться шведам, чувствовал, что не вполне отвечает их ожиданиям. Ведь они избрали его в надежде тотчас же добиться, благодаря этому выбору, блестящего результата, значительной выгоды, т. е. возврата при содействии Франции Финляндии или получения соответствующего вознаграждения. Бернадот же, в ознаменование своего приезда, одарил их пока только объявлением войны англичанам — делом крайне непопулярным. Видя, как иссякает оказанное ему народом доверие, он чувствовал необходимость не откладывать удовлетворения шведов; он понимал, что нужно отплатить им за радушный прием, и прекрасно сознавал, что только император французов может дать ему нужные для этого средства.

Из этого вовсе не следует, что предмет его вожделений изменился. Как ни казались несвязны и беспорядочны его порывы, они неизменно стремились к одной и той же цели; его политика вращалась около все той же, преследующей его, идеи. Воспрещая себе даже мечтать о Финляндии, он все больше думал о Норвегии. Он уже завел разговор об этом в Петербурге, но знал, что Россия, — предполагая даже, что она когда-нибудь и допустит расхищение Дании, — согласится на это только позднее, через довольно продолжительное

[1] Переписка русского посланника в Швеции Тарраша с его правительством. Эта переписка, распечатанная, вероятно французской почтой в ганзейских городах, находится наполовину дешифрованная в архивах министерства иностранных дел.

время, при приближении или после крупной переделки карты Европы. Наполеон же располагал настоящим. Ему стоило только сделать один жест, и слабый, покорный копенгагенский двор преклонится пред его волей и уступит шведам Норвегию за небольшое вознаграждение в Германии. Как раз в это время Норвегия волновалась и, видимо, томилась под датским игом. Пользуясь этим случаем, Бернадот, не откладывая дела, высказал свою мысль представителю императора.

6 февраля, во время разговора с Алькиером, он неожиданно разложил перед ним карту. «Посмотрите, — сказал он, — чего нам недостает. — Вижу, — ответил Алькиер, — границы Швеции закруглены со всех сторон, исключая Норвегии. Вероятно, Ваше Высочество, и говорите о ней? — Ну да, о ней. Она хочет отдаться нам, простирает к нам руки, и теперь мы заняты тем, чтобы успокоить ее. Мы можем получить ее, предупреждаю вас об этом, и не от Франции, а от другого государства. — Может быть, от Англии? — Ну да, от Англии, но я заявляю вам, что хочу получить ее только от императора. Пусть Его Величество даст нам ее, дабы нация могла поверить, что я добился от нее его покровительства; тогда я буду силен, внесу в политику правительства потребные перемены, буду повелевать именем короля и буду к услугам императора»[1]. Затем пошли клятвы. Бернадот клялся «своей честью» закрыть в королевство доступ английской торговле. В случае надобности, уверял он, он сам выступит против этой гордой нации и победит ее в самой Англии; против России он предлагал пятьдесят тысяч человек весной, а в июле шестьдесят, но при условии, что сам будет командовать ими.

Эти формальные предложения отнюдь не мешали ему через несколько дней повторить царю уверения в своей симпатии и добром расположении. В ответе на письмо, в котором Александр просил его дружбы, он писал ему: «Да, Государь, я буду другом Вашего Величества, так как вы соблаговолили сказать мне, что от души желаете быть моим другом»[2]. Соединимся, заклю-

[1] Алькиер Шампаньи, 7 февраля 1811 г. Часть этой депеши была опубликована преждевременно скончавшимся Geffroy в его исследованиях: Les intérêts du Nord scandinave pendant la guerre d'Orient. Pevue des Deux Mondes, 1-er novembre 1855.

[2] См. rtude sur la Suéde et la Norvége, опубликованное по подлинным документам в l' Univers pittoresgue, 1838.

чим договор о вечном мире и добром соседстве, говорил он царю в то самое время, когда предлагал Наполеону признать своими врагами всех настоящих и будущих врагов Франции.

Кого же обманывал Бернадот? Кому, в конце концов, хотел изменить? Прежнему ли повелителю или новому другу? Если Наполеон уважит его просьбу и примет его предложения, приобретет ли он, в случае войны с Россией, его безусловное послушание. Это было, по меньшей мере, сомнительно. Бернадот был пропитан духом неповиновения. Он доказывал это в течение всей своей карьеры. Наполеон всегда находил в нем нерадивого сотрудника и ненадежного помощника. Если теперь Бернадот цеплялся за Норвегию, то, конечно, только потому, что это легкое завоевание, удовлетворяя народное самолюбие, избавляло его от необходимости идти в Финляндию. Захват Норвегии освобождал его от обязательства возобновить и тянуть из-за Финляндии вечную тяжбу с Россией и быть непримиримым ее врагом. Следовательно, отдав ему Норвегию, Наполеон мог рассчитывать только на то, чтобы до некоторой степени ослабить в нем чувство неприязни, заручиться его нейтралитетом и, может быть, призрачным содействием. Вот все, на что можно было надеяться. При оценке нынешней политики принца Алькиер шел дальше императора. Этот усердный, но горячий и увлекающийся агент почти никогда не умел разгадать истинных намерений Бернадота; в необразимой путанице его слов он не умел отличить, где истина, где поза. Обрисовав его, как человека, способного на всякого рода предательство, он находил, что в настоящее время он чистосердечно готов вернуться к нам и указывал на этот момент, как на единственный, когда можно было снова овладеть Швецией.

Наполеон судил иначе. Во-первых, манера требовать в резкой форме определенного соглашения, вынуждать его к этому, не была ему по вкусу. Он хотел, чтобы Бернадот, вместо того, чтобы назначать нам время действия, ждал, когда мы пригласим его. Что же касается самого условия соглашения, то мысль обобрать Данию, в тех решительных выражениях, в каких она была высказана, возмутила его чувства чести, справедливости и благородства. Этот всемогущий человек относился с уважением к слабым, если находил, что они честны и прямодушны. Сверх того, до получения более

подробных сведений от отказывался видеть в просьбе принца выражение обоснованной и вполне созревшей мысли, так как для того, чтобы эта мысль могла сделаться основой национальной политики, к ней должно было присоединиться большинство шведов, а это требовало известного времени. Постоянно рассматривая свои отношения к Швеции под углом той глубоко ошибочной идеи, что у шведов могла быть только одна политика — политика мести и вражды к России, он воображал, что, если ему придется порвать с Александром, ему достаточно будет показать им концом своей шпаги на Финляндию, чтобы они бросились на эту добычу и ввязались в драку,. независимо от личных чувств Бернадота. Поэтому он считал совершенно бесполезным останавливаться на более или менее сумасбродных идеях, которые возникали и роились в неуравновешенном мозгу Бернадота; он не находил нужным ни серьезно относиться к его отклонениям от предназначенной ему роли, ни разбираться в его причудах. Вопрос об идеях Бернадота не входил в наши соображения.

«Герцог Кадорский, — писал Наполеон Шампаньи, — я внимательно прочел письма из Стокгольма. В голове шведского принца столько горячечного бреда и нескладных мыслей, что я не придаю никакого значения сообщениям, которые он сделал барону Алькиеру. Поэтому я желаю, чтобы о них не сообщалось ни датскому, ни шведскому посланнику и не хочу слышать о них впредь до нового моего приказания»[1].

Тем не менее, Наполеон предупредил Данию, не говоря ей, почему он это делает, чтобы она позаботилась защитить Норвегию от нечаянного нападения. Вместе с тем, он наметил для Алькиера путь, которого тот должен держаться. «Посланник, — говорит он, — не должен давать немедленного ответа на предложения принца, ссылаясь на то, что на этот предмет не получил никаких распоряжений. По истечении некоторого времени он может весьма осторожно, так, «чтобы не дать заметить, что это исходит из Парижа»[2], намекнуть в разговоре, что мысль присвоить Норвегию совершенно не осуществима и не отвечает национальным традициям;

[1] Corresp., 17386. Cf, письмо Шампаньи Алькиеру от 26 февраля 1811 г.

[2] Corresp., 17386.

что она лишена политического смысла и что интересы Швеции в ином месте. «Исходя из этих общих соображений, а также из соображений, вытекающих из моего характера и моих понятий о чести, — говорит император, — барон Алькиер и должен отвечать. Ни склад моего характера, ни моя честь не допускают, чтобы один из моих союзников понес ущерб вследствие союза со мной»[1]. На будущее время самое лучшее будет, продолжал он, если наш посланник будет избегать слишком частых свиданий со шведским Высочеством, если он впредь будет избегать неудобных дружеских бесед и нежелательных обсуждений. Нельзя соглашаться на просьбы принца, но, с другой стороны, противоречие только раздразнит его аппетит. Если же предоставить этот бестолковый ум самому себе, он, быть может, кончит тем, что, поволновавшись впустую, одумается и сделается более рассудительным.

Около этого же времени Наполеон позволил вернуться в Швецию одному из французских адъютантов Бернадота, эскадронному командиру Женти-де-Сен-Альфонсу, отозванному вместе с другими французскими офицерами во Францию, и принял его перед отъездом. На этой аудиенции он говорил как человек, который знал, что думал об истинных чувствах принца, но его слова носили скорее отпечаток грусти и сожаления, чем гнева; они сохраняли тон отеческого наставления. «Вы думаете, — сказал он, — я не знаю, как он говорит всякому, кто не прочь его слушать: «Слава Богу, я больше не в его лапах», и тысячи других нелепостей, о которых я не хочу говорить. Он не понимает, все это падет на его же голову, и что есть люди, всегда готовые извлечь выгоду из его непоследовательности. Правда, он порядочно бесил меня, пока был здесь. Вам это известно: вы его друг. Впрочем, с этим уже покончено. Я надеялся, что в новой сфере его голова успокоится и он будет вести себя благоразумнее».

Женти-де-Сен-Альфонс, которому было сделано это внушение, принялся горячо защищать своего принца. Он распространился о тех услугах, которые Швеция готова оказать нам во всяком деле и в особенности против России. Но это усердие, явившееся в самое последнее время, показалось императору подозрительным или, по

[1] Id.

меньшей мере, несвоевременным. «Вы все время говорите мне о русских, — сказал он, — но ведь я не веду войны с русскими; если это случится, ну, тогда мы увидим. Теперь же вопрос идет только о войне с Англией».

Тем не менее, он задал много вопросов о шведской армии, осведомился о ее организации, о ее боевой ценности, и кончил тем, что указал план поведения, какого, по его мнению, следует придерживаться принцу. Он сказал, что как во внешней, так и во внутренней политике принц не должен компрометировать себя бесполезными интригами, а должен ждать благоприятного времени и быть осторожным. «Ему следует идти прямо своей дорогой и при первой же возможности доставить военную славу своей стране. Все партии смолкнут и сгруппируются около того принца, который прославит свою страну. А у принца есть все, что нужно для этого. Он умеет командовать армией; он может сделать славные дела»[1]. Итак, в этих замаскированных словах принцу предлагалось — как лучшее средство, установить свою популярность и обеспечить свое положение — блестящее дело по ту сторону Балтийскогоморя, т. е. война против традиционного врага Швеции. Бернадоту, мечтавшему неправедным путем присвоить себе Норвегию, он указал на Финляндию, предлагая приобрести ее открытой силой, но позволял предвидеть эту цель только в далеком и туманном будущем.

Это заявление о неприемлемости, чего Бернадот вовсе не ожидал, не обескуражило его. Он счел долгом упорно настаивать на своей просьбе, тем более, что одно событие внутреннего порядка возложило на него судьбы Швеции. Совсем больной, с каждым днем слабеющий король назначил его регентом. Облеченный отныне королевскими прерогативами, сознавая, что вместе с властью возрастает и его ответственность, Карл-Иоанн с упорством фанатика предался мысли немедленно доставить шведам какую-нибудь выгоду, которая

[1] Отчет об этом разговоре находится в письме Женти-де-Сент-Альфонса к Бернадоту от 19 февраля 1811 г. Копия с него находится в национальных архивах со следующей пометкой: «Это письмо написано шведскому наследному принцу его адъютантом Женти. Так как лицо, которому оно было поручено, должно было уехать только в субботу (завтра), то письмо успели выкрасть, снять копию, снова запечатать и незаметно положить на место». AF. IV, 1700.

заставила бы смолкнуть оппозицию. За предметом их удовлетворения он прибыл к императору, верховному распределителю всех благ мира. Он умолял его, преследовал его всевозможными способами и без устали просил, назойливо протягивая руку.

Не было средств, к которым бы он ни прибегал, чтобы заставить принять свои требования. Чтобы сделать их более приемлемыми, он сократил их. Запросив сперва всю Норвегию целиком, он готов был удовольствоваться северной ее частью, епископством Тронтгеймом с его угодьями. Затем пошли любезности всякого рода, ласковые слова, бесконечные знаки внимания. Он предложил моряков — вполне снаряженный полк, обещал наложить арест на английские товары, обещал употребить против контрабандной торговли примерные строгие меры. В течение трех месяцев он не переставал давать обещания[1]. В промежутках между своими требованиями и обещаниями он давал понять, что Россия прилагает все старания привлечь его на свою сторону. Он приказал сказать Алькиеру, что император Александр предлагает ему часть Финляндии. Это была ложь[2]. Стараясь показать, что его осаждают с предложениями, которых в действительности он не получал, он надеялся возбудить соревнование Франции и добиться надбавки.

Но его уловки не трогали императора. Ни пущенный в ход прием подзадоривания, ни его многоречивые просьбы не обладали даром вывести Наполеона из занятого положения. Он по-прежнему и слышать не хотел о Норвегии. До тех пор, пока ему важно было поддерживать добрые отношения с Россией, пока он считал нужным держаться выжидательной политики, он решил не вступать в переговоры с Бернадотом. Не доверяя человеку, не умевшему обуздать ни своих мыслей, ни своего языка, он стал смотреть на него, как на самого неудобного союзника. Они расходились не только относительно предмета соглашения, но, и это, главное, относительно момента для соглашения. В инструкциях своему представителю в Швеции Наполеон постоянно запрещает тому соглашаться на что бы то

---

[1] Алькиер Шампаньи, 12, 20, 22 и 27 марта, 30 мая.

[2] В переписке шведского посланника в Россию, которая хранится в архивах Стокгольма и с которой мы познакомились, нигде не упоминается о подобном предложении.

ни было в настоящий момент, ни в чем не отказывая наотрез в будущем. Он приказывает поддерживать надежды шведов, направляя их в полезную сторону, т. е. на Финляндию; но Алькиер должен пустить в дело все свое искусство, чтобы выполнить это осторожно и с чувством меры. Главная же задача в настоящее время — это не давать России повода к тревоге. Наш посланник должен опровергать всякий слух о разрыве между императорами; должен жить в дружбе со своим русским коллегой. Не проповедуя шведам забвения и прощения обид, он должен советовать им не спешить с требованием возврата Финляндии и отклонять их от несвоевременного вызова. «Не подстрекать, а успокаивать; разоружать, а не вооружать»[1] — вот в чем должна быть его задача.

IV

Воздерживаясь временно от побочных союзов, Наполеон сохранял за собой возможность вернуться к России и с полным правом сослаться на то, что не менял своего направления; что твердо держится избранного пути и не связан никаким союзом, помимо союза, заключенного в счастливые дни Тильзита и Эрфурта[2]. Он постоянно высказывает желание сохранить союз, укрепить его и вернуть ему прежние силу и блеск. Высказав такое желание, он уже не боится смело приступить к рассмотрению возникших недоразумений и делает их предметом горячих прений... Предлагая вознаградить герцога Ольденбургского, он просит Россию, если она не считает Эрфурт приемлемым возмещением, указать ему другое; но при этом ссылается на собственные обиды и в резких выражениях указывает на их тяжесть. Его речь представляет сочетание правдивости с хитростью; среди коварных приемов усыпляющей политики в ней прорываются откровенно грубые признания. Скрывая свои военные приготовления, всеми способами стараясь распространить мнение, что еще не готовится к войне, он везде и во всеуслышание заявляет, что начнет ее, — начнет тотчас же, если император Александр подпишет мир с англичанами. Он не скрывает, что целый

---

[1] Corresp., 17386.

[2] См. его инструкцию от 17 февраля герцогу Виченцы. Corresp., 17366.

ряд подмеченных им в течение нескольких месяцев симптомов в состоянии возбудить в нем опасения подобного нарушения законных требований союза. Этими предостережениями и угрозами он надеется застращать Россию, задержать или даже остановить ее стремление к Англии и, быть может, вернуть ее на путь истинный.

Повод к страстным, напыщенным заявлениям дает ему, прежде всего, указ. По его словам, эта мера нанесла удар самым чувствительным сторонам его политики — его заботам о благосостоянии подданых, в особенности попечениям о их славе и их достоинстве. Не без основания можно думать, что он нарочно преувеличивает вполне понятное неудовольствие и искусственно возбуждает свой гнев; что он пользуется этим, как средством ускользнуть от упреков, которые Россия вправе сделать ему по поводу Ольденбурга[1]. Чтобы замять дело, которое он сам заварил, и беззаконие, которое он отлично сознает, он всячески старается выдвинуть на первый план другое дело, в котором он несомненно прав. Он преувеличивает его значение, придает резкий оттенок своим словам, возвышает голос. Чтобы не защищаться, он прибегает к нападению; чтобы заглушить жалобы России, он сам жалуется и кричит громче ее. В марте он приказывает отправить герцогу Виченцы разработанный им самим грозный обвинительный акт, который должен быть предъявлен петербургскому кабинету по поводу указа. Он загромождает его звучными междометиями, высокопарными восклицаниями, бьющими на эффект фразами. Похоже на то, что для составления этой дипломатической тирады он брал уроки у Тальма.

«Жалуйтесь, милостивый государь, на поведение России и, главным образом, на столь малодружественный указ от 19—31 декабря, — пишет, по приказанию императора, Шампаньи Коленкуру. И в самом деле, — говорит он, — можно ли представить себе мирное, а тем более союзное положение, когда одна из союзных наций сжигает все ввозимые к ней произведения другой нации? К какому результату могут привести подобные аутодафе? Разве считают нас за нацию, глухую к голосу чести? Люди, которые советуют русскому импера-

[1] Эта мысль ясно выступает в составленном 12 февраля 1811 г. проекте инструкции герцогу Виченцы, Archives nationales, AF, IV, 1699.

тору эти меры, есть люди вероломные, злоупотребляющие его характером. Они отлично понимают, что сжигать лионские материи — значит, отчуждать одну нацию от другой; они знают, что отныне война будет зависеть от малейшего дуновения ветерка».

«...Итак, торговых сношений между обеими империями больше не существует. Разве это мир и союз? Такие ли мысли были у русского императора в Тильзите? Такие ли чувства привели его в Эрфурт? Император Александр отлично знает, какие поступки могут нравиться и иметь успех во Франции. Он пошел на эти меры только потому, что его ожесточили, представляя ему дело в превратном виде. Сколько зла может наделать указ! Везде смотрят на него, как на враждебную меру. Пусть не защищают его, говоря, что каждый вправе делать у себя дома, что ему нравится. Если бы в Париже стали оскорблять русских, если бы стали издеваться над ними в наших театрах, если бы французы и русские с ожесточением занялись уничтожением продуктов и изделий союзной страны, сказал ли бы кто-либо, что, поступая таким образом, пользуются только законным правом? И подобные обиды наносятся не только при мирном положении, но при существовании самого тесного союза! Император мне сказал, что он скорее предпочел бы получить пощечину, чем видеть, как сжигаются изделия и произведения промышленности его подданных. Нет! Подобные поступки могла внушить только ненависть. Французская нация — нация восприимчивая и пылкая; она очень чувствительна к вопросам чести; она сочтет за бесчестие, если будут сжигать то, что идет из Франции»[1].

В инструкции было прибавлено, что, хотя император крайне раздражен, но что из-за указа он не начнет войны. Он удовольствуется тем, что будет держаться относительно русских закона око за око и, не касаясь политических отношений, будет сжигать их товары. Но, говорится далее в инструкции, будет ли он в состоянии поддерживать мысль о существовании союза в уме своих подданных, поистине дошедших до высокой степени раздражения? Будет ли он в состоянии бороться с негодованием и возмущением общественного мнения? «Великие государства, а в особености великие нации, не столь увлекаются корыстью, сколько

[1] Archives des affaires étrangères, Russie, 152.

вопросами чести. Поэтому-то император особенно обеспокоен той взаимной враждой , которая должна будет вспыхнуть при одном уже созерцании зрелища, как будут сжигаться французские товары в России, а русские во Франции. Что может быть проще для натравливания друг на друга обеих наций, и будет ли во власти тех, кто ими управляет, оказать противодействие последствиям слепого озлобления». Не будет ли император поставлен в необходимость под давлением общественного мнения порвать с государством, которое, по его мнению, привязано к нему неразрывными узами и которое ему угодно было усилить собственными руками? «Неужели в награду за эту великую услугу император вынужден будет объявить России войну, чтобы спасти свою честь и во избежание упрека, что на вершине своей славы примирился с тем, чего не перенес бы уснувший в объятиях мадам Дюбарри Людовик XVI!».

Несмотря на то, что негодование Наполеона вылилось в столь красноречивом потоке, он слишком хорошо знал свои интересы и настоящее положение своих сил, чтобы не требовать отмены указа. Он сознавал, что император Александр никогда не согласится по предписанию, идущему из-за границы, отменить меру внутреннего законодательства; что такое требование преждевременно ускорит разрыв, поэтому он требует только, чтобы не приводилось в исполнение самое возмутительное в предписанях указа, — чтобы приказание сжигать наши товары осталось мертвой буквой. «Добейтесь, милостивый государь, — говорится далее в инструкции, — секретного обещания, что сжигание не будет применяться к французским товарам. Императору небходимо быть успокоенным относительно этого вопроса, чтобы установить на твердых началах политику, сильно расшатанную столь недружелюбным актом».

Далее ставится вопрос, пожелает ли Россия дать нам более полное удовлетворение, и указывается, что она может сделать это, не прибегая к унизительному для нее отречению от статей указа, ибо — в ожидании составления торгового трактата, на основании которого надлежало установить экономические отношения — тильзитский договор восстановлял их в том виде, как они были до войны. Запрещая ввоз французских товаров, указ нарушил статью договора, но от Александра зависит снова вступить на законный путь:

следует только дать согласие на переговоры и заключить торговый трактат, точно предусмотренный политическим договором. Торговый трактат повлечет за собой изменение обеими сторонами действующих тарифов, не вынуждая русское правительство путем одностороннней и необычной меры отрекаться от постановлений указа. «При обсуждении торгового трактата, говорится далее, император будет уступчив. Например, он допустил следующую статью: сукна, шелк, драгоценные вещи и предметы роскоши могут ввозиться в Россию: 1) если они французского производства; 2) при условии вывоза из России на равную сумму дерева, пеньки, железа, золота и других произведений». Таким образом, часть нашего производства снова найдет сбыт на Севере, не давая в общем прибыли ни той, ни другой нации, так как цифра ввоза будет строго пропорциональна цифре вывоза; торговый баланс никогда не будет нарушаться в ущерб России, но и Франция не будет под угрозой оскорбительного исключения.

Побудить начать переговоры о торговом трактате — вот к чему должны быть направлены усилия посланника. Пусть он настаивает на этом министерстве, и в разговорах с государем, но в разных выражениях. В министерстве он должен пользоваться сильными доводами и выражениями, данными в инструкции; с царем же стать на иную почву. В беседах с ним он должен дать почувствовать, что сдерживает свое негодование; должен обращаться, главным образом, к чувствам, к воспоминаниям, которые, может быть, сохранили еще некоторое влияние на ум государя. «Разговаривая с императором Александром, обращайтесь также к его сердцу; затроньте его честь и чувствительное сердце. Скажите ему, что государь, которого он ставит в тяжелое положение — тот самый, который, по его собственному признанию, оказал ему большую услугу; тот, которому он сказал в Тильзите в день, который рассматривал как годовщину Полтавы: «Вы спасли русское государство».

В своих личных сношениях с Александром Наполеон всегда старается играть на его чувствительных струнках. Он не хочет прерывать с ним непосредственной переписки и 28 февраля поручает Чернышеву отвезти царю длинное письмо. Оно составлено с удивительным искусством, тем более глубоким, что император старается придать своим словам характер грубой откровен-

ности. Рассыпаясь в уверениях и рассуждениях, имеющих успокоительное значение, Наполеон откровенно высказывает свои обиды и не скрывает последствий, которые вызовет сближение с англичанами. Но все сказано так просто, так естественно, с таким удачным сочетанием кротости и твердости, что нужно быть очень подозрительным и недоверчивым, чтобы между строк искать неблаговидные намерения.

Письмо начинается в нежно-грустном тоне. «Поручаю графу Чернышеву сказать Вашему Величеству о моих чувствах к вам. Мои чувства не изменятся, хотя я не могу скрыть от себя, что Ваше Величество уже не относится ко мне с прежней дружбой. Вы приказываете передавать мне протесты и делаете всякого рода затруднения насчет Ольденбурга, не считаясь с тем, что географическое положение этой страны, которая всегда была центром контрабанды с Англией, ставит меня в необходимость для блага моей империи и ради успеха начатой мною борьбы присоединить Ольденбург к моему государству, и, невзирая на то, что я не прочь дать соответствующее вознаграждение. Последний указ Вашего Величества, по существу, а, главным образом, по форме, направлен исключительно против Франции... Таков взгляд всей Европы, и в глазах Англии и Европы наш союз не существует более. Конечно, если бы он неизменно существовал в душе Вашего Величества, как существует в моей душе, это общее мнение не было бы большим несчастьем».

«Да позволит мне Ваше Величество высказаться откровенно. Вы забыли, сколько пользы извлекли из союза, но проследите все события со времени Тильзита...». Здесь Наполеон в сильных выражениях напоминает, как ради России пожертвовал нашими исконными союзниками, как отдал прекраснейшую провинцию Швеции, отдал Валахию и Молдавию — «огромное приобретение, целую треть европейской Турции». — Наушники, направленные Англией, — продолжал он, — прожужжали Вашему Величеству все уши злостными намеками. Они говорят, будто я хочу восстановить Польшу. Никто не помешал бы мне сделать это в Тильзите: чрез двенадцать дней после битвы при Фридланде я мог быть в Вильне. Если бы я хотел восстановить Польшу, я мог бы заручиться согласием Австрии в Вене; она просила о сохранении за нею ее старых провинций и сообщений с морем, предлагая перенести все

жертвы на свои польские владения. Я мог бы сделать это в 1810 г., в то время, когда все русские войска были заняты против Порты. Я мог бы сделать это еще и теперь, не дожидаясь, чтобы Ваше Величество закончили войну с Портой миром, который, вероятно, будет заключен в течение этого лета. Я не воспользовался ни одним из этих указанных обстоятельств, следовательно, восстановление Польши не входит в мои планы. Но раз я ни на йоту не хочу изменять положения Польши, я вправе требовать, чтобы никто не вмешивался в мои дела по эту сторону Эльбы. Однако, не подлежит сомнению, что наши враги действуют успешно. Укрепления, которые приказано воздвигнуть Вашим Величеством в двадцати местах на Двине, протесты, высказанные князем Куракиным по поводу Ольденбурга и, наконец, указ — ясно доказывают это. Что же касается меня, я остаюсь по отношению к вам все тем же, но меня угнетает очевидное значение этих фактов и мысль, что Ваше Величество намерены, лишь только позволят обстоятельства, войти в соглашение с Англией, а это значит вызвать между нашими империями войну. Очевидно, что если Ваше Величество откажется от союза со мной и сожжет тильзитский договор, следствием этого будет война, несколькими месяцами раньше или позже. Чтобы подготовиться к ней, потребуются с той и другой стороны напряжения всех средств обеих империй. Конечно, все это крайне прискорбно. Если Ваше Величество не намерены примириться с Англией, вы поймете, что необходимо, как для вас, так и для меня, рассеять эти тучи. Прошу Ваше Величество прочесть это письмо без задней мысли и видеть в нем только желание прийти к соглашению, желание устранить с обеих сторон всяческое недоверие и во всех отношениях вернуть обе нации к той близости союза, которая так счастливо существует почти четыре года»[1].

Итак, возврат к прошлому путем соглашения по спорным вопросам — вот задача, к решению которой Наполеон приглашал Александра. Однако, допуская, что Наполеон добился бы торгового трактата и что дело Ольденбурга было бы окончено принятием вознаграждения, заявил ли бы он, а главное, считал ли бы

[1] Corresp., 17395.

себя удовлетворенным вполне? Разве не было у него затаенной, постоянно существующей претензии? Разве не было у него, как и у Александра, скрытой обиды, более тяжкой, чем все остальные? Стоит только поглубже вникнуть в его политику, заглянуть в тайные изгибы его мысли, чтобы найти эту обиду.

В глубине души он ставил русским в упрек не столько то, что они закрыли свои границы нашим товарам, сколько то, что открыли гавани британским — тем колониальным продуктам, которые привозились к ним так называемыми нейтральными судами и которые Англия, под опасением банкротства и позорного разорения, должна была сбыть во что бы то ни стало. Спасая таким потворством наших врагов, Александр только обходил, а не нарушал условия союза. Эти условия, обязывая его быть врагом наших врагов, предписывали ему прогнать английские суда, но не запрещали принимать нейтральных. Без сомнения, Наполеон был прав, сто раз прав, утверждая, что нейтральных судов не существует с тех пор, как Англия стала выдавать разрешения на свободное плавание только тем судам, которые соглашались плавать за ее счет, которые вывозили принадлежащие ей колониальные товары и сделались ее агентами, помощниками и сообщниками. Его взгляд основывался на верной оценке фактов, но не мог быть юридически доказан на деле. Ввиду того, что в прошлом году императору не удалось никакими доводами убедить Александра принять его взгляды, он воздерживался теперь возвращаться к этому вопросу; он не хотел требовать того, чего не в состоянии был предписать[1]. Он избегал говорить о главном своем требовании раньше, чем овладеет достаточной территорией в Германии и снова займет по отношению к России положение настолько сильное, чтобы русский двор мог взвесить последствия отказа и не рисковать с легким сердцем. Затягивая в настоящее время спор по второстепенным вопросам, он старается выиграть время, чтобы закончить свои вооружения. Пользуясь предварительными переговорами, он подготовляет пути к

[1] По этому поводу см. конфиденциальное письмо министра иностранных дел к нашему посланнику в России, от 19 ноября 1811 г.

более определенной сделке, на тот случай, если бы размышления и планы Александра сделали ее возможной в будущем.

Итак, нельзя сказать, чтобы из его сношений с Россией было устранено всякое доброе чувство. Он ведет переговоры с искренним желанием успеха, но уже не верит в успех, ибо отлично понимает, что царь слишком отдалился от него, чтобы когда-нибудь искренне всецело и безропотно вернуться к нему и подчиниться условиям, которых требует возобновление союза. Кроме того, он сознает, что несмотря ни на что, Англия продолжает сеять раздор в Европе, что она оспаривает ее у него. Он знает, что эта ненавистная ему, но великая Англия одарена таинственной, как бы магнетической силой; он чувствует, что именно в ее руках тот неотразимый магнит, который влечет и притягивает к себе одно за другим все государства, лишь только он сам перестает держать их в материальной и моральной зависимости: Россия уже вне сферы его влияния. Он делает из этого вывод, что она близка к переходу на сторону врага, к союзу с нашим противником; что в конце концов она пойдет тем же путем, каким шла Пруссия в 1806 г. и позднее Австрия. Стоит только прочесть письмо Наполеона от 2 апреля к вюртембергскому королю: в нем легко найти этот взгляд; в нем он выводит и превосходно развивает его на основании текущих событий.

Извещенный о наших военных приготовлениях, призванный принять в них участие, вюртембергский король смело представил свои возражения и указал на опасность нового конфликта. Наполеон настолько уважал его, что снизошел до объяснений с ним и отчасти открыл ему свои мысли. Он напомнил, «что в России только один император против Англии и только он один стоит за союз». Но, что по некоторым важным признакам видно, что русский государь уже не борется с охватившими его со всех сторон враждебными нам течениями, что он уступает давлению окружающей его атмосферы, и, может быть, настолько далеко зашел в своей уступчивости, что не в силах будет вернуть себе свободу действий, допуская даже, что в один прекрасный день глаза его и откроются, и он поймет опасность. «Отношения между великими нациями, — пишет он, — определяются поведением правителей, но их неудержимо несет за собой поток общественного мнения. Прус-

ский король не мешал стремлению к войне, когда до нее было еще далеко. Он хотел предотвратить ее, когда это было уже не в его власти, и плакал в предчувствии последствий. То же самое было и с австрийским императором; он допустил вооружение ландвера; а это, лишь только вооружение ландвера закончилось, увлекло его в войну. Я недалек от мысли, что то же самое может случиться и с императором Александром. Русский император уже далек от духа Тильзита, ибо все идеи о войне идут из России. Если император желает войны, настроение общественного мнения совпадает с его намерениями. Если же он против войны, но не остановит быстро этого течения, то на будущий год, помимо своей воли, будет увлечен в войну. Война вспыхнет вопреки его желанию, вопреки моему, вопреки интересам Франции и России. Мне слишком часто приходилось видеть это, чтобы мой опыт не раскрыл предо мной такого будущего. Все это оперные подмостки, за которыми орудуют англичане. Если что-нибудь может помочь в этом положении, то только мое откровенное объяснение с Россией... Раз я не хочу войны и, в особенности, если я очень далек от желания быть ради Польши Дон-Кихотом, я вправе требовать, чтобы Россия оставалась верна союзу, и должен принять меры, чтобы по окончании ее войны с Турцией — что, вероятно, случится этим летом — не позволить ей сказать мне: «Я отказываюсь от союза и заключаю мир с Англией». Со стороны императора это будет равносильно объявлению мне войны, ибо если я сам не заявлю о разрыве, англичане, найдя способ изменить союз в нейтралитет, конечно, найдут способ превратить нейтралитет в войну. Сохраним ли мы мир? Я все еще надеюсь на это, но необходимо вооружиться...»[1].

Но что бы он ни говорил, хотел ли он — положа руку на сердце — избегнуть кризиса? Правда он далек от того, чтобы не признавать его значения и опасностей. Кроме того, и сам он уже не тот, что был. Он не чувствует уже влечения к войне и к ее трагической обстановке. Он находит, что достаточно подвергался риску, достаточно пожал лавров. Иногда на него нападает нечто вроде страха при мысли скомпрометировать свое славное достояние. Но он все-таки говорит себе, что для достижения высших целей его политики нет такой сделки, как бы удовлетворительна она ни была, которая могла бы заменить победоносную кампанию, ибо только такая кампания далеко отбросит русских и устранит их из Европы, перед которым никто не посмеет пикнуть, только тогда Англия лишится надежды находить союзников на континенте и поддерживать распри, только тогда она поймет бесполезность борьбы и покорно преклонится перед ним, — только тогда иссякнет источник войн, настанет всеобщий мир, и Франция отдохнет на высоте могущества и славы.

[1] Corresp., 17553.

Для придания большей силы этим доводам, вытекающим из потребностей настоящего момента, Наполеон изыскивает и находит основательные поводы к войне, обращая свои взоры к потребностям будущего. По обыкновению его воображение строит теории, исходя из текущих требований его политики, он создает прекрасное и величественное здание, покоящееся на положительных данных настоящего времени и пророческом предвидении будущего, и сам поддается его очарованию. Он чувствует, что будущее принадлежит государствам с обширной территорией, с громадным населением. Он видел, что в то время, как он завоевывал Европу, Англия вознаграждала себя за счет всего света — завоевывала моря, хозяйничала на них, присваивала себе все колонии, захватывала владения на самых отдаленных материках. С другой стороны, он видит, как Россия ежегодно усиливается на пятьсот тысяч душ — прирост, который дают ее жители, как выступает на горизонте океан ее невежественных бедных подданных — этот неисчерпаемый источник живого материала, который в один прекрасный день может хлынуть на Европу и погребсти ее под своими волнами. Как ни гордится Европа своей утонченной цивилизацией, своим исконным первенством, но в один прекрасный день, очутившись между двумя растущими бок о бок с нею колоссами, она увидит, как она мала, как ничтожна и в какой находится опасности Не должна ли она воспользоваться моментом, когда бог войны поставил ее под начало величайшего вождя, когда он вручил ему власть диктатора? Не должна ли она оттеснить Россию и сломить Англию? Не предназначен ли наследник Цезарей, Наполеон, взять на себя их задачу? Не его ли дело, став во главе своих легионов,

обуздать северных варваров, воздвигнуть против них преграды из государств, исключительного военного склада, воссоздать древние военные округа и поставить их на страже на границах Европы? Не в этом ли венец его трудов, не возложено ли на него выполнить эту задачу божественной прозорливости, которая должна обеспечить безопасность грядущих поколений и безмятежное царствование его сына?[1]

Все влечет его к этому: и его склад южанина, заставляющий его смотреть на Север, как на страну варваров, и его взгляд на обязанности императора, близкий к понятиям древних римлян и Карла V, и даже возврат к политике старого режима, которая уже несколько лет искушает его ум и льстит его гордости. Желая уподобиться Бурбонам, он заключил в 1810 г. брачный союз с Австрией. Он не понимал того, что взять себе жену из Вены, соединиться кровными узами с униженной, искалеченной им Австрией — ему, коронованному солдату, — значило сочетаться с изменой. Те же уцелевшие среди пожара революции и забравшие власть над его умом традиции версальского кабинета наводят его на мысль изгнать в Азию Россию, вторжение которой в круг великих держав расстроило старую политическую систему Европы — ту систему, которая создана была мудрой политикой наших королей и министров. Людовик XV в течение почти всего своего царствования, по временам и Людовик XVI и их самые знаменитые советники считали необходимым положить предел русскому напору; они старались противопоставить ему тесный союз из группы государств, мечтали устроить плотину из твердо поставленных на ноги и тесно связанных друг с другом Швеции, Польши и Турции. Несмотря на их упорство, они тщетно трудились над этой задачей, и, тем не менее, Наполеон уверен, что будет иметь успех там, где они потерпели неудачу. Он думает, что он настолько силен, что может воскресить трупы, вдохнуть жизнь в нежизнеспособные разлагающиеся государства. И вот политика императора, взоры которого пророчески проникают в отдаленные тайны будущего, возвращается к отжившим средствам, носится с надеждами возродить безвозвратно погибшее. Он гоняется за волшебными, несбыточными очарованиями Римской империи, которые сбивают его с пути, и параллельно вдохновляется традициями последних Бурбонов, заимствуя от них отжившие принципы. Его великое предприятие зиждется на сочетании двух анахронизмов. «Бывают времена и обстоятельства, — пишет один из его министров, мудрый Моллиен, — когда анахронизм убийствен»[1].

Вот над чем работает его ум с первых месяцев 1811 г., вот что толкает его смотреть на вероятную войну с Россией, как на предназначенное ему великое и самое важное дело; вот какие мотивы побуждают его направлять к этой цели все свои расчеты, все свои мысли и заставляют его незаметно перенести с юго-запада на северо-восток всю совокупность своих военных сил. Впрочем, так как он всегда подчинял свои фантазии практическим соображениям и умел, когда нужно, обуздать их полет, он остановился бы, если бы император Александр оказал ему против Англии действительную помощь. В сущности, он не просит ничего такого, чего не был бы вправе требовать в силу заключенного соглашения; ничего такого, что не отвечало бы букве или духу договоров. Но то право, на которое он ссылается и вправе ссылаться, создано им самим, ради своей пользы; оно выковано его шпагой, ибо союзные договоры, с обязательством оказывать ему содействие, были для побежденных результатом поражения; они носили принудительный характер, характер насилия, а принуждение дает результаты только при условии постоянного воздействия и новых насилий. Между правом Наполеона и естественным правом государств — руководствоваться своими насущными интересами и склонностями — был неразрешимый разлад. Право Наполеона, основанное, естественно, на победе, исключавшей самую возможность добровольного соглашения, только и могло поддерживаться новыми победами. В настоящее время Наполеон хочет стать в то положение, в каком он был в 1807 г. после победы под Фридландом, и решил возобновить войну, если иным путем ему не удастся сохранить выгод и безопасности, доставленных ему войной с Россией. Следовательно, он остается верен самому себе. Он неуклонно и искренне идет по великим стезям своей политики, меняя только, в за-

[1] Неизданные документы. Cf. au fome VI des Commentaires de Napoléon I-er la note XII, 117—118.

[1] Mémoires de Mollien, III, 290.

висимости от обстоятельств, свои приемы: он то вспыльчив и суров, то ласков и обольстителен, часто коварен, хитер и притворщик, каких мало. Он вполне прав, подозревая, что Александр обманывает его, что он никогда чистосердечно не вернется к союзу. Поэтому он готовится на будущий год к походу на Север, готовится медленно, коварно. Он хочет незаметно проскользнуть через Германию, хочет подползти неслышно со всеми своими силами к России, чтобы, внезапно поднявшись, броситься на нее и поразить. Все его усилия направлены к тому, чтобы обеспечить за собой возможность и выгоды первого нападения. Он и не подозревает, что у царя, возмущение которого против него зашло гораздо дальше, чем он думает, создался такой же план, как и у него, и что в настоящее время он готовится привести его в исполнение. Наполеон хочет предупредить противника, в действительности же противник уже предупредил его. Война с Россией, которую он рассчитывает вести через двенадцать или пятнадцать месяцев, уже стоит перед ним, — Россия угрожает ему и готова напасть на него. Ничего этого он не видит. Ему неизвестно, что Александр опередил его на целый год и на целую армию.

III

СРЕДСТВО К СОГЛАШЕНИЮ



Приближение русских армий к границе. Поход в герцогство Варшавскому. — Сборные пункты. — От дунайской армии отделяется несколько дивизий. — Предосторожности для обеспечения тайны военных приготовлений. — Строгая охрана границы. — Резервы. — Слухи в Петербурге и в польских провинциях. — Неутешительные сообщения Чарторижского. — Непоколебимая верность командиров варшавских войск. — Австрия уклоняется от союза и даже от обещания соблюдать нейтралитет. — Влияние эрцгерцога Карла проявляется в духе, враждебном России. — Какое придумано средство заручиться его содействием, или, в крайнем случае, обезвредить его влияние. — Женская дипломатия. Намеки Штакельберга по поводу возможного вступления русских в Галицию. — Меттерних добивается права составить угрожающий ответ. — Разочарования Александра. — Он откладывает выполнение своего плана. — Канцлер Румянцев восхваляет политику сближения с Францией. — Он думает, что нашел способ решения. — Мысль просить у Наполеона в возмещение за Ольденбург часть варшавской территории. — Александр соглашается на попытку к примирению на этой основе. — Необыкновенный характер предстоящих переговоров. — Русский государь и его министр хотят говорить только полусловами и намеками. — Коленкуру предлагают загадку и дают данные для ее решения. — Царь поручает Чернышеву письмо к императору; оно написано с большим достоинством и искусством. Метафора графа

Румянцева. — Коленкур получает сообщение о своем отозвании, но до приезда заместителя, генерала графа Лористона, остается в Петербурге. — Александр действует со свойственным ему обаянием. — Отъезд Чернышева в Париж.

В марте русские войска готовы были приступить к выполнению грандиозного плана, т. е. к занятию Польши, если бы она пошла им навстречу. Армия, назначенная для начала операций, шла по Двине, имея впереди себя сильный авангард. Она двинулась на юго-запад, в смежные с герцогством Варшавским Литву и Подолию, и шла большими переходами, широко развернутым фронтом, скрытая за густыми лесами и песчаными холмами. Стоявшие в тылу у нее — в Финляндии — войска покидали свои стоянки и пробирались вдоль побережья к Курляндии, чтобы оттуда перейти в Польшу. Вблизи границы были намечены сборные пункты: Вильна, Гродно, Бржеск и Белосток[1]. В намеченных местах устраивались магазины, продовольственные склады, склады боевых припасов. Местные власти заготовляли квартиры и провиант для войск, о приходе которых им было объявлено заранее. На Немане и Буге были собраны лодки, барки и все, что нужно для облегчения переправы[2]. Предполагалось устроить главную квартиру в Слониме, на юге от Вильны. Командирами главных корпусов назначены были генералы Эссен, Дохтуров и Каменский. Предварительно они были вызваны в Петербург, где и получили инструкции[3].

[1] Переписка французского дипломатического агента в Варшаве, март и апрель 1811 г., passim; переписка со Швецией за те же месяцы; депеши Штединга, с января по июнь 1811 г., archives du royaume de Suéde; сведения, переданные Даву и Раппом, archives nationales, AF, IV, 1653.

[2] Донесения Даву от 31 марта. Archives natinales, AF, IV, 1653.

[3] Депеша Штединга, 16—28 января. Алькиер писал из Стокгольма 25 февраля, по рассказу, идущему из России: «Есть указания на то (привожу собственные слова рассказчика), что недавно генералу Моро было сделано предложение приехать и взять на себя командование русской армией». Возможно, что это было вымышленно и, по меньшей мере, сильно преувеличено; тем не менее, довольно любопытно, что уже в 1811 г. были в ходу мысли, которым суждено было осуществиться в 1813 г.

Одновременно с движением войск с севера на юг шли на соединение с ними, согласно выработанному плану кампании, войска и с юга на север. Дунайская армия, повернутая до сих пор фронтом к туркам, зимовала в Молдавии. Несколько дивизий этой армии снялись с квартир, и, круто переменив фронт, пошли по направлению к Подолии и Волыни, чтобы присоединиться к пришедшим с севера войскам и стать на их левом фланге. В письмах к Чарторижскому Александр говорил о выделении некоторых частей из войск на Восток только предположительно. «Молдавская армия, — писал он, — могла бы также отделить несколько дивизий, не теряя из-за этого возможности держаться оборонительно»[1]. Идя далее своих обещаний, он, чтобы укрепить центр, ослаблял фланги, не останавливаясь даже перед тем, что Финляндия может подвергнуться опасности и придется отложить мир с турками. Итак, «предназначенная сражаться вместе с поляками армия», доведя до полного комплекта наличный состав своих частей, усиленная добавочными корпусами, становилась в линию, строясь по дивизиям от Балтийского моря до Днепра.

Все эти операции были окружены глубочайшей тайной. Часто войска не шли обычным путем — столбовыми дорогами. Разбитые на многочисленные, разбросанные на громадном пространстве отряды, они шли батальонами или даже ротами, пробираясь «проселочными дорогами, такими, которые никогда не были военными путями»[2]. Чтобы герметически запереть и замуровать границы, чтобы закрыть ходы и выходы и защититься от шпионов, были приняты самые строгие меры предосторожности. Вдоль всей границы под предлогом необходимости усилить таможенный надзор и лучше обеспечить строгое исполнение запретительных постановлений были расставлены казачьи отряды. Кавалерийские пикеты, соединенные друг с другом патрулями, разъезжавшими день и ночь, охраняли все ходы и выходы. Внутри страны, даже на довольно большом расстоянии от границы, по дорогам «на каждой версте» стояли посты. Они останавливали путешественников осматривали их вещи, рылись в бумагах, требовали для

[1] Memoires de Czartoryski, II. 273.

[2] Депеша французского дипломатического агента в Варшаве, Биньона от 11 мая.

удостоверения личности паспорта[1]. Вот под какой густой завесой наполнялись войсками Литва, Волынь и Подолия.

Позади этих губерний комплектовалась и готовилась выступить в поход вспомогательная армия. Ничего не было упущено для усиления ее наличного состава. Местные команды превращались в боевые части, крепостные батальоны — в линейные. Из внутренних губерний России прибывали новые войска, набирались резервы. В местах стоянок войск стекалось невероятное количество рекрутов; начальство без устали работало, чтобы обтесать и обучить их военному делу. Несмотря на приказ соблюдать тайну, вскоре в столице стали ходить сенсационные слухи. Поговаривали, что гвардейские полки ждали только приказа, чтобы выступить в поход вместе со второй армией; что великий князь Константин отбыл в Финляндию на инспекторский смотр уходивших войск, и что, наконец, сам император должен вскоре уехать на границу и там возложить на свою главу польскую корону. Петербургское общество во всеуслышание высказывалось в пользу этого решения, которое отвечало и надеждам, порожденным в Литве. Там много крупных помещиков желали примирения Польши с Россией. Многие из них, члены знатных семейств, испытанные патриоты, были вызваны в Петербург, где были милостиво приняты, обласканы и где им намекнули на это событие[2]. Их воображение разыгралось, головы восторженно были настроены в пользу этого проекта, некоторые дошли до того, что назначали день события. Они решили, что для этого царь изберет 3 мая — годовщину того дня, когда двадцать лет тому назад умирающая Польша провозгласила либеральный и мудрый статут, при котором надеялась ожить[3].

В это-то время, когда внутри государства происходила такая кипучая деятельность, из-за границы пришли самые безотрадные вести. В письмах Чарторижского, с ответами на второе письмо царя, были не только возражения и предсказания затруднений — в них было гораздо больше: они были безусловно отрицательного характера. Из их соедржания, из результатов наведенных князем справок видно было, что знатнейшие магнаты и командиры варшавской армии, мнение которых могло бы увлечь толпу, не поддавались искушению и были неподкупны. Их преданность Наполеону была непоколебима. Подлинный текст писем князя не дошел до нас, но Александр намекает на них в дальнейшей переписке с Чарторижским. «Только что полученные мною от вас письма, говорит он, оставляют мне так мало надежды на успех, что я не могу считать себя вправе действовать, а благоразумие требует, чтобы я решился на этот шаг только при известной вероятности успеха»[1].

На неблагоразумие начать дело указывало ему и поведение Австрии. В Петербурге очень скоро заметили, что Австрия уклоняется от союза. Неизвестно даже, отправлена ли была из Петербурга составленная для переговоров о союзе секретная инструкция от февраля месяца, так как поведение Меттерниха и его правительства делали ее бесполезной[2]. Тогда Александр перешел к другому плану. Он решил, что будет добиваться от Австрии только пассивного соучастия; что попросит ее присутствовать в качестве равнодушной зрительницы при том, что будет происходить вокруг нее; потребует только, чтобы в случае необходимости она допустила учинить над собой лестное насилие и не отказалось от княжеств, если русское правительство предложит их ей, когда решено будет занять для восстановленной Польши Галицию. От имени царя Кошелев предложил австрийскому послу Молдавию до Серета и всю Валахию. Дабы получить от императора Франца обещание соблюдать нейтралитет и выведать его намерения, Александр собственноручно написал ему письмо и поручил Штакельберту на словах дать по этому вопросу разъяснения[3].

Русская колония в Вене изо всех сил поддерживала эти шаги. Женская милиция была поставлена на ноги. Ее деятельности был предоставлен специальный предмет. Сильным врагом России в Австрии был эрцгерцог Карл, пользовавшийся в народе и армии исключительным уважением. Славный противник Наполеона, несмот-

---

[1] Его же депеша от 5 июня, со слов очевидца.
[2] Депеша Биньона от 27 апреля.
[3] Id.

[1] Письмо от 1 апреля. Memoires et Correspondance de Czartoryski, II, 279.
[2] См. по этому вопросу Martens, вышеупомянутый том. 79.
[3] Beer, Orientalische Politik Oesterreich's, p. 250. Memoires de Metternich, II, 417. Martens, 78.

ря на то, что был побежден при Ваграме, искренно примирился со своим победителем и толкал Австрию в сторону Франции. Чтобы изменить его симпатии или, по крайней мере, свести на нет его влияние, задумали женить его, дав ему в жены глубоко преданную России принцессу. Как помнят, у императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, была сестра, которая постоянно жила при ней, принцесса Амелия Баденская. Тотчас же были пущены в ход всякого рода влияния, чтобы приковать этого геркулеса к ногам немного зрелой Омфалы.

Русская императрица вступила в союз с австрийской, имевшей страсть устраивать браки[1] и всей душой отдавшейся этому делу, в котором сумели заинтересовать ландграфиню Баденскую и королеву Баварскую. Эта женская лига поручила духовнику эрцгерцога Карла внушить ему, что ему необходима подруга, дабы оживить его неприглядное существование и покончить со скукой слишком затянувшейся холостой жизни. Главное затруднение состояло в том, чтобы заручиться согласием императора Франца на брак, который мог рассердить его грозного зятя. Чтобы восторжествовать над его опасениями, пустили в ход игру на чувствах. Его уверили, что эрцгерцог Карл безумно влюблен в принцессу Амелию, и добрый император дал себя убедить, что, препятствуя предполагаемому браку, он сделает несчастным своего кузена. Но ввиду того, что ни тот, ни другой из будущих супругов не имели большого состояния, он обещал дать свое согласие только при условии, если найдут способ обеспечить материальное положение, соответствующее их рангу. Он лично не мог взять этого на себя, «так как у него много детей, которых нужно пристроить»[2]. Была только одна возможность удовлетворить это требование, это—обратиться к герцогу Альберту Саксонскому, которому эрцгерцог Карл приходился племянником и был его наследником. Герцог Альберт был богат и стар. У него была любовница, которая имела на него влияние. Эту-то даму и заставили действовать, обратясь к ней через

[1] «Мне нравится, говорила она, когда женятся». Отто Шампаньи, 17 апреля.
[2] Отто Маре, 8 мая.

офицера, которому она благоволила в прежние годы, и в результате герцог обещал обеспечить судьбу своего племянника, выдав ему вперед, в счет наследства, часть имущества. Таким образом, препятствия устранялись одно за другим, и, по-видимому, все шло на лад, как вдруг, еще прежде, чем австрийское правительство решило прекратить дело, по сигналу, пришедшему из Тюльери, крайне сухой ответ Меттерниха на политические предложения России отнял у этого вопроса всякое значение[1].

Предложение Кошелева и письмо царя встревожили Меттерниха. За несколько дней до этого у него был разговор с Штакельбергом, который заставил его призадуматься. Русский посол сообщил ему по секрету, что знает тайну своего государя и, показав ему в доказательство «письмо, написанное целиком» рукой Александра, намекнул на некоторые возможные в будущем обстоятельства. «Во время моего разговора с ним, — писал Меттерних своему повелителю, — я уловил некоторые обороты фразы, заставляющие меня думать, что в один прекрасный день при известных обстоятельствах занятие Галиции может свершиться без нашего согласия»[2]. Это странное открытие взволновало Меттерниха тем более, что пробудило в нем одно воспоминание. Он вспомнил, что в 1805 г. император Александр, потеряв надежду увлечь Пруссию в третью коалицию, имел намерение, невзирая на то, что поддерживал с ней наилучшие отношения, напасть на нее врасплох. Он хотел двинуться на Варшаву — в то время главный город Прусской провинции — и восстановить Польшу в свою пользу, а затем уже идти в Моравию сражаться с французской армией. Этот случай бросал совсем особый свет на теперешние намеки и давал повод думать, что император Александр и теперь лелеет такого же рода план и питает надежду вовлечь в него Австрию, в случае необходимости даже силой. Это было одним из тех резких уклонений в идеях Александра, одним из тех бурных порывов фантазии, примеров которых так много в истории этого непостоянного государя. «Эксцентричный шаг русского кабинета, писал Меттерних, не дает ли нам права допустить возможность того, что казалось бы самой невозможностью?»[3].

[1] См. по этому делу переписку Отто от марта до июля 1811 г.
[2] Memoires de Metternich, II, 418.
[3] Id., 419.

Меттерних не считал возможным слишком решительно впутываться в рискованное предприятие, от которого Австрия могла понести непосредственный, прямой вред, тогда как выгоды его были весьма сомнительны. Он испросил разрешения предупредить Штакельберга, что всякий захват территории будет рассматриваться «как объявление войны», и сверх того в случае надобности заявить, что сосредоточение русских войск возле Галиции и Буковины, слух о чем уже дошел до Вены, кончится тем, что вынудит австрийского императора мобилизовать свои войска и поставить их на военную ногу[1].

Итак, отваживаясь на нападение, Александр столкнулся бы не только с варшавской армией, но и с австрийскими силами. Но и этим не исчерпывались его ошибочные расчеты. В это же самое время он ясно заметил эволюцию Бернадота, который, по всем данным, готовился повернуться к нему спиной и направлял свои взоры к Франции. Кокетничание наследного принца со своим прежним повелителем, его неблаговидные походы, дружба с Алькиером, приказ всем шведским дипломатам стараться быть в наилучших отношениях с французскими коллегами, — все это не могло ускользнуть от проницательности русских агентов. Недовольство Александра по этому поводу сказалось фальшивыми отношениями к стокгольмскому кабинету, и царь сразу же покончил со своими надеждами на Швецию[2].

В Пруссии, где кабинет упорно вел двойственную игру, король проявлял много добрых чувств и мало желания действовать. Он исходил из той мысли, что, рискнув ввязаться в войну, он неизбежно погибнет, если только Пруссия, с тыла поддержанная Россией, не будет при этом поддержана и прикрыта с левого фланга Австрией. Но он знал, что Австрия, безусловно, отказалась вступить в новую коалицию. Мало того, доверяя преувеличенным донесениям, он даже думал, что Меттерних и его повелитель бесповоротно перешли на сторону Наполеона и просили только разрешения изменить европейскому делу. Через тайных посредников он приказал сообщить это в Петербурге и настойчиво советовал быть благоразумными[3]. Сверх того, во многих местах Германии, рядом с упорной ненавистью к Франции, не трудно было заметить течение, неблагоприятное России. Причиной тому был запретительный указ. Закрытием ввоза товаров в Россию по суше эта суровая мера вредила не одной только Франции. Она нанесла существенный вред немецким торговле и промышленности, терявшим один из главных рынков. В промышленных странах, например, в Саксонии, этот экономический разрыв был встречен с негодованием. Он вызвал жалобы и жестокие упреки и навлек на царя своего рода непопулярность[1]. Александр видел, как со всех сторон поднимались и заграждали ему путь непредвиденные преграды.

Под впечатлением этих обрушившихся на него со всех сторон разочарований Александр наложил запрет на свои планы и отступил. За порывистым стремлением к нападению наступил период колебаний и сомнений. Не отказываясь вполне от своего плана, он приостановил его выполнение с тем, чтобы вернуться к нему при лучших условиях. Его письма Чарторижскому прекратились. Вернее сказать, сделались более редкими. Князю было сообщено, чтобы он не рассчитывал на скорое начало военных действий. «Я должен был, — писал ему позднее Александр, — покориться необходимости быть простым зрителем грядущих событий и не вызывать моими поступками войны, значение и опасности которой я вполне понимаю»[2]. Далее в том же письме он писал, что не отказался ни от занимающих его планов, «ни от решимости осуществить их, когда обстоятельства будут тому благоприятствовать»[3]. Военные приготовления не были отменены. Армия продолжала развертываться в боевом порядке. Не нанося удара, Россия осталась с поднятой рукой и замерла в этом положении.

---

[1] Mémoires de Metternich, II, 418—419.
[2] Tegner, le baron d'Armfeldt, III, 306.
[3] Martens, VII. 15.

[1] Бюллетень полиции от 18 июня 1811 г. содержит следующую выдержку из германской переписки: «Саксонские фабриканты вынуждены уволить сразу сотни рабочих. Постройки, в которых устроены фабрики, будут превращены в богадельни для бедных и будут содержаться за счет государства, или же в смирительные дома для несчастных, которых нужда сделала ворами. Саксонцы могли бы сделаться соперниками английских фабрикантов, но эта надежда исчезла, и мы не станем на ноги, пока русский указ, запрещающий ввоз товаров иностранных фабрик, не будет отменен».

[2] 1 апреля 1812 г., Memoires et Correspondance de Czartoryski; II; 279.

[3] Id., 280.

Собрав войска, Александр приобрел ту выгоду, что оградил себя от нечаянного нападения в случае, если бы у Наполеона явилось желание выполнить план, о котором он сам мечтал. По его мнению, сделанные приготовления к войне, дойдя до сведения императора, должны были удержать того от попыток к рискованному нападению. Невольно возникает вопрос, отчего царь не использовал создавшегося положения и не доставил России тогда же известной выгоды, большей свободы действий? Разве не мог Александр под охраной своих войск, занявших на границе крепкое положение, осуществить одну из своих излюбленных идей, т. е. настежь открыть свои гавани британским кораблям. Иначе говоря, их предметам ввоза и открыто заявить о своем нежелании принимать дальнейшее участие в борьбе между Францией и Англией? По некоторым данным видно, что у него было такое поползновение и что он помышлял, не заводя войны, отделаться от остатков союза[1].

Впрочем, канцлер старался направить его на иные пути, которые, может быть, привели бы его к сближению с Францией. Все еще непосвященный в затеянный Александром и Чарторижским роман, Румянцев с огорчением смотрел на происходивший на его глазах поворот к Англии. Он осуждал нарушения правил континентальной блокады, огорчался нараставшим расслаблением союзных уз и всеми силами стремился к примирению с императором французов, к возрождению союза, который хотя и на бумаге, но все-таки существовал, который доставил России Финляндию и давал возможность удержать за собой княжества. Он умолял своего государя не уклоняться систематически от соглашения, попытаться сделать что-нибудь в этом направлении, и нужно признаться, что провал проекта, составленного без его ведома и содействия, придавал особое значение его советам.

Какова же, по его мнению, должна быть почва для соглашения? Как загладить взаимные обиды? Главная обида, на которую ссылалась Франция, был указ от 31 декабря 1810 г. По этому вопросу не трудно было дать Наполеону некоторое удовлетворение по форме, кото-

[1] См. по этому вопросу депеши французского дипломатического агента в Варшаве от 30 и 31 марта 1811 г.

рым тот, как видно, не прочь был удовольствоваться, и допустить некоторые смягчения, которые, не нанося вреда экономическим интересам государства, отняли бы у этой меры характер враждебной демонстрации. С другой стороны, так как Наполеон не настаивал на захвате судов, плавающих за счет Англии под американским флагом, то этот вопрос не стоял в настоящее время на очереди; его следовало, по мнению канцлера, просто положить под сукно. Что же касается обид России, то вполне законно поднятый ею спор по поводу Ольденбурга служил только предлогом замаскировать то, что она, главным образом, ставила в упрек Наполеону, т. е. принимавшее угрожающие размеры расширение Франции и поблажки, оказываемые Наполеоном герцогству Варшавскому. Румянцев первый признал и провозгласил важное значение польского вопроса. Он видел, как, по мере своего развития, этот вопрос вносил раздор между Францией и Россией. Он знал, что все попытки и усилия, сделанные в 1809 и 1810 гг. с целью полюбовно разрешить его, только осложнили его до такой степени, что с того времени русская канцелярия воздерживалась не только возвращаться к нему, но даже и затрагивать его. Румянцев находил, что молчание по этому поводу длилось достаточно долго и что настоящий кризис позволял его нарушить. В этом была выгодная сторона создавшегося тягостного положения. Бывает, что из зла, доведенного до крайних пределов, рождается добро. Не представляет ли, говорил он, ничем не оправдываемый, оскорбивший царя поступок с Ольденбургом самим Провидением ниспосланное средство снова поставить на обсуждение польский вопрос и, быть может, разрешить его в пользу России? Завладевая Ольденбургом, Наполеон бесспорно перед всем миром провинился перед своим союзником. Царь имеет полное основание требовать удовлетворения. Да и сам Наполеон, очевидно, сознает это, так как выразил готовность дать герцогу территориальное вознаграждение, предлагая России точно указать, где оно должно быть. Отчего не попросить, чтобы предложенное в принципе возмещение было выкроено из польской территории, чтобы для составления нового удела лишенному владений принцу была выделена часть из герцогства Варшавского. Имя принца будет только ширмой, за которой будет скрываться Россия, и таким путем будет дана действительная гарантия против восстановления

Польши. Вот такое решение было, по мнению Румянцева, истинным средством придти к соглашению, вот в чем был исходный пункт примирения и залог прочной безопасности для русского правительства.

Действительно, всякое действие, ведущее за собой умаление герцогства, всякий удар, нанесенный его неприкосновенности, всякий выдел из его территории, как бы незначителен он ни был, разрушит его силу к расширению. Нанесет удар его светлому будущему, означает его окончательное падение. Главной причиной обаяния этого случайно созданного, всеми оспариваемого государства, притягательной силой, группировавшей вокруг него столько восторженено преданных людей, было всеобщее убеждение, что ему суждено расти и шириться, что эта Польша на пути к постепенному возрождению. Если бы Наполеон, вместо того, чтобы увеличивать, согласился бы уменьшить герцогство Варшавское, он нанес бы его надеждам смертельный удар, отнял бы у него единственную опору его существования. Раз будет положено начало умалению герцогства, оно уже не остановится. Оно пойдет ускоренным темпом и в конце концов приведет к тому, что обратит это непрочное здание в нулевую величину. Каждого отнятого от этого здания камня будет достаточно, чтобы нарушить неустойчивое равновесие и рано или поздно вызвать его крушение. Когда среди переворотов, которыми чревато будущее, падет герцогство, Россия явится прежде всех на место, чтобы подобрать его остатки, и, если ей уже теперь будет дано право завладеть некоторыми частями его территории, она найдет возможность заплатить и поглотить остальное.

Александр не отрицал выгод такой комбинации. Устранение польской опасности — если бы удалось достигнуть этого результата — стоило того, чтобы отложить на время выполнение других планов и отсрочить сближение с Англией. Но мог ли он надеяться на успех, добиваясь от Наполеона столь богатой последствиями уступки? Можно подумать, что если он согласился просить об этом, то только ради успокоения своей совести. Он хотел иметь возможность сказать себе, что сделал все, чтобы избавиться от войны с самым грозным врагом, какого когда-либо встречала перед собой Россия. Поэтому он позволил Румянцеву начать дело, предоставляя себе в случае надобности потихоньку вмешаться.

Нужно сказать, что предстоящие переговоры не должны были иметь ничего общего с обычными переговорами. Поступая обычным способом, откровенно высказывая свои желания, Россия подвергла бы себя серьезной опасности. Можно было опасаться, что Наполеон, несмотря на высказываемые им миролюбивые чувства, таит в глубине души дурные и вероломные планы. При таких условиях, думал царь, не стесняющийся в средствах деспот воспользуется слишком ясно выраженными просьбами, чтобы перед всем светом обвинить Россию в хищнических намерениях, в посягательстве на неприкосновенность и существование независимого государства. Он обвинит ее перед всей Европой в преступных замыслах и по меньшей мере навсегда уронит ее во мнении варшавян, а император Александр, несмотря на свои неудачи и досаду, никогда не отказывался от мысли обойти и привлечь к себе поляков. Поэтому в Петербурге сочли нужным поступать как можно осторожнее, взвешивать каждый шаг и соблюдать строжайшую тайну. Признано было необходимым говорить только намеками, едва слышным шепотом, чтобы, в случае надобности, сохранить за собой право отречься от собственных слов и утверждать, что ни о чем подобном не было и речи. Итак, разговор должен был вестись в форме легких намеков, догадок, замалчиваний, ибо целью России было навести на способ решения, не указывая его определенно, и таким путем довести до предложения себе того, чего она не хотела просить. Чтобы подметить тайный умысел Александра или, вернее, его министра, чтобы понять, чего добивается и к чему клонится их политика, нужно в груде документов, оставшихся нам от переписки обоих дворов этой эпохи, ловить самые незначительные выражения, рассеянные то тут, то там в целом море риторики, с запутанными фразами и пояснительными придаточными предложениями. Переговорам о Польше, в которых решается судьба России и Франции, придается несущественный, замаскированный характер, их стараются украдкой втиснуть в растянутые и скучные споры, ведущиеся только для вида. Мы увидим, как эти переговоры будут прокладывать себе путь сквозь набор пустых слов и бесплодных рассуждений.

Прежде всего, герцогу Виченцы в видах подготовки были сделаны некоторые намеки. Когда он жаловался на указ, ему отвечали в сдержанном примирительном

тоне. Но Румянцев и сам император давали понять, что следовало одновременно, а может быть, и раньше сговориться по другим вопросам.., что следовало прежде принять в соображение политику, а затем уже торговлю»[1]. Но когда посланник, опираясь на эти заявления, приступал к спорным политическим вопросам, когда убеждал государя и Румянцева принять взамен Ольденбурга Эрфурт или указать другое соответственное вознаграждение, Александр начинал отвечать неопределенно. Он ограничивался просьбами о справедливом к нему отношении, об удовлетворении его законных требований, об обеспечении его безопасности, утверждал, что дело Франции заговорить первой и сделать предложение. Румянцев шел немного дальше. По его словам, «дверь к соглашению всегда открыта, если только пожелают предложить приличное и справедливое вознаграждение, приемлемое и герцогом Ольденбургским, и Россией, непосредственно с которой следует обсуждать теперь это дело... Эрфурт ни в каком отношении не будет настоящим вознаграждением и не подходит ни принцу, ни России, которая может желать и принять только такое вознаграждение, которое по своему местоположению представляло бы гарантию ее спокойствия и которое она могла бы защитить и поставить в лучшие условия в будущем»[2]. Понятно было, что для того, чтобы новое владение принца нашло обеспечение своей безопасности в своем географическом положении, ему необходимо было прикасаться к той единственной империи, опираться на то единственное государство, которое заинтересовано в его защите. Среди бесчисленных территорий, которыми располагал Наполеон, была только одна, граничавшая с Россией: то было герцогство Варшавское.

Вот какими речами Петербургский кабинет направлял нашего посланника на путь и давал ему возможность разгадать загадку. Помимо этого, царю представился случай обратиться непосредственно к императору французов. Письмо Наполеона к царю от 28 февраля, порученное Чернышеву, было только что доставлено и требовало ответа. Александр немедленно приготовил его. Разумеется, он решил отправить его с Чернышевым, так как у него были основательные причины опять вы-

[1] Коленкур Шампаньи; 27 марта.
[2] Id.; 6 апреля:

дворить в Париж этого тонкого наблюдателя, этого проницательного и обстрелянного агента. В своем письме к императору Александр не позволил себе ни малейшего намека на раздробление польского государства, но разве нельзя было, искусно оттенив некоторые фразы, заставить Наполеона подумать об этом, внушить ему такую мысль?

Александр составил письмо весьма тщательно, о чем можно судить по собственноручно написанному и несколько раз переделанному черновику[1]. Он принял вызов по всем спорным вопросам и держался мужественно, но, переходя в видах защиты в нападение, никогда не уклонялся от утонченно-вежливого тона, и в завязавшейся между императорами полемике ни на волос не стоял ниже своего соперника. С большим достоинством повторяет он свои жалобы по поводу Ольденбурга, оправдывает себя по поводу указа, напоминает об оказанных им общему делу услугах, указывает мимоходом, что производившиеся в герцогстве крепостные работы и вооружения потребовали и с его стороны известных мер в том же роде. Затем, выставив себя строгим блюстителем договоров, он оканчивает так: «Если, вместо того, чтобы предаваться мрачным предчувствиям, будто я выжидаю только удобного момента, чтобы изменить политическую систему, — Вашему Величеству угодно будет отнестись ко мне справедливо, вы должны признать, что нельзя быть добросовестнее меня в поддержании принятой мною политической системы. Я не зарюсь на моих соседей, люблю Францию. Какая же мне выгода желать войны? России не нужны завоевания, у нее и так слишком много земли. Признавая Ваше Величество за величайший военный гений, я ничуть не заблуждаюсь насчет трудностей войны, если ей суждено между нами возникнуть. Помимо того, мое самолюбие прикрепляет меня к союзу с Францией. После того, как я положил союз в основу политики России, после того, как мне пришлось довольно долго бороться с существовавшими досель враждебными союзу взглядами, не может быть разумных поводов подозревать во мне желание разрушить мой собственный труд и начать войну с Вашим Величеством; и если вы ее желаете так же мало, как и я, то более чем вероятно, что ее не будет. Чтобы доставить вам лишнее доказательство, я предла-

[1] Archives de Saint-Pétersbourg.

гаю Вашему Величеству передать на ваше усмотрение дело о вознаграждении за Ольденбург. Поставьте себя на мое место и решите сами, Ваше Величество, чего бы вы пожелали в подобном случае. В распоряжении Вашего Величества все средства устроить дело так, чтобы еще теснее соединить обе империи и сделать разрыв навсегда невозможным. Я, со своей стороны, готов помогать вам в этом. Повторяю, еще раз: если будет война, — значит, таково желание Вашего Величества и, сделав все, чтобы ее избегнуть, я сумею сражаться и дорого продать свое существование. Угодно ли Вашему Величеству, вместо этого, признать во мне друга и союзника? Если да, вы найдете во мне те же чувства привязанности и дружбы, какие всегда знали во мне»[1].

Таким образом, Александр вкратце говорил Наполеону: «Я заранее принимаю то, что вы мне предложите, если вы согласны стать на мое место, и, при таких условиях, определить мою долю. По-видимому, невозможно было внести больше уступчивости и деликатности в рассмотрение столь трудного и щекотливого дела. Поистине, это был искуснейший маневр. В самом деле, чего мог желать Наполеон, если бы он был на месте Александра, т. е. если бы у его границы, в виде постоянной угрозы, стояло стремящееся к расширению воинственное государство? Несомненно, он желал бы, чтобы эта причина стольких тревог была устранена, чтобы это пламя раздора было уничтожено. Отсюда следует вывод: необходимо, чтобы он согласился пожертвовать частью герцогства ради справедливых опасений России.

Довольствуясь внушением Наполеону таких мыслей, Александр не поднимал более об этом разговора. Но ввиду желания лишить Наполеона слишком удобного предлога прикинуться глуховатым, следовало говорить яснее; необходимо было, чтобы в конце концов ктонибудь упомянул в Париже о герцогстве и поставил его в тесную связь с Ольденбургом. Сделать это поручено было Чернышеву в разговорах, которые он неминуемо будет вести с императором французов. Это поручение дал ему не Александр, а Румянцев, и все же министр

[1] Письмо опубликовано Татищевым, Александр I и Наполеон, 547—552.

не решился высказаться теперь перед ним вполне откровенно. Зная Чернышева за молодого человека с проницательным умом и быстрым соображением, он прибег к метафоре, не препятствуя Чернышеву поставить в ней надлежащие выражения. Объяснив ему, что желание императора состоит в том, чтобы «слить в один договор дела Ольденбурга и Польши, присоединив к ним и новый торговый договор с Францией», он добавил: «Если бы удалось всыпать в один мешок дела Польши и Ольденбурга, перемешать их хорошенько и затем вытряхнуть, союз обеих империй стал бы таким прочным, тесным и искренним, каким не был еще никогда, и все это назло англичанам и даже немцам»[1].

В дни, до и после этого секретного разговора, Александр постарался при встречах с Коленкуром пустить во всю свойственные ему предупредительность и обаяние. Нужно сказать, что посланник добился, наконец, своего отозвания и после трехлетних утомительных трудов должен был через два месяца уехать из России. На его место был назначен генерал граф Лористон, флигель-адъютант императора и короля. Александр в самых любезных выражениях высказал Коленкуру живейшее сожаление, что ему приходится расстаться с ним. Затем с большой похвалой отозвался о его заместителе, с которым познакомился и которого оценил в Эрфурте. В письме от 28 февраля Наполеон писал царю: «Я искал среди моих приближенных человека, который мог бы быть наиболее приятным Вашему Величеству и наиболее годным для поддержания между нами мира и союза...[2]. Я горю нетерпением узнать, удачен ли мой выбор?». На этот вопрос Александр ответил утвердительно и чрезвычайно любезно.

Теперь, говоря об императоре, он в более приподнятом тоне повторял свои обычные уверения в преданности и сердечной привязанности, но, прибавлял он, его чувства плохо ценятся и не признаются. «Я мог заметить, — писал герцог Виченцы» — что в отношении Вашего Величества вернулся тот сердечный тон, те дружеские выражения, могу даже сказать, сердечные излияния, которые некогда проявлялись так часто». — «Дайте мне уверенность в безопасности» — не переставал повторять Александр, — выкажите мне

[1] Recueil de la Societé impériale d'histoire de Russie, XXI, 84.
[2] Corresp., 17935.

такую же дружбу, с какой отношусь и желаю относиться к вам и сам, и никогда ни император, ни его союзники не будут иметь повода жаловаться на меня». — «В тот же день, — прибавляет герцог в своем донесении, — император, прогуливаясь пешком, встретил меня на гулянье в часы, когда весь город бывает там. Он подошел ко мне, и, как всегда, пригласил меня сопровождать его. Он разговаривал только о безразличных вещах. Так как публика обращала на нас большое внимание, он, смеясь, сказал мне: «Сегодня дипломаты и купцы, как я надеюсь, будут говорить только о мире. Мир — мое главное желание, генерал, ваш «государь должен знать это»[1].

В то время, когда Александр опровергал слухи о разрыве и непримиримом разногласии, Чернышев в легком своем экипаже в галоп мчался из Петербурга в Париж. «Вечный курьер», как называл его Жозеф де-Местр[2], так привык к быстрой езде, что перемахнуть через Европу в двухнедельный срок вовсе не было для него изнурительным делом. Полный усердия и энергии возвращался он в столицу Франции с поручением в аллегорических выражениях указать основу к примирению и вести переговоры метафорами. К несчастью, в то время, когда Александр задумал вернуться к прежним отношениям, когда он не отклонил мер, направленных к мирной развязке, его войска, в силу прежних приказаний, двигались к границе. Враждебное течение было задержано в центре, но давало себя чувствовать на окраинах. Там все было на военном положении. Конечно, слухи о движении войск должны были проникнуть за границу, а затем, распространившись по Европе, дойти и до Парижа. Там они доведут до крайних пределов недоверие императора и вызовут тревогу. Уже удаляющаяся опасность впервые бросится ему в глаза. Он вообразит, что она почти наступила, что на него чуть ли не завтра будет нападение, он найдет нужным тотчас же ответить на вызов и ускорить движение своих войск. По роковому совпадению, одновременно с получением предложения, задачей которого было прийти к соглашению, он почувствует и угрозу.

---

[1] 131 донесение Коленкура императору, отправленное 23 апреля.
[2] Oeuvres complètes, t. IV de la Correspondanse, p. 9.

IV



ТРЕВОГА

Рождение римского короля. Беспокойство населения. — Взрыв радости. — Волнение императора. — Первые слухи о войне. Варшавяне указывают на подозрительные движения на русской границе. — Недоверие Даву. — Известия из Швеции и Турции. Скептицизм императора. Он думает, что Россия вооружается из страха и старается успокоить ее. — Получив сведения, что несколько дивизий армии, действовавшей на Востоке, направляются к границам Польши, он начинает волноваться. — Меры предосторожности. — Наполеон охотно отказался бы совсем от войны, лишь бы не вести ее сейчас же. — Он мирится с мыслью о миролюбивой сделке. — Отъезд Лористона. — Новое письмо императору Александру. — Призыв к доверию. — Приезд Чернышева; император тотчас же принимает его. — Четырехчасовой разговор. — Припертый к стене Чернышев повторяет слово в слово метафору графа Румянцева. В первую минуту Наполеон думает, что Россия требует у него все герцогство целиком. — Вспышка возмущения и гнева. — Данциг или Варшава? — Встречные предложения императора. — Система любезности и внимания. — Чернышев осыпан ими. — Савари самовольно решается пресечь влиятельность этого шпиона. — Самоуверенность Чернышева. — Савари прибегает к печати. — Journal de l'Empire. — Статья от 12 апреля. — Любители новостей. — Эсменар. — Гнев императора; упреки по адресу министра полиции; меры, принятые против автора статьи и редактора журнала. — Приезд Биньона в Варшаву. — Суматоха, вызванная противоречивыми сведениями. — Понятовский чудом получает све-

дения о письмах императора Александра Чарторижскому. — План вторжения перехвачен и раскрыт. — Приближение русских войск подтверждает сообщения Понятовского. — Поляки теряют голову. — Повсеместная тревога. Близость войны. — Энергичная деятельность императора. — Праздники Пасхи 1811 г. — Наполеон подготовляет эвакуацию герцогства и переносит свою оборонительную линию на Одер. — Даву получает предписание: в случае открытия военных действий двинуться к Одеру. — Меры для усиления и оказания помощи Даву. — Переговоры с Австрией, Пруссией, Швецией и Турцией. — Наполеона не покидает мысль избегнуть войны. — Его настойчивые усилия выяснить себе желания и намерения Александра. — Неизданное письмо императора Коленкуру. — Попытки заставить Чернышева высказаться. — Охота 16 апреля. — Утренний визит Дюрока. — Чернышев или упорно отмалчивается, или не говорит ничего положительного. — Перемена в министерстве. — На место герцога Кадорского назначается герцог Бассано. — Второе письмо Коленкуру: если то, чего желают русские, не выходит из пределов возможного, это будет сделано. — Наполеон настороже. — Приказание наблюдать за Пруссией и за русской границей. — Более успокоительные известия. — Оптический обман. — Тревоги поляков утихают. — Наполеон прерывает переговоры с Австрией, Пруссией, Швецией и Турцией. — Он задерживает военные приготовления, однако, не прекращая их. — Император не убежден в истинных причинах беспокойства России и страстно желает разгадать, чего она добивается.

I

В течение нескольких дней ожидание крупного события волновало Париж и Францию. Беременность императрицы подходила к концу. Когда наступил решительный момент, жизнь столицы остановилась. Все дела стали; в мастерских прекратились работы; все — и дела и удовольствия — было забыто. Горевшее нетерпением, ничем не занятое, праздное население старалось развлечь себя предположениями, предсказаниями и держало пари. На бирже, «где настроение создает интересы»[1], обычные сделки прекратились, но спекуляция рисковала огромными суммами, держа пари за пол будущего новорожденного.

19 марта, вечером, у императрицы начались боли. На другой день утром весь город был на ногах. Безмолвные густые толпы запрудили улицы, площади, набережные и дороги в Тюльери. Начавшаяся в десять

[1] Bulletins de police, 7 mars 1811. Archives nationales, AF, IV, 1514.

часов пальба из пушек возвестила, что императрица разрешилась от бремени. Полагалось двадцать один выстрел в честь дочери и сто один в честь сына. При первом же выстреле движение на улицах прекратилось. Все замерли на месте, застыли в тех позах, в каких захватил их выстрел. На каждый новый выстрел отвечало в унисон биение сердца всей столицы. Секунды после двадцать первого выстрела казались вечностью. Наконец, раздался двадцать второй и, бросив в воздух торжественную весть, объявив городу и всему свету о рождении дофина, нашедшего в своей колыбели королевскую корону с правами на империю. Тогда из груди миллиона людей вырвался могучий крик: «Да здравствует император!». Вскоре по всей стране из конца в конец воцарились почти единодушный восторг и всеобщее ликование. На несколько дней замолкли раздоры, прекратились ссоры, враги перестали ненавидеть друг друга[1]. Появилась вера в светлую будущность. Большинство французов еще верило в императора, оно начало верить и в империю. Непритворная радость и желание подслужиться проявились в тысяче видах — и устройством по собственной инициативе иллюминаций, и представлением во всех театрах пьес, нарочито сочиненных на этот случай, и целым потоком од и кантат. Императору непрерывно приносились официальные поздравления. Каждое утро, в силу требований этикета, дамы, представленные ко двору, являлись в парадных туалетах справляться о состоянии здоровья императрицы и расписываться во дворце; члены Законодательного Корпуса, проехав через Париж в парадных экипажах, в напыщенных выражениях принесли поздравления своему повелителю. В это время чело Наполеона сияло счастьем, глаза были влажны, речь проста и сердечна; он производил впечатление бесконечно и бесхитростно счастливого отца; был счастлив как человек, как глава и зиждитель государства. Его сердце умилялось при мысли о маленьком существе, к которому в страстном порыве стремилась вся его

[1] Бюллетень полиции от 20 марта: «На рынке два носильщика поссорились и чуть не затеяли драку, но когда раздался первый выстрел, они тотчас же прекратили ссору, начали считать выстрелы и на двадцать втором бросились в объятия друг другу». Archives nationales, AF, IV, 1514.

душа, созданная для переживания всех чувствований в сверхчеловеческой мере. Помимо того, в этой колыбели с парящим над нею орлом он видел залог устойчивости своей династии и своего дела. Щедростью, благодеяниями, помилованием, усугубляя счастье своих подданных, он сумел придать особую радость тем минутам, которые ненадолго отвлекли Францию от ее тревог и страданий, и оторвали ее от настоящего, чтобы пожить в будущем, том будущем, которое хотелось видеть светлым и спокойным.

В эти-то счастливые дни пришли с Севера первые тревожные слухи. На горизонте опять показался враг, иначе говоря, война, которая, сделав французов царем народов, теперь, в силу своего постоянства и возрастающей жестокости, рассматривалась ими, как главная причина их бедствий. Пока угроза была едва заметна. Это было только предостережение, идущее издали, тревожный шепот из тех мест на Висле, где была намечена стратегическая граница Франции. Варшавские поляки, несмотря на необычайную скрытность своих соседей, начали замечать какие-то подозрительные движения. Хотя их взоры с трудом проникали за строго охраняемую границу, тем не менее они видели, как позади завесы ходили взад и вперед грозные тени, как неясно обрисовывались и росли контуры армий. Инстинктом самосохранения они почувствовали, что им грозит опасность, и стали звать на помощь. Власти герцогства обращались ко всем: писали в Дрезден, Данциг, Гамбург; извещали императорский двор, генерала Раппа, маршала Даву. Главнокомандующий армией, бывший в то же время и военным министром, князь Понятовский, отправил одного из своих адъютантов в Париж предупредить императора[1].

Но поляки столько раз доносили о несуществующих опасностях, что к их сообщениям притупилось всякое внимание, иссяк всякий интерес. Всем был известен их впечатлительный и нервный темперамент; все знали, как легко разыгрывается и создает всевозможные небылицы их воображение; все неоднократно убеждались, что в их очки все казалось в десять раз больше. В первый раз, когда они увидели и сказали правду, им никто уже не верил. Для спокойствия совести Даву предписал Раппу, стоявшему ближе его к границе, не поднимая шума, послать на разведку офицеров и выяснить дело, но до более полных сведений не счел нужным поднимать тревогу. Он предписывал большинству варшавских командиров, в том числе Понятовскому, полное неумение разбираться в делах. «Когда я был в Варшаве, — писал он, вспоминая прошлое, — Понятовским пользовались, чтобы передавать мне самые нелепые донесения»[1]. Несмотря на уважение, которое внушала храбрость поляков, они не добились популярности в нашей армии; их шумные требования услуги за услугу, их мания плакаться при всяком удобном случае, их постоянные просьбы денег надоедали. Считалось почти невозможным, вне поля битвы, относиться к ним серьезно.

Но вслед за тем известия из других источников придали их словам некоторое значение. Эти известия шли и с Севера, и с Юга — из двух государств, находившихся в наиболее благоприятных условиях для наблюдения за тем, что делалось в России. Наш посланник в Швеции доносил, что на противоположном берегу Балтийского моря — в Финляндии — идет передвижение войск, что люди и материальная часть направляются к югу. Он полагал, что между Россией и Англией уже восстановлены прежние отношения и что из России в Англию и обратно постоянно снуют эмиссары. Правда, наше посольство в Стокгольме говорило только понаслышке, основываясь на весьма подробных, но выдуманных сведениях — на сказках, которые любезно рассказывал ему Бернадот. Вполне возможно, что наследный принц приписывал царю наступательные планы с целью придать себе в глазах императора большее значение и подороже продать себя. Иное дело на Востоке. Там наши агенты ссылались на то, что видели собственными глазами. Наш консул в Бухаресте, живший в стране, занятой русскими, вращавшийся среди них, собственными глазами видел, как ежедневно уходили с

[1] Переписка Серра, французского дипломатического агента в Варшаве, февраль и март 1811 г., passim. Письма Понятовского, письма Раппа, донесения шпионов, донесения Даву и его письма к императору от 17, 24 и 31 марта. Archives nationales AP, IV, папка № 1653. В этой папке находится объемистое дело с документами, относящимися к тревоге в апреле 1811 г.

[1] Даву императору, 31 марта 1811. Archives nationales, AF, IV, 1653.

берегов Дуная целые полки, бригады, дивизии и направлялись к польским провинциям. Для того, чтобы Россия лишала себя возможности вырвать у турок уступку княжеств, чтобы она отказалась от своих надежд и домогательств на Востоке, нужно было, чтобы она считала себя самое под угрозой или чтобы перенесла свои честолюбивые стремления в другое место; одно из двух: или она замышляла коварные планы, или сама боялась нападения.

Последнее предположение было единственным, которое вначале казалось Наполеону правдоподобным. Когда ему говорили о планах насчет герцогства, о возможности внезапного нападения, он слушал с недоверчивой улыбкой, пожимал плечами. Русский государь и его кабинет не приучили его к подобным безрассудно смелым поступкам. «Нет! Не посмеют»,—как будто хочет он сказать. Он думает, что если Россия вооружается, то, без сомнения, потому, что, несмотря на все предосторожности, она пронюхала о наших военных приготовлениях; что она осведомлена о них, несмотря на то, что они находятся в зачаточном состоянии; что, наблюдая за постепенным увеличением первого корпуса, за посылкой в Данциг подкреплений, она думает, что в недалеком будущем ей грозит нападение, и спешно принимает некоторые меры. Чтобы рассеять ее тревогу, Наполеон приказывает Шампаньи поискуснее обманывать Куракина и повторить ему с большими подробностями, что назначение нового гарнизона — помешать высадке англичан[1]. Коленкуру поручается говорить в самом миролюбивом тоне, а затем — думает император — приедет его заместитель Лористон и будет повторять те же уверения с авторитетом человека, снабженного самыми свежими инструкциями. Речами, направленными к умиротворению, старается Наполеон успокоить брожение умов в России. Он считает его прискорбным явлением, но не думает, чтобы оно уже укоренилось и было серьезным.

В начале апреля вооружения России приобрели такую огласку, что нельзя было не признавать их значение. Со всех сторон приходили известия все более определенного, бесспорного характера, требующего внимательного отношения. С одной стороны — поляки, живя в постоянном страхе, не переставали кричать о надвигающейся опасности, с другой — из Стокгольма ясно было видно, как из Финляндии уходили войска. Затем, по словам наших агентов, главная часть русской армии на Востоке — пять дивизий из девяти, усиленные сверх установленного комплекта за счет остальных четырех, меняют фронт и форсированным маршем отходят к западной границе России. Эта перемена в расположении войск — показатель перемены политического фронта — является в глазах Наполеона крайне подозрительным и наиболее знаменательным фактом.

[1] Corresp., 17523.

Помимо того, вся Европа начинает говорить, что готовится война, и что инициативу ее возьмет на себя Россия. Наши друзья и наши агенты волнуются и считают своим долгом предостеречь нас. В Париже министр полиции портит себе глаза, проводя вечера за чтением тревожных донесений; министр иностранных дел находит в корреспонденциях из Дрездена, Вены, Берлина и Копенгагена подтверждение фактов, на которые указывается в корреспонденциях с Севера и Востока. Слухи о войне начинают проникать даже в публику. Биржа волнуется, курс падает. Всем очевидно, что на Севере собирается гроза. Только французское посольство в Петербурге по-прежнему невозмутимо спокойно. Оно ничего не видит, ничего не слышит, от него все закрыто туманом. Ему неизвестно, что в непосредственной близости от него, в огромном государстве, за которым ему поручено наблюдать, все поставлено на ноги и идет в поход; что всюду чувствуется непрерывно действующая, направляющая воля; что Россия переносит и стягивает все вооруженные силы к одному пункту своей границы — к тому, который граничит с варшавской Польшей.

При таких условиях нападение на великое герцогство делается более или менее возможным. Все еще не допуская, чтобы у императора Александра было заранее обдуманное намерение напасть на герцогство, Наполеон должен был спросить себя, устоит ли царь против искушения воспользоваться своими войсками, когда они в полном сборе, в образцовом порядке будут в его распоряжении; когда они войдут в соприкосновение со слабой армией герцогства, завладеть которым так много соблазна? — Война близка уже только потому, что армии стоят одна против другой. Ничтожного

события, случайной стычки, искры достаточно, чтобы вспыхнул пожар. Мы видели, как в течение нескольких месяцев неудержимо шли к войне; теперь идут к ней беглым шагом.

В конце концов, Наполеон решается принять некоторые неотложные меры предосторожности. Он приказывает ускорить движение немецких контингентов, отправленных в Данциг, призывает к деятельности государей, которым поручено их доставить, распекает запоздавших. Даву получает приказание — если того потребуют обстоятельства — перенестись «во весь дух» через Штеттин, Мекленбург и Померанию на Одер и Вислу. Первый корпус должен пройти это пространство «в полном составе, идя, как бы во время войны, быстро и в три колонны»[1]. — «Но мы еще не дошли до войны», — торопится добавить император. Тем не менее, он думает немедленно собрать войска за Рейном и Альпами.

Естественным отражением причиняемых ему Россией беспокойств является большая предупредительность к государствам, которые могут служить ему против нее. 5 апреля в разговоре с австрийским посланником, князем Шварценбергом, он впервые говорит о союзе в положительном смысле и высказывает желание на всякий случай иметь в своем распоряжении вспомогательный корпус[2]. Затем он уже не так пренебрежительно относится к заискиваниям Пруссии и разрешает своему представителю при ней, Сен-Марзану, вступить в разговор[3]. Далее на Севере Алькиеру предписывается отнестись с большим вниманием к предложениям Бернадота и определенно узнать, «чего хотят»[4]. В довершение всего Шампаньи подготовляет проект депеши Латур-Мобуру, нашему поверенному в делах в Константинополе. Этот агент должен быть немного откровеннее с министрами Порты, впрочем, сохраняя большую осторожность. «У нас нет еще войны с Россией, — говорится в проекте. — Императору не угодно этой новой войны. Россия, наверно, боится войны и очень далека от того, чтобы желать ее. Между обоими правительствами по-прежнему существует союз, так что показная сторона его должна тщательно сохраняться. Поэтому вы должны остерегаться всякого открытого выступления, в котором Россия могла бы видеть шаг, направленный против нее. Тем не менее, подготовляйте узы, которые в случае войны, могли бы соединить Францию с Турцией, и втихомолку сглаживайте препятствия, чтобы не было помехи к тесному союзу обоих государств»[1]. Из этого проекта видно, что Наполеон хочет воспользоваться Турцией, подобно Швеции; что он намерен бросить ее на фланг русских армий, если бы тем пришла фантазия пойти на Варшаву.

[1] Corresp., 17566.
[2] Helfert, 197—200.
[3] Corresp., 17581.
[4] Id.

Он сознает, что вторжение русских в герцогство будет для него величайшей помехой. Оно может расстроить все будущее, все планы, сформировавшиеся в его уме. В результате досада, вызванная тем, что, может быть, ему придется вести войну без надлежащей подготовки, вынуждает его приступить к более серьезным переговорам с Россией. Пока он верил в возможность отсрочить кризис до будущего года, т. е. до того времени, когда в его руках будут все средства, он допускал только два радикальных, целиком в свою пользу, решения: или войну, которая бросила бы Россию к его ногам, или же ее капитуляцию в силу простого развертывания наших сил. Но кризис возникает раньше назначенного им времени, он застает его врасплох, поэтому он не отвергает мысли окончить дело мирным путем. Он не прочь помириться и принять во внимание требование противника, лишь бы это не слишком затрагивало его гордость и его политику. Будут ли его стремления к полюбовному соглашению отвечать таковым же желаниям, зародившимся немного раньше в уме Александра, остановят ли они конфликт, сохранят ли мир?

II

1 апреля наш новый посланник в России, генерал Лористон, получил приказание выехать из Парижа и отправиться к месту назначения. Его инструкции уполномочивали его сказать, что император начнет войну

[1] Archives des affaires etrangéres, Turquie, 221.

только в двух случаях: если Россия подпишет мир с англичанами или же потребует от турок территорий по ту сторону Дуная[1]. Лишь только Лористон выехал, его нагнало письмо, которое Наполеон поручал ему передать императору Александру. Это был самый настойчивый призыв к чувствам дружбы и доверия. К откровенному объяснению, во время которого все было бы высказано друг другу и по всем претензиям можно было бы прийти к соглашению. В этом письме Наполеон сознается, что вооружается и уверяет, что имеет на это право, ибо «известия из России не носят миролюбивого характера. То, что там происходит,— говорит он далее, — служит новым доказательством тому, что повторение одного и того же — самый сильный риторический прием. Вашему Величеству столько раз повторяли, что я питаю злобу к вам, что ваше доверие ко мне пошатнулось. Русские уходят с границы, на которой они нужны и отправляются они туда, где у Вашего Величества только друзья. Я тоже должен был подумать о своих делах и принять свои меры. В противовес моим приготовлениям Ваше Величество вынуждены будете усилить свои; все, что вы сделаете, отзовется здесь, и вынудит меня к новым рекрутским наборам. И все это ради каких-то призраков. Это повторение того же, что я видел в 1807 г.[2] в Пруссии и в 1809 г. в Австрии. Что касается меня, я останусь личным другом Вашего Величества даже тогда, когда злой рок, увлекающий Европу, заставит наши народы взяться за оружие. Я не буду следовать примеру Вашего Величества: я не нападу никогда; мои войска двинутся только в том случае, если Ваше Величество разорвет тильзитский договор. Я первый разоружусь и приведу дела в положение, в каком они были год тому назад, если Вашему Величеству угодно будет вернуться к прежнему доверию. Имели ли вы когда-нибудь повод раскаиваться в оказанном мне доверии?..[3]

В Германии Лористон встретил полковника Чернышева, который мчался в противоположном ему направлении. 9 апреля по воздушному телеграфу* было сообщено о проезде расторопного офицера через Мец. Наполеон был в восторге. Без сомнения, думал он, Чернышев везет ответ на письмо от 28 февраля; его приезд, может быть, все выяснит. Чернышева ждали на третий день, но он ездил с такой быстротой, что всегда являлся раньше предположенного срока. 10-го утром он примчался в Париж. Почти тотчас же по приезде он отправился в Тюльери. Тут его не заставили долго ждать в приемной зале. Едва он назвал свою фамилию, дежурный камергер завел его к Его Величеству.

Предупрежденный министром полиции, император знал, что этот посол был не только послом, но и шпионом. Тем не менее, у него были веские причины принять его хорошо. Он встретил его с довольным видом, высказал, что приятно поражен тем, что в такое непродолжительное время вторично видит его и поздравил его с волшебной расторопностью. «Ну, о чем же думают у вас — о мире или о войне»[1], — сказал он затем.

Чернышев подал ему письмо императора Александра от 25 марта и сказал, что его государь по-прежнему непоколебимо желает поддерживать союз на старых началах. После этого начался длинный разговор о взаимных обидах, причем Наполеон высказался, что «так как он твердо убежден, что война с Россией кроме вреда ничего ему не принесет, то самое искреннее его желание столковаться с ней по-дружески, и что он сейчас же увидит, дает ли ему письмо императора Александра возможность сделать это».

Он сломал печать. По мере чтения письма на лице его все более выступало разочарование. Во всем, что говорил ему Александр, он не находил ничего определенного, ничего, что давало бы ему возможность прийти к какому-нибудь заключению. Действительно, трудно было угадать скрытый смысл письма без комментариев, дать которые был уполномочен Чернышев. Дойдя до

---

[1] Corresp., 17571.
[2] Он хотел сказать, в 1806 г.
[3] Corresp., 17579.

* Ряд приборов с оптическими стеклами, поставленных на особых вышках; этими приборами пользовались в то время для сигнализации. Прим. перев.

[1] Все следующие цитаты, до стр. 126, взяты из донесения Чернышева, опубликованного в XXI томе Recueil de Sociéte impériale d'historie de Russie; стр. 66—109. Донесение напечатано в этом издании с неверной датой; в действительности же оно помечено апрелем.

фразы, в которой царь жаловался на неуверенность в своей безопасности, Наполеон с досадой воскликнул: «Кто же посягает на ваше существование? Кто намерен напасть на вас?». Ведь он уже сказал, что восстановление Польши «стоит на последнем месте в его планах».

Затем Наполеон перешел к сожалениям по поводу страхов России и ее лишенных почвы треволнений, которые приводят ее к плохо рассчитанным и непоследовательным поступкам. Будучи врагами Англии, русские играют ей в руку; враги турок — они, не подписав еще мира, прекращают враждебные действия, чем ставят себя по отношению к Порте, а также и к Австрии, в фальшивое, нелепое и неопределенное положение; своим участием к Пруссии они копрометируют ее и подвергают еще худшей участи. Наконец, будучи союзниками Франции, они ставят себя в такое положение, что могут внезапно оказаться в войне с ней. Но отдают ли себе отчет в Петербурге, какая это будет война? «Я думаю, — сказал Наполеон, — что император Александр заблуждается насчет наших средств. Он ошибается, думая, что в настоящее время мы слабы. У меня над ним преимущество в том, что я могу вести с ним войну, не отвлекая ни одного человека из моих армий в Испании... Война только задержит мои морские планы и будет стоить мне денег. Но находящихся в моем хранилище шестисот миллионов, вероятно, хватит... Если вы не верите мне, я готов приказать, чтобы вас тотчас же провели во флигель моего дворца, где хранятся деньги, и где вы можете сосчитать их». Итак, Франция может выдержать войну, но у нее нет ни средств, ни желания начинать ее, она никогда не возьмет на себя почин. «Даю честное слово, — сказал Наполеон, — не нападать на вас в течение четырех лет, конечно, если вы сами не начнете войны». «Но, — продолжал он, — только от него зависит собрать в несколько месяцев триста тысяч французов и несметное количество союзников». И тотчас же он рисует перед взорами Чернышева ужас наводящую картину: лагери в сто тысяч человек каждый со всем на пути к формированию, затем сто сорок четыре полка, из которых только семьдесят заняты в Испании, словом, — «громадную, исполинскую» армию с восемьюстами орудиями, готовую сейчас же двинуться на Север. Таким образом, прибегая то к тому, то к другому приему, старается он

то успокоить Россию насчет своих намерений, то внушить ей страх своими средствами, с целью доказать ей, что соглашение еще возможно, и что она должна предпочесть его войне.

«Но письмо императора, вашего государя, не указывает мне никакого способа к достижению этого, — говорит он, намекая на соглашение. — Мне желательно сохранить деньги в кармане и, сознаюсь, я ждал вас с нетерпением в надежде, что ваш приезд рассеет все возникшие недоразумения и даст возможность прекратить огромные расходы и сберечь деньги, которые мы оба тратим на приготовления к войне. Но, дорогой мой друг, я по всему вижу, что, несмотря на быстроту ваших двух поездок, все ваше поручение ограничивается несколькими упреками по моему адресу; итак, со времени вашего отъезда, мы ни на шаг не продвинулись вперед». Так как Чернышев выступил со своими миролюбивыми уверениями, то он продолжал: «Все это прекрасно, однако, это не дает мне возможности угадать, чего желает Россия». Затем, взяв Чернышева за ухо, «что служило доказательством большой ласки со стороны Его Величества», придавая этим властно дружеским жестом особое значение своим словам, он сказал: «Поговорим теперь как истинные солдаты, просто, без дипломатического многословия». И устремив на молодого человека пытливый, насквозь пронизывающий взгляд, он старался проникнуть в самые тайники его души и выпытать у него тайну его двора.

Хотя Чернышев и попал в довольно затруднительное положение, он не выдал тотчас же этой тайны. Он не хотел по первому же требованию снять покров с притязаний России на герцогство Варшавское. Так как то, что ему нужно было сказать, имело очень большое значение и могло быть дурно принято, он высказался только после долгих настояний. Сперва он сказал, что не сведущ в этом деле, долго ломался, заставлял себя просить. Затем, считая, что пора сделать решительный намек, он выразился фигурально и, слово в слово повторяя метафору Румянцева, сказал: «Ввиду того, что канцлер относится ко мне очень благосклонно и с полным доверием, я осмелюсь, с разрешения Вашего Величества, передать вам его разговор со мной, сохраняя даже одно из его выражений, а именно: если бы удалось ссыпать в один мешок дела Польши и Ольден-

бурга, перемешать их хорошенько и затем вытряхнуть, то граф глубоко убежден, что союз между Францией и Россией сделался бы вполне прочным, более тесным и искренним, чем прежде, и все это назло англичанам, и даже немцам». Слово было сказано. Яркий луч света внезапно озарил ум императора. В первые минуты он даже подумал, что Россия требует у него все герцогство целиком, что взамен Ольденбурга она хочет получить передовое укрепление, которое стояло во главе нашей оборонительной системы и служило ключом к Германии. На это он никогда не согласится! Как? Отдать герцогство? Это было бы величайшим безрассудством. И, кроме того, величайшим позором. В тысячу раз лучше война — война сейчас же, со всеми ее случайностями и опасностями, но не уступка на такое требование! Вот какой ответ диктовали императору его оскорбленная гордость и вспыхнувшее недоверие.

Он поднялся и, дрожа от гнева, стал ходить большими шагами, забрасывая Чернышева в порыве бешенства следующими словами: «Ну нет, милостивый государь, к счастью, мы не дошли еще до такой крайности: отдать герцогство Варшавское за Ольденбург было бы верхом безумия. Какое впечатление произвела бы на поляков уступка хотя бы одной пяди их территории в момент, когда Россия угрожает нам! Мне, милостивый государь, каждый день со всех сторон твердят, что у вас существует проект захватить герцогство. Да ведь и мы не все мертвые. Если я и хвастун, то, во всяком случае, не больше других. Я знаю, что ваши средства велики, что ваша армия и очень хороша, и храбра да и помимо того, я слишком много отдал сражений, чтобы не знать, от каких пустяков зависит их судьба. Но, если бог войны станет на нашу сторону, а это возможно, ибо шансы одинаковы, я заставлю Россию раскаяться и может случиться, что она потеряет не только свои польские провинции, но и Крым».

Чернышев дал пронестись этому бурному потоку. Но лишь только он нашел возможность вставить слово, он постарался ослабить значение своих слов. Он извинился, что необдуманно повторил вырвавшуюся у канцлера мысль; что, может быть, он плохо понял мысль министра; возможно и то, что не точно передал ее.

Видя, что Чернышев дал отбой, Наполеон заключил из этого, что полковник уполномочен видоизменить и сократить требование; что если не выгорит комбинация с польским государством, Россия пожелает получить смежную с Польшей территорию, владея которой, она могла бы поставить Варшаву в зависимость от себя, иначе говоря, потребует важную крепость, господствующую над Вислой. «Теперь, — сказал он более спокойным тоном, — я догадываюсь. Вы желаете получить за Ольденбург Данциг. Год тому назад, даже шесть месяцев, я бы отдал вам его, но теперь, когда я вам не доверяю, когда я живу под угрозой, как хотите вы, чтобы я отдал вам единственную крепость, которая, в случае войны с вами, будет точкой опоры для всех моих военных операций на Висле? Ведь если мне впоследствии будет грозить нападение, мне придется по собственной воле отнести свои операции на Одер».

Таким образом, считая, что второе требование не столь возмутительно, как первое, он открыто признался, в силу каких соображений вынужден отвергнуть его. Поэтому он не оборвал разговора. Желая знать, является ли опасение возрождения Польши главной заботой России, оно ли мучит ее, в этом ли следует искать корень зла, загадку и разрешение всех недоразумений, он, чтобы выведать это, прибег к оригинальному приему. Рассказ Чернышева позволяет нам присутствовать при любопытной сцене.

«Вслед за тем, — рассказывает офицер в своем донесении царю, — Наполеон спросил меня, с тем откровенным и добродушным видом, который знаком Вашему Императорскому Величеству: «Скажите мне откровенно, серьезно ли думают император Александр и граф Румянцев, что я желаю «восстановить Польшу?». Я ответил, что не могу доподлинно сказать, предполагает ли Ваше Величество в нем такое намерение, но, что все, что происходит в герцогстве Варшавском со времени кампании 1809 г., имеет такой вид, что причиняет вам беспокойство. Беря меня снова за ухо, он сказал, что непременно хочет знать, что я сам думаю об этом, прибавив: «Не правда ли, вы думаете, что я жду только «окончания моих дел в Испании, чтобы выполнить это намерение?». Я ответил, что я слишком молод и неопытен, чтобы иметь личное мнение, да к тому же мой долг смотреть на все глазами императора, моего

государя. Все настойчивее требуя ответа, Наполеон все время забавлялся тем, что, смеясь, сильно драл меня за ухо, уверяя, что не выпустит уха, пока я не исполню его желания. Эта шутка начала надоедать мне, ибо причиняла мне боль, и я сказал ему: «Хорошо, Государь! Так как Ваше Величество непременно желает получить ответ, скажу вам, что я не в силах решить, будет ли осуществление такого намерения в ваших интересах; но не задумаюсь предположить, что, невзирая на ваш союз с Россией, восстановление Польши при условии, когда это покажется вам выгодным и у вас не будет других войн — одна из ваших затаенных мыслей».

При этом признании Наполеон придал лицу своему такое выражение, как будто остолбенел от горя и изумления. «Непостижимо, — сказал он, — как упорно приписывают мне этот план. Ведь это «большая непредусмотрительность». Постоянно говоря мне, что у меня есть такая мысль, быть может, и кончат тем, что внушат мне ее и толкнут на это дело. В последнем случае, «если меня хорошенько поколотят и заставят вернуться восвояси», по крайней мере, вопрос будет решен раз и навсегда. Но если война повернется в мою пользу, он может быть решен в ином направлении. Тем не менее, — думал Наполеон, — следует ли отказаться от всякой надежды отвратить это бедствие? Нет ли помимо территориальных жертв, на которые намекнул Чернышев в сибиллических выражениях, какого-нибудь средства рассеять недоразумения?» Император кончил тем, что в ответ на дважды предложенную ему загадку, относительно которой он боялся, что слишком хорошо разгадал ее, представил целый ряд твердых встречных предложений. Во-первых, предложение прибавить Эрфурту столько немецкой территории, сколько потребуется для составления герцогу Ольденбургскому удела, вполне равного конфискованному герцогству; затем, предложение принять и подписать конвенцию, дающую гарантию против восстановления Польши в тех выражениях, в каких она недавно была предложена Францией. Взамен такой серьезной уступки Наполеон просил только одного, чтобы Россия не жгла произведений нашей промышленности. По соглашению по этим вопросам он имел в виду предложить одновременное разоружение. В заключение, он попросил Чернышева, не теряя ни минуты, передать его предложения кому следует. А так как, очевидно, это было далеко не то, что желательно было России, он попробовал пополнить разницу усиленным вниманием в обращении. До конца разговора, продолжавшегося в общем четыре с половиной часа, он осыпал Чернышева дружескими и лестными словами, оказывая в лице посла почет царю.

Надо думать, что вслед за аудиенцией, официальные сферы получили свыше приказ: как можно лучше обходиться со странствующим флигель-адъютантом и делать его пребывание в Париже приятным и веселым, ибо тотчас же у большинства принадлежащих ко двору лиц проявилось необычайное к нему расположение. Все начали приглашать его к себе, нянчиться с ним. Принц Невшательский просил его прибыть на домашний концерт, данный в присутствии приблизительно двадцати самых избранных гостей. Принцесса Полина получила разрешение приглашать его, как и прежде, «на свои маленькие вечера».

Это тонко задуманная, бьющая на самолюбие, игра была грубо испорчена несвоевременным усердием одного министра. Известно, до какой степени неугомонное любопытство Чернышева, его стремление всюду пролезть и все разнюхать беспокоили генерала Савари, герцога Ровиго. Этот искуснейший министр полиции вздохнул с облегчением, когда Чернышев незадолго до описываемых событий уехал в Россию; но спокойствие его было непродолжительно. Можно представить себе его волнение и негодование, когда он узнал, что этот офицер, с которого нельзя глаз спустить, только заглянул в Петербуг, как будто съездил туда только для того, чтобы «переменить лошадей»[1], и что у него хватило наглости вернуться в Париж продолжать свои проделки! Оказанный Чернышеву прием, поднятый его приездом переполох и высказанная ему благосклонность, которой он, конечно, не упустит злоупотребить, привели в отчаяние и негодование подозрительного министра, не знавшего подкладки императорской политики. Он вступил в борьбу с общей бесхарактерностью, счел долгом окрыситься и взять на себя роль доброго сторожевого пса наших военных тайн.

Чернышева предупредили от имени Савари, что

[1] Memoires de Rovigo, V, 129.

слишком большое любопытство может повредить ему. Пусть себе веселится вовсю в Париже и не путается в другие дела — таков был совет, который поручено было передать ему. Почувствовав укол, Чернышев отплатил дерзостью. Он начал визиты с министра полиции и дал понять ему, что крайне оскорблен несправедливыми подозрениями. Чтобы оградить на будущее время свое поведение от всякого рода нежелательных толкований, он с самым простодушным видом попросил Савари начертать ему план поведения и указать дома, которые он может посещать.

Савари весьма искусно разыграл роль добродушного простака. Он притворился, что принимает слова своего гостя за чистую монету; осыпал его «ласками и вниманием», «обнял несколько раз»[1]; но на другой же день пустил в него новую, собственного изобретения, стрелу. В этот раз его оружием была печать. Чтобы положить конец увлечению, которое с новой силой вспыхнуло в пользу молодого иностранца и открыло пред ним все двери, чтобы сбавить ему спеси и низвести его на роли простого курьера, он придумал напечатать в журнале на видном месте юмористическую статью, которую нельзя было не отнести на счет Чернышева, рассчитывая таким путем развенчать его и сделать смешным в глазах общества.

Прежний Journal des Debats, переименованный в Journal de J'Empire, все более приближался к официальному Moniteur'y. Он был менее напыщен и носил более литературный характер. Правительство приказывало печатать в нем разного рода заметки и руководящие статьи для направления общественного мнения. Вследствие чисто служебной роли этого журнала никакое проявление свободной мысли в нем не допускалось. В нем-то 12 апреля на 2-ой странице и появилась статья в полтора столбца под названием: «Любители новостей». Статья без подписи, была написана в насмешливом и забавном тоне. Анонимный автор, приведя крайне пикантную выдержку из «Персидских писем» об охотниках до новостей прошлого столетия, применял ее к своим современникам. Разве современные любители новостей, говорится в статье, не достойные соперники своих предшественников по стремлению легкомысленно

[1] Донесение, цитируемое на стр. 120 и на следующих.

возбуждать общественное мнение, по страсти преувеличивать значение событий и людей; по страсти постоянно предсказывать ужасные события и создавать из ничтожнейшего курьера особу высокого значения?

«Двадцать раз бросив то Север на Юг, то Европу на Азию, собрав в Польше армий больше, чем батальонов во всех государствах земного шара, выписав артиллерию из Камчатки и набрав эскадроны северных оленей в Лапландии, они переходят от этих чудес к преувеличению самых заурядных событий. Они извращают их значение до невероятно смешного... Существует такой иностранный офицер, значение которого они измерили количеством почтовых станций, через которые тот проехал в течение шести месяцев. Они с точностью ученого вычислили, что сделанный им менее, чем в один год путь, мог бы два или три раза охватить земной шар. Отсюда эти господа вывели заключение, что настоящее время готовит чреватое будущее, ибо никто не ездит так быстро, так далеко и так часто без поручений, от исполнения которых зависит судьба двух империй и пяти или шести королевств».

«Впрочем, можно успокоить их, напомнив им известный анекдот. У князя Потемкина, дававшего также в свое время пищу воображению охотников до новостей, был среди его офицеров майор по фамилии Бауер — один из тех людей XVIII столетия, которые доставляли особенно много хлопот немецким газетчикам и русским ямщикам. Он то и дело являлся на самых противоположных дорогах, носясь от устья Дуная к устью Невы, от Парижа до границ Туркестана. Заседающие в кафе политиканы — свидетели всех этих поездок, вображали уже, что дело идет о возрождении Древней Греции, о восстановлении Таврического царства, о завоевании Константинополя и даже о тех великих переселениях народов с Севера, которые некогда покрывали развалинами запад и юг Европы. Хотите знать, какого рода были тайные поручения майора Бауера? По возвращении из Парижа, куда он ездил выбрать танцовщика, князь посылал его за паюсной икрой в Албанию, за арбузами в Астрахань или за виноградом в Крым. Этот офицер, проводивший всю жизнь на больших дорогах, боялся, что когда-нибудь сломит себе шею и просил сочинить для него надгробную надпись. Один из его друзей сочинил нижеследующую, которая

могла бы пригодиться и некоторым из его преемников:

«Ci-git Bawer, sous ce rocher;
«Fouette, cocher»*.

Статья наделала большого шума. Манера выставить посла официально союзного государя, полковника, приехавшего со специальным от него поручением, под видом зазнавшегося фельдъегеря, постоянно скачущего то туда, то сюда, с бубенчиками, под звуки ударов кнута, была принята всеми за верх дурного тона и непочтительности. Но более всех возмущен был император. Вот как! Его же начальник полиции осмеливается ставить препоны его миролюбивой политике; он позволяет себе деяния, которые усиливают и без того достигшее высокой степени раздражение. Нет ничего невероятного, что, благодаря ошибке и глупости одного из его министров, ему придется чуть ли не сейчас иметь войну, тогда как все его усилия направлены к тому, чтобы уйти от нее.

Он потребовал герцога Ровиго и задал ему жестокий нагоняй. «Вы хотите заставить меня вести войну? — сказал он ему, — но ведь вы знаете, что я не хочу войны, что у меня ничего не готово для этого[1]». Герцогу вторично дано было приказание, на этот раз в повелительных, не допускающих никаких рассуждений, выражениях прекратить против Чернышева всякие вылазки, оставить его в покое, предоставить ему свободу «уходить, приходить, смотреть и слушать». «Недоставало только, чтобы мне приказали самому известить его об этом», — добавлял сердитым тоном Савари, вспоминая о пережитой некогда неприятности[2].

Император не ограничился жестоким выговором и строгими предписаниями на предбудущее время. Не желая жертвовать своим министром, он не захотел разоблачать его роли перед публикой, решив найти козла отпущения среди подчиненного Савари персонала. Он пожелал узнать, кто составил статью. Ему назвали Эсменара, профессионального литератора, примазавшегося к министерству полиции, где он исполнял обязанности цензора. Этот-то писатель, перо которого

* «Под камнем сим лежит Бауер. «Гони, ямщик!»
[1] Memoires de Rovigo, V, 132—135.
[2] Id., 133.

без всякой жалости вычеркивало у других всякую подозрительную фразу, позволил себе написать в правительственной газете верх непристойности. Еще более любопытный факт, оставшийся в то время в тени, дополняет характеристику этого лица и дает возможность судить о нем. Эсменар занимался разоблачением шпионов, но не пренебрегал случаями и обслуживать их. Он поддерживал более, чем подозрительные сношения с некоторыми посольствами и охотно торговал государственными документами. По всей вероятности, он с самим Чернышевым имел дела подобного рода. Но он обманывал русского агента качеством проданного товара: он изготовлял для него поддельные документы, а выдавал за подлинники[1]. Таким образом, он добывал себе средства к жизни разными пакостями, в полной уверенности, что его проделки останутся безнаказанными. Излишнее усердие погубило его. Статья от 12 апреля была для него роковой. Император лишил его места и отправил за сорок лье от Парижа размышлять о неудобствах излишнего усердия при выполнении поручений, продиктованных министерской злобой[2]. Главный редактор журнала Этьен был отрешен от должности на три месяца.

Этими мерами, которым постарались придать широкую огласку, Наполеон рассчитывал ослабить то впечатление, которое могла произвести в России злополучная статья, и вместе с тем обеспечить лучший прием своим встречным предложениям. Этим путем он надеялся отсрочить более глубокую перемену отношений до тех пор, пока, успокоившись от семейных треволнений, обдумает туманные предложения Чернышева и приготовит для своего нового посланника в России надлежащие инструкции.

Но он не успел этого сделать. События опять захватили его врасплох. Целые тучи известий, одно тревожнее другого, обрушились на его голову. Приблизительно в середине апреля 1811 г. в течение четырех или пяти дней сыпались они на него, как из рога изобилия,

[1] Дальше в главе VIII увидят пример торговли подобного же рода.
[2] Он воспользовался своей ссылкой для путешествия по Италии, где и погиб во время несчастного случая с экипажем.

со всех сторон, без остановки, чуть не каждый час. В особенности принимали неожиданно важное значение сообщения из Варшавы. Наше посольство уже не ограничивалось сообщением только одних слухов и тревожнений. Оно получило вполне определенные сведения; оно имело поразительные беседы доверительного характера, и его донесения, совпадая с тысячью тревожных воплей, которые, слившись в могучий хор, с разных сторон неслись к императору, довели кризис до последнего предела.

III

Уже около месяца представителем Франции в Варшаве был новый агент. На этот наблюдательный пост был назначен в качестве министра резидента некто Биньон, служивший перед тем в Бадене. Это был маленький человек, чрезвычайно деятельный, подвижный, юркий, глубоко образованный и крайне усердный, всей душой отдавшийся служению императору и его славе. По приезде в Польшу, он на первых порах был оглушен поднявшимся там гамом. На него набросились со со всех сторон. В салонах, в присутственных местах, в штабах — всюду и все выражали желание подробнейшим образом осведомить его относительно русских планов, причем в сообщаемые сведения вносилась страшная путаница. Биньон не успел еще прийти в себя от этого оглушительного шума, от стольких противоречивых сведений, как первое лицо в герцогстве, князь Иосиф Понятовский, лично представил ему такие важные и точные данные, что французскому агенту было с чего прийти в волнение.

29 и 30 марта между Понятовским и представителем Франции имели место два продолжительных разговора. Прежде всего, князь Иосиф постарался убедить собеседника, что вполне владеет собой, что чужд свойственной его соотечественникам экзальтации, которая часто вредит верности их суждений. Он сказал, что не следует смотреть на его слова, как на «усердие пустого болтуна, который преувеличивает опасность, чтобы поскорее получить помощь, и которого можно заподозрить в том, что, прикрываясь личиной страха перед взрывом, он стремится вызвать самый взрыв»[1]. Приняв эту предосторожность, он приступил к делу. Спокойным и убежденным тоном, в котором чувствовалась непоколебимая уверенность, он сказал, что в самое недавнее время герцогство было на волоске от гибели; что император Александр имел намерение напасть на него, перебросить на его территорию армию и предложить герцогству вступить в состав присоединенной и порабощенной Россией Польши. Это поглощение и было бы первым актом великой войны против Франции. Понятовский добавил, что говорит не понаслышке, не по простому подозрению, не по более или менее верным признакам: у него было вещественное доказательство того, что он рассказывает. Он сам видел это доказательство, осязал его, держал в своих руках. Он знает планы императора Александра так же верно, как знал бы намерения императора Наполеона, «если бы прочел письма Его Величества»[2]. Нельзя было яснее дать понять, сказать в более точных выражениях, что инструкции, данные Александром его сторонникам в Польше, были сообщены Понятовскому слово в слово, что он собственными глазами видел письма царя.

Он горячо настаивал на самом факте, но упорно скрывал источник осведомления. Видно было, что он не хотел назвать и скомпрометировать автора этих прискорбных разоблачений. Он ссылался на ниспосланные Провидением обстоятельства, на «чудное видение», открывшее ему глаза на национальную опасность. Откуда же взялось это видение? Следует припомнить, что, в силу инструкций Александра, данных доверенному лицу, на которое возложена была задача подготовить дело, т. е. князю Адаму Чарторижскому, допускалась и даже требовалась известная доза болтливости. Как помнят, князь Адам должен был выведать мнение некоторых лиц, занимавших высокое положение среди знати и армии, так как все зависело от их согласия. Нашел ли он необходимым открыться самому Понятовскому и узнать его отношение к задуманному плану, рискуя при этом скомпрометировать все дело? Думал ли, что высший интерес родины, участь которой стоя-

---

[1] Биньон Шампаньи, 29 марта 1811 г.
[2] Биньон Шампаньи, 29 марта 1811 г.
[3] Id., от 30 марта 1811 г.

ла на карте, повелевает ему посоветоваться с человеком, который был живым воплощением Польши? Было ли сделано сообщение умышленно или случайно, непосредственно или окольными путями? Вот сколько вопросов остаются покрытыми непроницаемой тайной. Тем не менее, достоверно, что документы, на которые намекал Понятовский, и которые прошли через его руки, были собственноручные письма императора Александра к Чарторижскому, именно его письма от 25 декабря и 30 января, те самые, в которых высказывались начала политики, которых царь держался в течение приблизительно трех месяцев.

Сходство между содержанием писем и словами Понятовского в том виде, как о них доносится в переписке Биньона[1], настолько велико, что исключает всякое сомнение. Достаточно сличить оба текста, чтобы вполне убедиться в этом. За исключением некоторого несущественного различия в изложении, это те же мысли, те же выражения. В словах Понятовского есть все, что Александр сообщил и подробно развил князю Аламу, как то: обещание дать политикам самую широкую автономию и либеральную конституцию, надежда на содействие Пруссии, вероятность взрыва всеобщего негодования в Европе против деспотизма императора Наполеона; поход двух русских армий с определением порядка их выступления — одной вслед за другой; наконец, необходимость получить предварительное, не подлежащее сомнению согласие варшавских главарей признать его своим государем. По словам Понятовского, это условие вытекало из выражений во втором письме, а мы знаем, что второе письмо действительно изложено было особенно ясно и служило как бы комментарием к первому письму. В нем Александр высказывался откровеннее, говорил, что готов начать кампанию; но требовал, чтобы предварительно варшавяне обратились к нему с каким-нибудь заявлением, вроде приглашения прийти и принять их под свою державную руку.

Понятовский знал, что такого приглашения не последовало; что русским не удалось заручиться желанным содействием, и что этот недочет помешал им приступить к выполнению предприятия. По последним сведениям, теперешние намерения Александра были величиной неизвестной. Он как будто склонялся к выжидательной политике и вооруженному бездействию, но не было никаких указаний, что он окончательно остановился на этом. Следовательно, опасность, которая несомненно, существовала, не исчезла; самое большее, что она отдалилась. Ежеминутно она могла нахлынуть и разразиться над Варшавой[1].

Все содействовало такому впечатлению: и присутствие в Польше многочисленных агентов, посланных Россией в качестве авангарда, и явное стремление обработать и ввести в заблуждение общественное мнение, и распространяемый слух о восстановлении Польши милостью самодержца и, в заключение, самое главное — непрерывное скопление русских войск на границах великого герцогства. Офицеры и начальники постов, охранявшие границы, затем переодетые агенты, дерзавшие пробираться на русскую территорию, присылали ужас наводящие донесения. Гражданские власти, военное министерство и французское посольство в Варшаве были завалены подобными сведениями. Понятовский проводил дни и ночи, делая выписки. Затем он передавал Биньону или подлинные документы, или выдержки из них. Конечно, многие из этих донесений не сходились между собой и носили на себе следы «польской склонности к преувеличениям». Характер самой нации служил помехой точному констатированию фактов. «Нет ни одного человека, — вполне справедливо писал Биньон, — до самого заурядного шпиона включительно, который бы вместо простого отчета о том, что видел, не написал своего рода военного романа»[2]. Тем не менее, ввиду того, что все донесения в известных пунктах были сходны, представлялось возможным сделать некоторые правдоподобные выводы. По всей вероятности, имелось налицо сто шестьдесят, а может быть, и двести тысяч человек — такова и была, в действительности, по сообщениям самого Александра, точная цифра. Часть этих войск подошла к самой границе. В ближайших к герцогству уездах Литвы, Волыни и

[1] Депеши от 29, 30 и 31 марта 1811 г. с приложенными документами.

[1] Биньон Шампаньи, 30 и 31 марта.
[2] Id., 30 апреля.

Подолии, по всей западной границе этих губерний, все дороги покрылись выступившими в поход полками. Самые маленькие деревушки были переполнены войсками. Дивизии колесили по стране, делали эволюции, переходили с одного пункта на другой, постоянно меняя места стоянки, как будто такой подвижностью хотели сбить с толку наблюдателя и помешать точному определению количества войск. Эти червеобразные движения, за которыми трудно было уследить, появлялись по временам из окружающего их мрака, превращались в глазах поляков в одно ужас наводящее привидение. Полякам, которые жили в непрерывном кошмаре, казалось, что над ними носится, что на них давит мрачное страшилище. Им чудилось, что оно без конца удлиняется, что оно подплывает к ним, поднимается над их головами и принимает образ великана, готовящегося с размаху обрушиться на них и раздавить своей громадой.

В почти ежедневных депешах Биньон указывает своему правительству на это крайне тревожное состояние; он отмечает его изо дня в день. Он пересылает все документы целиком, не тратя времени на то, чтобы разобраться в этом ворохе бумаг, чтобы отделить правду от лжи, и не решаясь пока ни сделать общей оценки, ни высказать своего мнения[1]. Что же касается Понятовского, то, видя, как проходят неделя за неделей без малейшего ослабления напряженного положения, страшась ответственности, он не довольствовался уже доставлением сведений только нашему посольству. Он хотел явиться к самому императору, чтобы передать ему все лично, решаясь даже для того, чтобы отправиться за подкреплением, покинуть на время свой пост. Он заставил назначить себя чрезвычайным послом для официального принесения поздравлений по случаю рождения Римского короля. Это поручение должно было служить ему предлогом для кратковременной поездки в Париж. А пока он всюду распространял тревогу, и мало-помалу беспокойство охватило всех, от Варшавы до Эльбы. Дрезденский двор сходил с ума. В Вене только и говорили о предстоящем появлении русских на берегах Вислы. В Гамбурге невозмутимый Даву на-

[1] Биньон Шампаньи. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20 апреля 1811 г.

чал поддаваться охватившему всех волнению. Теперь он допускал возможность «известного события»[1], просил приказаний, и не называл уже страхи поляков плодом болезненного воображения. — «К тому же, — писал он, — сообщения, независимо от их источника, вполне совпадают и доказывают, что эти полоумные видели лучше мудрецов; они правы, говоря, что Россия собрала против них все свои силы; что она упорно преследует определенную цель — напасть на герцогство. Действительно, из многих донесений явствует, что отозванные из Финляндии и Турции войска присоединились уже на Буге и Днепре к главным силам; что войска из Одессы и Крыма тоже идут в том же направлении. По некоторым донесениям, даже далекая Сибирь посылает свои команды»[2]. Видя, как русская военная мощь все более собирается в компактную массу, напрягая все свои силы как бы для внезапного, стремительного прыжка, кто решился бы утверждать, что император Александр совершенно отрекся от своих планов, что он не поддастся снова потоку своих страстей? Итак, герцогство и соседние с ним страны, оба берега Вислы, подступы к Данцигу, все государства, входящие в состав нашей первой оборонительной линии, стоят под угрозой нашествия.

VI

Наполеон немедленно же делает распоряжения на случай войны, как будто она должна вспыхнуть на другой же день. Три дня подряд, начиная с понедельника на Пасхе, 15 апреля, затем 16 и 17, не отдыхая от своих обязанностей, связанных с его высоким положением, как-то: приема посланников и депутаций, являвшихся поздравить его с рождением сына, он направляет свой ум на неустанный труд. Он предусматривает всевозможные случайности, делает расчеты, изобретает разные комбинации, отдает приказания. В эти дни всеобщего

[1] Даву императору, 11 апреля. Archives nationales AF, IV, 1653.

[2] Корреспонденция Швеции и Турции, апрель 1811 г.: письма Даву от 31 марта, 11, 14, 16, 25, 28, 30 апреля, приложенные к ним письма Понятовского, донесение саксонскому двору, донесение из Стокгольма. Archives nationales, AF, IV, 1653.

праздника и отдохновения, когда население Парижа высыпает на улицы и наслаждается весной, когда у въезда в Тюльери собирается толпа, чтобы с почтительным поклоном взглянуть на императрицу, в первый раз вышедшую на окаймленную прудом террасу, когда все разговоры сводятся к объявленным по случаю крестин торжествам, в министерстве и других присутственных местах царят невидимые для постороннего глаза волнение и лихорадочная деятельность. Весь персонал военного министерства и министерства иностранных дел поставлен на ноги; день и ночь проходят в составлении походных приказов и изготовлении декретов. Чуть не каждый час из императорского кабинета выходят инструкции: курьеры мчатся по всем направлениям — в Данциг, Варшаву, Гамбург, Дрезден и Милан.

В первую голову нужно было позаботиться о мобилизации и концентрации варшавской армии. Нужно было, чтобы через двадцать четыре часа по прибытии первого курьера были разосланы приказы: войскам соединиться, наличный состав пополнить, кавалерии быть в седле, артиллерии в упряжи, крепости привести в положение обороны. Важно было, чтобы армия, как можно скорее, собралась на хорошо выбранной позиции, чтобы она не разбрасывалась и не подставляла себя под удары противника. Итак, следует, не теряя ни минуты, не заботясь о расходах, энергично приняться за дело. «Теперь не такое время, — пишет Наполеон королю саксонскому, — чтобы Ваше Величество думали о каком-нибудь миллионе»[1]. Главное же, по его словам, чтобы не теряли хладнокровия, чтобы все хорошенько прониклись мыслью, что ничто не потеряно — даже в том случае, если русские войдут в Варшаву, ибо и в 1809 г. австрийцы заняли Мюнхен, тем не менее, Бавария вышла невредимой из этого испытания.

Но император не создает себе иллюзий. Он отлично понимает, что пятьдесят тысяч Понятовского, опирающиеся на развалины крепостей и только что заложенные укрепления, не в силах надолго задержать русские войска. С другой стороны, он знает, что и Даву не может вовремя придти на Вислу, а если и придет, — не в силах будет защитить герцогство. Если при таком положении вещей будет сделано нападение, линию

[1] Corresp., 17612.

Вислы нужно считать потерянной заранее. Поэтому, думает Наполеон, следует отнести нашу операционную базу на запад. Приказывая герцогству оказывать сопротивление, он уже предусматривает и подготовляет эвакуацию герцогства Варшавского.

Вся суть в том, чтобы, уступив только почву, спасти оружие, боевые припасы, администрацию, архивы, — словом, устроить так, как будто бы весь государственный аппарат выселился целиком вместе с армией. По мере приближения русских, тяжелая артиллерия и наиболее ценные вещи должны быть помещены на суда и отправлены по Висле в Данциг. Благодаря его обширной системе укреплений и уже достаточно внушительному гарнизону, этот город может служить для них убежищем. Теперь император решает, что транспорты предназначенного герцогству оружия не должны переходить линию Одера, дабы этот ценный груз не попал в руки неприятеля. Что же касается варшавской армии, ей предписывается обеспечить за собой линию отступления по направлению в Германию и устроить на пути склады пороха и продовольствия — с тем, чтобы после мужественного сопротивления впереди столицы и в ее окрестностях, она могла, не торопясь, с почетом, отступить до Одера, где и должно начаться и обосноваться серьезное сопротивление.

Император приказывает Даву при первом же известии о нападении двинуться на Одер со всеми своими людьми, развернуть свои дивизии позади реки, опереть их на крепости Штеттин, Кюстрин, Глогау, встретить отступающую варшавскую армию, которая вступит в ряды его армии и усилит ее наличный состав. На правом же фланге станут две саксонские дивизии, которые спешно мобилизуются и скоро прибудут из Дрездена, — они подкрепят и удлинят его линию; на левом будет Данциг с его гарнизоном, с которым маршал должен поддерживать тесную связь и который будет его передовым постом. Таким образом, к 1 июня у него будет приблизительно сто пятьдесят тысяч солдат против двухсот тысяч русских, штыки которых сверкают уже на самой границе. Отношение три против четырех, при условии быть под командой герцога Ауерштеттского, принца Экмюльского, равнозначно почти верной победе.

Притом Даву в скором времени получит помощь.

Четвертые и шестые батальоны его полков уже выступили в поход и вскоре подойдут к нему. От Рейна и Эльбы во весь опор мчатся к нему кирасирские дивизии. В долинах Тироля и верхней Италии формируется спешно потребованный у Евгения корпус от сорока до пятидесяти тысяч человек, — он будет держаться наготове, чтобы к 15 мая перейти Альпы; в нужный момент он пересечет Германию с юго-запада на северо-восток и, идя по кривой линии, быстро дойдет до Одера. В это же время Наполеон лично прибудет в Германию. Он явится во главе своей гвардии, приведет с собой корпус, который уже собирается в Голландии, и все находящиеся в его распоряжении силы, и направится прямо на Одер. Тут он соединится с Даву, сменит его с поста, примет на себя главное начальство и переправится через реку, чтобы вернуть обратно покинутую почву, отбросить русских за их границу и наказать за дерзость[1].

Несмотря на удивительную ясность мысли, с какой Наполеон излагает все эти передвижения, несмотря на верх спокойствия, с каким он руководит приготовлениями, несмотря на его усилия вдохнуть в других веру в успех, он чрезвычайно озабочен; более того, он смущен. Убеждение, что его замыслы расстроены, ибо война на целый год опередила его предположения, что выгоды и обаяние первого нападения перешли к его противнику, что, в общем, это повторение кампании 1809 г., только при худших условиях и против более грозного врага, — вот что ясно читает он в тревожных бюллетенях, запрудивших его кабинет. И эта война, которая должна начаться чуть ли не на днях, которую он считает неудобной и по времени и по месту, так ненавистна ему, что он, не переставая готовиться к ней, еще упорнее цепляется за надежду отвратить ее. Наперекор бьющим в глаза доказательствам, он все еще едва верит в то, что ему доносят об императоре Александре. Такая смелость у государя, на которого он привык смотреть как на человека слабохарактерного и нерешительного, озабочивает его. «Если Россия, — говорит он себе, — имела бы дело только с великим герцогством, я допускаю, что она могла бы развлечься смелым

[1] Corresp., 17607 до 17609, 17611 до 17613, 17617. 17619 до 17623.

нападением, но при настоящем положении вещей она должна смотреть на это предприятие с более серьезной точки зрения»[1]. Впрочем, — думает он, допуская, что император Александр чуть было не бросился на герцогство — еще вопрос, не решился ли он на этот что вместо того, чтобы привести в исполнение свое несмелый шаг под влиянием чрезмерного страха. Факт, что вместо того, чтобы привести в исполнение свое необычайное намерение, царь послал в Париж Чернышева с поручением завязать переговоры, доказывает, что он предпочитает войне гарантию своей безопасности. Но в чем может заключаться эта гарантия? Чего хочет Россия? Чего, в конце концов, требует она? Были ли робкие заявления Чернышева первым и последним условием его двора? Действительно ли хочет Александр добиться уступки всего герцогства или хотя бы части его? Если это так, конечно, нельзя прийти ни к какому соглашению и нужно сражаться. Но, может быть, царь удовольствуется залогом, не столь тягостным для Франции? Вот что следует выяснить во что бы то ни стало и как можно скорее. С лихорадочным нетерпением Наполеон стремится узнать это. В течение трех дней, которые он без отдыха посвящает распоряжениям на случай войны, он старательно наводит справки; повсюду он производит рекогносцировки и старается узнать, где, каким путем и на какой основе может он начать переговоры.

15 апреля, т. е. в самом начале кризиса, он намечает канву депеши к своему посланнику в России. Нужно отметить, что, несмотря на приезд заместителя, Коленкур не был еще освобожден от исполнения своих обязанностей. К нему-то и были обращены эти, пока еще нигде не напечатанные, строки. Наполеон считает делом порвой необходимости вывести посланника из его душевного покоя, осведомить его об опасности, приказать ему, чтобы он выяснил истинные желания России, чтобы можно было, если еще не поздно, начать переговоры, придти к соглашению и восстановить спокойствие.

«Герцог Кадорский, — пишет Наполеон министру, коснувшись сначала инцидента с журнальной статьей, — я желаю, чтобы вы сегодня же отправили в Россию

[1] Письмо саксонскому королю. Corresp., 17612.

курьера, с которым вы сообщите герцогу Виченцы, что я с негодованием прочел статью в Journal de J'Empire, в которой в безобразном виде выставлен, очевидно, Чернышев; скажите, что уверяют, что статья была написана еще до приезда этого офицера и что напечатание ее задержалось по не зависящим от газеты обстоятельствам; но что, тем не менее, я приказал отставить от должности Эсменара, которому была поручена журнальная цензура; что я отправил его за сорок лье от Парижа; что он (герцог Виченцы) может передать эти сведения великому канцлеру, но только не прямо и как бы новость. Вы доведете до сведения герцога Виченцы, что он плохо осведомлен о событиях в России; что войска из Молдавии и Финляндии стягиваются к границе Польши и что, очевидно, от него скрывают все эти движения; что, однако, необходимо узнать, чего хотят, так как такое положение вещей, вынуждающее нас к вооружениям, стоит больших денег; что в его депешах нет ничего определенного; что я со своей стороны не жалуюсь на Россию и ничего не хочу от нее. Поэтому-то я и не вооружаюсь, как она; что нужно же узнать, ради чего она делает такие приготовления; что я желаю, чтобы до своего отъезда он добился какого-нибудь объяснения по этому поводу и узнал, какие существуют средства возродить доверие»[1].

Предполагая даже, что Коленкур ответит скоро и обстоятельно, ответ все-таки не мог бы прийти раньше месяца или шести недель. Но месяц слишком долгий срок для этих дней, — дней нетерпения, волнений и тревог, когда каждый потерянный час может повлечь за собой непоправимые последствия. Да и нужно ли так далеко ходить за секретом России? — думает император. По всей вероятности, и в Париже найдется кто-нибудь, кто знает его, да, может быть, не решается выдать. Может быть, Чернышев, испуганный приемом, с каким были встречены его намеки относительно герцогства и Данцига, не посмел в разговоре с императором сказать, на что, в конце концов, согласился бы его государь, и к чему сводится минимум уступок и гарантий. Если возобновить разговор с Чернышевым, думает император, весьма вероятно, что можно будет лаской

[1] Archives nationales, AF, IV, 910.

и просьбами выудить у него более скромное и определенное предложение, которое, надо полагать, ему приказано держать про запас и представить только после долгих, неотступных просьб.

В тот же самый день, 15 апреля, Чернышев был по приглашению на парадном обеде в министерстве иностранных дел. Вернувшись вечером домой, он с удивлением узнал, что в его отсутствие к нему два раза приезжал обер-гофмаршал генерал Дюрок, герцог Фриульский. Ему передали, что этот сановник приходил к нему сперва, чтобы пригласить его на высочайшую охоту, а затем, чтобы поговорить с ним о делах; что охота назначена на завтра в Сен-Жерменском лесу и, должно быть, будет исключительной по блеску. Действительно, как видно из сообщения Journal de J'Empire, в ней приняли участие «великий герцог Вюрцбургский, король Неаполитанский, принц Боргезе, принц вице-король, несколько маршалов, генералов и много придворных дам»[1]. Пригласить Чернышева на этот съезд значило особенно отличить его и оказать ему великую честь; с другой стороны, охота давала Наполеону случай вступить с ним в дружескую беседу[2].

На следующий день Чернышев одним из первых приехал на сборный пункт, назначенный, как и всегда, в построенном среди лесов павильоне. Вскоре начался съезд приглашенных; начали собираться охотники, прибыл служебный персонал императорской охоты и экипажи. Обер-гофмаршал приехал пораньше, с тем, чтобы выполнить данное ему к Чернышеву поручение, которого он не смог выполнить накануне. Он сказал ему, что император Наполеон, «думая, что не дал ему времени сообщить всего, что поручено ему сказать Его Величеством императором России, приказал возобновить с ним разговор о тех же предметах и узнать, не имеет ли он сделать какого-нибудь предложения?». Напрасные усилия Дюрока добиться ответа были прерваны приездом императора, прибывшего к нему на подмогу. Император сделал вид, что рад видеть Чернышева, и тотчас же начал окружать его почти отеческой заботой.

[1] Journal de J'Empire, 19 апреля 1811 г.

[2] Следующие подробности и выдержки до страницы 141, взяты из вышеупомянутого донесения Чернышева.

«Прежде всего, — писал несколько дней спустя молодой офицер, — я был назначен в небольшой кружок лиц, допущенных к столу Его Величества. За столом император, найдя, что я очень бледен, с большим участием расспрашивал меня о моем здоровье, советовал мне беречься и вообще очень часто заговаривал со мной». После завтрака сели на лошадей; собаки были спущены, зверь поднят. Веселые звуки охотничьего рога возвестили о начале охоты, и все общество охотников: высочайшие особы, французские и иностранные сановники мужчины верхом в зеленых с золотом галунами костюмах, дамы, поместившись в изящных почтовых колясках, — устремилось в глубь леса, под сень пробуждающейся осенней листвы.

Во время охоты Наполеон несколько раз прерывал свою бешеную скачку и, подъезжая к группе всадников, среди которой был молодой русский, с напускным чувством делал замечания, которые должны были доставить удовольствие Чернышеву. «Я слышал, — продолжает Чернышев в своем донесении царю, — как он очень громко сказал лицам своей свиты, что на сегодня ему приготовили чрезвычайно большое удовольствие: ему подали под верх две лошади, присланные в подарок Вашим Величеством. Он весьма долго превозносил их качества и добронравие. Сделав вид, что только что заметил меня, он подъехал ко мне, чтобы поговорить со мной об этих лошадях и спросил, что сделал Ваше Величество с лошадьми, которые он вам послал. На мой ответ, что лошади на казенном конском заводе, он сказал, что ему было бы много приятнее, если бы вы ездили на них верхом, так как это напоминало бы вам о нем».

Немного спустя после этого сантиментального отклонения от занятий дня, император снова остановился и, предоставив охотникам и собакам преследовать зверя, позволил своим гостям немного отдохнуть. В лесу между тем продолжалась охота. Постоянно меняя свое место, она то приближалась, то вновь удалялась; звуки рогов то раздавались совсем близко, то уносились и замирали вдали. Этим-то моментом и воспользовался император. Он пришпорил коня прямо на Чернышева, разговаривавшего в эту минуту с графом Вреде, и прервал их беседу резким и откровенным обращением к Чернышеву: «Послушайте, — воскликнул он, — они там, — в герцогстве, — ужасно боятся вас; они в таком же страхе, как Бавария в 1809 г. Мне сказали, что вы, по самому скромному подсчету, собрали полтораста тысяч; что ежедневно из Турции возвращается по одной из ваших дивизий; что вы подготовляете внезапное нападение. Неужели вы думаете, что одна великая держава может захватить другую врасплох, как захватывается крепость? Конечно, вам не трудно занять герцогство, но затем все-таки придется рисковать военным счастьем».

Затем, резко оборвав Чернышева, который в почтительных выражениях стал отрицать указанные им факты, он горячо продолжал: «Отчего император Александр не объяснился предварительно? Зачем начал он вооружаться?.. Теперь он собрал двести тысяч, я также выставлю двести тысяч: ведь такой способ вести переговоры, поистине, немного разорителен... Давно пора покончить с этим, — продолжал он. — Пусть император Александр решится приступить к делу, пусть выскажет свои требования. Я ведь не знаю, что вас устраивает, — ваше дело требовать». Чернышев держался как раз обратной точки зрения, и разговор свелся на пустословие. «Близкий конец охоты», — прекратил его. Очевидно, погоня приближалась, зверь проходил поблизости, и Наполеон, предвидя близкое hallali!*, стремительно возвратился к прерванной забаве. Во время гонки он еще два-три раза приближался к Чернышеву, бросал ему на лету вопросы, пересыпая их любезными словами; весело подмигивал; порывисто, урывками возобновлял разговор; затем — снова кидался в лес и мчался во весь дух, успокаивая бешеной ездой расходившиеся нервы и отрываясь от неотвязных дум.

В результате в течение этого дня, проведенного на свободе и на чистом воздухе, при условиях столь благоприятных для откровенных бесед, ни одной положительной фразы не удалось добиться от Чернышева. Император не пал духом и, хотя не лично, а через доверенное лицо, возобновил попытку. На другой день утром, когда Чернышев отдыхал у себя дома, неожиданно явился к нему обер-гофмаршал. Он сказал ему, что император, «заметив, что он плохо выглядит, и обеспокоенный этим, пожелал узнать, не повредила ли ему

* Победный клич охотников, когда измученный олень окружен собаками. (Прим. перев.).

травля оленя, которая состоялась слишком скоро после его утомительных путешествий и во время которой ему пришлось сделать восемнадцать лье». Осведомившись с трогательной заботливостью о его здоровье, Дюрок приступил к истинной цели своего визита. Он упрашивал Чернышева еще настойчивее, чем накануне; заклинал его высказать «требования, которые, вероятно, Его Величество император России поручил ему изложить только после усиленных уговариваний».

Но Чернышев не мог дать ответа на просьбы, выраженные в столь дружеском тоне, так как ему строго-настрого было приказано не компрометировать своего правительства слишком ясно выраженными предложениями. Намекнув императору на территориальные уступки в Польше, он тем самым исчерпал свои полномочия: он не имел права возвращаться к предмету, которого ему позволено было только слегка коснуться. Таким образом, и второй разговор с обер-гофмаршалом, подобно первому, растаял в тумане неясных фраз.

Видя, что Чернышев, только однажды обмолвившись, окончательно набрал воды в рот, Наполеон возвращается к своему посланнику в России. Он находит, что наступило время вторично и более настойчиво прибегнуть к проницательности Коленкура. Но не рука герцога Кадорского напишет об этом Коленкуру; он доверил эту заботу новому редактору, неожиданно перемещенному в высшей администрации государства с одного поста на другой. На протяжении нескольких часов в правительственных сферах произошло неожиданное событие и, — факт, беспримерный в истории империи, — высший кризис вызвал перемену в министерстве.

В течение трех с половиной лет Наполеон мог на опыте узнать усердие, работоспособность и редкие качества ума графа Шампаньи, герцога Кадорского. Но в измученном работой министре начинают сказываться симптомы утомления и упадка энергии. В прошлом году при ведении таких трудных дел, как дела Польши и Швеции, Наполеон нашел, что он был ниже своей задачи. Возможно и то, что раздраженный, задетый за живое захватившими его врасплох военными приготовлениями России, он ставил главе своей дипломатии в упрек, что тот не в достаточной степени подстрекал бдительность нашего посольства в этой непроницаемой

стране. Относясь к Шампаньи по-прежнему с большим уважением и благодарностью, он перестал ценить его услуги и не видел уже в нем министра, пригодного для трудных времен. Не лишая его своей милости, он решил отставить его, сохранив за ним заведывание своим двором и предоставив ему отдыхать на этой менее трудной должности. Теперь, когда Франции угрожала война, когда наша дипломатия должна была выступить в качестве сотрудника наших войск, когда ей придется подогревать усердие союзников, наблюдать за их военными действиями, направлять и приводить их действия в соответствие с планами императора, императору нужно было, чтобы во главе министерства иностранных дел был своего рода гражданский начальник штаба, строгий и энергичный исполнитель его воли. Его выбор, естественно, должен был пасть на человека, наиболее освоившегося со складом его ума и деятельности, на человека, много лет помогавшего ему в делах внутренней и внешней политики. Таким был государственный секретарь Маре, герцог Бассано, имя которого на все времена останется синонимом беспредельной преданности.

Симпатии Бассано к полякам и их делу были известны. В глазах поляков, преданность и послушание которых, может быть, вскоре пришлось бы подвергнуть страшному испытанию, его назначение явилось бы выражением участия, одобрения, почти залогом их будущности, а, вместе с тем, оно не было вызовом России, ибо герцог умел своевременно высказывать высокомиролюбивые чувства. Привыкший скрывать свои личные симпатии, сомневаясь в себе, но никогда не сомневаясь в своем повелителе, он не давал бы ему советов, но зато был бы ему самым преданным, деятельным и неутомимым слугой. Его благоговение перед императором, его глубокая вера в непогрешимость великого человека служили верной гарантией, что он никогда не будет колебаться, никогда не потеряет энергии при выполнении полученных приказаний; что его слова и составленные им бумаги будут точным воспроизведением мыслей императора; что он сумеет передать их во всей их силе и сохранит малейшие их оттенки. Его замечательная способность редактировать бумаги позволяла взваливать на него сверхчеловеческий труд, без боязни отяготить его тяжкой работой, Наконец, его

личное обаяние, его способность нравиться, его любезное обхождение в сочетании со спокойной непринужденностью — результат полной гармонии его жизни, слагавшейся из труда и светских удовольствий, — все это придало бы внешний блеск его должности и подняло бы ее в глазах других.

Передача полномочий произошла в течение одного утра. 17-го ранним утром, предписав Шампаньи послать некоторые, не терпящие отлагательства, бумаги, Наполеон сообщил ему о своем решении в собственноручном письме — образце такта и утонченного внимания, задачей которого было облегчить боль от наносимой ему раны. «Герцог Кадорский, — писал он, — я могу гордиться услугами, которые вы мне оказывали во всех должностях, которые я вам вверял. Но теперь внешние дела в таких условиях, что я счел необходимым для блага моей службы дать вам другое назначение. Прося вас вернуть портфель, я хотел, однако, непосредственно засвидетельствовать вам о моих к вам чувствах, чтобы у вас не осталось и тени сомнения относительно моего мнения об усердии и преданности, которые вы являли мне за все время вашего управления министерством»[1]. Вскоре по отправке письма состоялась перемена министров. Маре принял должность из рук своего предшественника и с полной непринужденностью водворился в министерском кабинете.

На столе он нашел письмо, которое приказано было заготовить три дня тому назад для герцога Виченцы; оно было составлено накануне и было готово к отправке. Новый министр представил его на утверждение императора. Император утвердил его к отправке, но предписал удостоверить и усилить его значение другим письмом, которое служило бы post-scriptum'ом к первому.

Герцог Бассано составил второе письмо коротко и ясно. Он написал его под свежим впечатлением разговора, который только что имел с Его Величеством, и который глубоко запечатлелся в его уме. В строках этого письма, сквозь показную непоколебимость и уверения в всемогуществе, еще яснее проглядывает желание императора сговориться с Россией, лишь бы она

[1] Corresp., 17614.

не требовала нестерпимых жертв. «Очевидно, — писал министр, — петербургский двор поглощен двумя обидами: первая стоит в связи с делами о герцогстве Ольденбургском, вторая — с тревогами, которые он выносил в себе относительно Польши. Что нужно сделать, чтобы успокоить Россию? Откровенное объяснение много лучше вооружений; неотложное объяснение предпочтительнее разорительных приготовлений к войне. Вам, герцог, достаточно известно положение Франции и императорских армий, чтобы решить, как мало у ней поводов бояться войны; но император не может не огорчаться, что из-за пустяков опасность угрожает доброму согласию; что русский император отказывается от действительных выгод ради каких-то химер и готовится нарушить союз, который следовало считать вне всяких превратностей. Мне приказано сказать вам, герцог, так: если то, чего желают русские, не выходит из предела возможного, то будет сделано».

После отправки в Петербург этого вполне ясно высказанного обещания исполнить приемлемые требования России, Наполеону оставалось только ждать ответа, а до тех пор быть настороже, — чтобы в случае нападения русских, встретить их со шпагой в руке. В продолжение следующих недель, в продолжение приблизительно месяца, он и сам был, и всех держал начеку. Приезд в Париж Понятовского и его личные сообщения о наступательных планах России вынуждали усилить меры предосторожности. На Севере французские власти и союзные правительства получили предписание поспешить с вооружением Данцига, установить непрерывное наблюдение за границей России и не доверять Пруссии. «Имейте шифр с комендантом Данцига — писал император Даву... — Требуется, чтобы он был крайне осторожен; пусть поставит на ноги тайную полицию и следит за всем, что делается около Тильзита, Риги, на границе, и держит вас в курсе всего. В особенности необходимо, чтобы, во избежание нечаянного нападения, была установлена им строгая крепостная служба»[1]. Офицеры генерального штаба, стоящие в Штеттине, Глогау, Кюстрине, в стране, находящейся под подозрением, «должны следить за всем»; их бдительность ни на минуту не должна ослабевать. «Они

[1] Corresp., 17621.

должны спать днем и бодрствовать всю ночь»[1].

Позади этих постов император развертывает свои боевые силы и старается увеличить свои средства для предстоящей войны приведением в соответствие дипломатической деятельности с военными мероприятиями. Непрестанно заботясь о пополнении корпуса Даву и формировании новых корпусов, которые, в случае надобности, должны присоединиться к этому мощному авангарду и поддержать его, он хлопочет о том, чтобы для армии в двести тридцать тысяч, которую он рассчитывает выставить в Северной Германии до июля, составить левое крыло из Швеции, правое из Турции. Из сравнения его депеш, отправленных в Стокгольм и Константинополь во второй половине апреля, с депешами предыдущего времени, видно, что он сознает, что решающие события могут наступить в ближайшем будущем. Из этих же депеш видно, как быстро кризис идет вперед.

В Швеции дело уже идет не о зондировании почвы, а об установлении определенных отношений. Алькиер получает приказание предложить союз и начать о нем переговоры, но до поры до времени не заключать его. Он должен, избегая намеков на Норвегию, обходя молчанием предмет, столь дорогой сердцу Бернадота, предложить шведам — как естественную награду за их содействие в войне против России — Финляндию. В случае надобности, Франция снабдит их денежными средствами, что доставит им возможность успешнее выполнить диверсию. Про это говорит сам император в заметке, начертанной его рукой на полях инструкции[2]. Что же касается Турции, то проект депеши, приготовленный 12 апреля Шампаньи и не одобренный еще императором, оставлен, как не отвечающий настоящим требованиям. Бассано заменяет его другим, более ясным, более точным, более энергичным. Латур-Мобур должен потребовать, чтобы в Париж был отправлен турецкий посланник с поручением и полномочиями вступить в соглашение. «Следует, чтобы посланник, оставив в стороне восточную пышность, выехал немедленно же. Необходимо, чтобы он был снабжен полномочиями подписать написанный по форме договор со всеми статьями, устанавливающими союз между правительствами. Таким образом, Наполеон желает иметь в непосредственной близости, так сказать, у себя под рукой, союз с Турцией, чтобы воспользоваться им, когда ему будет угодно. Договор, который имелось в виду предложить для подписи, был крайне выгоден султану. «Франция предполагает гарантировать Порте Молдавию и Валахию, а в случае успеха, — в чем не может быть сомнений, — обе армии должны будут поставить себе задачей вернуть Порте Крым... — Все это, — говорится далее в депеше от 27 апреля, — должно быть сказано осторожно — так, чтобы от всего можно было отказаться; ибо союз с Россией еще не порван, и недоразумения могут уладиться; но к приезду отправленного Портой посланника все будет уже решено»[1].

Последние слова доказывают, что в то время император верил в крайне скорую развязку, результатом которой было бы одно из двух: или война, или упрочение мира. Но ни то, ни другое предположение не оправдалось. С одной стороны, Александр не особенно торопился развязать язык Чернышеву, с другой, с Севера никаких новых важных сообщений не приходило; даже наоборот, с начала мая известия с границы приняли характер гораздо менее тревожный. В Варшаве незадолго до того, как прибыл туда приказ мобилизовать армию, волнение достигло своего апогея. Все думали, что вот-вот придет известие о вступлении русских, и многим мерещились уже пушечные выстрелы[2]. Теперь же, если и ходили еще слухи о восстановлении Польши по воле царя, то состояние, в какое обратились выставленные против герцогства силы, не допускало и мысли о близком нападении. Шпионы и лазутчики не находили уже неприятельских войск на тех местах, где их выследили. Они как будто расплылись, как будто испарились. Теперь никто не мог с уверенностью сказать, действительно ли видел их, и невольно напрашивался вопрос, не был ли весь народ игрушкой оптического обмана. Между Ригой и Бржеском видели еще линию войск, построенные эшелонами дивизии, но состав, номера полков и места их стоянок трудно было

[1] Id., 17622.
[2] Archives des affaires etrangéres, Suède, 295. Cf. письмо Маре императору от 20 апреля 1811 г., приложенное к корреспонденции из Турции, т. 221.

[1] Маре Латур-Мобуру, 27 апреля 1811 г.
[2] Биньон Маре, 4 мая 1811 г.

определить точно; граница же, очевидно, была свободна от войск. Ни в Вильне, ни в Гродно не было уже угрожающего концентрирования. В Белостоке, где, по донесениям, были внушительные силы, по поверке было установлено присутствие одного батальона. Биньон, проверив первые известия при помощи «более благоразумных разведчиков»[1] и занявшись весьма тщательно производством дополнительных разведок, пришел к убеждению, что поляки опять одурачили самих себя, и что опасность существовала исключительно в их воображении. Даву пришел к такому же выводу, упрекая себя, что поддался раздутому пессимизму[2].

В действительности же, главная масса русских сил осталась стоять поблизости варшавской территории. Но так как Александр все еще не освободился от нерешительности и сомнений, на первое появление которых мы указали выше, то несколько дивизий были отодвинуты от границ. Кроме того, собравшиеся в пограничных губерниях войска, так сказать, осели. Корпуса, заняв свои позиции, остались стоять неподвижно, как бы свернувшись в клубок. Благодаря такому состоянию, их труднее было заметить, чем раньше, когда они были в движении или на походе. Не видя пред собой постоянного мелькания людей и орудий, удесятерявшего в их глазах предметы и дававшего повод к фантастическому преувеличению, варшавяне почувствовали некоторое облегчение. Они вздохнули свободнее. Подавленное состояние начало проходить, лихорадочное возбуждение умов поулеглось. Тревога миновала[3].

Ближайшим результатом этого затишья была приостановка переговоров, начатых императором на случай войны с Россией. Он не дает ответа на сомнительные уверения Пруссии и держит Австрию в неопределенном положении. Уже протянув Швеции и Турции руку, он поспешно отдергивает ее, лишь только миновала непосредственная надобность в этих компрометирующих союзах. Он оставляет своих представителей без приказаний, без инструкций, и, само собой разумеется, что его молчание обязывает их к бездействию.

---

[1] Депеша от 28 апреля 1811 г.

[2] Даву императору, 23 апреля, 2, 12 и 17 мая. Archives nationales, AF, IV, 1653.

[3] Биньон Шампаньи и Маре, 20, 24, 25, 27, 28, 30 апреля; 2, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 22 и 27 мая.

В Стокгольме нашим предложениям оказан был восторженный прием. Но такой прием не мог быть искренним. Предложенный предмет совершенно не отвечал истинным желаниям наследного принца, и, когда барон Алькиер вызвал его на обсуждение плана диверсии в Финляндию, он оказался на этот счет плохо подготовленным; он затруднялся говорить и просил времени подумать. Однако, ввиду важности не отклонять доброго расположения императора, тем более, что одна партия в совете стояла еще за прежнюю политику и оплакивала Финляндию, министр Энгестрем сначала весьма горячо взялся за переговоры; но по прошествии нескольких недель, видя, что его собеседник еле говорит, он и сам перестал поддерживать разговор, а затем и совсем прекратил дело[1]. С турками тоже удовольствовались первоначальными предложениями. Так как наше посольство не настаивало на отправке в Париж уполномоченного, то таковой и не был отправлен. Оба правительства, протянув друг другу руки, застыли в этих позах.

Что же касается вооружений, то Наполеон, не отменяя ни одной меры, дает знать исполнителям своей воли, что есть основание не очень спешить, но что следует вести дело в большой тайне, а главное, с меньшими затратами. «Если вы увидите, — пишет он Даву, — что при употреблении на какое-нибудь дело лишних двенадцати или пятнадцати дней будет экономия, я думаю, что следует предпочесть последнее решение»[2]. Он не перестает требовать, чтобы формирующиеся корпуса увеличивались непрерывно, но при этом приказывает, чтобы они снабжались необходимыми предметами снаряжения на месте, одни — в Германии, другие — в Италии или во Франции, и без всякого шума, который мог бы привлечь внимание»[3].

В результате скорость, сообщенная военным приготовлениям, ослабевает; но воздействие направляющей их руки продолжается с логической последовательностью и большим расчетом. Благодаря возникшей тревоге, был сделан крупный шаг по пути военных мероприятий, и ни характер Наполеона, ни направление его мыс-

---

[1] Переписка Алькиера, май—июнь 1811 г.

[2] Corresp., 17702.

[3] Id., 17726.

лей не позволяли остановиться на пути, раз обстоятельства вынудили его стать на этот путь. Он живет под гнетом еще большего недоверия, еще большего чувства озлобления к России. Не давая себе ясного отчета в том, что происходило в уме Александра, он злится на Россию за то, что она нагнала на него страху. Он не далек от мысли, что русский государь хотел просто-напросто учинить против него большую военную демонстрацию, в надежде сломить его упрямство и угрозой вырвать у него клок Польши. Уже одного этого предположения достаточно, чтобы привести его в негодование. Разве он из тех людей, которым диктуют условия со шпагой в руке? Если хотят вести переговоры, к чему являться «с каской на голове, а не с белым флагом в руке?»[1]. Наступившее успокоение не укрепляет в нем желания покончить с распрей, а действует наоборот: давая ему время подготовить реванш, оно отклоняет его от прежнего намерения. Получив надежду выиграть время и довести свои военные приготовления до поразительной по своим размерам широты, он мало-помалу возвращается к мысли не избегать войны, а самому начать ее; он останавливается на мысли начать ее в 1812 г.; он решает вести наступательную кампанию во главе всей Европы, и, предприняв не имеющий примера в летописях новейшего времени поход, силой оружия разрешить конфликт. Его горячее желание вступить в переговоры ослабевает по мере того, как опасность отходит на задний план.

Но сознавая, в какое трудное положение может поставить его слишком быстрый разрыв с Россией, сознавая, что возможность разрыва не исключается и в будущем, по временам приходя в ужас перед необъятной опасностью, в какую может его вовлечь поход на Север — даже после долгой и тщательной подготовки, он все еще стоит в нерешительности; он не уверен в успехе и не может окончательно отрешиться от мысли покончить мирно. Говоря правду, он очень хотел бы устранить со сцены польский вопрос, прогнать этот назойливый призрак . Он высказал это Куракину, сопровождая свои слова таким любезным вниманием, что у

[1] Слова, которые Александр повторяет Лористону, основываясь на донесении Куракина; частное письмо Лористона министру, 1 июня 1811 г.

старого посланника, «несмотря на его подагру, хватило сил ходить взад и вперед с Его Величеством в продолжение двух часов»[1]. Он с некоторым раздражением высказывает ту же мысль графу Шувалову — русскому дипломату, бывшему проездом в Париже. «Чего хочет от меня император Александр? — говорит он. — Пусть оставит меня в покое! Неужто воображают, что я пожертвую чуть ли не двумястами тысяч французов ради восстановления Польши?»[2]. И он вполне основательно обращает внимание на то, что герцогство, в его теперешнем состоянии, т. е. слабое и покорное, для него гораздо выгоднее, чем независимая и сильная Польша, которая рано или поздно освободится из-под его опеки. Но неужели Россию можно успокоить только дроблением герцогства? — условие неприемлемое и позорное. Затем существует еще вопрос, который Наполеон в глубине души никогда не прочь возбудить снова и вновь начать по нем переговоры. Это все тот же вопрос о нейтральных судах и блокаде. Допуская, что найдется средство уладить настоящие недоразумения, остается еще под вопросом, согласится ли Александр принимать более действенные меры против англичан, более стеснительные для их торговли? Вот вопрос капитальной важности, который в глазах Наполеона всегда осложняет задачу и придает ей еще большую остроту. Он надеется, что по всем нерешенным вопросам герцог Виченцы даст же когда-нибудь точные сведения — или в ответе на два посланных ему письма или лично по своему возвращению. Ему как можно скорее хочется узнать, какой именно ценой будет он в состоянии избавиться от войны с Россией и снова заручиться ее содействием против вечного врага.

[1] Донесение, цитируемое в письме Лористона от 1 июня.
[2] Recueil de la Sociéte imperiale d'histoire de Russie, XXI, 415.



V

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРЦОГА ВИЧЕНЦЫ

Как отразилась в Петербурге тревога, познявшаяся в Германии и Франции. — Александр, узнав о передвижении наших войск, боится, чтобы Наполеон не напал на него. — Он все еще задает себе вопрос, не будет ли нападение лучшим способом защиты. — Общественное мнение думает иначе. — Веллеслей даст Европе уроки оборонительной войны. — Он создает целую школу. — Генерал Фуль и его план. — Мало-помалу Александр склоняется к чистооборонительному плану войны. — Он желал бы избегнуть войны, не возобновляя союза. — Опять герцогство Варшавское. — Доверительный разговор с австрийским посланником. — Намеки и недомолвки в ответе на вопросы герцога Виченцы. — Император Александр и римский король. — Приезд Лористона. — Милостивый прием. — Александр рассчитывает на Коленкура, надеясь, что тот убедит Наполеона предложить ему то, чего сам он не хочет просить. — Он заявляет о своем решении защищаться до последней крайности; торжественность и искренность этого заявления. — Волнение Коленкура; тяжелое предчувствие. — Возвращение во Францию. — Поездка в Сен-Клу к императору. — Семичасовой разговор. — Коленкур ручается за миролюбивые намерения Александра. — Молчание в продолжение четверти часа. — Какое из двух решений? — Наполеон отклоняет мысль об уменьшении гарнизона в Данциге. — Коленкур настаивает на необходимости сделать выбор между Польшей и Россией. — Император мысленно пробегает то и другое решение. — Непреодолимое препятствие. — Коленкур указывает на опасность борьбы с климатом Севера, с его природой и пространством; он ручается за то, что Александр отступит в самую глубь России, и в доказательство приводит собственные слова царя. — Император потрясен, его собеседник думает, что выиграл дело. — Наполеон перечисляет свои военные силы, им овладевает безумная гордость. — Он воображает, что все будет решено одним сражением. — Продолжение разговора. — Старый вопрос о браке. — Последнее слово Коленкура. — Верное рассуждение и роковые заблуждения.

I

Александр жил в вечной тревоге. Нерешительный от природы, он никак не мог остановиться на чем-нибудь определенном. Из донесений Чернышева и из других источников он знал, что нашим приготовлениям внезапно дано было резко ускоренное движение, что варшавская и саксонская армии спешно мобилизуются, а за ними поднимаются и все французские силы. Сверх того, напуганный резкими словами, которые Наполеон позволил себе сказать в Торговом Совете по адресу государств, допускавших контрабанду, он боялся, чтобы завоеватель, не откладывая дела в долгий ящик, не ринулся на его границы с тем, чтобы покарать его за его вооружения. Окружающие его даже думали, что война начнется в конце весны или самое позднее летом. Тревога перешла из Парижа в Петербург, и царь неоднократно задавал себе вопрос, не выгоднее ли ему использовать имеющееся пока в его распоряжении преимущество и не лучше ли двинуться навстречу завоевателю[1].

В апреле подполковник Шёллер, прусский агент, час-

[1] В своем обширном апрельском донесении Чернышев, вполне признавая, что в то время Россия могла вести переговоры с императором, продолжал, тем не менее, развивать планы внезапного нападения, — между прочим, таков: «Не скупиться на уверения и вообще на всякие демонстрации, которые бы могли успокоить Наполеона насчет наших намерений; соглашаться на разоружение и даже приказать нашим дивизиям отступить, не отводя их, однако, слишком далеко; затем усыпить его бдительность и побудить его направить свои усилия снова на Испанию, что, сделав его менее страшным, дало бы нам возможность выждать, когда он окончательно увязнет в этой новой борьбе, и тогда извлечь пользу из этой диверсии». На полях донесения находится следующее собственноручное замечание Александра: «Отчего большинство моих министров не похожи на этого молодого человека?». Вышеупомянутый том, 109.

то имевший доступ к царю, не склонен был думать, чтобы царь совершенно отказался от мысли о нападении[1]. Несколько времени спустя швед Армфельт вынес то же впечатление. Непримиримый враг Наполеона, человек, который жил как будто только для того, чтобы ненавидеть, Армфельт только что приехал в Петербург из Стокгольма, откуда его выгнал напуганный интригами Бернадот, желавший доставить этим удовольствие императору. Прекрасно принятый в Петербурге, Армфельт старался доказать, что «все будет потеряно, если дадут Бонапарту предупредить себя»[2] и с радостью утверждал, что его слова нашли сочувственный отклик. Александр сказал ему, что в недалеком будущем пошлет его в Лондон вести переговоры о мире и союзе с Англией, а это было бы равносильно разрыву с Францией[3].

Итак, Александр не разрушал окончательно надежд сторонников нападения, хотя опасные и неудобные стороны такового с каждым днем делались ему яснее. Он знал, что его план, о котором смутно догадывались при многих дворах, вызвал всюду единодушное порицание, что в этом предприятии общественное мнение Европы не будет на его стороне. Считая, что ему необходимо заручиться добрым расположением Австрии[4] он от времени до времени делал попытки приобрести ее дружбу и привлечь ее на свою сторону, но в ответ получал только холодные и уклончивые фразы. Сверх того, чисто стратегические соображения, которые все настойчивее высказывались среди его окружающих, склоняли его к мысли искать спасения в заранее предрешенной и систиматически подготовленной обороне.

Мысль вести войну с французами в стиле Фабия, т. е. уклоняться от боя, выжидать для сражений случаев, когда французы будут истощены походами и лишениями, давать сражения на позициях, покрытых укреплениями, предоставлять неприятелю вместо людей сражаться с препятствиями и одолевать необъятные пространства, — уже давно приходила некоторым на ум. О достоинстве этого плана с увлечением говорили Алек-

---

[1] См. донесения Шёллера от 30 марта, 5 и 18 апреля, о которых упоминает и на которые ссылается Duncker, 353—354.

[2] Tegner, I, e Baron d'Armfeldt, III, 300.

[3] Id., 301.

[4] Депеша Штакельбергу от 2 июня 1811 г. Archives de Saint-Peterrsbourg.

сандру немцы, а именно — Вольцоген; восхваляли его и русские, например, будущий военный министр Барклай-де-Толли. Вскоре после битвы при Эйлау Барклай сказал: «Если бы я был главнокомандующим, я уклонялся бы от решительного сражения; я отступал бы,— так что, в конце концов, вместо победы, французы дошли бы до второй Полтавы»[1]. Однако, подобные советы давались боязливо отдельными лицами, пока одно крупное военное событие не доказало их высокой ценности. Весной 1811 г., когда кампания в Португалии приходила к концу, начали выясняться подробности дуэли на окраине западной Европы между Массеном и Веллеслеем. Массена не мог достигнуть существенных результатов, так как английский генерал, отступив перед ним, предоставил французам углубиться в скалистые горы Португалии, обращенные южным зноем в пустыни, и в конце изнурительного и тягостного пути выставил против них фронт из укреплений и редутов, о который разбилась ослабевшая уже энергия наших войск. В военном искусстве чаще, чем в каком-либо ином деле, встречается мания подражательности,— нигде так не складывается влияние моды. С этих пор в европейских военных штабах единодушно было признано, что Веллеслей нашел так давно отыскиваемый секрет сопротивления французам, рецепт победы над ними, и что при всех случаях следует применять его методу.

В Петербурге эта доктрина вышла в систематически разработанном виде из-под пера генерала Фуля — немца, служившего в России, трудолюбивого и весьма ученого кабинетного стратега, который был блестящим теоретиком, но плохим практиком. Фуль составил план кампании, положив в его основу данные, заимствованные из войны в Португалии, и приведя их в соответствие с общепризнанными классическими правилами. По его мнению, следовало отвлечь французов как можно дальше от их операционной базы и только тогда встретить на сильно укрепленных оборонительных линиях. В применении к России предлагалось на незащищенном пространстве между реками Днепром и Двиной, представляющими естественную преграду, соорудить нечто вроде центрального редута, нечто вроде укрепленного лагеря колоссальных размеров,— русский Торрес-Ведрас, кото-

---

[1] Bogdanovitch, I, 93.

рый бы и закрыл оставшийся открытым путь. Главная русская армия должна медленно отступать до этой позиции; здесь она остановится и будет упорно защищаться, тогда как вторая армия, менее многочисленная и более подвижная, будет тревожить и утомлять врага постоянными нападениями. Это не было еще планом отступления до последней крайности, т. е. сплошным отступлением; это было сочетание фронтальной обороны с фланговыми нападениями. Что же касается Пруссии, то с ее стороны предполагалось только пассивное содействие. Она должна была без боя отдать столицу и провинции и не оказывать сопротивления вторжению; ее армия должна отступить и запереться вместе с правительством и администрацией в лежащих у моря крепостях. Эти превращенные в укрепленные лагеря крепости должны будут задержать часть французских войск. Это и будут прусские Торрес-Ведрас, которые издалека будут служить поддержкой русскому Торрес-Ведрас, выдвинутому впереди обеих столиц России, на далеком расстоянии от ее границы[1]. Главным недостатком предложенного Фулем плана было то, что по нему предполагалось разделить русские силы на две отдельно действующие армии, которые могли подвергнуться нападению в одиночку. Тем не менее, Александр не прочь был принять этот план, ибо он давал вполне определенный, почти научный характер начинавшей преобладать в его уме идее об обороне. В конце мая он явно поддался спасительному инстинкту, подсказавшему ему, что у себя дома Россия неуязвима и вне опасности[2].

Несмотря на все это, он желал поддерживать с Францией официальные отношения и не прерывать переговоров. По мере приближения войны, он в глубине души яснее сознавал ее ужасы и не хотел отказаться от мысли уладить дело мирным путем. Он счел бы себя удовлетворенным, если бы Наполеон согласился — за отступление русских войск на известное расстояние — увести войска из Данцига, герцога Варшавского и с линии Одера, и не очень бы торопил его с окончательным решением спорных вопросов. Он охотно примирился бы с подобным, плохо определенным положением, ибо оно, устраняя страшный риск войны, избавляло его от необ-

[1] Bogdanovitch, I, 72—95. Memoires de Wolzogen, 55 et suiv.

[2] См. его письмо королю Прусскому, прибывшее в Берлин между 26 и 28 мая, цитируемое Duncher'ом, 361—362.

ходимости исполнять принятые на себя обязательства и со временем дало бы ему предлог сблизиться с Англией на экономической почве.

Что же касается того, чтобы навсегда покончить раздоры с Францией, то, признавая это весьма желательным, он спрашивал, где же средство для этого? Переданные Чернышевым встречные предложения императора, очевидно, были несущественным паллиативом. Правда, оставалось решение, дорогое сердцу Румянцева, которое сводилось к разделу герцогства Варшавского. Александр, допускавший только одно, известное уже нам решение польского вопроса, не прочь был примириться и с этой комбинацией, доказательством чего служат слова, сказанные им в одном доверительном разговоре. Говоря однажды австрийскому посланнику графу Сен-Жюльену об Ольденбурге и о том, где найти за него вознаграждение, он «не высказываясь вполне», сказал: — «Я отлично знаю эквивалент, который мог бы нам приличествовать»[1]; — и Сен-Жюльен, поискав в верном источнике объяснение этих слов, писал своему двору, что царь не прочь был бы взять «часть герцогства Варшавского, расположенную на правом берегу Вислы».

Правда, что по поводу этого таинственного эквивалента Александр поторопился добавить: «Но пока об этом не может быть и речи». Действительно, после приема, сделанного намекам Чернышева, он еще более считал неудобным слишком ясно высказаться о своих притязаниях, из которых Наполеон мог выковать против него напитанные ядом стрелы. Мы увидим, что в разговоре с нашим посланником он в определенных выражениях повторит свое требование, но при этом не столько будет стараться о том, чтобы его поняли, сколько о том, чтобы не компрометировать себя. Он будет говорить такими намеками, которые трудно даже передать в удобопонятной форме; он будет вести переговоры неискренно; прикроет свою мысль настолько густой вуалью, чтобы она только просвечивала, но чтобы никто не был в состоянии ясно разглядеть ее, а тем паче показать другим.

5 мая, согласно отправленным из Парижа 15 и 17 апреля приказаниям, Коленкур убедительно просил царя высказаться. Пользуясь выражениями французского ми-

[1] Oneken, Oesterreich und Preussen im Befreiungs kriege, II, 611.

нистра, посланник начал разговор словами: «Если то, чего желают русские, не выходит из пределов возможного, это будет сделано». Александр прежде всего ответил указанием на свое долготерпение; он сказал, «что касается желания объясниться и сговориться, то попытка к этому давным-давно была им сделана; что не он, а мы ни на что не даем ответа, а только каждый день обращаемся с одними и теми же просьбами, как будто три месяца тому назад, даже более, год тому назад, он не ответил уже на все вопросы; как будто что-нибудь во всем этом зависит от него: ничего подобного, все зависит от императора Наполеона. Никто,— продолжал он,— честнее меня не служил его интересам, никто так искренно не лелеял его славы и до сих пор никто не может уверять его в более искренней, в более полезной дружбе. Время признать это. Я всей душой был предан ему, не считаясь с обстоятельствами. Путь же, наконец, и он отнесется ко мне справедливо»[1].

Коленкур снова повторил, что император и король искренно желают удовлетворить Россию; но что все-таки необходимо знать, «как и где, что относительно этого никогда еще не было объяснений». Тогда Александр высказался за безусловное и точное соблюдение договоров, что было равносильно требованию возвратить лишенного владений принца в его герцогство. Это притязание было высказано исключительно ради соблюдения приличий, так как на него нельзя было смотреть серьезно. Спустя некоторое время, как бы против воли соглашаясь на уступку, царь допустил принцип вознаграждения «справедливого и приличного». Чтобы дать понять, не называя точно, какое вознаграждение он имеет в виду, он воспользовался методом исключения. «Конечно, сказал он, одного Эрфурта недостаточно». С другой стороны, «потребная прибавка должна быть взята от государств, состоящих под покровительством Франции, но не ему подобает обирать их». Далее он сказал, что «Россия, конечно, не может взять вознаграждения за счет Пруссии, потому что было бы несправедливо и неразумно из любви к герцогу Ольденбургскому делать эту страну еще более несчастной, да и, помимо того, не в интересах России ослаблять и без того слабую Пруссию». Таким образом, по исключении Пруссии и

[1] Коленкур Маре, 7 мая 1811 г.

второстепенных немецких государств, оставалось только великое герцогство. Александр воздержался назвать его, если не считать фразы, «что он не имеет никаких притязаний ни на владения этого государства, ни на владения других соседей». Это значило играть словами, ибо с уступкой части герцогства герцогу Ольденбургскому, все герцогство было бы с головой выдано России. После фраз, которым можно было придать разные толкования, после вторичного заявления, «что он ждет справедливого отношения к своему близкому родственнику, к дяде такого союзника, как он», Александр сразу перескочил к делам Польши, настаивая на безотлагательной необходимости положить конец волнениям и упованиям поляков; и ясно было, что он старался сблизить и связать оба вопроса. Правда, большая часть его слов сопровождалась такими перефразировками, такими стыдливыми замалчиваниями, он так тщательно старался скрыть свое желание подсказать императору выбор вознаграждения, что, как видно, Коленкур не совсем ясно понял, что требуемая против восстановления Польши гарантия сливалась и отождествлялась с вознаграждением, просимым для герцога Ольденбургского. Тем не менее, из этого разговора и из нескольких бесед с канцлером посол вынес безусловное и глубокое убеждение, что оба вопроса должны быть решены совместно или в прямой зависимости один от другого; что решением первого вопроса само собой устранится второй или, по меньшей мере, потеряет свою остроту.

За время этих разговоров Александр с удивительным тактом сумел сохранить поведение, какое подобает другу, поистине оскорбленному, отринутому, которому вечно грозят и который из чувства собственного достоинства держится в стороне; но при всем том ничего так не желает, как вернуться к прежней дружбе, лишь бы к нему сделали первый шаг. Он относился к нашему посланнику с большим вниманием, отличал его, но не скрыл, что нападки на Чернышева во французской печати, равно как и речь императора в Торговом Совете, оскорбили его до глубины души. Он высказался в весьма сочувственных выражениях, не переходя, впрочем, известных пределов, по поводу рождения римского короля, и выразил большое участие к радостному событию, выпавшему на долю Франции. Чтобы отпраздновать это событие, Коленкур задумал дать такой бал, который составил бы эпоху в летописях Петербурга, и возымел намерение со-

брать в стенах своего дворца, который на этот случай предполагалось блестяще декорировать снаружи и внутри, все высшее общество. Русские власти любезно предложили ему свое содействие в устройстве бала, но царь уведомил, что при настоящем положении вещей не может присутствовать на балу. Он велел передать ему, что если к нему обратятся с просьбой официальным путем, он примет приглашение; но если до бала не придет известие «дружеского и успокоительного характера, он в день бала скажется больным». «Какими глазами взглянут на меня Европа и мой народ, если я отправлюсь танцевать к французскому посланнику в тот момент, когда французские войска двигаются на меня со всех сторон?.. Дайте бал без меня, не приглашайте меня. Вам было оказано всевозможное содействие, чтобы бал вышел на славу и чтобы он превзошел все, что было и будет сделано иностранцами. Или же подождите несколько дней. Пусть император докажет мне тем, что он скажет — или Куракину, или Чернышеву, или тем, что сделает, что он действительно дорожит мною и союзом, и я с большим удовольствием приеду к вам, ибо у меня только одно желание — дать императору и его стране доказательства моей дружбы. Я же, со своей стороны, могу уверить вас, что у меня не останется ни задней мысли, ни воспоминания о теперешних обстоятельствах, и что я восстановлю все в духе союза и дружбы, лишь только вы искренно пожелаете этого»[1].

Тем временем приехал в Петербург Лористон. Ему был оказан великолепный прием и всевозможные почести. На первой данной ему аудиенции Александр горячо жаловался на замеченное в Саксонии воинственное возбуждение, но среди своих жалоб нашел случай ввернуть и лестные слова. Как искусный политик, он выразил желание, чтобы графиня Лористон приехала к своему мужу и поселилась в России, ибо ее приезд доказал бы, что посланник рассчитывает надолго поселиться в России, а это было бы принято за симптом мира[2].

В следующие дни, когда герцог Виченцы подготовлялся к отъезду, Александр несколько раз виделся с обоими посланниками. Он принимал их то вместе, то каждого порознь. Лористону он повторил то же, что говорил и Коленкуру, и, кажется, что новый представитель по некоторым оттенкам в словах Александра, по выражению его лица, лучше своего предшественника понял, что дело шло о желании посягнуть на неприкосновенность герцогства Варшавского. Делая робкий намек на своевременность уступки России некоторых земель в Польше, он писал: «Если только у императора Наполеона существует такое намерение, я думаю, что этим путем могли бы быть решены оба вопроса: вопрос о вознаграждении и вопрос о договоре относительно Польши»[1].

Пока Александр доставлял Лористону случаи угадать его желания и сам пытался узнать от него о намерениях императора, он осыпал его всевозможными милостями: на него так и сыпались приглашения на воскресные парады, на обеды, которые завершались беседами с глазу на глаз. В свете, как бы угадавшем намерения своего государя, и, видимо, желавшем служить им, французский посланник видел только улыбающиеся лица[2]. Одуряющее действие чар тотчас же сказалось. Милостивый прием, обворожительная простота монарха, его приятный и изящный говор, талант, с каким он умел внедрять свои взгляды в ум собеседника,— все это произвело и на Лористона свое обычное действие. Как новичок в политике, этот генерал начал думать, что Александр гораздо меньше, чем это было в действительности, отдалился от Франции и императора Наполеона.

Первым делом его было написать в Париж: «Император Александр не хочет войны; он будет воевать только в том случае, если на него будет сделано нападение»[3]. Это утверждение с каждым днем принимало все большую вероятность. Но Лористон пошел гораздо дальше: он не допускал и мысли, чтобы Россия когда бы то ни было питала агрессивные намерения. Оно и понятно. Из сообщений Понятовского, которые сделались известными в Париже уже после его отъезда, до него дошли только слабые отголоски. Да и помимо того, можно ли было устоять против доказательств, которым Александр с

[1] 135-ое донесение Коленкура императору, отправленное 8 мая 1811 г.

[2] Лористон Маре, 12 мая 1811 г.

[1] Частное письмо к Маре, 1 июня 1811 г.

[2] 17 июня Лористон писал Маре: «Я не могу достаточно нахвалиться любезным приемом и обхождением во всех домах, где я бываю. Дачный сезон разогнал общество; тем не менее, бывая на дачах, я могу, так сказать, запастись знакомствами на зиму».

[3] Лористон Маре, 29 мая.

удивительным искусством сумел придать оттенок простодушия и душевной чистоты? Лористона как будто хотели посвятить во все тайны главного штаба. Ему показали карту, на которой места стоянок русских корпусов были помечены на довольно далеком расстоянии от границы; ему даже предложили послать своего адъютанта, чтобы на месте убедиться в этом. Притом, Александр и не думал скрывать, что созвал все имеющиеся в его распоряжении войска, что он хочет оградить себя от внезапного нападения. Он говорил, что гораздо раньше нас имел возможность начать кампанию. Но то, что он пропустил время, когда ему выгодно было перейти в наступление, не было ли наилучшим его оправданием; не служило ли это неопровержимым доказательством его чисто оборонительных намерений? «Я готов, говорил он, мне не нужно никаких приготовлений и, однако, я не нападаю. Отчего? Оттого, что я не хочу войны. Я только становлюсь в оборонительное положение. Да, я вооружаю Бобруйск, Ригу, Динабург, но разве это можно назвать нападением? Разве это не способ определенно заявить, что я хочу защищаться и ничего более?»[1].

Что же касается защиты, он говорил, что будет защищаться со всем упорством, на какое только способен, с энергией отчаяния, и в этом отношении его слова не были ни актерством, ни политическим или дипломатическим приемом. То был плод глубоко продуманного убеждения. По мере того, как в Александре крепло желание не вызывать войны, он непоколебимо устанавливался на решении, которому суждено было создать его нравственное величие и славу, на решении выдержать войну, если бы ему пришлось подвергнуться этому испытанию, до конца, до полного истощения своих сил. Он высказал, что будет сражаться «до последней крайности»[2], что бесповоротно решил, если счастье изменит его первым усилиям, отступить в самые отдаленные губернии России; что и там он будет с таким же упорством вести борьбу и, если потребуется, похоронит себя под развалинами своей империи. Александр надеялся, что, может быть, известие о его непреклонном решении, дойдя до императора, произведет на того сильное впечатление и что, может быть, благодаря этому, ему удастся

[1] Лористон Маре, 29 мая.

[2] Письмо Чарторижскому, 1 апреля 1812 г. Memoireset et Correspondance de Czartoryski, II, 282.

вырвать у Наполеона крупную уступку в польском вопросе или, по крайней мере, целый ряд миролюбивых мер. Ввиду этого, Александр в чрезвычайно сильных выражениях откровенно высказался перед Лористоном, в особенности же перед герцогом Виченцы. Александр исходил из следующих соображений: Коленкуру, думал он, предстоит вернуться в Париж и снова занять при своем повелителе должность обер-шталмейстера. Ему чуть не ежедневно будут представляться случаи видеть императора, беседовать с ним и убеждать его. Теперь он уже сбросил с себя личину, к которой обязывало его звание посла: он только общий друг обоих императоров. Нельзя сделать лучшего выбора для передачи от одного императора к другому интимного и вместе с тем, торжественного поручения. Выражения, в каких Александр избрал Коленкура поверенным и хранителем своих наисекретнейших помыслов, поразили и тронули бывшего посла до глубины души. Не доверяя бумаге, он затаил их в себе и запечатлел в своей памяти с тем, чтобы, когда будет давать отчет императору о своей миссии, слово в слово повторить их ему. Тогда-то мы и услышим их из его уст.

15 мая Коленкур покинул Петербург. Когда он в последний раз являлся ко двору, когда делал прощальные визиты, все заметили в обострившихся чертах его бледного, утомленного лица выражение глубокой грусти[1]. Несмотря на то, что должность посланника доставила ему под конец трудновыносимые огорчения, что климат Петербурга расстроил его здоровье, он сердечно привязался к России, где испытал и высокие чувства удовлетворения, и пережил столько испытаний. Человеческой душе свойственно привязываться к местам, где она познала страдания и радости, где на ее долю выпала крупная деятельность, крупная борьба,— словом, где она жила полной жизнью. Коленкур привязался к Александру за его доброе к нему отношение и взрастил в своей душе культ искренней к нему благодарности. Он полюбил красочность русской жизни, в которой широкий размах сочетался с утонченным, любознательным умом и чарующей душой; с грустью и сожалением расставался он с обществом, симпатии и уважение которого завое-

[1] Графиня Едлинг пишет в своих Мемуарах: «На прощальной аудиенции Коленкур был до того взволнован, что все были удивлены». Стр. 50.

вал с таким трудом. Сверх того, сделав союз главной задачей своей жизни, вопросом чести, он с болью в сердце видел, как союз разваливается, как превращается в ничто, уступая место чреватому опасностями неизвестному. Предчувствие будущего, сожаление о стольких усилиях, потраченных без всякого результата, омрачали его душу в минуту отъезда. Эти думы осаждали его в продолжение бесконечно длинных дней и ночей нескончаемого пути. Но он старался не предаваться чересчур безнадежным мыслям, дабы окончательно не лишиться мужества. Его миссия не была еще окончена. Ему оставалось выполнить последний долг. Ему нужно было сказать императору всю правду в том виде, как он сам ее понимал; передать все сведения, открыть ему глаза и предостеречь его. Он решил, что не должен отступать перед этой обязанностью, не останавливаться перед риском навлечь на себя гнев императора, и, если потребуется, пожертвовать своей будущностью велениям своей совести и своего долга.

II

Коленкур приехал в Париж 5 июня утром. Он застал город за приготовлениями к народным празднествам по случаю крестин наследника. Дома убирались флагами и гирляндами из зелени, украшались эмблемами. Улицы, по которым должно было следовать шествие, чистились и освобождались от всего лишнего. Париж наряжался к великому празднику. В Тюльери, на Елисейских полях, на Сене готовились увеселения, устраивались фейерверки и иллюминации. Коленкур, не останавливаясь, проехал мимо этих праздничных украшений и тотчас же отправился в Сен-Клу, которое Их Величество избрали на несколько недель своим местопребыванием. Было около одиннадцати часов.

Император, кончивший завтрак, приказал провести его в кабинет. Вскоре он пришел к нему. Приняв холодно, не обращаясь к нему ни с упреками, ни с похвалой, он сразу же заговорил о своих обидах против Александра и с чувством горечи начал перечислять их. Припомнил, как русские бросили его на произвол судьбы в 1809 г., какие вздорные требования предъявляли в 1810 г., указал на нарушение блокады, на начатые с давних пор вооружения, и, наконец, перешел к недавним и

текущим событиям, к общему характеру передвижений русских войск, указывающих на враждебный и наступательный план. «Александр фальшив,—раздражаясь, закончил он,— он вооружается, чтобы воевать со мной»[1].

Коленкур с большим мужеством начал доказывать, что Александр неповинен, что его намерения честны. Приехав в Париж, насквозь пропитанный рассуждениями, которые обаятельный монарх изложил ему с таким искусством, облекши их в подкупающую форму сердечных излияний и чарующих слов, герцог по всем вопросам выставил против французских взглядов русские. Он перечислил оказанные Александром услуги, затем случаи несправедливого к нему отношения, прямые и косвенные подстрекательства, крупные обиды, булавочные уколы — все, от чего страдала рыцарская душа русского монарха.

Наполеон выслушал все это, не скрывая возрастающего нетерпения. Иногда, когда ответ не представлял затруднений, он бросал его с видимым желанием резко оборвать говорящего. Так, он не дал Коленкуру высказать, что Россия плохо была вознаграждена за свое призрачное содействие во время войны с Австрией. Когда же бывший посланник назвал несомненно существовавший, но ускользнувший от его внимания план нападения «смешной сказкой», выдуманной поляками, император сделался окончательно груб и резок. «Александр и русские, сазал он, водили вас за нос; вы совсем не знали того, что происходило. Даву и Рапп много лучше держали меня в курсе дела. Не смущаясь этим резким замечанием, Коленкур продолжал и довел до конца свой отчет. Его мнение, которое четыре месяца тому назад могло быть во всех отношениях ошибочным, теперь имело свое основание. Плохо осведомленный о тогдашнем положении, он имел неизмеримо более ясное представление о настоящем, и мог доподлинно утверждать, что Александр не намерен начинать войны и желает ее избегнуть В категорических выражениях он головой ручался за это. Воодушевляясь своими словами, он дошел до того, что сказал: «Я готов подвергнуться заточению, готов по-

[1] Рассказ о разговоре между императором и Коленкуром, равно как и текст воспроизведенных слов, целиком взяты из драгоценной коллекции неизданных неофициальных документов, из которых мы уже делали широкие заимствования в I и во II томе. Нетрудно угадать источник, откуда взяты эти документы, точно указать который нам не дано права

ложить голову на плаху, если события не оправдают меня».

Эти слова были сказаны таким убежденным тоном, что смутили императора, сбили его с твердой позиции. Ничего не ответив, он прервал разговор и, погрузившись в размышления, начал ходить по кабинету. Коленкур молча смотрел, как тот шагает взад и вперед, терзаемый неотступными заботами. Перед его глазами то терялись в глубине комнаты широкая спина и вздернутые плечи императора, то вырисовывалось выплывавшее оттуда, осененное глубокой думой чело. Какой поток противоречивых чувств бушевал в душе императора? Сознавал ли он, что переживает одну из самых решительных минут своего царствования? Он продолжал ходить, углубившись в самого себя, ничего не замечая кругом. Минуты проходили одна за другой — тяжелые, нескончаемые.

Таким образом, в полном молчании прошло четверть часа. Наконец, очнувшись от дум, Наполеон подошел к своему собеседнику и обратился к нему со следующими словами, в которых открыто поставил такой вопрос: «Верите ли вы, что Россия не хочет войны, что есть вероятность, что она останется верной союзу и снова вступит в континентальную систему, если я дам ей удовлетворение за счет Польши?».

Коленкур повторил то, что и раньше говорил в своих депешах, т. е., что крупная уступка за счет Польши, если она будет поддержана умеренной политикой, обеспечит мир и будет способствовать оживлению союза. На вопрос императора, в чем должна заключаться уступка, Коленкур, которому не удалось вполне разобраться в крайне туманных признаниях Александра, не мог с точностью ответить, и удовольствовался тем, что установил ее в принципе. Он добавил, что, по его мнению, частичная эвакуация Данцига и прусских крепостей доставит Петербургу большое облегчение и приведет к улучшению натянутых отношений. Однако, идея ослабить теперь же, до окончательного соглашения, наши оборонительные и военные средства не пришлась по душе императору. Он живо ухватился за эту тему, и тотчас же между ним и его оппонентом завязался оживленный диалог. Один нападал, другой стойко отражал удары.

«Русские боятся?» — спросил император. «Они боятся?» — повторил он, как будто мысль, что уже одно созерцание его войск внушило русским страх, польстила ему и доставила утешение его гордости.— «Нет, они не боятся, но они предпочитают войну положению, которое уже не мир». — «Не думают ли они предписывать мне свою волю?» — «Нет». — «Однако, требовать, чтобы я, в угоду Александру, эвакуировал Данциг,— значит предписывать таковую».— «Александр ни на что точно не указывает,— вероятно, с целью, чтобы нельзя было сказать, что он угрожает; но он подводит итоги всему, что произошло со времени свидания с Тильзите. Я мог наблюдать, что внушало беспокойство, и, следовательно, могу сказать, что может дать успокоение».— «Пожалуй, мне скоро придется испрашивать у Александра разрешения делать смотр войскам в Майнце? — «Нет, но то, что они идут в Данциг, ему не нравится...» — «Русские возгордились: не хотят ли они навязать мне войну?» — «Нет, ни войны, ни своей воли; но они не хотят подчиняться чужой».— «Не думают ли русские распоряжаться мною, как в царствование Екатерины II распоряжались их ставленником, польским королем? Я не Людовик XV; французский король не потерпит подобного унижения».

Не в первый раз уже вызывает он, по поводу Польши образ беспечного монарха, допустившего совершить на своих глазах преступный раздел и осужденного за это историей, точно воспоминание об этом позоре преследовало и мучило его. С возрастающим одушевлением он два, а может быть, и три раза повторил свою фразу о Людовике XV, затем, наступая на Коленкура, подойдя к нему вплотную, пронизывая его мечущим молнии взором, сказал: «Вы хотите унизить меня?» — «Ваше Величество, — спокойно ответил Коленкур, — вы спрашиваете меня о средствах поддержать союз, я указываю вам на них. Нужно как можно ближе подойти к тому положению, какое установилось непосредственно за Эрфуртом. Если вы хотите восстановить Польшу, тогда — другое дело».— «Я уже сказал вам, что не хочу восстанавливать Польши».— «Тогда я не понимаю, ради чего Ваше Величество пожертвовали союзом с Россией».— «Не я, а она порвала его, потому что ее стесняет континентальная система». Коленкур дал почувствовать, что своей системой разрешений на торговлю император первый подал пример нарушения законов блокады. При этом возражении, затронувшем слабую сторону его аргументации, император почувствовал удар и признал, что он нанесен искусно. Он улыбнулся и, взяв Колекура за ухо, спросил его: «Вы влюблены в Александра?» — «Нет, но

я поклонник мира». — «Я тоже, но я не хочу, чтобы русские приказывали мне эвакуировать Данциг».— «Они и не говорят об этом: ведь выражать желание и выставлять требование — не одно и то же».

Заспорив о Данциге, они уклонились от главного и самого жгучего вопроса. Наполеон понимал, что под загадочными фразами и недомолвками Александра скрывалась упорная задняя мысль, какое-то желание, которого тот не решался высказать, что во всем этом деле была иная подкладка. «Вас надувают, сказал он Коленкуру; я — старая лисица; я знаю греков». Коленкур: «Позвольте мне, Ваше Величество, высказать последнее соображеие?» Император: «Говорите... (с нетерпением) да говорите же!» И в его жесте, в голосе, в вопросительном взгляде чувствовалось приказание дать откровенный и ясный ответ.

Тогда, вернувшись к главному вопросу, Коленкур воспроизвел его с большею силой, с большею широтой, хотя все еще в общих выражениях. Он показал его в том виде, как сам понимал. По его мнению, наступило время, когда император должен сделать выбор между двумя вполне определенными решениями, из которых каждое в отдельности имело свои хорошие стороны, но которые взаимно исключали друг друга.

Первое состояло в том, чтобы успокоить Россию, и — открыто предоставив ей верный залог против восстановления Польши, вернуть себе эту первоклассную союзницу, рискуя привести в отчаяние поляков, и, может быть, навсегда оттолкнуть их от себя. Императору, его мудрости — решать, какой дать залог. Приемлемо и второе решение, т. е. поступить как раз наоборот: снова взять на себя труд восстановления Польши и довести до конца дело, наполовину выполненное в 1807 и 1809 гг., т. е. целиком восстановив Польшу. В таком случае придется воевать с русскими, но такая война будет иметь известную цель: она будет за вполне определенный предмет, ради которого стоит и потрудиться. Ибо тогда — восстановленная в прежних границах, поставленная в ряд великих держав — Польша сделается нашей точкой опоры на Севере и изменит там в нашу пользу распределение сил. Каждый из этих планов имеет свои выгоды и неудобства; но пробил час, когда следует открыто избрать тот или другой и уже остановитьсся на на нем окончательно; между ними нет места промежуточному и двусмысленному решению. Эта суровая альтернатива уже была выставлена Коленкуром в его переписке; его слова были только иным изложением замечательных строк, написанных в одной из последних депеш: «Императору следует выбрать между Польшей и Россией, ибо дела приняли такой оборот, что для того, чтобы не разочаровать одной — нужно потерять другую»[1].

«Какое решение приняли бы вы? — спросил император. — Союз, осторожность и мир. — Мир! Нужно, чтобы он был прочный и почетный. Я не хочу мира, который бы, подобно Амьенскому, разорил мою торговлю. Чтобы мир был возможен и прочен, следует, чтобы Англия была убеждена, что никогда не найдет союзников на континенте... Нужно, чтобы русский колосс с его ордами никогда не мог угрожать Югу набегами». И император горячо стал защищать это соображение, которое влекло его к войне и тянуло к Северу, где он хотел восстановить утраченные границы старой Европы.

«Ваше Величество склоняется на сторону Польши?» — просто сказал Коленкур. Эти слова сразу же остановили увлекшегося воинственным задором императора и снова повергли его в раздумье. Действительно, барьер, который он думал воздвигнуть против России, не мог быть ничем иным, кроме Польши. Но что это за барьер? — Слабый и неустойчивый, какой-то песчаный вал, ибо дело шло о народе, который всегда отличался недостатком выдержки и единодушия. Можно ли было на этом шатком фундаменте строить гигантский план? Император быстро спохватился, как будто его мысль после скачка в сторону вернулась на прежнее место. «Я не хочу войны, — сказал он, — не хочу Польши, но я хочу выгодного союза. С тех пор, как стали впускать нейтральные суда, он перестал быть выгодным; он никогда и не был таковым». Коленкур снова начал защищать Александра. Он ручался за искренность царя, за благородство его чувств. Он говорил об этом с таким убеждением, с таким жаром, что император полушутя, полусерьезно сказал ему: «Если бы парижские дамы услышали вас, они еще более обезумели бы от любви к императору Александру. Рассказы о его манерах и любезном обхождении в Эрфурте вскружили им головы. Если прибавить к тому то, что вы говорите, можно было бы сочинить интересные сказки для парижан».

[1] Коленкур Маре, 8 мая 1811 г.

Похвалы его сопернику, видимо, раздражали его. Однако он сдерживал себя и, казалось, его колебаниям не будет конца. Посланник решил, что заручился позволением продолжать правое и спасительное дело, которому посвятил себя. Он обстоятельно объяснил, что, начиная с 1808 г., все поступки императора давали России повод бояться новых переворотов. «Но отчего же! — воскликнул Наполеон, — какие же намерения предполагают меня? Чего могу я желать? Разве Франция не достаточно велика?» — «К тому же, — продолжал он, — разве не давал он русским неопровержимых доказательств своего расположения и своей щедрости? Разве ничто все провинции, все территории, присоединенные к их империи благодаря его могуществу и его щедрой дружбе? — Коленкур ответил, что эти подарки не были даны добровольно и не были настолько бескорыстны, чтобы вызвать к нам чувства большой благодарности. «Недорого ценится то, что делается в силу необходимости», — сказал он. Таким образом, разговор держался на спорах относительно того, что было. Он тянулся уже целые часы, разбрасываясь по всем более или менее близко стоявшим к политике последних лет вопросам, но какое-то непреодолимое влечение постоянно приводило их к главному затруднению.

Наполеону хотелось доказать, что он все делал, чтобы успокоить Александра насчет Польши, что целый ряд коварных, возведенных в систему, возражений исходил от противной стороны. Он намекнул на договор о гарантиях, о котором шли переговоры в 1810 г. «Спорили о словах; я хотел только изменить редакцию, — сказал он. — Лучше было, — ответил Коленкур, — совсем отвергнуть договор, чем предлагать изменения, которые ясно доказали, что, после желания дать это обеспечение, политика — в промежуток времени между двумя курьерами, — была изменена и имелись в виду уже другие планы. — Александр возгордился, — сказал император; он не захотел договора; он сам отказался от него. Сознайтесь откровенно, что он добивается войны. — «Нет, Государь, я готов дать голову на отсечение, что он не сделает первого выстрела и никогда не перейдет своих границ. — Тогда мы с ним вполне солидарны, ибо я не пойду к нему. — Ну! Пусть будет по-вашему. Но нужно же объясниться и найти средство восстановить доверие». Средство было одно. Это было такое решение польского вопроса, которого Коленкур не

мог или, вернее, не смел высказать определенно и которое Наполеон угадал, но не хотел допустить. Разговор снова остановился на той черте, за которой, очевидно, начиналось запретное пространство и на которой он бесконечно вращался, ни на йоту не подвигаясь вперед.

Оставляя пока в стороне главное препятствие к соглашению, Наполеон заговорил о русских вообще: о народе, о разных слоях общества. Он был того мнения, что развращенное, себялюбивое, не способное к самопожертвованию, не поддающееся дисциплине дворянство заставит государя подписать мир после одного или двух проигранных сражений, — тотчас же, как только вторжение затронет их интересы. «Вы ошибаетесь, Ваше Величество», — смело прервал его Коленкур, и стал доказывать, что у русских чувство патриотизма преобладает над всеми другими чувствами, что оно крепко сплотит их против нас и доведет до героизма.

Став на эту почву, Коленкур упорно держался на ней и не хотел покинуть ее, пока не рассмотрит вопроса со всех сторон и не исчерпает всех доводов. С этой минуны слова его приняли исключительно важное значение, — они звучали пророческим предостережением. Он осмелился сказать, что Наполеон впадает в опасное заблуждение насчет России, что он не знает силы сопротивления русского народа. С поразительной ясностью ума, с удивительной твердостью, поистине достойными сохраниться в летописях, он указал, чем может быть война на Севере, и, сорвав таинственный покров с будущего, показал картину ее мрачных ужасов. «В России, — сказал он, — никто не заблуждается ни относительно гения противника, ни относительно его колоссальных средств. Все знают, что будут иметь дело с вечным победителем, но знают также и то, что страна обширна, что есть куда отступить и что временно можно уступить почву. Они знают, Государь, что завлечь вас внутрь страны и отдалить от Франции и ваших средств — значит, уже занять выгодное положение в борьбе с вами. Ваше Величество не может быть повсюду; они будут нападать только там, где вас не будет. Это не будет мимолетной войной. Придет время, когда Ваше Величество вынужден будет вернуться во Францию, и тогда все выгоды перейдут на сторону противника. Сверх того, следует считаться с зимой, с суровым климатом и, в завершение всего, с заранее принятым решением ни в каком случае не идти на уступки».

Относительно последнего пункта у Коленкура не было ни малейшего сомнения. Все, что он видел и слышал, все, что сумел уловить и узнать, убедило его в этом. Он мог сказать, что верит в это, как в непреложную истину. Как наиважнейший аргумент, он привел собственные слова Александра, сказанные ему на прощание. Вот что сказал ему царь: «Если император Наполеон начнет войну со мной, возможно, даже вероятно, что он разобьет нас — если мы примем сражение, но это не даст ему мира. Испанцы были часто биты, но из-за этого они ни побеждены, ни покорены. Между тем, они не так далеко от Парижа, да и климат их и средства не наши. Мы не будем подставлять себя под удары; нам есть куда отступить, и мы сохраним армию в полном порядке. При таких условиях, какие бы бедствия ни пришлось испытывать побежденным, нельзя предписать им мир; побежденные предписывают его своему победителю. Император Наполеон высказал эту мысль Чернышеву после битвы при Ваграме. Он сам сознался, что никогда не согласился бы начать переговоры с Австрией, если бы та не сумела сохранить своей армии. Будь австрийцы настойчивее, они добились бы лучших условий. Императору нужны такие же быстрые результаты, как быстра его мысль. С нами он их не получит. Я воспользуюсь его уроками — это уроки мастера своего дела. Мы предоставим вести за нас войну нашему климату, нашей зиме. Французы храбры, но не так выносливы, как наши, они скорее падают духом. Чудеса творятся только там, где император, но он не может быть всюду. Сверх того, ему необходимо будет поскорее вернуться во свои владения. Я первый не обнажу шпаги, но зато последним вложу ее в ножны. Я скорее отступлю в Камчатку, но не отдам ни одной провинции, не подпишу в моей завоеванной столице мира, ибо такой мир был бы только перемирием».

По мере того, как говорил Коленкур, лицо императора мало-помалу принимало иное выражение. Теперь он был весь внимание и изумление. Он выслушал все до конца, не проронив ни одного слова. При последних словах Коленкура он, видимо, был взволнован и потрясен до глубины души; словно завеса, покрывавшая будущее, раскрылась пред его глазами; словно блеск молнии озарил открывшуюся у ног его пропасть. Коленкур видел, что его слова произвели глубокое впечатлеине и думал, что выиграл дело. Вместо того, чтобы рассердиться на того, кто высказал ему такую неприкрашенную правду, император, напротив, оценил его откровенность. Его обращение изменилось. Лицо, до сих пор суровое и непроницаемое, просветлело и приняло милостивое выражение. Несмотря на позднее время, несмотря на то, что полдень давно уже прошел, император заставлял Коленкура говорить дальше. Он хотел знать еще больше. Он задавал тысячу вопросов о русской армии, об администрации, об обществе. Он заставил его рассказать об интригах салонов, о любовных похождениях, и с любопытством расспрашивал об этих мелочах, как будто прежде, чем взяться за великую задачу и снова обсудить ее, его ум нуждался в отдыхе. Впервые за время разговора он поблагодарил Коленкура за его усердие и преданность; впервые нашел для него милостивые слова и обратился к нему запросто.

Пользуясь этим милостивым настроением, неутомимо преследуя благую цель, герцог с еще большей настойчивостью возобновил свои усилия. Он умолял императора внять советам мудрости. «Вы, Государь,— сказал он,— ошибаетесь насчет Александра и русских. Не судите о России со слов других; не судите об армии по той разбитой, обратившейся в бегство армии, которую вы видели после Фридланда. Целый год живя под угрозой, русские подготовились и укрепились. Они приняли в расчет все возможности, даже возможность крупных бедствий; они приняли меры, чтобы отразить нападение и бороться до последней крайности».

Наполеон согласился, что средства России велики, но прибавил, что его военные силы необъятны. Мало-помалу он перешел к исчислению их. Начав с указания, что его войска покрывают Европу от Вислы до Таго, что они расставлены на всех стратегических пунктах и по знаку его сольются в одну сплошную массу, он сказал затем, что империя представляет неиссякаемый источник людей, что сто двадцать департаментов ежегодно поставляют причитающееся с них количество солдат в постоянно увеличивающиеся кадры; что учебные команды пополняются рекрутами по мере того, как из них берутся солдаты для составления новых боевых батальонов. Затем в центре этих непрерывно увеличивающихся масс он поставил солдат, оставшихся у него от прежних полков, первых его боевых товарищей, тех старых, непобедимых товарищей по Италии и Египту, Аустерлицу и Иене, тех испытанных солдат, ту человеческую сталь,

закаленную в сотнях боев, ту священную фалангу, которая горит освященным огнем великих дел и заражает других своим героизмом. Наконец, увлекаясь своими мечтами, он сгруппировал вокруг своих французов всех союзников, все свои народы. Он призвал их к себе со всех концов света: ломбардцев Евгения, неаполитанцев Мюрата, испанцев, португальцев, Мармона с кроатами, Германию с ее восемнадцатью контингентами, Жерома с вестфальцами, ганноверские и ганзейские полки, которые формировались под начальством Даву, Понятовского с его поляками. Он составил себе из них беспримерную в истории армию; заставил ее пройти перед собой церемониальным маршем, сделал ей смотр, вычислил ее наличный состав, сосчитал батальоны, эскадроны, батареи, дивизии, корпуса и, по мере того, как делал это огромное исчисление, его все более охватывало и опьяняло сознание его силы. Им овладел приступ горделивого помешательства. Его голос дрожал, глаза блестели, взгляд и жесты как будто говорили: «Разве есть что-нибудь невозможное с таким количеством людей — и каких людей?». Сделавшись свидетелем такого постепенного нарастания мании величия, завершившегося полным торжеством самонадеянности, Коленкур почувствовал, что его надежды рушатся. Он понял, что почва, с таким трудом завоеванная, снова ускользает из-под его ног. Он увидал, что война снова приближается — та ужасная война, которую, как он думал, ему удалось устранить, рокового исхода которой он так боялся,— и смертельная тревога за отечество сжала его сердце.

И действительно, несколько времени спустя император сказал ему: «Ба! Одно удачное сражение докажет, чего стоят прекрасные решения вашего друга Александра и его песочные укрепления». Последние слова были намеком на песчаные холмы Днепра и Двины, которые русские приспособили для укрепления оборонительных позиций. Затем Наполеон сказал, что сам он не намерен начинать войны, но что Александр, наверно, вызовет ее; что этот непостоянный монарх поддался внушениям Англии; что ему вбили в голову идеи о завоеваниях и о его превосходстве по крови; что эти идеи льстят его тщеславию и его сокровенным честолюбивым планам. «Он фальшив и слабоволен».— Коленкур: «Он упрям. Он легко уступает в некоторых вещах, но в то же время он начертал себе круг, за который не переступит».— Император: «Он скрытен и лжив; у него византийский характер».— Коленкур: — «Конечно, он не всегда говорил мне все, что думал, но то, что говорил, всегда оправдывалось, и что обещал мне для Вашего Величества, всегда держал».— Император: «Александр честолюбив: в его желании войны есть скрытая цель. Повторяю вам, он стремится к войне, иначе зачем бы ему отказываться от всех сделок, которые я предлагаю. У него особые поводы действовать таким образом, но он скрывает их. Вам не удалось разведать, в чем тут секрет? Говорю вам, что у него иные поводы, а не опасения по поводу Польши и не дело об Ольденбурге».— Коленкур: — «Может быть, этих дел и нашей армии в Данциге достаточно, чтобы объяснить его тревоги: помимо того, он разделяет беспокойство, которое причиняют всем кабинетам перевороты, совершенные Вашим Величеством со времени тильзитского свидания и, в особенности, со времени венского мира».— Император: «Что до этого Александру? Это делается не у него. Разве я не предлагал ему брать, что у него под боком? Разве я не говорил ему, чтобы он взял Финляндию, Валахию и Молдавию? Разве я не предлагал ему раздела Турции? Разве я не дал ему триста тысяч душ в Польше после австрийской войны?».— Коленкур: «Да, но эти приманки не помешали ему видеть, что после того Ваше Величество наметили пути для перемен в Польше, а это у него дома».— Император: «Вы грезите, подобно ему. Я делал изменения только на далеком расстоянии от его границ. Какие же перемены в Европе так пугают его? Что они могут сделать России, которая стоит на краю света? Меры, которые вы осуждаете, это те самые меры, которые лишат англичан всякой надежды и вынудят их к миру».

Император перешел к обсуждению этих мер. Он широко развил свои идеи, излагал их пространно, в двадцати различных видах, вполне отдаваясь своей страсти и своему вдохновению. Он как будто потерял представление о времени. Наступил вечер. Последние лучи заходящего солнца золотили еще верхушки больших деревьев парка, но в зале водворились уже сумерки, а император все еще продолжал говорить. Широкими штрихами очерчивал он всю свою политику, указывая главную цель своих стремлений — нанести смертельный удар Англии сквозь тело всякого государства, которое бы вздумало прикрывать ее собой. Иногда он возвращался к вопросам, освещавшим более подробно главный предмет разговора, обсуждал их без всякого порядка,

как попало, постоянно перескакивая с одного на другой; припирал и пытал Коленкура на все лады, неоднократно задавал ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, получатся ли те же ответы; старался поймать своего собеседника на противоречии или ошибке. Иногда, после энергично высказанного возражения, он прерывал разговор, задумывался и в продолжение нескольких минут хранил молчание. Эти резкие переходы от разговора к молчанию, эти вечные отступления от предмета обсуждения и перескакивания с одного предмета на другой доказывали, как неугомонно металась его мысль. Он старался рассмотреть ссору со всех сторон; доходил до источников ее происхождения, видимо, стремясь получше вникнуть в ее характер и найти выход.

После продолжительной паузы он вдруг сказал: «Нас поссорил австрийский брак: Александр рассердился, что я не женился на его сестре». Это было довольно странное утверждение, ибо предложение о брачном союзе отклонено было русским двором, о чем Коленкур знал лучше всякого другого, так как ему-то и было поручено передать отказ. Хотел ли Наполеон, из чрезмерного самолюбия, показать, даже пред лицом этого посредника и доверенного лица, будто он по собственному желанию предпочел австрийскую принцессу русской великой княжне? В нескольких словах Коленкур напомнил ему, как было дело. «Я забыл эти подробности», — развязно сказал император, и вслед затем сделал совершенно верное замечание: «Тем не менее, несомненно, что в Петербурге рассердились за сближение с Австрией».

Когда все было разобрано, когда все было сказано с той и другой стороны, император повторил вкратце все сказанное и постарался еще раз вывести заключение. «Я не хочу ни войны, ни восстановления Польши,— в десятый раз повторил он,— но нужно сговориться относительно нейтральных судов и других спорных вопросов».— Коленкур: «Если Ваше Величество действительно этого желаете, это не представит затруднений». — Император: «Вы уверены в этом?» — Коленкур: «Уверен, но нужно предложить то, что стоит предлагать». — Император: «Но что же еще?» — Коленкур: «Ваше Величество знает не хуже меня и с давнего времени, в чем причина охлаждения; вы лучше меня знаете, что можете сделать для устранения их». — Император: «Но что? Что предложить?»

Коленкур объяснил, что относительно торговли следует принять во внимание экономические интересы России, что нужно удовольствоваться некоторыми смягчениями тарифа, отнестись снисходительно к допущению нейтральных судов, установить по общему соглашению систему исключительных разрешений на торговлю. Следовало также сговориться относительно Данцига, облегчить положение Пруссии и дать гарантии ее безопасности; и наконец, создать герцогу Ольденбургскому положение, которое не ставило бы его в зависимости от нас, чтобы он не был чем-то вроде французского префекта, каковым был бы в Эрфурте... Но Наполеон счел бесполезным слушать дальше. Он вынес убеждение, что Коленкур все вопросы разрешает на русский лад, что все, что он говорит, внушено ему Александром, что на его рассмотрение был подвергнут не план полюбовного соглашения, а список требуемых от него уступок. Он сказал Коленкуру, что его заместителю, Лористону, поручено обсудить все подробно и урегулировать, если возможно, подлежащие разбору вопросы, что ему самому нужно отдохнуть.

Несмотря на разрешение удалиться, Коленкур хотел еще раз попытаться настоять на своем и попросил позволения представить последнее соображение.

— Говорите! — было ему отвечено.

— Война и мир в руках Вашего Величества. Умоляю вас, ради вашего личного счастья, ради блага Франции, подумать, что вам придется сделать выбор между возможными превратностями войны и несомненными выгодами мира.

— Вы говорите, как русский, — становясь снова суровым, сказал Наполеон.

— Нет, Государь, как честный француз, как верный слуга Вашего Величества.

— Я не хочу войны, но я не могу запретить полякам чувствовать ко мне влечение и звать меня на помощь.

Он добавил, что поляки русских губерний, особенно литовцы, разделяют нетерпение своих варшавских соотечественников; что они обращаются к нему с просьбами; что они зовут его к себе и обещают, если начнется война, дать ему в союзники целый восставший народ. В этой картине Коленкур усмотрел новое заблуждение и постарался рассеять его. С уверенностью, которая вполне оправдалась дальнейшими событиями, он с положительностью заявил, что большинство поляков

Литвы применилось к русскому строю; что они вряд ли решатся скомпрометировать себя совместными действиями с нами, вряд ли станут на стезю возможных случайностей и превратностей неизвестного будущего, вряд ли пожелают «сделаться ставкой в азартной игре». — «К тому же, — с невероятной смелостью продолжал Коленкур, — Ваше Величество не может скрывать от себя, что теперь в Европе слишком хорошо известно, что вы желаете создавать государства для себя, а не для их собственной пользы.

— Вы верите этому?

— Да, Государь.

— Вы меня не балуете, — ответил император обиженным тоном, — однако пора идти обедать.

И он удалился.

Разговор продолжался семь часов. Никогда еще Наполеону не случалось выслушивать подобных слов: никогда опасность, навстречу которой он шел, не была ему так ясно указана. Но в сделанной Коленкуром оценке положения следует отделить истину от ошибок. Бывший посланник глубоко ошибался, когда выставлял русского императора искренно готовым вернуться к системе, установленной во время свиданий в Тильзите и Эрфурте. Он сам вынужден был сознаться, что Александр не имеет ни малейшего намерения изгнать из своих гаваней английскую торговлю под американским флагом, а этого-то, главным образом, и добивался Наполеон. Можно думать, что даже уступка Польши не вызвала бы у Александра сердечного порыва, не восстановила бы прежнего доверия, которое выразилось бы не призрачным возобновлением общей борьбы против англичан. Сверх того, сам Наполеон злоупотреблениями, дерзостью и неистовствами своей политики сделал весьма трудным возврат к прежним отношениям. Еще менее основания было думать, что Наполеон мог бы достигнуть своей цели менее важными уступками. Но, если бы он согласился смирить свою гордость, если бы согласился уменьшить требования своей системы, допустил бы мир без союза, — ибо в это время император Александр, не желая союза, конечно, не хотел и войны, — он избег бы острого конфликта и рокового столкновения. С другой стороны, нужно признать и то, что Наполеон, не обладая способностью читать в душе русского императора, имел право возразить Коленкуру, что недавнее прошлое не таково, чтобы можно было ручаться за будущее. Он вправе был сказать: «Меня уверяют, мне все твердят — и действительно, факты, взятые сами по себе, дают опору таким уверениям, — что у императора Александра был умысел напасть на меня, что он отказался от него только вследствие непредвиденных препятствий при выполнении его планов. Кто поручится мне, что он не вернется к прежним затеям, когда я доставлю ему к тому случай; когда, разрушив варшавскую Польшу, открою мою границу; особенно, когда отведу мой авангард с Севера и снова введу войска в Испанию? Однако, допуская, что вполне естественные побуждения, толкавшие Россию к Англии, рано или поздно привели бы ее к союзу с нашей соперницей, все-таки лучше было бы для нас — во сто крат лучше — занять выжидательное положение, предоставить врагу, выйдя из своих границ, напороться на наши штыки, чем идти за ним в те северные дебри, где закатилась уже не одна блестящая звезда. Нельзя не признать, что во время разговора был момент, когда Коленкур выступает в удивительном блеске, когда он поражает высокой мудростью и изумительной прозорливостью, — это тот момент, когда он рисует трудности и опасности наступательной кампании и бедствия, которые ждут нас на этом пути. Одного этого бесстрашного предостережения было бы достаточно, чтобы упрочить его славу. В споре с ним император часто был прав на почве политики, но он ошибался на почве военной, где сознание своего могущества, дошедшее до бреда безумия, затемнило его суждение, затуманило его взоры. Допуская, что он был вправе думать, что война с Россией почти неизбежно вытекала из того ненормального и острого положения, в какое поставили себя друг к другу обе империи, все-таки его заблуждением, его истинным несчастьем было то, что он не видел, что из всех опасностей, которым могли подвергнуться его судьба и величие Франции, самой ужасной опасностью была война в России.



VI

АУДИЕНЦИЯ 15 АВГУСТА 1811 Г.

Какое заключение выводит император из разговора с герцогом Виченцы. — Он перестает верить в близость войны и приостанавливает приготовления. — Он почти уверен в желании Александра получить клок Польши, но откладывает до более подробного осведомления окончательное решение. — Крестины Римского короля. — Свистки на площади Карусель; афиши с призывом к мятежу. — Чернышев указывает на эти симптомы. — Император в церкви Notre-Dame. — Речь в Законодательном Корпусе: намек на Польшу. — Лористону предписывается держаться твердо. — Затруднение в выборе средства восстановить близкие отношения и придти к соглашению. — Дальнейшие приготовления к войне идут втихомолку. — Европа успокаивается. — Летний сезон дипломатов и высшего общества. — Курорты Богемии. — Картины Карлсбада. — Графиня Рекке и ее бард. — Деятельность Разумовского. — В Петербурге прения идут своим порядком. — Разногласие между императорами делается менее обостренным, но более глубоким. — Влияние Армфельта. — Александр решает не вести переговоров; около того же времени он принимает военный план Фуля. — Какие причины побуждают его уклоняться от соглашения и тянуть конфликт. — Отклонение посредничества Австрии и Пруссии. — Уклончивые приемы и отсрочки. — Наполеон проникает в его игру и в это же время узнает о новых нарушениях блокады. — Взрыв гнева. — День 15 августа в Тюильери. — Дипломатическая аудиенция; тронная зала. — Нападение на Куракина. — Наполеон заявляет, что никогда не уступит и пяди варшавской территории. — Цветистая и потрясающая речь; сравнения и угрозы. — Куракину долго не удается вставить свое слово. — Неотразимый удар. — Пытка в продолжение трех четвертей часа. — Работа с Его Величеством. — Наполеон приказывает составить при себе оправдательный документ своей будущей кампании; важное значение этого документа: в нем излагается фактическая сторона конфликта и блестяще обрисовывается основная причина распри. — Пагубная логика. — Какие причины не позволяют Наполеону удовлетворить предполагаемые желания России. — Герцогство Варшавское и блокада. — Война решена, но отсрочена. — Наполеон ставит себе за правило продолжать фиктивные переговоры с Александром, исподволь подготовить союзы на случай войны и довести свои военные силы до колоссальных размеров; время вторжения в Россию назначается на июнь 1812 г.

I

Достопамятный разговор 5 июня не привел к результату, которого желал герцог Виченцы; тем не менее он оставил известный след. Несмотря на все усилия подавить душевное волнение, в которое повергли его слова обершталмейстера, императору не удалось вполне освободиться от тревожного чувства. Некоторое время он был задумчив, озабочен, словно колебался между противоречивыми побуждениями. В общем, разговор нисколько не выяснил ему главного вопроса — вопроса о том, какой ценой можно восстановить согласие. Он все более приходил к убеждению, что Россия, как условие, без которого не может быть и речи о соглашении, потребует уступки части великого герцогства, но не был в том безусловно уверен[1]. Поэтому он отложил окончательное решение до тех пор, когда у него будет полная уверенность. Не принимая во внимание намеков, сделанных Александром Коленкуру и его заместителю, он ждет, чтобы эти намеки были повторены или переданы в иной форме.

Однако, по одному вопросу он теперь же выводит из разговора точное заключение. Уверения Коленкура почти что убедили его, что Россия не нападет в течение этого года. Следовательно, если войне неизбежно суж-

[1] См. его письмо к Маре от 22 июня 1811 г. Corresp., 17839.

дено быть, у него больше, чем он думал, времени подготовиться к ней; он может еще собрать и взвесить все данные для оценки положения. Считая, что положение дел, решительно не требующее «прежней спешности»[1], дает больше свободы его действиям, больше простору его мысли, он воздерживается от всякого поступка, имеющего решающее значение, и даже слегка приостанавливает военные приготовления. 6 июня, т. е. на другой день после приема герцога Виченцы, он отправляет приказы в отмену некоторых данных уже приказаний, вследствие чего несколько направляющихся в Германию отрядов задерживаются во Франции. В следующие дни отменяется часть требований войск от союзников. Император переносит свое внимание уже на Испанию и не так враждебно смотрит на Север[2]. Это успокоение не ускользнуло от его приближенных, и дало Коленкуру, с которым обходятся то милостиво, то холодно, слабую кратковременную надежду[3].

Как раз во время этого затишья произошел обряд крещения. Он должен был совпасть с открытием отложенной по случаю праздников сессии Законодательного Корпуса и со съездом духовенства, созванного с тем, чтобы одобрить закон о подчинении церковного управления государству. Европа с беспокойством ждала всех этих событий, ибо они могли доставить императору случай говорить публично, причем он мог сказать несколько таких слов, которые осветили бы будущее.

Крестины имели место 9 июня. В пять часов пополудни Римский король был торжественно отвезен в кафедральный собор, где в ожидании его собрались сословные представители, власти столицы и сто архиепископов и епископов. Император с императрицей проследовал в церковь Notre-Dame, в парадной карете, впереди и сзади которой ехали генералы и офицеры его свиты. Толпа с любопытством и восторгом смотрела на это зрелище; но энтузиазм, с которым встречено было рождение наследника, начал уже ослабевать. Дело в том, что с некоторого времени в Париже со страшной силой свирепствовал экономический кризис: в предместьях Св.

[1] Corresp., 17774.
[2] Id., 17783.
[3] Неизданные документы.

Антония не было работы; мастерские опустели, станки были покинуты; оставшиеся без работы угрюмые рабочие толпами слонялись по улицам. Контраст между этой нищетой и выставленным на показ официальным блеском, с непроизводительным золотом и серебром, которыми в изобилии горели костюмы и ливреи, сбруи и экипажи, слишком резко бросался в глаза, чтобы не наводить на злостные мысли, не вызвать злобного ропота.

В продолжение нескольких дней полиция срывала афиши с призывом к мятежу, которые расклеивались по ночам в кварталах, населенных простым народом[1]. 9-го, когда императорский поезд, покинув Тюльери, выезжал из-под Триумфальной арки на площадь Карусель, приветственные возгласы раздавались гораздо реже, чем обыкновенно; даже раздалось два-три пронзительных свистка. По крайней мере, мы узнаем об этом из язвительного донесения Чернышева[2]. Молодой русский офицер, выслеживавший скверные новости и усердно осведомлявший своего государя о всех признаках, которые могли поощрить враждебные намерения царя, с особым удовольствием сообщал ему, что ожесточение против деспота проникает все глубже в народные массы, и что Наполеон уже не так уверен в населении Парижа.

Не этой ли встрече, оказанной народом, следует приписать грустное настроение императора в эти торжественные дни? Во время всей церемонии 9 июня он был мрачен, рассеян, молчалив и только в конце службы луч света пробился сквозь тучи на его лице. По совершении религиозных обрядов император принял из рук императрицы завернутого в покрывала наследника престола, чтобы представить его народу. Приближались сумерки. По мере нарастания мрака, тысячи свечей и особенно люстры на хорах, бросавшие в воздух снопы света, загорались еще ярче, отражаясь в глубине сводов мириадами мерцающих звезд. И вдруг в этом сиянии, в ореоле славы и величия, предстал божественный император с высоко поднятой белоснежной ношей на руках. Охватившее его волнение, нахлынувший прилив радости и гордости вмиг преобразили его лицо. В эту минуту начальник герольдов воскликнул: Да здравствует

[1] Бюллетени полиции, 17 и 28 мая. Archives nationales, AF, IV, 1515.
[2] 17 июня, вышеупомянутый том, стр. 178.

Император! Да здравствует Римский король! И все присутствующие неистово подхватили этот возглас, который, как ураган, понесся в необъятные глубины храма[1]. Целая неделя была посвящена празднествам и народным удовольствиям, устроенным городом. 16-го, за три дня до съезда духовенства, император председательствовал на открытии Законодательного Корпуса. Его речь, по обыкновению, была изложением его политики. Естественно, что главным образом, он говорил об Англии: она, ее злокозненные подстрекательства вызвали слухи о войне, из-за которых Европа не так давно пережила столько волений, и так пострадало народное благосостояние.

«Англичане, — сказал император, — играют на всевозможных страстях. То они приписывают Франции планы, которые могут вызвать тревогу в других государствах, — планы, которые Франция могла бы привести в исполнение, если бы они входили в ее политику; то взывают к самолюбию народов и стараются возбудить их ревность. Они пользуются всеми случаями, которые порождают неожиданные события переживаемого нами времени, ибо только война на всем протяжении континента может упрочить их благосостояние. Я не требую ничего, чего нет в договорах, которые я заключил. Я никогда не пожертвую кровью моих подданных ради интересов, которые не составляют непосредственных интересов моего государства. Я льщу себя надеждой, что мир на континенте не будет нарушен»[2].

Фразы, предшествующие этому ясно выраженному желанию, относились к Польше; в них иносказательно давалось обещание, что Франция не начнет войны ради славы и удовольствия освободить какой-нибудь народ. Эти слова были слабым отголоском тех слов, которые император при торжественной обстановке сказал в 1809 г., когда хотел жениться на сестре Александра[3]. В случае, правда, маловероятном, если бы в настоящее время Россия удовольствовалась подобным удовлетворением, он не прочь дать его.

Лористону поручено было указать в России на миролюбивый характер речи, совпавшей с целым рядом успокоительных симптомов, и настоять на необходимости безотлагательно придти к соглашению. «Внушите Лористону,— пишет император герцогу Бассано,— что я желаю мира и что пора уже поскорее покончить со всем этим. Передайте ему, что приезд Коленкура и его последние письма дают надежду, что император изменит свои решения и что, если Россия не делает новых приготовлений, я тем более не буду делать таковых; что несколько времени тому назад я потребовал от Баварии и Бадена новые полки, но что на днях я отменил это требование, что я остановил отправку пушек, назначенных для крепостей на Одере; что же касается обозов, которые находятся в настоящее время в пути и о прибытии которых в Данциге могут узнать, то следует обратить внимание на расстояние, сославшись на которое можно объяснить, что эти движения исполняются по приказаниям, данным два месяца тому назад»[1].

Наполеон ни на минуту не допускает мысли, что ему поставят в упрек эти передвижения, ибо они явились прямым следствием положения, занятого весной Россией. Тогда Франция сделалась свидетельницей, как войска густыми колоннами шли по направлению к герцогству, и, следовательно, была в положении законной обороны. Ее право приступить к вооружениям было безусловное, неоспоримое. Ему даже кажется, что Лористон недостаточно энергично отстаивает это положение. Уже при чтении первых депеш посланника Наполеон заметил, что тот сразу же подпал под влияние Александра, что он не устоял против его обаяния: во время спора был слаб и уступчив; не воспользовался своим выгодным положением; не сумел дать справедливой оценки коварным речам. Он также, если его там не направить, даст обольстить себя. «Обвить гирляндами цветов». Исходя из этих соображений, Наполеон тотчас же приказывает герцогу Бассано обратиться к послу со строгим предписанием — держаться твердо; признаться, не стесняясь, в наших вооружениях и заставить признать, что мы были вправе так поступать, а не метаться и не отрицать их в туманных и запутанных фразах, да к тому же, против всякой очевидности. «Скажите Лористону,— пишет император министру, — что он плохо понимает мое положение; что России все известно; что я сказал об этом

[1] Вышеупомянутое донесение Чернышева, стр. 178. Cf. Thiers, XIII, 106 и Moniteur от 11 июня, где напечатан отчет об этой церемонии.
[2] Corresp., 17813.
[3] См. II т., 202.

[1] Corresp., 17832.

всем русским, ибо нужно быть слепым, чтобы не видеть, что все мои дороги загромождены обозами с припасами, командами военного конвоя и выступившими в поход отрядами, и что нельзя тратить по двадцать пять миллионов в месяц, не поднимая на ноги все, что есть в стране; но что все это было приказано мною только после того, как Россия дала мне понять, что может изменить мне и воспользуется первым благоприятным моментом, чтобы начать враждебные действия.

В вашем письме к Лористону добавьте: «Император находит очень странным, что в этом случае вы не нашлись, что ответить... Император не вооружался, когда втихомолку вооружалась Россия. Он вооружился на виду у всех и только тогда, когда Россия, по словам самого Императора Александра, была готова. Император не издавал манифеста[1], не заводил ссор на глазах европейских дворов, он даже не дал ответа. Наконец, Император ничего так не желает, как привести дела в то положение, в каком они были раньше. Он предлагал это, но вместо того, чтобы прислать кого-нибудь для переговоров, говорят несуразные вещи. Итак, Императору угодно, чтобы вы не отрицали вооружений и тем не ставили Саксонию в затруднительное положение, а чтобы настоятельно просили о прекращении этого строгого положения — не путем взаимных обвинений, а путем чистосердечных объяснений, стараясь найти средства к соглашению, если таковые можно найти»[2].

Эта оговорка, эта формула сомнения выдает истинную мысль императора. У него нет ни желания, ни предвзятого намерения вести войну. В сущности, он хотел бы избегнуть ее и был бы благодарен каждому, кто избавил бы его от нее. Но он не видит средств устранить разрыв путем мирного соглашения. Мысль полностью удовлетворить желание России, иначе говоря, расчленить герцогство, по-прежнему ненавистна ему. «Исходите из того положения,— приказывает он писать Лористону,— что русским войскам, чтобы заставить нас дать согласие на столь позорное расчленение, потребуется оттеснить нас к Рейну»[3].— «Это было бы позором, — энергично продолжает он,— а для Императора честь дороже жизни». Но, с другой стороны, он понимает, что

[1] Намек на публичный протест русских по поводу Ольденбурга.
[2] Corresp., 17832.
[3] Id.

Россия не получит удовлетворения, которого он не может дать, никогда не вернется к прежнему доверию, что почти нет надежды обойти затруднение и найти какой-нибудь хитроумный выход. Одним словом, что вне того, чего он не хочет сделать, ничего сделать нельзя. Вот почему, несмотря на его миролюбивые уверения, несмотря на его как будто искренние обещания, его неотступно преследует засевшая в нем и в большинстве случаев руководящая его поступками мысль, что в будущем году ему неизбежно предстоит война. Приостановив на время отправку войск в Германию, он очень скоро возвращается к прежней деятельности. Правда, он не увеличивает, напротив, даже уменьшает стоящие на первой линии войска. Чтобы ответить на один из предметов беспокойства Александра, он не усиливает гарнизонов Данцига; он останавливает на Одере один из полков, назначенных для этой крепости, и приказывает отступить части вестфальской бригады, командированной для несения службы в той же крепости. Но вся эта предупредительность имеет целью отвести глаза от более важных движений в тылу, ибо в то же время батальоны, формирующиеся в учебных командах, присоединяются к армии Даву и незаметно увеличивают ее на тридцать тысяч человек. По границам Германии Наполеон организует подкрепления в более широких размерах и с более тщательной подготовкой. Стоящие на левом берегу Рейна и на южном склоне Альп, спешно набранные и, следовательно, находящиеся не в полном составе команды, он заменяет настоящими армиями[1]. Он хочет иметь возможность в подходящий момент наводнить Германию солдатами и бурным потоком направить их к границам России.

II

Эти медленные, методические подготовления не так бросались в глаза, как лихорадочная деятельность предыдущего времени. В Германии, Австрии, даже в Польше — во всех странах, которые боялись сделаться театром военных действий и ставкой борьбы,— были уверены, что война окончательно устранена. В министер-

[1] Corresp., июнь и июль 1811 г., passim.

ствах и дворцах государей, после страшных волнений, вызванных близостью кризиса и необходимостью принять то или иное решение, наступило относительное спокойствие. Политика оказалась не у дел; дипломаты устроили себе каникулы. Высший свет разъехался по курортам Богемии наслаждаться солнечными днями этого чудного лета. Даже проживающие в Вене русские, эти неутомимые сеятели раздора, очевидно, потеряли надежду на скорый разрыв. После бешеных натравлиний Австрии к войне, после неимоверных усилий направить ее весной на этот путь, они вдруг снялись с места и понеслись, по выражению нашего посланника, «топить свою скорбь в водах Бадена, Карлсбада и Теплица»[1]. Но перемена места не прекратила их деятельности; напротив, она дала им возможность с помощью прибывших из России подкреплений и многочисленных союзников, которых они нашли на месте, возобновить партийную войну и открыть летнюю кампанию, что не могло не оживить и не поддерживать неудовольствие императора.

В то время Богемия лежала на пути всех новостей и интриг. После брака Марии-Луизы непримиримая партия австрийской знати эмигрировала в Прагу. Она избрала этот город своим постоянным местопребыванием и засела в нем, как в крепости. Тайные агенты Англии, которыми та напитывала Европу, проскользнув после высадки в Швеции в Пруссию, направлялись по Саксонии и Богемии в Вену, где они обрабатывали на свой лад общество и развращали общественное мнение. Прежде чем добраться до конечной цели своего путешествия, они наводили справки в Карлсбаде и Теплице. Сюда же, как в центральный пункт, как в периодически открывавшуюся говорильню, стекались из разных стран Германии деятели Союза Добродетели, носители патриотических тайных стремлений, члены трех тайных братств, которые при общей апатии установленных властей были в Германии единственной деятельной и воинственной силой.

Те из наших представителей в Австрии и Саксонии, которым было поручено следить за общественным мнением, рисовали довольно пикантную картину курортов Богемии — этих мест свиданий всего изящного и всех интриганов, где оппозиция против нас выражалась во

[1] Отто Маре, 1 июня 1811 г.

всех видах, начиная с серьезнейших и кончая самыми ребяческими, и где в ожидании лучших времен она забавлялась доставлением себе удовлетворений сентиментального свойства. «Со времени причинившего много хлопот предприятия Шелли,— пишет один агент осведомления,— рыцари и кавалерственные дамы Союза Добродетели не перестают работать над восстановлением древней Германии, а так как для благого дела ничем не следует пренебрегать, то они отправили в разные части Германии искусных миссионеров, которые то красноречием, то мистическими сочинениями стараются взрастить семена, посеянные в последнюю войну. Даже дамы берут на себя эти почетные миссии; так, графиня Рекке отправилась в Карлсбад с целью председательствовать там в клубе Добродетели и восстановить колонну Арминия. Члены этого общества узнают друг друга по особым условным знакам и имеют, преимущественно на Севере, особые способы для сношений. В видах сохранения древних обычаев своей страны, графиня Рекке всюду появляется в сопровождении барда, по единодушному мнению клуба, красноречивейшего человека и величайшего поэта своего века. Против него говорит только его фамилия — Дидье, ибо он родом из французской колонии в Берлине. Прежде чем сделаться бардом, он был каноником в Магдебурге. Плодовитый гений этого нового Тиртея чарует, опьяняет и приводит в исступление всех, получивших разрешение присутствовать на сеансах.

«Оды, апологии, военные песни разнообразят удовольствия слушателей. Чтобы дать верное представление о тонкости намеков, достаточно упомянуть в басне Тигр, в которой после тысячи приключений, одно другого замысловатее, тигр кончает тем, что пожирает льва, слона, леопардов и медведей. Автор дает понять, что этот тигр — Наполеон. Обыкновенно сеанс кончается военной песнью, сочиненной каноником. Раз, когда последняя ода — мученичество блаженной королевы Прусской — вызвала исступленные аплодисменты, он воскликнул: «Зачем не могу я воспеть ее во главе двухсот тысяч человек!». Графиня Рекке питает такое отвращение ко всему французскому, что, как говорят, дала обет не говорить по-французски»[1].

[1] Archives des affaires etrangéres, correcpondance de Vienne, 390.

Около этого страшного сборища славославящих поэтов и артистов толпятся прусские офицеры, «готовые всем пожертвовать памяти усопшей королевы», «английские шпионы» и французские эмигранты из прежних предводителей шуанов*. Все они стараются воодушевить друг друга, шушукаются, жестикулируют и на словах восстают против «могущественного властителя Европы». Их отвращение к Франции так велико, что известие о приезде одного из наших дипломатов, императорского посланника в Дрездене, почтенного барона де-Бургуэна, заставило улетучиться часть этой шайки, как будто при приближении зачумленного. Присутствие одного из наших офицеров вызывало скандальные манифестации. «Его орден Почетного Легиона изводил дам, которые хвастались, что выказали твердость характера, т. е. вели себя по отношению к нему так невежливо, как только могли»[1]. Можно представить себе, какую сенсацию произвел в этой среде, где кипело столько страстей, приезд главы русской партии в Вене графа Разумовского; какой был переполох, когда тот, задавшись целью втянуть в союз всех недовольных и властно вести их на общее дело, явился преисполненный отваги и чванства, в сопровождении своих друзей, словно полководец во главе своих войск.

Он приехал с блестящей свитой, с почти царской обстановкой и поселился на житье во Францбруннене, близ Егры. С этой командующей позиции он хотел наблюдать за всеми курортами Богемии и объединять все интриги[2]. Правильно организованная деятельность графа началась тотчас же по приезде. При нем был целый штат агентов, которые работали по его приказаниям; у него были свои чиновники, свои канцелярии. Два верховых ежедневно развозили его огромную корреспонденцию; в каждом соседнем «курорте» он поселил преданного ему человека, обязанного раздавать пароль, и не один путешественник не уезжал из Богемии, не увозя в свою страну следующего приказа оказывать на правительства давление путем общественного мнения и склонять их в ближайшем будущем взяться за оружие, «ибо война против Франции должна быть естественным состоянием каждого благоустроенного правительства»[1]. Принцы и принцессы королевской крови и оставшиеся за штатом государи не гнушались помогать Разумовскому в деле фанатической пропаганды. Главными его сотрудниками были: лишенный владений, эмигрировавший в Богемию курфюрст Гессенский, принц Фердинанд прусский и молодые герцогини курляндские, которые умели «без всякого стеснения соединять сердечные дела с политикой»[2].

В продолжение нескольких недель дерзость этих лиц дошла до того, что наши агенты уже думали, что на их глазах в Карлсбаде соберется настоящий конгресс недовольных, и что отсюда пойдет «пламя новой коалиции»[3]. До некоторой степени их успокаивало то обстоятельство, что между разными группами иностранцев не было единодушия. Большинство из них, будучи заклятыми врагами Франции, в то же время с ненавистью смотрели друг на друга. Пруссаки презирали саксонцев; саксонцы держались особняком; они отличались равнодушием к общему делу и почти что спаслись от приступов «германской лихорадки»[4]. Русские бывали почти исключительно в обществе венской аристократии и этой обособленностью много вредили себе в глазах других немцев. Тем не менее, их поучения и предсказания растравляли и поддерживали надежды и злобу, поощряли воинственное усердие тайных обществ и поддерживали среди народов Германии элементы агитации и восстания.

В Петербурге слухи о скорой войне почти прекратились. Спор с Францией понизился на один тон и, не прекращаясь, превратился в затяжной, однообразный и бесплодный. С той и с другой стороны возобновились те же жалобы, повторялись те же доводы. Иногда меняли и немного усиливали выражения, не изменяя существа доводов, как будто правительства двух великих держав занялись упражнениями в риторике, т. е. тем, чтобы бесконечно, в разных видах, повторять одно и то же. Толь-

* Шуанами назывались банды, которые боролись во Франции против революции. (Прим. перев.).

[1] Отто Маре, 3 августа 1811 г.

[2] «Он привез с собой, — добавляется в предыдущем донесении, — двух секретарей, четырех поваров, толпу прислуги, двадцать две лошади и четыре фургона с обстановкой. Не привыкшие к такой роскоши жители очень хотели бы дать ему почетный караул, но за неимением ничего лучшего, поставили у двух дверей его дома четырех превосходно нарисованных часовых — двух русских и двух казаков».

[1] Отто Маре, 1 июня.

[2] Id., 3 августа 1811 г.

[3] Id., 10 июля.

[4] Id., 3 августа.

ко один Румянцев, преследуя свою мечту о примирении, силился ввести в спор кой-какие новые элементы и постоянно искал основу для соглашения. Рассматривая вопрос о герцогстве с новой точки зрения, он дал понять Лористону, что, не затрагивая материально неприкосновенности герцогства, можно было бы преобразовать его, подавив в нем при этом всякую мысль о расширении; что можно было бы отнять у него его автономию, правительство и присвоенные ему учреждения, например, администрацию из уроженцев края; что можно было бы лишить его в некотором роде национального характера и свести на положение простой саксонской провинции[1].

Но сам Александр перестал говорить о Польше. Он предоставил канцлеру выбиваться из сил в поисках бесполезных средств к соглашению и не шел уже за ним по этому пути. Более упорный и требовательный, он скрывал под маской невозмутимой кротости свои менее миролюбивые намерения и дал себе клятву покончить с конфликтом только в том случае, если Наполеон согласится дать ему желаемый им блестящий залог. Он думал, что возвращение в Париж герцога Виченцы и его настояния, может быть, дадут результат, которого он тщетно ждал от миссии Чернышева. После отъезда посланника он не мог скрыть охвативших его нетерпения и беспокойства. Он вычислил продолжительность путешествия Коленкура и время, необходимое для поездки курьера из Парижа в Петербург; считал дни, даже часы. В начале июня он решил, что Коленкур уже прибыл в Париж и что наступил решительный момент. С тех пор прошло несколько недель, а желанного ответа не получалось. Сопоставляя это молчание с другими симптомами, Александр истолковал его как отказ[2]. Догадываясь, что Наполеон не хочет стать на путь уступок по делам Польши, он не хотел уже вести переговоры и отказывался предлагать средства к успокоению и соглашению. Сделав попытку — при посредстве Коленкура предложить императору загадку и оказать на него давление — он этим исчерпал свои добрые намерения.

[1] Лористон Маре, 18 июля 1811 г.

[2] Наполеон сказал Куракину, «что уступил бы императору Александру два округа герцогства Варшавского, вознаградив саксонского короля за это в другом месте, и даже город Данциг с его территорией, если бы царь попросил его об этом, а не приступил к вооружениям, имеющим угрожающий характер». Александр передал эти слова Лористону, прибавив, «что этим «если» все сказано и что он понял его». Частное письмо Лористона к Маре, 1 июня 1811 г. С другой стороны, одна высокопоставленная во Франции особа, уверявшая, что имеет сведения из верного источника, просила Чернышева предупредить Его Величество русского императора, что Наполеон вовсе не намерен «искренно примириться с ним». Донесение от 17 июня, вышеупомянутый том, 175. Не та ли это особа, которой царь в начале года приказал передать собственноручное письмо?

Постороннее влияние помогло рассеять последние колебания царя. Все показания современников из первоисточников согласно указывают на необычайную милость к шведу Армфельту и на его роль в событиях этого периода времени. Мало-помалу милости, поощрения, знаки внимания поставили его вне конкурса, так что рядом с сердечным к нему доверием не осталось уже места не только официальным советам Румянцева, но даже сам Сперанский отошел на второй план.

Швед приобрел доверие государя независимой манерой держать себя. Александр хвастался, что ненавидит льстецов. Вернейшим средством заставить его принять совет было дать таковой в грубоватой форме. Этим способом государю, красневшему при одном намеке, что он самодержец, давалась иллюзия, будто он повелевает людьми свободными. Армфельт говорил с ним уверенно, не стесняясь выражениями. Недалеко время, когда один проницательный наблюдатель скажет о нем: «Не имея в своем обращении ничего общего с тем раболепным складом характера, с тем подобострастным языком, которые служат отличительной чертой рабского народа, барон Армфельт поразил императора и завоевал его симпатии той откровенностью, той смелостью, с какими рисовал ему картину того, чем бы он мог быть и что он есть»[1]. С настойчивостью почти жестокой давал он чувствовать царю подчиненность его настоящего положения, оскорбления, которые наносит ему Наполеон, унизительность и опасность вечной уступчивости, необходимость ободриться и оказать сопротивление, под опасением сделаться лишь внешним подобием императора. Он представил ему пространную записку со следующим эпиграфом: «To be or not to be»[2*]. Чуткий к таким суровым требовбаниям, Александр пропитывался внушаемыми ему идеями, но применял их сообразно складу

[1] Граф Левенхильм, 5 апреля 1812 г.; archives du royaume de Suède.

[2] Tegner, III, 301.

[*] Быть или не быть. (Прим. перев.).

своего характера и своего гения, более склонного к пассивному упорству, чем к резким проявлениям инициативы. Он остановился на политике отказов, на системе от всего уклоняться, все отсрочивать, на замаскированной непримиримости, вовсе не скрывая от себя, что таким поведением вызывает и, в конце концов, навлечет на себя войну. Первым приготовившись и чуть не начав войны, он дал затем согласие сделать попытку для устранения ее; но и теперь, как и весной, он сознает близость и неизбежность развязки конфликта, с той только разницей, что теперь не сам хочет напасть, а чтобы на него напали; не упреждать противника, а заставить его придти к себе.

Действительно, даже в то время, когда в политике царь поддается воинственным подстрекательствам Армфельта, он окончательно избирает своим руководителем и советником по военным вопросам Фуля-выжидателя. Он принимает его план, ибо предписывает приступить к устройству оборонительных линий в соответствии с воспринятыми от него принципами и поручает немцу Вольцогену произвести эту работу[1]. Правда, он склоняется еще к мысли — прежде выполнения главного плана сделать нападение на Польшу, но и то с единственной целью, насколько возможно, расстроить дело снабжения армии завоевателя. В этом случае дело идет о нападении в строго очерченных пределах, задача которого начать отступление с более отдаленного пункта, и, уклоняясь от решительного боя, опустошать все на отдаваемой противнику территории. Следовательно, дело идет о чисто стратегическом наступлении. Пока же Александр благоразумно решил избегать малейшего насилия, малейших нарушений союза, вплоть до того момента, когда французы, углублясь в Германию, подойдут настолько близко к его границам, что поставят его в положение законной обороны. Цель, которую он в этом случае преследует — выставить себя в глазах Европы носителем и защитником права, долготерпение которого истощилось. С этого момента все его усилия будут направлены к тому, чтобы затянуть конфликт; но затянуть, не давая заметить, что он затягивает его. Он позаботится всю ответственность за разрыв взвалить на своего соперника и постарается возбудить против него всеобщую ненависть.

[1] Memoires de Wolzogen, 57. В заметке, опубликованной в сборнике архивов Воронцова, XVI, 390, также упоминается о том, что оборонительный план принят в июне месяце. Левенхильм определит решения Александра следующим образом: «Не вступать ни в какие сделки с Францией и завлечь врага в места, предназначенные для обороны». Депеша от 3 марта 1812 г. Archives du royaume de Suéde. Армфельт писал, что он очень надеется, что Бонапарт «попадет в западню». Tegner, III, 384.

С этой целью он избегает малейшего намека на герцогство Варшавское. Затаив в самых сокровенных тайниках своей души истинную обиду, он ссылается только на явную — на присоединение Ольденбурга и артистически пользуется этим делом, в котором у него, бесспорно, прекрасная роль и в котором он может разыгрывать из себя оскорбленного. Грустным и кротким тоном он постоянно жалуется на нанесенное ему оскорбление и в неопределенных выражениях требует удовлетворения. Когда Франция пристает к нему, когда она заклинает его высказать свои желания, он ограничивается просьбой о вознаграждении за причиненный ущерб, о возвращении герцогу родового наследия. Когда с ним говорят о соответственной компенсации, он не отвечает ни да, ни нет. Он обещает отправить Куракину полномочия, необходимые для заключения соглашения — и не посылает их. Он неизменно говорит, что готов покончить с этим делом — и не дает для этого никаких данных[1]. В то же самое время он заботится о том, чтобы объявить во всеуслышание, чтобы оповестить всему миру, что захват Ольденбурга, как ни тягостно для него это событие, не составляет в его глазах casus belti; что он никогда с оружием в руках не потребует восстановления прав своего дома. Из такого поведения царя явно вытекает, что если Наполеон усиливает наличный состав войск, если он втихомолку отправляет новые войска в Германию и подготовляет средства к нападению, то он делает это не в силу законной причины, а исключительно вследствие дошедших до безумия честолюбия и гордости; что все это делается с целью поработить государство, которое желает жить с ним в мире и неизменно хочет оставаться его союзником.

Придерживаясь такого поведения, царь приобретал и ту выгоду, что мог вежливо отказаться от услуг государств, заинтересованных в том, чтобы не допускать конфликта, и желавших предложить свое посредничество в деле примирения, ибо не желая примирения, он,

[1] Переписка Лористона, июль и август 1811 г.

естественно, не нуждался в посредниках. Когда Пруссия и Австрия, после кратковременного успокоения, снова забили тревогу и поочередно. то та, то другая, умоляли его принять их услуги, он притворился, что крайне удивлен этим. Он не понимает, говорил он, о чем с ним говорят. Что за надобность в примирителях, когда о войне нет и речи? «Его Императорское Величество,— приказывает он написать в Вену,— тем более считает долгом отклонить вмешательство третьего государства, что принятием такового неизбежно будет вызвано предположение о разладе между дворами Петербурга и Тюльери — разладе, которого не существует, так как Его Императорское Величество неизменно и неуклонно пребывает в своих прежних чувствах и политических отношениях к Франции, которая, со своей стороны, непрестанно дает ему уверения в своей дружбе»[1].

Тем не менее, осторожно поддерживаемый разлад доставит царю поводы с каждым днем все более смотреть сквозь пальцы на контрабанду и, в конце концов, позволит ему открыть гавани России для правильной торговли с Англией. Это одна из главных причин, заставляющих его уклоняться от примирения, которое опять сделало бы его пленником союза[2]. Если Наполеон допустит это отступление от своей системы и, видя, что русские не двигаются со своих оборонительных позиций, остановит, а затем вернет обратно свои войска, Александр не погонится за ним; но гораздо вероятнее, что завоеватель будет проводить до конца свои разрушительные планы; что он начнет войну и вторгнется в Россию. Тогда Александр со спокойным мужеством примет вызов, твердо решив: пользуясь содействием климата и природы, вести войну ожесточенно, ужасно, до бесконечности. Но,— говорит он себе,— я предварительно заручусь крупной моральной выгодой и выиграю свое дело в глазах общественного мнения Европы. Его расчет был верен, ибо его искусный и выдержанный способ действий, не вводя всецело в заблуждение современников, в продолжение восьмидесяти лет вводил в обман потомство и историю.

Наполеона он не обманул. Видя, что Россия уклоняется от всяких объяснений, император заключил из это-

[1] Депеша Штакельбергу, 27 октября 1811 г., Archives de Saint-Pétersbourg.

[2] Дальше мы услышим это признание лично от царя.

го, что она не хочет примирения, вследствие того, что отчаялась добиться истинного предмета своих вожделений. Таким образом, он ясно понял, он верно угадал, в чем дело. Он понял, что в вознаграждение за Ольденбург желают получить часть герцогства и не допускают другого решения. От него ждали, чтобы он отдал свою передовую оборонительную линию, чтобы он собственной рукой нанес удар тому самому польскому народу, который неоднократно доказывал ему свою преданность; чтобы подверг его новому расчленению. В прошлом году, предлагая ему знаменитый договор, просили только о ратификации раздела; теперь хотят, чтобы он сам возобновил раздел и принял в нем участие. Такое притязание приводит его в бешенство. С этим совпало событие донесений от его агентов с Севера, в которых сообщалось ему, что с наступлением весны английская торговля в Балтийском море, едва прикрываясь американским флагом, растет не по дням, а по часам в необычайной прогрессии. Контрабандные суда не проскальзывают уже в Ригу или в Петербург обманным путем, в одиночку. В порты России входят настоящие торговые флоты, целые скопища в сто пятьдесят судов за раз. Их там принимают без всякого стыда, им позволяют развозить по побережью и сбывать огромные партии товаров, и эта торговля, давая Англии возможность сбывать часть продуктов, которые загромождают ее склады и угнетают ее промышленность, мешает ей погибнуть от перепроизводства и избытка товаров[1]. Итак, вот к чему клонились мнимые тревоги России, ее притворные страхи, ее жалобы и ссоры, которые она старалась завести с нами. Допуская, что у нее и в самом деле не было намерения начать войну, она, тем не менее, хотела заручиться предлогом, благодаря которому могла снова завязать с англичанами выгодные для нее сношения и, вместе с тем, вырвать у нас унизительную и пагубную уступку. С этого момента ее игра делается императору ясной, «ее система раскрывается»[2]. Констатирование этих фактов приводит его к решению. Отдаваясь вспыхнувшему в нем гневу, а, кроме того, повинуясь и политической идее, и желанию привлечь на свою

[1] Corresp., 18082.

[2] Id. Эта мысль весьма ясно вытекает из депеши Маре Лористону от 30 августа 1811 г. и из его секретного письма от 19 ноября.

сторону общественное мнение, он чувствует потребность всенародно заявить о своих обидах; он хочет разоблачить пред всей Европой замыслы Александра и объявить во всеуслышание, что русские хотят клок Польши, и никогда его не получат.

Случай к этому представился 15 августа, в день его именин. По его приказанию, этот день ежегодно праздновался народными увеселениями и большим съездом ко двору в Тюльери. Обычный воскресный церемониал совершался по этому случаю при особо торжественной обстановке. Император лично руководил этими грандиозными представлениями, которые обставлял, как сцены в опере,— шествиями, церемониальными маршами, роскошными символическими изображениями. Задачей таких зрелищ было выдвигать пред взорами публики блестящую картину его могущества. То был целый ряд величественных и точно распределенных выступлений. Перед обедней — высочайший выход из парадных покоев: шествие пажей, церемониймейстеров и их помощников, шталмейстеров, дворцового коменданта и камергеров, флигель-адъютантов, первых пяти чинов империи,— наконец, сам император в сопровождении духовника, принцев и маршалов. Императрица шествовала со своей половиной в сопровождении принцесс и свиты. Иногда оба шествия сходились на парадной лестнице, затем медленно проходили по залам и галереям и вступали в церковь, куда для лицезрения Их Величеств допускался народ. В разных местах по пути следования были расставлены отряды гвардии; гренадеры отдавали честь, барабаны били поход; мундиры военных и костюмы придворных эффектно выделялись на роскошных украшениях апартаментов — на золоте, мраморе и на пурпуре драпировок. Обстановка — как раз для того, чтобы ослепить взоры, взволновать умы и придать еще больше пышности и блеска воздаваемому императору героическому культу[1]. Часто после обедни на дворе дворца происходили военные парады. До или после обедни, в парадных апартаментах, неизменно из года в год, император давал аудиенции и принимал дипломатический корпус. Посланники и иностранные министры вводились в Тронную залу. Только они да министры и небольшое число привилегированных лиц имели право входа туда. В этой-то самой священной зале дворца Наполеон, явившись предварительно пред ними в ореоле императорской пышности, принимал их поздравления.

[1] Фредерик Массон дал эффектную, точно воспроизведенную картину этих сцен в статье, помещенной в Vie contemporaine, от 1 февраля 1894 г.

15 августа 1811 г. дипломатическая аудиенция состоялась до обедни. В полдень, когда пушечные выстрелы возвещали городу о торжестве этого дня, император вошел в залу и занял место на троне. Тотчас же были приняты для принесения поздравления и пожеланий высокопоставленные особы, кардиналы, министры, маршалы, кавалеры Почетного Легиона первой степени и другие сановники[1]. После них, в предшествии церемониймейстера и его помощника, был введен обер-гофмаршалом дипломатический корпус. Разместившись вокруг трона, члены корпуса заняли места по старшинству их постов. Князь Куракин занял место, сообразно своему положению, между князем Шварценбергом и испанским послом. Он чувствовал себя лучше обыкновенного и сиял, как солнце, в своем усыпанном звездами и драгоценными камнями одеянии.

Император сошел с трона. Медленным шагом два раза обошел он круг, останавливаясь то тут, то там, чтобы кинуть слово, вопрос или чтобы ему назвали фамилии иностранцев, ходатайствовавших о чести быть ему представленными. В этот день в списке представляющихся находились, кроме баварского генерала и швейцарского полковника, три «гражданина Соединенных Штатов»[2]. Все это заняло некоторое время. В зале было невыносимо жарко. В этот чудный августовский день яркие, жгучие лучи солнца, падая в залу сквозь высокие окна и загораясь ослепительным блеском на массивном шитье мундиров, еще более усиливали тягостное чувство, которое все испытывали от продолжительности аудиенции, от толпы, тесноты и от жуткого чувства предстоять пред вершителем судеб, пред повелителем и верховным судьей. Когда обычные формальности были выполнены, можно было думать, что прием кончен. Большая часть присутствовавших разошлась уже по соседним залам. В Тронном зале оставались только дипломатический корпус да несколько министров и «красных лент», С минуты на минуту ждали, что им-

[1] Moniteur от 17 августа.
[2] Id.

ператор прикажет предупредить императрицу и отбудет в церковь, чтобы отслужить обедню и Te Deum, как вдруг он направился к группе, в которой стоял Куракин[1].

«Вы сообщили нам новость, князь»,—любезным тоном сказал он. Дело шло о бюллетенях, незадолго перед тем сообщенных русским посольством, в которых извещалось о битве в окрестностях Рущука между турецкой армией и оставленными Россией на Дунае войсками под начальством Кутузова. Дело было жаркое, но не решительное, ибо обе стороны приписывали себе победу. Куракин свыше всякой меры восхвалял храбрость своих соотечественников. Наполеон воздал должное храбрости русских, но обратил внимание Куракина на то, что, тем не менее, они вынуждены были очистить Рущук — свое предместное укрепление по ту сторону Дуная, а, следовательно, потеряли линию реки. По его мнению, пользоваться рекой, как средством перехода в наступление, можно только при условии сохранения за собой возможности действовать на обоих берегах. В Эслинге он считал себя победителем, потому что сохранил остров Лобау, который давал ему доступ на левый берег и позволял напасть на австрийскую армию. Пространно, с обычным мастерством развил он эту тему и прочел пред восхищенными слушателями целую лекцию о тактике.

Отказываясь одержать над ним верх на этой почве, Куракин согласился, что действительно русские должны были отступить за неимением в своем распоряжении для удержания за собой позиции достаточного количества войск, и приписал недостаток в людях недостатку денег, что, якобы, и заставило царя отозвать во внутрь России часть назначенных против Турции войск. Этого только и ждал от него император и тотчас же, с притворным добродушием, сказал ему: «Дорогой друг, если вы говорите со мной официально, я должен сделать

[1] Материалы для дальнейшего изложения взяты из разных источников: письмо Маре к Лористону, 25 августа 1811 г.; бумаги, хранящиеся в архивах министерства иностранных дел (Россия, 153) под названием: Relation tiree des notes de l'ambassadeur d'Autriche et Rapport d'un ministre d'un prince de la Confederation; выдержки из донесения Куракина, приведенные у Богдановича, 1, стр. 31 и след.; донесение прусского министра Круземарка, разобранное и отчасти опубликованные Duncker'ом, 374—375, по архивам Берлина. Все эти документы сходятся по главным пунктам.

вид, что верю вам, или совсем не отвечать вам; но, если мы говорим конфиденциально, то скажу вам, что вы побиты, а побиты вы потому, что у вас слишком мало войск, а мало войск потому, что пять дивизий из дунайской армии вы отослали в польскую, и сделано это не из-за стесненных финансов, которые были бы в лучшем состоянии, если бы эти войска кормились за счет неприятеля, а для того, чтобы угрожать мне».

Затем предметом разговора сделались передвижения русских войск близ границы герцогства Варшавского. Наполеон, не стесняясь, дал понять, что эти ускоренные марши тем более встревожили его, что казались ему необъяснимыми. «Я похож на дикаря,— сказал он,— чего не понимаю, то возбуждает во мне недоверие». Поэтому, продолжал он,— и он счел нужным держать ухо востро. В конце концов обе стороны сочли себя обиженными, стали вооружаться, приступили к перемещению войск в громадных размерах, что продолжается и по сие время, и вот — две нации в боевых позах, лицом к лицу, готовы перерезать одна другой горло, не объяснившись даже, за что.

И в самом деле, кого хотят убедить, что истинная причина ссоры Ольденбург? — Великие державы не станут драться из-за Ольденбурга. К тому же Франция предлагала вознаграждение, равнозначащее, «как по объему, так и по содержанию»; она раз десять повторяла свои предложения и не получила ответа. Это значит, что дело идет о чем-то другом; значит, у русских есть задняя мысль, и Наполеон внезапно, резким движением срывает вуаль и обнаруживает сокровенную подкладку спора. Он сказал: «Я не так глуп, чтобы поверить, будто вы хлопочете об Ольденбурге: я ясно вижу, что дело идет о Польше. Вы приписываете мне планы в пользу Польши, а я начинаю думать, что вы сами хотите завладеть ею, может быть, думая, что нет иного способа укрепить с этой стороны ваши границы. Но необходимо, продолжал он, чтобы перестали заблуждаться по этому вопросу, чтобы Россия знала, на что она может рассчитывать. При этих словах император приходит в страшное волнение. «Не обольщайте себя,— вскрикивает он,— будто я когда-нибудь дам вознаграждение герцогу за счет Варшавы. Нет! Даже тогда, когда ваши войска станут лагерем на высотах Монмартра, я не уступлю ни пяди варшавской территории; я поручился за ее неприкосновенность. Требуйте вознаграждения за Ольденбург, но не требуйте ста тысяч

душ за пятьдесят, а прежде всего не требуйте ничего из великого герцогства. Вы не получите из него ни одной деревни, ни одной мельницы. Я не думаю о восстановлении Польши; интересы моего народа не связаны с ней. Но если вы вынудите меня к войне с вами, я воспользуюсь Польшей, как оружием против вас. Объявляю вам, что я не хочу войны, и не начну ее в этом году, если вы сами не нападете на меня. Война на Севере не в моем духе. Но если кризис не прекратится к ноябрю месяцу, я увеличу набор на сто двадцать тысяч человек; так я буду делать два-три года и, если увижу, что эта система изнурительнее войны, я начну с вами войну... и вы потеряете ваши польские провинции».

Далее он говорил, что упорно отстаивая неприемлемое требование, Россия подвергает себя такой же гибельной войне, в какой пали Пруссия и Австрия. Неужели необходимо, чтобы тот же дух ослепления, тот же дух безумия овладевал последовательно всеми государствами и увлекал их в бездну? «Ибо, — продолжал император, внезапно меняя тон и напуская на себя скромность, граничащую с наглостью, — может быть, счастье, может быть, храбрость моих войск, а, может быть, и то, что я сам немножко смыслю в этом ремесле, но я всегда одерживал победы, и надеюсь и впредь одерживать их, если вы принудите меня к войне». — Вы знаете, — прибавил он, — что у меня есть и деньги, и люди». И тотчас же на его голос являются в трепет приводящие видения, выступают как призраки, громадные цифры и со всех сторон стекаются чудовищные войска. «Вы знаете, — говорит он, — что у меня восемьсот тысяч солдат, что каждый год дает в мое распоряжение 250 000 рекрутов, следовательно, в три года я могу увеличить мою армию на семьсот тысяч человек, а этого хватит, чтобы продолжать войну в Испании и вести ее с вами. Я не знаю, побью ли я вас, но знаю, что мы будем драться. Вы рассчитываете на союзников. Где же они? Не Австрия ли, у которой вы отняли триста тысяч душ в Галиции? Не Пруссия ли? — Она вспомнит, что в Тильзите ее добрый союзник император Александр отнял у нее белостокский округ. Не Швеция ли? — Она тоже вспомнит, что, отняв у нее Финляндию, вы наполовину разрушили ее. Такие обиды не забываются. Все эти оскорбления требуют расплаты. Весь континент будет против вас».

Под жестким градом сыпавшихся на него упреков, до глубины души взволнованный этой сценой, сделавшей его предметом всеобщего внимания, оскорбленный обвинением в вероломстве, которое косвенно переносилось и на него, Куракин совсем опешил. Тем не менее, он пытался исполнить свой долг и употреблял величайшие усилия защитить свою страну и своего повелителя. Но как говорить с государем, который всякий разговор превращает в монолог? Тщетно посланник истощался в усилиях, пытаясь вставить свое слово. Приблизительно около четверти часа стоял он с открытым ртом, в ожидании, когда неиссякаемое вдохновение его собеседника позволит ему начать фразу, бывшую у него на языке[1].

Но вот Наполеон остановился перевести дух. Куракин воспользовался этим моментом, чтобы выйти из смешного положения и чтобы сказать, что русский император «самый верный союзник Франции и даже друг его императора». — «Это те же речи, что говорятся и в Петербурге моему посланнику, — прервал его Наполеон; — но на что мне слова, если они опровергаются фактами и если сами же вы опровергаете их своим протестом по поводу присоединения Ольденбурга? Или вы сделали это в угоду англичанам?» — продолжал он. И он перешел к Англии. Он обрисовал, как она господствует на политическом горизонте, как нити всех интриг сосредоточиваются в ее руках, как она тащит и уже перетягивает на свою сторону Россию. В подтверждение этой картины, он напомнил о сделанных британской торговле облегчениях, о неслыханном развитии контрабанды. С особой силой напирал он на эти обиды, наполнявшие горечью его сердце.

В редкие минуты передышки, которые предоставлял ему Наполеон, Куракин ограничивался уверениями, что главная забота и сердечное желание его повелителя — прекратить раздор. Чтобы наказать Куракина за ссылки на ничем не оправдываемые намерения царя, Наполеон вдруг задал ему категорический вопрос и припер его к стенке: «Что касается того, чтобы сговориться, — сказал он, — я готов. Имеются ли у вас необходимые полномочия начать переговоры? Если — да, я сейчас же дам полномочия на переговоры».

---

[1] Неизданные документы.

Посланник вынужден был ответить, что у него нет «необходимых полномочий для заключения сделки»; но что он поторопится сообщить в Петербуг о выраженном Его Величеством желании, и ничуть не сомневается, что таковое желание заставит сделать крупный шаг на пути к соглашению. Неопределенность и замешательство, сквозившие в этом ответе, лишний раз осветили императору положение дел. «Напишите, — скептически сказал он, — я ничего не имею против; но ведь ваш двор давным-давно знает то, что я вам только что сказал. Я говорил это и Чернышеву, и генералу Шувалову, да и посланники мои в течение четырех месяцев не перестают повторять это».

Он сам повторил все, что говорилось и писалось; говорил долго, как бы упиваясь своими словами, употребляя выражения, бьющие на эффект, услащая свою речь изобилием образов и метафор. — Отчего, — спрашивал он, — в тот самый момент, когда Россия наиболее серьезно была занята на Дунае, она повернулась и стала против Польши? — Вы поступаете, — продолжал он, как подстреленный заяц, который поднимается на лапы и мечется, как безумный, выставляя всего себя под новый заряд. Зачем тянуть неопределенное положение — ни войну, ни мир? Когда два дворянина поссорятся, когда, например, один даст другому пощечину, они дерутся, а затем мирятся. Правительства должны были бы поступать так же — открыто и честно вести войну или заключить мир. Так нет! Россия предпочитает уклоняться от какого бы то ни было решения вопросов; она, очевидно, до бесконечности хочет тянуть тягостное для всех положение. — Вот какие взгляды старается внедрить император всем своим слушателям, всем дипломатам и окружающим его европейцам; вот к чему направлены его рассуждения и бесконечные повторения. Воздерживаясь от слишком резких выраженией, прикидываясь спокойным, якобы от сознания своей силы, третируя посланника с благосклоннейшей жалостью, он, через его голову, хлещет его правительство. Отдавая полную справедливость добрым намерениям Куракина, он подавляет его непреодолимой силой своих рассуждений. Наконец, после пытки, тянувшейся три четверти часа, он отпустил его, и бедный князь удалился, расстроенный, красный как рак, обливаясь потом, еле переводя дух от волнения, задыхаясь под тяжестью своего красивого, шитого золотом, кафтана, рассказывая всем,

«что у Его Величества было очень жарко!». Но так как принято дипломатический разговор кончать призывом к миру, то и последние слова императора носили миролюбивый характер. В заключение он выразил надежду, что можно еще избегнуть войны и ее бедствия, если Россия пожелает объясниться иным путем, а не загадками. Но что значило это, ни к чему не обязывающее его, желание придти к соглашению рядом с воинственной суровостью его рассуждений, с угрожающим тоном речи, с внезапным взрывом гнева?

III

На другой день, 16-го, вернувшись в Сен-Клу, Наполеон приказал доставить себе все бумаги, относящиеся к переписке с Россией, начиная со свидания на Немане. В этот же день статс-секретарь, министр иностранных дел герцог Бассано был приглашен для работы с Его Величеством. Его работа состояла в том, чтобы набрасывать на бумагу соображения, приходящие на ум императору при рассмотрении того или иного вопроса, как по существу, так и на основании документов, и записывать принятое решение. Министр держал перо, округлял фразы, иногда смягчал выражения, но идея исходила от повелителя. Император чувствовал потребность излагать свои идеи в положительной, догматической форме, дабы яснее вникнуть в собственные мысли и в те причины, которыми обусловливалось его поведение. Это было нечто вроде доклада, который он составлял для самого себя и выводы из которого устанавливали его волю[1].

На этот раз задача, подлежащая решению, была следующая: «В таком ли положении отношения Франции к России, чтобы опасаться войны, и нужно ли делать новый рекрутский набор и разрешить предлагаемые военными министрами расходы?»[2].

Накануне, в разговоре с Куракиным, Наполеон, под влиянием гнева, объявил во всеуслышание, что знает

---

[1] См. несколько образцов «Работы с императором» у Roederer'a, т. III, стр. 562 и след.

[2] Результат «Работы с императором» находится в виде объемистой записки в архивах министерства иностранных дел, Россия, 153, Bignon, X. 89 et suiv, и Ernouf, 301—305, опубликовали выдержки из нее.

притязания России, и что никогда не согласится на них. Теперь он снова берется за этот вопрос и обсуждает его с самим собой, хладнокровно, со спокойной головой. С привычной ему остротой мышления, он идет прямо к сути дела; он удаляет из него все неопределенное, выбрасывает все случайное, внесенное без всякой надобности, только для того, чтобы навести туману и скрыть его истинный характер. Он освобождает его от всего наносного, срывает все покровы и ставит перед собой, как мраморное изваяние. Обстоятельно, в строгом порядке, рассматривает он все умозаключения, которые приводят его к мысли, что Россия посягает на неприкосновенность герцогства Варшавского. Должен ли он согласиться на это притязание или отказать? Вот это-то он и хочет обсудить. Он взвешивает все за и против, подводит итоги доводам, говорящим в пользу того и другого решения. Слепой, увлекающийся поклонник строгой логики, он целым рядом сильных рассуждений приходит к тому, что решает вопрос в отрицательном смысле и высказывается за ужасный конфликт и за войну. Благодаря вышеизложенному, мы имеем в оправдание его кампании 1812 года им самим продиктованный документ.

Прежде всего, он устанавливает в принципе, что война с Россией несвоевременна и нежелательна, ибо отвлечет наши силы от Испании и вынудит нас бросить там все не оконченным. Она вызовет ужасающую трату людей и денег, и «никогда не даст выгод, стоящих жертв, которых она может потребовать». Следовательно, желательно ее избегнуть. Возможно ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, император крупными штрихами рисует историю своих отношений с Александром I, начиная с заключения союза. Он мысленно переносится в Тильзит, затем в Эрфурт, улавливает в 1809 г. конфликт в первичной стадии его развития и неопровержимо доказывает, что «бесспорная трудность настоящего положения» происходит от поведения русских до и во время последней кампании против Австрии; от того, что их дипломатическая и военная деятельность не стала на высоту требований того времени.

Если бы император Александр, как заклинал его Наполеон, твердо заговорил в Эрфурте; если бы он пригрозил Австрии, та поняла бы, что франко-русский союз — не фикция. Она побоялась бы выступить сразу против двух великих монархий и отказалась бы от войны. На границах России не произошло бы никакой перемены: Галиция осталась бы при прежнем хозяине. Далее говорится: «Если бы Россия — раз война возникла — приняла в ней участие, как ей надлежало с самого начала, и употребила бы в дело значительные силы, она первая вошла бы в Галицию, и войска герцогства Варшавского явились бы туда только в качестве вспомогательных. Случилось как раз обратное. Восточную Галицию завоевали войска герцогства Варшавского; обитатели ее взялись за оружие против (нашего) врага, и ко времени заключения мира эта провинция очутилась в таком положении, что ее нельзя было вернуть Австрии, и Его Величество вынужден был поставить в числе условий ее присоединение к герцогству Варшавскому». Итак, Россия очутилась пред лицом наполовину восстановленной Польши, что возбудило ее тревоги. Гарантии, которые были даны или же предложены — уступка одного округа Галиции, отправка варшавских войск в Испанию, договор, содержащий обстоятельство не восстановлять Польского королевства — показались недостаточными. Россия по-прежнему в тревоге; она готова ухватиться за первый случай, чтобы нарушить порядок вещей, ответственность за который лежит на ней самой и который, тем не менее, она считает несовместимым со своей безопасностью.

Предлогом, за который она ухватилась, было присоединение Ольденбурга к Французской империи. Постановления британской палаты вынудили Его Величество присоединить к Франции ганзейские города, дабы закрыть порты Северного моря английской торговле. Герцогство Ольденбургское было включено в это присоединение. Россия заступилась за герцога Ольденбурского. В вознаграждение был предложен Эрфурт. Россия отказалась от него. Вместо того, чтобы просить другого вознаграждения, она выступила с публичным протестом — прием беспримерный в истории союзных государств. Она начала протест с оговорок и кончила выражением желания сохранить союз; откуда с достаточной ясностью следует, что она хотела только поднять побольше шума из-за Ольденбурга, не доводя дела до конца и оставляя средство к соглашению.

Ее планы начали обнаруживаться. Было ясно, что они направлены против герцогства Варшавского, существование и расширение которого внушают ей беспокойство, и что задача этих планов — если не полное

присоединение герцогства к русско-польским провинциям, то, по крайней мере, присоединение некоторой его части, что неизбежно должно привести герцогство к полному разрушению. Отказ принять в виде вознаграждения Эрфурт был мотивирован тем, что эта страна не смежна с Россией; но единственная смежная с Россией страна, на которую Его Величество может иметь некоторое влияние — герцогство Варшавское. Намеки, сделанные на словах полковником Чернышевым и графом Румянцевым, дали понять, что дело Ольденбурга устроится тогда, когда придут к соглашению по делам Польши. Тогда становится вполне понятным, для чего Россия вмешалась в дело Ольденбурга; для чего, выражая протест, она подтвердила преданность союзу; почему, наконец, отказываясь от Эрфурта, она не сообщала, чего желает.

Если она считает себя оскорбленной, почему не объявляет войны? Если хочет крупных вознаграждений, отчего не открывает переговоров? — Ведь всякий спор между правительствами кончается одним из двух способов. Но Россия хочет того, в чем не смеет сознаться. Она хочет уступки от 500000 до 600000 жителей герцогства в вознаграждение за Ольденбург. Вот что до очевидности вытекает из протеста, намеков, даже молчания России.

Итак, все наводит на мысль, что можно было бы сохранить мир при желании уступить Русскому государству от 500000 до 600000 душ герцогства Варшавского, и мнение Его Величества таково, что, если бы в герцогстве существовала особая народность от 500000 до 600000 душ, которой бы он был вправе располагать и которую мог бы, не поступясь своей честью, присоединить к России, такая уступка была бы предпочтительнее войны. Но все части герцогства одинакового происхождения; составлены из одних и тех же элементов; все они принадлежат к одному и тому же народу, который, хотя и подвергся разделу, но всегда поддерживает свое право на существование. По мере того, как одна из частей его, которая некогда была отделена, присоединяется к другой, она сливается с ней для образования тела нации. Таков характер теперешнего существования герцогства Варшавского. Следствием отделения от него какой-либо части будет его разрушение. России хорошо известно это. Она прекрасно знает, что если ей удастся заставить герцогство сделать шаг назад, дело не остановится на этом; что, когда оно потеряет от 500000 до 600000 жителей, его полная гибель наступит при первом благоприятном случае; что она приобретет надежду привлечь герцогство к себе, как только тот увидит, что тот, кто дал ему жизнь, отрекся от его интересов; что хотя поляки и с сожалением расстанутся с отеческими и либеральными законами саксонского короля, они вынуждены будут принести эту жертву, дабы упрочить свое положение, ибо самое большое несчастье, какое может постигнуть нацию, — это неуверенность в своем будущем; что, наконец, достаточно нанести существованию герцогства Варшавского удар в каком бы то ни было отношении; достаточно, чтобы оно перестало рассчитывать на защиту мощной руки, благодаря которой оно существует, чтобы все, что остается от Польши, попало в руки России.

Рассуждения эти правильны. Несомненно, что уступка от 500000 до 600000 жителей повлечет за собой уступку всего герцогства. Следовательно, вопрос должен быть поставлен иначе. Следует рассмотреть: в интересах ли Франции увеличить Россию на все герцогство?

Такое увлечение перенесет границы России на Одер и на границы Силезии. Это государство, которое Европа в течение целого столетия тщетно старалась удержать на Севере и которое, благодаря стольким захватам, распространилось уже много дальше своих естественных границ, сделается большой силой на юге Германии и будет вмешиваться в дела остальной Европы, чего здравая политика не может допустить. При том, получая благодаря новому географическому положению опасные выгоды, оно, вместе с тем, в течение немногих лет увеличилось бы, благодаря захвату Финляндии, Молдавии, Валахии и герцогства Варшавского на 7 или 8 миллионов душ населения, и приобрело бы такое усилие своего могущества, которое нарушило бы всякую пропорцию между ним и другими великими державами. Таким образом, подготовился бы новый порядок вещей, который поставил бы под угрозу все государства Юга, который вся Европа с ужасом всегда предусматривала и который, быть может, совершится на глазах подрастающего поколения.

Итак, Его Величество решил поддерживать силой оружия существование герцогства Варшавского, каковое существование неразрывно с его целостностью. Это-

го требуют интересы Франции, Германии, всей Европы; это предписывается политикой и, сверх того, это вменяет в обязанность Его Величеству долг чести.

Во второй части записки говорится о торговой и экономической распре. Упомянув об указе, направленном против французской торговли, император останавливается на открытии русских портов для ввоза колониальных товаров и видит в этом полное отрицание правил блокады. Но эти меры, взятые в отдельности, несмотря на всю их важность, не могут служить достаточным поводом к разрыву. «Достойны сожаления те государства, которые вздумали бы сражаться из-за частных торговых интересов». Но вменяемые в вину факты имеют существенное значение как показатели и симптомы. Они указывают на все усиливающийся поворот России к Англии, обнаруживают ее пристрастие к нашим врагам, желание сблизиться с ними, что мало-помалу приведет оба государства к полному единению, а посему император решил, не дожидаясь этого неизбежного завершения русской политики, «поддержать свои права с оружием в руках. Если бы Франция предпочла предоставить России заключить мир с Англией, рассчитывая этим избегнуть войны, она не достигла бы своей цели. Мир, заключенный одним из союзников с общим их врагом, — не только без предварительного соглашения, но даже с нарушением договоров, — быстро приведет к открытому разладу, что в скором времени понудит Россию беззаветно отдаться Англии. Она примет участие в ее интригах, и война будет неизбежным и ближайшим результатом такого странного положения».

Таким образом, с какой бы точки зрения ни рассматривалась распря, конец всегда один и тот же — война. Все рассуждения императора, все рассматриваемые вопросы, словно сходящиеся к одному пункту дороги, приводят его к одному и тому же заключению: к необходимости войны. Относительно характера войны Наполеон решает, что она непременно должна быть наступательной. Но теперешнее положение его приготовлений, запоздавших по причине их громадных размеров, пока еще препятствует ему взять на себя инициативу. Затем переговоры с Австрией, Пруссией, с другими государствами, которых надлежит завербовать в наши ряды, находятся еще в зачаточном состоянии и, наконец, летний сезон подходит к концу, что помешает успешному выполнению в 1811 г. целого ряда опера-

ций. На Севере, где огромное затруднение для нападающего представляет снабжение войск продовольствием и, в особенности, фуражом, самое выгодное для военных действий время — конец весны. В это время поздняя, но обильная растительность «родит фураж под ногами лошадей»[1]. Кавалерия, артиллерия, военные обозы найдут на месте чем прокормить лошадей, не прибегая к трудному и разорительному снабжению транспортами. В это время года восточная Пруссия и Польша, с их плодородными равнинами и громадными лугами превратятся для нас в созданный самой природой продовольственный склад и богатейшую житницу.

Решив вследствие всех вышеприведенных рассуждений начать войну, Наполеон вторично решает отложить ее. Он назначает ее на июнь 1812 г. Пока же все его усилия должны быть направлены на выигрыш времени. Он подавит свой гнев и неустанно будет высказывать России желание вступить в переговоры. Он вполне уверен, что его не поймают на слове, и что он может безнаказанно расточать свои приглашения. Под прикрытием этих миролюбивых демонстраций он доведет до конца свои вооружения и соберет войска. Тем временем его дипломатия возобновит переговоры с Австрией и Пруссией, со Швецией и Турцией, дабы в назначенное время ему оставалось протянуть только руку, чтобы воспользоваться вполне созревшими союзами. Таким образом, без шума, без огласки все будет подготовлено к великому предприятию. Когда же все наши силы войдут в линию, когда союзы будут заключены, когда Наполеон на основании своих глубоких расчетов увидит, что наступило время действовать, он внезапно подаст сигнал к нападению. Тогда он сразу двинет на восток все силы, на собирание и соединение которых в одну массу он назначает почти год напряженного труда; он бросит вперед собранные под его начальством пятьсот тысяч человек и во главе их бешено ринется на Россию. Вот тот грандиозный и, вместе с тем, коварный план, который он наметил в своем уме в начале 1811 г. и на котором окончательно останавливается в августе. Теперь он набрасывает его на бумагу. В записке от 16 августа о нем говорится только несколько слов, в связи с другими, входящими в него,

---

[1] Собственные слова Наполеона. Recueil de la Societé imperiale d'histoire de Russie, XXI,

операциями и конечной его целью — молниеносной развязкой. Это нечто вроде руководства для предстоящей методической деятельности, которое он для ясности набрасывает на бумагу и которого, как увидим, строго будет держаться.

Изложенные соображения, говорится в записке, «вполне установили мнение Его Величества по вопросу, для которого он искал решения». Вследствие этого Его Величество предписал действовать параллельно в трех направлениях. Он приказал продолжать переговоры с Россией; приказал, чтобы «на тот случай, если и через шесть месяцев, считая с сегодняшнего дня, Россия будет упорствовать в своей неискренней системе: беспрестанно жаловаться и ни по каким вопросам не входить ни в какие объяснения, — были открыты переговоры с Австрией и Пруссией, дабы Его Величество мог установить новую систему союзов путем договоров, которые надлежит подписать только по истечении указанного срока». Наконец, Его Величество приказал, чтобы «теперь же войска поставлены были на военное положение, дабы, когда наступит июнь месяц — время, благоприятное для военных операций в странах, куда Его Величеству придется направить оружие, — он мог, если его вынудят к войне, отомстить за попранные договоры, в соблюдении коих никогда не клянутся всуе, и защитить и укрепить герцогство Варшавское, увеличить его территорию и усилить его мощь».

Читатель заметит, что в вышеприведенной в последней части записки император все еще умышленно говорит о войне в предположительных выражениях: он даже кончает перифразой правила: «si vis pacem, para bellum», которое признает общепринятым. Но какое значение могут иметь несколько оговорок, несколько фраз, сказанных с преднамеренной целью, ради приличия, в сравнении со всем текстом и общим направлением идей? В документе, предназначенном потомству, ни один государь никогда не сознается, что он обдуманно и с предвзятым намерением решается на войну — даже тогда, когда стремится к ней и в глубине души уже предрешил ее. Помимо того, всякий человеческий план, хотя бы он был задуман могущественнейшим из людей, оставляет нечто в удел неизвестному, случайностям будущего. Наполеон не исключал вполне той возможности, что, испугавшись наших приготовлений, Россия в последнюю минуту, без всяких условий,

без гарантий, согласится вернуться к союзу. Но если бы это случилось, он предоставлял себе право потребовать уступок, пропорциональных усилиям и расходам, причиненным ему русскими. Он вовсе не хотел безрезультатно идти до границ их империи и делать даром громадный, дорогостоящий поход. Не довольствуясь подчинением России своей воле по всем спорным вопросам, он намерен был отнять у нее выгоды, данные в Эрфурте, лишить ее Молдавии и Валахии и надолго низвести на степень бессильного и ничтожного государства. Некоторые места его записки не оставляют никакого сомнения относительно его намерения обойтись с русскими, как с побежденными, — даже в том случае, если бы они смирились и вернулись к нему при одном блеске его оружия. В сущности, он допускает только один способ решения — решение оружием; только один исход — сдачу противника или вследствие поражения, или под угрозой поражения. В этом именно смысле дни 15 и 16 августа 1811 г. устанавливают решительную эпоху в истории разрыва. Они отмечают момент, когда Наполеон отказывается вполне от мысли о миролюбивой сделке; когда он дает себе слово, явившись во главе своих легионов, предписать без всяких условий свою волю. В эти же дни он откладывает на десять месяцев решение этой великой распри.



VII

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ВОЙНЕ

Ответ Александра на слова императора. — Новые просьбы приступить к объяснениям. — Их настойчивый и неопределенный характер. — Чего не захотят сказать ни тот, ни другой император. — Обзор наших приготовлений и наших позиций. — Данциг. — Варшавская армия. — Немецкие контингенты. — Армия Даву. — Береговая армия. — Голландский и Булонский лагеря. — Удино и Ней. — Итальянская армия. — Гвардия. — Набор людей и материальной части. — Всесторонние заботы императора обеспечить себя провиантом, его подвозом и транспортами; средства; заготовляемые для победы над природой и пространством. — Всеобъемлющая предусмотрительность. — Наполеон во всем доходит до излишества. — Он то хитрит, то угрожает. — Он умышленно предоставляет шпионить. — Параллельная деятельность Александра. — Разделение русских войск на две главные группы. — Барклай де-Толли и Багратион. — Александр торопится заключить мир с Портой, чтобы получить возможность свободно располагать своей дунайской армией. — Какой услуги просит он от Англии. — Наполеон подстрекает турок продолжать войну. — Причины, почему он медлит заручиться Австрией, Пруссией и Швецией. — Опасность этой политики. — Выступление Бернадота на сцену. — Отъезд наследной принцессы. — Лето в Дроттнингтольме. — Беззастенчивая контрабанда; сношения с Англией. — Речь Франции; относительная умеренность. — Барон Алькиер по собственному почину открывает кампанию против Швеции. — Оскорбительная нота. — Ответ в том же тоне. — Необычайная сцена между Алькиером и Бернадотом. — Перевод вспыльчивого посланника. — Отлучение Бернадота. — Он снова направляется к России. — Заблуждение Наполеона относительно Швеции. — Строгость и долготерпение. — В Германии вспыхивает кризис; он может ускорить войну и изменить ее условия.

I

На язвительные упреки императора Куракину Александр ответил 25 сентября дипломатическим путем, в спокойном, полном достоинства тоне. Он энергично защищался, отрицая всякое поползновение на какую-либо часть варшавской Польши[1]. Пользуясь неопределенностью и неясностью высказанных им намеков, он протестовал против толкования, какое хотели им дать. Не добившись желанной уступки, он сделал вид, что никогда и не думал о ней.

Наполеон сообщил, что примет к сведению его заявления, но тотчас же возразил: «Раз вы ничего не хотите в Польше, чего же вы хотите? Займитесь вопросом об интересах Ольденбургского дома, говорите откровенно; мы готовы вас слушать». — И из месяца в месяц, через известные промежутки времени, он просит петербургский кабинет нарушить молчание; просит прислать нарочито назначенное для переговоров лицо или снабдить Куракина необходимыми для заключения сделки полномочиями[2]. На эти просьбы Александр отвечал своими обычными причитаниями, не указывая даже на что он жалуется, и уклончивыми фразами прикрывал свое нежелание начать переговоры. Эти уклонения царя от сделки, которые предвидел Наполеон, нисколько не мешали императору возобновлять свои предложения по поводу соглашения, об основах которого он избегал высказываться. Таким образом, конфликт между двумя государями замер на месте, ни двигаясь ни взад, ни вперед. Оба избегали высказаться и откровенно покончить с двусмысленным положением. По-настоящему, на первой очереди стоял вопрос о блокаде, но Александр был не намерен первым заговаривать об этом, а Наполеон решил начать разговор только во главе пятисот тысяч солдат. Герцог Бассано

[1] Bogdanovitch, 1, 33.
[2] Corresp., 17394, 18242, 18245.

в письме Лористону делает следующее признание: «Говорю вам это, милостивый государь, только для личного вашего сведения: дело об Ольденбурге — пустяк и для России, и для нас. Все дело в торговых интересах и в континентальной системе... Это пояснение ничуть не уполномочивает вас приступать к рассмотрению этих вопросов и выходить за пределы предписанного вам»[1]. Правда, министр поручает посланнику: осторожно выяснить себе намерения петербургского кабинета, «если бы эти вопросы были затронуты»[2]. Но хотя император и выразил желание получить сведения по этим вопросам, он ясно сознавал, что Россия, нарушив континентальную систему и почти открыто отвергнув ее, никогда добровольно не верется к ней, что для этого придется прибегнуть к силе. Поэтому, не покладая рук, собирал он средства к нападению, приводил их в порядок и увеличил до бесконечности.

Эта работа шла по всей французской Европе. На севере — данцигский передовой пост возрос почти до размеров армии, в состав которой вошли французские, польские, вестфальские, гессенские и баденские батальоны. Данциг уже не просто крепость, снабженная всеми средствами обороны, достаточными для нее самой,— теперь это «главный склад для войны на Севере»[3]; это снабженный в изобилии всем необходимым магазин с мастерскими для производства работ и починок. В нем действуют и литейные заводы, и кузницы, и всякого рода склады, ибо необходимо, чтобы великая армия, во время прохождения своего через Данциг, могла найти в этой крепости перед вступлением в Россию все необходимое для пополнения провианта и для приведения в порядок материальной части. К югу от Данцига Наполеон увеличивает варшавскую армию и не допускает уже ни малейшей разницы между списочным и наличным составом войск. Он приходит на помощь местной администрации и, не переставая укорять ее в злоупотреблении его помощью, приказывает дать ей субсидию[4].

Во второй линии, за Вислой, гарнизоны Одера получают подкрепления и с этого времени составляют-

[1] Конфиденциальное письмо от 19 ноября 1811 г.
[2] Id.
[3] Corresp., 18140.
[4] Id., 18300, 18477.

ся исключительно из французских войск. В районе Эльбы Даву командует уже четырьмя дивизиями; мало-помалу Наполеон составляет ему пятую. Строго придерживаясь своей системы комплектования, он, прежде всего, увеличивает наличный состав уже существующих дивизий, исподволь вливая в них отряды всех родов оружия. В эти, уже готовые, формы, он незаметно вливает живой материал. Теперь у Даву 72000 пехоты; 13000 идут к нему. С их приходом наличный состав роты дойдет до 150 человек, батальона — до 900, полка — до 4500[1]. В районе Даву и ближе к Франции государи Конфедерации приглашены «пополнить кавалерию лошадьми и приготовить причитающееся на их долю количество войск»[2]. Особое внимание уделяет император саксонским войскам и вестфальским дивизиям; он держит их в полной готовности для выступления в поход на флангах формирующейся в Германии армии.

Далее — в Голландии и в северной Франции — формируется и почти готова вторая армия в четыре дивизии. Она строится эшелонами вдоль побережья от Па-де-Кале до Восточной Фрисландии. Имея опорные пункты в Булонском и Утрехском лагерях, она обращена фронтом к морю и как будто выставлена против англичан. Чтобы вернее ввести в обман, Наполеон назвал ее: Обсервационный приморский корпус. В действительности же ее назначением было, переменив фронт и сделав поворот направо, перейти в Германию и составить два корпуса великой армии. Было решено, что к концу года войска, собранные около Утрехта и Нимвегена, станут между Мюнстером и Оснабрюком и останутся там впредь до новых приказаний; булонские же войска направятся на Майнц.

Сперва Наполеон думал присоединить стоявшие около Утрехта и Нимвегена войска — по их вступлении в Германию — к корпусу Даву и составить маршалу армию из девяти дивизий и в двести тысяч человек[3]. Но Даву пришел в ужас от такого обременения и такой ответственности. В достойном внимания письме, которое делает честь и его скромности, и глубокому пониманию истинных начал командования, он говорит

[1] Id., 18170, 18175, 18187, 18208, 18215, 18226. Cf. ответы Даву в национальных архивах, AF, IV, 1654—1656.
[2] Corresp., 18333.
[3] Id, 18218, 18285.

императору, что непосредственное управление девятью дивизиями превышает силы одного человека[1]. Наполеон признал справедливость его доводов. Тогда он решает создать из голландских войск крупную единицу и дать им особого главнокомандующего в лице Удино, герцога Реджио; войска же, которые прийдут из Булони, решает поручить Нею, герцогу Эльшингенскому.

С этого времени со всех концов империи начинают притекать в лагеря Нидерландов наскоро обученные рекруты; они присоединяются к старым солдатам и, благодаря общению с ними, заканчивают свое военное образование. Материальная часть складывается в Ла-Фере, Меце, Майнце, Везеле и Маастрихте для того, чтобы два корпуса могли взять ее во время похода. То же самое происходит и в Италии. Все находящиеся там в распоряжении Наполеона военные силы направляются к центральному сборному пункту, устроенному у подножия Альп, между Брешеей и Вероной. Здесь, под начальством Евгения, устраивается третья армия, которая по вступлении через Регенсбург в Германию должна будет занять место в рядах колоссальной наступательной колонны. Каждый корпус снабжается сообразно его особенностям штабом, администрацией, составом вспомогательной службы, парками; пополняется снаряжением и лошадьми. Независимо от пяти бригад легкой кавалерии, назначенных состоять при корпусах в Германии, Наполеон создает еще восемь бригад, пока не давая им определенного назначения, затем создает шесть дивизий тяжелой кавалерии — две в Гановере, одну в Бонне, одну в Майнце, одну в Эрфурте и последнюю на Минчио. Что касается общего резерва армии, он уже намечен — им будет гвардия. Она стоит в треугольнике между Парижем, Брюсселем и Мецом. К ней постепенно присоединяются вызываемые из Испании отряды и кадры; она растет и крепнет на месте и доходит по полного и блестящего состава. С вошедшими в ее состав гренадерами, егерями, командами вольтижеров, застрельщиков, фузилеров и разведчиков, королевскими пешими егерями и итальянскими батальонами, пехота ее уже теперь состоит из четырех дивизий; кавалерия — из двух; артиллерия — из

[1] Письмо от 4 ноября 1811 г. Archives nationales, AF, IV, 1656.

двухсот восьми пушек[1]. Но полки не покидают еще обычных гарнизонов и мест мирных стоянок. Таким образом, в разных местах под разными названиями, составляются все части будущей великой армии. Наполеон отдельно изготовляет части боевого организма и терпеливо ждет того времени, когда он их прогонит и спаяет, когда соберет все составные части в одно целое и превратит во всесокрушающий аппарат[2].

Так как предыдущие войны — в особенности война в Испании — поглотили его лучшие полки, он намерен заменить качество количеством; он хочет подавить и победить численностью. На всех сборных пунктах громоздит он полк на полк и без устали формирует бригады и дивизии из разношерстных, силой притянутых элементов. Он думает, что ему все еще мало людей, что он не всех забрал. Он хочет использовать самые отдаленные источники живого материала — посылает принцу Евгению далматов и кроатов. Удино обещает прислать тоже кроатов и назначает им место рядом со швейцарскими батальонами; приказывает явиться в Париж и делает смотр двум полкам, составленным из полудиких славян, которые незадолго до этого сражались с турками на границах Австрии. Одну часть португальских батальонов он отправляет в Германию, другую — в Голландию. В разных корпусах, то тут, то там, появляются полки из страдающих лихорадкой испанцев, которых вывели из их страны и заточили в рядах нашей армии, откуда они бегут целыми партиями.

Следующий предмет его забот — увеличение артиллерии. Менее обычного рассчитывая на людей, он хочет иметь побольше пушек. У него уже шестьсот восемьдесят восемь пушек и четыре тысячи сто сорок две артиллерийских повозки[3], но будет гораздо больше. Зная, что в России крупным его врагом будет природа, что ему предстоит с ней страшная борьба, он заботится о снабжении своих солдат всем необходимым для победы над нею; он заготовляет все, что нужно для устройства путей сообщения и сокращения рассто-

[1] Corresp., 18281, 18333, 18365, 18400 и вообще всю Correspondance imperiale с августа 1811 г. до февраля 1812 г. С этого времени нет дня, в который не было бы отправлено одно или несколько приказаний.

[2] Corresp., 18337, 18355—18356.

[3] Corresp., 18281.

яний, для проложения новых и приведения в порядок старых дорог, для постройки мостов и устройства переправ. Он доводит до необычайных размеров инженерный корпус; хочет иметь в своем распоряжении три понтонных экипажа и для обслуживания их особый корпус, в состав которого должны войти и гвардейские моряки. Он сам приказывает заготовить для них разные инструменты, поименовывая их и ставя под номерами, чтобы ни один не был забыт. Благодаря его заботам, каждый экипаж становится совершеннейшим и аккуратным, как часовая пружина, механизмом. Чтобы вернее обеспечить своим войскам здоровье и выносливость, чтобы обеспечить их всем необходимым для защиты от холода и непогоды, он делает для них запасы разного рода аммуниции — запасные комплекты одежды, белья и обуви. Он не забывает заказать «двадцать восемь миллионов бутылок вина, два миллиона бутылок водки; итого — тридцать миллионов бутылок крепких напитков; этого должно хватить для всей армии в течение года»[1]. Наконец, для перевозки этого неимоверно тяжелого провианта, который армия должна тащить за собой, он пользуется всеми известными способами транспорта и передвижения: собирает громадное количество фургонов; изобретает и заказывает по усовершенствованному образцу новые повозки; забирает тысячами ломовых лошадей и целые стада быков; и организует громадный обоз, который должен следовать за колоннами и вместе с ними погрузиться в пучины Востока.

Никогда еще ум его не обнимал зараз столько дел, не проявлял такой плодовитости, такого творчества. Никогда еще император не соединял при подготовке своих предприятий такого утонченного знания деталей с таким широким пониманием сути дела и, однако, этото всеобъемлющая предусмотрительность прямым путем привела его к гибели. Как это ни кажется невероятным, но в этих-то излишних предосторожностях и заключалась его ошибка. В походе, в котором могло быть так много случайностей, он ничего не хотел уделить на долю благодетельного случая, он вложил слишком много осторожности в свое колоссальное предприятие, слишком много рассуждал о его переходящей за

[1] Corresp., 18386. Cf. № 18401.

пределы благоразумия смелости; он хотел обеспечить ему успех с математической точностью. Вследствие этого он так осложнил и без того гигантское дело, что оно превзошло человеческие силы. Армия, которую он себе создал, — колоссальная по численности, перегруженная и переполненная разнородными элементами, сделавшаяся более тяжелой на подъеме, — с меньшим успехом будет выполнять задачи, требующие быстроты и натиска, которыми еще так недавно славились его гибкие, подвижные армии. Она легче будет подвергаться влиянию необлагоприятных условий войны и климата, что, может быть, в самом же начале внесло в нее элемент разложения, лишило ее энергии и силы. Одной из причин неудачи предприятия были необычайные размеры приготовлений и их совершенство.

Двойственной, тонко рассчитанной игрой Наполеон скрывал одни из этих приготовлений и выставлял напоказ другие. Мы уже видели, как тщательно скрывал он прилив новых войск в Германию, какой тайной окружал свои усилия поместить необходимые для нападения материалы у самого порога России. Он хотел заставить поверить, что еще ни одной части своих войск не отдавал распоряжений, относящихся к наступлению; что не наметил еще ни путей, по которым они должны двигаться, ни пунктов для нападения. Зато он сознался во всеуслышание, что, ввиду необъяснимого поведения Александра, он считает своим долгом вооружиться; что он вооружается вовсю; что внутри его владений все поставлено на ноги; что, если, в конце концов, дело дойдет до войны, Франция начнет ее с такими средствами, какими никогда еще не располагала. «Император не хочет войны, он все делает, чтобы избегнуть ее; но он должен был принять меры, чтобы не бояться ее»[1]. Вот что предписывается говорить его дипломатии. Сам он приводил цифры, которые могли ужасающим образом подействовать на воображение. Он говорил слушателям, которые, по своему положению, могли дать широкую огласку его словам: «Нет! Я уверен, что император Александр и понятия не имеет о тех силах, которые я могу употребить против него. Зная его лично, я не могу не любить его и не отдавать справедливости его прекрасным качествам; мне поисти-

[1] Письмо Маре к Латур-Мобуру, 14 сентября 1811 г.

не обидно за него»[1]. Он думал, что, может быть, этими косвенными угрозами ему удастся запугать Россию, сломить ее упрямство; что, может быть, в ту минуту, когда наши войска выступят в поход, она униженно склонится перед ними и согласится на самые суровые требования, и что, во всяком случае, получив такое предостережение, она не так легко решится на нападение и не рискнет явиться раньше нас на Вислу.

С этой же целью император по-прежнему систематически закрывает глаза на некрасивую деятельность Чернышева, размеры которой, впрочем, не были ему известны. Правда, у него было подозрение, что молодой офицер, с апреля задержавшийся в Париже, где он, по-видимому, решил окончательно поселиться, шнырит около военных канцелярий; но что за беда, если он на лету схватит кой-какие сведения, если узнает кое-что о состоянии наших войск, что даст ему смутное понятие о колоссальности наших средств. Сведения, доставленные им на основании этих открытий своему двору, не поощрят того к рискованным предприятиям. Вопреки беспокойному нраву и недоумевающим минам Савари, Наполеон предоставил Чернышеву действовать, решив остановить его, когда дело зайдет слишком далеко, и поймать его с поличным на месте преступления.

Осведомленный, хотя и не вполне, о наших приготовлениях, Александр тоже не бездействовал. По правде говоря, он не мог уже увеличивать своих войск, так как давно собрал все, чем мог располагать. Он только что признался австрийскому посланнику, что его корпуса «в полном составе»[2]. Он с доверием полагался на свои армии в двадцать семь дивизий, которые состояли из пятисот четырнадцати батальонов, четырехсот девяти эскадронов, ста пятидесяти девяти рот артиллерии и тысячи шестисот пушек[3]; «но,— говорил он, — из-за этого нельзя спать. Я пользуюсь временем, которое оставляют в моем распоряжении»[4].

Он старался улучшить организацию военных сил, внести в нее больше простоты и гибкости и усиливал

[1] Разговор с прусским посланником, переданный Чернышевым 12 января 1812 г. Вышеупомянутый том, 282.

[2] Onken, донесение Сен-Жюльена, опубликованное в Приложении ко II тому, стр. 611 и след.

[3] Bogdanovitch, I, 37.

[3] Onken, loco-citato.

свои резервы. По его приказанию были сделаны распоряжения относительно новых призывов; готовился набор четырех человек на пятьсот молодежи призывного возраста. Но этих рекрутов можно было пустить против неприятеля только после многих месяцев обучения. В настоящее же время главный штаб был занят размещением по придуманному Фулем плану находящихся в боевой готовности войск. Армии, стоявшие до сих пор на границе одна позади другой, были соединены в одну, с тем, чтобы, разделив их на две основных группы, поставить в одну линию. Первая группа формировалась около Вильны, за Неманом. Она должна была составить главную армию, которой предназначалось отступить к Дриссинскому укрепленному лагерю и сделать его центром сопротивления. Непосредственное начальство над этим громадным скопищем войск должен был принять на себя военный министр Барклай-де-Толли. Вторая группа формировалась на юге от Вильны, близ Пружан, за Бугом. Задачей этой армии было вести войну, не выбирая позиций: она должна была — постоянно тревожа неприятеля нападениями мелких отрядов, держа под угрозой его правый фланг — изнурять французов незначительными стычками и внезапными нападениями и вынуждать их все время сражаться, никогда не давая им случая одержать победу. Командование второй армией, предназначавшееся вначале генералу Лаврову, в конце концов было поручено пылкому Багратиону. Третья армия, под начальством Тормасова, должна служить резервом и действовать, смотря по обстоятельствам. Вот в каком порядке рассчитывали начать оборонительную войну, не отказываясь пока от мысли занять временно, в начале враждебных действий, герцогство Варшавское или восточную Пруссию и этим быстрым вторжением расстроить планы противника[1].

При новой группировке русские войска снова, только в ином порядке, вводили в строй те же двести пятьдесят — двести восемьдесят тысяч человек, которые царь мобилизовал в начале года. Вот приблизительно все, что он мог противопоставить нападению, так как вынужден был держать довольно значительные силы у границы Персии, на Кавказе, на побережье Черного моря и в Финляндии. Оставалось только одно средство

[1] Memoires de Wolzogen, 77—79.

увеличить имеющиеся налицо силы, это, кончив войну с Турцией, освободить войска на Дунае, которыми командовал Кутузов и которых, несмотря на то, что от них уже были отделены некоторые части, все еще насчитывалось более сорока тысяч. Александр деятельно взялся за переговоры с Портой, стараясь поскорее привести их к концу, и смотрел на свой дипломатический труд как на необходимое дополнение стратегических мер.

Чтобы вынудить турок к миру, царь решился на новые уступки. В январе и феврале он хотел добиться уступки княжеств полностью — с тем, чтобы большую часть их отдать Австрии, надеясь подкупить ее этим пожертвованием. Потерпев неудачу в Вене, он отказался от мысли сделать аферу из турецких провинций и решил вернуть туркам то, что предлагал австрийцам, т. е. всю Валахию и часть Молдавии, сохраняя, однако, за собой Бессарабию и часть молдавской территории, лежащей между Прутом и Серетом. Решив вести переговоры на этих основаниях, царь стал искать посредника, который мог бы частным путем довести до сведения Порты о его уступках, который заставил бы оценить их значение и, таким образом, подготовил бы и устроил соглашение. Ему пришла мысль обратиться к Англии. Предвидя свое сближение с ней, он тайными путями просил ее уже теперь смотреть на него, как на союзника, и оказать ему услугу в Константинополе, где Поццо ди-Борго уже целый год трудился над тем, чтобы приобрести ему доброе расположение британской миссии. Лондонский кабинет собирался аккредитовать при султане, вместо простого поверенного в делах, посланника — Листона. По просьбе Александра, Листону поручено было передать Порте и поддержать пред ней предложения России[1]. Он должен был прибыть к месту своего назначения в конце октября. Предполагалось, что в это время можно будет начать переговоры, которые, как надеялись, должны были привести к желаемому результату и освободить царя от несвоевременной, отвлекающей его силы войны. Кроме того, мир с турками имел бы и ту выгоду, что дал бы возможность улучшить отношения с Австрией и позволил бы, быть может, добиться от Австрии если и не содействия, на которое нельзя уже было рассчитывать, то строго гарантированного нейтралитета.

Догадываясь, что главные усилия русской дипломатии направлены на Восток, Наполеон старался помешать ей. С 14 сентября он приказывает внушать туркам, что примирение с врагом при настоящих условиях было бы непростительной слабостью, ибо помощь близка. Не говоря еще им о неизбежном разрыве с Александром, он предоставляет им думать об этом. «Если — пишет Маре Латур-Мобуру, — Диван убежден, что война будет иметь место, и если, исходя из этой мысли, он и сам сделает новое усилие энергично продолжать войну — не разрушайте его намерений и предоставьте ему думать все, что может придать большую энергию его военным операциям. 21 сентября Латур-Мобур получил предписание возобновить высказанную еще весной просьбу прислать во Францию турецкого уполномоченного с поручением начать переговоры «о соглашении и согласовании военных операций».

Чтобы сгладить малейшие следы разлада, Наполеон не пренебрегает даже низменными средствами. Пока он дружил с Александром, он не считал нужным отвечать на письмо, которым султан Махмуд известил его о своем восшествии на престол, и такое пренебрежительное невнимание нанесло мусульманской гордости жгучую обиду. Теперь он приказал написать Латур-Мобуру, что, если в Константинополе заговорят с ним об этом инциденте, пусть он скажет, что император ответил на послание султана; что он писал ему из Вены во время последней кампании, но что, без сомнения, письмо попало в руки врагов или затерялось во время беспорядков, неизбежных во время крупной войны. В подтверждение этой небылицы поверенный в делах представит дубликат будто бы затерявшегося письма, т. е. бумагу, которую на этот случай пришлют ему из Парижа. В копии никогда не существовавшего оригинала император старается соблюсти все требования восточной фразеологии. Он говорит Махмуду: «Молю Всевышнего, великий, всемудрый, всемогущий, благороднейший и непобедимый властелин, дражайший и наисовершеннейший наш друг, да продлит Он дни Вашего высочества, да преисполнит их славой и благоденствием

[1] Об этом факте Александр лично упомянул в разговоре со шведским послом Левенхильмом. Неизданная корреспонденция Левенхильма, март—май 1812 г. Archives du royaume de Suède.

и ниспошлет благое завершение всем делам вашим»[1]; затем он выражает пожелание, чтобы союз обеих империй, «который был делом столетий, снова стал нерушимым».

Имея намерение возобновить переговоры с Австрией, Пруссией и Швецией, он, однако, не торопился к ним, ибо все еще опасался, чтобы оформленные союзы, которые трудно будет скрыть, не предупредили Россию о его враждебных планах. Решив в принципе оттянуть до января 1812 г. заключение союзов с обоими немецкими дворами, он даже не возобновлял с ними разговора об этом. С Австрией он остановился на тех словах, которыми обменялся с ней еще в начале года; Пруссии же по-прежнему запрещал приступать к вооружениям, хотя бы это делалось и в его пользу. Он сурово приглашал ее не навлекать на себя внимание каким-либо необдуманным поступком и не позволял ей — слабой и униженной, вмешиваться в ссору сильных мира сего. Что же касается Швеции, увлечений которой он с каждым днем боялся все более, то к ней он хотел обратиться только в последнюю минуту. Узнав, что Бернадот не перестает на всякий случай заблаговременно собирать войска, он осуждал эти меры и властно давал совет прекратить сборы[2]. Он хотел, чтобы никто от Балтики и до Дуная не шевелился без его приказания. В Вене, Берлине, в Стокгольме должны терпеливо ждать, когда ему благоугодно будет пригласить их; там не должны искать случая предупреждать его желания, не должны возбуждать в Петербурге тревоги несвоевременным усердием. Но его система предательского внимания к России подготовила ему серьезные разочарования, и весьма вероятно, что она-то и создала те недоразумения, которые присущи плохо подготовленным союзам. Если Австрия и была относительно спокойна, зато остальные два государства не на шутку волновались. Одно, увлекаемое честолюбием и тяжелым экономическим положением, другое — страхом, и оба находили, что уже не в состоянии ждать дольше. Умышленное бездействие нашей политики, ее рассчитанная медлительность уже оттолкнули от нас Швецию, которая опять начинает уходить из нашей орбиты; в недалеком же будущем они подвергнут нас опасности потерять и Пруссию.

[1] Archives des affaires etrangéres, Turguie, 222.
[2] Corresp., 17916.

II

После задержки в переговорах, начатых весной со Швецией, когда Наполеон предложил Финляндию тому, кто просил у него Норвегию, Бернадот несколько раз намеками заводил разговор о предметах своих мечтаний. Но так как император по-прежнему оставался глух к его просьбам, он замолчал. Почти отчаявшись добиться от Франции предмета своих тайных желаний, прекрасно сознавая, что Наполеон никогда не позволит диктовать себе условий союза, и даже считая себя на основании этого непризнанным и забытым, он мало-помалу вернулся к мысли, вполне отвечавшей его чувствам затаенной злобы к императору, — к мысли просить Норвегию у царя и в вознаграждение за это предложить России свой союз.

В это время одно событие интимного характера посодействовало его отчуждению от Франции. Наследная принцесса собиралась его покинуть, так как не могла привыкнуть к жизни в стране, где должна была царствовать. «Ее Высочество погибает от скуки», — писал один дипломат[1]. В Стокгольме она не сумела ни понравиться, ни найти себе занятий. Днем она только и делала, что дулась на всех окружающих, а вечера, которые придворные дамы, храня старый обычай, проводили за прялкой в тихой беседе, казались ей невыносимо длинными. Единственным ее развлечением было общество одной французской дамы, ее обергофмейстерины и наперсницы, мадам де-Флотт, которая скучала еще больше и причитания которой окончательно портили ей настроение. Сверх того, между нею и королевской четой происходили постоянные нелады и столкновения. Молодая женщина никак не могла понять, что мог существовать на свете двор, при котором не было принято во всем, что касается времяпрепровождения и образа жизни, вплоть до назначенных для завтрака и обеда часов, держаться парижской моды, и это, вместе с насилием, которое заставляли ее делать над ее вкусами и привычками, довело ее до того, что она возненавидела жизнь в Стокгольме[2]. В конце концов, не будучи в силах переносить долее этой жизни, она решила, сослав-

[1] Алькиер Шампаньи, 20 марта 1811 г.
[2] Переписка Тарраша, 31 мая.

шись на расстроенное здоровье, уехать и, объявив о желании полечиться в Пломбиере, отправилась на летний сезон во Францию. Этому сезону суждено было тянуться 12 лет[1]. Лишив Бернадота подруги, которая была воплощенным сигналом, призывавшим его к родине, это событие окончательно отдало его во власть враждебных нам влияний.

Несмотря на то, что его мысли опять начали направляться в сторону России, эта перемена не обнаруживалась пока никакими внешними проявлениями. Его политика, попав в водоворот двух оспаривавших ее друг у друга течений, по внешности оставалась все той же. Можно было думать, что в это время его главным занятием было культивировать свою популярность. Никогда еще не был он так ласков в обращении, никогда не прилагал таких усилий возвести приветливость в систему. Чтобы смягчить неприятное впечатление, произведенное на дам высшего света отъездом принцессы, он принялся ухаживать за всеми дамами, стараясь своим вниманием загладить пренебрежительное отношение своей жены, и был любезен за двоих[2]. Он по-прежнему объезжал провинции и не упускал случая подвергать рискованным испытаниям свой престиж. Если где-нибудь вспыхивали беспорядки, он тотчас же мчался туда, и при его появлении все успокаивалось. По собственному его выражению, он подавлял и усмирял восстание «своим, подобным грому и молнии, красноречием»[3].

Возвращаясь после этих подвигов в замок Дроттнинггольм, где двор проводил лето, он «был отрадой[4] старого короля, к сединам которого относился с глубоким почтением; королева же была от него без ума. Его пылкая фантазия и удивительные росказни забавляли всех; его присутствие вносило веселье и оживление во дворец, где досель царили благородство и холод и «где теперь вся жизнь с утра до вечера проходит среди общества»[5]. Но под этим внешним спокойствием, можно даже сказать жизнерадостным настроением принца с каждым днем все сильнее бурлил его вечно бепокойный, напряженно работавший ум. Обманутые надежды ожесточили его против Франции; они внедрили в него чувства такой горькой обиды, такой злобы, которые рано или поздно должны были прорваться наружу.

[1] См. сочинение барона Hoschild'a: Desiree, reine de Suéde de Norvége, стр. 62.

[2] Переписка Тарраша, 7 июня.

[3] Алькиер Маре, 25 июня 1811 г.

[4] Переписка Тарраша, 19 июня.

[5] Id.

Правда, пока он еще был сдержан с нашим послом; более того, старался в обращении с ним превзойти самого себя в предупредительности. Он предложил барону Алькиеру дачу близ Дроттнинггольма — для того, говорил он, чтобы быть соседями и чаще видеться. Он часто бывал у него и однажды напросился к нему на обед. Это посещение, во время которого царили веселье и полное единодушие, произвело сенсацию в стокгольмском обществе[1]. Но эти знаки внимания злостного притворщика, которыми ему удалось, наконец, ослепить и привлечь на свою сторону французского посланника, были только средством усыпить бдительность Алькиера и заставить его закрыть глаза на совершавшиеся повсюду нарушения постановлений о блокаде.

Не ожидая уже от Франции крупной подачки, Бернадот твердо решил не насиловать, в угоду нам, интересов и жизненных потребностей своего народа. Действительно, несмотря на сто раз данные обещания, ни одна серьезная мера против английской торговли не была принята. Если зимой, благодаря прекращению навигации, и приостановились на время сношения, зато при наступлении весны, когда вскрылось Балтийское море, заключение запрещенных сделок снова облегчилось: для них открылось свободное поле и, по крайней мере, в двадцати прибрежных пунктах открыто заработала контрабанда. Швеция с каждым днем становилась более доступной, более проницаемой для английских продуктов, которые, потекши к ней, вливались в Россию и затем растекались по Германии. Англия и Швеция, официально находившиеся в войне, не обменялись за все время ни одним пушечным выстрелом. Британская эскадра, совершавшая свое обычное ежегодное плавание в Балтийском море, находила на шведских островах всякого рода содействие; она спокойно отдыхала и запасалась провиантом. Между нею и крупным портом Готенбургом, вблизи которого она по преимуществу крейсировала, были странные по своей близости отношения: жители города, без всякого стеснения, посещали эскадру; английские офицеры сходили на берег и, являясь

[1] Id.

в город, даже не считали нужным снять форму. Все это указывало на близкую связь шведских властей с нашими врагами или, по меньшей мере, на возмутительную терпимость.

Узнав об этих фактах, Наполеон в резких выражениях высказал свое неудовольствие. Правда, он никогда не ждал от Швеции примерного послушания, но теперь, по его мнению, ее неповиновение переходило всякие границы. «Этот двор заходит слишком далеко», — написал он на полях одного донесения[1]. На глазах императора было написано несколько нот, адресованных шведскому поверенному в делах. Они были составлены в суровом и резком тоне; в них вкратце, в сильных выражениях, излагались наши обиды и предъявлялось требование «загладить прошлое и дать гарантию за будущее»[2]. Помимо жалоб на сношение с врагом, в них приносилась жалоба на насилие, учиненное над французскими матросами в Померании. Нужно сказать, что этот уголок, где Англия могла сделать высадку в Германию, привлекал исключительное внимание императора. Впрочем, несмотря на всю горечь фраз, в которых он выражал свое неудовольствие, он позаботился соблюсти известную меру. Непреклонно придерживаясь своей системы, ревниво оберегая свои права, он, конечно, не закрывал глаза на постоянные нарушения блокадной системы, но, при всем том, не хотел порывать со Швецией, дабы окончательно не оттолкнуть ее от себя и сохранить за собой возможность в нужное время воспользоваться ею и направить против России. Поэтому, даже в припадках гнева, он не давал себе воли и избегал доводить отношения между обоими дворами до непоправимого разлада.

К несчастью, императорский посланник в Стокгольме, который вдруг прозрел и отрекся от своего оптимизма, не счел нужным подражать относительной сдержанности императора. Слуга оказался строже и требовательнее своего повелителя. Когда Алькиер из донесений консулов и других многочисленных источников узнал, что его водили за нос, когда он установил вне всяких сомнений, что законы блокады всюду нагло нарушаются, его гнев был тем сильнее, чем глубже было его заблуждение. Взбешенный тем, что его дурачили,

[1] Archives des affaires etrangeres, Suéde, 296.
[2] Нота от 19 июля 1811 г. Archives des affaires etrangeres, Suéde, 296.

как малого ребенка, он сделал из наших препирательств со Швецией предлог для личной ссоры. Не довольствуясь тем, что резкой переменой в обращении, невежливым и грубым обхождением дал почувствовать свой гнев и презрение, он пошел еще дальше и самовольно решился на шаг исключительной важности. Не получив ни предписания, ни полномочий от своего правительства, он составил и отправил барону Энгештрему ноту, вернее сказать, яростное послание, в котором излагал и обсуждал наши обиды с ядовитостью, совершенно не свойственной дипломатическому тону. В своем обвинительном акте он не удовольствовался указанием на плутни и ложь нынешних правителей Швеции; он обвинил их в измене народным интересам и пророчил им самую ужасную участь. Он говорил, что ужасная революция была карой за ошибки их предшественников и что теперешний возврат к «жалкой политике» неминуемо «поставит шведское правительство в то же положение, которое недавно вызвало крушение короля Густава»[1].

Ни один человек с характером, ни один министр, думающий о национальном достоинстве, не потерпел бы таких угроз. Энгештрем, стряхнув с себя присущие ему благодушие и плаксивость, ответил на оскорбление оскорблением. На французское бранное послание он ответил нотой, в которой жестоко напал на нашего посланника, и в самых беспощадных выражениях обвинил его в намерении поссорить оба двора, чтобы получить возможность покинуть столицу, которая ему не по вкусу. «Климат нашей страны, — писал он ему, — может быть, и вреден для вас; вы можете питать надежды на другое назначение; но было бы бесчестно вызывать ваше перемещение бездоказательными утверждениями... Те, у кого, может быть, имеется преступная мысль вызвать раздор, в конце концов, всегда будут выведены на свежую воду». В заключение он выразит протест против послания, которое «своими нападками на честь нации представляет образец неслыханного попрания человеческих прав»[2].

По получении такого ответа Алькиер не помнил себя от негодования и гнева. Он отказался принять шведскую ноту, вернул ее автору и порвал с ним всякие сношения. Несколько дней спустя, 25 августа, он решил объясниться с наследным принцем. Тот не от-

[1] Archives des affaires etrangeres, Suéde, 296.
[2] Id.

казал ему. Бернадот сам искал случая сказать представителю Франции все, что у него накопилось на душе; сам хотел громко заявить о своих обидах. Свидание этих двух людей, в одинаковой степени зараженных страстями и ненавистью, неизбежно должно было привести к жестокому столкновению. Это была встреча двух грозовых туч.

Впрочем, разговор начался в довольно мягком тоне. Бернадот согласился, что ответ Энгештрема был груб. Сверх всякого ожидания, он даже признался, что на месте Алькиера поступил бы точно так же, т. е. отказался бы принять бумагу, но вслед за тем в едких выражениях начал жаловаться на консулов и вообще на фарнцузских агентов, назначенных состоять в Швеции. По его словам, среди этих лиц, «пропитанных страстями и клеветой», нет ни одного, который бы не старался по мотивам, в которых далеко не всегда можно признаться, внести отраву в обсуждение спорных вопросов, который бы не старался сделать отношения более натянутыми и даже его самого очернить в глазах императора; что от них-то и идет всякое злословие, от которого он страдает; что они не дают ему ни минуты покоя и сделали ему жизнь невыносимой. «Удивительно, сказал он, что после столь крупных услуг, оказанных этой самой Франции, мне приходится постоянно жаловаться на ее агентов».

В свою очередь, Алькиер тоже начал горячиться. В конце концов, он сказал: «Странно, Ваше Величество, что вы жалуетесь на эту самую Францию. Если вы ей хорошо служили, то, как мне кажется, она вас и вознаградила хорошо. Осмелюсь теперь спросить вас: что вы сделали для нее со времени приезда в Швецию? Усилилось ли влияние Франции благодаря вашему возвышению? Какое доказательство участия и преданности дали вы императору в течение почти целого года?... Вы расточаете все средства, которые дает ваша страна англичанам, и ничего не пожелали сделать в пользу Франции».

В ответ на это Бернадот попробовал сначала, правда, не особенно энергично, защищать свое поведение. Но вдруг, точно сочтя ниже своего достоинства оправдываться и высказывая все, что было у него на душе, он воскликнул: «Я ничего не сделаю для Франции до тех пор, пока не узнаю, что намерен сделать император для меня; я только тогда открыто приму его сторону, когда он свяжет себя с нами договором; тогда я исполню свой долг. Впрочем, я вижу награду и нахожу утешение в тех чувствах, какие питает ко мне шведский народ. Воспоминание о только что сделанном мною путешествии никогда не изгладится из моего сердца. Знайте, милостивый государь, что толпы народа хотели выпрячь лошадей из моей кареты, чтобы самим везти ее. При таком доказательстве его любви я чуть не лишился чувств. У меня едва хватило сил сказать лицам моей свиты: «Но, Боже мой! Что сделал я, «чтобы заслужить восторженную любовь этой нации?» Что же «сделает она для меня, когда будет обязана мне своим «счастьем?». Я видел непобедимые войска; их «ура» неслось до самых облаков; они производили маневры с большей точностью и быстротой, чем французские полки. Это такие войска, с которыми мне не нужно будет делать ни одного выстрела, которым придется только командовать: «Вперед, марш!» — и эти массы, эти колоссы все опрокинут на своем пути».

«А! Это уже слишком, — прервал его Алькиер; — если когда-нибудь эти войска встретятся с французскими корпусами, все-таки им придется оказать нам честь и выпустить несколько зарядов; ибо, без сомнения, они не так-то легко опрокинут нас, как это вам кажется».— Бернадот: «Я прекрасно знаю, что говорю; я сделаю из шведских войск то же, что сделал из саксонцев, которые, под моей командой, были лучшими солдатами в последнюю войну».

Не возражая на этот возмутительный вздор, Алькиер намекнул на бесполезность для Швеции приступать в настоящее время к вооружениям. «Напротив, — сказал ему принц, — я твердо решил собрать новые войска. У Дании сто тысяч под ружьем, и я не поручусь, что у нее нет каких-нибудь планов против меня. Да и помимо того, я должен предохранить себя от задуманного императором во время свиданий в Эрфурте плана раздела Швеции между Данией и Россией». Он прибавил, что это сведение было ему сообщено из Петербурга «женщинами, которые все знали и обо всем ему писали...» «Но я сумею защищаться, — восторженно заговорил он. — Он хорошо знает меня. Хорошо знает и то, что у меня есть средства для этого. Англичане попробовали быть со мной требовательными, и

что же! я пригрозил им, что пущу сто каперских судов в море, и они тотчас же понизили тон».

Это бахвальство было только началом, за ним последовала выходка, которая по своей необычайности превзошла все остальное. «Впрочем, — сказал принц, — каковы бы ни были у меня причины жаловаться на Францию, я, тем не менее, готов при случае все сделать для нее; хотя мои подданные, которых я только что видел, только и просили меня о сохранении мира, какой бы то ни было ценой. Они просили меня устранить всякий повод к войне и не воевать — даже ради возвращения Финляндии, про которую они мне говорили, что не желают ее. Но, милостивый государь, пусть меня не унижают; я не хочу быть униженным; я скорее предпочту во главе моих гренадер пойти навстречу смерти; по-моему, лучше всадить себе кинжал в грудь, броситься вниз головой в море или сесть верхом на пороховую бочку и взлететь на воздух.»

В то время, как принц, свирепо вращая глазами, нес эту чепуху, открылась дверь в кабинет. Его двенадцатилетний сын переступил порог и сделал несколько шагов по комнате. Заметив его приход,— может быть, и заранее подготовленный — Бернадот увидел в этом случай разыграть бьющую на эффект сцену. Он бросился к ребенку и, схватив его, произнес с театральным жестом: «Вот мой сын. Он последует моему примеру. Не так ли, Оскар? — Да, папа. — Дай я тебя обниму: ты поистине мой сын!». Алькиер прибавляет в своем донесении: «Во время этой столь пошлой, столь безумной сцены, до крайности взволнованный принц был совсем как шальной. Я неоднократно пытался удалиться, но он каждый раз удерживал меня. Наконец, когда я уже добрался до двери кабинета, он сказал мне: «Я требую от вас обещания, что вы дадите императору «точный отчет о нашем разговоре». — Обещаю, если этого непременно желает Ваше Королевское Высочество. В предыдущих строках,— заканчивает Алькиер,— я сделал это все, милостивейший государь, и прошу Ваше Превосходительство верить, что точно сдержал данное слово»[1].

[1] Алькиер Маре, 26 августа 1811 г. Эта депеша посвящена отчету о разговоре и выводам, которые делает из него наш министр. Некоторые выдержки из нее были приведены и анализированы Bignon'ом X, 177—179; Geffoy, Revue des deuh Mondes du 1-er novembre 1855, и Thiers'ом, XIII, 217—219.

Но, может быть, последние слова принца были только угрозами отчаянного хвастуна? Может быть, вопреки выраженному им желанию, Бернадот надеялся, что Алькиер скроет часть разговора и не выставит его в припадке исступления и гнева? А, может быть, он даже питал безумную надежду — угрозой насилуя волю императора, вырвать у него обещание крупного территориального вознаграждения, рассчитывал получить в подарок Норвегию, которой ему приходилось ждать так долго? Как бы то ни было, его повторные намеки не оставляют никакого сомнения относительно первоисточника его озлобления, которое и довело его до такого приступа безумного бешенства. Конечно, его немало раздражали наши требования, относящиеся к торговле с Англией, и придирки Алькиера, но главной причиной озлобления было пренебрежительное молчание, которым император отвечал на все его просьбы и заискивания, и, в особенности, манера смотреть на него, как на человека, недостойного ни доверия, ни внимания. Эта манера императора не только уязвляла его самолюбие, но и наносила тяжкий удар его вожделениям. Он упрекал Францию, главным образом, не за то, что она слишком много требовала, а за то, что до сих пор ничего не хотела дать. Его ярость была яростью выпровоженного за двери просителя, или, по меньшей мере, просителя, просьба которого отложена на неопределенное время.
В происшедшем в Стокгольме скандале Наполеон сумел выделить долю ответственности каждого лица. По его мнению, Энгештрём в своей ноте и Бернадот своими словами нарушили все правила приличия; Алькиер же своим невозможным поведением вызвал их на это, так как не они, а он начал завершившийся скандалом спор. Тем не менее, Наполеон не захотел ни публично отречься от своего посланника, ни подвергнуть его опале; ибо в ноте шведского министра его побуждения были истолкованы превратно. Однако, сознавая, что пребывание Алькиера в Стокгольме сделалось невозможным, он тотчас же, не вступая в объяснения, убрал его. По получении донесения о состоявшемся 25 августа разговоре, герцог Бассано послал барону с обратным курьером предписание: сдать все поверенному в делах; уложить свои пожитки; оставить пост, не испрашивая аудиенции и никому не делая прощальных визитов, переправиться через Зунд и переменить стокгольмское посольство на копенгагенское. Этим перево-

дом давалось некоторое удовлетворение Швеции, которой, в лице одного из ее министров, нанесено было оскорбление.

Что же касается Бернадота, то, как ни надоели императору его выходки, как ни был он ему противен, он оставил без внимания его слова, признав его недостойным своего гнева. Он ограничился тем, что предоставил ему его одиночеству и отвернулся от него, как от человека непоследовательного, увлекающегося вздорными идеями, страдающего манией честолюбия и гордости. Он приказал поверенному в делах, Сабатье де-Кабр, держаться системы, которую тщетно предписывал Алькиеру и которая состояла в том, чтобы избегать с принцем разговоров о политике. Несколько недель спустя, повторяя еще в более категорической форме свое предписание, он писал министру иностранных дел: «В инструкциях поверенному в делах вы скажете, что я запрещаю ему говорить с наследным принцем; что если принц пошлет за ним, он должен ответить, что ему поручено вести переговоры с министром. Он должен хранить с принцем полнейшее молчание, даже не открывать рта. Но если принц позволит себе разразиться против Франции угрозами, — как это уже и случилось однажды, — тогда поверенный в делах должен сказать, что он не для того пришел, чтобы выслушивать подобные оскорбления, и тотчас же удалится»[1].

Бернадот не дал случая де-Кабру заходить так далеко. Он сделал ему несколько легких намеков по поводу возможного улучшения отношений и по поводу дара, который мог бы успокоить его относительно намерений императора. Конечно, намеки эти остались без ответа. Впрочем, можно думать, что и сам он не придавал им существенного значения; они указывают только на то, что у автора их бывали минуты колебания. Действительно, в это время взоры его были уже устремлены на Александра. Не заводя пока с ним разговора по существу, не говоря еще о союзе, он дарил его многообещающими улыбками и с каждым днем все больше ласкал его посла[2]. Таким образом, он снова открывал себе дорогу в Петербург, и чтобы открыто броситься в этом направлении, ждал только какого-нибудь весьма возможного со стороны императора насилия, которое послужило бы ему оправданием в глазах его будущих подданных и устранило остатки колебаний нации.

[1] Corresp., 18233.
[2] См. депеши русского поверенного в делах, барона Николаи; архивы Воронцова, т. XXII, стр. 427 и след.

От Наполеона не ускользнула эта перемена в направлении, но он не придал ей надлежащего значения. Он упорно держался своего заблуждения и по-прежнему думал, что для того, чтобы иметь в своем распоряжении Швецию, ему нет надобности сговариваться с принцем; что, когда придет момент великого события, она сама явится к нему, что тогда «надежда отвоевать Финляндию поднимет всю нацию, вопреки намерениям правительства»[1]; что тогда Бернадоту останется только подчиниться и, вопреки своему желанию, сделаться орудием национальной идеи. Словом, Наполеон воображал, что хоть теперь — при условиях борьбы с Англией — шведы настроены против него, они перейдут на его сторону, когда дело коснется войны с Россией, лишь бы не помешать такому обороту дела слишком резким разрывом. Вот почему в официальных сношениях с их правительством он вечно переходил от строгости к долготерпению и обратно. Иногда, когда поступки шведов указывают на их бесстыдное пристрастие к делу Англии, к торговле с нею, он начинает терять терпение; начинает думать о строгом наказании; думает отдать приказ занять Померанию — место, где на виду у всех нарушаются его повеления; он хочет выпустить убийственные ноты с объявлением провинции на военном положении[2]; но вслед за тем одумывается, подавляет свою досаду, дает копиться своим обидам, сохраняя за собой право позднее представить их гуртом, дабы в тот момент, когда будет предлагать шведам союз и обещать Финляндию, потребовать от них, в возмещение этих обид, право занять Померанию и самому охранять ее. Вот почему его ссора со шведами не переходила в открытый разрыв, не усиливала явно осложнений настоящего времени и проходила почти незаметной. Иначе было дело с кризисом, внезапно вспыхнувшим в Германии. Там все время без умолку раздавалось бряцание оружием; оно усиливалось с каждым днем и, наконец, повергло в страх и смятение Европу, вследствие того, что обезумевшая от ужаса Пруссия,

[1] Маре Алькиеру, 17 июля 1811 г.
[2] Corresp, 18233.

вообразив себе, что император намеревается посягнуть на ее существование, вдруг порывисто поднялась и бросилась к оружию. Она точно с ума сошла от воинственного задора, и ее настроение, спутав игру императоров, чуть не заставило их преждевременно схватиться за оружие.



VIII

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПРУССИИ

Безумие Пруссии: она думает, что Наполеон хочет уничтожить ее. — Фальшивый документ. — *Гарденберг бросается в объятия России и старается привлечь ее в Германию.* — Письмо к царю. — Командировка Шарнгорста. — Спешные и противные договору вооружения; какие объяснения даются императору. — Наполеон не хочет уничтожать Пруссии; особый характер союза, который он думает предписать ей. — Непокорность Пруссии расстраивает все его расчеты. — Первые предостережения. Наполеон намерен уничтожить Пруссию, если не добьется от нее полного разоружения и безусловного повиновения. — Вооружения продолжаются. — Замаскированная мобилизация. — Солдаты-рабочие. — Категорическое требование. — Кажущаяся покорность. — Легковерие Сен-Марзана. — Все лгут императору. — Пруссия под надзором. — Донесения, из которых видно, что сборы войск и крепостные работы продолжаются. — Новые требования. — Мучительное положение Пруссии. — Инцидент с Блюхером. — Последнее требование. — Одновременно с ним Наполеон предлагает союз. — Смертельный страх Пруссии. — Возвращение Шарнгорста; результаты его миссии. — Тайные свидания в Царском Селе; Александр порицает волнение и неосторожные поступки Пруссии. — *Перемена в русском плане. — Военная конвенция.* — Нерешительность Фридриха Вильгельма. — Какие причины побуждают его покориться союзу с Францией. — Последняя надежда военной партии. — Всегдашняя мысль короля. — Надежды на Австрию. — Шарнгорст, изменив свою наружность, под чужим именем, уезжа-

ет в Вену. — Миссия Лефевра. — Наполеон теряет терпение; он склоняется к мысли уничтожить Пруссию и тем показать страшный пример для других. — Победа русских на Дунае. — Какой проект было поручено составить принцу Экмюльскому. — План разгрома. — Наполеон дарует жизнь Пруссии, ибо усматривает в ней готовность подчиниться. — Второй шаг в переговорах о союзе. — Шарнгорст в Вене. — Меттерних сначала водит его за нос, затем выпроваживает. — Полное разочарование. — Пруссия у ног императора. — Предложения Наполеона Шварценбергу. — Какие хитроумные комбинации заставляют Меттерниха поторопиться с соглашением с Францией. — Мысль о разделе Пруссии. — Александр возвращается к оборонительному плану. — Нессельроде в отпуску. — Его план примирения.— Краеугольный камень: роль, предназначенная Австрии. — Мир, построенный на тайной коалиции. — Нессельроде — отражение Талейрана. — Александр открывает Нессельроде тайну своей неуступчивости. — Он сознает выгоду попытки, хотя бы притворной, к примирению. — Близость мира на Дунае: необходимость удержать Наполеона от вмешательства. — Отъезд Нессельроде объявлен, но откладывается со дня на день. — Ложное толкование слов императора. — Взаимная неискренность. — Брат Александра по оружию. — Наполеон признается австрийскому посланнику в своих воинственных планах. — Покорность Германии обеспечивает ему свободный путь в Россию: роковой успех.

I

В течение целых шести месяцев, действуя то искренне, то с целью обмана, Пруссия умоляла Францию о заключении союза. Но с тех пор, как Наполеон перестал ей отвечать, считая, что она слишком упреждает его намерения, она вообразила, что его молчание означает отказ от переговоров; что это симптом его непреоборимого недоверия и зловещих планов. Это ошибочное мнение окончательно окрепло в ней, благодаря наглости некоего Эсменара, который состоял для литературных услуг при полиции в Париже и о грязном промысле которого и постигшей его неприятности мы уже рассказывали. Прусская дипломатия приобрела от него документ, помеченный 16 ноября 1810 г. и выданный им за доклад герцога Кадорского, бывшего во время даты документа министром иностранных дел. В этом докладе доказывалась необходимость совершенного уничтожения Пруссии, представленной в виде опасного и неисправимого врага. При внимательном исследовании документа нетрудно было бы доказать подделку. Впрочем, нельзя поручиться, сочла ли берлинская канцелярия этот документ

за безусловно подлинный; но нет сомнения, что она смотрела на него как на отголосок замышляемых в Тюльери планов, как на документ, хотя и подложный, но составленный на основании действительно существующих документов[1]. Сопоставляя это открытие с приводящим в отчаяние молчанием императора, канцелярия пришла к нелепому убеждению, что Наполеон осудил и окончательно приговорил Пруссию; что в глубине души он вынес ей безапелляционный приговор и решил, прежде чем двинуться против России, стереть с карты Европы самое имя Пруссии.

Для спасения своего отечества прусские министры видели только одно средство: призвать русских в Германию, предоставить в их распоряжение все средства монархии и с их помощью начать отчаянную борьбу. Антифранцузская партия в Берлине окончательно взяла верх. Канцлер Гарденберг, который до сих пор, все еще колеблясь, метался из стороны в сторону, очертя голову бросился в сторону русского союза. По его настоянию, 16 июля король написал царю письмо, предлагая формальный договор с тем условием, что при малейшей опасности русские войска должны прибыть в самый центр Пруссии. В этом отношении не считали возможным довольствоваться одной надеждой — желали получить полную уверенность. Пруссия брала на себя положительные обязательства и требовала взаимности. Преобразователь армии, знаменитый генерал Шарнгорст, отправился тайком к русской границе. Царь был заранее предупрежден об этом, причем его просили разрешить Шарнгорсту въезд в Россию, пригласить его в Петербург и установить вместе с ним план союзной кампании[2].

Одновременно с этим, чтобы быть наготове к отчаянной борьбе, и, если и пасть, то со славой, прусское правительство довело до лихорадочной спешности начатые с давних пор вооружения. Совершенно не считаясь с договором, ограничивавшим военные силы Прус-

---

[1] См. по этому делу ученую диссертацию Альфреда Штерна, Abhandlungen und Acktenstücke zur Geschichte der Preussichen Reformzeit (1807—1815), стр. 93—113, с приведенными текстами. Этот документ был продан Чернышеву, который препроводил его своему двору. Вышеупомянутый том, стр. 213—214.

[2] Duncker, Ausder Zeit Friedrichs des Grossen und Friedrich-Wilhelms, III, 365—369. — См. также ценный труд Лемана о Шарнгорсте, т. II, 350—352.

сии, оно призывает всех отпускных солдат, всех krümper, т. е. молодых людей, которых за время призывов пообтесали и подготовили к военному делу. В короткое время было созвано приблизительно сто тысяч человек; были заготовлены материальная часть и провиант; крепостные работы быстро двинуты вперед. Наряду с производством фортификационных работ вокруг прибрежных крепостей собирались вблизи этих опорных пунктов и главные силы. Мобилизация и концентрация войск шли одновременно[1].

Ввиду того, что нужно было выиграть время, ибо осуществление воинственных намерений зависело от ответа России, попытались хитроумными ухищрениями скрыть эти меры. Тем не менее, король и министры отлично сознавали, что такая крупная деятельность не надолго ускользнет от внимания императора. Поэтому они попробовали до поры до времени оправдать ее в глазах Наполеона, объясняя ее как раз наоборот тому, что было в действительности. 26 августа Гарденберг сказал нашему посланнику в Пруссии Сен-Марзану, что король, допуская после аудиенции 15 августа возможность разрыва между Францией и Россией и считая себя заранее союзником Франции, увеличивает свои военные силы в видах оказания нам более существенной помощи[2]. Это усугубленное дерзкой ложью полупризнание было передано в Париж в начале сентября, но и из других источников до Наполеона дошли уже сведения о призыве резервов и спешном производстве крепостных работ.

Из всех событий, могущих свершиться до его поединка с Россией, самым неприятным было бы возрождение прусского военного могущества: оно было бы помехой на пути к врагу, на которого он собирался напасть. Довольствуясь полнейшим ничтожеством, до которого, как он думал, он низвел Пруссию, он не мечтал о ее разрушении. Начертанный им 16 августа самому себе план действий свидетельствует об истинном его намерении — выслушать прусский двор, но тогда, когда найдет это своевременным, и только тогда принять его на свою службу. Союз, который он имел в виду навя-

[1] Duncker, 369—370. Lehmann, 380—84, Stern, Abhandlungen und, etc., 93—94.

[2] Duncker, 378, Cf. Lefebvre, Histoire des cabinets de l'Europe V, 139—140.

зать Пруссии, должен был иметь совершенно особый характер. Он не хотел требовать от Фридриха-Вильгельма активного содействия, т. е. предоставления в его распоряжение многочисленной армии. Он предполагал удовольствоваться скромным контингентом, который взял бы с собой на Север не столько в качестве помощника, сколько в качестве заложника. Он хотел от Пруссии только непротивления и послушания. Он имел в виду потребовать, чтобы она открыла к себе свободный вход нашим войскам и всецело предоставила себя в их распоряжение; чтобы позволила нам пройти по своей территории; чтобы уступила на время свои крепости, провинции, дороги, средства сообщения, перевозные средства — словом, всякого рода средства с правом свободно распоряжаться ими. Не имея намерения навсегда лишать прусского короля его владений, Наполеон считал, что временной захват таковых необходим для безопасности его похода и для успеха его военных операций. Кратковременным упразднением Пруссии он подготовлял себе непрерывный, гладкий, свободный от препятствий и засад путь в Россию, — своего рода русло, по которому бы поток его войск, «подобно быстрой реке»[1], пронесся до Немана.

Если же Пруссия встанет на ноги, если она приобретет прочное положение и крупное значение, она существенно помешает этому плану. Наполеон не знал, чему приписать смелость Пруссии; но считал, что, какова бы ни была тому причина, последствия ее будут крайне нежелательны. Может быть, спрашивает он себя, Пруссия вооружается вследствие соглашения с Россией, в ее пользу? — В таком случае, если мы дадим ей время окончить ее приготовления, нам придется в будущем году сражаться с ней, прежде чем подойдем к главному неприятелю, — и Наполеон, мысли которого были прикованы к войне с Россией, приходил в отчаяние, думая о том, что ему придется вторично вести войну с Пруссией. Но, может быть, потсдамский двор вооружается без предварительного соглашения с русским двором; может быть, он делает это просто из страха, из боязни внезапного и вероломного нападения? Затем, искренно ли он предлагает нам свои войска за гарантирующий его существование договор? — Даже

[1] Инструкции Сен-Марзану, Duncker, 401.

и в этом случае его поведение было для нас источником всяких затруднений. Наполеон не знал бы, что делать с войсками, которые давались в его распоряжение неискренне, не по доброй воле, и верность которых он вынужден был бы всегда оставлять под сомнением. Они будут ему не помощью, а помехой. Кроме того, если пруссаки вооружаются, не сговорившись с Россией, — Россия, видя это, будет иметь полное основание думать, что они вооружаются против нее и по нашему наущению. Она усмотрит в их поведении признак и доказательство наших враждебных намерений; завеса, которую Наполеон старательно натягивает пред ее глазами, может внезапно раскрыться, и нет ничего невозможного в том, что император Александр первым откроет огонь; что он вздумает перебросить войска в Германию, чтобы захватить врасплох и наши войска, и войска наших союзников в момент их формирования. Итак, даже при желании дать поведению пруссаков наименее неблагоприятное толкование их неосторожность в двух отношениях нарушала расчеты императора. Она могла ускорить враждебные действия — это, во-первых, и, во-вторых, перенести их в Германию, тогда как Наполеон хотел отсрочить их, а, главное, сосредоточить в России.

Быстрым взглядом измерив надвигающуюся опасность, он решил остановить ее тотчас же всеми имеющимися в его власти средствами. Он решил, что потребует от Пруссии разоружения и сокращения наличного состава ее войск до дозволенной ей цифры, и, чтобы успокоить ее, примирился с необходимостью начать переговоры о союзе раньше назначенного им срока. Если Пруссия послушно сложит оружие, он сохранит по отношению к ней прежние намерения; позволит ей жить и будет приспосабливать ее для выполнения своих планов. Если же она посмеет рассуждать или попытается обмануть его, он не даст ей времени восстановить свои силы, не позволит выстроиться впереди России в качестве ее первой оборонительной линии. Он изменит свой план, тотчас же ринется на нее и уничтожит. Для обеспечения себе свободного прохода через Германию он готов вырвать с корнем остатки прусской монархии и заровнять самое место, где она была.

Ему нетрудно сделать это. Армия Даву, гарнизоны Данцига, Штеттина, Кюстрина и Глогау, затем войска, мобилизованные в великом герцогстве Варшавском, в

Саксонии и Вестфалии окружают со всех сторон состоящее в подозрении королевство. Достаточно одного приказания, мановения его руки, чтобы это железное кольцо, внезапно сомкнувшись, раздавило Пруссию в своих смертоносных объятиях. Конечно, думает император, это будет началом ожесточенной войны с Россией, но зато казнь Пруссии свершится без всяких помех и с такой быстротой, что наши войска, по совершении этого неожиданного и смелого дела, успеют еще броситься на Вислу и развернуться там, прежде чем русские выйдут из своих границ и займут Германию. Правда, великая борьба начнется гораздо раньше, чем он того желает, но, по крайней мере благодаря этому, предполагаемый театр военных действий не будет перемещен. Как видим, при существующих условиях, Наполеон допускает, на худой конец, предположение — до войны с Россией уничтожить Пруссию, в том случае если, она будет уклоняться от приказаний, которые он ей пошлет.

Между тем, он переехал со своим двором в Компьен, где начал готовиться к путешествию в Голландию и в свои владения по ту сторону Рейна. 4 сентября аккредитованный при нем прусский посланник барон Круземарк был спешно вызван в Компьен. Там, придавая своим словам серьезный и внушительный тон, герцог Бассано сказал ему следующее: Император искренне желает сблизиться с Пруссией; он желает иметь ее своей союзницей. Но ничто не может так повредить этим добрым намерениям, как опрометчивые меры, которые предпринимаются в Берлине и которых Его Величество не может допустить. Пруссия совершит самоубийство, в полном смысле этого слова, если вызовет недоверие императора, ибо это не останется без последствий. У нее только одно средство сохранить себя — отказаться вполне от чрезвычайных вооружений, заслужить этим путем благосклоность императора и ждать результатов, ничего не предпринимая. В тот же день Бассано написал Сен-Марзану, чтобы тот сообразовал свои слова с этими угрожающими предостережениями[1].

Несколько дней спустя, 13 сентября, по рассмотрению вновь полученных донесений, из которых Наполеон видит, что военные приготовления Пруссии в полном

[1] Марé Сен-Марзану, 4 сентября. В этой депеше министр иностранных дел передает свой разговор с Круземарком.

разгаре, он приказывает отправить Сен-Марзану категорические инструкции. В них французскому посланнику предписывается предъявить королевскому правительству требование о прекращении крепостных работ и о роспуске по домам созванных солдат. В доказательство же наших добрых намерений, он даст формальное уверение, что ему вскоре будут присланы полномочия на предмет открытия переговоров о союзе. Для перехода Пруссии на мирное положение он даст только три дня; самое большее, на что он может согласиться, это — продлить срок на сорок восемь часов. Если, по прошествии этого срока, он не получит полного и безусловного удовлетворения, он покинет Берлин, предупредив о своем отъезде маршала Даву, принца Экмюльского. По этому сигналу Даву тотчас же выступит в поход и со всеми своими силами нагрянет на столицу и на провинции Пруссии. Одновременно с ним перейдут границу вестфальцы, саксонцы, поляки, и, замкнув кольцо охвата, двинутся на Берлин. В то же время наши гарнизоны на Одере, соединясь и образовав непрерывную цепь, преградят отступление королевскому правительству; они помешают его бегству и принудят его к сдаче; обреченное на смерть государство погибнет, не успев опомниться, не успев крикнуть, не имея времени воззвать к себе на помощь, и от монархии великого Фридриха останется одно воспоминание.

На всякий случай Даву и Жерому были отправлены соответствующие приказания. Тем не менее, в секретном письме Маре к Сен-Марзану ясно было указано, что, хотя император и твердо решил уничтожить Пруссию, если она своим двусмысленным поведением вынудит его к этому, но что он вовсе не желает этого: напротив, его искреннее желание — избегнуть этой крайности. «Заметьте себе, — говорится в письме, — что искреннее желание императора состоит в том, чтобы дано было согласие на разоружение; чтобы даны были полномочия для открытия переговоров о союзе либо в Берлине, либо в Париже, чтобы вы имели возможность остаться на вашем посту, и чтобы Пруссия уведомила Россию, что она разоружается потому, что теперь у нее нет поводов беспокоиться за сохранение мира. Такое заявление Пруссии необходимо; ибо, при настоящем положении вещей, одним из серьезнейших последствий принятого Пруссией решения является то, что Россия может подумать, что ее вооружения были сделаны по соглашению с Францией. Следует, чтобы в течение трех дней было рассеяно впечатление, которое могли произвести на Россию вооружения Пруссии, а это может быть достигнуто только разоружением»[1].

В тот день, когда государственный секретарь набрасывал эти строки, в Берлине уже знали о сделанных Круземарку предостережениях. Прусский двор очутился в крайне затруднительном положении, ибо ответ Александра на просьбу о союзе и верной и надежной помощи не был еще получен. Было только известно, что царь с волнением прочел письмо короля; но, очевидно, это не подвинуло значительно дела, так как Шарнгорст все еще с жгучим нетерпением ждал на границе разрешения царя, чтобы тайком проскользнуть в Россию. Даст ли ему царь просимое разрешение, примет ли его, сговорится ли с ним об условиях союза — все это оставалось неизвестным. Не имея в руках никаких данных, Пруссия хотела выиграть время и прибегла к хитрости. Не переставая вооружаться, она решила объявить, что приступает к разоружению.

Фридрих Вильгельм собственноручным письмом уведомил Наполеона, что отказывается от формирования новых сорока восьми батальонов и от усиления полков по шестнадцать человек на роту. Действительно, эта мера была отмечена, но мобилизация продолжалась в иной форме. Рабочие, взятые для крепостных работ и для устройства укрепленных лагерей, почти сплошь были старыми служаками или не зачисленными официально молодыми солдатами; тех и других потребовали для несения государственной службы. Это было средством иметь их под рукой, чтобы при первой же надобности можно было сформировать из них полки. Этот замаскированный способ призыва не был отменен. Масса крестьян и рабочих держались в сборе окло крепостей и, как муравьи, копошились у стен Шпандау, Кольберга, Грауденца и Нейса. Они чинили старые укрепления, возводили новые, возили землю, делали насыпи, и в то же время подчинялись военной дисциплине и ходили на ученья. Не превращаясь пока в лагерь, Пруссия была похожа на громадную мастерскую. Чтобы превратить рабочих в солдат, оставалось только при-

[1] Маре Сен-Марзану. Некоторые выдержки из переписки с Берлином, хранящиеся в архивах министерства иностранных дел, были опубликованы Stern'on, Abhandlungen und Aktenstücke etc.

казать им бросить лопаты и кирки, взять ружья и заменить рабочую блузу военной шинелью. В один миг многочисленные рабочие артели превратились бы в взводы, роты, батальоны и составили бы армию, которая удвоила бы ту армию, которую Пруссия имела законное право держать на действительной службе[1].

Между тем Сен-Марзан получил депешу от 13 сентября, которая подстрекнула его усердие. Он, не стесняясь, заявил, что требуется истинное, а не фиктивное прекращение вооружений; что он настаивает на необходимости прекратить всякие работы и распустить всех рабочих по домам, т. е. на том, что, действительно, остановило бы мобилизацию. Он не скрыл, что, отклонив наши требования, Пруссия сама приготовит себе гибель[2].

Кризис обострился. Пруссаки попали в ужасное положение. За несколько дней до этого, они узнали, что Шарнгост получил, наконец, разрешение переехать границу и, при соблюдении глубочайшей тайны, направился в Петербург. Нет сомнения, — думали они, — что теперь он совещается с царем, и, может быть, заручился уже обещанием полного содействия. Теперь, когда соглашение с русскими казалось столь близким, когда в самом непродолжительном времени можно было ожидать их прибытия, слишком трудно было королю и и Гарденбергу отдаться на волю Наполеона. Они продолжали свою страшно опасную игру,— давать обещания и не держать. Гарденберг заявил, что король на все согласен. Сен-Марзану сообщили, и напечатали в газетах, что отдан приказ о прекращении работ и о роспуске людей. Действительно, в Шпандау — городе, находящемся близ Берлина, на глазах французского посольства — работы были прекращены; во всех же других местах, куда не могли проникнуть взоры нашего посланника, они производились руками рабочих-солдат с удвоенной энергией. Сен-Марзан отнесся к тому, что ему сообщалось, с большим доверием — настолько, что даже не счел нужным проверить. Зачарованный тем, что видел в Шпандау, он из единичного факта вывел общее заключение: он донес, что Пруссия вернулась к порядку, остался на своем посту и возобновил дружеские отношения с Гарденбергом и министром иностранных дел графом Гольцом. Берлинская публика, почуявшая было носившуюся в воздухе большую опасность, с радостью увидала, что гроза удаляется, и, после нескольких мучительных, лихорадочно-беспокойных дней, прусская столица опять впала в беспросветное томление[1].

[1] Сен-Марзан Маре, 26 сентября и 16 октября 1811 г.; Сен-Марзан Даву, 4 октября 1811 г.; Archives des affaires ètrangères Cf. Lehmann, II, 392—397.

[2] Maré Сен-Марзану, 13 сентября 1811 г. Cf. Stern, 340—342.

В Берлине, как и в Петербурге да и вообще повсюду, наша дипломатия позволяла водить себя за нос. Не так легко было обмануть императора. Желая знать, отвечают ли поступки словам, он установил за Пруссией надзор. Для этого в его распоряжении было бесчисленное количество средств. Во-первых: Штеттин, Кюстрин, Глогау — три пункта, наиболее удобные для надзора. Комендантам этих крепостей предписано было вооружиться бдительностью и тщательно следить за тем, что происходит вокруг них. Затем, в циркулярной депеше нашим консулам в Кольберге, Штеттине, Данциге и Кенигсберге предписано было собирать сведения — каждому в своем округе[2]. Наконец, Даву поручено было покрыть Пруссию целой сетью шпионов; он должен был сосредоточить в своих руках все донесения, проверять их и дополнять своими личными наблюдениями. На этого безукоризненного, из принципа недоверчивого солдата, император мог смело положиться, — он знал, что он не удовольствуется внешностью, а будет смотреть в корень.

Чтобы ознакомиться с положением дел на севере, Наполеон отправляется в Нидерланды. Он начинает свой объезд с Булонского и Утрехтского лагерей, делает смотр флоту в устьях Шельды, останавливается на несколько дней в Антверпене, в тамошней крепости; затем вместе с императрицей посещает Амстердам, Роттердам, Нимвеген, где силой согнанные голландцы торжествено воздают ему почести. Но среди пышности официальных приемов — в дни, которые, как будто, исключительно посвящены празднествам и подробнейшему ознакомлению с состоянием войск, он находит время обернуться к Пруссии; он то и дело бросает на нее недоверчивые взгляды, прислушивается к малейшему несущемуся оттуда шороху, и с нетерпением ждет ре-

[1] Сен-Марзан Маре, 21, 24 и 26 сентября. Cf. Stern, 342; 346.

[2] Тождественные депеши от 1 октября. Archives des affaires etrangères Prusse, 248.

зультатов предписанного им расследования. Вскоре, чуть не на всех остановках его пути начинают нагонять его курьеры, принося ему сведения из всевозможных властей, донесения консулов, протоколы, составленные на основании расспросов курьеров, бюллетени полиции, клочки бумаги, исписанной впопыхах всюду разбросанными шпионами. Эти сведения, неодинаковые по значению и ценности, все сходятся в одном: за исключением Шпандау, нигде в крепостях работы не прекращены, нигде сборища людей не исчезли. В Кольберге работают изо дня в день, работают вовсю, будто спешат кончить срочное дело, как будто задались целью поставить нас пред совершившимся фактом. В других местах побережья — та же деятельность. В Силезии, где воображают, что находятся далеко от нас, открыто производится ученье вновь сформированных частей. Очевидно, Пруссия или хитрит, или задерживает исполнение своих обещаний[1].

Немедленно же герцог Бассано, который, всюду сопровождая императора, неотступно ходит за ним как тень, начинает слать Сен-Марзану курьера за курьером. 2 октября из Антвернена он пишет ему длинное письмо. Из Амстердама отправляет три письма, причем два в один день, и в каждом обращается к нашему агенту с строгим напоминанием о необходимости проникнуть в намерения берлинского двора. Он сопоставляет поступки Пруссии с ее словами, и указывает, что Пруссия противоречит самой себе. В чем кроется причина такого несоответствия? — спрашивает он. Нет ли тут умысла ввести нас в заблуждение, нет ли вероломной задней мысли? Может быть, это просто напоследовательность, слабость, неспособность остановиться на определенном решении, привычная нерешительность, которая может уступить быстрому и энергичному давлению? «Во всем поведении Пруссии — и, в частности, в поведении кабинета с вами — есть какая-то неясность, какая-то тайна, и ваш долг—проникнуть в эту тайну. Для достижения этого не пренебрегайте никаким средством, но, главным образом, дайте понять, что напрасно стали бы надеяться обмануть нас; что требуются не речи, не торжественные заявления, а положительные факты, полное, безусловное разоружение, без всяких смягчений и оговорок»[1]. Если Сен-Марзан добьется этого результата, говорится далее, он окажет своему повелителю крупную услугу. Если же он убедится в систематической недобросовестности берлинского двора, по крайней мере, император будет знать, чего ему держаться, и Пруссия подвергнется участи, которую сама себе уготовит. Но всего важнее, чтобы наш посланник распознал и уловил истину под маской бесплодного притворства; чтобы он не боялся упрека в слишком большой подозрительности и недоверии. Повторение прежнего слишком большого оптимизма возложит на него тяжкую ответственность, ибо таковой оптимизм может повредить нашим насущным интересам.

Подшпоренный такого рода предостережениями и упреками, отрекшись, вследствие указаний на неопровержимые данные, от доверчивого отношения, Сен-Марзан ретиво взялся за дело. Он дал себе клятву не прекращать своих требований и не давать прусскому кабинету покоя до тех пор, пока тот не станет на законную почву. С этой минуты наступает для Пруссии время такого мучения, какое не поддается никакому описанию. Ожидая со дня на день письма от Шарнгорста с обязательствами Александра, она не решается еще искренне уступить нашим требованиям, хотя и находит, что Россия слишком много тратит времени на решительный ответ, и бесчеловечно оставлять ее в пасти льва. С другой стороны, прижатая к стене нашими требованиями, схваченная за горло, она беспомощно бьется в наших руках. Она старается высвободиться, бормочет извинения, изобретает разные предлоги, и истощает свой мозг, придумывая, что бы еще солгать.

Гарденберг приходит к Сен-Марзану и говорит, что король бесповоротно решил удалить рабочих из крепостей, но что ему не хочется сразу лишать работы такую массу людей, оторванных от обычных занятий; что он боится повергнуть их в нищету. Как человеколюбивый монарх, он хотел бы употребить их для культурной работы, для общеполезных крупных сооружений, что он намерен заставить их чинить шоссе, строить мосты, рыть каналы — новое средство держать их в сборе и в своем распоряжении[2]. Сен-Марзан отвечает

---

[1] Archives des affaires étrangéres, Dokuments divers, Prusse, 248.

[1] Марэ Сен-Марзану, 13 октября.

[2] Сен-Марзан Даву, 4 октября 1811 г. Archives des affaires étrangères volum cité.

на это, что, согласно инструкциям, не может «уступить ни одного рабочего»; что все рабочие до последнего человека должны быть уволены.

Гарденберг не настаивает и меняет тактику. Чтобы оправдать нарушение обязательств в Кольберге, он всю вину сваливает на генерала Блюхера, коменданта этой крепости: что будто бы тот самовольничает; что «этот бесноватый старик», несмотря на формальное запрещение короля, продолжал работы, ставя свои страсти выше обязанностей, но что его уже отрешили от должности, и вызвали в Берлин, где ему дадут строгий нагоняй.

Сен-Марзан возликовал, узнав об опале одного из наших непримиримых врагов. Даже сам император с удовольствием принял к сведению отозвание Блюхера. Но что же вслед за тем узнает он? По сведениям, доставленным герцогу Бассано его тайной полицией, немилость, постигшая Блюхера, была только кажущейся. По приезде его в Берлин, король милостиво принял его и несколько раз приглашал к обеду. Населению не возбраняют устраивать в честь его непристойные манифестации. Когда он явился «Под Липами» — в этом столь излюбленном берлинцами месте прогулок, его на глазах снисходительной полиции встретили рукоплесканиями и радостными возгласами. Все это, без сомнения, только подготовка к новому появлению его на сцене, к назначению его на высшую должность. Наполеон пишет на имя герцога Бассано следующую грозную записку, помеченную Дюссельдорфом: «Напишите графу Сен-Марзану, что он не должен допускать назначения генерала Блюхера на новую должность; что так как нам указано на него, как на виновника, то не следует восстановлять его в его правах и этим давать доказательство своей неискренности»[1]. Тщетно Сен-Марзан старается объяснить, что доставленные герцогу сведения слишком преувеличены; что Блюхер только один раз обедал у короля; что овация «Под Липами» свелась к установленному военным уставом отданию чести несколькими офицерами; что генерал мало показывается и проводит время в Казино за игрой в вист по маленькой[2]. Наполеон все-таки упорно и не без основания настаивает на том, чтобы не доверять Пруссии и ее лицемерной предупредительности.

[1] Corresp., 18234.
[2] Сен-Марзан Марé, 10 ноября, Stern, 369.

Правда, он только что узнал, что во многих местах работы действительно прекращены; что рабочие ушли, но никто не видал, чтобы они вернулись домой. Спрашивается, куда девались они? Он раскрыл, что, вместо того, чтобы отправить домой удаленных из Кольберга рабочих, их просто-напросто разбрасали на пространстве нескольких миль вокруг города. Тут их разместили по деревням и спрятали в лесах, чтобы при первой же надобности снова собрать. «Таким образом, прусскому правительству стоит только свистнуть, чтобы иметь в Кольберге то же количество людей, как и раньше»[1]. Ввиду того, что другие сведения были неточны и не давали безусловного повода к обвинению; что между ними попадались неясные и даже противоречивые, Наполеон хочет получить достоверные сведения, дабы иметь право с чистым сердцем, с полным знанием дела вынести приговор Пруссии, если найдет, что она виновата. Он приказывает Сен-Марзану выхлопатать секретарю нашего посольства, Лефевру, право объездить все провинции, побывать во всех крепостях и собственными глазами посмотреть, что там делается.

Это чрезмерное требование возмутило Фридриха-Вильгельма. Он содрогнулся от такого оскорбления; на несколько часов в нем проснулась душа короля. Согласиться на подобную поверку — значит допустить, что могут сомневаться в его слове Гогенцоллерна, что вправе подозревать его в клятвопреступлении: скорее смерть, чем такой позор! Он объявил, что не хочет ронять себя ни в глазах своего народа, ни в глазах войска В сухой записке Гарденберг сообщил ему отказ[2].

После этого смелого поступка прошла ночь с ее зловещей темнотой. Королю казалось, что на него уже насела армия Даву; ему чудилось, что вокруг него уже носятся своры наших союзников, готовые ринуться на добычу. Через восемь дней, думал он, если он будет упорствовать, французские сигналы раздадутся в его ушах и вражьи пушки тяжело загромыхают по мостовым столицы. Гарденберг, еще менее гордый и более фальшивый, чем король, умолял его лишний раз поко-

[1] Донесение от 20 октября. Archives des affaires étrangéres, volume cité. Cf. Duncker, 392.
[2] Archives des affaires étrangéres, volum cité.

риться с тем, чтобы потом вернее стать на ноги. Достойный жалости монарх уступил, унизился, раскаялся в своих прегрешениях и обещал исправиться. Лефевр, снабженный пропуском прусского правительства, получил разрешение под предлогом ревизии наших консульств, ехать, куда ему заблагорассудится. По секрету приняты были меры к тому, чтобы, делая вид, что от него ничего не скрывают, показать ему как можно меньше. Гарденберг с кислой миной попросил Сен-Марзана вернуть ему записку и просил не говорить императору о его поползновении к непослушанию[1].

Пока наш комиссар совершил свой объезд, Фридрих-Вильгельм, с нетерпением ожидая исхода объезда, или блуждал, кружась вокруг своей столицы, между Шарлоттенбургом и Потсдамом, или топтался на одном месте, снедаемый сознанием своего унижения, терзаемый горькими чувствами. Гарденберг с отчаяния написал в Петербург, прося, умоляя и даже требуя ответа. Ради Бога, — пишет он, — пусть согласятся сказать хоть что-нибудь; пусть скажут, может ли Пруссия рассчитывать на вступление русских в Германию, или же король должен считать себя покинутым и покориться жесткой необходимости? Каково бы ни было решение, нельзя долее медлить. Пруссия умирает от смертельной тоски: «неизвестность нас убивает»[2].

К осложнениям и опасностям настоящего времени прибавилось еще и то обстоятельство, что Наполеон, имея в виду испытать Пруссию и вернее узнать, что у нее на душе, отправил Сен-Марзану необходимые полномочия для открытия переговоров о союзе. Прусский же министр, как известно, в глубине души решил не связывать себя с нами обязательствами до тех пор, пока существует надежда, что Александр подпишет предлагаемый ему договор. Но как увильнуть от наших предложений после того, как сами, чуть не на коленях, просили о союзе? Как, не осуждая самого себя, не изобличая себя в обмане, оттянуть переговоры, о которых так горячо просили?

При сообщении о получении полномочий, Гарденберг изобразил на своем лице чувство удовлетворения. Наконец-то, — сказал он, — император согласился принять Пруссию в союзницы и избавить ее от беспокойства. И вздох облегчения, с которым он произнес эти слова, его просиявшее лицо и громкий смех составляли резкий контраст с мрачным настроением предыдущих дней; мало сказать, что он был рад — он был в «восторге»[1]. 29 октября Гарденберг и Гольц собрались на совещание с Сен-Марзаном, чтобы выслушать предложения Франции. Наполеон предлагал Пруссии или принять ее в Рейнский Союз, или подписать с нею отдельный договор о союзе. К договору должна быть прибавлена секретнейшая конвенция на случай войны с Россией, и французский кабинет заранее наметил следующие основные черты конвенции: вся прусская территория, за исключением Силезии, куда на время мог бы уехать король, должна быть открыта нашим войскам и находиться под их охраной; прусские войска должны быть удалены из занятых местностей и должны безотлучно находиться в двух или трех крепостях; вспомогательный контингент должен быть установлен в двадцать тысяч человек; Наполеон может распоряжаться им по своему усмотрению[2].

Эти условия были переданы королю, который не нашел их безусловно неприемлемыми. Он готовился к худшему, и с этих пор мысль подчиниться французскому союзу внушала ему меньший ужас. Но вот, наконец, приходит от Шарнгоста донесение о добытых им результатах, с извещением о скором возвращении, вследствие чего решено было дождаться его приезда и тогда уже принять окончательное решение. Под разными предлогами совещания с Сен-Марзаном были приостановлены. Сперва было выиграно четыре дня, затем еще два и в заключение еще двадцать четыре часа. Тем временем Шарнгорст приближался к Берлину, послав вперед донесение и текст договора, который он заключил с царем, сохранить за королем право утвердить или отвергнуть. Наконец, он прибыл и сам дал отчет о своей миссии. Найдет ли король в подписанном Шангорстом договоре, в его письмах, в его словах указание, которое определило бы его решение, найдет ли в них руководство для своего поведения и уверенность за будущее?

---

[1] Сен-Марзан Маре, депеша от 20 октября, конфиденциальное письмо от 23.
[2] Duncker, 391.

[1] Сен-Марзан Маре, 27 октября.
[2] Инструкции графу Сен-Марзану от 22 октября 1811 г. опубликованные Stern'ом, 350—366.

II

В исполнение своей задачи Шарнгорст вложил все усердие, всю душу, всю свою несокрушимую энергию. Ни усталость, ни неприятности, ни физические лишения, ни нравственные страдания — ничто не устрашило его. Нужно сказать, что он ехал в Россию под чужим именем, и, чтобы не быть узнанным, вынужден был объезжать большие дороги и избегал пользоваться почтовыми лошадьми. Он жестоко страдал от неимоверной тряски крестьянских телег, и, несмотря на то, что ехал день и ночь, приехал в Петербург только через две недели. В Петербурге он остановился, или, вернее, спрятался у бывшего камердинера императора. Тут ему пришлось восемь дней ждать аудиенции. Наконец, 4 октября его провезли по проселочным дорогам в Царскосельский дворец, куда тайком отправился и император. Между ними произошло несколько свиданий; они обменивались мыслями и на словах, и письменно[1].

Вначале Александр был холоден, сдержан и не поддавался ни убеждениям, ни настойчивым просьбам. В это время его главным желанием было оттянуть разрыв с Францией до заключения мира с турками, поспешность же Пруссии расстраивала все его расчеты. Союз с нею, являясь слишком рано, преждевременно вовлекал его в войну. Уже при первом известии о вооружениях Пруссии, он умолял короля и его советников прекратить вооружения, не подвергать себя безрассудно опасности, не навлекать на себя удара молнии. Сверх того, он советовал им не показывать и вида, что они в добрых отношениях с ним, и, до известной степени, относиться с уважением к желаниям императора. Его так же, как и Наполеона, Пруссия ставила в неудобное и стеснительное положение. Своим волнением, своим беспорядочным метанием из стороны в сторону, своим безумствованием несчастная нация была в тягость обоим императорам. И тот и другой старались, сохраняя за собой право воспользоваться ею и впоследствии лишить ее воли теперь.

Александр согласился с Шарнгорстом, что война

[1] Рассказ о миссия Шарнгорста находится у Duncker'a 418—423, и более подробный, у Lehmann'a, 402—415.

неизбежна; что она будет, ужасна и решит все. Тем более нет причин, говорил он, не приступить не вовремя к столь важному шагу. Он все время высказывал трогательное участие к королю, предлагал тайный договор, обещал смотреть на вторжение на прусскую территорию как на нападение на самого себя; но лишь только Шаргнгорст начинал настойчивее просить его о практическом согласовании действий России и Пруссии, так у него являлась склонность возбуждать, а не разрешать затруднения. Тем не менее, он позволил Шарнгорсту сообщить относящиеся к ведению войны идеи, на которых останавливались в Берлине, а затем и сам развил идеи, внушенные ему Фулем. Оба плана — прусский и русский — были рассмотрены и сравнены.

По прусскому плану, как только будет произведено нападение на Пруссию, русские войска должны сейчас же покинуть свои пределы и лететь на Вислу. Не останавливаясь на этой реке, они переправятся через нее. Затем, развернувшись между Вислой и Одером, примкнув левым и правым флангами к прусским позициям в Померании и Силезии, имея опору для своих флангов в двух группах крепостей и в союзных войсках, они станут лицом к врагу и смело попытают счастья в открытом бою. Пример в прошлом показал, что в строю они могут померяться силами с Наполеоном, при условии, что место сражения будет хорошо выбрано и что они не впадут в некоторые тактические ошибки. Они должны постараться воспроизвести Эйлау и избегнуть Фридланда. Что касается русского плана, в том виде, как он был установлен в июне, то читатель вспомнит, что предварительное вступление в восточную Пруссию и в Польшу допускалось только, как побочное средство, нечто вроде усиленной разведки, за которой должно последовать добровольное отступление на позади стоящие войска; затем новое отступление до следующей группы войск — и так вплоть до позиций, на которых решено было ждать врага, уже ослабленного изнурительным походом и измученного постоянными мелкими стычками. О соединении русских армий с прусскими, за исключением наличности исключительно благоприятных условий, не было и речи. Прусские войска должны были запереться в своих крепостях, держаться в них как можно дольше, и, так сказать, образовать по сторонам пути, по которому пойдет

великая армия, ряд укрепленных мест, занятых ее врагами.

Шарнгорст подверг этот план основательной критике. В особенности он дал понять, что признать á priori необходимость отступления при приближении французов— значит отдать им всю низменную часть Пруссии с ее крайне ценными средствами. Что же касается прусских войск, то, запертые в нескольких крепостях, предоставленные самим себе, лишенные свободы, — они, рано или поздно, будут раздавлены, и монархии, бесполезно пожертвовавшей собой ради общего дела, неизбежно придется сдаться. В выражениях, откровенность которых граничила с дерзостью, Шарнгорст объяснил, что Пруссия не может осудить себя на неблагодарную роль жертвы, не может уподобиться покинутой крепости, которую оставляют на погибель среди полчищ врагов только для того, чтобы задержать их наступление; что, если царь будет упорствовать в своих намерениях, король вынужден будет испробовать единственный остающийся ему открытым путь к спасению — выслушать предложения Франции.

Из этих слов Александр понял, что Пруссия предоставляет ему на выбор только два решения: или идти в Пруссию, или смотреть на нее, как на врага. Но в будущей войне, когда Наполеон может иметь в своем распоряжении огромное количество войск, когда на его стороне наверное будет численный перевес, русским нельзя пренебрегать прибавкой от восьмидесяти до ста тысяч хорошо вооруженных, хорошо снаряженных, воспламененных патриотизмом и чувством ненависти пруссаков. К тому же, если царь допустит этой силе перейти на сторону врага, такая измена послужит дурным примером: она может заразить и других. Это облегчит составление коалиции, которой Наполеон старается охватить соперника. Пред такой перспективой Александр смутился и уступил. Нехотя, скрепя сердце, он, мало-помалу, согласился изменить еще раз свой план и вернулся к мысли о наступлении, сохраняя за собой право не переходить известных пределов. Он перестал упорствовать и согласился подписать с Пруссией военную конвенцию, которая объединила бы обе армии и, до известной степени, связала бы их судьбу. Шарнгорст был направлен к военному министру Барклаю-де-Толли и к канцлеру Румянцеву. В целом ряде совещаний, потребовавших большого труда, конвенция была подвергнута подробному обсуждению. Каждая статья устанавливалась только после долгих разговоров, и, наконец, 7 октября, конвенция была подписана[1].

По этому акту — если Наполеон, несмотря на соблюдаемое обоими государствами корректное и осторожное поведение, даст заметить, что хочет занять какую-нибудь часть прусской территории или примет слишком угрожающее положение — русские войска должны выступить в поход и с возможной быстротой двинуться к Висле. Они постараются даже, насколько позволят обстоятельства, переправиться через Вислу, но относительно этого пункта Александр не принял на себя положительных обязательств. Он приказал вычеркнуть из конвенции статью, по которой ему вменялось в обязанность продвинуть до Силезии часть своих войск. Пруссаки же с своей стороны должны уходить от нападающего, и, проскальзывая между его колонн, бежать навстречу своим союзникам и стараться соединиться с ними. Если быстрота наступления не допустит соединения с русскими, тогда они должны броситься в крепости Померании или Силезии, где сопротивление будет им облегчено близостью русских, которые станут на Висле.

Дабы русские могли скорей прийти на Вислу, Шарнгорст просил, чтобы войска царя, которые в настоящее время были в пяти переходах от границы, заблаговременно получили приказание вступить в Польшу и Германию, как только прусские власти подадут им знак и потребуют их присутствия. Александр никогда не признавал за чужими властями права распоряжаться его войсками. Поэтому было условлено, что войска выступят в поход самое позднее через восемь дней после того, как русское правительство получит от прусского короля или его генералов извещение об опасности. Одну же часть прусского государства Россия уже теперь обязывалась взять под свою охрану. Теперь же русский корпус из двенадцати батальонов и восьми эскадронов должен был выдвинуться за первую линию и стать на самой границе Пруссии, недалеко от того места, где восточная Пруссия внедряется между морем и русскими владениями. Как только начнутся враждебные действия, этот корпус должен перейти границу, прикрыть

[1] Текст конвенции опубликован Martens'ом, Traités de la Russie, VII, 24—37. Cf. Lehmann, 412—415.

Кенигсберг и защитить от внезапного нападения этот важный город, которому будут угрожать и французский гарнизон в Данциге, и варшавские поляки. Вместо Берлина, который придется покинуть в первый же момент войны, Александр обязался сохранить королю другую столицу-колыбель Пруссии, куда тот мог бы перенести свою столицу и свое правительство и где мог бы укрыться на время вторжения французов.

Вот каких уступок добился Шарнгорст от русского правительства. Если бы заключенная в Петербурге конвенция, за которой должен был последовать договор о союзе, была утверждена в Берлине, Наполеон, без сомнения, бросился бы на не переставшую вооружаться Пруссию, и война наступила бы семью месяцами раньше. Военные операции начались бы на низовье Вислы. Вместо того, чтобы в 1812 г. попасть в беспредельные пространства России, императору пришлось бы в конце 1811 г. снова начать кампанию 1807 г., и можно думать, что то, чего он так боялся, вероятно, было бы его спасением.

III

Заключенная в Петербурге военная конвенция, с ее недомолвками и оговорками, не прекратила колебаний короля; более того, она заставила его пережить ужасные дни. Если в августе он решился броситься к России, вместо того, чтобы обратиться к Франции, то это было сделано потому, что предполагаемые им у Наполеона намерения не оставляли ему другого выбора. Думая, что Наполеон не хочет иметь его своим союзником, что он собирается свергнуть его с престола, он не видел другого исхода, и в припадке отчаяния обратился за помощью к России. Теперь же более или менее определенные предложения Франции, давая ему возможность выбора, окончательно сбили его с толку. Получив свободу принять решение, он не был способен ею воспользоваться. Очевидно было, что сделать в этот решительный момент его жизни выбор между двумя открывшимися перед ним путями было свыше его сил. Он не верит, да и прежде никогда не верил, в возможность — с серьезной надеждой на успех — сопротивляться победителю при Иене. Восстать против непобедимого полководца, даже с некоторой помощью русских войск, не значило ли идти на верную смерть? С другой стороны, подчиниться Наполеону — та же смерть, правда не сейчас, но все-таки смерть — медленная и позорная. Не скрывается ли в предположениях императора западни, думал он; нет ли тут гнусного намерения — получив в свое распоряжение Пруссию, склонив ее на унизительное дело и воспользовавшись ею — впоследствии, когда у ней не будет средств к защите, вернее поразить ее? Видя на обоих путях только ужасы, Фридрих-Вильгельм никак не мог разобраться, откуда грозит меньшая опасность, не мог составить себе мнение, а тем более принять решение. «Остается только бросить жребий, — растерянно говорил он, — разве что Провидение каким-нибудь чудом откроет нам глаза»[1]. От этой терзавшей его внутренней борьбы он терял голову, лишался рассудка. Сен-Марзан, на основании ложных сведений думал, что король успокоился, сделался доверчивым и был даже «очень весел»[2], а, между тем, несчастный монарх писал 31 октября Гарденбергу: «Мне кажется, что у меня припадок горячки; мне чудится, как вокруг меня, со всех сторон, разверзаются пропасти»[3].

В конце концов, несмотря на все усилия более твердого и более последовательного в своих суждениях Гарденберга, король дал понять ему, что считает себя осужденным на французский союз[4]. Ответ России, — говорил он, — дает только условное утешение. Россия дает обязательство защищать едва половину Пруссии. Конечно, ее войска пойдут на Вислу. Но пойдут ли они с желательной скоростью? Ведь Александр согласился поневоле. А вдруг он воспользуется первым представившимся ему случаем, чтобы стать на прежнюю строго оборонительную почву, от которой отказался, когда ему приставили нож к горлу. Фридрих-Вильгельм выставлял на вид все эти соображения, которые, конечно, имели большое значение. В сущности, если бы русские дали более успокоительные обещания и тем лишили его всякой возможности извинить свою трусость, он, вероятно, остался бы недоволен ими. Главную причину его действий в это критическое время сле-

---

[1] Duncker, 402.
[2] Письмо к Маре, 1 ноября 1811 г.
[3] Duncker, 402.
[4] Id., 413—414.

дует искать в неисправимой слабости его характера. Людям с слабым и нерешительным характером присуще в критическую минуту предпочитать то решение, которое обещает им безопасность, хотя бы на самый короткий срок. Они считают себя счастливыми, когда им удается отсрочить опасности, когда они могут отдохнуть от душевных тревог; дальше они не заглядывают. Они хлопочут не о своем будущем, а о завтрашнем дне. Такую кратковременную выгоду и доставлял королю союз с Наполеоном; ясно было, что император, добившись покорности Пруссии, конечно, позволит ей жить или, по крайней мере, прозябать некоторое время. Таким образом, в перспективе у Фридриха-Вильгельма открывался период времени относительного спокойствия. Поэтому, в ту минуту, когда самые смелые из его генералов и министров, запасшись русскими обязательствами, надеялись довести его до цели своих усилий, он выскользнул у них из рук; с трудом дотащенный ими до энергичного и мужественного решения, он не в силах был удержаться на нем. Мужество окончательно покинуло его, и он упал в объятия французского союза. Партия действия, только что выигравшая дело в Петербурге, проигрывала его в Берлине.

Однако, она не сочла себя побежденной и прибегла к последней надежде. Дело в том, что, объясняя причины, заставившие его перейти на сторону Франции, король сделал оговорку. Возвращаясь к одной из своих излюбленных тем, он дал понять, что все изменилось бы в его глазах, если бы Австрия, по примеру царя, тоже согласилась защитить его от нападения, и, поддержав его левое крыло, поставила вторую подпорку под его колеблющуюся монархию. Гарденберг, думавший, что имеет основание не отчаиваться в Австрии, поймал его на слове. Он предложил обратиться к Вене с отчаянным воззванием о помощи, и, в конце концов, лихорадочные споры свелись к принятию решения, благодаря которому все осталось в неопределенном положении и которое, ничего не предрешая, задерживало окончательно решение короля. Совещания с Сен-Марзаном возобновились 6 ноября. Решено было так: приступить к более серьезным разговорам с Францией, дабы в случае необходимости сохранить за собой возможность заключить с ней союз. Тем временем Шарнгорст должен был снова пуститься в путь и через Силезию пробраться к австрийской границе. Путешествуя с еще

большей, чем в предыдущую поездку, таинственностью, избегая больших дорог, делая крюки и объезды, чтобы не попасться на глаза французских шпионов, скрываясь под чужим именем, переряживаясь и гримируясь на всевозможные лады, он должен был незаметно проскользнуть в Вену. Там он откровенно расскажет австрийцам о затруднениях и об ужасном положении Пруссии, доверит им, полагаясь на их скромность, русские предложения, выяснит значение и недочеты этих предложений и будет умолять императора Франца согласиться на взаимно-оборонительный договор между обоими германскими дворами. Теперь решение зависело уже не от Петербурга, а от Вены, куда за ним и должен был поехать странствующий ради правого дела рыцарь[1].

Фридрих-Вильгельм согласился на этот шаг ради очищения своей совести, чтобы доказать, что не пренебрег никаким средством избавиться от ненавистного союза. В глубине души он не ждал ничего хорошего от Австрии, да и вообще ни от кого. В своем беспросветном пессимизме он смотрел яснее на вещи, чем его пылкие и экзальтированные приближенные. Он более чем достаточно поплатился за эгоизм кабинетов, чтобы поверить, что в минуту глубокой скорби Пруссия добьется чего-нибудь в Вене, конечно, не считая пустых соболезнований. Вообще жестокосердная судьба отучила его верить в счастье. Он находил, что во всех его начинаниях его преследовал злой рок, и теперь предвидел самый неблагоприятный исход дела.

Как ни мрачны были его предположения, все-таки они не доходили до такой степени, чтобы он мог предвидеть висевшую уже несколько дней над его головой опасность — самую большую и самую ужасную, какая когда-либо угрожала его короне и династии. Наполеон, все более убеждавшийся в том, что Пруссия его обманывает, что она по-прежнему продолжает военные приготовления, потерял, наконец, терпение. Он занялся тем, чтобы привести в исполнение свои угрозы.

Первые донесения Лефевра не доставили ему ни малейшего удовольствия. Приехав в Кольберг, французский ревизор заметил у властей явную наклонность, по возможности, все скрыть от него. Однако, не-

---

[1] Lehmann, 429—435; Duncker, 418—423.

смотря на предписанные предосторожности, он застал рабочих за работой; заметил в большом количестве солдат, массы людей и материалов; видел выраставшие из земли вокруг крепостных стен редуты[1].

В то же время наши агенты, проживавшие на побережье, доносили ему о непрерывных работах по снабжению крепости провиантом и оружием. Один из них донес о проезде нескольких тяжелых повозок; каждая из них была запряжена девятью лошадьми и везла по направлению к Кольбургу огромный ящик, будто бы наполненный товарами, а между тем в каждом из этих ящиков была тщательно уложена и скрыта под деревянной оболочкой пушка — на что имеются доказательства[2]. Таким образом, все, кто ни наблюдал за Пруссией, ловили ее с поличным в обманных деяниях. Сверх того, узнав о прекращении переговоров с Сен-Марзаном и не зная еще о их возобновлении, император Наполеон вынес из этих затяжек впечатление, которое вполне оправдывало его раздражение и недоверие. Около того же времени до него дошло известие о выдающейся победе русских на Дунае под Рушуком, что окончательно вывело его из себя. Его гнев вылился в яростных возгласах по адресу этих «собак, этих подлецов турок»[1], давших себя побить, но под влиянием обсуждения последствий этой победы, император перенес свой гнев на Пруссию. Думая, что турки понесли более тяжелое поражение, что они больше пали духом, чем это было в действительности, считая, что теперь уже невозможно помешать их миру с царем, он боялся, чтобы русские, развязав себе руки на Восток, не решились броситься в Германию и не начали войны, подстрекнув к восстанию Пруссию, которая, обманывая его, протягивает им руку. Чтобы отнять у русских эту опору, он задумал уничтожить ее с корнем, покончив с Пруссией, ибо она непременно хочет погибнуть. «Я вижу, — говорил он, — сколько недобросовестности в прусском кабинете; я так мало верю ему, что, думаю, невозможно будет помешать его гибели»[2]. И, не принимая еще окончательного решения, он принимает меры к нападению. Ввиду того, что в настоящее время Пруссия лучше вооружена, чем два месяца тому назад, и, может быть, окажет более серьезное сопротивление, он уже не хочет предоставить это дело самостоятельному руководству Даву. 14 ноября, возвратясь из путешествия, он приглашает маршала подготовить заблаговременно и представить на его одобрение план военных операций, задача которых — внезапно напасть на Пруссию и сразу же овладеть королем, двором, правительством, администрацией и армией[3].

Маршал всегда свято исполнял приказания. Тем более теперь, когда дело шло об изыскании средств разрушить такое государство, как Пруссия, которую он считал лживой, вероломной, всегда готовой воспользоваться малейшей неудачей нашего оружия, чтобы схватить нас за горло. Он приложил к данной ему задаче все силы ума, с давних пор освоившегося с жестокостями и хитростями войны. В нем не шевельнулось ни малейшего угрызения совести при выполнении задачи, возложенной на его преданность и его патриотизм. Для нас должно быть предметом скорби, что жестокие средства, которые он предлагал применить, не возмути-

---

[1] «Едва мы приехали на дюны, — писал Лефевр 27 октября, — как очутились среди целой рощи спиленных дерев: рабочие, которых было много, заготовляли фашины. Мне показалось, что генерал Тауенцин (комендант крепости) был крайне смущен этим открытием. Мы поехали дальше, и вскоре снова наткнулись на довольно большое количество рабочих, занятых устройством шоссе, которое с одной стороны должно примкнуть к большой кольбергской дороге, а с другой — к форту, о котором я упомянул выше... Очевидно, шоссе предназначено обслуживать этот редут... Насколько я мог судить, граф Тауенцин, не ожидавший этого открытия, был в большом затруднении. Он сказал несколько слов в оправдание этой работы; подходящие выражения не давались ему; он был, как на иголках. Мы в глубоком молчании проехали все шоссе от одного конца до другого и поздно вечером вернулись обратно. Я видел все наружные работы, но не в подробностях: считаю своим долгом заметить, что мы подъезжали к редутам не ближе известного расстояния. Как только предметы делались слишком хорошо видными, тотчас же давалось кучеру приказание повернуть обратно». Archives des affaires étrangéres.

[2] Донесение консула в Штеттине, 28 октября. Archives des affaires étrangéres, volume cite. Cf. Corresp., 18241.

[1] Донесение Чернышева. 18 декабря, вышеупомянутый том, стр. 226. Наполеон писал Даву: «Русские одержали большую победу над турками, которые вели себя, как глупые животные. Я чувствую, что мир вскоре будет заключен». Corresp., 18259.

[2] Corresp., 18259.

[3] Id.

ли его, не вызвали колебаний в его великой душе. Составив и выработав до мелочей план внезапного нападения на Пруссию и ее уничтожения, он 25 ноября отправил его императору: то был ужасный план.

В день, определенный заранее, дивизия Фриана с конными егерями Бордезуля, дивизия Гюдена с двумя кирасирскими дивизиями и несколькими резервными частями, и дивизии Морана и Компана с тем, что будет к ним прибавлено, охватят со всех сторон прусскую территорию. Дивизия Фриана, выступив из Мекленбурга, где она стояла по квартирам, бросится на Штеттин и на линию Одера. Дивизия Гюдена, выйдя из Магдебурга, окружит Шпандау и все истребит в Берлине. Дивизии Морана и Компана будут действовать в промежутке между дивизиями Фриана и Гюдена, вестфальские отряды примут участие во всех движениях. Чтобы не вызывать сразу же слишком большой тревоги, приказано будет сказать в Берлине, что русские вторглись в Польшу и что, вследствие этого, французские войска занимают прусскую территорию, имея в виду двинуться против них. «Можно даже будет поручить толковому офицеру передать на словах эти уверения, а, чтобы вернее заставить поверить, он сам будет введен в обман[1].

Вслед за тем в Штеттин прибудет и сам маршал с частью 5-ой дивизии Дезе и лично будет руководить делом разгрома. «Пруссакам не дадут соединиться. Все войска и отдельные отряды будут разоружены, обозы захвачены. Властям будут даны строгие приказания: не допускать скопления отпускных (людей, уволенных в отпуск), рекрут и рабочих». В то же время, даже в тот же или на другой день по нашем вступлении, Понятовский выступит со всеми своими полками из Торна, двинется вниз по Висле и присоединится к вышедшей из Данцига дивизии Гранжана с тем, чтобы, сомкнув круг, помешать бегству и прервать все сношения между восточными провинциями и попавшим в тиски центром Прусской монархии.

До момента приведения в исполнение приговора все будет держаться в строжайшем секрете. «Этот секрет будет открыт только в последнюю минуту,—продолжал маршал,— и то только тем, кому знать надлежит. Я думаю принять меры, чтобы ввести в заблуждение о цели

---

[1] Проект Даву, из которого мы даем подробные выдержки, находится в национальных архивах, AF, IV, 1656.

похода даже дивизии Фриана, Морана, Гюдена, Компана и др. Войска узнают истинную цель похода только в тот день, когда план разоружения прусской армии уже будет приводиться в исполнение. Саксонцы получат приказ двинуться на Глогау только в тот день, когда мы будем почти на Одере. До тех пор повсюду будет царить величайшее спокойствие, и это спокойствие в значительной степени поможет ввести в обман пруссаков. Я бы предложил взять от саксонцев два или три кавалерийских полка, один или два пехотных, и одну или две батареи легкой артиллерии и употребить их для охраны путей из Берлина в Саксонию, для задержания всех, кто захочет спастись этим путем, даже частных лиц, у которых с особой заботливостью будут отбираться бумаги. Это даст возможность захватить многих агитаторов и забрать бумаги, которые дадут верные сведения об их планах. Это войско войдет как можно скорее в сообщение с колонной генерала Гюдена и будет действовать смотря по обстоятельствам: завладеет Кроссеном и т. д.».

«Я должен установить предположение, что король может быть захвачен врасплох в Берлине. Взятие в плен короля будет иметь настолько важное значение, что, по-моему, не следует упускать этого случая.

«Осмеливаюсь просить распоряжений Вашего Величества относительно всех проживающих в Берлине иностранных послов; присутствие этих господ всегда чрезвычайно вредно».

«Предлагаю задерживать всех иностранных курьеров, которые едут в Петербург или возвращаются оттуда, и, соблюдением всевозможных приличий, отбирать у них депеши».

«Я избегаю, Государь, посвящать кого бы то ни было в этот план, так что даже князь Понятовский узнает о нем только при получении приказаний; и не потому, чтобы не доверял ему,— я считаю его честным и преданным Вашему Величеству человеком, — но письмо может валяться, а в Польше много очень ловких женщин».

«Можно надеяться, что результатом этого плана будет полный разгром и что никто в Пруссии не будет знать, ни что ему делать, ни в каком положении дела, так как почти все курьеры будут перехвачены».

«Чтобы избегнуть со стороны гарнизона всякого поползновения к сопротивлению, можно на всякий случай

потщательнее сфабриковать фальшивый договор, в котором будет сказано, что король, решив действовать в тесном единении с Францией, согласился отдать на время в наше распоряжение крепости, крепостные сооружения и укрепленные пункты своей монархии. Возможно, что, по предъявлении этой бумаги, перед нами откроются все двери, и все средства будут отданы в наше распоряжение. Можно будет уверить прусские войска, что их отведут в Силезию и там возвратят их повелителю. Они узнают о своей участи и поймут, что они в плену только тогда, когда отдадутся в наши руки».

«Я прекрасно знаю, прибавляет маршал, что ни в одном слове этого проекта нет и следа законности; но это будет только платеж прусскому правительству его же монетой. Поэтому-то я и предлагаю его, а также и потому, что он выполнит желание Вашего Величества— как можно выгоднее начать дело. Возможно, что Ваше Величество отвергнет большинство изложенных в этом проекте мыслей, в особенности, мысли, относящиеся к фальшивому договору; но это можно изменить. Во мне зародилась эта мысль вследствие подобного же рода хитрости, к которой пруссаки прибегли в Майнце. Они сочинили от имени генерала Кюстена к коменданту крепости приказ сдаться на капитуляцию на наилучших условиях, так как нельзя надеяться на выручку. Сознаю, что это месть немного жестокая, но ее можно смягчить при выполнении дела».

IV

К счастью для своей славы, Наполеон отклонил этот план. Через несколько дней после того, как он потребовал от Даву, чтобы тот сообщил ему свои мысли, он узнал, что берлинский кабинет снова открыл совещания и готов принять в принципе наши условия; это было лучшей отметкой в его активе. Лефевр, продолжавший свой объезд, посетив после Кольберга Пиллау и Грауденц, доносил, что в работах произошло некоторое замедление и что люди собирались и обучались уже с меньшей энергией; ему даже показалось, что общество устало, что в умах заметна наклонность не идти против неизбежного и допускается идея вполне отдаться на волю Франции[1]. В первый раз — это собственные слова Наполеона, сказанные князю Шварценбергу — император нашел, что Пруссия, «как будто хочет исправиться»[2], и он написал брату Жерому, «что в случае войны, она, без сомнения, пойдет с нами»[3]. Поэтому, он еще раз решил не прибегать к крутым мерам в Германии и пощадить Пруссию, но не спускать с нее глаз. Не отказываясь от решения сломить ее при малейшем подозрительном движении, он снова приложил старания привлечь ее мирным путем на свою сторону и приказал двинуть вперед переговоры о союзе.

15 декабря, в целом ряде новых инструкций Сен-Марзану герцог Бассано точнее определил условия соглашения и форму, какую надлежало им придать. В виду того, что император все еще притворялся, что считает себя в союзе с Александром, и ставил себе в заслугу, что явно не нарушает тильзитского договора, следовало соглашению с Пруссией придать такой вид, будто оно направлено против Англии; будто договору надлежит точнее определить обязанности обеих сторон в морской войне. За этим, подлежащим огласке соглашением должно было скрываться другое секретно заключенное соглашение, временной союзный договор против пограничных с Францией и Пруссией государств; наконец, этот второй акт должен был прикрыть третий, еще более секретный, которым бы устанавливалось содействие Пруссии против России.

В последнем отношении Наполеон допускал известные облегчения. Прусские войска, вместо того, чтобы рассеяться по рядам великой армии, должны были насколько возможно сохранить свою индивидуальность. Весьма слабый гарнизон допускался в Потсдам, так как король мог сделать его местом своего пребывания. На этих основах Сен-Марзану приказано было вести переговоры с прусскими министрами, выслушать их возражения, в случае надобности уступить им по некоторым второстепенным вопросам мало-помалу, не торопясь, установить с ними текст трех актов и затем представить на одобрение императора. Около этого же времени император вызвал Круземарка в Тюльери и торже-

[1] Полное донесение Лефевра из Бреславля от 24 ноября 1811 г. Archives des affaires étrangéres, Russe, 248.
[2] Duncker, 424, по донесению Шварценберга.
[3] Corresp., 18311.

ственным, решительным тоном раскрыл пред ним свою мысль и оборотную сторону медали — свое искреннее желание сговориться с Пруссией и свое решение безжалостно покарать ее, если не добьется от нее безусловной преданности и полнейшего послушания. Он сказал, подчеркивая каждое слово, что никогда не думал разрушать Пруссию и лишать династию престола из принципа. «Я предпочитаю видеть в Берлине короля, а не своего брата»[1]. Условия, продолжал он, переданные от его имени, представляют истинное выражение его желаний; но раз Пруссия вступит с ним в обязательство, он не потерпит ни затаенной мысли, ни малодушия, ни нарушения данных обязательств. Он не из тех союзников, которых бросают и к которым снова возвращаются в зависимости от колебаний военного счастья, и король сделает опасную ошибку, если вздумает последовать примеру Фридриха II, который, во время войны за австрийское наследство, переходил из одного лагеря в другой . Горе Пруссии, если она снова за жалкую и нечистую игру, и впадет в те роковые заблуждения, из-за которых гибнут королевства!

Когда это беспощадное предостережение раздалось в Берлине, где Сен-Марзан уже двинул вперед переговоры, от Шарнгорста не было еще никаких определенных известий; его миссия в Вене затягивалась, не приводя ни к какому результату. Меттерних начал с возражений по поводу выбора Шарнгорста эмиссаром. Он указал на то, что Шарнгорст слывет членом революционных сект, которые, под видом любви к отечеству, скрывают свои разрушительные стремления. Конечно, австрийская щепетильность ужаснулась при мысли о возможности общения с таким человеком. Только благодаря влиянию британских агентов удалось Шарнгорсту, приехавшему в Вену при таких условиях, войти в сношения с министром иностранных дел. Меттерних, хотя и высказывался против него, тем не менее, на первых порах принял его хорошо, и счел нужным дать ему некоторую надежду. У него были свои причины — вскоре увидят какие — не разрушать слишком рано надежд Пруссии, а держать ее известное время в неопределенном положении. Он пообещал изучить вопрос и в продолжение нескольких недель занимал Шарнгорста сладкими речами. Затем встречи с главою австрийского правительства становились все реже, и на последнем свидании, 26 декабря. просьба Пруссии была окончательно отклонена, что сделало пруссака «невыразимо несчастным». В оправдание своего отказа Его Императорское Величество сослался на расстройство финансов и на затруднительное положение внутри страны, которые не позволяют ему ставить себя в предосудительное положение ради интересов Пруссии[1].

Переписка в условных выражениях прусского правительства с Шарнгорстом уже вызвала в Берлине предчувствие этого ужасного разочарования. События оправдали короля, не оправдав министра; они отняли у Гарденберга последний аргумент против французского союза. Однако, мысль стать под ненавистное знамя, сражаться в угоду притеснителю, вселяла пруссакам такой ужас, что январь месяц подходил уже к концу, а они все еще не могли решиться на этот шаг. Гарденберг все еще смотрел в сторону Вены, и молил о каком-нибудь указании, которое дало бы ему луч надежды. Он то затягивал, то прерывал совещания с Сен-Марзаном, и, боясь вывести из терпения нашего посланника, дрожащей рукой писал ему письма, уверяя его, что в этих проволочках нет злого умысла.

Наконец, когда, по возвращении Шарнгорста, ясно обрисовалось равнодушное отношение Австрии, когда вполне выяснилось, что тщетно стучались и в эту — последнюю дверь, Пруссия покорилась своей участи, склонила голову и позволила надеть на себя ярмо. 29 января 1812 г. Сен-Марзан получил уведомление, что король и его министры отказываются оспаривать наши требования. Они соглашались на все условия, какие императору угодно будет предписать им, выражая при этом надежду, что великодушный монарх, движимый благородными чувствами, по собственному побуждению, милостиво дарует им некоторое облегчение. Король выразил желание, чтобы количество наличного состава его войск не было ограничено сорока двумя тысячами человек; чтобы Франция, по занятии гарнизоном Берлина, не пропускала через него корпуса, которые выступят в поход против России, чтобы она избавила прусскую столицу от этой чересчур большой тяготы; главным же его желанием было получить известное облег-

[1] Duncker, 425, по донесению Круземарка.

[1] Duncker, 427. Cf. Lehmann, II, 434.

чение в уплате невнесенной военной контрибуции. Но ни одно из этих пожеланий не было выставлено, как условие союза, согласие на который давалось во всяком случае. Пруссия уже не вела переговоров, она просила и умоляла[1]. В первых числах февраля Наполеон понял, что она отдается ему, как существо, потерявшее силу и волю; ему оставалось только протянуть руку, чтобы овладеть ею.

Тогда он занялся Австрией. Соглашение с нею в общих чертах было намечено около года тому назад. С тех пор и до настоящего времени серьезных разговоров не заводили, а только кокетничали, довольствуясь больше намеками. Теперь, по мнению Наполеона, пришло время упрочить отношения и, не подписывая пока договора, заручиться союзом. 17 декабря он открылся Шварценбергу. Довольно разговоров, сказал он австрийскому посланнику: время начинать переговоры; пора ясно изложить обоюдные обязательства и заменить «болтовню»[2] делами и итогами.

Приглашение императора объясниться не поставило Шварценберга в затруднительное положение, ибо двор его только что снабдил его инструкциями, что дало ему возможность не только ответить на наши предложения, но, в случае необходимости, и предупредить их. В ту минуту, когда император с ясными словами обратился к венскому двору, тот шел уже к нему навстречу, и, нужно прибавить, что это движение, сверх всякого ожидания несчастной Пруссии, было ускорено миссией Шарнгорста.

По призыву на помощь из Берлина, по отчаянному воплю Пруссии, Меттерних мог определить, до какой опасности, до какого ужаса она дошла. Он понял, что Пруссия накануне отчаянных решений; что задерганная двумя оспаривающими ее друг у друга императорами она готова броситься на шею тому или другому. Австрийцам существенно важно было не дать этому событию захватить себя врасплох. Меттерних думал так: если Пруссия заключит союз с Россией, если она обопрется на нее, чтобы дать отпор требованиям Франции, Наполеон непременно нападет на нее. По всей вероятности, он с первого же удара раздавит и разнесет

[1] Сен-Марзан Марэ, 29 января 1812 г.

[2] Донесение Меттерниха своему государю, 15 января 1812 г. Mémoires de Metternich, II, 442.

ее вдребезги. В таком случае Австрия проявит к ней теплое участие, прольет слезу по поводу постигшего ее великого бедствия. Но, отдав долг приличиям, не следует ли выступить с претензиями на наследство соседки? В течение целого столетия Пруссия росла и округляла свои владения за счет соседей. В останках этого, созданного грабежами государства все признают и найдут свое добро. Разве нет у Австрии основания напомнить, что Силезия незаконно была отнята у нее Фридрихом II, и что, по праву собственности, она должна вернуться к прежнему владельцу. Но, чтобы с успехом потребовать возврата Силезии, Австрии следует заранее втереться в милость верховного распределителя земель и провинций. Договор о союзе с императором даст ей право явиться на раздел Пруссии. С другой стороны, если Пруссия будет искать спасения в покорности и заключит союз с Францией, прежде чем это сделает Австрия, император Наполеон, заручившись одним из двух немецких государств, будет менее нуждаться в другом и предложит ему не столь выгодные условия. Конкуренция Пруссии понизит цену на союз с Австрией; австрийский двор может остаться позади, так сказать, за флагом. Вот почему, как при первом так и при втором предположении австрийский двор должен как можно скорее войти в соглашение с Наполеоном и занять в Тюльери вполне определенное положение[1]. 28 ноября Меттерних пригласил Шварценберга упредить Пруссию, и, явившись к императору, откровенно заговорить о союзе; сам же решил на некоторое время поддерживать несбыточные надежды Шарнгорста и оттянуть решительные шаги Пруссии. Вот благодаря чему Наполеон, приступив с австрийским посланником к обсуждению вопроса о союзе, нашел в нем человека, уже снабженного инструкциями.

На совещании 17 декабря легко пришли к соглашению. Австрия обязалась действовать заодно с нами против России. Она согласилась выставить вспомогательный корпус. За это Наполеон гарантировал ей, если бы она того пожелала, обмен Галиции на Иллирийские провинции в том случае, если результатом вой-

[1] Донесение Меттерниха опубликовано в его *Мемуарах*, 422—435. Этот документ по ошибке был помечен 28 декабря, но Меттерних, говоря позднее о своем труде, относит его на 28 ноября.

ны будет возрождение Польши. Кроме того, он позволял ей надеяться на приобретение на Дунае — в тех румынских княжествах, которые он считал потерянными Турцией, и глухо намекнул на улучшение границ со стороны Германии. Что же касается Силезии, о которой было упомянуто только вскользь, то он не прочь был вернуть ее Австрии при малейшей попытке Пруссии уклониться в сторону и кинуться в пропасть[1]. Получив уведомление об этом совещании и его результатах, Меттерних предоставил Шварценбергу полную свободу заключить союз и снабдил его полномочиями. Наполеон вскоре убедился, что венский двор, подобно берлинскому, ждет для заключения договора только его соизволения и готов дать свою подпись, когда ему будет угодно.

Таким образом, на громадной шахматной доске Центральной Европы, где завязалась игра различных сил, все устроилось, благодаря целому ряду шагов, приведших к результатам, как раз обратным тем, каких желали достигнуть Россия и Пруссия. Так как русский император, движимый политическими и стратегическими соображениями, не решился взять на себя защиту Пруссии в том виде, как она того желала, и не согласился слишком далеко забираться в Германию, Пруссия, с отчаяния, кинулась к Австрии с просьбой о совете и помощи, ища у нее точки опоры. В свою очередь и Австрия испугалась, как бы ее соседка не выкинула какого-нибудь безрассудного поступка, который мог и ее поставить в нежелательное положение. Видя, как с поразительной быстротой надвигаются важные события, и желая их использовать, она не нашла иного способа, как сговориться с тем, кому, по-видимому, суждено было управлять ими. Она помчалась к императору и смиренно предложила ему свои услуги.

V

Не получая обратно из Берлина конвенции от 17 октября с королевской ратификацией, Александр понял, что у Фридриха-Вильгельма не хватило мужества довести до конца свой проект — восстать против Наполеона и попытать счастье в войне. Не допуская еще полной измены Пруссии, царь сравнительно легко примирился с решением слабовольного короля, которое позволяло ему вернуться к избранному им плану, т. е. к плану оборонительной войны, на который он возлагал столько надежд. Поэтому он ничего не сделал, чтобы оказать давление на решения Пруссии. Он снова застыл в неподвижной позе; он спокойно выслушивал подозрительные просьбы Наполеона и отвечал на них пренебрежительным молчанием. Но окружающие его не так-то легко мирились с мыслью о войне, в которой России приходилось ставить на карту свою судьбу, и мы сейчас увидим, что страшные тревоги Пруссии совпали с достойной внимания попыткой наладить возобновление переговоров между императорами и создать благоприятные условия для соглашения. Это было личным делом одного русского; честь эта принадлежит тому самому графу Нессельроде, первые выдающиеся шаги которого предвещали блестящую карьеру.

23 октября Нессельроде прибыл из Парижа в Петербург. Ему дано было разрешение оставить на несколько недель свой пост секретаря при посольстве и приехать в отпуск. Секретная миссия, которую он выполнял во Франции наряду со своими официальными обязанностями, переписка с любимцем царя и воплощенное ничтожество его непосредственного начальника — создали ему авторитет и значение гораздо выше его служебного положения. Император Александр уже смотрел на него, как на человека, которого следует иметь в виду: как на будущего министра. Со своей стороны и Наполеон публично — на аудиенции 15 августа — осыпал его похвалами. Такое единомыслие императоров в оценке его талантов внушило ему честолюбивую мысль разыграть крупную роль; возбудило в нем вполне законное желание выделиться из общего уровня, избавив свое отечество от испытаний ужасной войны.

Несмотря на глубокую преданность царю, он не мог не скорбеть и не осуждать поведения Александра. Он понимал, что государь, сперва не желавший объясняться иначе, как загадками и перифразами, а затем уклонившийся от переговоров, во многом способствовал созданию теперешнего положения вещей и в значительной степени нес за это ответственность. Упорно придерживаться этой системы — значило наверняка навлечь на

---

[1] Донесение Меттерниха по отчету, данному Шварценбергом, 15 января 1812 г. Memoires, II, 435—440.

себя войну. Нессельроде боялся за ее исход. Менее смелый, чем его государь, он думал, что ни одно государство не в состоянии самостоятельно, без союзников, померяться силами с колоссом. В то время как Александр, озаренный пророческим ясновидением, видел спасение России именно в ее обособленности, в то время, как он прекрасно распознал своих истинных и всесильных союзников — время, климат, природу и бесконечные степи, — Несссельроде верил только в силу европейских коалиций и стремился к этому избитому средству. Хотя в это время ни Пруссия, ни Австрия не отдались еще в руки Франции, однако, молодой дипломат прекрасно понимал, что в настоящее время России неоткуда ждать помощи; следовательно, думал он, необходимо во что бы то ни стало избегнуть войны. По его мнению, так как Наполеон в продолжение восьми месяцев просил, и при том с неутомимой настойчивостью, об открытии переговоров, то следовало поймать его на слове, хотя бы ради того, чтобы проверить его намерения, и высказать ему все, что было на сердце. Следовало начать переговоры, пока не поздно; следовало приступить к ним дружелюбно, с добрыми намерениями и немедленно же послать в Париж агента, уполномоченного положить конец распре. Нессельроде намекал, что готов выполнить эту роль — начать переговоры о восстановлении прежней близости и о примирении на основах, которые оба императора могли бы принять не роняя своего достоинства.

Каковы же были эти основы? На этот предмет Нессельроде на словах развил императору Александру свои мысли и затем запечатлел их в крайне интересной докладной записке, где в честолюбивом секретаре уже проглядывает государственный человек с широким кругозором[1]. Рассмотрев распрю со всех сторон, он указал, в чем, по его мнению, можно было бы поступиться и каких гарантий следовало добиться.

По вопросу о нейтральных судах он не допускал никаких уступок. И честь, и интересы России, говорил он, одинаково обязывают ее сохранить за собой свободу в делах торговли. Уже это одно должно отличить ее «от толпы слабых союзников, слепо повинующихся произволу и капризам Франции». Зато он находил, что в деле Ольденбурга Россия должна признать себя виновной и в определенных выражениях отказаться от принципа территориального вознаграждения. Что же касается Польши, то можно бы было, опираясь на предложения самого Наполеона, включить в договор, в любой форме, известную уже статью о ее невосстановлении. Но Нессельроде, обладавший положительным умом, не придавал большего, чем следует, значения этому платоническому удовлетворению. По его мнению, Россия должна иным путем искать обеспечения своей безопасности. Следовало потребовать от Наполеона, чтобы, независимо от договора, он ограничил свои наступательные силы, чтобы дал обязательство: сократить до точной цифры армию Понятовского и гарнизон Данцига, не посылать французских войск в герцогство Варшавское, постепенно вывести войска из крепостей на Одере, и освободить Пруссию, которая впредь должна служить буфером между обеими империями. В возмещение за это отступление французских сил, Россия может согласиться на некоторые меры к разоружению. Она с полным удобством может отвести свои войска на небольшое расстояние от границы, и Нессельроде советовал не делать по этому поводу слишком много затруднений. Но вот, наконец, выступает его главная мысль. «Есть еще, пишет он, один капитальный пункт, который следует рассматривать почти как краеугольный камень»: следует, чтобы, по соглашению между обоими императорами, Австрия была приглашена принять участие в их сделке и поручилась за статьи договора.

Все еще веря в силу коалиций и не зная, что Австрия уже решила предоставить себя в распоряжение императора Наполеона, Нессельроде видел безопасность и будущее России единственно в сближении с этим государством. По его мнению, вступление Австрии в франко-русское соглашение даст, по всей вероятности, следующий результат: оно установит между обоими дворами общность обязательств, интересов и прав, вследствие чего наверное воскреснет прежнее доверие, — они вновь приобретут привычку думать и действовать сообща. В недрах тройственного соглашения может образоваться тайный двойственный союз, и в предлагаемой комбинации выгода Росси будет состоять в том, что

---

[1] Мы сообщаем эту докладную записку в Приложении, под цифрой II. Все следующие ссылки до стр. 296 взяты из этого документа, в котором Нессельроде постоянно ссылается на предыдущий разговор с царем.

в настоящее время она избегнет войны, а на будущее подготовит новую коалицию, которая, смотря по обстоятельствам, будет или скрытой, или проявит себя на деле. Если же Наполеон нарушит соглашение, Австрия, поручившаяся за соблюдение такового, без сомнения, не оставит без протеста свою подпись. Она сочтет долгом чести действовать заодно с Россией, и, быть может, достаточно будет одного вида тесно связанных между собой дворов, чтоб заставить победоносного императора подумать и относиться с уважением. «Тот день, когда оба государства в первый раз дерзнут высказать одни и те же принципы и заговорят с французским правительством одним и тем же языком, будет днем, в который возродится из пепла свобода Европы. Этот день будет предвестником воскрешения политического равновесия, без которого, что бы ни делали, достоинство государей, самостоятельность государств и благосостояние народов будут только грустным воспоминанием. Таким образом, от одной хорошо рассчитанной меры получится целый ряд выгод, и Ваше Величество, отвратив грозу, увидит плоды своей мудрой политики — зачатки истинного мира, которого, — если он только совместим с существованием императора Наполеона, — при том жалком положении, в каком находятся все государства, как в моральном отношении, так и в отношении их материальных средств, можно добиться только этим путем».

При чтении этой части докладной записки, трудно отрешиться от одного воспоминания: само собой напрашивается известное сопоставление. Высказанные в ней мысли представляют точное воспроизведение тех мыслей, которые не так давно — во время ночных свиданий в Эрфурте излагал императору Александру Талейран и которое вскоре после свидания в Эрфурте он старался внушить и Меттерниху. С тех пор, как Талейран вступил с иноземным государем в заговор против властолюбивых стремлений Наполеона, он видел только один способ обуздать великого разрушителя: это создать союз двух империй, могущество которых более или менее сохранилось и пережило крушение Европы. Чем больше старался его повелитель разъединить их, тем больше прилагал он усилий их сблизить. Как Наполеон, так и Талейран, с одинаковой проницательностью усматривали в сближении, если бы таковое установилось между Петербургом и Веной, узел всякой

серьезной коалиции. Наполеон старался его рассечь, Талейран втихомолку работал над тем, чтобы завязать его, и, нет сомнения, что Нессельроде был орудием, избранным Талейраном для этой чрезвычайно важной задачи. Если припомнить, что, по приказанию Александра, Нессельроде поддерживал близкие отношения с князем Беневентским, что он получал от него советы, выслушивал дружеские признания и наставления, то предположение о случайном совпадении мыслей этих двух людей падает само собой. Мысли, изложенные Нессельроде в его записке, доказывают, что он сумел воспользоваться уроками своего наставника и что за спиной Нессельроде скрывался Талейран.

Александр горячо оспаривал эти мысли и не хотел согласиться со своим собеседником. Видно было, что он чувствовал величайшее отвращение к переговорам. Нессельроде стоял на своем. Со смелостью глубоко убежденного человека, он напомнил Александру, что его молчание ставит его в ложное и невыгодное положение; что Европа истолкует в дурную сторону причины такого молчания; что Россия упорствуя в своем нежелании вести переговоры, доставляет Наполеону прекрасный случай объявить ей войну. «Отказываться и далее от переговоров, сказал он, значит явно принять на себя вину и признать за ним право готовиться к войне с нами».

Александр не мог не признать силы этих доводов, но только в последнюю минуту высказал свое главное возражение, ту затаенную мысль, которая уже в течение года руководила его поведением. «Если кончить теперешнюю распрю соглашением, — сказал он, — то исчезнет и та обида, которую Франция нанесла нам, присоединив к себе Ольденбург». Следовательно, он желал сохранить за собой обиду против Франции; он хотел приберечь таковую с целью воспользоваться ею для открытия своих гаваней в тот момент, когда император Наполеон не будет в состоянии вести с нами войну только из-за этой причины».

Нессельроде ответил ему следующее: «Я думаю, что в этом отношении Ваше Величество может положиться на всем известный характер императора; ибо, наверное, император не замедлит дать вам новые поводы к жалобам и упрекам. К тому же, ваши обязательства с ним не вечны, и если в течение еще некоторого времени они не окажут на Англию воздействия, которого он тщет-

но надеется при помощи их добиться, Ваше Величество всегда будет вправе заявить Франции, что не может долее жертвовать интересами своей империи ради идеи, нелепость которой доказал шестилетний опыт. Никто не усмотрит в этом заявлении нарушения договоров, и если к тому времени удастся упрочить нашу оборону и довести ее до тех размеров и усовершенствований, которые она должна иметь при жизни Наполеона, я даже сомневаюсь, чтобы ваше заявление могло вызвать войну».

В конце концов Александр дал убедить себя или сделал вид, что его убедили. В это время у него была особая, крайне серьезная причина к тому, чтобы, подавив свои чувства, сделать шаг к примирению и начать переговоры или просто подобие переговоров, и, нужно признать, что Нессельроде искусно сумел придать особую цену этой случайной причине.

Победа, одержанная русскими на Дунае, дала предвиденный Наполеоном результат. Спасшийся бегством в Рущук великий визирь тотчас же приказал передать Кутузову предложение о мире и, вместе с тем, обратился в Константинополь с просьбой прислать ему инструкции и полномочия, а в ожидании их открыл переговоры. Таким образом, мир, который русские надеялись выманить втихомолку, при посредничестве Англии, был предложен им во всеуслышание. Он был почти что обеспечен за ними. Но, думал Александр, не создаст ли очевидность такого завершения войны препятствий к заключению мира? Царь знал, с каким вниманием, с какой тревогой следил Наполеон за всеми перипетиями кампании, какую цену придавал он продолжению войны, отвлекавшей боевые силы России. Теперь, думал царь, когда турки, обезумев от поражения, бросились сломя голову, в переговоры, Наполеон может решиться на самые ужасные деяния, только бы убедить турок отказаться от переговоров, только бы придать им мужество и помешать близкому миру, столь невыгодному для его политики! Нет ничего невозможного в том, что он решится двинуть в Германию главную часть своих войск, займет Пруссию, нападет на Россию или открыто будет угрожать ей, и этой косвенной помощью туркам расстроит дело русской дипломатии на Дунае. Можно думать, что именно с целью остановить Наполеона, предупредить с его стороны «нежелательные демонстрации»[1], не дать в настоящее время законного повода и возможности сделать еще шаг вперед по направлению к Северу, император Александр и счел нужным сделать попытку к примирению и возобновлению переговоров. Каков бы ни был результат, царь мог надеяться выиграть время для завершения миром войны с турками и укрепления своего левого фланга.

Нессельроде был предупрежден, что в скором времени государь пошлет его в Париж со специальным поручением. Чтобы он мог более достойным образом явиться в Тюльери, его повысили в чине. Ему нашили «еще один галун на мундире»[2] и произвели в статс-секретари, что давало ему право на звание полномоченного министра. Приблизительно в это же время Александр сказал Лористону, что, желая положить конец раздорам и отбросив ложный стыд, он решился заговорить; что хочет объясниться устами Нессельроде ясно, откровенно и, не имея в виду быть слишком требовательным, точно и искренно изложить свои желания. «Я хочу покончить и не буду делать затруднений»[3], — таковы были его слова. Он сказал, что Нессельроде будет уполномочен вести переговоры о всех вопросах вообще и о каждом в отдельности. Ему будет известен мой взгляд, его инструкции будут очень подробны, разработка их уже в ходу»[4], — прибавил Александр. Действительно, Нессельроде получил приказание подготовить для самого себя вступление к инструкциям в духе своей докладной записки[5].

Хотя план примирения был составлен весьма талантливо, но от этого он не сделался более осуществимым. Наполеон никогда не подписал бы соглашения, которое не давало ему возможности вернуть к себе Россию и вновь заточить ее в континентальную систему. Сверх того, с его стороны было бы большой наивностью, если бы он, имея на своей стороне Австрию, сам толкнул бы ее в объятия Александра. Впрочем, ему и не пришлось отклонять предложений Нессельроде. Если и допустить, что одно время царь действительно,

---

[1] Донесение Чернышева от 10—22 октября, вышеупомянутый том, 260.

[2] Слова Александра Лористону, по письму Лористона от 10 января 1812 г.

[3] Лористон Маре, 18 и 27 ноября 1811 г.

[4] Id. 16 и 22 ноября 1811 г.

[5] Archives de Saint-Pétersbourg.

желал вступить в переговоры, то это желание было очень кратковременно. Вдобавок влияния самых противоположных лагерей состязались в том, чтобы рассеять таковое. С одной стороны, Армфельт и его партия увидели в этом желании признак слабохарактерности, с другой, Румянцев, всем сердцем желая мира, не допускал мысли, чтобы примирение состоялось через другого посредника, а не через него. Ревнуя царя к Нессельроде, в котором чуял будущего министра — своего заместителя, он — по всей вероятности, и отсоветовал послать его. Александр легко позволил отвлечь себя от шага, на который согласился, скрепя сердцем. Очень скоро выяснилось, что заявление о переговорах было только приманкой, пустой выдумкой, которой имелось в виду не допускать французской диверсии в пользу Турции. В ноябре и декабре с Лористоном постоянно заводили разговор о предполагаемой командировке Нессельроде, ему говорили о ней, как о деле бесповоротно решенном; а между тем задерживали и откладывали ее под разными предлогами до бесконечности. Каждый день Нессельроде был накануне отъезда и все-таки не поехал[1].

В продолжение слишком двух месяцев Александр водил за нос нашего посланника, ожидая с минуты на минуту успешного результата своей уловки, т. е. известия о заключении мира на Дунае. Но мир не состоялся. Султан Махмуд и Диван выказали неожиданную стойкость и отказались уступить восточную часть княжеств. Дело провалилось; игра, задуманная с целью предупредить вмешательство Наполеона, потеряла смысл. Царь постарался найти и скоро нашел предлог взять обратно обещание начать переговоры.

В разговоре с пруссаком Круземарком, который имел место в Тюльери 16 декабря[2] и слухи о котором дошли до России, Наполеон сказал, что он был бы очень рад приезду Нессельроде, но, при этом добавил, что, по его мнению, было бы ошибкой придавать этому поручению торжественный характер. Эта фраза вполне

---

[1] Переписка Лористона, ноябрь и декабрь 1811 г., январь 1812 г., passim.

[2] См. донесение Чернышева от 31 декабря — 12 января, вышеупомянутый том, стр. 280—287. Cf. Thiers, XIII, 396 и Ernouf, 307—308. Каждый из этих авторов истолковывает слова императора по предвзятой системе.

выражала его мысль. Его желанием было, чтобы Нессельроде вернулся к нему не в качестве снабженного полномочиями парламентера, а в качестве простого собеседника; он хотел начать через него длительные переговоры, которые дали бы ему возможность пережить эту зиму и облегчили бы отсрочку враждебных действий до намеченного времени. Он не хотел, чтобы торжественное посольство вручило ему нечто вроде ультиматума, отказ от которого ускорил бы войну. Его оговорка относилась только к внешней стороне поручения. Александр притворился, будто понял, что она относится к сути дела. Опираясь на это ложное толкование, он тотчас же заявил, что его достоинство не позволяет ему отправить вестника мира к государю, мало склонному принять его. Затем, он добавил, — говоря уже правду, — что русские агенты доносят ему о наших усиленных приготовлениях, о скором выступлении наших войск, вследствие чего он не может унизиться до просьбы о мире под давлением надвигающейся угрозы и отказывается отправить Нессельроде.

Наполеон давно понял, что Александр отказался от намерения отправить молодого дипломата; он решил, что, быть может, у царя никогда и не было этого намерения. Лишний раз оба императора убедились в неискренности друг друга и еще более утвердились в намерении решить дело войной. Александр дал барону Армфельту «свое рыцарское слово» никогда не иметь ничего общего с Бонапартом. Он представил шведа императрице, как своего будущего боевого товарища, как брата по оружию. «Надеюсь, — сказал он, — что сделаюсь достойным его»[1]. С своей стороны Наполеон, говоря о русских, сказал Шварценбергу: «Эти сумасшедшие хотят воевать со мной; весной я начну с ними войну во главе пятисот тысяч человек»[2]. Теперь наступило время, когда, чтобы иметь возможность начать войну весной, ему нужно было соединить свои армии, созвать союзников и двинуть все силы на Север. Все пути открыты. Полное подчинение Германии дает ему свободный путь на всем пространстве от Рейна до Немана, от Майнца до Вильны. Теперь он свободно может подойти к русской земле и углубиться в ее необо-

---

[1] Tegner, III, 389.

[2] Duncker, 424, по донесению Шварценберга.

зримые пространства. Мы проследили, как, в течение шести месяцев, он добивался этого результата, с каким искусством замедлял ход событий, какими глубоко рассчитанными маневрами то успокаивал, то насиловал Пруссию; как, не спеша оплетал Австрию, как хитрил все время, всюду, с непоколебимым упорством. Странное, невыразимо тяжелое впечатление производит это зрелище: сердце сжимается от боли, когда видишь, как он неистово стремится к приобретению выгод, которые приведут его к гибели, сколько сверхчеловеческих усилий затрачивает он, чтобы добиться их; как терпеливо прокладывает себе пути к порогу той России, где закатится его счастливая звезда; с каким неподражаемым искусством обеспечивает себе путь к пропасти!





ПОХОД ВЕЛИКОЙ АРМИИ

Великая армия должна составиться из многих армий. — Места стоянки отдельных частей. — Колоссальная цифра войск. — Как их собрать воедино; какой опасности следует избегнуть. — — Какой план составил император, чтобы собрать воедино все свои военные силы и постепенно направить их в Россию. — Доведенные до мелочей усилия обеспечить тайну первоначальных движений.— Переходы войск по ночам. — Соответственные инструкции Лористону. — Система прогрессивного обмана. — Всевозможные ухищрения. — Присутствие Чернышева делается стеснительным; за ним устанавливается надзор. — Разговор в Елисейском дворце и отправленное оттуда послание. — Наконец-то Наполеон излагает свои требования относительно блокады. — Относительная искренность его предложений; их главная цель. — Отъезд Чернышева. — Розыск. — Записка в качестве улики. — Соперничество между министерством полиции и министерством иностранных дел: роль префекта полиции. — Открытие и арест виновных. — Десять лет шпионства и измены. — Предстоящий процесс. — Наполеон сдерживает свой гнев. — Испуг Куракина. — Как ведется дело, чтобы он не дал сигнала к тревоге. — Переход итальянской армии через Альпы. — Все войска приходят в движение. — Какой договор продиктован Пруссии. — Тревога в Берлине; всту-

пление французов. — Вступление во владение. — Страна ненависти. — Поход на Север. — Войска идут эшелонами. — Роль, назначенная прусскому контингенту. — Договор с Австрией. — Воззвание к Турции. — Наполеон надеется возродить Ислам. — Роль, назначенная оттоманской кавалерии. — Наполеон покоряется необходимости начать переговоры с Бернадотом. — Какие предложения были переданы наследной принцессе.— Захват шведской Померании: его последствия. — Первые разочарования. — Прибытие и развертывание наших армий на Висле. — Задуманный отъезд отложен. — Борьба с голодом. — Разговор с великим канцлером. — Коленкур против войны; упорные, но тщетные усилия Наполеона склонить его в пользу своих планов. — Настроение императора. Его слова Савари и Паскье. — Два плана кампании; Наполеон поддается влечению к Москве. — Его воображение берет верх над рассудком. — Головокружительные мечты. — По ту сторону Москвы. — Восток. — Египет. — Индия. — Разговор с Нарбонном. — Воображаемые картины далекого божественного апофеоза.

I

В феврале 1811 г. все части, назначенные войти в состав великой армии, были уже сформированы, но не были еще соединены. Они тянулись, разместившись по квартирам в Германии, северной Франции и Италии на пространстве от Данцига до Парижа от острова Текселя до Вены. Когда в северо-восточном углу этого громадного четырехугольника гарнизон Данцига едва достиг двадцатипятитысячного состава, когда герцогство Варшавское выбивалось из сил, чтобы выставить шестьдесят тысяч воинов, армия Даву, поставленная у основания Датского полуострова, насчитывала сто тысяч отборного французского войска, усиленного несколькими немецкими полками. Она должна была составить первый корпус великой армии. Далее, между Эльбой и Рейном, государства Конфедерации собрали сто двадцать две тысячи человек. Прибавив к своим войскам саксонцев, баварцев, вюртембержцев, вестфальцев, бригады Берга, Гессена и Бадена, т. е. войска, выставленные и снаряженные королями и принцами, Наполеон имел материал для сформирования трех полных корпусов—6-го, 7-го и 8-го — и нескольких вспомогательных дивизий и бригад. Для образования 2-го корпуса были назначены три дивизии Удино и две его же кавалерийские бригады, собранные у границ Вестфалии. Для 3-го — пятьдесят тысяч человек Нея, сгруппированных около Майнца. К югу от Германии, за Альпами, стояла наготове

итальянская армия, которую имелось в виду назвать 4-м корпусом. В ее состав входили, кроме нескольких французских дивизий, итальянская королевская гвардия, линейные и легкие войска Цизальпинского королевства, полк кроатов, испанский Жозефа-Наполеона полк, далматский полк, французские и итальянские егеря, — всего восемьдесят тысяч под командой Евгения, при котором назначен был состоять в роли руководителя и советника Жюно. В самой Франции ждали приказания двинуться в путь гвардия, парки тяжелой артиллерии, запасы материальной части и девять тысяч повозок для перевозки провианта. Между этими войсками носились громадные полчища кавалерии. Из них предполагалось составить отдельные, весьма подвижные и легко управляемые единицы.

Теперь дело шло о том, чтобы собрать на сравнительно небольшом пространстве почти все боевые силы всей Европы, чтобы слить и спаять в одно целое все эти разнородные элементы, чтобы создать из них одну грозную армию, поставить ее между Рейном и Эльбой, лицом к России и затем двинуть эти массы людей так, чтобы они, подобно морской волне, прокатились по всей Германии к границам России. Труд беспримерный, требовавший от императора почти сверхчеловеческого напряжения ума и точного расчета. Движения разных частей должны совершаться с неукоснительной точностью. Все пути сообщения, все средства для продовольствия войск должны быть приготовлены и обеспечены заранее, ибо достаточно малейшей ошибки, малейшего недочета, чтобы на всем пути вызвать загромождение, замешательство, беспорядок и из разноязычных, но дисциплинированных масс создать Вавилонское столпотворение вооруженных людей. Главная трудность задачи состояла в том, чтобы выполнить ее с возможно меньшей оглаской, почти неслышно. Действительно, и теперь еще русские могут, если вовремя разгадают наши планы, воспользоваться численным превосходством, могут напасть на наши аванпосты на Висле, могут опустошить страну, имеющую своим назначением снабжать нас в начале кампании провиантом, и, таким образом, отбросить назад уже надвигающееся вторжение.

Боязнь, что русские расстроят его план военных действий, постоянно преследовала Наполеона. Чтобы не допустить этого, он решил облечь глубочайшей тай-

ной свои приготовления к войне и свои начальные операции. Вскоре армия в четыреста тысяч человек должна будет потихоньку сняться с места и чуть не на цыпочках выступить в поход. Для соблюдения тишины будут приняты все меры. Постараются тщательно заглушить и подбить ватой все пружины, которые надлежит пустить в ход. Если бы концентрация войск обнаружилась, она должна продолжаться далее с молниеносной быстротой, чтобы как можно скорее поставить неприятеля пред совершившимся фактом. Затем, по мере приближения наших войск к Северу, император постарается своей речью смягчить угрожащий характер наступления. Он прикажет сказать в Петербурге, что подозрительное и непонятное поведение России вынуждает его двинуть войска и выставить их в линию но что, тем не менее, он всегда готов выслушать всякое предложение, подсказанное желанием придти к мирному соглашению. Он намерен, что дальше, то больше притворяться, все больше высказывать горячее желание вступить в переговоры, и, по мере того, как его войска будут двигаться вперед, будут усиливаться и его уверения, и настойчивые просьбы миролюбиво покончить дело.

План концентрации и выступления войск в поход, принятый Наполеоном, был следующий: Итальянская армия, как самая отдаленная, выступит первой; она перейдет Альпы, пройдет по Баварии и по прямой линии дойдет до Бамберга — центра Германии, на полпути между Рейном и Эльбой. Здесь она свернет направо и пойдет на северо-восток, по направлению к России. 2-й и 3-й корпуса, 6-й (баварский), 7-й (саксонский, 8-й (вестфальский), сообразуя свое движение с движением итальянской армии, будут равняться с ее левым крылом и строиться в одну линию с ней, тогда как 1-й корпус — корпус Даву, — быстро двинется к Одеру для того, чтобы русские, если бы им взумалось перейти в наступление, тотчас же споткнулись об эту преграду. Тем временем остальные колонны соединятся и дружно направятся к неприятельской границе. Они будут идти, смотря по обстоятельствам, то скорее, то медленнее, но всегда правильными рядами, эшелонами — сперва на Эльбу, затем от Эльбы на Одер, наконец, крадучись, направятся к Висле, причем, насколько представится возможным, будут останавливаться на каждой из этих больших рек, чтобы перевести дух, чтобы выравнять дистанцию и, пользуясь этими реками, как станциями, на которых все заранее будет заготовлено, собраться с силами и упорядочить свой поход на Север. Корпус Даву будет все время идти впереди на один эшелон, т. е. на одну реку и, подобно подвижной ограде, будет служить для других колонн прикрытием, за которым будет совершаться движение всех войск. *В это время наша дипломатия должна помогать* военным операциям. К тому времени, когда армия будет проходить через Пруссию и мимо Австрии, она должна скрепить с ними наш союз, дабы оба государства в назначенном им месте могли присоединиться и принять участие в великом походе. Таким образом, наши военные силы будут пополняться во время своего движения, и, наконец, по прибытии на Вислу, выравнявшись по левому крылу армии Даву, будут ждать прибытия императора и хорошего времени года, чтобы сделать последний шаг: достичь Немана, подойти вплотную к России и выставить перед ее границами целый ряд армий[1]).

Первые приказы были отправлены в период от 8 до 10 февраля либо самим Наполеоном, либо начальником генерального штаба, принцем Невшательским. Не было той предосторожности, к которой бы ни прибег Наполеон, чтобы обеспечить тайну. Гвардейским стрелкам, застрельщикам и артиллеристам, которые стояли гарнизоном в окрестностях Парижа и которым предстояло отправиться в Брюссель, чтобы там вместе с другими отрядами сформироваться в дивизию, предписано было выступить ночью, минуя город[2]. Эти храбрецы должны отправиться в величайший поход XIX столетия, как на воровское дело. Генерал Кольбер, который должен был отправиться в Бельгию, чтобы принять начальство над своей легкой конницей, уедет «ни с кем не простившись»[3]. Гвардейские гренадеры будут оправлены из Компьена на Мец ночью, не зная о цели похода. Действовать быстро, но молча — вот приказ, который, выйдя из Франции, пронесется с одного конца Германии до другого, и, дойдя до Эльбы, предупредив Даву, чтобы

---

[1] См. la Correspondance imperiale, февраль, март, и апрель 1811 г., и ясное изложение Thiers'a т. XIII, кн. XLIII.
[2] Corresp., 18490.
[3] Id.

тот был настороже и избегал всякого рода нескромности[1].

С особенной точностью и тщательностью принятая система была применена к итальянской армии. Жюно, которому надлежало отправиться за этой армией в Верону и затем провести ее через Альпы, предлагается скрыться из Парижа, «соблюдая глубочайшую тайну с своем отъезде и назначении — так, чтобы даже его адъютанты и прислуга не знали, куда он едет»[2]. Движение войск должно начаться самое позднее 20-го, и, даже 18-го, если это окажется возможным. Пока же войска будут скрываться, свернувшись в комок, в долинах Триента и верхней Ломбардии; только отряды сапер и артели горцев пойдут вперед для очистки заваленных снегом ущелий и для поддержания в полном порядке дорог, дабы, по выступлении армии, ничто не задержало ее движения, и чтобы она могла вступить в Германию одновременно со слухами о ее приближении[3].

Благодаря таким предосторожностям и такой быстроте, к тому времени, когда слухи о наших первых движениях дойдут до России, концентрация войск будет уже в полном ходу. Важно было устроить так, чтобы в этот период времени наш посланник в Петербург имел возможность изо дня в день опровергать опасения, которые неминуемо будут там высказываться; чтобы у него на все был готовый ответ и чтобы ему не приходилось при даче объяснений попадать в неловкое положение; нужно было в изобилии снабдить его правдоподобными, хорошо придуманными доводами, которым могли бы поверить. 18 февраля ему была отправлена длинная министерская инструкция. Эта бумага показывает, до какой степени французское правительство было изобретательно на всевозможные хитрости. В инструкции Лористону подсказывается целый ряд объяснений, которыми он может пользоваться, смотря по тому, какую стадию пути будут проходить наши войска; в ней устанавливаются известные градации двоедушия. Это целый курс прогрессивнего развития лжи и лицемерия, разработанный на пятнадцати страницах мелкого, убористого письма. Никогда дипломатия не дошла бы до такой беззастенчивости в искусстве перели-

[1] Id., 18494.
[2] Id., 18489.
[3] Corresp., 18488, 18492, 18495.

цовывать истину, если бы не видела поучительного примера такой лживости в искусстве Александра драпироваться в тогу добродетели, благородных чувств и нежной дружбы, с каким он в 1811 г. подготовлял внезапное нападение на Варшаву и вторжение в Германию[1].

В первое время, когда весть о движении наших войск появится в виде неопределенного слуха, Лористон начнет с решительного отрицания, без малейших колебаний. Вы должны, пишет ему министр, безусловно ничего не знать о движении войск вице-короля до тех пор, пока не получатся достоверные известия, что его армия в Регенсбурге. Тогда вы скажете, что не верите этому, что думаете, что дело идет о нескольких батальонах, сформированных из рекрутов римских департаментов и Тосканского герцогства; что, вероятно, эти батальоны проходят через Баварию в Дрезден. Вы можете прибавить, что, действительно, получили сведения о такого рода передвижении от пяти до шести тысяч человек. Вы дадите это объяснение в таких выражениях, чтобы не ставить себя в неловкое положение. Возможно, что, таким образом вы выиграете пять-шесть дней, а может быть, и больше.

«Когда заговорят с вами о движении войск, которые стоят в Майнце и Мюнстере, вы сначала не ответите на это, и, таким образом, выиграете еще несколько дней. Затем, вы скажете, что необходимо иметь резерв на севере, и что, на время вздорожания хлеба, нашли выгодным удалить из окрестностей Парижа известное количество потребителей и отправить их в страны, где хороший урожай. После этого, вы можете дать понять, что пока войска не перешли за Одер, на котором крепости заняты французами, нет ни малейшего повода к замечаниям; что эти движения суть внутренние, а не враждебные».

«Когда нельзя будет отрицать движения войск вице-короля, вы скажете, что Его Величество, действительно, сосредоточивает свои силы; что Россия, ведя перегово-

[1] Взгляды барона Fain'a в его рукописи о 1812 г., равно как Bignon'a и Ernouf'a, в которых проводится мысль, что у императора было искреннее желание начать переговоры и избегнуть войны, так же не выдерживают критики, как и взгляд Thiers'a, который стремится обвинить во всем Наполеона и снять ответственность с Александра.

ры и не желая войны, давным-давно сосредоточила свои войска; что Его Величество тоже не хочет войны, но что ему угодно вести переговоры при одинаковых с Россией условиях».

«Вы должны соразмерять ваши слова так, чтобы выиграть время. Вы должны каждый день говорить другое, и признаваться в чем-либо только тогда, когда в сообщенных вам депешах будет указано, что это уже известно».

«Его Величество имеет право собирать войска и артиллерию на линии Одера, равно как и император Александр имел право собрать свои войска на берегах Немана и Борисфена* и на границах герцогства Варшавского. Русские войска уже год стоят на границах конфедеративных государств, т. е. на границах Франции, тогда как войска императора еще очень далеки от русских границ».

Особенно, говорится далее в инструкции, придется позаботиться о том, чтобы предотвратить вторжение врага, в то время, когда наши головные колонны будут переходить Одер и занимать территории на Висле. Установить сперва положение, что французы, занимая страны, состоящие под их протекторатом, не превышают своих прав, и что в Варшаве они у себя дома, посланник может сказать, что, наоборот, если русские хоть на один шаг перейдут свои границы и вступят на землю наших союзников, — они тем самым совершат враждебный поступок и разрушат все надежды на мир. «В тот день, когда хотя бы один казак вступит на территорию Конфедерации, война будет объявлена». Но Лористон должен быть «скупым» на эти предостережения; в его словах угроза должна только чувствоваться; гораздо лучше, если можно пользоваться кротостью и убеждением. При этом с неустанным упорством следует говорить и повторять на все лады, в разнообразнейших видах, что император хочет сохранить мир и укрепить союз, что он до конца сохранит надежду и желание начать переговоры.

Для придания большей правдивости этим доводам и для того, чтобы заманить русских начать переговоры, Лористон повторит просьбу об отправке Нессельроде. В крайнем случае, он должен дать обещание, что наши войска не переправятся через Вислу. Наконец, как последнее средство, он может завести разговор и давать согласие на свидание императоров, но при этом должен сделать вид, что действует по собственной инициативе, без приказаний свыше, дабы дать императору возможность уклониться от свидания. «Это последнее средство, говорится в инструкции, следует пустить в ход только при последней крайности — в том случае, если русские вздумали двинуться на Вислу; этому-то движению и следует постараться помешать или задержать его предложением свидания, но не связывая императора никакими обязательствами». Словом, посланнику предоставляется полная свобода для достижения возложенной на него задачи — задержать русских, лишь бы он компрометировал себя одного, не обязывая ничем своего правительства. «Выиграть время»—вот фраза, которую постоянно выводит перо министра. Он повторяет ее до пресыщения, до пяти раз на нескольких строках, он вставляет ее еще несколько раз собственоручно в начисто переписанном тексте; ему все кажется, что он недостаточно ясно дал понять посланнику, что тот не должен отступать ни перед какими средствами, ни перед каким обманом, чтобы облегчить нашим крадучись пробирающимся войскам возможность дойти до необходимой для нападения базы, т. е. до восточной Пруссии и северной Польши, из которых император хочет создать себе трамплин, чтобы прыгнуть на Россию.

* Древнее название Днепра (Прим. перев.)

II

Когда было пущено в ход столько военных хитростей, присутствие в Париже неусыпного русского агента делалось опасным. Слишком большое усердие Чернышева начинало делаться стеснительным. Император приказал следить за ним. Но, опасаясь слишком горячего усердия Савари, он предпочел доверить это дело министру иностранных дел, своему верному Марé, который в достаточной степени усвоил себе дипломатический такт. Марé обратился к своему другу барону Паскьé, префекту полиции. Паскье дал ему одного из своих искуснейших сыщиков, полицейского чиновника Фудра, организовавшего целый штат шпионов, донесения которых передавались непосредственно в министер-

ство иностранных дел. Но герцог Ровиго, чувствуя, что дело назревает, и не желая выпускать его из своих рук в момент его раскрытия, продолжал, не взирая ни на что, следить за Чернышевым с усердием подозрительного человека и не спускал с него глаз. Он, со своей стороны, тоже передал в префектуру полиции надлежащие наставления и приказания, так что полиции пришлось установить надзор одновременно за счет обоих министерств. Все приемы полицейского розыска пущены в ход. В гостинице, где жил Чернышев, поселили, под видом жильца, шпиона, с поручением следить за флигель-адъютантом день и ночь; другому лицу, искусившемуся в искусстве разбираться в тайнах секретных замков, поручено было исследовать его денежный сундук[1].

По прошествии нескольких дней было установлено, что Чернышев только что добыл таблицу, на которой с ужасающей точностью была воспроизведена вся новая организация армии. Узнав об этом дерзком хищении, Наполеон убедился, что ему изменяют самым недостойным и наглым образом. Дело шло уже не о какой-нибудь преступной неосторожности, имеющей случайный характер, а о том, что был какой-то негодяй, француз, который обо всем давал сведения будущему врагу и торговал своей родиной.

Наполеон решил показать пример строгости и разыскать и наказать предателя. Не сдерживая более Савари, он предоставил ему полную свободу действовать, не лишая, однако, Маре́ права продолжать его розыски, и, таким образом, устроил между министрами нечто вроде конкурса. Но он хотел покарать сообщников Чернышева только после его отъезда. Он не хотел приобщать полковника к делу о преследовании, ибо это преждевременно осложнило бы нашу ссору с Россией. Чтобы сплавить его, он придумал средство, которое могло послужить на пользу принятой им системе — до поры до времени скрывать свои намерения. Он решил отправить Чернышева в Петербург с секретным поручением непосредственно к самому Александру. Прибегая к приему, где успех его изощренной хитрости мог доставить ему истинное наслаждение, он задумал воспользоваться русским шпионом, чтобы вернее обмануть Россию; он решил отправить с ним предложение начать переговоры, более точное, более подробное, чем все предыдущие, но которое было исключительно военной хитростью.

[1] Memoires de Pasguier, I, 518; Mèmoires de Rovigo, V, 208—220.

25 февраля он приказал герцогу Бассано привезти Чернышева в Елисейский дворец. Там, в продолжение двух часов, он говорил с ним степенно, сдержанно, как будто заранее обдумал каждое слово[1]. Любезно обходясь с Чернышевым, он, тем не менее, намеками дал ему понять, что ему известны все его проделки и что тому не удалось провести его. Зная, что когда молодой офицер придет в Петербург, там уже будет известно о наших приготовлениях к войне, он и не подумал отрицать их; напротив, он, не стесняясь, признался в них, но употребил все свое искусство, чтобы доказать, что из этого вовсе не вытекает неизбежность войны.

И в этот раз, в самых энергичных и торжественных выражениях, он заявил, что у него нет предвзятого намерения восстановлять Польшу; что не это заставляет его вооружаться, а справедливые поводы к недоверию, которые доставила ему Россия, в особенности, систематическое молчание, которым отвечают на все его просьбы объясниться и начать переговоры. «Более пятнадцати месяцев, сказал он, я надсаживаюсь, прося о присылке инструкций князю Куракину. Однако, ничего не было сделано. Вероятно, потому, что он не пользуется доверием своего правительства. Но, в таком случае, отчего не едет граф Нессельроде? Я с удовольствием узнал, что он будет отправлен в Париж. Я надеялся, что, наконец-то, мы серьезно займемся ликвидацией наших раздоров. Однако, вот уже четыре месяца, как нам говорят о его приезде, а он все не приезжает. Отчего почти год тому назад, когда император Александр в последний раз прислал вас сюда, вам не были даны полномочия? Несмотря на то, что вы живете здесь только ради собирания военных сведений, вы хорошо познакомились с ходом дел, — вы показали свое искусство, — а в то время дела были так просты, что можно было устроить их, не сходя с места. Моя политика так ясна, я так мало скрываю свой образ действий, что, в сущности, мне все равно, кого выберут для ведения переговоров, и, если хотят, могут

[1] Весьма подробный отчет о разговоре, с подлинными словами Наполеона, находится в донесении Чернышева и был опубликован без обозначения числа Императорским Российским Историческим Обществом, вышеупомянутый том, 125—144.

прислать мне самого Моркова (дипломата, который во времена консульства держал себя, как личный враг генерала Бонапарта), лишь бы заблагорассудили развязать язык и начать переговоры». Чтобы вызвать Россию на разговор, продолжал он, он испробовал все; он не пропустил ни одного случая. Прошлогодний разговор с графом Шуваловым, которого он перехватил на пути, и разговор 15 августа с князем Куракиным преследовали только эту цель. Он надеялся, что столько и столь настойчивых усилий могли бы, наконец, восторжествовать над умышленной неподвижностью, над непонятной сдержанностью. Но нет: он ничего не добился. Завернулись в тогу пренебрежительного молчания и упорно остаются в ней. Не прекращая вооружаться, молчат по-прежнему. Тогда, вынужденный предположить или притязания, в которых не хотят сознаться, или враждебные планы, он должен был двинуть в поход находящиеся в его распоряжении войска. Теперь он собирается покрыть Германию войсками и снова занять давным-давно покинутые позиции: усилия громадные, дорогостоящие, но не превышающие его средств, ибо у него в кассе лежат нетронутыми триста миллионов. Но этот излишек средств, обеспечивая его безопасность, отнюдь не заставляет его желать войны. Он ничего не сделает, чтобы ускорить ее. Поэтому, если русские также не имеют заранее обдуманного намерения начать войну, если подозрительные передвижения их войск внушены им их опасениями по поводу Польши, которые должны рассеяться, благодаря его откровенным объяснениям, все может быть еще исправлено или устранено, и Наполеон, придя к этим твердым выводам, предлагает соглашение на следующих трех основах:

1-е. Строгое соблюдение Россией континентальной блокады и изгнание нейтральных судов; причем блокада будет смягчена системой разрешений, подобной той, какая введена во Франции.

2-е. Торговый договор, в котором будут приняты во внимание главные требования русского тарифа, но будет изъято все, что тот акт заключал в себе «неприятного и оскорбительного для французского правительства»*.

* Очевидно, говорится об указе 19—31 декабря 1810 г. (Прим. перев.)

3-е. Соглашение, по которому Россия должна положить конец делу об Ольденбурге и сгладить неприятное впечатление ее протеста, или заявление, что она ничего не требует для принца, лишенного владений, или принятие вознаграждения, которое ни в коем случае не будет состоять ни из Данцига, ни из какой бы то ни было части варшавской территории.

По мнению Наполеона, не трудно было бы сговориться на этих основах. Возвращение России в континентальную систему будет только возвратом к первоначальным обязанностям союза. Что же касается вопросов об Ольденбурге и тарифе, т. е. о тех обидах, на которые ссылаются, разве могут они, если бы за ними не скрывалось чего-то другого, служить причиной к войне, во время которой будут пролиты потоки крови, и все человечество облечется в траур? Император, без чувства глубокой скорби, не может смотреть на то, что из-за таких пустых придирок порывается союз, внушенный ему не только разумом, но и сердцем — его сердечным влечением к императору Александру; симпатией, которую, несмотря ни на что, он не может вырвать из своего сердца; во взаимность которой он хотел бы верить и которая, думается ему, должна была бы упрочить союз на вечные времена. «Сознаюсь, — сказал он, — что два года тому назад я ни за что не поверил бы в возможность разрыва между Россией и Францией, по крайней мере, пока мы живы; а так как император Александр молод, а я должен прожить долго, я считал, что покой Европы обеспечен нашими взаимными чувствами. Чувства, которые я к нему питал, не изменились — вы можете от моего имени уверить его в этом; вы можете сказать ему, что, если судьбе угодно будет, чтобы два величайших на земле государства вступили в бой из-за пустых девичьих грешков, — я поведу ее (войну), как благородный рыцарь, без всякой ненависти, без малейшего чувства вражды и, даже, если позволят обстоятельства, предложу ему позавтракать вместе на аванпостах. Шаг, на который я сегодня решился, будет занесен в мою записную книжку в защиту моего прямодушия. Познакомив вас с моими истинными чувствами, отправляю вас к императору Александру в качестве моего уполномоченного и в надежде, что удастся еще сговориться и не придется проливать кровь ста тысяч храбрецов ради того, что мы не можем сговориться о цвете ленты».

Напускная развязность и небрежность, с какими он обсуждал вопросы, помогли ему скрыть важность высказанных им требований. В этот раз они выражали его истинные желания; сквозь все его уловки проглядывал луч искренности. Наконец-то он сбросил свою сдержанность и изложил свое основное требование — требование об изгнании нейтральных судов. Если допустить, что Россия приняла бы их во внимание, что она согласилась бы на все его предложения, отказался ли бы он от похода, отменил ли бы войну? Это вполне возможно, ибо в этом случае Александр уступил бы по всем главным вопросам и получил бы взамен ничего не стоящее удовлетворение. Он целиком примкнул бы к блокадной системе и без вознаграждения, без уверенности в своей безопасности посвятил бы себя служению нашему делу.

Наполеон принял бы такую бесхитростную покорность при условии, чтобы она была обставлена самыми точными гарантиями; без них он допускал только один исход конфликта — войну. Именно на это и указывал герцог Бассано в новой депеше к Лористону. «Император, — говорит он, — и не думает о свидании. Его даже мало заботят переговоры, которые не будут иметь места в Париже. Он не доверяет никаким переговорам; если только двинутые Его Величеством в поход четыреста пятьдесят тысяч человек с их громадными боевыми средствами не наведут петербургский кабинет на серьезные размышления, не заставят его вернуться искренно к установленной в Тильзите системе и не поставят Россию в то подначальное положение, в каком она была тогда»[1]. Из этого грубого, надменного признания вовсе не следует, что император желал уклониться от переговоров, так как именно с целью вызвать переговоры он и отправил Чернышева в Россию. Оно только подтверждает, что император никогда не будет смотреть на переговоры, как на нечто серьезное, могущее дать результаты, если Россия не перейдет теперь же на роль побежденного государства, и не вернется к положению, в каком она была непосредственно после Фридланда — в такое, когда она полагала свое счастье в возможности купить мир ценою вынужденного, признающего главенство

[1] Маре Лористону, 25 февраля.

Франции, союза. Наполеон не устранял безусловно этого предположения, он отводил ему в своих расчетах самое ничтожное место. По его мнению, Александр слишком горд, слишком возмущен, чтобы унизиться раньше, чем потерпит новые поражения. Он надеялся только на то, что русский государь, не соглашаясь на наши условия, не решится ответить на высказанное в определенной и мягкой форме предложение разрывом и немедленным нападением. Возможно, что из боязни людского мнения, быть может, даже в надежде придти к какому-нибудь компромиссу, он начнет переговоры и изложит свои встречные предложения. Таким путем начнутся и будут тянуться неопределенные словопрения «нечто вроде переговоров»[1], под прикрытием которых наши армии проберутся до своих наступательных позиций и будут ждать там подходящего для нападения времени года. Отсюда следует, что сделанные Чернышеву предложения, не будучи сами по себе ложными и фиктивными, имели целью только отсрочить войну, а не избегнуть ее.

Чтобы заставить доверчивее отнестись к молодому человеку, как к своему уполномоченному, Наполеон передал ему для императора Александра короткое вежливое письмо, в котором он ссылался на высказанные им на словах уверения. «Я остановился на решении,— писал он, — поговорить с полковником Чернышевым о прискорбных делах последних пятнадцати месяцев. Только от Вашего Величества зависит положить всему конец. Прошу Ваше Величество никогда не сомневаться в моем желании доказать вам мое глубокое к вам уважение[2].

Получив письмо императора, — что было равносильно разрешению уехать, Чернышев начал готовиться к отъезду и остался в Париже еще несколько часов — ровно столько, сколько нужно было, чтобы раздобыть план расположения гвардии и рассчитаться за него наличными деньгами. 26 февраля он сел в почтовую карету. Заподозрив из намеков императора, что за ним следят, он счел нужным уничтожить до отъезда значительное количество своих бумаг. Эта предосторожность не была лишней. Действительно, лишь

[1] Маре Отто, 3 апреля.
[2] Corresp., 18523.

только он покинул свою квартиру, туда ворвалась полиция под предводительством полицейского чиновника, руководителя установленного за ним надзора, и приступила к обыску. Осматривая и роясь во всех углах, полиция нашла только клочки писем и разорванные лоскутки бумаги. Эти сложенные вместе обрывки не представляли никакого последовательного смысла или указывали только на не стоящую внимания переписку. В камине спальни лежала груда пепла от сожженной бумаги. Чтобы разрыть этот пепел, пришлось снять лежащий перед камином ковер; под ковром нашли записку, которая соскользнула туда во время сжигания бумаг и спаслась от пламени. Записка была следующего содержания:

«Граф, вы осаждаете меня вашими просьбами. Могу ли я сделать для вас больше того, что делаю? Сколько неприятностей приходится мне переносить ради скоро уходящего вознаграждения? Вы будете приятно удивлены тем, что я дам вам завтра. Будьте дома в семь часов утра. Теперь десять часов; я оставляю перо, чтобы добыть резюме расположения великой армии в Германии на сегодняшний день. Формируется четвертый корпус, состав которого известен, но у меня нет времени дать вам подробности о нем. Императорская гвардия войдет в состав великой армии. До завтра, в семь часов утра. Подписано М»[1].

Эта записка давала несомненное доказательство измены и наводила на след виновного. Это был такого рода обвинительный лоскуток бумаги, с помощью которого сведущей в своем деле полиции нередко удается восстановить всю картину преступления.

Агенты доставили свою находку префекту полиции. Помня, что это дело первоначально было поручено ему министром иностранных дел, он счел долгом сообщить герцогу Бассано первые добытые полицией результаты и собирался отправить ему оригиналы захваченных бумаг. Но из предосторожности и чувства служебного чинопочитания хотел оградить себя от упрека со стороны своего непосредственного начальника, герцога Ровиго, и решился послать ему копии. 28 февраля Паскье был занят приготовлением этих отправок, как

[1] Этот документ хранится в национальных архивах, 17, 6575. Подробности и дальнейшие выдержки взяты из дела и из отчета о разборе дела пред судом присяжных.

вдруг его накрыл за этим делом сам министр полиции, вошедший в его кабинет под предлогом «дружеского визита». В действительности же, пронюхав о захваченных бумагах, Савари пришел потребовать их, как свою собственность, и отобрать находку.

В этом щекотливом деле Паскье поступил, как исполнительный чиновник и смышленый человек. Он передал оригиналы Савари, который вправе был их потребовать, но не подвел и другого министра: он переводил ему копии, как бы невзначай перепутав приготовленные пакеты. Вечером, когда Савари с торжествующим видом явился с докладом к императору в Елисейский дворец, где был назначен съезд ко двору, он узнал, что министр иностранных дел уже предупредил Его Величество и что он, не теряя ни минуты, передал Его Величеству полученные им из префектуры копии. Император подал пакет герцогу Ровиго. «Нате, — насмешливо сказал он, — посмотрите-ка, что тут. Вам бы не раскрыть тайных проделок русского офицера, министерству же иностранных дел удалось сделать это»[1].

Взбешенный, но не потерявший присутствия духа Савари ответил, что у него в руках нечто лучшее: не копии, а оригиналы, и что он представляет их на благоусмотрение Его Величества. Затем, горя желанием реванша, желая догнать и перегнать своего коллегу в завязавшемся между ними состязании на скорость, он тотчас же, от своего имени, отправил полицейских агентов на розыски, взял в свои руки направление следствия и повел его с необычайной быстротой. Предъявив императору подлинные документы, он дал себе клятву доставить ему имена и указать виновных.

Захваченная записка давала только заглавную букву М. Чье имя обозначалось буквой М., кто скрывался за этой таинственной подписью? Это мог быть только человек, посвященный по служебному положению в тайны расположения наших войск. Первые розыски в канцеляриях военного министерства и в военном управлении—эти службы составляли во времена империи два отдельных министерских ведомства — не привели ни к какому результату. Тогда пришла мысль прибегнуть к помощи начальника генерального штаба, в руках которого были списки расположения войск и у которого

[1] Memoires de Rovigo, V, 213. Cf. les Mémoires de Pasguier, 518—519, et Ernouf, 345—347.

могли снять с них копии. Один из главных гражданских сотрудников начальника генерального штаба высказал подозрение на некого Мишеля, которому незадолго до этого давал работу. Этого Мишеля нашли в военном управлении, где он занимал место писца в отделе по экипировке войск. Это был человек с самым красивым почерком в министерстве, но и с сомнительной репутацией *«приверженный к вину»* и живший свыше своих всем известных средств. Полиция искусно достала листок, исписанный его рукой, и, по сличению обеих записок, не оставалось уже никакого сомнения, что писал их один и тот же человек. Час спустя Мишель был доставлен в министерство полиции. Подавленный несомненными уликами, он признал записку своею, и не отрицал, что поддерживал сношения с Чернышевым через некоего Вюстингера, венца по происхождению, по профессии швейцара, занимавшего эту должность в отеле Телюссон, где помещалось русское посольство.

Чтобы раскрыть всю тайну, оставалось забрать Вюстингера. Но его нельзя было арестовать в его квартире, в посольстве, где он находился под защитой международного права и наравне с другими пользовался правом экстерриториальности. Чтобы выманить его из этого неприкосновенного убежища, полиция устроила ему западню. Пользуясь общеизвестной хитростью, она заставила Мишеля, бывшего уже в тюрьме, написать Вюстингеру, не сообщая, конечно, что находится в заключении, и назначить ему свидание в одном кафе, где они обыкновенно встречались. Ничего не подозревая, немец явился на приглашение. Лишь только он вошел в назначенное кафе, его задержали и отвели в крепость. Между тем, дальнейшие признания Мишеля и обыски в его квартире привели к аресту еще нескольких чиновников, заподозренных в том, что помогали ему в его преступных деяниях. Объяснения арестованных лиц, подтверждая и выясняя показания каждого из них в отдельности, вывели на свет все козни, раскрыли все дело о подкупах, уже давно организованное русскими агентами в главных управлениях Франции.

Тайные сношения начались за восемь-девять лет до описываемых событий. Во времена консульства, поверенный в делах Убри, случайно войдя в сношения с Мишелем, служившим тогда в канцелярии по передвижению войск, почуял в нем человека с подлой душой и продажной совестью. Прельстив его денежным подарком, он сумел обойти его, ввел в соблазн, развратил и, в конце концов, выманил у него некоторые военные сведения. Разрыв 1804 г. и последовавшая затем война прекратили эти сношения; но русские агенты пользовались каждым миром, каждым возобновлением сношений, чтобы вновь связать порванную нить, и даже союз 1807 г. не нарушил этого традиционного обычая. За время пребывания в Париже двух посланников, аккредитованных после 1807 г. — графа Толстого и князя Куракина — вспомнили о Мишеле. Средство найти его было самое простое, так как, если менялись посланники и секретари, то швейцар посольства оставался на своем месте. Так было и с Вюстингером. Он оставался на своем месте, и одной из обязанностей несменяемого швейцара было восстановлять время от времени сношения с Мишелем, которого он никогда не терял из вида. Лично посланники не принимали участия в этой торговле, вероятно, даже не знали о ней. Обыкновенно это дело поручалось кому-нибудь из причисленных. Сперва им заведовал Нессельроде, затем другой агент, некий Крафт. Наконец, явился Чернышев. Желая отличиться и повести дело лучше других, он счел нужным, рядом с казенным, если можно так выразиться, шпионством, действовавшим благодаря усердию чинов посольства, создать свое и завел свое собственное разведывательное бюро. Он вошел в сношения с Мишелем, и, улучшив существовавшую до сих пор систему, довел ее до своего рода совершенства.

Мишель, перейдя в отдел по экипировке войск, не мог многого знать лично, но он внес подкуп в другие отделы, заручился связями и, таким образом, устроил себе косвенный доступ в места хранения наших тайн. В одном из своих преступных деяний он проявил себя поистине мастерской штукой. Нужно сказать, что дважды в месяц в военном министерстве составляли — только для сведения императора — таблицу, в которой очень подробно указывались сила и размещение всех армий, всех корпусов до самых незначительных отрядов, до рот включительно. Мишель ухитрялся знакомиться с этим секретнейшим и наисвященнейшим документом, в котором хранилось военное счастье Франции, прежде императора. По изготовлении таблицы, мальчику при министерской канцелярии Мозе поручалось отнести ее к переплетчику для наклейки ее на картон, чтобы

Его Величество, которому она затем вручалась, удобнее было перелистывать таблицу. Мальчик должен был сходить к переплетчику в строго рассчитанный срок. Соблазненный несколькими «пятифранковыми монетами», Мозé ускорял шаги, и, выигрывая время, имел возможность сделать привал у Мишеля, которому и отдавал на время таблицу.

Мишель совратил также с пути долга причисленного к отделу по передвижению войск канцелярского служителя Сажé и одного молодого кописта, по фамилии Салмон. Саже доставлял самые документы, предназначенные для русского офицера, Салмон переписывал их, и, таким образом, под руководством Мишеля была устроена в пользу иностранца целая мастерская для производства извлечений из секретнейших документов.

Чернышев платил доставителю сведений более или менее крупные суммы, выдавая их довольно неаккуратно, но, главным образом, питал его надеждами, и, впутывая в эти мерзости августейшее имя, осмелился обещать личное покровительство царя и пенсию, которая навсегда обеспечила бы предателя от нужды. Иногда на Мишеля нападали угрызения совести и страшная тоска. Сознавая всю важность содеянных им преступлений, страшась их последствий, он пытался отделаться от Чернышева. Тогда Чернышев прибегал к более сильным средствам соблазна, или же, выказывая скрывавшуюся под слащавой внешностью грубую и жестокую натуру, заговаривал с чиновником угрожающим тоном. Он безжалостно напоминал несчастному, что тот уже не принадлежит себе; что он зависит от того, кто может его погубить. Эти высказываемые надменным тоном угрозы и невыносимые требования были первым наказанием предателю, которого его преступная деятельность поставила в безвыходное положение. Если желаемые Чернышевым сведения не доставлялись достаточно быстро, он отправлялся разыскивать Мишеля даже в его отдаленной квартире, на улице de la Planche; но обыкновенно свидания происходили в посольстве у Вюстингера. Здесь, в комнате лакея, изящный офицер встречался с гнусным писцом и вел с ним подлый торг.

Тотчас после этих отвратительных свиданий он устремлялся в высшие сферы. Использовав низших чинов администрации, он старался узнать, кто среди высших чинов жил выше своих средств и нуждался в деньгах. Выяснилось, что он предлагал, правда, безуспешно, четыреста тысяч франков одному дивизионному командиру, что пытался провести шпионов даже в главную квартиру великой армии. В министерстве внутренних дел, в министерстве торговли и промышленности были открыты следы подобных попыток. Чем дальше полиция подвигалась в деле своих розысков, тем яснее становилось, как далеко зашли козни, и тем очевиднее делались их таинственные, стелящиеся по всем направлениям, разветвления.

Эти факты были увековечены в двух донесениях министра полиции от 1 и 7 марта, представленных вместе с подтверждающими их документами императору[1]. Савари забрал к себе все документы, и, в силу своих служебных прав, потребовал выдачи даже «самых ничтожных сведений», собранных до этого министерством иностранных дел. Он все время боялся, чтобы глава этого министерства не приписал себе пред императором заслугу первых розысков, чтобы не заявил, что вел их своими собственными силами, независимо от тех, которыми располагала обыкновенная полиция. Чтобы устранить эту опасность, Савари нашел нужным в одном из своих донесений установить, что первые результаты были добыты префектурой полиции, т. е. управлением, которое находится в его ведении и под его начальством. Таким образом, он вынужден был с похвалой отозваться о деятельности префекта и о его достойном награды усердии, должен был расхваливать его успехи и увенчать его лаврами, хотя все еще сердился на него за недопускаемые подначальным положением любезности, — и, в результате, главную выгоду из этого дела извлек Паскье. От своего прямого начальника он получил не бескорыстную похвалу и сохранил за собой право на благодарность другого министра, любимца и доверенного лица императора.

Теперь в руках Наполеона было доказательство, что Россия, даже во время общепризнанной дружбы, относилась к нему недоверчиво, как к своему врагу; что она всегда питала к нему скрытую и оскорбительную вражду. С этим открытием он хотел выступить при подходящем случае против Александра и создать из него новую обиду. Он хотел громкого скандала, о котором

[1] Archives nationales, F17, 6575.

заговорила бы вся Европа. Ему нужны были не быстрое судопроизводство, не военный суд при закрытых дверях; напротив, — блестящая судебная обстановка, судьи, присяжные, широко обставленные улики, гласность публичных судебных прений с их обвинительными и защитительными речами — словом, событие в практике заседаний уголовного суда. В этих видах дело было передано парижскому прокурорскому надзору с приглашением вести его по всем правилам. Чтобы придать делу Мишеля уголовный характер, его должны были обвинять по 76-й статье уложения о наказаниях, по которой приговаривались к смертной казни те: «кто будет строить козни или входить в сношения с иностранными государствами в видах доставления им средства на случай войны с Францией»[1]. Его сообщники должны были обвиняться в соучастии в том же преступлении и понести наказание, смотря по степени их виновности.

Ввиду затяжек при выполнении судебных формальностей, уголовный суд мог произнести приговор над Мишелем и привлеченными следствием лицами не ранее, как через месяц или даже через шесть недель, т. е. в середине апреля, а этого-то и нужно было императору. Желая скандала, он, тем не менее, хотел отсрочить его до того времени, когда его войска дойдут до Вислы и займут там прочное положение, т. е. когда ему уже не нужно будет особенно заботиться о поддержании добрых отношений с Россией. В настоящее же время были приняты меры не разглашать этого дела среди публики. Журналы замолчали его; слух о нем не шел дальше политических и административных сфер, где о нем говорили с возмущением, но шепотом.

Вдруг среди этого затишья раздалась слезная жалоба. Посланник Куракин, по простоте душевной, ничего не знавший о кознях, практиковавшихся под его кровлей, никем не предупрежденный о произведенных полицией арестах, не мог понять, куда пропал его швейцар. Он спрашивал, отчего Вюстингер, уйдя из отеля днем 1 марта, так долго не возвращается. Он не далек был от мысли о каком-нибудь преступлении частного характера, о похищении, о лишении свободы, о какой-нибудь мрачной драме, жертвой которой сделался его верный слуга. С громкими воплями требовал он необходимую принадлежность своего отеля и своим растерянным видом, своей суетливостью вносил в печальное событие комический элемент. В записке, полной отчаяния, он умолял Бассано поднять на ноги полицию и приказал ей заняться необходимыми розысками. Он послал приметы пропавшего, убеждал герцога незамедлительно сделать надлежащие распоряжения, и, не сомневаясь в его содействии, заранее благодарил его[1].

Выведенный из терпения этими жалобами, Наполеон сначала поддался было искушению закрыть рот Куракину, тотчас же развернув пред его глазами самое дело. В ответе посланнику он приказал приготовить ноту, в которой приносилась официальная жалоба на Чернышева и клеймилось его поведение. Он сам продиктовал эту ноту, составив ее в сильных, чрезвычайно красивых, дышащих справедливым негодованием выражениях. «Его Величество, — писал он, — глубоко огорчен поведением графа Чернышева. Он с удивлением узнал, что человек с которым он всегда хорошо обходился, который проживал в Париже не в качестве политического агента, а как флигель-адъютант русского императора, аккредитованный особым письмом состоять при особе императора, имевший значение доверительного лица, более близкого, чем посланник, воспользовался своим положением, чтобы употребить во зло то, что у людей считается самым священным. Его Величество льстит себя надеждой, что и император Александр будет глубоко огорчен, когда усмотрит в поведении господина Чернышева роль агента, действующего путем преступного подкупа, каковое деяние осуждается и международным правом, и законами чести. Его Величество Император приносит жалобу, что при его особе, притом в мирное время, под званием, призывавщим к доверию, содержали шпионов, что позволительно только по отношению к врагу и во время войны. Он жалуется, что шпионы были выбраны не из низшего слоя общества, а из среды людей, по своему положению близко стоящих к государю»[2].

Набросав на бумаге эти ядовитые слова, Наполеон

[1] В 1848 г. эта статья была изменена за отменой смертной казни.

[1] Записки от 2 марта. Archives des affaires étrangères, Russie, 154.

[2] Corresp., 18541.

призадумался. Подобная речь пахла порохом. Она могла выдать близость враждебных действий и помешать делу усыпления, к чему император прилагал все свои старания, а известно, с каким невероятным вниманием, с какой настойчивостью направлял он все к раз намеченной цели, как всем жертвовал ради ее достижения. Он одумался, сдержал себя, подавил вспышку своего гнева. Нота не была отправлена, она осталась в портфеле. На первых порах герцог Бассано, которого Куракин осаждал своими визитами и вопросами, сделал вид, что ничего не знает об участии Вюстингера. Несколько дней спустя, приняв таинственный и серьезный вид и приложив палец к губам, он в двух словах все поведал князю. «Ваш швейцар не погиб,— сказал он. —Его пришлось арестовать, потому что он замешан в заговоре против безопасности государства и был пойман с поличным. Дело поступило в суд; назначено следствие. Суд ведет дело по установленному порядку, без огласки, со свойственной ему осторожностью. Отнесемся с уважением к этой тайне. По получении верных сведений, я не премину сообщить вам их[1].

Услышав эти слова, Куракин вытаращил глаза от изумления. Придя в ужас при мысли, что в его доме укрывался заговорщик, он не решился просить за него и ответил философскими рассуждениями о прислуге, что было равносильно извинениям[2].

Немного позднее герцог Бассано осторожно ввернул ему, что, к прискорбию, в дело замешано имя Чернышева, что против него нашлись некоторые улики. Французский министр прибавил, что с трудом допускает мысль, чтобы человек, носящий эполеты, до такой степени забыл свой долг, и что до более подробного расследования он хочет верить, что тут кроется какое-то недоразумение. Таким образом, поостереглись сразу же открыть Куракину всю истину. Ему подбавляли ее по каплям, с бесконечными предосторожностями, избегая повергнуть старца в слишком большое волнение и

---

[1] Донесение Куракина Румянцеву, 6 марта. Archives des affaires étrangères, Russie, 154.

[2] «По этому поводу, писал он в вышеупомянутом донесении, я высказал соображения, которые французский министр нашел справедливыми, потому что у него также полон дом прислуги и, конечно, трудно рассчитывать на преданность всех людей, услугами которых пользуешься и которые постоянно окружают нас».

нанести ему удар, который, отразившись в Петербурге, мог ускорить разрыв. Благодаря этим стараниям, донесения посланника не могли омрачить умиротворяющего впечатления, которое должны были произвести, в связи с успокоительными словами Лористона, письмо императора и передача Чернышевым разговора с ним.

III

Между тем как Чернышев с поручением, задачей которого было гипнотизировать Россию, совершал свой путь, началось выполнение плана движения войск, устремившихся со всех сторон к назначенным пунктам. 23 февраля выступает в поход и взбирается на Альпы итальянская армия. Она попадает в царство вечных снегов, где топоры и кирки саперов уже приготовили ей открытый путь; переходит перевалы, и в девять колонн — девятью потоками — спускается с вершин гор. Жюно сам ведет через Бреннер головную колонну — бригаду Дельзона, и, перейдя Альпы, вступает в Инсбрук во главе этих отборных «прекрасных, горящих отвагой»[1] полков. Он торопит отставшие колонны и скорым шагом направляет их на Баварию. Увеличивая их переходы, сокращая стоянки, он в несколько дней доводит свой авангард до Регенсбурга.

Его вступление в Германию служит сигналом к общему движению. Все оживает, все войска разом снимаются с мест и выступают в поход. На севере армия Даву, собравшись в плотную массу, бросается вместе с 1-ым кавалерийским корпусом на Одер; южнее, вюртембержцы под командой своего наследного принца, вестфальцы под командой Жерома, баварцы под командой Вандамма, — все сразу покидают свои места и начинают копошиться в разноплеменном муравейнике. Удино выстраивает свой корпус эшелонами по дорогам, ведущим от Мюнстера на Магдебург; Ной направляет свой корпус на Эрфурт и Лейпциг. Но уже с момента выступления, несмотря на увлечение походом, обрисовывается неравенство в достоинстве разных элементов, из которых слагается великая армия; уже теперь да-

---

[1] Герцог Абрантес начальнику генерального штаба, 3 марта, Archives nationales, AF, IV, 1642.

ет себя чувствовать их разношерстность. Ней, в одном из своих донесений, говоря с гордостью о старых своих батальонах, находит, что слишком большое количество рекрутов в других батальонах портит общее впечатление. Удино обращает внимание на истомленные и слабые полки, например, на один швейцарский полк, в котором насчитывается триста восемьдесят три больных, и на некоторые другие, в которых свирепствует лихорадка. Он приписывает эти заболевания ужасной обстановке, в какой доставлены к нему уклонившиеся от воинской повинности рекруты, которых привели в ряды армии, как арестантов, с кандалами на ногах. Лишь только Удино и Ней пустились в путь, вслед за ними выступили и пошли по их следам другие корпуса. Через Рейн началась переправа 2-го кавалерийского корпуса и кирасирских дивизий, входивших в состав 3-го корпуса. По всей линии реки, к Везелю, Кельну, Бонну, Кобленцу и, в особенности, к Майнцу — к этому главному сборному пункту, к этому громаднейшему амбару для людей и материальной части, с каждым днем все больше прибывает войск, все больше увеличивается давка. По Кастельскому мосту, впереди Майнца, безостановочно проходит корпус за корпусом, непрерывно проезжают пушки и артиллерийские обозы. После переправы на правый берег первых партий войск на смену являются другие. Вдали виднеются уже колонны гвардии; 1-ая дивизия молодой гвардии должна переправиться у Дюссельдорфа, 2-ая у Майнца. Собравшаяся в Майнце главная квартира в свою очередь тотчас же снимается с места и тоже уходит. 29 февраля принц Невштательский отправил приказ всем входящим в ее состав «офицерам генерального штаба, офицерам артиллерийских и инженерных войск вместе с их частями, парку, артиллерийскому обозу, интендантскому обозу, управлениям, инспекторам и помощникам инспекторов, интендантам, кригс-комиссарам, главному казначею, всем чинам администрации, состоящей при главной квартире роте гренадер, жандармерии, полевым госпиталям и т. д.» выступить 5 марта одной колонной под начальством генерала Гюльмино на Фульду[1]. В других пунктах вступают в Германию артиллерийские резервы и главный парк с шестьюдесятью артиллерийскими орудиями. В тылу выступивших в поход корпусов, спеша присоединиться к своим частям, идут по тяжелым дорогам, ускоренным маршем, части запоздавших корпусов, 3-й португальский полк догоняет дивизию Леграна, один иллирийский полк и один швейцарский разыскивают герцога Эльшингена. По дорогам взад и вперед снуют отряды, которым поручено разыскивать и вести застрявшие в пути обозы; крупной рысью проносятся триста тридцать артиллерийских повозок; организуется эстафетная служба и ежедневно доставляет императору известие об армии; формируются и уже переполнены больными госпиталя; устраиваются ремонтные депо, которые забирают у населения тысячи лошадей; мчатся на почтовых вдогонку за своими частями запоздавшие офицеры, отстреливаясь по ночам от засевших у дорог мародеров и разбойников. Уже теперь толпы отсталых и отбившихся от своих частей сбиваются в одну кучу с громыхающими повозками и перепутавшимися провиантскими обозами. Около крепостей инженерными частями разрушаются дома, сносятся целые предместья, чтобы открыть вал и дать более верный прицел батареям, ибо Наполеон все предусмотрел, даже отступление и оборонительную войну. Между тем корпуса первой линии идут уже сомкнутыми рядами. Эта бесконечная лента тянется своим путем, поглощая на ходу немецкие контингенты и увеличивая свой состав всем, что встречает на пути. Вюртембержцы поступают под начальство Нея, вестфальцы распределяются между 2-ым и 3-им корпусами; баварцы становятся на правом крыле итальянской армии; саксонцы, поступившие около Дрездена под команду Реньера, должны будут, когда дойдет до них очередь, присоединиться к проносящейся мимо волне. Этот поток армий идет по всем дорогам, вдоль дорог по полям; вторгается в города, деревни, жилища; пугает и разоряет население и наполняет шумом бушующего моря всю прежнюю Германию от Ганзейского побережья вплоть до Богемии[1].

К линии Эльбы, которую уже перешел Даву, вскоре подошли и другие корпуса. Удино подошел к ней у Магдебурга. Ней у Торгау; вестфальцы дошли до

[1] Archives nationalles, AF, IV, 1612.

[1] Донесения Бертье императору, переписка Бертье с командирами корпусов, февраль и март 1812 г. Archives nationales, AF, IV, 1642. В этих документах находится подробное описание похода.

нее через Галле; итальянская армия и присоединенные к ней войска приближались обходом через нижнюю Баварию. Чтобы идти дальше, нужно было пройти Пруссией. Положение вещей требовало, чтобы уже теперь все было установлено с ней официальным порядком.

Наполеон до последней минуты откладывал заключение союза с Пруссией, решив, что гораздо лучше диктовать ей свою волю тогда, когда она будет окружена его армиями и связана по рукам и ногам. Наконец, 23 февраля, герцог Бассано пригласил к себе барона Круземарка, и, положив пред ним договор, предложил подписать. Хотя Круземарк и знал, что его двор в принципе согласился на все наши требования, но до сих пор он не получил еще особых полномочий на предмет заключения союза. Он заявил об этом. Герцог ответил, что Его Величество не формалист и не примет подобного возражения; что положение дел не допускает отсрочек, ибо наши войска уже выступили в поход, и никакие разговоры не в состоянии остановить их; что так или иначе — по соглашению ли, силой ли — они войдут в Пруссию; что для Пруссии же будет лучше, если она позволит занять свою территорию добровольно, в силу договора, а не путем насилия. Терзаемый сомнениями, Круземарк вначале слабо защищался, затем уступил, 24 февраля, в пять часов утра, после проведенной в совещаниях ночи, договор был подписан[1]. Он заключал в себе все статьи, которых требовал император, с очень незначительными изменениями. Было установлено, что оценка предметов, которые потребуются нашим войскам, будет производиться по обоюдному соглашению и стоимость их будет вычтена из сумм, подлежащих уплате в счет прежней военной контрибуции, на каковую сумму и будет уменьшен долг королевства.

2 марта, когда в Берлине не было еще известно о заключении договора, Фридрих-Вильгельм, который только что сел за обеденный стол, получил донесение, что дивизия Гюдена, составляющая правое крыло 1-го корпуса, заняла прусскую территорию. Узнав о вторжении, которое, на основании имеющихся данных, не оправдывалось никаким соглашением, король и его советники тотчас же решили, что совсем напрасно унижали себя, что Наполеон не принял изъявления их покорности и хочет стереть с лица земли Пруссию. В припадке отчаяния они мечтали о попытке к сопротивлению, о том, чтобы погибнуть с честью. Были сделаны распоряжения призвать к оружию гарнизоны столицы, Шпандау и Потсдама. В шесть часов должны были забить тревогу на улицах Берлина, а в пять часов пришло известие о договоре[1]. Этот акт, хотя и с запозданием и только по внешности, все-таки спасал достоинство Пруссии. Берлинский двор был счастлив и тем, что имел повод снова предаться смиренной и апатичной покорности. 5 марта договор, несмотря на его суровые статьи, был ратифицирован, ибо все отлично сознавали, «что этого не избегнешь: гони природу в дверь, она войдет в окно»[2].

Издали доходил уже громкий шум шагов, доносилось бряцание оружия и звуки сигналов. Это — корпус Удино, выйдя из Магдебурга, проникал в самое сердце монархии. 28 марта самая красивая дивизия корпуса, нарочно выбранная, чтобы произвести большее впечатление, вместе с четырьмя тысячами кавалерии двинулась на Берлин. Король принял маршала в Шарлоттенбурге и согласился присутствовать на назначенном в тот же день смотре наших войск. Полки должны были выстроиться на месте тотчас же по прибытии. Для большинства из них переход был очень тяжел; некоторые сделали утром десять лье. Но так как император приказал 2-му корпусу поддержать перед пруссаками честь армии и блеснуть пред ними своей прекрасной выправкой, то все постарались сообразоваться с этим приказанием. Сгорбившиеся от усталости спины сразу выпрямились, груди надулись, быстро вычищенные ружья заблестели. Батальоны и эскадроны предстали на смотре в блестящем, безукоризненном виде, «как будто к параду готовились в течение недели»[3], и бесподобным зрелищем дисциплины и мощи вызвали удивление двора и пруссаков[4].

Вступление войск в Берлин совершилось в тот же

[1] Duncker, 439—440.

[1] Duncker, 442—443.

[2] Перехваченная переписка Тарраша.

[3] Сен-Марзан Маре, 31 марта.

[4] Id. Cf. Le maréchal Oudinot duc de Regaio d'aprèles, 153—154. Souvenirs inédits de la maréchale.

вечер, в то время, когда король, приняв за своим столом маршала и чинов его штаба, возвращался в Потсдам. Ему позволили оставить в Потсдаме тысяча пятьсот пруссаков, и, из особой милости, восемьдесят инвалидов в Шпандау. Берлин поступил в ведение других хозяев. Удино со своим корпусом прошел через него, но вслед за ним явились оккупационные войска. Они сняли все посты и разместились во всех общественных зданиях, за исключением королевского дворца. На улицах виднелись только наши мундиры, слышался только наш язык; администрация и полиция были составлены из французов, и вскоре Берлин принял вид «города, не имеющего ничего общего с Пруссией»[1].

Корпус Удино продолжал свой путь на Франкфурт-на-Одере, не внося «заметного беспорядка»[2]; корпус Даву шел вдоль побережья. Направо от него — 3-й корпус и вестфальцы быстро подвигались на Бранденбург и пограничную территорию; армия Евгения через Саксонию подходила к Силезии, так что одно время французская армия всей своей тяжестью легла на Пруссию. Список предметов, требуемых от нее натурой, был подавляющ. В сроки, определенные приложенной к договору конвенцией, Пруссия должна была выставить «четыреста тысяч кенталов* пшеницы, двести тысяч ржи, двенадцать тысяч пятьсот рису, десять тысяч сухих овощей, два миллиона двести тысяч кенталов мяса, два миллиона бутылок водки, два миллиона бутылок пива, шестьсот пятьдесят тысяч кенталов сена, триста пятьдесят тысяч соломы, десять тысяч мер овса, шесть тысяч лошадей под легкую кавалерию, три тысячи под кирасир, шесть тысяч под артиллерию и повозки; кроме того, три тысячи шестьсот запряженных повозок и госпиталей на пятнадцать тысяч больных»[3]. Это значило с математической точностью лишить страну всех ее сбережений, и этот преждевременный забор в счет военной контрибуции еще более усилил глухое раздражение, с каким нас приняли в Пруссии.

На первых же порах армия наткнулась на глубоко враждебное население и почувствовала себя в атмосфере, насыщенной ненавистью. В Вестфалии и Ганновере народ еще делал различие между французами и их правительством. Все с ненавистью относились к политике императора и к его администрации, но многое прощали нашим солдатам за их веселый нрав, офицерам — за обходительный характер, и очень часто наши офицеры были приняты в семействах не как навязанные, а как желанные гости[1]. Ничего подобного не было в Пруссии. Уже одно название «француз» было синонимом омерзения. В замках, где по билетам отводился постой нашим офицерам, им не удавалось вызвать улыбки на лицах. Владельцы, на долю которых выпадала обязанность принимать их, в большинстве случаев дворяне, разоренные предыдущей войной, не хотели вступать с ними в разговор, и если языки иногда и развязывались, то только с тем, чтобы высказать таившуюся в глубине их сердец горячую надежду на реванш. В народе сквозь страх проглядывала ненависть. В самом Берлине власти изощрялись в подлостях, а между тем ни один из наших солдат не мог рискнуть выйти за черту города, чтобы не нарваться на оскорбление, чтобы не услышать вдогонку гнусных эпитетов и даже иногда не подвергнуться нападению и побоям. Проходившие через деревни отряды видели, как на них устремлены были взоры, полные ненависти; при их проходе им грозили кулаками, уста извергали проклятия[2]. В Померании крестьяне увидали в рядах 1-го корпуса ганзейские полки — таких же немцев, как и они, которые против воли шли вместе с нами. Они тотчас же начали подстрекать ганзейцев к побегу и оказывали им всевозможное содействие. Всякий беглец мог быть уверен, что найдет у них пристанище и кусок хлеба. Благодаря такому соблазну, один из немецких полков растаял до такой степени, что вынуждены были каждый вечер, на местах остановок, окружать его французскими патрулями, удерживать на месте страхом расстрела и тащить за собой, предварительно заключив в такой передвижной тюрьме[3]. Даву первый показал ужасный пример. Насилуя

---

[1] Сен-Марзан Марè, 5 мая.
[2] Id., 31 марта.
* Кентал=100 фунтам. (Прим. перев.).
[3] De Clercq II, 359—362.

---

[1] Les Souvenirs manuscripts du général Lyautey, которые нам разрешено было просмотреть, дают по этому поводу любопытные подробности.
[2] Archives nationales, AF, IV, 1691.
[3] Даву Бертье, 23 марта, Archives nationales, AF, IV, 1642.

смысл, преувеличивая строгости военных законов, он прибег к жестким мерам наказания. Расстреливали по одному подозрению. Всякий покинувший строй должен был считать себя погибшим. Один солдат был приговорен к смерти и расстрелян на месте за то, что остался несколько часов позади, ибо маршалу вообразилось, «что, по всей вероятности», этот солдат «хотел бежать»[1].

Вот как шла великая армия, силой удерживая в своих рядах элементы, раз попавшие в ее железные клещи. Но большинство удерживалось в ней узами более могучими, чем материальная сила — тем неотразимым обаянием, которое исходило от нее самой и от сиявшего ореолом славы имени того, кто стоял во главе ее; оно удерживалось тем чувством, которое внушило такому множеству глубоко несходных между собой людей желание принять участие в чем-то великом, сражаться под самыми знаменитыми знаменами, когда-либо развевавшимися над миром. Невзирая ни на что, эти люди шли, шли безостановочно, и, несмотря на суровое время года, несмотря на невозможные дороги, несмотря на трудность двигаться по пескам и торфяным болотам Пруссии, поход на Север продолжался ускоренным маршем. В начале апреля, в то время, когда передовые войска Даву были на полпути между Одером и Вислой, главная часть армии подошла к Одеру и стала вдоль реки от Штеттина до верхней Силезии.

Теперь, чтобы действовать сообразно намеченному плану, нужно было с большой осторожностью провести Даву на Вислу и поставить его в связь с передовыми войсками Франции — поляками; но сделать это нужно было, по возможности, не вызывая тревоги. Не менее важно было, чтобы маршал, вступив в крайне опасную сферу, тотчас же занял прочное положение на обоих берегах Вислы; чтобы он захватил все выгодные стратегические пункты и чтобы одновременно с этим другие корпуса были поставлены в возможность явиться к нему на помощь. Поэтому в течение марта Даву получил приказание: подойти у Торна к нижнему течению Вислы, опереть левое крыло на Данциг и прочно занять этим крылом дельту Вислы, остров Ногат и плодородный округ Эльбинг; правым же крылом войти в связь с поляками Понятовского, которые к тому времени сосредоточатся между Варшавой и Плоцком и будут опираться на эти две крепости, — и сразу же развернут внушительную боевую линию. Следовавшая за ним главная масса войск была разделена на две части. Корпуса вестфальский, баварский и саксонский, как сделавшие меньший путь, а следовательно, менее утомленные, должны были обогнать наши корпуса и вместе с самостоятельными кавалерийскими частями, которые всюду шли впереди войск, ускоренным маршем перенестись на пространство между Одером и Вислой; баварцы должны были остановиться в Познани; саксонцы и вестфальцы в Калише. Эти три контингента должны были составить в тылу Даву и поляков вторую линию, т. е. линию подкрепления. Корпуса же Нея, Удино и Евгения должны остаться пока на Одере — в третьей линии, где к ним должны будут присоединиться гвардейские дивизии и резервы[1].

Все предписанное должно быть выполнено приблизительно к 15 апреля. Дальнейшее представлялось в следующем виде: если русские вздумают перейти свои границы, Даву, вероятно, будет в состоянии выдержать первый натиск. Тогда, по первому же сигналу, три немецких корпуса бросятся ему на помощь на Вислу, где, вместе с поляками, составят большую армию под командой короля Жерома. Ней, Удино, Евгений и гвардия с возможной быстротой, форсированным маршем тоже должны поспешить к нему на помощь, и в несколько дней вся армия соберется на Висле, сольется в одно целое и станет лицом к неприятелю. Если же русские не будут трогаться с места, все войска останутся до мая месяца на указанных им в настоящее время позициях; они будут там отдыхать и устраиваться. В первой половине мая, образованная из немецких корпусов вторая линия, затем третья — из корпусов, выведенных из Франции и Италии, должны незаметно примкнуть к первой линии, т. е. к Даву и полякам; они сперва удвоят эту линию, затем утроят, и, в заключение, построившись на Висле, выставят против русских, от которых будут отделены только узкой полосой земли между Вислой и Неманом, весь свой наличный состав: девять корпусов, триста девяносто

[1] Предыдущее письмо от 23 марта.

[1] Corresp., 18584, 18587, 18588, 18593, 18599, 18605, 18608.

два батальона, триста сорок семь эскадронов, десять тысяч шестьдесят восемь офицеров, шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять офицерских лошадей, шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок три лошади под нижними чинами, двадцать пять тысяч девятьсот три обозных лошади — всего триста восемьдесят семь тысяч триста сорок три человека, девяносто восемь тысяч триста одиннадцать лошадей и девятьсот восемьдесят пушек; крупные парки армии и не находящиеся в строю в счет не идут[1].

Стоящий на крайнем левом фланге прусский контингент должен быть наготове, чтобы своевременно вступить в ряды великой армии. Входящие в его состав войска были двинуты к границам Восточной Пруссии, между Данцигом и Кенигсбергом; пока, при поддержке и под надзором Даву, они должны стеречь для нас этот столь драгоценный по своему стратегическому значению уголок земли, иначе Наполеон вынужден был бы слишком рано показать там французские войска[2]. При вступлении в пределы России великая армия мимоходом захватит пруссаков, присоединив к себе и эти двадцать тысяч человек. Из них и из дивизии Гранжана, которая в настоящее время составляет гарнизон Данцига, император хочет создать десятый корпус, командование которым будет поручено герцогу Тарентскому.

В видах усиления правого крыла и увеличения боевого фронта, Наполеон в самое последнее время обратился к Австрии с приглашением вступить в строй. Окончательное соглашение было, без серьезных споров, проведено в Париже с Меттернихом. По союзному договору, подписанному 14 марта, в наше распоряжение давалось тридцать тысяч австрийцев. За это австрийскому правительству предоставлялось право променять остатки Галиции на равную часть иллирийских провинций, далее подавалась надежда на более значительные, пока еще точно не установленные выгоды, и затем гарантировалась неприкосновенность Оттоманской империи. Задачей последней статьи было отменить сделанные России в Эрфурте уступки, возбранить русским какое бы то ни было приобретение в княжествах и, таким образом, удовлетворить интересы Австрии[1]. После подписания договора оба двора вошли в тесное общение, Наполеон воспользовался этим, чтобы послать в Вену военные инструкции и чтобы наблюдать за отправкой на Лемберг обещанного количества войск. Командование австрийцами было предоставлено князю Шварценбергу — тому самому генералу, который в течение двух с половиной лет исправлял должность посланника во Франции. Оставаясь пока при императоре, Шварценберг должен был своевременно получить от него инструкции и сигнал к отъезду. Тогда он быстро нагонит свои войска и, хорошо нашколенный, хорошо осведомленный, примет меры, чтобы в ту минуту, когда великая армия переправится через Вислу, австрийцы примкнули к ней и стали против губерний Волынской и Подольской. Присоединением прусских и австрийских контингентов Наполеон доведет армию до четырехсот пятидесяти тысяч человек и тысячи ста орудий.

Теперь — имея в виду увеличить линию обхвата и втянуть в свое дело все силы от самого крайнего Севера до юго-восточной Европы исключительно — он решил, что настало время завладеть Швецией и окончательно привлечь на свою сторону Турцию. По его планам, и та и другая, должны были взять на себя роль крайних правого и левого крыла, и, бросившись на фланги России и отвлекая ее силы, оказать содействие движению великой армии. С января наша дипломатия начала яснее высказываться в Константинополе. В феврале Наполеон окончательно срывает с себя маску пред турками. Он признается им в своих планах, предлагает взаимные и непреложные обязательства. 15 февраля Латур-Мобуру спешно посылаются инструкции, то же самое делается в марте и апреле; ему отправляются полномочия, проект договора, секретные статьи. Император ждет от турок не обыкновенной войны с Россией, а гораздо большего. Он хочет народной священной войны, поголовного ополчения, призыва всех войск и резервов Востока и массового вторжения в пределы России. Его желание — вызвать на своем правом крыле движение целой час-

[1] Вкратце изложенный список, представленный 10 марта императору начальником генерального штаба. Archives nationales, AF, IV, 1642.

[2] Corresp, 18608.

[1] См. текст договора у Clercq'a, II. 369—372.

ти света. Он надеется, что, по его голосу воскреснет старое Оттоманское государство, что оно вернется к героическому периоду своей истории, когда султаны лично водили в бой свои народы и время от времени бросали Азию на Европу. Ему нужно было, чтобы султан Махмуд дал точное обязательство покинуть Константинополь и стать во главе своих войск; чтобы было поднято священное знамя Пророка; чтобы до 15 мая, по крайней мере, сто тысяч человек были двинуты на Дунай.

После переправы через Дунай и занятия княжеств главная часть этих войск должна вступить на враждебную территорию, тогда как отряд в сорок тысяч человек, составленный преимущественно из кавалерии, направится на север и соединится с нашей армией в центре России. В воображении императора уже рисуются картины, как во время похода на его правом крыле поднимаются и несутся по степи тучи кавалерии, как вдали на горизонте разливается блеск сверкающих пик, развеваются по ветру бурнусы, слышится лязг ятаганов; как мчится в стремительную атаку присоединенный к его войскам авангард поклонников Пророка. Он думает, что спаги и арабы — эти легкокрылые всадники пустыни — будут весьма полезны в его пестрой, составленной из народов всей Европы, армии. Он будет употреблять их для несения службы на аванпостах и для небольших стычек. «Оттоманскую кавалерию, — пишут от его имени в Константинополь, — можно будет с пользой употребить против казаков. Его Величество ценит ее храбрость, и обращенный к ней призыв являет яркое доказательство его доверия»[1].

За ретивое и отважное содействие Наполеон обещает туркам вернуть им, вместе с княжествами, Крым, побережье Черного моря и все, что они потеряли в течение столетия. Чтобы еще более воодушевить их, он сам пишет султану; он объявляет туркам, что пришлет к ним посланника, генерала Андреосси, который будет для них вторым Себастиани. Он вступает в сношения с ними всевозможными способами. В пламенных речах он доказывает им, что наступил единственный в своем роде случай сразу же отомстить за все обиды, нанесенные их расе.

[1] Маре Латур-Мобуру, 8 апреля.

Гораздо труднее было наладить переговоры со Швецией, так как, вследствие надоедливых разногласий, сношения почти прекратились; осталось только подобие сношений через пассивных и безгласых поверенных в делах. Ввиду того, что Швеция не шла к нему, Наполеон счел нужным обратиться к ней, надеясь вызвать в сердце Бернадота чувство раскаяния и заставить его вернуться к нему. С этой целью он приказал сделать ему окольным путем предложение секретного характера. Наследная принцесса Швеции, проведя лето в Пломбьере, приехала в Париж и поселилась в Люксембурге, у своей сестры Юлии, королевы Испанской. Неоднократно, в припадках гнева на Швецию, Наполеон находил неприличным пребывание принцессы в Париже и приказывал сказать ей, чтобы она уезжала в Швецию[1]. Но она упорно оставалась. С своей стороны, император, когда гнев его немного утихал, закрывал глаза на неисполнение его приказаний и относился снисходительно к той, которая напоминала ему нежный роман его молодости[2]. В феврале 1812 г., встретив ее в Париже, он задумал воспользоваться ею. Герцог Бассано навестил ее и по секрету сообщил ей, чего просит и что предлагает император. Император просил Швецию снабдить его армией против России; предлагал Финляндию и субсидию в двенадцать миллионов под видом покупки колониальных товаров[3]. Принцесса обещала передать эти предложения и приложила все старания, чтобы обеспечить им успех.

К несчастью, за несколько дней до этой попытки к соглашению Наполеон решился на поступок, который точно нарочно был придуман, чтобы испортить все дело. Дело в том, что когда он приступил к отправке своих войск в Германию, он узнал, что население и власти шведской Померании все еще жили в мире с англичанами и покровительствовали их торговле. Благоразумно ли, думал он, в то время, когда мы предпринимаем такой далекий поход, оставлять в тылу у себя, в руках враждебно настроенных людей, этот клочок территории, этот узкий проход, своего рода подземный ход, через который наши враги могут попасть в Германию? Поддаваясь чувству недоверия, уступая поры-

[1] Corresp., 18230.
[2] См. Fr. Masson, Napoleon et les femmes, 13—24.
[3] Archives des affaires etrangeres, Suéde, 297. Cf. Ernof; 337.

ву ярости, которого он уже не в силах был преодолеть, Наполеон захотел, прежде всего, предохранить себя от проявления злой воли Швеции и уже потом предложить ей дружбу и прощение. 19 января он приказал Даву занять Померанию, лишь только явится уверенность, что там можно захватить «большое количество колониальных товаров»[1]. Даву, которому не был указан точный срок, решил немедленно исполнить приказание и наложил свою руку на вызвавшую подозрение провинцию.

Этим захватом мы не превысили наших прав в строгом смысле этого слова. В 1810 г. Швеции была возвращена Померания, но с условием, что она будет герметически закрыта для английских продуктов. Нарушением своих обещаний Швеция уничтожила обязательства другой стороны. Тем не менее, захват Померании был мерой неполитичной, достойной глубокого сожаления. Эта мера вызвала в Стокгольме взрыв негодования; она окончательно оттолкнула от нас все мыслящее в Швеции, дала Бернадоту основание совершить и предать гласности измену, уже решенную им в глубине души. Чтобы громогласно отречься от Франции, он удовольствовался бы и предлогом; ему предоставили повод. Оскорбление, нанесенное его народу, было слишком жгучим, чтобы он не воспользовался данным ему в руки оружием. Еще до прибытия в Стокгольм послания принцессы в Париже стало уже известно, что, в ответ на занятие Померании, шведское правительство объявило нейтралитет, что было равносильно возобновлению официальных сношений с Англией и открытому отречению от французской системы. Вскоре после того было получено сведение, что из Швеции отправился в Петербург посол с чрезвычайным поручением. Объявление нейтралитета служило только вуалью, под прикрытием которой Бернадот доводил до конца свою враждебную эволюцию и переходил на сторону врага.

Дезертирство Бернадота было первым разочарованием императора; апатичность Турции заставляла бояться второго, ибо оттоманы не проявляли особого рвения следовать нашим указаниям. С тех пор, как в Тильзите император, отрекшись от них, обманул их

[1] Corresp., 18447.

надежды, они потеряли веру в него; деятельность же нашей дипломатии в течение года не была такова, чтобы воскресить их доверие. На основании депеш Латур-Мобура боялись, как бы возобновление переговоров с Россией и вторичное открытие конгресса в Бухаресте не привели к заключению мира. Из боязни, что Андреосси приедет в Константинополь только для того, чтобы присутствовать при дипломатическом поражении Франции, император не рискнул его отправить. Таким образом, Наполеон пожинал плоды своей системы; он хотел совместить несовместимое, хотел до конца поддерживать добрые отношения с Россией и в то же время создать точки опоры против нее. Сознавая, что и в Стокгольме, и в Константинополе пути плохо были подготовлены, он предпочел обвинить в этом не самого себя, а свое министерство. «Моя дипломатия, — говорил он, — должна была бы сделать для меня половину кампании, а она почти что и не думала об этом»[1]. Однако, он считал, что эта неудача еще поправима. Он все еще надеялся, что шведы прозреют; что наши воззвания наэлектризуют Турцию; что она двинет свою армию по ту сторону Дуная, отправит флот к берегам Крыма, даже окажет давление на постоянно воевавшую с Александром Персию и уговорит ее проявить большую деятельность. Одним словом, он думал, что все народы, пострадавшие от честолюбивых стремлений царей, познают свои интересы, что они возьмутся за оружие, захотят отомстить и явятся на его зов, чтобы завершить блокаду России на пространстве от полярного круга до Каспия.

Пока же он проводит дни среди донесений, склонившись над картами. Он издали следит за походом своих армий и из Парижа руководит их движениями, день за днем, переход за переходом. Он видит, как они, одна за другой, подобно громадным волнам, подходят к Висле и разливаются на всем протяжении назначенных им мест. В тылу этого развернутого фронта он формирует огромную резервную колонну, головная часть которой касается Одера, а база опирается на центр Франции. Во-первых — между Одером и Эльбой — корпус или вернее армия из шестидесяти тысяч человек, вверенная герцогу Беллюнскому; затем кор-

[1] Неизданные документы.

пус, сформированный из датчан, под командой Ожеро. Ему поручается охрана берегов. Далее — между Эльбой и Рейном — вторая группа войск, состоящая из рекрутского набора 1812 г.; наконец, внутри империи, кроме ста тридцати запасных батальонов, приспособленные к военной службе когорты национальной гвардии, и сто двадцать тысяч ополченцев, спасшихся от рекрутского набора и взятых прямо от домашнего очага для несения внутренней службы[1]. Если прибавить к этому триста тысяч французов и союзников, оставленных императором в Испании, и дополнительные наборы, потребованные от немецких государей и Швейцарии, то окажется, что в его распоряжении миллион двести тысяч солдат, что он поставил под ружье целый род людской.

IV

Наполеон хотел выехать из Парижа в первой половине апреля[2]. Он выразил желание, чтобы императрица сопровождала его до Дрездена, где должно было состояться свидание с Их Величествами императором и императрицей Австрийскими. После непродолжительного свидания, которое должно было теснее сблизить обе императорские семьи, он хотел уже в мае быть на Висле и начать кампанию, хотя его постоянным желанием было отложить враждебные действия до июня — до того времени, когда полное развитие северной растительности обеспечит существование ста тысяч лошадей, шедших вместе с армией.

В конце марта, не получив еще ответа на послание, отправленное из Елисейского дворца, он узнал окольными путями, что император Александр высказал намерение «не делать ни одного враждебного движения до первого раздавшегося на его границах пушечного выстрела[3]. Вид линии Немана, где царило полное спокойствие и где русские войска стояли неподвижно и

[1] Thiers, XIII, 433, 452—453.

[2] Марѐ Отто, 16 марта. После подписи союзного договора с Австрией переписка министра иностранных дел с нашим посланником в Вене участилась и была настолько подробна, что может служить ценным источником для исследователя.

[3] Марѐ Отто, 1 апреля.

как бы застыли на одном месте, подтверждал это сведение. Наполеон заключил из этого, что в его распоряжении больше времени. Он решил провести в Дрездене, вместо нескольких дней, две-три недели, хотел собрать там настоящий конгресс из высочайших особ, на котором хотел выступить в качестве верховного главы Европы. Пока же он мог продлить свое пребывание в Париже до мая, и эта возможность показалась ему счастливым событием. Одного месяца ему только-только хватало, чтобы покончить с разными затруднениями внутреннего характера, которые задерживали его отъезд.

В этот год зимний сезон в Париже был особенно блестящим и оживленным. Императору угодно было этого, и все старались сообразоваться с желанием, на которое смотрели, как на приказание. Высокопоставленные особы соперничали в приемах. Празднества, вечера, концерты, балы следовали один за другим: сперва у великого канцлера и принца Невшательского, затем балы-маскарады у графа Марекальчи, балы в министерствах и посольствах[1]. Близость войны внесла особенное оживление в известные круги общества. Среди примкнувшей ко двору старой аристократии, среди молодежи предместья Сен-Жермен, это событие пользовалось большой популярностью. Золотая молодежь, которая незадолго до этого стала поступать на службу и заполнять штабы войск, с радостью отнеслась к предстоящему походу, который, думала она, доставит и ей долю славы, позволит ей стать наряду со старыми солдатами времен революции, с героями из простонародья. Она рассчитывала нахватать горы отличий. Эти юноши с увлечением готовились к войне; они предполагали вести ее в роскошной обстановке, со всеми удобствами, даже заказали себе богатейшие экипажи, которые загромождали дороги Германии; они представляли себе поход в Россию, «как шестимесячную поездку на охоту в большой компании»[2]. Какой контраст между этим юношеским задором и отчаянием, царившим в других классах общества! Там были удручающее горе, тяжкие бедствия. В нескольких провинциях появился голод. В Париже недостаток хлеба, цены неприступные; в Нормандии бунт голодаю-

[1] Mémoires de Pasgufer, I, 516.

[2] Pradt, Ambassade dans le grand-duché de Varsovie, 64.

щих — была пролита кровь. Новые наборы рекрутов вызывали сопротивление населения, бунт и беспорядки. В каждом из ста двадцати пяти департаментов отряды конных жандармов гонялись за уклонившимися от рекрутчины и охотились на людей. Со всех мест Франции, сквозь официальную лесть, доносился до императора глухой ропот лишенных потомства отцов и плач матерей.

Но из всех этих бедствий Наполеона более всего заботил голод. Голода он боялся больше всего, так как недавно, во времена революции, видел, как он выбрасывал на улицу и толкал на возмущение пришедших в отчаяние людей. В течение марта и апреля император боролся с ним предписаниями и декретами; наконец, приказом ограничил цену на хлеб и ввел закон о максимальных ценах[1]. Что же касается других бедствий Франции, то, не заблуждаясь относительно их важного значения, он рассчитывал применить к ним свое обычное средство — победу. Он говорил себе, что счастливая война на Севере будет последней войной; что она покончит с тягостным, опасным и противоестественным положением вещей — тем положением, которого нельзя долго выдержать; что, обеспечив повсюду мир, она позволит ему дать свободно вздохнуть Франции и всему миру.

В таких красках он и представлял ее как тем, у кого любил спрашивать совета, так и тем, кому хотел внушить свои мысли. Камбасересу, робко сделавшему несколько возражений, он изложил все доводы в пользу войны. По его словам, отделившаяся от нас Россия расстроит всю европейскую систему; рано или поздно она обрушится на Францию; лучше предупредить ее нападение, чем ждать его; выгоднее и для Франции, и для императора попытаться теперь же, пока император силен и телом, и душой, пока ему служит счастье, сделать решительное и последнее усилие, а не предаваться малодушным утехам непрочного мира. Этими доводами он заставил замолчать, но не убедил, великого канцлера[2].

С Коленкуром он тоже беседовал, но изредка. Порицание и оппозиция этого благородного человека, которого он любил и уважал, который никогда не интриговал, а высказывал свои мысли только ему и всегда с полной откровенностью, удручали его, вносили смятение в его душу. Будучи большим знатоком человеческого сердца, он ясно видел, до какой степени возмущают Коленкура его воинственные планы, и не любил видеть его подле себя. Ему хотелось бы привлечь к своему делу не высочайшими повелениями, а путем бесед и обсуждений. В его глазах Коленкур был «силой», завоевать которую было бы чрезвычайно важно»[1].

Однажды, он призвал его и предложил ему высказаться откровенно, и, не стесняясь, привести все возражения, какие тот имел. Его желанием было схватиться с ним по спорным вопросам и опровергнуть его возражения. Когда Коленкур упрекнул его в стремлении обратить всю Европу в своих вассалов, когда сказал, что он все приносит в жертву «своей излюбленной страсти—войне», император не особенно рассердился; «когда что-нибудь казалось ему слишком резким, он давал ему слегка подзатыльника»[2] или драл его за ухо. Затем он снова заводил спор, и давал новую пищу для словесной битвы, ибо во всякой борьбе видел лишний случай одержать победу. Утверждая, что не хочет войны и надеется ее избегнуть, он, тем не менее, признался, что высшие интересы могут вынудить его к ней. Он изложил перед ним, каковы эти интересы. То был ряд глубоких взглядов, на его политику и его систему. Он справедливо говорил, что его не понимают, предполагая в нем желание завоевать ради процесса завоеваний; что неправильно обвиняют его в стремлении без надобности присоединять новые территории к его и без того уже слишком обширной империи; что все сделанные им присоединения, все захваты, все войны имеют одно желание, одна мечта — но горячая, упорная, неизменная и непреклонная: принудить англичан к капитуляции, следствием которой было бы восстановление независимости на морях и упрочение европейского мира. Чтобы добиться этого мира, он не должен отступать ни перед каким препятствием, сколь бы чудовищным оно ни казалось. Что ему говорят об умеренности, о благоразумии, о «разумном географическом

¹ См. Pasguior, I, 497—509.
² Thiers, XIII, 458—461.

¹ Неизданные документы.
² Id.

положении». Да разве для него — эта заурядная мудрость? — В том необычайном положении, которое завещано ему прошлым, должны применяться средства, не имеющие примеров ни в истории, ни у народов, живущих при обыкновенных условиях. При теперешнем положении вещей, он не может допустить, чтобы какое бы то ни было государство, под покровом фиктивного союза или пристрастного нейтралитета, покровительствовало нашим врагам. Все должны идти за ним или ждать жесткой расправы. Горе тому, кто не захочет понять его и следовать за ним!

Он бесконечно долго распространялся на эту тему, исчерпывая всю силу убеждения, всю силу своего ума. Он старался подействовать на Коленкура не только убеждением, но и ласковым, милостивым обращением, делаясь то льстецом, то коварно-обаятельным, прибегая к свойственной только женщинам хитрости и утонченной нежности. «Никогда женщина — пишет некто, хорошо знавший его — не влагала столько искусства, чтобы заставить оценить, что ей нравится, и согласиться с тем, чего ей хочется»; ни один успех не льстил так его самолюбию, как эти победы над человеческой душой. Коленкур почтительно выслушал его, но оставался непоколебимым. Разговор продолжался до тех пор, пока одна смелая фраза не дала Наполеону почувствовать, что ему не удалось убедить своего собеседника. Коленкур опять повторил ему, что «то, что говорится, будет несчастьем для Франции и предметом сожалений и затруднений для Его Величества, и что он не хочет упрекать себя в том, что способствовал этому делу». Тогда, обманутый в своих надеждах, раздосадованный император повернулся к нему спиной, и в течение нескольких дней обдавал его холодом, однако, без горечи и гнева. Раболепная толпа придворных пометила холодность императора. Предсказания Коленкура были объявлены бредом болезненной фантазии. Герцога обвинили в политическом бездушии и модерантизме, в том, что он уподобляется Талейрану. В известных салонах были поставлены живые картины, в которых поднявший завесу будущего мудрец был изображен в виде автомата, пружины которого приводились в движение рукой «хромого волшебника».

Наполеон не одобрял этого блаженного оптимизма, этой легкомысленной самоуверенности. Правда, он шел неуклонно к войне, к которой влекли его роковая

судьба и свойства его характера, тем не менее, он смотрел на нее, как на самый грозный шаг своей жизни. Он был задумчив и серьезен. Однажды он сказал Савари: «Тот, кто избавил бы меня от этой войны, оказал бы мне огромную услугу. Но делать нечего — она предо мной; нужно из нее выпутываться[1]. Паскье, который указывал ему на опасное положение внутри страны, он ответил: «Это только лишнее затруднение в придачу ко всем тем трудностям, какие я встречу в самом крупном и самом трудном деле, которое я когда-либо предпринимал. Но, раз дело начато, нужно получше его кончить»[2].

Чтобы рассеять высказываемые страхи, он обещал вести военные действия осторожно и не торопясь, не зарываться и не заходить слишком далеко. В сущности, решив начать войну внезапным вторжением, он не знал еще, как поведет ее дальше. В его уме боролись два плана, и в разговорах он намекал то на один, то на другой. Одно можно твердо установить. Он вполне рассчитывал на то, что за Неманом встретит главные военные силы России и с первого же удара разъединит и разгромит их. Как же следовало, по его мнению, поступить после этого, если бы русские не прекратили сопротивления? Следовало ли, отбросив их за Двину и Днепр, остановиться?Следовало ли ограничиться этим и, устроившись на завоеванных позициях, перезимовать и педантично подготовить второй поход на территории востановленной Польши? Или же следовало воспользоваться боевым порывом войск и двинуть их до Москвы, добраться до сердца России и вонзить в него свой меч? Он еще не решил этого окончательно и думал принять решение в зависимости от обстоятельств и хода кампании[3]. Иногда он говорил, что остановился на первом плане и, может быть, верил в это; но уже в это время затаенное предпочтение влекло его ко второму, ибо этот блестящий и роковой план

---

[1] Mèmoires de Rovigo, V, 226.

[2] Mèmoires de Pasguier, I, 525.

[3] По первому плану см. его разговоры с Меттернихом в Дрездене, (Memoires de Metternich, I, 122), с Камбасересом по Thiers'у, XII, 459—460; по второму — его разговоры с Нарбонном (Souvenirs con 176), с Прадом, (temporains d'histoire etde litterature par Vilcman, 175 — Histoire de l'ambassade duns le grand-duchè de Varsovie, 154).

ослеплял его воображение. Он более отвечал его потребности нанести быстрый и тяжкий удар России и предписанным ей миром ускорить покорность Англии.

Однако, возможно, что, и при виде поверженной России, Англия не смирится сразу и будет сопротивляться. Ну что ж! Зато тогда у императора не будет уже препятствий; ему все будет легко; пути к необычайным планам нападения и обуздания своей соперницы, с которыми он недавно носился, раскроются сами собой. И иногда, мысленно погружаясь в самые далекие страны, минуя все границы, он переносился за пределы России, и искал место, на котором бы мог поставить свои Геркулесовы столбы. Бред помешанного, мечты безумного честолюбия! — скажут об этом плане те, кто будет измерять этого человека и его эпоху обычным аршином человечества. Но не стал ли он сам и не поднял ли своих французов на уровень предприятий, недоступных пониманию простых смертных? Не приучил ли их жить и вращаться в атмосфере чудесного, не сделал ли их сверхчеловеками? Когда он говорил, что превратит мечту в действительность, никто не удивлялся этому.

Разгром России открыл бы ему путь в Азию, поставил бы в непосредственное соприкосновение с нею. В Москве он вторично подошел бы к Востоку, к тому миру, к которому он не так давно приблизился с другого конца и от которого у него осталось глубокое и неизгладимое впечатление. На Востоке, в Азии, он встретил бы на своем пути только нестойкие империи, государства в состоянии разложения. Что невозможного в предположении, что — среди этих развалин, по одному из тех путей, которые он наметил и изучал в недавние времена,— одна из его армий дойдет до Индии и будет угрожать ей? Став твердой ногой в России, он будет господином Черного моря; его длань будет простерта над придунайскими областями, над Оттоманской империей и ее азиатскими владениями. Если в настоящее время турки откажутся от предписанной им роли, накажет ли он их за эту измену, обрушится ли тогда на них? Пойдет ли он из Москвы на Константинополь, чтобы покончить с этим варварским племенем? Возьмется ли опять, ничем не стесняемый, за те проекты завоевания, раздела и похода через Азию, которые в 1808 г. вынужден был применять ко вкусам и честолюбивым стремлениям Александра?[1]. Мы уже говорили, что он никогда не терял из вида прилегающих к Средиземному морю стран Востока, к которым всегда приводило его непреодолимое влечение. В 1811 г., в то время, когда, по-видимому, он весь был поглощен Севером, снабженные инструкциями путешественники доставляли ему топографические сведения о Египте и Сирии, о тех позициях, которыми ему нужно было владеть, если бы он захотел продолжить себе прямой путь в Индию[2]. Но, может быть, он предпочтет для нанесения удара или для угрозы английской Индии тот путь, по которому некогда предлагал провести его Павел I? Может быть, после победы над Россией, снова связав ее со своей судьбой, он думает взять Кавказ базой внеевропейского похода? Он сказал Нарбонну: «Теперь, чтобы добраться до Англии, нужно зайти в тыл Азии с одной из окраин Европы. Вам известно о миссиях в Персии генерала Гардана и Жобера. Ничего существенного из этого не вышло, но у меня хранится карта, на которой указаны средства народов и пути, по которым можно пройти от Эривани и Тифлиса до английских владений в Индии. Быть может, этот поход окажется легче того, который ждет нас через три месяца. Представьте себе, что Москва взята, Россия сломлена, с царем заключен мир или он пал жертвой дворцового заговора; что, может быть, явится новый зависящий от меня трон (Польша), и скажите мне, разве есть средство закрыть отправленной из Тифлиса великой французской армии и союзным войскам путь к Гангу; разве не достаточно прикосновения французской шпаги, чтобы во всей Индии обрушились подмостки торгашеского величия»[3].

Нельзя сказать, чтобы он старался придать хотя бы одному из этих проектов строго определенную форму. В настоящее время вся сила его воли была направлена и сосредоточена на единственной цели: войти в Россию и предписать ей свою волю. Но не подлежит сомнению, что эти головокружительные мысли часто по-

---

[1] См. по этому поводу интересный разговор принца Евгения с графиней Едлинг во время конгресса в Вене; разговор этот графиня Едлинг передает в своих *Мемуарах*, 175—176.

[2] Archives nationales, AF, IV, 1687. Cf. Corresp., 17037—38, 17191.

[3] Souvenirs contemporains d'histoire et littérature 175—176.

сещали его. Его неоднократно доверительные разговоры, дошедшие до нас воспоминания окружающих его лиц, даже характер и направление его ума заставляют верить этому. Нам известно, что ему было свойственно — при выполнении текущих предначертаний — заглядывать в таинственное будущее и рисовать беспредельные картины; что его отдохновением были мечты. Возможно и то, что для достойного завершения похода в Россию, он считал достаточным удовольствоваться эффектным зрелищем. По некоторым показаниям современников, Наполеон хотел удивить мир необычайным зрелищем и уже заранее имел в своем распоряжении необходимые для этого атрибуты. В длинной веренице карет, которые составляли его личный обоз и были на пути в Германию, позади двухсот верховых лошадей и сорока вьючных лошаков, среди двадцати колясок, берлинов и семидесяти фур, запряженных восьмериком[1], должен был находиться таинственный фургон. В нем, невидимо для непосвященных глаз, должны были покоиться императорские регалии: усеянная пчелами порфира, корона и держава, скипетр и шпага. Где, на каком торжестве, собирался Наполеон выставить напоказ эти знаки своей власти? Думал ли он при величественной обстановке возложить на главу одного из своих близких корону и передать ему в удел Польшу, или же, уже подчинив себе юг и центр континента, он хотел при торжественной обстановке принять изъявление покорности Севера? Наконец, хотел ли он принять титул, которым его неоднократно приветствовали солдаты в пылу победного восторга; хотел ли на пороге Востока стяжать себе корону Карла Великого и, в московском Кремле, среди причудливых, византийской архитектуры, соборов, на ступенях Красного Крыльца, откуда цари показывались своему народу, явиться в образе Западно-Римского Императора? Ни одно, лично от него исходящее указание не дает возможности проверить все эти предположения; даже не установлен точно факт, на который ссылаются, чтобы приписать ему эти планы[2]. Тем не менее, существует общераспространенное мнение, что в глубине души он воображал, что поход в Россию должен увенчать его высшим посвящением; что он должен облечь его новой властью, которая поставит его превыше всех царей мира; что на ступенях трона покоренной России он явится перед Европой, как богоподобный император в апофеозе, полном величия и волшебного блеска.

---

[1] Baron Denniée, Itinéraire de l'empereur Napoleon pendant la campagne de 1812, p. 15.

[2] По этому темному и таинственному вопросу см. заметку в Приложении, под цифрой II.



X

АЛЕКСАНДР И БЕРНАТОД

Невозмутимое спокойствие Александра во время наших первых передвижений. — Наши враги боятся, что он не будет достаточно тверд. — Они жаждут подкреплений. Приезд в Петербург чрезвычайного посла Швеции. — Бернадот хочет сделаться инициатором окончательного разрыва с Францией и главным двигателем последней коалиции. Его план дипломатических и военных операций; его тайная мысль. — Граф Левенхильм. — Требование Норвегии. — Кратковременные колебания Александра; он входит в сделку с совестью. Отъезд Сухтелена в Швецию. — Переговоры в обеих столицах. — Взаимное недоверие. Политика императора; политика канцлера. — Прибытие послания из Елисейского дворца. — Волнение в высшем обществе; борьба партий. — Александр непреклонен; однако, пользуется предложениями Франции, чтобы заставить Левенхильма уменьшить свои требования. — Бернадот проделывает то же самое с Сухтеленом, пользуясь предложениями, переданными ему наследной принцессой. — Странный инцидент. — Два договора. — Состязание в благородстве. — Союз заключен. — Александр отвечает на французские предложения и излагает свои требования. — Ультиматум от 8 апреля. — Прежде чем придти к соглашению по существу распри, Россия требует, чтобы были выведены войска из Пруссии и стран, лежащих по ту сторону Эльбы; что предлагает Россия взамен этого. — Примирение невозможно. — Стремление наших врагов отделаться от Сперанского. Истинные причины и поводы, обусловившие немилость. — Вечер и ночь 17 марта; ссылка. — Александр отдается окончательно в руки европейских эмигрантов. — Бешеная страсть наших врагов. — Всегда и всюду Армфельт. — Шаги Бернадота. — Вечера в стокгольмском королевском дворце. — Бернадот торопит Александра начать военные действия. — Отъезд Александра в Вильну; последнее свидание с Лористоном. — В последний раз склоняется он к мысли двинуть свои войска в Польшу; случайное событие, которое заставляет его вернуться к плану безусловной обороны и окончательно остановиться на нем. — Рок уже тяготеет над императором.

I

«Не следует обманывать самого себя, сказал Александр, узнав *о походе наших войск в Германию*; — вероятно, через месяц или шесть недель я буду в открытой войне с Францией»[1]. Без бахвальства, без громких фраз, он ждал удара. Серьезный, иногда грустный, но всегда невозмутимо спокойный, он кротко уклонялся от всяких разговоров. Несмотря на эту манеру держать себя, окружавшие его со всех сторон, не спускавшие с него глаз наши враги боялись той минуты, когда военные приготовления Франции предстанут во всем их чудовищном развитии. Они не были уверены в Александре. Что произойдет тогда в его душе? — спрашивали они. Не поддастся ли он — при виде стольких соединившихся против него армий и народов, при шуме шагов всей Европы, идущей к его границам — приступу отчаяния, подобного тому, которое некогда бросило его в объятия Бонапарта? Не будет ли он унижаться, не пойдет ли на позорные уступки, не повторит ли скандальной истории Тильзита, воспоминание о которой часто приходило на ум нашим врагам? Особенно усиливало их опасения присутствие подле Александра облеченного властью поборника идей мира и примирения, ибо Румянцев все еще состоял министром и не отказывался от надежды на сближение. Были и другие причины опасений: аристократические и великосветские круги не установили еще вполне своего мнения и искали себе руководителя. Ненависть, которую многим русским внушал Наполеон, перешла у них в своего рода суеверный страх, в священный ужас. Они задавали себе вопрос: не был ли он одним из тех «апокалиптических» существ, с которыми не подобает вступать в

[1] Депеша графа Левенхильма, 21 февраля 1812 г. Archives de Stockholm.

борьбу. Сверх того, принятая в 1807 г. политическая система, как ни шла она в разрез с народными чувствами, не могла за несколько лет своего существования, не создать у известной группы лиц интересов, честолюбивых стремлений и надежд, связанных с этой системой. Около нашего посольства, хотя и очень медленно, но все-таки составилась группа приверженцев, которая следовала его внушениям. Сторонники войны не считали себя полными хозяевами и желали получить поддержку.

Подкрепление пришло в лице шведского посла, об отъезде которого было своевременно донесено во Францию. 18 апреля в Петербург явился генерал-адъютант граф Левенхильм; он привез императору письма от короля Карла XIII[1] и шведского наследного принца. Смело подняв знамя возмущения против всесильного Наполеона, Бернадот ударился к царю. По его словам, он хотел быть его нравственной силой, его поддержкой, его главным помощником и советником, и в заключение представил ему подробный план дипломатических и военных операций.

Прежде всего, он просил, чтобы немедленно был отправлен в Стокгольм русский посол с поручением подписать оборонительный и наступательный договор. Предлагая царю союз со Швецией, Бернадот ручался, что привлечет к нему и другие государства; что он посеет раздор в Европе, похитит у завоевателя часть его предполагаемых союзников, и, по меньшей мере, уравняет шансы борьбы. Он говорил, что русско-шведский союз будет служить исходной точкой лиги-встречной коалицией, которая окажет противодействие подготовляемой Наполеоном лиге; что в первую голову он предлагает свое посредничество между Россией и Англией; а затем его дипломатия начнет действовать в Константинополе. Он указал на то, что, начиная с восемнадцатого столетия, турки признавали, что между их государством и Швецией существует параллельность интересов и что это всегда заставляло их принимать близко к сердцу советы Швеции. Пользуясь этим выгодным положением, шведский представитель при Порте постарается подготовить мир и даже союз между русскими и турками. Благодаря такому соглашению можно будет

[1] Карл XIII только для видимости взял в свои руки бразды правления.

держать под угрозой всю юго-восточную часть австрийской монархии—хотя, нужно заметить, о союзе Австрии с Наполеоном в это время не было еще известно. Угрожая Австрии нападением турок на ее южные границы, можно будет забрать ее в руки и, по меньшей мере вынудить к бездействию. В то время, как весь юго-восток континента обратился против Франции или будет сохранять нейтралитет, в то время, как войска царя на Севере будут отражать нападение французов или даже первые перейдут в нападение, избегая, однако, генерального сражения и стараясь изнурять неприятеля, Бернадот воозьмет на себя задачу напасть на наши коммуникационные линии в Германии, зайдет в тыл великой армии и, таким образом, выручит Россию. Он находил, что для этого ему достаточно от восьмидесяти до ста двадцати тысяч понюхавших пороху солдат. По всем данным, народы Германии, в особенности на побережье, устали страдать. Далее — Пруссия ждет только поддержки, чтобы порвать свои цепи. При появлении Бернадота, все угнетенные примкнут к нему, и, следуя его примеру, отпадут от Наполеона. «Король, — говорилось в переданной Левенхильму инструкции, — надеется, что этот данный миру, достойный подражания, пример разбудит много храбрых, которые ждут только минуты пробуждения, чтобы развить всю энергию, на какую они способны»[1].

Но выполнение этого плана ставилось в зависимость от одного важного условия, по которому Бернадот не мог идти на уступки, ибо в нем был секрет успеха его политики, на нем основывались все его надежды. Бернадоту было нужно, чтобы царь предварительно гарантировал шведам приобретение Норвегии. Шведы не могли удовольствоваться даже формальным разрешением присвоить себе эту провинцию; необходимо было, чтобы в деле захвата Норвегии Александр оказал им материальную помощь и поддержку войсками. Бернадот искусно поставил в связь названное содействие с проектированной диверсией в Германии. Вот как, по его мнению, следовало действовать. Лишь только между французами и русскими начнется война, Александр должен отделить от своих войск от пятнадцати до двадцати пяти тысяч человек и переправить их в Шве-

[1] Секретная инструкция графу Левенхильму, 4 февраля 1812 г. Archives de Stockholm.

гию. Там они присоединятся к тридцати пяти или сорока тысячам шведов и к британскому контингенту. Это войско всей своей тяжестью, врасплох, обрушится на Данию, завладеет островом Зеландией и обложит Копенгаген. Угрозой, а в случае нужды и силой, король Фридрих VI вынужден будет отдать Норвегию. Вместе с этим, он будет отторгнут от союза с Наполеоном, и волей-неволей присоединится к антифранцузской лиге. Тогда, взяв Данию за начальный пункт, Бернадот двинется — когда найдет эту нужным — на Эльбу или на Одер и появится в тылу великой армии[1].

Но спрашивается, твердо ли решил Бернадот выполнить последнюю часть своего плана? Действительно ли думал он, по получении Норвегии, рискнуть на смелую вылазку в Германии, было ли у него намерение начать борьбу с самим Наполеоном и этим лишить себя возможности вернуться к нему? По некоторым данным можно думать, что он хотел воспользоваться услугами русских, не отдавая себя в их распоряжение. В приобретении Норвегии он усматривал не обязательство открыто принять с самого начала участие в войне, а средство обеспечить прежде всего свои собственные интересы и вмешаться в войну только при условии обеспеченного успеха. После занятия всего Скандинавского полуострова, укрепившись на нем и соприкасаясь с континентальной Европой только тундрами Лапландии, Швеция была бы почти недосягаема для врагов. Под защитой английского флота она была бы так же неуязвима, как и Англия. Она могла спокойно выждать результата франко-русской борьбы и заставить победителя, кто бы он ни был, с уважением отнестись к себе. Но, чтобы император Александр согласился на этот план, необходимо было подать ему надежду на целый ряд удивительных выгод. Кроме того, эти обещания имели своей задачей вернее склонить царя к войне и сделать его глухим к последним предложениям Наполеона. Их назначением было ускорить наступление хаоса, который был нужен принцу, чтобы ловить рыбу в мутной воде и под шумок завладеть своей добычей. Но для успеха его плана необходим был полный разрыв Франции с Россией. Вот почему он считал нужным с особым усердием поработать ради этого дела. Что у

[1] Секретная инструкция графу Левенхильму.

него было именно такое намерение, вполне подтверждается словами, сказанными его наперсником и другом, министром юстиции Веттерштедтом. «При настоящем положении вещей — сказал Веттерштедт в совете министров — самое большое несчастье, какое только может постигнуть Швецию, заключается не в том, что вспыхнет война, а в том, что наши соседи по-прежнему будут слушаться приказаний Франции. Повторяю еще раз что, каково бы ни было принятое решение, на содействие России можно рассчитывать только после того, как между нею и Францией вспыхнет война»[1]. Граф Левенхильм на основании своих письменных и словесных инструкций определял характер своего поручения в России так: «приобрести Норвегию и предотвратить возможность неожиданного сближения России с Францией»[2].

Левенхильм тотчас же принялся за дело. Это был человек ловкий, крутой, но умевший, когда нужно, быть уступчивым; умевший, смотря по обстоятельствам, и напускать на себя и искренность, и грубоватую чисто военную откровенность, и идти к намеченной цели окольными путями. Полное отсутствие совести делало его особенно пригодным к выполнению высокобезнравственного поручения, состоявшего в том, чтобы уговорить Александра обобрать слабое, беззащитное государство, которому царь всегда покровительствовал и которое было искони другом его дома. Левенхильм прекрасно понимал, что ему придется натолкнуться на известное сопротивление и одержать победу над чувством порядочности; но его опыт в жизни дворов научил его, что совесть государей редко может устоять против того, кто сумеет купить ее за хорошую цену. Нужно и то сказать, что большой мастер в делах интриг и подкупа человеческой совести, Армфельт, подготовил ему пути[3].

Получив доступ к царю, Левенхильм счел нужным начать с подготовительных фраз и пустился в разгла-

[1] Souvenirs du comte Gustave de Wetterstedt, publiés par M.H.L. Forsell, dans le Recueil des actes de l'Académie de Stockholm, 1886.

[2] Депеша от 23 марта 1812 г. Переписка Левенхильма, хранящаяся в Стокгольме, является одним из самых интересных документов того времени. Знакомству с нею мы обязаны Г. Одлеру, ученому директору архивов королевства и любезному посредничеству Г. Р. Милле, французского посланника в Швеции.

[3] Депеша Левенхильма, 22 февраля 1812 г.

гольствования. Он начал говорить о том, что Швеции необходимо создать себе устойчивое положение путем увеличения территории и боевых сил. Догадываясь, к чему он клонит, Александр решил ускорить его признания и милостивым тоном сказал ему: «Говорите со мной откровенно. Мое мнение должно быть вам известно. Государь, — ответил шведский агент, — солдат плохо справляется с дипломатическими хитростями. Только откровенность и усердие могу употребить я на благо моей родины, у которой отныне одинаковые интересы с вашей империей. — Говорите же прямо, — сказал царь. — Государь, Норвегия составляет предмет желаний, от которых король не может отказаться, не забыв первейшего долга каждого правительства — долга обеспечить независимость и безопасность государства...»[1].

«— Я всегда с удовольствием буду смотреть на то, что составляет счастье Швеции», — сказал император, ограничиваясь в настоящую минуту этим неопределенным выражением сочувствия. Более того, когда Левенхильм заговорил о нападении на Данию, Александр оставил за собой право высказаться по этому поводу, когда найдет это нужным. Видно было, что ум его смущен, что совесть его переживала мучительные минуты. Его волнение выразилось тем, что он начал ходить «взад и вперед»[2]. Не настаивая более, Левенхильм подробно изложил все выгоды от содействия Швеции в войне против Франции. Особенное удовольствие доставило ему вынесенное из разговора убеждение, что мысль о войне пустила глубокие корни в уме его собеседника, и что при таком воинственном настроении Александр должен придавать особую цену союзу с Бернадотом и, следовательно, вынужден будет подчиниться условиям союза.

Действительно, в следующие дни Левенхильм, по некоторым признакам, понял, что его речи — речи искусителя — достигли цели. Он узнал, что император высказался о нем в чрезвычайно милостивых выражениях. Близкие ко двору люди сделались к нему бесконечно предупредительны, а нет более ободряющего симптома, как «любезность и предупредительность этих

[1] Депеша от 21 февраля 1812 г.
[2] Id.

господ, которые так точно показывают температуру царской милости»[1]. 23 февраля Левенхильм получил официальное извещение, что Его Величество в принципе согласен на предъявленные условия и что бывший русский посланник в Швеции, генерал барон Сухтелен, отправится в Стокгольм, чтобы начать переговоры и подписать договор.

Этот шаг, вполне отвечавший высказанным с первых слов желаниям шведского двора, совершенно не отвечал желаниям Левенхильма. Начав так удачно переговоры, он хотел присвоить себе всю часть этого дела и довести его до конца. Кроме того, он боялся медлительности Сухтелена, недостатка в нем энергии. Этот старец, тяжелый на подъем, нерешительный в делах, непредприимчивый, был человеком науки, «собирателем древностей», случайно забредшим в политику. В его руках заключение договора могло только затянуться[2]. Левенхильм же сознавал, что необходимо ковать железо, пока горячо, не давая остыть Александру. Он позволил себе остаться в Петербурге, попросил прислать ему полномочия, и предложил русским выработать вместе с ним статьи договора, независимо от Сухтелена, который, говорил Левенхильм, позаботится достигнуть той же цели. Царь соблаговолил дать согласие на переговоры одновременно в двух местах. Тогда между обоими уполномоченными, из которых один действовал в Петербурге, а другой в Стокгольме, началось состязание на скорость; но Левенхильм уже опередил своего соперника и хотел сохранить за собой это преимущество.

Однако, он натолкнулся на некоторые затруднения. Главное затруднение состояло во взаимном недоверии, питаемом обеими договаривающимися сторонами. Наказание сообщников, которые берутся за неправедное дело, и состоит в том, что они не могут придти к соглашению с полным доверием, основанным на взаимном уважении. Сговариваясь обобрать кого-нибудь, они всегда боятся, чтобы партнер не провел их самих. С внешней стороны не было тех доказательств привязанности и нежной дружбы, которых не проявляли бы друг к другу Александр и Бернадот. Когда они говорили один о другом в присутствии аккредитованных

[1] Id.
[2] Депеши от 21 и 25 февраля.

при них послов, с их уст поминутно срывались эпитеты: «благородный, щедрый, великодушный». Карл-Иоанн восхвалял удивительное благородство русского императора, его рыцарски-открытый характер, его мужественные решения, благодаря которым он сделается спасителем Европы. Что бы он не дал, говорил он, за то, чтобы видеть вблизи предмет своего благоговения! Свидание выполнило бы его самые заветные желания. Со своей стороны и Александр, не связывая себя преждевременно обещанием на свидание, приходил в умиление пред переданным ему Левенхильмом портретом Бернадота, и с восхищением рассматривал его в ожидании момента, когда будет иметь возможность любоваться оригиналом[1]. Однако, несмотря на пылкие излияния своих чувств, оба с тайным опасением исподлобья и исподтишка наблюдали друг за другом. Александр постоянно боялся, как бы вчерашний маршал не перешел на сторону Наполеона, как бы не откликнулся на призыв к патриотизму и чести или просто не продал бы себя за хорошую цену. Бернадот же не забывал, что Александр был союзником и другом Наполеона, что это был человек неустойчивый, склонный к резким переменам. А вдруг он, даже накануне войны, вздумает примириться с Наполеоном, вознаградив себя за счет своих соседей? И Бернадот уже воображал себя в положении покинутого принесенного в жертву. Так же, как и царь, он боялся, что ему придется платить за расходы по примирению in extremis*. Александр старался завладеть Бернадотом, Бернадот — Александром. Каждый старался как можно скорее и возможно крепче забрать в руки своего будущего союзника, но не решался довериться сам. Борьба этих двух чувств вселяла в них с одной стороны желание поскорее заключить союз, с другой задерживала их решения; вследствие чего переговоры то шли ускоренным темпом, то резко замедлялись.

Александр охотно соглашался помочь шведам в деле приобретения Норвегии, но желал, чтобы это завоевание последовало за оказанные услуги, не задатком. Бернадот же непременно желал, чтобы ему было уплачено авансом, и Левенхильм должен был твердо от-

[1] Депеша Левенхильма, 25 февраля.
* В последнюю минуту. (Прим. перев.).

стаивать выставленное положение — положение о предварительном содействии русских в нападении на Копенгаген. Под конец Александр покорился этому требованию; он обещал свое содействие против Дании, но хотел поставить его в известные рамки. Вместо того, говорил он, чтобы напасть врасплох на короля Фридриха и грубым насилием отнять у него провинцию, нельзя ли прежде обратиться к нему с советом, подействовать на него кротостью и убеждением, уговорить несчастного государя позволить обобрать себя для общего блага и для спасения Европы? Ему можно было бы пообещать вознаграждение в Германии, как только она будет освобождена из-под ига Наполеона, и Александр указал на карте государства, которые он предназначил для утешения Дании, между прочим Ольденбург, «которым бы он охотно пожертвовал, несмотря на родственные связи»[1]. Какое откровение в этих последних словах, и как прав был Наполеон, видя в упорном рвении Александра постоять за дело своего дяди только предлог для ссоры с ним!

Левенхильм вынужден был принять во внимание щепетильность царя и согласился на предложенный шаг. В крайне некрасивых выражениях извинялся он перед своим правительством за данное согласие. Он говорил, что сожалеет об этой ложной стыдливости, но что своего рода платоническая дань уважения к праву и справедливости представляет известную формальность, от которой государи не сумели еще отрешиться. «Несмотря на ничтожнейшую дозу справедливости, всегда старались ссылками на нее скрасить свои планы, и только император французов, более смелый в своих убеждениях, стал выше этого обычая»[2].

Была еще одна причина замедления. Румянцев, не высказывая этого, был против подготовлявшегося соглашения со Швецией, и тормозил заключение договора, исключавшего всякую возможность сближения с Францией. Канцлер осыпал ласками шведского посла; говорил, что совершенно излечился от своих иллюзий, что всем сердцем присоединяется к теперешней политической системе своего государя; что, подобно ему, он враг Наполеона и мирного соглашения. Но Левенхильм не особенно доверял «этому новообращенному, возвра-

[1] Депеша Левенхильма от 24 февраля и 3 марта 1812 г.
[2] Депеша от 3 марта.

щения которого к прежней ереси нужно ждать ежеминутно»[1]. Вскоре он увидел, что недавнее ревностное отношение к делу, которым кичился Румянцев, не было искренним, и что министр втайне придерживается своей прежней политики. Назначенный, в силу своей должности, официально обсуждать статьи договора, Румянцев по каждой из них находил, что возразить, и изыскивал средства отвечать на всякое требование какой-нибудь неопределенной и «крайне запутанной»[2] фразой. К счастью Бернадота, его дипломатический сотрудник сумел заручиться свободным доступом к императору с правом обращаться непосредственно к нему, и нужно сказать, что каждое его обращение к царю, хотя незначительно, но подвигало вперед полное терниев дело[3]. Видя, как наши армии покрывают Германию, следя за тем, как они непрерывно подвигаются вперед, переправляются через Эльбу, затем через Одер и подходят к Висле, Александр I с каждым днем все более сознавал неотложную потребность помощи, необходимость схватить руку, которую ему протягивал Бернадот, и избрать его кормчим и «буссолью» на время бури[4]. Он подгонял престарелого министра и отдавал одно за другим «точные и ясные»[5] приказания, так что к середине марта переговоры были закончены.

Как раз в это время Чернышев привез высказанное Наполеоном 25 февраля предложение. Это послание произвело сенсацию и очень встревожило Левенхильма, который усматривал в том, как отнесется Александр к этому посланию, решительное испытание твердости его намерений. По его мнению, этот непостоянный государь, несомненно, выработал в себе новую душу, полную энергии и твердости. Тем не менее, порученная Чернышеву миссия могла воскресить в нем желание начать переговоры. Устоят ли решения царя пред определенным, довольно умеренным по форме, предложением, поднесенным ему противником на острие шпаги и поддержанным вступлением в Германию четырехсот тысяч человек?

Александр начал с того, что, в знак доверия, сообщил Левенхильму предложения Франции. Он дал ему прочесть длинное донесение Чернышева с собственноручными пометками, в котором тот слово в слово передавал разговор в Елисейском дворце. При этом он прибавил, в виде пояснения, что не верит высказанным Бонапартом чувствам. «Я смотрю на все это, — справедливо сказал он, — как на желание выиграть время, так как у них не все еще готово к войне; но я не дам обмануть себя»[1].

Как ни были драгоценны эти слова, они не обладали даром успокоить Левенхильма. Он верил в человеческую слабость вообще и, в частности, в слабость Александра; его тревожили прежние поступки русского государя. Кроме того, ему было известно, что сторонники мира не упустили благоприятного случая и начали действовать. В разных кругах общества во многих салонах обнаружилась необычайно деятельная работа. В них изыскивались всевозможные средства найти доступ к императору и подействовать на его добрые чувства. Этому делу посвятили себя прелестные дамы; они старались заманить в свои сети рыцарски-любезного монарха и смягчить его сердце. «Императора — с душевной тревогой писал Левенхильм — осаждают со всех сторон»[2]. Лористон, оставаясь с виду спокойным, с улыбкой, невозмутимо говорил о мире, и по секрету руководил осадными работами. Баварский посланник граф Брей сделался его главным союзником и помощником. Румянцев, не выдавая своего сочувствия, оказывал им скрытую поддержку и искусно подготовлял единомышленников в самой крепости. С каждым днем нападающие делались смелее, а их усилия настойчивее.

Наблюдая за этим кризисом и «за положением империи, стоявшей как бы на вулкане», Левенхильм счел нужным подбодрить усердие воинствующей партии и поднять на ноги «всю здравомыслящую часть общества»[3]. Не заботясь уже о дипломатическом характере своего поручения, он, очертя голову, бросился в интриги; не долго думая, он взял себе в союзники Армфельта с его шайкой — этих вечных сеятелей смуты. Он писал шведскому королю, что, поступая таким обра-

---

[1] Депеша от 24 февраля.
[2] Id.
[3] Id.
[4] Депеша Левенхильма от 11 марта.
[5] Id.

[1] Депеша Левенхильма от 25 марта.
[2] Депеша от 5 апреля.
[3] Депеша от 20 февраля и 3 марта.

зом, он только сообразуется с политическими обычаями и нравами России. «В стране, где, как здесь, царят интриги, и где поле для интриг так же обширно, как велики честолюбивые стремления действующих в ней лиц, трудно выполнить свою задачу, не следя за ходом дела во всех его извилинах, и, если бы я посмел употребить народную пословицу, я сказал бы, что здесь, более чем где-либо приходится выть с волками»[1]. Согласно этому принципу посол Бернадота сделался двигателем и звеном всех антифранцузских происков и «главным деятелем воинствующей партии»[2].

Усилия этой партии были направлены на государя, далеко не столь нерешительного, как это думали; она увещевала убежденного. Александр не только отвергал идею о самоотверженном повиновении воле императора, но, как известно, давным-давно не допускал уже мирного соглашения. Если Наполеон хотел всего добиться, то Александр, как он сам неоднократно признавался в этом, твердо решил ни в чем не уступать. Однако, царь, со свойственной ему проницательностью, понял, какую выгоду может извлечь из французских предложений, и что он может воспользоваться ими, чтобы по более дешевой цене приобрести союз со Швецией. Не переставая рассыпаться пред Левенхильмом в энергичных уверениях, он вскользь заметил, что намерен на несколько дней отложить ответ на послание Наполеона. Непринужденным тоном он сказал: «Меня торопят с ответом на письмо Наполеона, но мне не к чему спешить, и, я думаю, нет ничего дурного в том, если я заставляю его подождать». Этого замедления достаточно было, чтобы заронить в уме Левенхильма выгодное царю беспокойство, ибо пока отказ не будет объявлен официально, царь мог одуматься, смягчиться и уступить. Держа Левенхильма под угрозой соглашения с Францией, царь думал, что такая угроза, без сомнения, заставит его понизить свои требования.

Действительно, у шведа была только одна мысль: ускорить подпись договора. Он уступил по нескольким довольно важным спорным пунктам, и 28 марта состоялось соглашение. Когда занялись окончательной редакцией статей, Румянцев крайне несвоевременно выступил с непредвиденным замечанием. Приличие требует, сказал он, чтобы заготовленный документ был отослан в Стокгольм и в этом городе подписан Сухтеленом, назначенным с самого начала для этой цели. Это было для канцлера предлогом выиграть несколько дней, а, между тем, такая проволочка могла испортить все дело. Какое горькое разочарование, какая неприятность для Левенхильма, который думал, что договор уже в его руках, а, вместо того, увидел, что пред ним открывается тревожное будущее![1].

[1] Депеша от 23 марта.
[2] Id.

На этот опасный выпад швед ответил крайне смелым ходом. Зная дорогу в кабинет императора, он на другой же день отправился туда. С первых же слов государя страхи его рассеялись. «Раз вам даны необходимые полномочия для заключения и подписи договора — сказал Александр, — я подпишу здесь; наибольшее мое желание — установить на прочных основах наш союз»[2]. Он дал понять, что придуманное канцлером средство оттянуть дело ему не по душе. Но при этом, крайне тактично дал заметить, что не сомневается в добрых намерениях министра. Если Румянцев — сказал он — возбуждает при составлении протокола договора затруднения, то он делает это ради простой формальности и в силу привычки, выработанной за время его служебной карьеры. «Что вы хотите? У него свои старые дипломатические приемы, которые часто надоедают мне. Человек всегда остается тем, что он есть. Сапожник — сапожником, дипломат — дипломатом. Но мы — люди военные; мы любим делать дело быстро и прямодушно. Левенхильм тотчас же отправился к Румянцеву и передал ему с знаками глубочайшего почтения высочайшую волю. «Император волен делать, как ему угодно», с досадой в голосе сказал министр; но тотчас же спохватился, принял свой обычный официальный вид и, скрывая под приятной улыбкой свое неудовольствие, рассыпался в уверениях, что и его «желание возможно скорее покончить это дело». 5 апреля договор был окончательно составлен и подписан.

Левенхильм ликовал и думал, что развязался и покончил со всеми хлопотами; он не принял в соображение одного обстоятельства, благодаря которому пришлось начать все дело сызнова. В то время, когда он торопился достигнуть своей цели, старик Сухтелен,

[1] Депеша от 28 марта.
[2] Id.

приехав в Стокгольм и милостиво принятый наследным принцем, сверх всякого ожидания, тотчас же взялся за дело. Он отрешился от своей привычки — не торопиться, и проявил такую прыть, какой от него совершенно не ожидали. Ему тоже удалось быстро повернуть дело, и 9 апреля договор был подписан в Стокгольме, почти в то же время, когда Левенхильм покончил со своим договором, с промежутком всего в четыре дня. В пылу схватки и из боязни промахнуться, Александр и Бернадот опутали друг друга двойными обязательствами. Но не повредили ли делу такая спешка и такой избыток обязательств? Может быть, благодаря этим обстоятельствам, текст обоих договоров оказался не одинаковым, и самое странное в этой разнице было то, что договор, заключенный в Стокгольме русским послом, согласно полномочиям и инструкциям царя, был гораздо менее благоприятен России, чем договор, заключенный в Петербурге с чрезвычайным послом Швеции. Тогда как по заключенному в Швеции договору царь обязывался не только содержать, но и перевести на свой счет русские дивизии, назначенные действовать против Копенгагена, — по договору, заключенному в России, расходы по перевозке войск лежали на Швеции.

Несмотря на всю странность этой разницы, она объясняется весьма просто. Левенхильм отступился от своих требований под впечатлением, которое произвели на него предложения Наполеона России. Сухтелен уступил под тем же впечатлением. Он был в Стокгольме как раз в то время, когда и Бернадот получил из Парижа, переданные ему через наследную принцессу, предложения. Бернадот в переговорах с Сухтеленом воспользовался этими предложениями с таким же искусством, с каким Александр использовал послание из Елисейского дворца в переговорах со шведским агентом, и добился такого же результата. Боясь, чтобы Бернадот не попал в сети Франции, Сухтелен отказался от тех требований, на которые согласился Левенхильм из боязни сближения между императорами, и это пикантное единодушие в побуждениях обоих уполномоченных дает истинное понятие о доверии, какое питали друг к другу новые союзники. Но как примирить требования, которые с той и другой стороны опирались на формальный текст договора? Который из двух договоров следует выбрать? Который должен считаться правильным и действительным? Могло бы создаться серьезное затруднение, если бы Бернадот не понял, что верхом дипломатического искусства было закрепить за собой признательность Александра, показав пример щедрости. Он нашел, что кстати будет выставить себя не мелочным, а щедрым и великодушным. Он добровольно отказался от представленных ему стокгольским договором выгод и принял петербургский[1]. Тронутый этим благородным порывом, Александр не захотел отстать в деле великодушия и благородства от столь утонченно-любезного союзника. Он отказался от подношения Бернадота, заявив, что Россия и Швеция, каждая в отдельности, будут содержать свой контингент, и результатом соревнования в проявлении благородных чувств было то, что условились ограбить Данию на общих издержках[2].

С этих пор Александр не чувствовал себя пред лицом Наполеона одиноким. Договор со Швецией дал ему смелость гордо отвергнуть наши требования и изложить, наконец, свои. 8 апреля он ответил на послание из Елисейского дворца. Его ответ составил предмет ноты, которая была отправлена посланнику Куракину с предписанием передать ее французскому кабинету. К ноте было приложено вежливое и короткое письмо императору французов[3]. В ноте излагались условия, на которых царь, после столь долгого уклонения от всякого рода объяснений, соглашался приступить к переговорам. В ней определенно говорилось, что только безусловное принятие этих основ может «сделать возможным соглашение». Если Россия решила заговорить после пятнадцати месяцев молчания, то само собой разумеется, что ее первое слово было и последним. Ее послание представляло ультиматум в полном значении этого слова.

В ноте от 8 апреля Александр, все еще желая скрыть свои планы насчет герцогства Варшавского, не касался вопроса о Польше. Перенося в иную сферу и расширяя предмет распри, он заменил свою личную обиду общеевропейской, которая в одинаковой степени касалась и его, и его соседей, и ссылался на занятие фран-

---

[1] Сообщение Левенхильма имперскому канцлеру, 14 мая.

[2] Сообщение имперского канцлера Левенхильму, 31 мая. Archives de Stockholm.

[3] Этот документ хранится в архивах министерства иностранных дел, Russie, 154.

цузами северной Германии. Как необходимого и предварительного условия соглашения, ультиматум требовал полной эвакуации Пруссии, эвакуации шведской Померании, сокращения гарнизона в Данциге, очищения всех остальных крепостей и всех стратегических пунктов, занятых нашими войсками к востоку от Эльбы. Требовалось, чтобы великая армия очистила Германию, чтобы перестала оказывать давление на Север и держать Россию под угрозой вторжения. Это требование было бы вполне законным, если бы император Александр одновременно с ним предложил покончить и споры, которые вынудили Францию и Россию вооружаться в течение целого года и двинуть к границам свои войска. Требуя, чтобы Наполеон покинул все позиции, откуда он мог начать войну с известной выгодой, Россия требовала от него настоящего разоружения. Но, когда государства, приготовившись к войне, все-таки желают избегнуть кровопролития, они разоружаются только после того, как установили условия к соглашению и связали друг друга формальными обязательствами. Предлагала ли нам Россия взамен требуемой эвакуации покончить теперь же и навсегда с приведшими к войне вопросами, и, следовательно, обеспечить мир? — Ничего подобного. Что же предлагала она? — Она предлагала: после того, как Наполеон «бесповоротно, и как предварительную меру» отведет свои военные силы на запад от Эльбы, вступить в переговоры по торговому договору, обсудить средства вредить английской торговле и признать присоединение Ольденбурга за территориальное вознаграждение для лишенного своих владений герцога. Но в чем будет состоять вознаграждение? Где оно будет? Какие уступки будут сделаны нашей торговле? Какие строгие меры будут приняты против Англии? — Все эти вопросы, составлявшие суть распри, оставались под сомнением. Они должны были составить предмет последующих переговоров, в которых петербургский кабинет оставлял за собой полную свободу мнения. Он говорил: пусть Франция прежде всего выведет войска, а затем можно будет и поговорить. По одному только вопросу Россия высказывалась теперь же и всецело не в нашу пользу. Она заявила, что ни в коем случае не может смотреть на так называемую нейтральную торговлю, как на отрасль английскую, и не может закрыть ей свои гавани.

Итак, от Наполеона требовалось одностороннее обязательство, унизительное отступление, не зависящее от какой бы то ни было уступки с другой стороны. Взамен этого предлагались весьма туманные надежды, обставленные точными оговорками. — Вот к чему сводились примирительные предложения Александра. Было совершенно ясно, что русский государь, требуя— на этот раз в крайне властных выражениях — залога в обеспечение своей безопасности, ничего не желал обещать взамен. Он ставил свои условия с полной уверенностью, что они не будут приняты и что, скорее всего, Наполеон ответит на них пушечными выстрелами. Но устав и изнервничавшись от ожидания, считая, что его приготовления к войне достигли полного развития, царь считал бесполезным задерживать вспышку кризиса. Отказываясь от бездеятельного и пассивного сопротивления, он решился на громкий шаг. Под видом мирных встречных предложений он заявил о несовместимости обоюдных требований и вызвал открытый разрыв.

II

Последовавший за заключением договора со Швецией ультиматум России был весьма крупной победой наших врагов. Они одержали еще и другую победу — во внутреннем управлении. Правда, они не могли добиться отставки Румянцева, которым император дорожил в силу привязанности и вследствие давней привычки к нему и к его услугам; зато им удалось устранить единственного человека, который вместе с канцлером поддерживал в высших сферах некоторую симпатию к Франции и служил живым воспоминанием прошлого.

Роль Михаила Михайловича Сперанского в период, непосредственно предшествующий войне, не вполне выяснена. Руководя внутренним управлением, он, конечно, вмешивался и во внешние дела; доказательством тому служит его переписка с Нессельроде. Но по всему видно, что этот миролюбивый, всецело преданный своей преобразовательной деятельности человек до конца советовал придерживаться мирной политики. Очевидно, он уже не в силах был помешать войне; но опасались, что он будет работать в пользу скорейшего окончания войны, дабы затем Россия могла вернуться к делу вну-

тренней реорганизации[1]. А между тем, желанием господствующей в стране партии была война без передышки, без пощады, не на живот, а на смерть.

Путь для нападения на Сперанского был подготовлен. С тех пор, как Александр отрешился от союза с Наполеоном, он стал меньше увлекаться подражанием Франции и ее идеям, горячим поборником которых был Сперанский. Царь начал с большим вниманием слушать тех, которые указывали ему на эти нововведения, как на «яд для России»[2], и надеялись вернуть его на путь узкого абсолютизма. Теперь он допускал более смелое, более горячее проявление ретроградных стремлений, и, рано или поздно, этот поток реакции должен был свалить министра-новатора. Сверх того, стойкий в своих принципах Сперанский видел пред собой только свою цель, и, идя к ней с апостольским самоотвержением, затронул на своем пути кастовые интересы и этим нажил себе толпы врагов. Члены служебной иерархии — чиновники — осыпали проклятиями человека, который для поступления на службу установил экзамен, и при раздаче мест принимал в соображение заслуги. Этот же человек хотел упростить страшную путаницу в законах, ввести порядок и последовательность в делах администрации, а, между тем, беспорядок и халатное отношение к делу были настолько удобны, выгодны и прибыльны, что нельзя было не восстать против того, кто посягнул на эти национальные, выработанные обычаем, порядки. Недовольство проникло даже в обыкновенно покорные и безгласные слои. Увеличение налогов, обусловленное тяжелым финансовым положением, вызвало ропот народа. Не вникая в причину этих бедствий, он во всем винил выскочку, «поповича», изменившего и перевернувшего вверх дном все основы государства. Непопулярность министра отражалась на государе. Сознавая необходимость накануне большой войны сплотить около себя все жизненные силы России и воссоздать нравственное единство в глубоко разъединенном обществе, Александр иногда задавал себе вопрос, не следует ли ему пожертвовать Сперанским, чтобы скрепить мир между народом и собой. Однако, он еще колебался и не поддавался искушению. Ему, с его недоверчивой душой, терзаемой сомнениями, относившемуся ко всем с подозрением, было так приятно иметь друга, которому он мог бы вполне довериться и на которого мог положиться.

Положение Сперанского было только поколеблено; чтобы свалить его, была задумана крупная интрига. Конечно, во главе ее стал Армфельт. Он вступил в союз с министром полиции Балашевым и свирепым Аракчеевым, с русскими людьми, которые с каждым днем все более входили в милость государя. Они раздобыли письма Сперанского. Сперанский сделал громадную ошибку, позволив себе в своей частной переписке говорить в весьма неуместных и неприличных выражениях о государе, которому он всем был обязан и который удостоил его своей искренней дружбы. Он обрисовал его как человека легкомысленного и тщеславного, влюбленного в самого себя, посвящающего пустым занятиям время, которое должен был бы отдавать государственной работе. Он давал ему заимствованные у Вольтера смехотворные прозвища[1]. Несомненно, Сперанский изменил чувству дружбы, но он не был изменником отечества. Однако его обвинили в этом, и утверждали, что он состоит с Лористоном в подозрительных отношениях. Общество, ввиду близкой опасности все более приходившее в лихорадочное состояние и везде видевшее изменников, воспринимало и распространяло эти слухи. Во дворец посыпались доносы и зловещие предостережения. Сперанский совершил ошибку, — ему приписывали преступления[2].

В то время, когда над головой его собиралась гроза, Сперанский по-прежнему неутомимо работал, проводя по восемнадцати часов в сутки за своей конторкой и почти не выезжая в свет. Вечером, для отдыха, он заставлял прочитывать себе вслух какую-нибудь трагедию Корнеля или Расина, иногда главу из Дон-Кихота. Но при этой исключительно умственной жизни, он жил и сердцем. У Сперанского была дочь, которую он боготворил. Иногда он смутно сознавал висевшую над ним опасность. Чтобы избавиться от подстерегавших его ненависти и зависти, он просил об ограничении круга возложенных на него обязанностей, старался умалить себя и не подавать повода к нареканиям. Он

[1] Tegner, III, 373.
[2] Voseph de Maistre.

[1] Шильдер, 240. Шильдер имел в своем распоряжении документы из первоисточника, которые бросают новый свет на причины, вызвавшие немилость.
[2] Tegner, III. 376—379.

даже выразил желание добровольно уйти со службы.

Но ему не дали на это времени. Когда царю представили письма, в которых Сперанский позволил себе отзываться о нем в оскорбительных выражениях, Александр поверил всему, и первым его побуждением было наказать немилосердно. Но из чувства утонченной справедливости, которое делает ему честь, он обратился за советом к профессору Парроту, на которого смотрел, как на своего духовного руководителя, здравый смысл которого, его беусловную искренность и беспристрастие особенно ценил. Позванный к нему вечером 16 марта, Паррот застал его в состоянии страшного гнева. Он рыдал от ярости и горя, говорил, что прикажет расстрелять Сперанского[1]. Паррот просил дать ему двадцать четыре часа, чтобы обдумать это дело и высказать свое мнение. В течение этих двадцати четырех часов участь преобразователя была решена. Александр одумался и самостоятельно принял решение. Он понял, что голословные обвинения — не прямые улики, что он не имеет права, мстя за личное оскорбление, обойтись со Сперанским, как с государственным преступником. Он ограничился тем, что лишил его своей милости и отправил в ссылку[2].

17 марта вечером Сперанский, по обыкновению, был приглашен во дворец для совместной работы с императором. Видели, как он прошел через приемную, где находились дежурный флигель-адъютант и князь Николай Голицын, и вошел к Его Величеству. Прошло три часа. Когда дверь императорского кабинета снова открылась, Сперанский вышел оттуда бледный, расстроенный, с глазами, полными слез, и, спотыкаясь, торопливо пошел к выходу, с видом человека, который сходит с ума. Голицыну, который старался его остановить и утешить, он сказал: «Прощайте, князь», и вышел. В ту же минуту на пороге кабинета показался император, глубоко взволнованный, с расстроенным лицом, и произнес ему вслед следующие слова: «Еще раз прощайте, Михаил Михайлович».

Что произошло между ними? — Разговор долгое

[1] Schildner, 242.

[2] Следующие цитаты и подробности взяты, главным образом, из сочинения Корфа о Сперанском и из русских источников, сообщенных нам виконтом де-Вогюэ, членом французской академии, в которых приведены подлинные слова.

время оставался тайной. Позднее Александр сам рассказал о нем, Он сказал Новосильцеву, что Сперанский никогда не был изменником, но был виновен в том, что отплатил за его доверие и дружбу самой черной, самой гнусной неблагодарностью; что, сверх того, его уклонения от общепринятого пути и неосторожные поступки вызвали к нему в народе большое недоверие. Поэтому, — прибавил он, — удаляя его от себя, я сказал ему: «Во всякое другое время я употребил бы два года, чтобы с величайшим вниманием проверить все дошедшие до меня сведения о вашем поведении и о ваших поступках. Но «теперь время и обстоятельства не позволяют мне сделать этого. Неприятель стучится в двери империи, и при том положении, в какое вас поставили подозрения, которые вы навлекли на себя вашим поведением, и словами, какие вы себе «позволили, мне важно, чтобы, в случае какого-нибудь несчастья, я не оказался виновным в глазах моих подданных, продолжая оказывать вам мое доверие и даже оставляя вас на занимаемой вами должности. Ваше положение таково, что я даже не советую вам оставаться в Петербурге или его окрестностях. Я веду крупную игру, и чем она крупнее, тем более, в случае неудачи и ввиду характера народа, которому внушены ненависть и недоверие к вам, вы подвергаетесь опасности»[1]. Сперанский избрал местом ссылки Нижний Новгород.

По выходе из дворца, он отправился к чиновнику Магницкому, своему другу и ближайшему сотруднику. Он застал его жену всю в слезах, так как ее мужа только что забрала полиция и отправила в Вологду. Он вернулся домой. Там был уже министр полиции со своими людьми и готовился наложить печати. У подъезда дома ждала изгнанника кибитка — почтовая карета, приспособленная для длинных поездок — чтобы отвезти его в Нижний. Сперанский получил разрешение вложить в конверт несколько бумаг на имя императора. Он не захотел будить свою дочь, перекрестил только дверь ее спальни и оставил ей коротенькую записку. Глубокой ночью его быстро увезли, а на другой день, рано утром, Петербург узнал о его исчезновении.

Тогда произошел взрыв необузданной радости и ненависти. При встречах обнимались и поздравляли

[1] Schildner, 243—244.

друг друга: пал человек — источник всяких бед! «Это была первая победа над французами»[1]. Народ поверил в государственную измену Михаила Михайловича, и вообразил, что он хотел выдать Наполеону тайны обороны. Дело Сперанского уподобилось делу Мишеля. Но на горизонте выступала более захватывающая драма, и вскоре были забыты и сосланный, и кипевшие вокруг него страсти, и роль, которую он играл в них; ссылка часто бывает и могилой. В течение нескольких дней Александр был печален и как бы вышиблен из колеи. «Вам нездоровится, Государь? — спросил его Голицын. — Нет, я здоров. Но был бы ты спокоен, если бы тебе отрезали правую руку?» Слышали, как он несколько раз повторил, как будто хотел отогнать от себя слишком тягостное его сердцу сомнение: «Нет, Сперанский не изменник. Царь принес его в жертву законному чувству мести, а, главным образом, требованиям общественного мнения. Это был залог, который он хотел дать дворянству и народу; но впоследствии этого он и сам всецело отдался в руки иностранцев, которые замкнули его теперь в круг, пылающий ненавистью. Он вверился Бернадоту, главному обвинителю Армфельту, прибывшему из Праги Штейну, Левенхильму, итальянцам Паулуччи и Серра-Каприола, эмигранту Вернегу — всем жаждавшим места людям, которые явились вести войну с Наполеоном кровью сынов России.

Дерзость этих господ, как только они отделались от Сперанского, перешла всякие пределы; с энергией бешеной злобы они взялись за дело международной интриги. Разъединяющие нас в настоящее время страсти и вражда бледнеют, кажутся мизерными, при сравнении с этой бешеной ненавистью, с этим баснословным озлоблением, составлявшим содержание всей жизни этих людей. Армфельт организовал тайную дипломатию от одного конца Европы до другого. Он взывал и к немецким патриотам, и к французам, которых достойная уважения верность несчастному прошлому держала вдали от их отечества, т. е. к непримиримым элементам эмиграции. Но, помимо того, он обращался к людям с обманутыми надеждами, ко всем завистникам, к находящимся не у дел авантюристам, к изобличенным предателям. Он расшевелил гнезда этих паразитов. Все они закопошились и откликнулись на его призыв. Он написал Антрегу и постарался возбудить энергию этого уставшего интриговать заговорщика[1]; написал Дюмурье, который в своем ответе предложил ему, как образец будущей борьбы, «войну скифов с Дарием»[2]. Старик Серра-Каприола, числившийся в Петербурге посланником экс-короля обеих Сицилий, взялся поднять на ноги Италию. Левенхильм добился разрешения для посла восставших кортессов открыто прибыть в Россию и установил связь между борьбой в Испании и военными операциями на Севере[3]. Бернадот, в стремлении вредить нам, доходил до умоисступления. Отвечая на предложения Наполеона в туманно-примирительном тоне, ибо считал полезным «говорить императору фразы, которые держали бы его в неизвестности»[4], он пускался во всевозможные предприятия, программу которых составил себе заранее и задачей которых было вредить нам. Он усиленно хлопотал о сближении России с Великобританией, старался устроить в Константинополе такой мир, результатом которого могла бы быть война между турками и Францией; он работал в Берлине, работал в Вене. Чтобы воздействовать на Австрию, он приказал написать эрцгерцогу Карлу, затрагивал его самолюбие и старался подействовать на его честолюбие. «Если дела пойдут так, как есть причина на это надеяться, говорил он, то три или четыре трона кажутся не занятыми или могут быть созданы... В особенности должен остановить на себе его внимание трон Италии». — «Одним словом, говорил Бернадот, я старался вскружить ему голову; не знаю, каков будет результат»[5].

Главным же образом старался он взвинтить и ожесточить против Наполеона императора Александра. Он постоянно находил, что Александр еще недостаточно враждебно настроен против Наполеона. Стараясь изо всех сил разжечь его вражду, он не пропускал ни одного дня, чтобы не подлить масла в огонь. Сухтелен

---

[1] Id., 244.

---

[1] Un agent secret sous la Révolution et l'Empire, le comte d'Antraigues, par Léonce Pingaud, p. 377.

[2] Tegner, III, 383.

[3] Депеши Левенхильма, 24 марта, 3 апреля.

[4] Донесение Сухтелена, 30 марта 1812 года. Recueil de la Société impériale d'histoire de Russie, XXI, 433.

[5] Донесение Сухтелена от 30 марта, вышеупомянутый том, 434.

все еще находился в Стокгольме, где с ним обходились, как нельзя лучше. Принц разрешил ему приходить в любой час, за исключением тех дней, «когда он говел»[1]. По вечерам Сухтелен имел доступ в интимный круг, который собирался у королевы. Эти собрания носили простой, почти патриархальный характер. Вокруг круглого стола сидели за работой королева и несколько дам. У Сухтелена было свое определенное место между королем и королевой, которые милостиво беседовали с ним. Позднее, когда приезжал принц, разговор становился оживленнее. Бернадот с обычным мастерством говорил о Наполеоне; рассказывал на свой лад личные о нем воспоминания и доходившие до него из Парижа злые сплетни. Трудно представить себе небылицу, которой бы он не выдумал, чтобы обрисовать «этого человека», как вероломного, гнусного, сумасбродного — словом, во всей мерзости его черной души. Он выставлял его то бешеным, то больным и даже убийцей. Послушать его, так в подпольях уже точились кинжалы на императора Александра и на него самого; он уверял, что, по его сведениям, уже обратились «в Париж к секте иллюминатов, чтобы те убедили своих собратьев в России и Швеции нанести оба удара одновременно»[2]; что этот план был выдан одним из членов секты, который ужаснулся, узнав об этом. Он просил передать императору Александру, что умоляет его заботиться о сохранении своей драгоценной жизни. Что же касается его, «он не знает страха. Он рад умереть, лишь бы ему удалось заплатить Швеции долг признательности и помочь спасти Север. Он ничего не имеет против того, чтобы его сразила последняя пуля, выпущенная отступающей армией Наполеона во время переправы через Рейн».

Несколько времени спустя, прибавляя к превосходящим всякую меру выдумкам некоторую долю правды, он приписывал Наполеону планы, безумие которых должно было ободрить его врагов. «На днях, сказал он Сухтелену, я говорил вам о его планах насчет Константинополя и Египта. Сегодня мне сообщают еще и другие. Мне пишут, что он рассчитывает покончить с Россией в два месяца; затем пойдет на Константинополь, куда хочет перенести свою столицу, чтобы оттуда управлять Россией и Австрией, как и всеми остальными. Затем он хочет напасть на Персию, обосноваться в Испании, где ему не придется иметь дела с людьми, которые рассуждают; наконец, не более, как через три года, двинуться на Дели и напасть на англичан в Индии. Вот что мне пишут. От него я жду всего; нет такой сумасбродной выходки, которой бы я не поверил»[1]. Вступая на более практическую почву, он, время от времени, как результат проницательных наблюдений, давал полезные сведения о характере Наполеона, о свойствах его темперамента, о средствах привести его в замешательство и одолеть его[2]. Он указывал тоже на сильные и слабые стороны наших войск. Обращая внимание на их способность к страшному натиску, он указывал и на их впечатлительность, и на склонность внезапно падать духом. Он умолял «по возможности избегать открытых сражений», морить голодом и изнурять наши войска, держать их в вечной тревоге внезапными нападениями, засадами, стычками; когда удастся окружить какой-нибудь отряд — брать в плен офицеров, убивать солдат. В своих, в полном смысле слова, бесславящих его советах этот недавний француз настоятельно рекомендовал не давать пощады французским солдатам[3].

Несмотря на все усилия довести Александра до высшей степени раздражения и укрепить его веру в свои силы, наши враги находили, что могут быть вполне уверены в нем только после первого пушечного выстрела, т. е. когда начнется резня. Левенхильм высказал эту мысль со зверским цинизмом. «Только в тот день, — сказал он, — когда польется кровь, можно быть уверенным, что ход событий не будет прерван»[4]. Поэтому,

---

[1] Id., 435.
[2] Депеша Сухтелена, 10 апреля, вышеупомянутый том, 435.

---

[1] Депеша Сухтелена, 10 апреля, вышеупомянутый том, 444—445.
[2] Говоря об императоре, он сказал, что «император может растеряться только в том случае, если его сильно побьют; что тогда он теряет голову, и если суметь воспользоваться этим, он способен все бросить, даже дать себя убить. Но следует не упускать этого момента, потому что раз он опомнится, он найдет средства для борьбы там, где их никто и не подозревает». Вышеупомянутый том, 438. В этих словах с удивительной проницательностью было предсказано ослабление у Наполеона воли в 1812 и 1813 гг., т. е. внезапно находивший на этого великого человека, одаренного железной волей, упадок душевных сил. В них предсказывалась и необычайная кампания 1814 г.
[3] Соловьев, 227.
[4] Депеша от 23 марта.

с согласия Бернадота и следуя его инструкциям, он убеждал Александра начать враждебные действия — не ждать, чтобы французы подошли к русской границе, а вторгнуться раньше их в восточную Пруссию и Польшу.

Это был единственный пункт, по которому Александр все еще затруднялся принять определенное решение. Он взвешивал и сравнивал выгоды, которые могла дать ему инициатива военных действий, с нравственным ущербом, который мог для него отсюда воспоследовать. Его любимой фразой всегда было: я не хочу быть зачинщиком. Тем не менее он собирался покинуть Петербург, чтобы поехать в Вильну, где хотел устроить свою главную квартиру и принять на себя командование войсками. Вскоре он пришел к убеждению, что ему нельзя больше откладывать свой отъезд. 21 апреля, после торжественного богослужения в соборе Казанской Божией Матери, он проследовал во главе космополитической свиты через город, и, напутствуемый благопожеланиями и изъявлениями верноподданических чувств всего населения, направился по дороге в Вильну. За несколько дней до этого он пригласил к своему столу много офицеров и сказал им: «Мы принимали участие в войнах против французов, как союзники других государств, и мне думается, что мы исполнили наш долг. Теперь наступило время защищать не права других, а наши собственные права. Вот почему, веря в Бога, я надеюсь, что каждый из вас исполнит свой долг, и что мы не уроним приобретенной нами славы»[1].

Эти слова были просты и величественны. При прощании с французским посланником, Александр был менее откровенен. 10 апреля, пригласив Лористона к обеду, он сказал ему, что, находя «нужным видеть свои войска»[2], он предпринимает обычный «объезд»; что надеется скоро вернуться; что, впрочем, где бы он ни был, «в Петербурге ли, на границе ли, в Тобольске ли», он всегда будет готов восстановить союз, лишь бы от него не требовали жертвы, несовместимой с его честью. Но его волнение говорило больше, чем его слова. Оно выдавало мысль, что он окончательно расстается с посланником, и, что, несмотря на неизменность его решения, он страшно беспокоится за грозное будущее. Его голос прерывался и звучал глухо, «на глазах выступали слезы»[1]. В минуту своего отъезда он приказал официально сказать Лористону, «что в Вильне, как и в Петербурге, он всегда останется самым верным другом и союзником императора Наполеона; что он уезжает с твердым намерением и с самым искренним желанием не вести войны, и, если, к несчастью, она возникает, ее нельзя будет поставить в вину ему»[2]. Но через несколько часов эти уверения не помешали ему объявить своим иностранным друзьям, что эта неизбежная война, наверное, состоится, ибо он не из тех людей, которые отступают в последнюю минуту и приносят извинения на поле сражения. Но, даже уступая клокотавшему вокруг него воинственному нетерпению, он, видимо, был склонен двинуть войска только после того, как наши войска, переходом через Вислу, совершат первый акт враждебности. «Если французы, — сказал он Левенхильму, — перейдут за известную черту (этой чертой была Висла), я тоже пойду вперед»[3]. В письме к Чарторижскому, он не исключал возможности движения вперед, даже перехода через Вислу и занятия Варшавы[4].

Но этому желанию перейти в стратегическое наступление не суждено было состояться. Причиной, разрушившей его, было известие о франко-австрийском союзе. Подписывая договор от 12 марта, Наполеон и Франц I обещали друг другу, насколько возможно дольше, хранить в тайне этот акт. Ошибка одного австрийского агента дала делу другой оборот. В то время представителем императора Франца в Стокгольме был граф Нейпперг — тот самый, который впоследствии заставил Марию-Луизу забыть Наполеона и благодаря этому попал на страницы истории. Узнав о договоре, Нейпперг счел своим долгом официально сообщить об этом шведскому правительству. Из Стокгольма известие пришло в Россию, где оно произвело самое удручающее впечатление. Приближенные царя уже давно перестали рассчитывать на Пруссию. Им было известно, что эта находящаяся в крепостной зависимости монархия уже

---

[1] Schildner, 245.
[2] *Лористон Марэ, 11 апреля.*

[1] Id.
[2] Id.
[3] Депеша Левенхильма, 18 апреля.
[4] Mémoires de Chartoryski, II, 281.

не принадлежит себе. Ее окончательное подчинение воле Франции никого не удивило; оно внушало скорее чувство жалости, чем гнева. Наборот, все до конца надеялись, что Австрия, менее связанная в своих решениях, не наложит сама на себя цепи. Сладкие речи Меттерниха и его агентов поддерживали это заблуждение. Все было предусмотрено, за исключением измены Австрии; тем чувствительнее был удар. Не вызвав в Александре ни упадка духа, ни мысли о капитуляции и мире, прискорбная весть заставила его бояться, что его войска, углубляясь в варшавскую Польшу, могут подвергнуться со стороны австрийцев нападению во фланг, и опасение подобного нападения заставило его остановиться на плане исключительно оборонительной войны. Прибыв в Вильну, он решил не трогаться с места и ждать нападения, которое, по его мнению, вероятно, будет ускорено его ультиматумом[1]. Решение, которому суждено было спасти Россию — ибо столкновение на Висле с превосходящими численностью силами подвергло бы ее неминуемой гибели — окончательно было принято Александром только в последнюю минуту, вследствие события, не зависящего от его воли и подготовленного самим Наполеоном. Итак, все, что по мысли императора должно было наверняка обеспечить успех его великому предприятию, содействовало его гибели.

[1] Bogdanovitch, 1, 60; Schildner, 246.

XI

УЛЬТИМАТУМ РОССИИ



Искренность и чистосердечие Куракина. — Он порицает свое правительство. — Он по-прежнему желает мира и прославляет союз. — Дело о государственной измене. — Речь генерал-прокурора. — Допрос подсудимых; их неодинаковая ответственность. — Приговор. — Осуждение Мишеля и Саже. — Протест Куракина по поводу выражений обвинения. — Прибытие ультиматума. — Куракин в Сен-Клу. — Гнев и беспокойство императора. — Кратковременная тревога. — Наполеон во что бы то ни стало хочет отвлечь русских от нападения, чтобы сделать это самому в удобное для него время. — Условное предложение о перемирии. — Отправка Нарбонна в Вильну; характер и цель данного ему поручения. — Громкий шаг по отношению к Англии. — Французское правительство делает вид, что соглашается вести с Куракиным переговоры на основе ультиматума; затем разговор с посланником откладывается со дня на день; его всячески обманывают и дурачат. — Повязка спадает с глаз Куракина. — Настойчивые требования. — Тревожные симптомы. — Казнь Мишеля. — Вторичное похищение Вюстингера. — Отъезд Шварценберга. — Куракин приходит к убеждению, что его обманывают и водят за нос; внезапный приступ отчаяния заставляет его изменить своему обычному характеру. — Он требует свои паспорта, что равносильно объявлению войны. — Этот несвоевременный шаг не отвечает планам ни того, ни другого императора. — Отъезд Наполеона и Марии-Луизы в Дрезден. — Заметка в Moniteur'е. — Наполеон поручает герцогу Бассано успокоить Куракина и убедить его взять обратно требование о выдаче

паспортов. — Новый разговор. — Слезы. — Герцог делает вид, что берется за дело; он возбуждает формальное затруднение; вопрос о полномочиях. — Министр спасается бегством от посла и уезжает в Германию. — Куракин прикреплен к своему посту. — Наполеону удалось на время отдалить разрыв.

I

Среди правящих сфер России и Франции, которые состязались в двоедушии, и стремясь к войне, всевозможными способами старлись убедить друг друга в противном, только один человек был искренен и прямодушен. То был русский посланник во Франции — то самое лицо, на долю которого выпала обязанность представить ультиматум и поддерживать его во всей строгости. Прекращение распри было всегдашним и горячим желанием князя Куракина. Страдая от того, что ему не давали «ни приказаний, ни инструкций, ни о чем не осведомляли его»[1], он в душе осуждал уклончивое молчание, которого уже столько месяцев упорно держалась русская канцелярия, и возлагал на нее часть вины. В начале года он то впадал в глубокое уныние, то обольщал себя кратковременными надеждами. В феврале, видя, что наши войска пришли в движение, он заключил из этого, что Наполеон бесповоротно решился на войну. Немного позднее у него явилась надежда, что все кончится благополучно. Узнав о разговоре императора с Чернышевым и об отправке его с особым поручением к царю, он поверил в искренность этого шага, и, попросту говоря, попался в расставленные тенета. Он умолял своего государя не пренебрегать этим последним шансом к миру и начать «переговоры, которые ему так часто предлагали»[2]. В ожидании результатов он по-старому принимал у себя парижское общество, давал великолепные балы и большие обеды, на которых торжественно пил «за союз».

В середине апреля прискорбный инцидент доставил ему немало душевных тревог и жестоко оскорбил его. На основании того, что ему было сказано, он думал, что дело о шпионстве, в котором замешан был Чернышев, не будет предано огласке и что французское правительство постарается замять его. Каково же было его изумление, его горестно-удрученное состояние, когда однажды вечером он узнал из Gasett de Ferance о начале процесса, на котором в некотором роде должны были заочно осудить Россию и о котором никто не соблаговолил предупредить его!

13 апреля Сенский уголовный суд собрался для разбора дела о государственной измене. Он посвятил ему три заседания. Пред судом предстало только четверо обвиняемых: Мишель, Сажé, Салмон и Мозè, по прозванию Мирабо. Остальные арестованные чиновники, за отсутствием достаточных улик, были освобождены. Что же касается Вюстингера, то, хотя он и служил центром всей интриги, решили, что его — в качестве иностранца и человека, служащего при русском посольстве, нельзя отдать под суд. Но так как его показания были необходимы для выяснения пред судом обстоятельств дела, а между тем нельзя было ручаться, что он явится в суд, то его продержали до дня открытия заседаний в тюрьме, откуда он и должен был, как «Необходимый свидетель», являться для дачи показаний. На скамье защиты заняли места многие знаменитости адвокатуры. Генерал-прокурор Легу занял кресло председателя в местах для прокурорского надзора, имея ассистентами двух товарищей прокурора.

По прочтении обвинительного акта первым выступил с речью генерал-прокурор. Уголовное судопроизводство того времени давало ему на это право. Во вступлении он выставил в ярком свете главные факты дела. Его речь представляла образец высокопарного и витиеватого слога, процветавшего в те времена. Эпоха великих дел была эпохой и громких фраз. Легу отдал дань благоговейного поклонения либерализму императора; ибо император мог, сославшись на высшие интересы государственной обороны, изъять подсудимых из-под ведения их прямых судей, но он не воспользовался своим правом. Излагая фактическую сторону измены, Легу не преминул облечь в драматическую форму ее возникновение. Первый развратитель чиновников, поверенный в делах Убри, был представлен им в образе демона-искусителя, блуждавшего по Парижу и искавшего, на кого бы обратить свою преступную силу. Случай сводит его с Мишелем. «В один прекрасный день они встречаются на бульваре, и Убри замечает

[1] Донесение от 5 января 1812 г. Recueil de la Sociéte impériale d'histoire de Russie, XXI, 354.

[2] Частное письмо от 25 апреля, вышеупомянутый том, 360, XXI, 354.

в руке Мишеля бумагу. Агент России делает вид, что поражен красивым почерком; он говорит, что имеет надобность переписать кое-что. Он поручает сделать это Мишелю, и, хотя этот труд ничтожный и содержание бумаги не имеет большого значения, переписчик, сверх всякого ожидания, получает великолепную плату — билет в тысячу франков!»[1]. Прельщенный такой щедростью, которая должна была бы показаться Мишелю подозрительной, он прислушивается к коварным внушениям и позволяет сказать себе, что может оказать некоторые услуги. Первое преступление — непростительное преступление должностного лица — слушать подобные речи! Таким образом Мишель вступает на путь преступлений, осуждает себя не сходить с этого пути, и, подвигаясь без отдыха вперед, проходит весь путь до конца. В скором времени он оказывает услугу, которой от него требовали, затем идут новые услуги; с каждым днем количество его услуг возрастает, и вот целый ряд агентов России передают с рук на руки этого презренного посредника; каждый из них по очереди пользуется им, и, прежде чем покинуть Париж, завещает Мишеля, как драгоценный клад, своему заместителю.

Не столь сведущий в истории, как в законоведении, Легу путается в малоизвестной ему галерее посланников и поверенных в делах, смешивает их фамилии и время действия, но прикрывает некоторые неточности в фактах целым потоком красноречия. Он уподобляется Фонтану и сыплет смелыми метафорами, фразами горячего негодования, антитезами и звучными словами. По мере того, как он говорит, ярко обрисовывается, как «соблазненный превращается в соблазнителя», как Мишель совращает с пути долга своих сослуживцев и организует куплю-продажу совести; как он мало-помалу доходит до пределов наглости, осмеливаясь бросить святотатственный взгляд даже на таинственную, священную таблицу, которая дает императору дар вездесущности и «в некотором роде переносит его в его лагери». За спиной соблазненного чиновника постоянно стоит Чернышев. Это он внушил и приказал выполнить этот длинный ряд преступных деяний. Знаменитый

[1] Выдержки из речи взяты из официальных отчетов процесса, опубликованных в журналах, а затем в виде отдельных статей.

судья находит удовольствие отпускать колкие эпиграммы по адресу «придворного», не побоявшегося замарать себя общением с негодяями. Он называет его «самым нескромным, самым предприимчивым из дипломатов», и, в силу судейской привычки, всякий раз, когда клеймит Мишеля и его соучастников именем государственных преступников, он вменяет это в вину России и требует ее к ответу.

Он делает намек на «завистливые государства», которые своей темной деятельностью силятся помешать полету гения и «остановить ход предначертанных судеб мира». Напрасные попытки, бессильные козни! Провидение, видимо, бодрствует над императором и его храбрыми солдатами. Оно-то и привело к тому «что измена, в конце концов, выдала сама себя», с непостижимым безрассудством. При этих словах сообщается присутствующим опрометчиво забытая Чернышевым записка Мишеля; она прочитывается целиком и выставляет воочию, во всей его наготе, позорное дело. Наконец, в заключительной части горячей речи представитель прокурорского надзора убеждает присяжных, если ход процесса поставит их пред лицом несомненно доказанных фактов, исполнить свой долг, исполнить его до конца, ибо их вердикт разнесется по всей Европе и отомстит за подлые интриги против Франции.

Подсудимые, подавленные таким ошеломляющим красноречием, убитым голосом отвечали на допрос председателя. Затем пред судом прошел ряд свидетелей. Первым выступил Вюстингер, и, так как он был зол на Мишеля за то, что тот заманил его в западню, то и постарался очернить его, насколько мог. Впрочем, и без того все отвернулись от несчастного чиновника; его участь не подлежала сомнению. Когда наступило время поставить вопрос о применении статей закона, генерал-прокурор, после ответа на речи защитников, потребовал для Мишеля высшей меры наказания. На выраженное Мишелем раскаяние, Легу, предвидя, что тот будет приговорен к смертной казни, ответил ссылкой на утешения в загробной жизни.

Участь же остальных обвиняемых была горячо оспариваема защитой. Прениями не было вполне установлено, что Сажѐ, Салмон и Мозé сознательно принимали участие в измене, и что они знали о преступном употреблении, которое делал Мишель из переданных в его руки документов. В заключение, вследствие безусловно утвер-

дительного вердикта по обвинению Мишеля, утвердительного по обвинению Саже в той его части, что он за деньги совершал «деяния, не дозволенные его служебным положением и не подлежащие оплате»[1], Мишель был приговорен к смерти, с конфискацией его имущества; Саже́ к существовавшему еще в те времена наказанию — выставлению преступника у позорного столба с железным ошейником; к этому наказанию был прибавлен денежный штраф. Салмон и Мозѐ были оправданы.

Исход этого печального процесса, который вызвал сенсацию во всех кругах парижского общества, окончательно рассердил князя Куракина, уже и без того глубоко оскорбленного выражениями, употребленными обвинением, и тем направлением, какое дано было дебатам. Когда он читал в газетах отчеты заседаний, на его обыкновенно добродушном и спокойном лице отражались гнев и негодование. Наконец, ознакомившись с вердиктом и приговором, припомнив все подробности «гнусного дела»[2], он вывел заключение, которое действительно, могло возмутить его. Прокурорский надзор преследовал Мишеля, а суд осудил его за то, что он доставил иностранному государству — Российской империи — «средства для войны с Францией». Это значило в иносказательной форме признать и провозгласить, что Россия искала средств для войны, что она замышляла враждебные планы. Может ли посланник России, на которого возложено заботиться о чести и репутации своей страны, допустить подобные утверждения? Куракин нашел, что «священный долг» налагает на него обязанность возбудить дипломатический инцидент и представить ноту с протестом. Насколько мог, он составил ее в самых твердых и сильных выражениях[3]. Так как злостные, бездоказательные обвинения были преданы гласности, то он решил, что и опровержение должно быть гласным, и потребовал, чтобы в газетах была напечатана статья, в которой честь России была бы восстановлена. Конечно, ему было отказано в этом удовлетворении, и князь был в крайне затруднительном положении, не зная, что делать со своей особой и со

[1] Статья 177 Уложения о наказаниях.
[2] Частное письмо от 23 апреля, вышеупомянутый том, 362.
[3] Нота, помеченная 14 апреля, хранится в архивах министерства иностранных дел. Russie, 154.

взятой на себя ролью. Колеблясь между желанием поддержать свое достоинство и боязнью вызвать непоправимый разлад, он спрашивал себя, не придется ли ему в скором времени оставить Париж. Приходя в ужас при мысли о тягостном путешествии, о тяжелом возвращении на родину, он, тем не менее, заготовлял средства для переезда. Подумывал уже отправить часть своего штата в Германию, и подготовлял перевозку своего хозяйства в чаянии момента, когда ему придется позаботиться о перевозке своей собственной объемистой особы.

Он с грустью предавался этим заботам, когда 24 апреля в Париж приехал молодой человек, по фамилии Сердобин, присланный к нему курьером из Петербурга и бывший для него близким человеком, так как был одним из его побочных детей, которых плодливый посланник всюду посеял на своем пути. Этот юноша, которого он по-отечески называл «мой Сердобин»[1], привез ему текст ультиматума для представления французскому правительству. Это поручение, очень взволновавшее Куракина, доставило ему некоторое удовлетворение и польстило его гордости. Наконец-то его двор, продержав его так долго в унизительной бездеятельности, доверил ему переговоры капитальнейшей важности. Эта манера вернуть его к деятельности польстила его самолюбию. Не задумываясь над чрезмерностью русских требований, он счел возможным заставить Францию принять их, так как она всегда заявляла, что готова выслушать всякое категорическое объяснение. Поверив в серьезность роли примирителя, он решил посвятить ей весь остаток своих сил. Но так как его правительство предписало ему говорить настойчиво и твердо, он хотел точно сообразоваться с этим приказанием. Собравшись с духом, он отправился к герцогу Бассано, и заявил, что эвакуация Пруссии есть предварительное, главное, не подлежащее даже обсуждению, условие. Он сказал: «Только после того, как будет дано согласие на это требование, посланнику будет дано разрешение обещать, что в соглашение могут войти некоторые уступки, из которых безусловно исключается торговля нейтральных судов, от которой Россия никогда не может отказаться». В переданной несколько дней спустя

[1] Частное письмо от 23 апреля, вышеупомянутый том, 362.

ноте Куракин письменно повторил эти слова[1]. Но Наполеон, узнав о его словесном сообщении, пригласил его 27 апреля на частную аудиенцию в замок Сен-Клу.

Во время разговора Наполеон прежде всего дал волю своему негодованию. — Итак, унизительное отступление — вот что хотят предписать ему без всяких разговоров, прежде какого бы то ни было соглашения. Разве Россия уже побила его, чтобы обходиться с ним таким образом? — Когда Россия, наконец-то, соблаговолила заговорить, ее первое слово — оскорбление. Он говорил короткими, отрывистыми фразами, как бы задыхаясь. «Каким же способом хотите вы сговориться со мной? — Герцог Бассано уже сказал мне, что, прежде всего, вы хотите заставить меня очистить Пруссию. Это невозможно. Это требование — оскорбление. Это значит приставить мне нож к горлу. Моя честь не позволяет мне согласиться на это. Вы — благородный человек; как решились вы сделать мне подобное предложение? О чем думали в Петербурге?.. Я не так обошелся с императором Александром, когда он приехал ко мне в Тильзит, после моей победы при Фридланде... Вы поступаете, как Пруссия до битвы при Иене. Она тоже требовала эвакуации северной Германии. В настоящее время я тем более не могу согласиться на эвакуацию Пруссии. Вопрос идет о моей чести»[2].

К его гневу присоединялись жестокая досада и непритворное беспокойство. Суровый характер ультиматума как будто и на самом деле указывал на намерение русских ускорить разрыв. На основании некоторых данных Наполеон одно время даже думал, что император Александр — как и действительно у того была эта мысль — приказал своим войскам перейти Неман и пойти навстречу нашим войскам; ему казалось, что враждебные действия уже начались, что на Висле и Пассарге уже идет перестрелка. Ему было досадно, что его плану наступления неожиданно ставятся преграды; что его комбинации рушатся в ту самую минуту, когда он на пути к цели; что неприятель перехватывает у великой армии ее операционную базу.

[1] Archives des affaires etrangéres, Russie, 154.

[2] Все ссылки до стр. 398, за исключением тех, которые составляют предмет особых справок, взяты из донесений Куракина от 27 и 28 апреля, 2 и 9 мая 1812 г., т. XXI Recueil la Société imperiale d'histoire de Russie, 362—410.

Он до такой степени был взволнован при мысли, что этот случай возможен, что подумывал прибегнуть к отчаянному средству, не имевшему никакого разумного основания, лишь бы во что бы то ни стало затормозить движение русских. Подавив гнев и меняя с Куракиным тон, он заговорил с ним мягко и произнес слово — перемирие. И, действительно, он предложил подписать в Париже временное перемирие на случай, если враждебные действия уже начались. Это перемирие должно было остановить готовые вступить в бой войска, установить нейтральную почву между Неманом и Пассаргом, дать правительствам время опомниться и продлить переговоры. Куракин, в действительности далеко не такой храбрый, как это казалось, с радостью принял предложение. Тем не менее, Наполеон на всякий случай готовился к отъезду и к сражению. Он ждал только известия от Даву, сигнала с воздушного телеграфа, чтобы немедленно выехать из Парижа. Он решил, нигде не останавливаясь и пренебрегая правилами вежливости по отношению к собравшимся на его пути государям, почти «со скоростью курьера»[1] промчаться через Германию и явиться на Вислу, чтобы самому встретить и отразить удар.

Его тревога продолжалась недолго. Несколько дней спустя с Севера пришли более успокоительные известия. Наши агенты и шпионы, не ручаясь, что русские не перейдут в наступление, сообщали с достоверностью, что те еще не покинули своей территории и стояли там в полной боевой готовности. До сих пор Россия не поддержала еще своих надменных требований соответствующими поступками.

В таком поведении Наполеон увидел указание на душевную тревогу, на колебания Александра. Он все еще не понимал истинных намерений своего соперника. Тогда как Александр уже твердо решился на войну, и окончательно решил вести ее исключительно у себя дома, не переходя своих границ, Наполеон не перестает думать, что тот колеблется между желанием напасть и тайной боязнью войны. В нем тотчас же возрождается надежда использовать это настроение, перехитрить русских, отсрочить, а то и совсем отклонить их нападение, чтобы в подходящее для него время са-

[1] Марé Отто, 3 апреля.

мому со всеми своими силами броситься на врага. Дойдя до предложения перемирия с целью остановить первые враждебные действия, он теперь считает возможным оттянуть их путем новых притворных переговоров.

Но, спрашивается, на какой основе и через кого начать переговоры.

Предложенная Россией основа, т. е. ультиматум — неприемлема, и, к тому же, это категорическое требование не дает никакой зацепы для обсуждения. С другой стороны, с Куракиным, которому русский двор дал точное поручение и который весь предался своему делу, можно говорить только об ультиматуме и, попутно, о перемирии. Чтобы выйти из этого положения и чтобы переменить предмет переговоров, император решает так: он перенесет их в другое место. Для этого он отправит как можно скорее в Вильну, куда по его предположению, вскоре должен приехать император Александр, чрезвычайного посла, вестника с мирными предложениями; причем, так обставит дело, что царь будет думать, что поручение дано было до прибытия в Париж ультиматума. Следовательно, посол может не знать об этом документе; он может совершенно устранить этот вызывающий раздор элемент из тех неопределенных дебатов, которые ему поручено будет вести. Таким образом, Наполеон избегнет необходимости дать ответ на властные требования России — ответ безусловно отрицательный, который может ускорить войну. Чтобы избавиться от обязанности рассердиться, он делает вид, что ничего не слыхал.

По счастливой случайности, самый подходящий агент для того, чтобы произвести хорошее впечатление на Александра, уже был на полпути от России. Незадолго до этого, чтобы наблюдать за выполнением договора с Пруссией, Наполеон послал в Берлин самого блестящего из своих флигель-адъютантов, графа Нарбонна. Среди лиц, которых он недавно привлек на свою службу из состава старого двора, этот бывший министр Людовика XVI, вступивший в 1810 г. в свиту императора с чином генерала, был самым драгоценным приобретением. Живя в самом тесном общении с обществом восемнадцатого столетия, Нарбонн, несмотря на свои пятьдесят лет и порядочную лысину, сохранил утонченные манеры и рыцарскую любезность того времени; он обладал тонким, гибким умом, чрезвычайно остроумным и находчивым. Его быстрое движение по службе ввело его в курс государственных дел, которые он вел изящно, уверенно и тактично. По рождению и призванию офицер, которого случай выдвинул в министры, он был и навсегда остался прежде всего светским человеком. Это был тип умного и образованного светского человека, с выработанными взглядами и понятиями, который превосходно умел красиво и поверхностно затрагивать вопросы, не углубляясь и не разбираясь в них. Никто лучше этого опытного царедворца, этого безукоризненного и умного барина, не мог выполнить поручения, при котором ведение переговоров было последним делом, а главное, что требовалось — уметь говорить и нравиться.

Нарбонн тотчас же получил приказание покинуть Берлин и отправиться в Вильну. Не говоря ему напрямик, что его поручение было только хитростью, в его инструкциях ясно давалось понять это. Ему предписывалось по приезде в Вильну приложить все старания, чтобы его как можно дольше оставили там; ему приказано было зорко наблюдать за движениями русских войск и осторожно добывать военные сведения. В разговорах с императором Александром он должен постоянно говорить, что Наполеон желает и надеется придти к полюбовному соглашению, и вообще держаться только этих общих мест. Но, главным образом, все его поведение и тон его речей должны быть направлены на то, чтобы уверять в добрых чувствах, чтобы поселить хотя бы немного доверия и тем ослабить натянутое положение. Не позволяя себе пускаться в деловые обсуждения и не затрагивая слишком близко вопросов, он должен расточать такого рода уверения, которые бы на время наших последних передвижений удержали Россию в состоянии бездействия и оцепенения. В случае необходимости он должен чарующими фразами и усыпляющими словами успокаивать воинственный пыл Александра и осторожно, не давая ему этого почувствовать, держать его в состоянии наркоза.

Но, чтобы придать его поручению более правдоподобный характер, герцог Бассано отправил ему пакет с официальной нотой для передачи канцлеру Румянцеву[1]. В виде предисловия французский министр уведомлял, что император намерен предпринять решительный

---

[1] Этот документ и отправленная Нарбонну инструкция находятся в архивах министерства иностранных дел, Russie, 154.

шаг по отношению к Англии и еще раз вызвать ее на переговоры. Действительно, накануне новой войны на континенте Наполеон думал, что такого рода платоническое воззвание к всеобщему миру произведет выгодное и грандиозное впечатление. Доводя до сведения России о своем поступке, не доказывал ли он ей, что все еще считает, что состоит в союзе с ней и что не нарушает статьи тильзитского договора, по которой России и Франции, без обоюдного согласия, воспрещается вступать в переговоры с Англией. Далее в министерской записке энергично перечислялись наши обиды; но при этом настойчиво высказывалось мнение, что исключительно от России зависит мирно покончить спор. Вся показная мысль записки сводилась к следующим словам: «Каково бы ни было положение вещей в момент прибытия по назначению этого письма, мир будет зависеть исключительно от решений русского кабинета».

Для вящего подтверждения этих слов Наполеон написал царю письмо в твердых, но любезных выражениях и даже позаботился ввернуть в него чувствительную нотку. Он писал, что не заблуждается относительно серьезности создавшегося положения; но при этом уверял в своем упорном желании мира, в своей верности воспоминаниям прошлого и в намерении остаться другом Александра даже тогда, когда, в силу несчастно сложившихся обстоятельств, он вынужден будет обходиться с русским императором, как с врагом. «Ваше Величество, говорил он, позволит мне уверить вас, что, если судьбе угодно будет сделать войну между нами неизбежной, война нисколько не изменит тех чувств, которые Ваше Величество внушили мне и которые останутся таковыми, независимо от всяких превратностей и перемен»[1].

Письмо Александру и нота Румянцеву, написанные в Париже 3 мая и тотчас же отосланные Нарбонну, были умышленно помечены 25 апреля. Было вполне допустимо, что в это время текст, в котором выражалась воля России, не прибыл еще в Сен-Клу. Таким образом, незнакомство с ультиматумом становилось вполне правдоподобным, на чем и основывал император свой маневр.

[1] Corresp., 18669.

II

Отправка Нарбонна не устранила затруднений, которые создала для нас Россия своим неожиданным заявлением. Пока генерал домчится до Вильны, нужно было что-нибудь говорить Куракину, который стоял перед нами с ультиматумом в руках и ежеминутно требовал ответа. Но что? — Конечно, если поручение Нарбонна будет иметь успех, можно ожидать, что русское правительство умерит усердие своего представителя и прикажет ему быть менее настойчивым. Но как и чем внушить терпение упорно требовавшему ответа Куракину до прибытия таких умеряющих его усердие инструкций? Император и министр решили прибегнуть к отсрочкам и увerткам. Рассчитывая на слабость Куракина, на характер этого безобидного человека, они нашли возможным безнаказанно злоупотреблять его простодушием, решили откладывать ответ под самыми неправдоподобными предлогами со дня на день, с часу на час, и тотчас же начали подвергать несчастного старца целому ряду мистификаций.

В разговорах с ним герцог Бассано уже не так упорно отвергал первую статью ультиматума. С своей стороны, император сказал, что в принципе не прочь эвакуировать Пруссию, лишь бы к нему обратились с этим требованием в форме, совместимой с его достоинством и не затрагивающей его чести; лишь бы требование об отступлении его войск было ему предъявлено, как одно из следствий соглашения, а не как предварительное условие. Куракин, не уступая по существу дела, согласился подыскать подходящие выражения. Вот что он придумал. Тотчас же должно быть подписано предварительное соглашение, которое должно послужить основой для будущего, окончательного соглашения. По первой статье этого соглашения император французов теперь же и в самых точных выражениях обязывался эвакуировать Пруссию и сократить гарнизон Данцига; следующие статьи обязывали Россию начать переговоры по остальным спорным вопросам. Таким образом, в имеющемся налицо проекте соглашения между уступкой с той и другой стороны будет установлено нечто вроде соотношения и равновесия, что может смягчить ныне существующее несоответствие. Герцог Бассано сделал вид, что одобряет эту мысль, и

просил Куракина спокойно обдумать и подготовить целый ряд статей.

Считая, что мирное решение, к которому он стремился всей душой, почти что уже в руках у него, Куракин тотчас же принимается за работу, берет в руку перо и составляет наикрасивейшим своим слогом проект договора. К великому его удивлению, проходит день, другой, третий, а он не может дать хода своему образцовому произведению. Когда он является к министру, того никогда не бывает дома. Можно было подумать, что министр забыл о важном деле и о существовании посланника. Куракин собирался уже настоятельным письмом напомнить ему о себе, как вдруг, 2 мая утром, когда он прогуливался по саду и наслаждался свежим утренним воздухом, к нему подошел министерский чиновник и передал ему, что Его Превосходительству доставит большое удовольствие видеть его. Ободренный этим приглашением, князь тотчас же отправился к герцогу Бассано. Он спешно приехал к министру в том виде, в каком был дома, «в сапогах, в сюртуке и непричесанный», не желая терять времени на одеванье усыпанного орденами и знаками отличий мундира. Подобный факт указывал на совершенно не свойственные ему торопливость и жгучее любопытство.

Герцог принял его чрезвычайно любезно. Он сказал ему, что желал его видеть, чтобы сообщить ему полученные накануне из Петербурга прекрасные известия. Вслед за тем он прочел ему депешу, в которой Лористон давал отчет о своих разговорах с царем незадолго до отъезда царя в Вильну. В доказательство, что время терпит и что до разрыва еще очень далеко, Бассано привел сердечные и примирительные слова русского монарха и воспользовался для уплаты по счету посланника русского государя той самой монетой, которую Александр так щедро расточал нашим агентам. Особенно достойно внимания, — заметил он, — что император ни одного слова не сказал нашему представителю об эвакуации Пруссии. — Что же тут удивительного, — ответил Куракин: мой государь избрал меня единственным посредником, единственным путем этих окончательных переговоров. И Куракин с нетерпением ждал приглашения к дебатам, во время которых он мог бы представить свой проект договора, который всегда носил в кармане. К его величайшему огорчению, герцог кончил разговор, даже не намекнув на эту бумагу.

Прошло еще три дня; о договоре не было и речи. Куракина, поколебленного в его оптимизме и в действительности менее легковерного, чем о нем думали, все более охватывало беспокойство. Он сильно начал сомневаться в искренности французского правительства, в особенности в настоящую минуту, когда он боялся, чтобы император, уехав в армию, не уклонился от всяких разговоров.

Отказавшись от спешной поездки, которая, ввиду настроения России, казалась ему ненужной, Наполеон остановился на плане поездки на Север через Германию на Дрезден, куда он хотел отвезти к родителям Марию-Луизу и куда хотел пригласить на свидание высочайших особ. Эти дела требовали времени, так что при его непременном решении приехать на Вислу и начать кампанию в июне, он не мог продлить своего пребывания в Париже долее начала мая. Его задерживало только одно соображение. Он не хотел первым выехать из своей столицы и ввиду этого поджидал известия об отъезде императора Александра в Вильну и о прибытии его на окраины. В ожидании этого известия в замке Сен-Клу делались приготовления к продолжительному путешествию, и, несмотря на приказание соблюдать тайну, слух об этих сборах начал распространяться по городу.

По мере того, как крепли слухи об отъезде императора, Куракин волновался все более, отлично сознавая, что ему необходимо добиться какого-нибудь ответа. Утром 6 мая, не будучи в силах сдерживать себя, он отправляется в министерство иностранных дел, в улицу дю-Бак. Его не принимают. В половине пятого он вторично является в отель, с трудом поднимает по лестницам и несет по залам свою грузную тушу, наконец, вламывается в кабинет министра и застает его врасплох.

На его просьбу ему опять дают любезный, но уклончивый ответ. Герцог признался, что не имеет еще от императора ни инструкций, ни полномочий, чтобы покончить с переговорами. Но зачем, говорил он, принимать так близко к сердцу это замедление, зачем так беспокоиться? «Не к чему торопиться, — прибавил он беспечным тоном, — у нас есть и время, и полная возможность придти к соглашению». В крайне мягких

выражениях он пошутил по поводу недостатка у посланника хладнокровия и старался успокоить его. Смущенный этим потоком нежных и ласковых слов. Куракин был в большом затруднении. Он приготовил целую тираду горячих упреков, а разве можно ссориться с таким вежливым человеком. Однако, он кончил тем, что со всей энергией, на какую только был способен, высказал, что невозмутимое спокойствие министра повергает его в глубокое удивление. Разве тот не знает о страшной опасности положения? Французские войска подвигаются вперед; вскоре армии будут стоять лицом к лицу, и эта близость, несомненно, породит войну, если ей не помешают немедленным соглашением.

— Все это не так, — с невозмутимым спокойствием ответил герцог. — Наши войска стоят еще на Висле, ваши не перешли своих границ.

— Но ведь император уезжает.

— Да, возможно, что отъезд императора состоится вскоре; но время отъезда еще не назначено.

— Император уедет, а вслед за ним покинете Париж и вы; сношения между вами и мною будут прерваны. Скажите, каково же тогда будет мое положение в Париже, на какую же будущность буду я обречен? — сказал Куракин, с ужасом подхвативший признание министра, и на лице его выразилась сердечная тоска.
— Вы все еще беспокоитесь, — заговорил герцог Бассано. — Ничто еще не решено. Император, ваш повелитель, в Петербурге, а его войска стоят позади границ. Император Наполеон в Париже, а его армии не перешли Вислы. Время терпит, и можно будет сговориться». «Но вот уже более недели, как вы ждете приказаний императора. Я не могу оставаться в подобной неизвестности относительно вашего ответа. Поставьте себя на мое место. Примите во внимание громадную ответственность пред императором, моим государем, пред моим отечеством, пред просвещенным и беспристрастным обществом всех стран, которое обсуждает политические события и поведение тех, которые играют в них роль. Я не могу удовольствоваться подобными проволочками и, в особенности, когда нам нужно предупредить столь близкую войну. Когда же вы увидите императора?

— Завтра; до и после совета министров у меня будет с ним экстренная работа.

— В котором часу вернетесь вы?

— Не ранее восьми часов вечера.

— В таком случае, мне не придется видеть вас завтра. Но надеюсь видеть вас, по крайней мере, послезавтра, в четверг.

— Нет, в четверг не приезжайте. У меня в этот день будет с императором обычная работа, а затем спектакль в Сен-Клу, на который будет приглашен дипломатический корпус.

— Значит, в пятницу. Но, надеюсь, что, по крайней мере, к этому дню вы получите ваши инструкции, и я, наконец, буду в состоянии представить вам два моих проекта: о договоре и перемирии, которые я каждый день беру с собой и которые уже истрепались в моем кармане... Дайте мне на предложенные мною статьи ответы — все равно какие, лишь бы я мог представить моему двору какой бы то ни было результат того сообщения, которое я сделал по этим статьям».

Обещание поговорить в пятницу 9 мая, но без положительность обещания дать ответ — вот все, чего мог добиться Куракин.

Вернувшись домой после этого безрезультатного разговора, посланник предался горьким размышлениям. Его последние иллюзии рухнули, когда он припомнил все мытарства, через которые прошел в течение пятнадцати дней. Его ум сразу просветлел. Недобросовестность французского кабинета была очевидна, ясна, осязаема. Он понял, что был жалкой игрушкой в руках людей, твердо решившихся не переговоры вести, а только воспользоваться ими, чтобы скрыть свои планы нападения и обманные деяния.

К прискорбной уверенности в этом присоединялись и другие данные, которые окончательно доканали его. С некоторых пор его жизнь в Париже была сплошным унижением. Он не развязался еще с хлопотами, причиненными ему интригами Чернышева и процессом его сообщников. Это злополучное дело, независимо от его естественного эпилога, имело неожиданное продолжение. 1 мая на Гревской площади был воздвигнут эшафот. Привели Мишеля, и нож гильотины отрубил ему голову[1]. Одновременно с Мишелем был подвергнут по-

[1] Journal de l'Empire, n° du 2 mai, 1812

зорному наказанию и Саже. Однако, это искупление не укротило гнева императорского правительства; этим дело не кончилось. Не только оба оправданные подсудимые, *Салмон и Мозе*, после призрачного освобождения, были, по распоряжению государственной полиции, снова арестованы и посажены в тюрьму как государственные преступники, но и Вюстингера постигла та же участь, несмотря на то, что он числился служащим в русском посольстве. После судебного заседания, на котором он присутствовал в качестве простого свидетеля, его освободили и вернули его господину. Куракин возликовал по поводу этого запоздалого удовлетворения; но при этом немного удивился, что Вюстингер был ему возвращен без слова извинения и что этот периодический швейцар явился в отель Ослюссон так неожиданно, «точно с неба свалился»[1]. Во внимание к Франции Куракин собирался уже уволить его, как вдруг полиция избавила его от этого труда. Спустя несколько дней освобождение Вюстингера показалось несовместимым с существующими законами; он был схвачен полицией на улице Бургон и заключен под стражу, после чего Куракин тщетно протестовал против вторичного произвола властей.

Сверх того, с недавнего времени, по вине французского правительства, он испытывал затруднения при выполнении первейших обязанностей своей должности. Его курьеры, т. е. отправка его донесений, задерживались. Не подлежало сомнению, что это было следствием предвзятого решения изолировать его, подвергнуть блокаде, дабы он не мог донести своему правительству об истинном положении вещей и о предательских проделках Франции. Наконец, у всех лиц, причастных ко двору, у всех посланников союзных императору государств он замечал более чем двусмысленную манеру держать себя, какое-то желание прятаться от него, из всего делать тайну. 30 апреля в Сен-Клу он встретился на обеде у герцога Фриульского с князем Шварценбергом. За обедом австрийский посланник наружно выказывал ему искреннее расположение, что объяснялось их долголетней дружбой, никогда еще он

[1] Записки от 6 мая. Archives des affaires étrangères, Russie, 154.

не был к нему так внимателен, так сердечен, и вот на следующий день после этих излияний Куракин узнает о внезапном отъезде Шварценберга, отправившегося, как нам известно, принять командование корпусом, который был назначен действовать против России. Итак, все сговорились водить его за нос и издеваться над ним. Значит, был приказ сделать его предметом забавы и недостойных мистификаций. Тогда, под впечатлением вполне законного чувства обиды, под давлением сыпавшихся на него со всех сторон жгучих оскорблений, прорвалось доведенное до крайних пределов раздражения самолюбие бедняги, и вместе с тем его душу охватило более возвышенное чувство — желание отомстить за своего, оскорбленного в его лице, государя. Гнев бесхарактерных людей часто выражается безрассудными поступками и не считается с последствиями. Так было и с Куракиным. Гнев толкнул его на безрассудно-смелый шаг. Малодушный старец превратился вдруг в воинственного громовержца. До сих пор одна мысль о разрыве с Наполеоном приводила его в трепет; теперь же он стремится натянуть отношения до последней возможности и ускорить разрыв.

8 мая, накануне дня, обещанного для разговора, не повидавшись еще с герцогом Бассано, он посылает ноту, способную вызвать немедленный пожар. В ней он заявляет, что всякая новая отсрочка вынудит его уехать из Парижа. Ввиду этого обстоятельства он требует немедленной выдачи его паспортов[1]. По собственной инициативе он решается на самый важный шаг, самый ответственный из всей сферы деятельности посланника — шаг, который непосредственно предшествует войне и равносилен объявлению войны. Внезапный, но вполне объяснимый припадок бешенства делает то, что убежденный противник войны сам объявляет войну.

Эта внезапно взорвавшаяся бомба могла расстроить тайные расчеты как французского, так и русского правительств. Тактика Александра состояла в том, чтобы вызвать войну, не объявляя ее самому; чтобы вынудить своего противника подать первый сигнал к нападению. Неожиданный шаг Куракина, причины которого остались бы недоступными пониманию широкой публики, грозил перемешать роли. Он мог поставить царя в

[1] Archives des affaires étrangères, Russie, 154.

затруднительное положение, и следствием его могло быть только неудовольствие царя. С другой стороны, он подвергал опасности весь придуманный императором французов план затяжек. Если Наполеон вместо того, чтобы открыто отвергнуть ультиматум, хитрил с Куракиным, то он делал это с единственной целью — оттянуть момент признания требований России неприемлемыми и держать под сомнением неизбежность конфликта. К несчастью, слишком мало щадя достоинство и терпение Куракина, подвергая его поистине невыносимому обхождению, попали в затруднительное положение, которого так хотели избегнуть. Слишком туго натянутая струна лопнула. Совсем не желая того, вызвали со стороны Куракина поступок, который был преждевременным сигналом к разрыву. Если Куракин уедет из Парижа, император Александр будет в полном праве выпроводить Нарбонна, счесть себя в положении воюющей стороны, двинуть вперед свои войска и занять территорию между Неманом и Вислой.

Единственным средством отвратить опасность было успокоить, приласкать Куракина, доставить ему нравственное удовлетворение и заставить его взять обратно требование о выдаче паспортов. Как ни необходимо было сделать это, Наполеон не мог взять на себя этой задачи. Он только что узнал, что Александр выехал из Петербурга в Вильну. Решение царя обусловило и его решение. Он решил пуститься в путь, оставив в Париже министра иностранных дел и дав ему поручение уговорить Куракина и заставить его одуматься.

5 мая он вместе с императрицей показался в опере. Это было его прощанием с парижанами, которым не суждено было более видеть его торжествующим и счастливым. 9-го ранним утром состоялся отъезд из Сен-Клу. Днем, вслед за Их Величествами, шумно выехали из Парижа сотни, тысячи экипажей и заняли все дороги. В течение нескольких дней между Парижем и границей не прекращалось движение. Все обычные средства передвижения, все постовые лошади были забраны для казенных надобностей. Население было взволновано страшным грохотом: то ехал император с блестящей свитой. Но император желает, чтобы думали, что его путешествие предпринимается, во-первых, ради соблюдения условных приличий, а, во-вторых, для отъезда войск: 10 мая в Moniteur'е появилась

следующая, помеченная 9 числом, заметка: «Император отбыл сегодня из Парижа для осмотра собранной на Висле великой армии. Ее Величество Императрица будет сопровождать Его Величество до Дрездена, где она надеется иметь счастье видеть свою августейшую семью». Для всех Наполеон уезжал в Дрезден и Варшаву, для посвященных — в Москву.

Условленный между Маре́ и Куракиным разговор состоялся 9-го, через несколько часов после отъезда императора. Посланник явился на свидание с сознанием своей правоты, с твердым решением исполнить свой долг; но сердце его обливалось кровью при мысли о решении, к которому вынудила его забота о поддержании своего достоинства. Увидя герцога, он сказал: «Вы видите, до чего вы довели меня». И он напомнил о своей просьбе выдать ему паспорта. «Как могли вы, — прервал его министр, — так быстро принять решение, которое возлагает на нас ответственность за войну? Разве вы получили на этот предмет приказания императора, вашего повелителя? «Нет, я не мог получить их. Император, мой повелитель, не мог ни предвидеть, ни предполагать того, что со мной случилось, а тем более продолжавшуюся более пятнадцати дней задержку вашего ответа на сообщения, которые мне поручено было сделать». Тогда герцог, то в сердечных, то в суровых выражениях, попытался убедить его; стыдил, старался втолковать ему страшное значение его поступка. Война возможна, говорил он, но не неизбежна; ему как министру и доверенному лицу императора, это известно лучше других. И вот в момент, когда можно питать самые серьезные надежды на мир, посланник России берет на себя смелость одним росчерком пера разрушить их. Подумал ли доселе столь благонамеренный посланник о тяжести, которую берет на свою совесть, об упреках, которые вправе будут сделать ему его государь, его страна, Европа и все человечество? Куракин обо всем этом уже подумал; он пережил все это. Тем не менее ужасное будущее, которое рисовал пред ним его собеседник, и сознание принимаемой на себя ответственности все сильнее сжимало ему грудь, удручало его душу. Страшное испытание истощило его силы. Лицо побагровело, слезы подступили к горлу, и он разразился рыданиями[1].

[1] Письмо герцога Бассано императору от 10 мая. Archives des affaires étrangéres, Russie, 154.

Оставаясь бесстрастным свидетелем этого взрыва отчаяния, герцог готовился уже использовать его, когда Куракин страшным усилием воли поборол свое волнение и взял себя в руки. Он отказался взять обратно просьбу о выдаче паспортов, если Франция не нарушит оскорбительного молчания. Он вкратце повторил свои обиды, перечислил поводы к жалобам и припер герцога к стене, предложив ему на выбор или дать ответ на его ноты, или позволить ему уехать.

Несмотря на очевидную трудность выйти из тесного круга, в какой попал французский министр, он нашел для этого средство, отыскал лазейку. Он сделал вид, что готов приступить к обсуждению соглашения. Только, прежде чем ответить по существу дела, он возбудил одно чисто формальное затруднение и поставил предварительный вопрос. Вы предлагаете, сказал он Куракину, подписать соглашение на предложенных Россией основах. Хорошо; император вовсе не отказывается от этого. Приступим же к делу, обсудим его по существу; но, прежде всего, чтобы дело было сделано хорошо и имело законную силу, выполним формальности, которые требуются в подобных случаях правилами дипломатических сношений. Первая и главная формальность при вступлении двух лиц в переговоры заключается в представлении полномочий, как той, так и другой стороной. Есть ли у вас специальный, надлежащим порядком оформленный документ, уполномочивающий вас заключить и подписать соглашение? Если да — благоволите предъявить и сообщить мне эти полномочия.

Куракин должен был сознаться, что у него таковых не имеется. Герцог догадывался об этом и умышленно напал врасплох на своего противника. Русский двор был так далек от мысли о серьезных переговорах, так мало имел надежды на принятие его требований, что не позаботился послать своему представителю необходимые полномочия для составления акта, которым удостоверяется соглашение и придается ему законная сила. Он ограничился только извещением, что в случае надобности пришлет ему таковые. Уловка французского правительства была хорошо придумана и выводила его из затруднительного положения. Его упрекали в недостатке искренности. Оно отразило этот упрек, вынудив Куракина усмотреть недостаток чистосердечия или, по крайней мере, недостаток серьезного отношения к делу у своего собственного кабинета.

Правда, Куракин мог ответить — что он и сделал тотчас же, как только пришел в себя от изумления, в какое поверг его этот неожиданный оборот дела — что, в качестве посланника, он, безусловно, имел право принять и удостоверить согласие Франции на предложенные основы; что, хотя он и не был облечен необходимыми полномочиями для подписи формального договора, тем не менее, он имел право составить и препроводить его своему правительству. Несмотря ни на что, он верил в чистосердечие своего правительства, судил о других по себе и не сомневался в одобрении своего государя, даже ручался за него. Всегда искренний, трогавший своею рыцарской честностью, он с настойчивостью глубоко убежденного человека умолял и заклинал герцога не останавливаться перед ничего не стоящими дипломатическими тонкостями, отказаться от опасных придирок. «Так как еще есть время, — говорил он, — не будем терять ни одной минуты; приступим искренно к переговорам по существу дела; составим проект договора, и я подпишу его, сохраняя за моим повелителем право утверждения, которое, наверное, будет дано. Действуя таким образом, мы окажем добрую услугу нашим государям и нашим странам. — Нет, — ответил герцог, — наши роли не будут одинаковы. У меня имеются полномочия, у вас их нет. Более года мы просили, чтобы вам их дали. Как же хотите вы, чтобы я вел переговоры с вами, прежде чем вы получите полномочия? Я не могу согласиться на такой способ действия». И преследуя цель поддержать прежнее неопределенное положение, он возлагал на Россию ответственность за проволочки, на которые жаловался посланник, и не признавал за ним ни права считать себя оскорбленным, ни права требовать свои паспорта.

Эти препирательства заняли весь день 10 мая. Вечером, потеряв надежду на возможность побороть преднамеренную бессовестность и вернувшись к мысли покончить все разом, Куракин дал себе слово на другой день опять отправиться к министру, окончательно порвать сношения и вытребовать свои паспорта. Ночь прошла, но решение его не изменилось. Утром Куракин уже собрался в последний раз поехать в отель в улице дю-Бак, как вдруг из полученной от министра несвязной записки узнал, что тот покинул Париж и ночью уехал вслед за императором. После отказа от

переговоров, что давало герцогу возможность уклониться от ответа на ультиматум и от выдачи паспортов, тот нашел, что всего удобнее уехать и таким образом избавиться от новых требований. Теперь он был на пути к месту, которое было в расстоянии двухсот льё от посланника. Расстроенный, упавший духом, Куракин очутился пред пустым местом, с сознанием, что его опять-таки одурачили и лишили возможности отомстить придуманным им громким способом, ибо отъезд министра давал императору возможность держать его до бесконечности в ожидании отпуска и необходимых средств к отъезду. Теперь он убедился, что осужден на пребывание в Париже, что пригвожден к своему посту и что, вопреки своему желанию, остается посланником. Он решил скрыть и свое горе, и свое унижение на даче, которую нанял на лето. Вместо отъезда в Россию он уехал в деревню. Он поселился на даче в Куаслене, близ Сен-Клу. Из окон его дачи видна была императорская резиденция, где так недавно его осыпали отличиями и почестями, и глубокое уныние нападало на него, когда он сравнивал свое блестящее прошлое с настоящим безвыходным положением[1].

Итак, после многих пертурбаций, Наполеон приблизился к желанной цели. Он оттянул развязку кризиса, не прибегая к средствам видоизменить его. Он задержал ход событий, сохранив за собой возможность дать им свободу в подходящее для него время. Задержав Куракина в Париже, он спас внешний облик мира и создал благоприятные условия для временного успокоения, достигнуть которого надеялся посылкой Нарбонна в Россию. Стараясь завязать в России нить переговоров, он принял меры, чтобы эта нить не лопнула в Париже. Он устранил возможность грубого и резкого разрыва у себя за спиной на то время, когда будет присутствовать в Дрездене на торжественных собраниях, когда будет принимать почести и выслушивать клятвенные обещания королей, и, рассчитывая каждый шаг, приближаться к границам России. Для достижения этого результата он не останавливался ни перед чем: коварство, лесть, насилие, деспотизм и верх двуличия — все средства были для него хороши. Никогда еще сложная игра дипломатии, ее извороты и мельчайшие приемы хитрости не сплетались более причудливо с планами грандиозной, необузданной политики, взявшей еще раз на себя задачу перевернуть вверх дном Европу и в заранее назначенный день переделать ее карту.

---

[1] См. в архивах министерства иностранных дел частные письма Куракина герцогу Бассано.



XII

ДРЕЗДЕН

На пути по Германии. — Прибытие в Дрезден. — Как устроился император. — Картина саксонского двора. — Съезд коронованных особ. — Королева Вестфальская. — Приезд императора и императрицы Австрийских. — Мачеха и падчерица. — Торжество 19 апреля. — Вид Дрездена во время конгресса. — Жизнь по-семейному. — Император принимается за работу. — Письмо Куракина, в котором тот снова требует свои паспорта. — Последняя увертка. — Лористону посылается приказ: отправиться в Вильну и поддерживать в царе ложную надежду на мир. — Как проходит день высочайших особ в Дрездене. — Утренний прием у императора. — Туалет императрицы. — После полудня — Вкусы и занятия императора Франца. — Обед. — Наполеоновский церемониал. — Наполеон и Людовик XVI. — Вечер. — Государи за игорным столом и круг придворных. — Ревность австрийских дам. — Госпожа Зенфт. — Герцог Бассано. — Коленкур. — Обход императора. — Его разговоры с императором Францем. — Ухаживанье за австрийской императрицей. — Ему не удается заслужить ее благосклонность. Кажущаяся интимность. — Присутствие дворов на спектакле. — Партер королей. — Сравнение Наполеона с солнцем. — Прусский король. — Кронпринц. — Установленная между государями иерархия. — Состязание в подлости. —— Апогей императорского могущества. — Беспримерное в истории зрелище. — Наполеон больше показывается народу, прогулка верхом по окрестностям Дрездена. — Посещение храма Божьей Матери. — Император Александр католической церкви в Литве. — Молитва перед посвящением. — Возвращение Нарбонна; он дает отчет о своей миссии. — Наступление весны; близость благоприятного для военных действий времени года. — Последнее обращение к Швеции и Турции. — Наполеон решает поднять Польшу. — Он думает отправить послом в Варшаву Талейрана; какие причины побуждают его остановить на нем свой выбор; непредвиденные обстоятельства, заставляющие отказаться от этого выбора. — Новая опала Талейрана. — Аббат Прадт. — Неудачный выбор. — Какие предметы поручаются усердию посланника. — Наполеон старается выиграть еще несколько дней. — Отъезд из Дрездена. — Разъезд высочайших особ. — Неожиданные предложения Бернадота; причина и характер этой перемены. — Недобросовестность наследного принца. — Он старается устроить соглашение между Россией и Портой. — Конгресс в Бухаресте и Бухарестский договор. — Мир без союза. — Адмирал Чичагов. — Проект грандиозной восточной диверсии. — Александр надеется поднять славян и двинуть их на Иллирию и французскую Италию. — Идея о национальностях обращается во вред Франции. — Полуизмена Австрии. — Двуличие Пруссии и второстепенных дворов Германии. — Вся Европа лжет Наполеону. — Предупреждения Жерома, Даву и Раппа. Предсказания Семонвилля. — Среди высших чинов Франции — вялость и тревожное настроение; доверие низших классов беззаветно и непоколебимо. — Письмо солдата. — Армия думает, что идет в Индию.

I

Для поездки в Дрезден император с императрицей избрали путь на Шалон и Мец. В Майнце они переправились через Рейн, затем, свернув немного к югу, проехали мимо границ Вюртемберга и Баварии. На всем пути их следования Германия выставила ряд принцев, склонявшихся пред ними в почтительно-благоговейных позах. В Майнце их ждали принцы Ангальтский и Гессен-Дармштадский; в Вюрцбурге встретили нюртембергский король и великий герцог Баденский; им уделили несколько минут беседы. В Бамберге, пока перепрягали лошадей, Их Величествам засвидетельствовали свое почтение баварские герцоги Вильгель и Пий. Наполеон путешествовал с пышностью и великолепием азиатского владыки. Чуть не все окрестное население было привлечено к делу починки и равнения дорог, по которым он должен был проследовать. Ночью вдоль дороги раскладывались костры, которые зажигались при приближении императорского поезда и, подобно зареву пожара, освещали ему путь.

Ввиду того, что продолжительность остановок зависела от здоровья и воли императрицы, день прибытия в Дрезден не мог быть строго определен. Эта неиз-

вестность страшно волновала короля и королеву Саксонских, боявшихся, что вдруг гость приедет, а они не успеют вовремя выехать ему навстречу. 15 мая они решили переехать в расположенный в восьми лье от Дрездена маленький городок Фрейберг[1]. Когда наступил вечер, король не хотел ложиться спать. Чтобы он согласился немного отдохнуть, потребовалось, чтобы его министр иностранных дел, барон Зенфт, провел ночь на стуле у дверей его комнаты в качестве караульного, готового предупредить его при первом же сигнале[2]. Однако, ночь и следующее утро прошли спокойно. Только после полудня было получено извещение о приближении императорских экипажей, которые почти тотчас же и прибыли. После быстрого обмена приветствиями оба двора слились в одну группу. Французы и саксонцы, разместившись в прибывших экипажах, пустились в путь, и въезд в Дрезден состоялся в тот же вечер при свете факелов, колокольном звоне и грохоте пушечных залпов, на которые эхо окрестных гор отвечало бесконечными раскатами.

Император был отвезен в королевский замок — в Резиденцию — как говорят немцы. В замке для поздравления императора с благополучным прибытием собрались все принцы саксонской семьи. По парадной лестнице была расставлена шпалерами вооруженная алебардами швейцарская гвардия, в треуголках с белыми перьями, в париках на три заплатки, в костюмах из желтой и фиолетовой тафты. Эта щеголеватая, но далеко не военная форма одежды вызвала улыбку у наших молодых офицеров, которые находили, что гвардия Его Саксонского Величества выглядит «скоморохами»[3]. Сквозь эти декорации императора провели в назначенные ему покои, самые красивые и самые большие во дворце — те покои, которые некогда занимал и украсил известный своей любовью к роскоши король-избиратель Август II.

На следующий день, по случаю приезда императора, торжественно, с пением Te Deum, отслужен был благодарственный молебен. Затем императору представлялись чины двора и дипломатический корпус. Русский посланник Каников явился вместе со своими коллегами. Император принял его милостиво и даже постарался выделить его из среды его коллег. Некоторые из присутствующих усмотрели в этом симптом мира; другие же, более проницательные, говорили, что, готовясь к нападению, завоеватель прячет свои когти и «показывает бархатную лапку»[1].

[1] Французский посланник в Дрездене Серра Маре́, 15 мая 1812 г.

[2] Mémoires du comtede Senft-Pilsach, саксонского министра иностранных дел, стр. 106.

[3] Journal du marechal de Castellane, I, 92.

В тот же день император вторично свиделся со своими саксонскими хозяевами и мог ближе наблюдать их. Он нашел, что король все тот же, каким он его знал в 1807 г. в Дрездене и в 1809 г. в Париже, т. е. безгранично послушен и крайне предупредителен. Тотчас же между ними воскресла и еще более окрепла их старая дружба. По правде говоря, трудно было найти что-нибудь общее в характерах свирепого императора и принимавшего его в Дрездене миролюбивого монарха. Держась отечески, но с достоинством, милостиво, но без фамильярности, Фридрих-Август снискал себе уважение и любовь своего народа. Не ища иной славы, он удовольствовался бы мирным царствованием над своими послушными подданными. Он охотно взвалил бы всю тяжесть дел на своего любимца, кроткого, одинаковых с ним лет, графа Марколини. Он почел бы за счастье спокойно предаваться исполнению мельчайших обрядностей строгого благочестия, разнообразя их время от времени идиллическими и деревенскими развлечениями[2]. Но он был убежден, что безопасность и будущее его государства зависят от тесного единения с повелителем Германии. Поэтому он избрал его своим вдохновителем, своею путеводной звездой, и, не задавая ему вопросов, не стараясь проникнуть в его планы, с молчаливым благоговением следовал во всем его указаниям.

Королева, не обладавшая красивой внешностью, пользовавшаяся двусмысленной репутацией, помогала

[1] О подробностях этих дней в Дрездене мы имели возможность ознакомиться по неизданному журналу саксонского обер-гофмейстера. Этот журнал любезно был доставлен нам Г. Фредериком Массоном.

[2] Во времена одного путешествия он писал Марколини: «С утра до вечера я наслаждался пением соловьев. Они всюду, даже в самых бедных деревушках. Им было бы гораздо лучше в моем Пильницком саду, где, как вам известно, нам никогда не удавалось развести их», Французский посланник в Саксонии Бургуэнь Маре́, 8 мая 1811 г.

своему супругу в устройстве приемов, балов, не внося в них лично никакого оживления. Принцы, братья короля, всецело преданные своей семье, исполнению обрядов благочестия, своим садам, были образцом обывательских добродетелей; но не имели ни одного из качеств, какие требовались их высоким положениям. Наполеон с первого же взгляда решил, что на них не стоит обращать внимания. Он ограничился тем, что сделал им, так сказать, смотр, и задал несколько вопросов, чтобы составить понятие о степени их военного образования[1]. Что же касается прочих членов двора, он нашел, что все они робко восторгаются им, и стараются, насколько позволяют им их довольно ограниченные средства, получше принять его. Глубоко и искренно привязанные к традициям прошлого, дух, обычаи и тонкости обращения которого они свято блюли, саксонцы, тем не менее, уступили требованиям минуты. Не питая нежных чувств к знаменитому выскочке, они отдались на его волю и с некоторым страхом позволили ему втянуть себя в нарушавший их спокойные привычки круговорот дел и удовольствий. Нигде Наполеон не мог выделиться в такой степени своим необычайным гением, ярким блеском своего ума и речи; нигде не мог поразить в такой степени роскошью и блеском новых мод, как в этом обветшалом обществе, с его выцветшими тонами, с еле видными поблекшими оттенками.

Он принял гостеприимство саксонской королевской четы; но пожелал жить своим домом и держать открытый стол, — словом, быть в их дворце полным хозяином. Он привез с собой целиком весь свой двор — высших чинов своей свиты, военный конвой и полный придворный штат: камергеров, шталмейстеров, пажей дворцового коменданта и, кроме того, лиц, обыкновенно сопровождавших императрицу в высокоторжественные дни — обер-гофмейстерину, обер-камергера, обер-шталмейстера, заведующего личными делами императрицы, трех камергеров, трех шталмейстеров, трех придворных дам. В его свите находились люди с самыми знаменитыми фамилиями старой и новой Франции: рядом с Монтебелло были Тюреннь, Ноёль, Монтескье. Взяв с собой огромное количество служащих, целый

[1] Mémoires de Senft, 172.

штат лакеев и поваров, император приказал перевезти в Дрезден свое серебро, великолепный ларец императрицы, драгоценности короны — словом, все, что внешне могло возвысить и украсить высокое положение. В своем новом местопребывании он хотел сделаться блестящим центром, на который были бы устремлены все взоры, сосредоточено всеобщее внимание, и, вместе с тем, и сам хотел воздать почет иностранным высочайшим особам, которые толпою съехались по его приглашению в Дрезден.

Вслед за приездом императора начался нескончаемый съезд принцев Рейнской Конфедерации. 17-го утром приехали принцы Веймарский, Кобургский, Мекленбургский, великий герцог Вюрцбургский — примас Конфедерации. Под вечер саксонский двор встречал королеву Екатерину Вестфальскую, приехавшую по особому приглашению императора. Наполеон чувствовал особую любовь к прелестной, жизнерадостной принцессе, так беззаветно любившей своего мужа и составлявшей своею непосредственностью и искренностью своих чувств счастливое исключение в чопорной среде дворов. Внимание, оказанное ей этим приглашением, бросалось в глаза тем более, что император позаботился устранить из числа приглашенных других членов своей семьи.

За несколько дней до приезда императора проехал через Дрезден Евгений, который успел только заглянуть в столицу Саксонии и произвести хорошее впечатление. Он получил приказание как можно скорее нагнать свои войска. Жером не получил разрешения отлучиться из своей главной квартиры. Для Мюрата запрещение было еще определеннее и чувствительнее. Невзирая на то, что неаполитанский король, на пути из Италии в Польшу, естественно должен был проехать через Саксонию, император предписал ему ехать прямо на Данциг, минуя саксонскую столицу. По его словам, он сделал это из внимания к своему тестю. Он сказал, что австрийский император не перестает оплакивать свои итальянские владения. Вид принца, водворившегося с помощью нашего оружия в Италии, может оскорбить его взоры. Зачем портить ему радость свидания с дочерью? В действительности же, причина устранения Мюрата была совершенно иная, и в минуты откровенности Наполеон не нашел нужным скрывать ее от своих приближенных. Хорошо зная Мюрата

он считал опасным допускать близость отношений между этим, недавно испеченным, королем и государями древнего рода, и в особенности с австрийским домом. «Несколько любезных слов, сказанных ему императором Францем, вскружат ему голову»[1], — сказал он. Наполеон думал, что тщеславный Мюрат потеряет голову от возможной предупредительности австрийского императора; что польщенный лестным вниманием, которое, быть может, окажет ему потомок сорока двух императоров, он со свойственной ему невоздержанностью на язык, пустится в нежелательные откровенности и выскажет такие вещи, которые наложат на него известные обстоятельства; что таким путем, может быть, создастся между Австрией, стремившейся в глубине души вернуть себе Италию, и Мюратом, мечтавшим о независимом положении, подозрительная дружба, а этому-то император и хотел помешать. Одинаково не доверяя ни государям, которых сам возвел на трон, ни государям, которым предоставил царствовать, он не считал удобным допускать, чтобы между теми и другими устанавливались слишком близкие отношения.

Император и императрица Австрийские прибыли 19-го пополудни и были приняты с теми же почестями, как и Наполеон, с той только разницей, что саксонская королевская чета не выехала им навстречу. Приехав во дворец, они только что собрались отправиться с визитом к императору французов, когда тот, предупредив их, приказал доложить о себе. Несколько минут спустя он прибыл с Марией-Луизой в сопровождении всей своей свиты, и оба двора очутились друг перед другом.

Первое свидание прошло церемонно и натянуто. Застенчивый, неловкий, сознававший свое подчиненное положение, Франц I был крайне сдержан и растрогался только тогда, когда в его объятия бросилась та, которую он называл «своей дорогой Луизой». Здоровье, счастье, светившиеся в ее глазах и отражавшиеся на ее лице, не только не доставили удовольствия, но удивили австрийскую императрицу. Она приготовилась уже оплакивать судьбу своей бедной падчерицы, выданной замуж за ненавистного деспота, и, не видя повода жалеть ее, почувствовала разочарование. Что

[1] Неизданные документы.

же касается Наполеона, он тоже был разочарован, увидав, что никто из близких родственников австрийской императорской четы не приехал с ними. Ему было бы приятно ходить во время пребывания в Саксонии со свитой эрцгерцогов. Он дал знать в Вену, что Мария-Луиза была бы рада свидеться со своими братьями, и выразил сожаление, что не позаботился заранее об исполнении ее желания. В особенности он был удивлен, что не видит наследного принца, эрцгерцога Фердинанда, и когда его мачеха, извиняясь, что не привезла его, сослалась на шестнадцатилетний возраст молодого принца, на его юношескую робость и застенчивость, на его нелюбовь к свету, император с живостью сказал: «Вам стоит только отдать его мне на один год, и вы увидите, как я его вышколю»[1].

Вечером, в виде исключения, состоялся парадный обед у саксонского короля. На этот раз Наполеон предоставил своим хозяевам удовольствие угощать и чествовать высочайших особ. После обеда, за которым прислуживали высшие чины королевства, высокое общество перешло в покои королевы и, столпившись там у выходивших на Эльбу окон, любовалось видом иллюминованного Дрездена. Построенные на эспланаде перед дворцом арки и египетские порталы были залиты огнями иллюминации, тянувшимися вдаль по примыкавшему к экспланаде красивому мосту огненной аллеей. Дальше по реке — сооруженный на это время плот представлял не менее блестящую декорацию, отражавшуюся в воде и бросавшую на ее поверхность вторую линию огней с расплывчатым и мягким блеском. На набережных и на террасах теснилась толпа, наслаждавшаяся этим великолепным зрелищем, и со всех сторон города, где иллюминованные улицы обозначались светящимися бороздами, доносился гул веселящегося народа[2].

С приездом высочайших особ прелестная столица Саксонии стала неузнаваема. В обыкновенное время в ней царили мир и тишина. На улицах, откуда открывался вид на горы и свежую зелень лесов, было мало народу и полное отсутствие экипажей. Изредка пока-

[1] Бюллетень, переданный секретарем посольства Ла-Бланш из Вены 3 июля. Все новости о свидании доходили до Вены.

[2] Casette universelle d'Augsbourg, 29 mai. Journal de L'Empire, 2 juin.

зывались носилки, в которых можно было разглядеть городских дам, напудренных и одетых по старинной моде. По воскресным дням, для оживления пустынных улиц, по городу ходили хоры школьников в коротких плащах и пели духовные кантаты[1]. В этом щедро наделенном природой уголке света, украшенном искусством и почти пощаженном войной, жизнь протекала вяло, в бездеятельности; нравы отстали на целый век. Впрочем, в этом году Дрезден пережил своего рода революцию: в парадных туалетах дам придворная мантия была заменена фижмами[2]. За исключением этого, можно было думать, что живешь пятьдесят лет назад. Вся обстановка, начиная со старинного стиля памятников, с их устаревшими, но изящными формами, с волнообразной кривизной линий, с изобилием эмалевых украшений на фасадах, дополняла иллюзию. И вот этот-то город и выбрал Наполеон, чтобы, наводнив его созванными со всей Европы иностранцами разных званий и положений, залив его блеском небывалого великолепия, дать в нем одно из тех величественных зрелищ, которые он умел устраивать с таким совершенством.

Правда, в городе было мало войск. Наши колонны проходили мимо Дрездена, не заходя в него. Император избавил город от тягот, связанных с проходом чересчур многочисленных войск. Только несколько отрядов гвардии, в блестящих парадных формах, с победоносным видом прогуливались по улицам и братались с красивыми саксонскими гренадерами в красных мундирах с желтыми лацканами. Но и без войск в городе было много шуму. Все эти несущиеся по мостовой, привозившие знатных особ почтовые экипажи, подъезжающие и отъезжающие золоченые парадные кареты с визитерами, обилие и роскошь экипажей, костюмов, ливрей — все это вносило шум, суматоху и ослепляло взоры. Непрерывно приезжали лица с громкими именами: сперва граф Меттерних, обогнавший своего государя; затем, в качестве чрезвычайного посла Пруссии, явился князь Гатцфельдт с просьбой о разрешении своему королю приехать; далее герцог Бассано, водворившийся со своей канцелярией в отель Залмур; принц Невшательский, устроивший канцелярию великой армии в Брюловском дворце. Вслед за сильными мира сего нахлынули мелкие чиновники и толпы прислуги. Разного рода просители наполнили передние и заполонили лестницы. Дрезден сделался добычей обремененной делами блестящей толпы. В тихом доселе городе поселились и скучились первоклассное правительство и три-четыре двора.

[1] Journal de Castellane, J, 95.
[2] Id.

Сколько шуму, сколько волнений, сколько жизни! Везде приготовления к празднествам. На улицах и площадях спешно воздвигаются декорации; шестьсот рабочих приспособляют залу итальянской оперы под спектакль-гала́. Шум спешных приготовлений, гомон толпы покрываются ежечасно раздающимися пушечными выстрелами. Сто выстрелов в честь приезда Их Австрийских Величеств, сто выстрелов в начале Te Deum, затем три залпа из двенадцати орудий для обозначения разных стадий церемонии; в то же время саксонские гвардейцы, расставленные вокруг храма, производят стрельбу из мушкетов. Возбужденный этим грохотом, блеском и разнообразием зрелищ народ наполняет улицы, перебегая с места на место, смотря по тому, привлекает ли его внимание новый предмет или уже перестал интересовать его. Лишь только малейшее движение во дворах указывает на выезд или проезд кого-нибудь из свиты, что дает случай увидать великих мира сего, он толпой собирается у ворот дворцов. Иногда его ожидание оправдывается. Случается, что из раскрытых ворот Резиденции выезжает окруженная конвоем коляска, впереди которой мчатся берейторы. Это едут на прогулку обе императрицы, две Марии-Луизы, падчерица и мачеха, афиширующие свою трогательную дружбу. Французская императрица — в полном расцвете красоты и счастья, австрийская — грациозная и хрупкая, старающаяся скрыть под гофрированными складками венгерского с длинными рукавами костюма худобу своей талии и бюста. Толпа с восторгом смотрит на проезд этих улыбающихся видений, но ее любопытство не вполне удовлетворено. Все желают видеть, все ищут глазами сверхъестественное существо, которое было душой всей этой сутолоки. Но император до сих пор ни разу не показался публике. Как будто желая придать съезду высочайших особ интимный, почти семейный характер, он проводил время со своими хозяевами или уединялся в своих покоях. Говорили, что он поглощен непрерывной работой, что он подготовляет с министрами и

союзниками решение судеб Европы. «Его Величество — писали из Дрездена — видимо, страшно занят»[1].

Действительно, Наполеон тотчас же по приезде принялся за дела по управлению государством и армией. Не переставая упрочивать положение великой армии на Висле, торопя задерживавшиеся в пути войска, он работал, главным образом, над устройством армии второй линии, которая должна была охранять Германию и служить источником подкреплений при вторжении в Россию. Он устанавливал количество, состав и размещение корпусов. В то же время торопил министра иностранных дел с завершением наших союзов; он предписал ему поторопиться с заключением тех, которые не были еще оформлены, и наверстать потерянное в Швеции и Турции время. Как только уходил от него требовавший сотни подписей Бертье, к нему являлся герцог Бассано с письмами посланников, дипломатическими донесениями и бюллетенями со сведениями со всех концов Европы.

Среди этих бумаг одна привлекла особое внимание императора и рассердила его. То было письмо Куракина от 11 мая. В нем Куракин в настойчивых выражениях повторял свою просьбу о паспортах и высказывал, что внезапный отъезд французского правительства не освобождает таковое от обязанности ответить ему[2]. Наполеон считал, что время еще не пришло согласиться на просьбу Куракина. С целью обмануть нетерпение старого князя, он приказал отправить паспорта только для некоторых из членов его дома и «для его незаконных детей», но не для него лично. Немного обеспокоенный докучливой настойчивостью Куракина, он снова обращается к Александру и старается еще раз вступить с ним в переговоры, преследуя ту же цель — усыпить и парализовать Россию. Как помнят, такова была задача доверенного Нарбонну поручения. По расчетам Наполеона, в настоящее время флигель-адъютант должен уже быть в Вильне, но до сих пор от него не было известий. Был ли он принят императором Александром, удалось ли ему возродить в уме русского монарха ложную надежду на мир, — оставалось неизвестным. Допуская, что миссия не даст желаемого результата, Наполеон решил прибегнуть к

[1] Фраза, цитируемая в Journal de L'Empire, n° du, 31 mai.
[2] Archives des affaires etrangeres, Russie, 154.

старому пути. С начала года это была уже четвертая попытка достигнуть все той же цели. Как помнят, он начал с Лористона — своего аккредитованного посла, затем послал с поручением Чернышева, потом Нарбонна. Теперь он снова возвращается к Лористону, т. е. к обычному официальному пути.

20 мая отправляется из Дрездена курьер с назначением в Петербург; он везет длинную депешу посланнику. В ней говорится, что немедленно по получении ее Лористон должен испросить в канцелярии министерства иностранных дел разрешение отправиться в главную квартиру царя, ссылаясь на то, что ему приказано отвезти царю важные и не терпящие отлагательства сообщения. Если его просьба о непосредственном обращении к царю, на что посланник почти имеет право, не будет удовлетворена, он примет к сведению отказ и должен ждать новых распоряжений. Если же просьба будет принята, он немедленно поедет в Вильну и на остающееся короткое время постарается ввести в обман подобием переговоров. В депеше тщательно указывается почва, на которую он должен стать. Теперь, ввиду времени, протекшего со дня отправки ультиматума, Наполеон не может уже прикидываться, что ему не известен оскорбительный документ Александра. Поэтому он притворяется, будто думает, что требования России переданы неточно; что Куракин извратил мысли своего двора, придав им угрожающую форму; что просьбой о паспортах он превысил свои инструкции; что именно недомыслие русского посланника, «честного, но крайне ограниченного человека»[1], создало это опасное недоразумение. Лористон должен потребовать объяснений, не настаивая на том, чтобы они были чересчур откровенными. Он скажет, что соглашение еще возможно; что при малейшем добром желании все может быть улажено. На основании его слов Россия, естественно, должна сделать вывод, что следует воздержаться от непоправимых и слишком поспешных шагов. Этой уловкой, предпринятой в последнюю минуту, Наполеон думает обеспечить себе выигрыш нескольких недель, т. е. оттянуть разрыв до того времени, когда растительность настолько поднимется, что позволит

[1] Слова Наполеона в его, бывших позднее, разговорах с Балашовым, приведенные Татищевым, 595.

ему начать кампанию. С другой стороны, отсрочка военных действий даст ему возможность составить себе двор из высочайших особ и занять в нем первенствующее место.

II

В Дрездене император обставил свое пребывание величественным и строгим этикетом. В девять часов утра у него был утренний прием. Немецкие принцы считали своей обязанностью неукоснительно являться на эти приемы. Затем император шел к императрице и присутствовал при ее туалете. Известно, какое место занимал в придворных обычаях этот блестящий прием, когда государыня, окруженная заканчивавшими ее туалет камеристками, допускала к присутствованию немногих избранных лиц. Следовавший за утренним приемом императора туалет Марии-Луизы давал случай собраться во второй раз. Австрийская императрица часто приходила на этот прием, где вид чудных нарядов, приготовленных для ее падчерицы, и зрелище открытых, доверху наполненных бриллиантами и жемчугом ларцев и шкатулок, возбуждали ее зависть. Любуясь этими сокровищами, она страдала при мысли, что у нее не было таких же, ибо, вследствие тяжелых времен, она вынуждена была соблюдать тягостную экономию. Как только Мария-Луиза замечала, что какая-нибудь вещь особенно нравится мачехе, она спешила поднести ее ей, и австрийская императрица с нескрываемым удовольствием и чувством затаенной досады принимала эти подарки. Не будучи в силах побороть своего желания обладать ими, она принимала их с сознанием своего унижения[1]. Наполеон стоял обыкновенно в двух-трех шагах от императрицы и разговаривал или с вестфальской королевой, или с принцами, это был один из тех моментов дня, когда он и сам говорил, и позволял говорить, нисколько не стесняясь. В глубине залы придворные шепотом давали свои толкования его словам и выводили из них многозначительные заключения. Они втихомолку предсказывали грядущие события и намечали восходящие звезды.

[1] Mémoires de M-me Durand, 140. Cf. письмо герцога Бассано Отто от 27 мая 1812 г.

Каждые два-три дня в полдень Наполеон делал визит своему тестю и посвящал ему несколько минут. Но его отъезд, в то время, когда императрицы вместе осматривали дрезденские музеи и прелестные окрестности города, выбитый из колеи, ничем не занятый император Франц изнывал от скуки и с трудом дотягивал до вечера. Государственные дела мало интересовали его; к политике он всегда питал отвращение. Не так давно он сказал своему министру Кобенцлю: «Когда вы входите в мой кабинет, мое сердце сжимается при мысли, что вы будете говорить со мной о делах». К тому же в Дрездене не было с ним его обычных приближенных — любимцев из низкопробных людей, грубые шутки которых потешали его и которые выдумывали для его развлечения забавы и угождали капризам его ребяческого воображения. Он не мог, как в Вене, целыми часами тщательно класть печати на воск или готовить кушанья[1]. Отыскивая редкие и интересные, по его понятиям, вещи, он пешком выходил из дворца, слонялся по улицам, относясь отечески-милостиво к кланявшейся ему с чувством глубокого почтения толпе, и старался заглушить свою скуку, проводя время в лавках и по-мещански делая закупки[2].

Вечером высочайшие особы встречались за обедом, который всегда бывал у императора французов. Незадолго до обеда все собирались в его покоях. Здесь, если верить преданию, в манере, с какой Наполеон совершал свой выход и приказывал докладывать о себе, он умышленно придерживался величественной простоты, обособлявшей его от всех съехавшихся на его голос великих мира сего и ставившей его выше их всех. При входе в апартаменты каждого приглашенного объявлялось о его прибытии с указанием титула и звания. Сперва по порядку съезда шло бесчисленное количество Превосходительств и Высочеств — Высочества всякого рода и происхождения, древнего и недавнего, королевского и светлейшего; затем Величества: Их Величество король и королева Саксонские, Их Импера-

[1] Справочные листки, отправленные Отто, 22 декабря 1811 г.: «Рассказывают, что в Шлосгофе (императорской резиденции в Венгрии) император в костюме повара занимался со Штифтом (своим доктором) приготовлением кленового сахара, когда явилась официальная депутация сейма с просьбой к Его Величеству отправиться в Пресбург».

[2] Mémoires de M-me Durand, 140.

торские и Королевские Апостолические Величества, Ее Величество Императрица Французов, королева Итальянская. Когда все высокие гости были налицо, когда их громкие титулы уже прозвучали по салонам, мог прибыть и хозяин. Тогда, после небольшой паузы, двери отворялись настежь, и мажордом говорил просто: «Император».

Он входил степенной поступью, когда с веселым, когда с озабоченным лицом; делал общий поклон и бросал, обращаясь то к тому, то к другому, несколько слов. Затем все выстраивались в определенном порядке и шествовали к столу. Французский придворный, комната которого выходила на галерею, по которой проходили высочайшие особы, много раз видел шествие и описывает его так: «Наполеон со шляпой на голове шел первым; несколько шагов позади него шел австрийский император под руку со своей дочерью, императрицей Марией-Луизой — последнее обстоятельство могло служить объяснением, почему австрийский монарх шел с непокрытой головой; остальные принимавшие участие в шествии короли и принцы, среди которых находились также королева и принцессы саксонские, следовали за обоими императорами с непокрытой головой»[1]. В этом шествии недоставало только австрийской императрицы. Ссылаясь на свое слабое здоровье, она обыкновенно приказывала везти себя в кресле на колесиках прямо в столовую залу. Такой способ уклоняться от наполеоновского церемониала был очевидным выражением ее протеста.

Гостей за столом было немного. Кроме государей, приглашалось поочередно несколько принцев Конфедерации и французских сановников. Лакеи служили безукоризненно и быстро; «блюда были изысканные»[2]; на столе красовались горы хрусталя, золотая утварь редкостной работы, произведения искусства из серебра и позолоты, дивный сервиз, поднесенный Марии-Луизе в день ее свадьбы городом Парижем. Император Наполеон, которому служили за обедом его пажи, с изысканной любезностью исполнял обязанности хозяина. В это время лицо его всегда прояснялось. Он становился сердечным и словоохотливым. Прекрасно чувствуя себя со своими гостями, он наслаждался счастьем

[1] Подполковник Бодюсь, Etudes sur Napoléon, 338.
[2] Венский бюллетень, сообщенный Ла-Бланшом 3 июля.

жить по-семейному с австрийским домом. Этим общением он думал теснее сблизиться с законными династиями, приобщиться к Бурбонам и занять место среди потомков королей, с которыми он теперь отыскал неожиданное родство. Рассказывают, что в бытность в Дрездене, вспоминая однажды о революции, он сказал, что дела приняли бы иное направление, если бы его бедный дядя выказал больше твердости. Бедный дядя — был Людовик XVI. Женившись на Марии-Луизе, Наполеон сделался внучатым племянником Людовика XVI и любил гордиться этим приобретенным родством.

После обеда обыкновенно бывал большой раут. Двери Резиденции открывались для лиц, представленных ко двору, а также для лиц, состоявших на службе высочайших особ. Они съезжались ко двору один за другим и наполняли парадные апартаменты. В высоких залах с массивными орнаментами, с потолками с аллегорической живописью, с потемневшей от времени позолотой, под созвездиями люстр собирались все крупные величины того времени — все, кто пользовался высоким положением в свете. Здесь можно было видеть самые разнообразные костюмы, самые блестящие мундиры, драгоценности и уборы неслыханной роскоши. В главной галерее расставлялись игорные столы для высочайших особ, которые поочередно садились за них и с серьезным видом принимались за игру, приступая к этому удовольствию как к обязанности, возложенной на них их положением. Вокруг них образовывался круг зрителей, которые оставались все время стоя, в почтительных позах, и очень скоро изнемогали от скуки этих торжественных парадных собраний[1].

Разговаривали мало, но наблюдали много. Сопровождавшие австрийскую императрицу дамы с любопытством рассматривали наших француженок и присматривались к их манере держать себя; замечали подробности их туалета и завидовали изяществу и роскоши их нарядов, ибо Наполеон выразил желание, чтобы его придворные дамы являлись в вышитых золотом и серебром платьях, в корсажах, залитых драгоценными камнями, усыпанных целыми рядами жемчуга, в горящих бриллиантами диадемах; чтобы они выставляли

[1] Mémoires de Senft, 169, Bausset, II, 60.

напоказ богатства, которыми он осыпал их мужей. Знатные венки находили, что рядом с нашими дамами, они одеты бедно и сравнивали себя с «Сандрильонами»[1]. Иногда какое-нибудь шепотом сказанное слово или ядовитое замечание выдавали их досаду. Однако, француженки были тут не при чем; они не позволяли себе ни одной надменной выходки, ни разу не дали почувствовать своего превосходства. Привезенный Наполеоном персонал двора отличался церемонной вежливостью, корректными манерами и сдержанностью в словах; чувствовалось, что он был вышколен и выдрессирован рукою мастера. В нем не было уже изысканной грации старого режима, того обворожительного легкомыслия, к которому часто примешивалось немного тщеславия и самонадеянности. Наполеон не допускал, чтобы непосредственность и живость обращения вносили диссонанс в величавую монотонность его приближенных и нарушали установленный им строй.

Немецкие вельможи подражали этой сдержанности; даже принцы старались смешаться с толпой и желали быть только царедворцами. Тем не менее, некоторые лица привлекали общее внимание. Великий герцог Вюрцбургский, удостоенный особой дружбы императора, обращал на себя внимание своим ухаживанием за герцогиней Монтебелло; прошел даже слух, что он не счел бы унизительным жениться на этой прелестной француженке. Барон Зенфт шумно выставлял на вид свое увлечение Наполеоном, а жена его своим, доходившим до безумия, восторгом еще более подчеркивала это чувство. Эта дама приобрела известность своей бестактностью. Поживя в Париже, где ее муж продолжительное время занимал пост посланника Саксонии, она приобрела особую любовь к нашим обычаям, к складу нашего ума, к нашим модам и, по возвращении в Дрезден, приводила в отчаяние немцев, делая при всяком удобном и неудобном случае невыгодные для них сравнения. Принимая портфель министра иностранных дел, барон поставил условием, что король «не поставит его супруге в вину ее выходки, часто очень неосторожные, которые она привыкла позволять себе»[1]. Баронесса Зенфт широко злоупотребляла «этим видом

[1] Венский бюллетень, переданный 6 июля.
[2] Бургуэнь Шампаньи, 11 августа 1810 г.

предварительного отпущения грехов»[1]. Впрочем, в настоящее время муж и жена как будто сговорились изобретать всевозможные виды лести и разнообразить их до бесконечности. Они доходили до ребячества. Рассказывали, что они выучили свою маленькую дочку, восьмилетнего ребенка, «страстно» целовать портрет императора и говорить: «Я так его люблю!»[2]. Это было то, что Наполеон, которому была противна эта пошлость, с давних пор называл «немецкой глупостью».

Его министры и высшие чины тоже были засыпаны почестями, хоть в строгой пропорции с благосклонностью, которой они, по заключению немцев, пользовались у своего повелителя. При герцоге Бассано образовался настоящий двор. Все наперерыв превозносили его выдающийся ум, его неиссякаемую предупредительность. Действительно, французский министр, любезный от природы, старался нравиться — тем более, когда ему достаточно было только показаться, чтобы заслужить всеобщие похвалы. Коленкур, герцог Виченцы, обращал на себя внимание своим высоким ростом, красивой осанкой, открытой и симпатичной наружностью. Но ему не расточали похвал, а только присматривались к нему с почтительным вниманием. Не было секретом, что он был против войны. Поэтому все смотрели на этого бесстрашного человека, который не боялся противоречить владыке мира, как на редкий, любопытный, немного опасный феномен, от которого следует держаться подальше. Тем не менее, когда он однажды вечером разговаривал в амбразуре окна с герцогом Истрии, к нему подошел австрийский император и тоном дружеского увещания начал объяснять ему, что император Александр, безусловно, стремился к войне, так как отклонил посредничество Австрии[3].

Но вот сдержанный шепот разговоров смолкает: Наполеон поднимается и начинает свой обход. При его приближении чувство мучительного ожидания, чувство необъяснимого любопытства и страха заставляет усиленно биться сердца и, в особенности, охватывает дам. Их переходящее все пределы волнение сказывается внешними признаками. Стоящие позади них мужчины

[1] Id.
[2] Journal de Castellane, I, 94.
[3] Неизданные документы.

видят, как их обнаженные плечи сразу становятся пурпуровыми, и линия плеч, блиставшая доселе белизной, вдруг превращается в красную.

С преднамеренной мешковатостью, что давало Наполеону возможность сдерживать порывистость своей походки, он проходит перед группами, останавливается то тут, то там: кого хвалит, кого порицает и обходится с каждым по его заслугам. Однажды он побеседовал с Екатериной Вестфальской, и после этого разговора бедная королева удалилась с красными от слез глазами. Император сказал ей по адресу Жерома несколько жестких слов, упрекнув вестфальского короля, командующего корпусом, в нерадивости по службе[1]. С австрийскими высокопоставленными лицами, антифранцузские чувства которых были стойки, он не скупился на едкие слова и хлесткие ответы. Но как старался он обольстить и очаровать тех, которые, по полученным им сведениям, или желали, или даже только подумывали сделаться друзьями Франции и которых он считал нужным покорить! Как быстро потухало зловещее пламя в его глазах! Какой ласкающий оттенок приобретал его голс, как обворожительно умел он льстить! С каким искусством умел находить подходящее, в душу проникающее, лестное слово, которое узами удовлетворенного тщеславия прикрепляло к нему души людей! Когда ему была представлена графиня Лазанска, руководившая воспитанием Марии-Луизы, он поблагодарил ее за то, что она воспитала ему супругу — образец совершенства. С австрийскими военными он обращался по-товарищески, с дружески-грубой манерой, которая приводила тех в восторг. «Он похлопал меня по плечу», — говорил генерал Кленау, вне себя от радости и признательности[2].

Обойдя присутствующих, Наполеон овладевал своим тестем и увлекал его в глубь галереи. Там — на глазах державшихся на почтительном расстоянии гостей, между тем, как гнетущий своим блеском, изводящий скукой раут продолжался своим порядком, под звуки жиденького оркестра, которым дирижировал маэстро Паер, — он, неутомимый говорун, ходил взад и вперед по галерее, таская за собой, заставляя выслушивать свои монологи и подавляя силой своего ума и гения того, кого некогда, в минуты гнева, называл «жалким Францем»[1].

[1] Сме. об этом разговоре Journal de la reine Catherine, опубликованный Du Casse, Revuehistorigue, XXXVI, 330—332.
[2] Венский бюллетень, переданный 3 июля.

Первое время его пылкое воображение, горячность, резкие и тривиальные остроты ошеломляли императора Франца, вызывали в нем чувство страха и недоверия. Но мало-помалу вниманием и кажущейся откровенностью Наполеону удалось рассеять эти неприятные чувства. Касаясь в разговоре всевозможных предметов, говоря о внешней и внутренней политике, он давал указания своему тестю, делая вид, что желает знать его мнение и воспользоваться его советами; что посвящает его в свои самые сокровенные планы, что намерен придти с ним к соглашению по важным, секретным вопросам; что хочет связать себя с ним узами общей тайны. Австрийский монарх был благодарен великому человеку за доверие, которое возвышало его в его собственных глазах и давало ему некоторую веру в самого себя. «Мы сошлись по некоторым вопросам, о которых даже Меттерних ничего не знает»[2], — с гордостью говорил он после этих бесед. Не отрекаясь ни от своих опасений, ни от затаенных мыслей, он стал беседовать со своим грозным зятем с меньшим смущением, даже с некоторой сердечностью, что создало между ними некоторое подобие истинной дружбы.

Устоит ли австрийская императрица против чар Наполеона? С момента приезда она поддерживала свою репутацию — репутацию государыни умной, честолюбивой, с более возвышенными вкусами и более тонким умом, чем у ее супруга. Страстно любя искусство и литературу, она с удовольствием говорила о них и охотно высказывала свое мнение о серьезных сочинениях по метафизике, издававшихся в то время в Германии; но не пренебрегала и политикой. Маленькая, хорошенькая, вечно больная, живущая исключительно нервами, она всем интересовалась и во все вмешивалась с такой энергией, на какую нельзя было считать ее способной. Смотря на нее, можно было думать, что малейшее напряжение истощит ее силы. А между тем, как только какой-нибудь предмет возбуждал ее страсть

[1] Corresp., 15500.
[2] Венский бюллетень, переданный 18 июля.

или просто любопытство, она делалась неутомимой[1]. За год до этого, проездом на воды в Карлсбад, она посетила Дрезден, где приобрела большие симпатии. На собравшемся теперь блестящем съезде она вызвала те же чувства почтительного внимания. Почти все восхищались ее разнообразными знаниями, ее веселым характером; ей были благодарны за то, что, несмотря на свое болезненное состояние, она умела быть любезной; сожалели, что она постоянно страдает и когда, во время разговора, в минуты увлечения горячим спором или лихорадочной веселостью, сухой кашель вдруг обрывал ее голос, многие с болью в сердце думали о ее судьбе и боялись потерять ее[2]. Император Франц очень любил ее; иногда выслушивал ее советы и всегда немного побаивался, ибо находил, «что его жена слишком умна для него»[3]. Словом, эта милая императрица, эта общая любимица была силой, которую Наполеону нужно было или примирить с собой или, по крайней мере, обезоружить. Помимо всего этого упорное предубеждение против него, сказавшееся в ее манере держать себя, подстрекали его к борьбе. Он поклялся завоевать ее симпатии. Для него это было вопросом политического значения, а, главное, вопросом самолюбия.

Он окружает Марию-Луизу д'Эсте вниманием, неустанными заботами, изысканной предупредительностью. В ее присутствии он не походил на самого себя. Когда она соглашалась идти с ним под руку к столу, он стушевывался перед ней и в этих случаях иногда уступал первое место императору Францу. Когда он сидел рядом с ней, он придвигал к ней свое кресло, чтобы во время разговора она не напрягала голоса. Ее присутствие, ее разговоры доставляли ему видимое удовольствие. Он искал случаев встретиться с нею, становился на ее пути, и иногда в дрезденском замке

[1] По случаю посещения еще одного музея, по которому ее возили в ее кресле на колесиках, наш представитель в Дрездене рассказывает о ней следующее: «Несколько времени спустя она встала и прошлась по обеим сторонам галереи, тщательно рассматривая находившиеся в ней замечательные произведения искусства, и, видимо, не чувствовала усталости ни от стояния, ни от длинных объяснений болтливого старца, заведующего галереей», Бургуэн Маре, 12 июля 1811 г.

[2] См. переписку Отто и Бургуэна, 1810 и 1811 гг.

[3] Отто Маре, 20 октября 1811 г.

происходили следующие любопытные сцены: где-нибудь на повороте галереи стоит портшез, в котором императрица приказывала возить себя по огромному дворцу; она сама стоит, прислонясь к портьере, а перед ней император, опираясь на палку по моде XVIII столетия, округляя жесты, подражая манерам старой аристократии Версаля, которую он незадолго до этого привлек к своему двору, изощряется в любезностях и старается изобразить из себя, по его собственному выражению, «маленького Нарбонна»[1].

Но напрасно расточал он перед императрицей свои любезности: они не увенчались успехом. Воспоминания, отдалявшие от него Марию-Луизу-Беатриче, были слишком тягостны, чтобы она могла с легким сердцем отречься от чувства вражды и сдаться. Могла ли дщерь дома д'Эсте забыть свою лишенную трона родню, свою родину — ту, перешедшую в руки узурпатора, теплую Италию, куда ей иногда так хотелось вернуться, чтобы поправить свое расстроенное здоровье? Позднее, когда она была уже в Австрии, во время кампании 1809 г., она познала все лишения и унижения, следующие за поражением — поспешное бегство, жизнь изгнанницы в провинциальном городе, и эти несчастья нанесли новую рану ее мстительной и пылкой душе. Помимо всего этого, окружив себя в Вене нашими явными врагами, она считала долгом чести не отрекаться от своих привязанностей. В Дрездене, вынужденная применяться к требованиям и условиям положения, она никогда не переходила намеченной себе границы. На любезности императора она часто отвечала то словами, полными достоинства с оттенком высокомерия, то едва заметными движениями нетерпения, а для этого требовалось своего рода геройство. После свидания с ним нельзя было уловить в ее разговорах ни одного слова одобрения французской системе. Когда с ней заговаривали о политике, она сводила разговор на литературу[2].

Эта глухая борьба была заметна только людям, изощрившимся различать малейшие оттенки чувств под той бесстрастной маской, какую налагает на лица придворная жизнь. Многим казалось, что дружба обеих

[1] Abbé de Pradt, Histoire de l'ambassade dans le grandduché de Varsovie, p. 57.

[2] Отто Маре, 5 июня 1812 г.

высочайших фамилий установилась на прочных началах. Министры обоих дворов пользовались всяким удобным случаем, чтобы громко заявить об этом. Герцог Бассано и граф Меттерних одновременно сообщали в Вену, что их государи близко ознакомились друг с другом и, следовательно, научились уважать и ценить друг друга; что их взаимное доверие не оставляет желать ничего лучшего[1]. Газеты отметили на своих столбцах это трогательное единение и с умилением указывали на единичные факты. Когда же оба двора, появившись в театре, вместе показались публике, весьма распространенная газета прославляла «величественное и трогательное» зрелище, какое представляло «собрание стольких коронованных особ, составлявших одну семью»[2].

По случаю спектакля все общество высочайших особ было в полном сборе, подобно тому, как это было в Эрфурте, с той только разницей, что австрийская чета поделила место Александра. Ряд кресел позади оркестра предназначался государям. В центре сидели обе императрицы, по правую руку Марии-Луизы д'Эсте сел император Наполеон, Франц I — по левую своей дочери. Далее в обе стороны разместились по старшинству короли и принцы; позади них на скамьях — придворные дамы. Остальные придворные и городские дамы в сопровождении сановников, камергеров и офицеров заняли первые ложи и, выделяясь своими светлыми туалетами на фоне блестящих мундиров, дополняли изящество и красоту картины. 20-го состоялся спектакль-гала́, на который было приглашено шесть тысяч человек. Давалось несколькоо сцен из модной оперы Паера Surdines, мода на которую пережила счастье победителя. Спектакль, который должен был окончиться кантатой в честь Наполеона, начался чем-то вроде апофеза. Главную фигуру в нем изображало солнце. Это оперное солнце, которое при поднятии занавеса засияло и завертелось в глубине сцены, было окаймлено следующей надписью: менее велико и менее прекрасно, чем он. «Должно быть, эти господа думают, что я очень глуп», — сказал, пожимая плечами, Наполеон, тогда как австрийский император добродушно кивал головой, одобряя аллегорию и выражая сочувствие оказанному Наполеону вниманию[1].

---

[1] Маре́ Отто, 27 мая; Меттерних Отто, 23 мая. Archives des affaires étranréres.

[2] Journal de l'Empire, n° du 7 juin.

III

Последний гость только что прислал извещение о своем прибытии. Прусский король, получив уведомление, что императору приятно будет видеть его, подъезжал уже к Дрездену. Он ехал при обыденной обстановке в сопровождении грустно настроенных, серьезных и чопорных людей, строго державшихся установленных форм, уже вследствие того, что они сознавали свое подчиненное положение. «Невыносимо скучные, помешанные на этикете люди»[2], — писала о них вестфальская королева. На границе Фридрих-Вильгельм получил неофициальное предупреждение, чтобы он не рассчитывал при въезде в Дрезден на одинаковый прием с Их Французскими и Австрийскими Величествами. Между высочайшими особами установилась своего рода иерархия, а Фридрих-Вильгельм был только королем[3]. Прием, оказанный ему населением, сделавшим ему скромную овацию, подсластил эту горькую пилюлю[4]. В жалкой, так низко павшей Пруссии многие немцы начали уже усматривать надежду и будущее своей родины, ибо, несмотря на все невзгоды, в ней тлело священное пламя патриотизма и ненависти.

Уже с давних пор Наполеон не находил достаточно презрительных выражений для характеристик прусского двора. Он указывал на него, как на образец двуличия и глупости. Что касается короля, он сравнивал его с исполнительным, недальнего ума унтер-офицером. Великий воитель ставил Фридриху-Вильгельму в упрек его военную манию, любовь к мелочам военного дела, его страсть к пустякам в ущерб всему делу, что по его мнению, служило доказательством его бесталанности. Говоря о нем, он называл его «сержантом-инструктором, скотиной»[5]. Но так как в его интересах было

---

[1] Неизданные документы. Cf. le Journal de Castellane, J, 94—95.

[2] Journal de la Reine Revue historigue, XXXIV, 334.

[3] Mémoires de Senft, 170.

[4] Французский посланник в Саксонии Серра Маре́, 8 июня 1812 г. Серра заместил Бургуэна, умершего в 1811 г.

[5] Неизданные документы.

дать некоторое утешение Пруссии и получить от нее содействие, обусловленное не только страхом, он приневолил себя: хорошо принял короля; первый сделал ему визит; пожертвовал ему полчаса времени — и свидание прошло прилично.

Прусский наследный принц приехал на другой день и был представлен своим отцом Наполеону, который принял это за знак особого внимания и был благодарен королю. Молодой принц считался врагом Tugend bund'a и всякой революционной агитации. Это было хорошей отметкой в его активе. Наполеон принял его ласково, был доволен им, и герцог Бассано в официальной депеше присудил крон-принцу диплом за уменье держать себя. «Этот впервые появившийся в свете принц, — говорит он, — держит себя умно и изящно»[1].

Присутствие пруссаков ни в чем не изменило жизни в Дрездене: те же занятия, те же развлечения, то же строгое распределение времени, 24-го, как внепрограммное развлечение, в театре состоялся концерт с новой кантатой. В Эрфурте, где Наполеон был у себя дома и все установил по своему вкусу, он предпочел трагедию и заставил своих гостей смотреть ее пятнадцать вечеров подряд. В Дрездене он применялся к преобладающим вкусам и привычкам саксонского двора, и первое место заняла музыка. Капелла короля фигурировала на приемах и светских спектаклях с таким же постоянством, как на торжественной воскресной обедне[2]. Вся жизнь двора, все церемонии протекали под тихий аккомпанемент степенной, почти духовной музыки.

Из-за этой полной достоинства и благопристойности, обстановки, из-за официальной вежливости, которой обменивались монархи, из-за знаков утонченной любезности, оказываемых друг другу их министрами, все резче выступало одно непристойное явление: это было все усиливающееся низкопоклонничество, соревнование в подлости, нескрываемое стремление преклониться перед тем, в ком короли чувствовали своего властелина. Все старались прочесть в его глазах его желание, его волю, чтобы тотчас же откликнуться на них. Каждое высказанное им желание было законом.

---

[1] Отто Марé, 27 мая.
[2] Journal de Castellane, неизданные отрывки.

Ему стоило только сказать слово, — и Пруссия открыла нашим войскам свои последние крепости, Пиллау и Шпандау; Австрия пообещала увеличить предоставленные в наше распоряжение боевые средства. Министры, которым в вежливой форме излагаются эти требования, ведут переговоры только для вида, решив заранее исполнить их. По всему видно, что теперь государи, по молчаливому соглашению, признают над собой высшую власть законно восстановленный сан, и в эти дни Наполеон поистине является императором Европы. Теперь, после длинного ряда Цезарей германской расы, он выступает в роли наследника Рима и Карла Великого — римского императора «французской нации»; но главенство старой империи, зачастую просто почетное, превратилось в его руках в грозную действительность. И чем дольше тянется свидание, тем рельефнее выступает и развертывается во всем своем блеске эта действительность. Конечно, теперь нам известно, что это волшебное воскрешение — только мимолетное чудо гения, учинившего насилие над законами человечества и истории. Теперь мы знаем, что чрезмерно возросшее величие императора подготовляет уже и его падение; что крушение близко; что оно уже витает над будущим. Но да будет нам позволено на время остановить наши взоры на настоящем. Прежде чем идти дальше, остановимся на этой головокружительной высоте и насладимся открывающимся пред нами зрелищем, ибо трудно отказать себе в дивном, хотя и жестком, удовольствии — видеть воспитанных в ненависти к Франции императоров и королей, представителей тех династий, которые в течение веков ненавидели ее и завидовали ее славе, сыновей и внуков враждебных нам монархов — потомков Фридриха и наследников Фердинандов и Леопольдов, падающих ниц пред человеком, который, вознесся на такую страшаную высоту славы и судьбы нашего народа, держит под своей пятой всех этих государей и королей, униженных, поверженных в прах, с преклоненным челом, пресмыкающихся у его ног.

Ползая у его ног, они все-таки оспаривают друг у друга оставленные им из милости частицы власти. Они по-прежнему соперничают, поддерживают старые притязания, доносят один на другого, и каждый старается извлечь для себя какую-нибудь выгоду в ущерб другим. Австрия и Саксония избрали Наполеона посредни-

ком в споре о границах. Он решил спор, и таким образом сделался судьею королей. Затем шли униженные просьбы, обращения к его щедрости, просьбы денег. На этот счет Наполеон был сговорчив. Он выдал лишний миллион Саксонии, предоставил Пруссии некоторые торговые льготы, чтобы она могла раздобыть немного денег, и временно взял на себя уплату жалованья австрийскому контингенту. В этой милостыне он не отказывал разоренным им королям. Их министрам и свите он раздавал бриллианты, усыпанные драгоценными камнями портреты, золотые и эмалевые табакерки, которые большинство сановников спешило обменять на звонкую монету. В течение трех недель он осыпал своими щедротами коленопреклоненную толпу придворных и унизившихся до толпы принцев.

В последние дни своего пребывания в Дрездене, желая удовлетворить любопытство публики, он стал показываться толпе. Он проехал по Дрездену в один из музеев, служивших украшением саксонской столицы. 25-го в королевском имении Морицбурге была устроена охота на кабанов, куда высочайшие особы поехали в открытых колясках. Только Наполеон привлекал всеобщее внимание, хотя на нем был «очень простой охотничий костюм»[1] — у него было принято, что его охотничьи костюмы должны служить ему два года. В другой раз он выехал из дворца верхом, в сопровождении блестящей свиты, проследовал на правый берег Эльбы и объехал вокруг Дрездена по горам, которые окаймляют город и командуют над ним.

На белом коне, покрытом ярко-красным, сплошь вышитым золотом чепраком, впереди своей свиты в блестящих, шитых золотом, мундирах, он ехал шагом, один, на виду у всех, так что его характерный силуэт резко отделялся от группы. Его конвоировали саксонские всадники — белые кирасиры в черных латах. За ним шла громадная толпа немцев, которые, хотя и сознавали унижение своей родины и бесконечное число раз клялись в ненависти к притеснителю, тем не менее, все подпали под его обаяние; все преклонились пред тем, что было великого, прекрасного, подавляющего в этом человеке. Медленно проезжал он по гребням гор, любуясь расстилавшейся пред его взорами картиной —

[1] Journal de L'Empire. 7 Juin.

прелестными долинами, освещенными солнцем полями; холмами, покрытыми пестреющими виноградниками; дачами, украшенными весенней зеленью; поместьями, окруженными трельяжами из виноградных лоз и покрытыми цветами террасами; лесистыми вершинами Саксонских Альп с их уходящими вдоль зубчатыми очертаниями — всей этой гармоничной и живописной оправой, в которой покоится расстилающийся на обоих берегах реки, окруженный садами, лесами и горами Дрезден. Он останавливался на знаменитых своими видами пунктах, позволял толпе близко подходить к себе, смотреть на себя и, не торопясь, совершать свою торжественную прогулку. Под конец, встретив на своем пути глубоко чтимую святыню — церковь Божьей Матери, он вошел в нее и оставался там в течение нескольких минут, что чрезвычайно тронуло набожных саксонцев[1]. Не было ли посещение этой церкви единственной целью прогулки императора, не вдохновение ли свыше направило к ней его шаги? Не чувствовал ли он инстинктивной потребности сосредоточиться в самом себе и не хотел ли — в те часы, которые он, быть может, уподоблял ночи, которую пред высоким посвящением в рыцари оруженосцы проводили на молитве в церкви, — посетить место молитвы? Найдется ли историк, который когда-нибудь проникнет в тайники этой души?

Почти в тот же день в костеле одной литовской деревни ксендз служил раннюю обедню. По выходе из алтаря, он увидел в глубине храма стоявшего на коленях офицера в русском мундире со склоненной на руки головой, погруженного в глубокую молитву. Ксендз подошел к нему. Тогда офицер поднял голову, и ксендз узнал черты Александра[2]. Проживая уже несколько недель в Вильне, царь один, без свиты, часто объезжал окрестные деревни и иногда заходил в церкви. Зачем являлся он в эти места молитвы, чуждые его вере? Хотел ли он польстить самолюбию литовских поляков, которых все еще старался привлечь к своему делу? Хотел ли оказать их вере и преданиям особое внимание, которое должно было им понравиться? Конечно, возможно

[1] Выдержка из донесения, сообщенная Серра, начальником полиции в Дрездене. Archives des affaires étrangères, Saxe, 82, Cf. le Journal de L'Empire, n° du 8 juin.

[2] Comtesse de Choiseul Couffior, Réminiscences, 27—28.

и это. Но почему не допустить, что он заходил туда, чтобы накануне тяжких испытаний укрепить свою душу? Правда, он был воспитан в школе философов и до сих пор стремился к достижению исключительно земного идеала; но мы знаем, что с некоторых пор он чувствовал в себе зародыш новых стремлений, потребность поднять выше свои взоры, и, быть может, уже в это время думал, что различия веры — только воздвигнутые человеческими руками стены, которые не достигают неба. Чтобы там ни было, но, прежде чем поставить свою судьбу на карту, подвергнуть ее случайностям ужасных боев, оба императора старались привлечь на свою сторону Бога или, по крайней мере, в глазах народов заручиться сверхчеловеческой помощью.

IV

26 мая примчался из Вильны в Дрезден флигель-адъютант Нарбонн, явившийся с отчетом о своем поручении. В тот же вечер он вступил в исправление своей должности и явился на собрание при дворе. Его великосветские манеры и приятная наружность произвели сенсацию; имя его переходило из уст в уста, и скоро сделались известными все подробности его путешествия, ибо ему приказано было не делать из этого тайны.

Он пробыл в Вильне только два дня. Приехав 18 мая, он увидал, что город переполнен войсками, окружен лагерями. Русские держали себя сдержанно, но вежливо, «с достоинством, без бравады»[1]. Император Александр принял его в тот же день и терпеливо выслушал. На неопределенные уверения флигель-адъютанта он отвечал также общими уверениями, а затем повторил то, что высказывал и раньше. Он буквально сказал следующее: «Я не обнажу шпаги первым. Я не хочу в глазах Европы взять на себя ответственность за кровь, которая прольется в эту войну». Он добавил, что до сих пор самые справедливые поводы к жалобам не могли привести его к решению порвать обязательства и выслушать англичан. «Если бы я захотел, у меня было бы десять английских агентов вместо одного, но до сих пор я не

[1] Неизданные документы.

хотел их слушать[1]. Когда я изменю систему, я сделаю это открыто. Спросите Коленкура. На моей границе стоят триста тысяч французов; император уже призвал к оружию против России Австрию, Пруссию, всю Европу, а я еще состою с ним в союзе, и доколе мой ум не откажется верить, что император хочет пожертвовать истинными выгодами случайным выгодам этой войны, я буду упорно держаться союза. Но я не поступлюсь честью народа, которым я управляю. Русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью. Присутствие штыков всей Европы на моей границе не заставит меня говорить иначе. Я был терпелив и умерен, но это зависело не от слабости, а от того, что долг каждого государя — не поддаваться чувству неприязни, а исключительно заботиться о спокойствии и интересах своих подданных. Затем, развернув карту России и указав на самую отдаленную окраину своей империи, которая сливается с восточной Азией и примыкает к Берингову проливу, он добавил: «Если император Наполеон решился на войну, и если счастье не будет благоприятствовать правому делу, ему придется идти за миром до сих мест»[2].

Все это было сказано серьезно, определенно, с кроткой гордостью — так, что произвело глубокое впечатление на Нарбонна. Что же касается возобновления переговоров на новых основах и указания средств для избежания войны, ответственность за которую Александр решительно слагал с себя, то царь наотрез отказался от всего этого. По его словам, Россия достаточно говорила; нанесенные ей обиды явны; они на виду у всех, известны всей Европе. «Утверждать, что в этом есть какие-то секреты — значит, насмехаться над всем миром. Теперь разговоры ни к чему не поведут. Если действительно желали вести переговоры, нужно было изложить это на бумаге и в установленной форме». Эти слова были намеком на ультиматум; это был искусный и иносказательный прием поддержать этот властно-требовательный акт.

В тот же день Нарбонну вручили для передачи го-

[1] За тридцать шесть дней до этого он приказал через Сухтелена сделать Англии формальные предложения о мире и союзе. См. недавно вышедший в свет том XI Мартенса, № 412.

[2] Неизданные документы. Все сочинения и мемуары современников передают слова Александра приблизительно в одних и тех же выражениях.

сударственному секретарю Франции письмо от Румянцева — ответ на письмо герцога Бассано. В нем канцлер ссылался на данные Куракину инструкции, не входя в объяснение по поводу их содержания. Вечером Нарбонн обедал за столом царя, который приказал после обеда передать ему свой портрет — общепринятая формальность, которой давалось понять, что поручение окончено. На следующий день, несмотря на то, что Нарбонн не выражал ни малейшего намерения уехать, «метрдотель принес ему и от имени императора самой изысканной дорожной провизии. Графы Кочубей и Нессельроде сделали ему прощальные визиты; наконец, явился императорский курьер и предупредительно доложил, что почтовые лошади заказаны ему к шести часам вечера»[1]. Нельзя было яснее и вежливее дать понять, что ему разрешается уехать. Словом, его продержали как раз столько времени, сколько требовалось для выполнения поручения и изложения заданного ему урока; после чего, с утонченной деликатностью его властно посадили в экипаж и выпроводили из России.

Итак, Наполеону не удалось начать через Нарбонна переговоры, единственной задачей которых было задержать начало враждебных действий; нельзя было ожидать, что и попытка Лористона будет удачнее. Но, несмотря на полный неуспех этой военной хитрости, результат, о котором мечтал Наполеон, все-таки был налицо. Он явился сам собою, ибо русские войска по-прежнему неподвижно стояли на границе и ждали нападения. Во время этой последней отсрочки сразу наступила поздняя северная весна. На земле, еще пропитанной влагой только что растаявшего снега, быстро появилась растительность. Еще две-три недели, и «заколосившаяся рожь даст корм лошадям»[2], и сама природа даст нам сигнал к военным действиям. Наполеон видит, что он совсем близок к цели, и нетерпение его растет по мере приближения к ней. Теперь он спешит уехать из Дрездена; ему хочется вырваться из искусственной придворной атмосферы, подышать среди своих войск чистым воздухом, сбросить покров со своих планов. Назначив свой отъезд на 28-е, мысленно он живет уже с великой армией, он приходит с нею в не-

[1] Ernouf, 362, d'apres les *Mémoires de la comtesse de Choiseul-Geuffier.*

[2] Марé Латур-Мобуру, 25 мая 1812 г.

посредственное общение целым рядом мелочно-заботливых предписаний. Между прочим, он приказывает отправить в Эльбинг, по ту сторону Вислы, понтонный экипаж, который будет обслуживать его при переправе через Неман. «Весь план моей кампании, — пишет он 26 мая Даву, — построен на этом понтонном экипаже, столь же подвижном и столь же налаженном, как пушка»[1]. Он принимает меры, чтобы к моменту его приезда развернутые на Висле боевые силы могли тотчас же перестроиться из боевого порядка в колонны и сконцентрироваться для атаки, чтобы он имел в своем распоряжении все четыреста тысяч человек, слитых в одну группу, чтобы все корпуса стояли бок о бок. В то же время, вечно недовольный и озабоченный тем, что происходит направо и налево от его операционной линии — в Турции и Швеции — он приказывает Латур-Мобуру, во что бы то ни стало, помешать заключению мира на Востоке и, несмотря на свое отвращение, позволяет Маре начать переговоры, на ведение которых Бернадот как будто готов согласиться. Этим двум отставшим от него крылам — Турции и Швеции — он еще раз подает знак присоединиться к нему. Наконец, имея в виду воспользоваться герцогством Варшавским для вызова мятежа в русской Польше, он думает об организации беспорядочных польских банд, которые должны составить его авангард. Это дело он отложил напоследок, ибо иначе оно преждевременно обнаружило бы его планы и лишило бы его возможности скрывать свою игру. До сих пор, сдерживая ретивую Польшу, теперь он намерен опустить повода.

По его просьбе саксонский король подписал декрет, в котором давал автономию герцогству и передавал верховную власть совету министров. Теперь необходимо было, чтобы власть, от которой отказался немецкий король, немедленно же перешла в руки французского представителя — чрезвычайного посланника и наместника императора, — и чтобы тот вызвал патриотический подъем во всех слоях населения. Задача была трудная, ибо Наполеон не хотел еще произнести чудодейственных слов, которые привлекли бы на его сторону всех энергичных людей страны; не хотел объявить, что Польша восстановляется во всей непри-

[1] Corresp., 18725.

косновенности ее прав и ее границ. Не вполне доверяя полякам, не веря в их способность к созидательной государственной деятельности, притом желая щадить австрийцев, не отказавшихся еще формально от Галиции и не желая ставить чересчур больших препятствий для будущего мира с Россией, он не знал еще, до каких размеров ему придется довести дело освобождения Польши, и не хотел ничего предрешать в этом направлении. Пока требовалось только вызвать в поляках воинственный порыв во имя рисующегося в тумане идеала и, вместе с тем, ввести среди них хоть немного порядка, единения и дисциплины, и на первое время заставить эту непоследовательную нацию идти кучно и единодушно к намеченной им цели.

Еще до отъезда в Дрезден он подумывал, где найти человека, годного на такое дело? Генерал вряд ли будет пригоден, — он будет слишком энергичен, слишком горячо примется за дело; хитрость же и изворотливость не его сфера. Обыкновенный профессиональный дипломат не будет обладать необходимым полетом мысли и широтою приемов. Для данной задачи требовался человек, который импонировал бы своим положением, характером, авторитетом; который умел бы быть на высоте своей власти, умел искусно прикасаться к самым чувствительным струнам человеческой души, хитрить с женщинами, льстить тщеславию военных, умерять их чувство зависти и быть главным двигателем, не давая этого чувствовать. Требовался человек, привычный к ведению крупных дел, искусившийся во всех хитростях политики, умеющий искусно управлять страстями и совестью, — одним словом, интриган высокого полета. Наполеон подумал о Талейране. Доверить князю Беневскому посольство в Варшаве значило бы употребить с пользой выдающийся ум и вместе с тем удалить из Парижа неугомонного честолюбца. Начиная с 1808 и 1809 гг., когда Талейран вместе с Фуше, рассчитывая на возможную смерть императора по ту сторону Пиринеев — на испанскую пулю, незримо подготовляли перемену правительства, Наполеон испытывал во время своих отлучек из Парижа неприятное чувство от присутствия за своей спиной этого слишком предусмотрительного человека. По его мнению, было бы очень хорошо, если только это возможно, спасти Талейрана от самого себя. Он думал, что высокая должность за границей, удовлетворяя потребность к деятельности и материальные аппетиты этого великого бедняка, быть может, оградит его от опасных стремлений. «Он горюет, что более не министр, — говорил о нем Наполеон, — и, чтобы иметь деньги, интригует. Окружающие его люди, подобно ему, всегда нуждаются в деньгах, и готовы на все, чтобы добыть их»[1]. Словом, Наполеон склонялся к мысли, что лучше поместить Талейрана на правительственном посту и держать его там в заточении, чем оставлять его не у дел — плести интриги и вздыхать о власти. До отъезда из Парижа он сказал князю о своих расчетах на него, но вменил ему в обязанность соблюдать строжайшую тайну.

Талейран молчал; но тотчас же учел свою будущую должность и сопряженные с ней денежные обороты и, зная, что между Парижем и Варшавой не было непосредственных денежных операций, прежде всего позаботился открыть себе широкий кредит в известном банке Вены[2]. Слухи об этом пошли гулять по Вене и навели на предположение о проекте посольства. Дойдя до Парижа, они сделались известными Наполеону и привели его в бешенство. В слишком предусмотрительном поступке князя, на который его враги не преминули обратить внимание императора, Наполеон усмотрел небрежное отношение к тайне, которую он приказал ему хранить, косвенное непослушание, преступное нарушение данного обещания и, быть может, что-либо еще худшее. Он пришел к заключению, что Талейран сделался решительно невозможен. Отказавшись от мысли послать его на Север, он боялся оставить его в Париже и сначала хотел разрешить трудную задачу, отправив его в изгнание. Известные влияния заставили его отказаться от этого намерения, но не помешали ему подвергнуть князя новой и окончательной немилости.

Вместо Талейрана Наполеон взял его карикатуру. Аббат Прадт, архиепископ Мехельнский, сопровождал Их Величества в Дрезден в качестве духовника. Каждое воскресенье отправлял он в католической церкви Дрездена архиерейское служение, на котором с достодолжным вниманием присутствовал вместе с королевой Вестфальской император, и не подозревавший, что уже одно присутствие у алтаря этого недостойного прелата осквернило святость места. А между тем, он хорошо

---

[1] Неизданные документы.
[2] Jd. Cf. Ernouf, 378.

знал аббата Прадта, которого если и награждал, то только за рабски суетливую угодливость, не лишенный бойкости ум и вычурный стиль. От него не ускользнуло, что аббат вечно водит носом по ветру; что он постоянно перебегает в тот лагерь, к которому повернулось счастье, да еще и похваляется, что заранее предвидел и подготовил свою измену. Не раз император ловил его в подпольных интригах, и однажды предсказал ему, что его страсть интриговать приведет его на эшафот. Но, как мы уже указывали, одним из основных положений императора было, что можно извлечь пользу как из хороших качеств человека, так и из недостатков. Он решил, что в Варшаве аббат найдет случай развернуть с пользой свои агитаторские таланты и может сделаться годным для крупной интриги. К тому же, увлекаясь в это время традициями Бурбонов, император припомнил, что не так давно, во времена монархии, посланники их духовных лиц с успехом руководили польской неурядицей. В аббате Прадт он хотел иметь, — и думал, что нашел, — своего аббата Полиньяка. В результате архиепископ Мехельнский, за которого усиленно стоял его родственник Дюрок, официально был назначен посланником в Варшаву. Ему пришлось спешно составить себе свиту, окружить себя блестящим штатом, обзавестись пышной обстановкой и немедленно отправиться в путь. Нельзя не сознаться, что трудно было найти человека, более неподходящего для выполнения в высшей степени ответственного поручения, как этот не имеющий совести священнослужитель, умевший только шпионить, изобретать небылицы, поносить других, но совершенно лишенный практического смысла и уменья держать себя. Выбор этого не заслуживающего ни малейшего доверия, взбалмошного, неискусного и трусливого агента был одной из вреднейших ошибок, содеянных Наполеоном при распознавании и выборе людей.

В виде инструкции ему была передана пространная записка, составленная под руководством императора и дополненная им словесными пояснениями[1]. Посланнику предназначалась обширная и разнообразная деятельность. Ему поручалось употребить часть доходов герцогства на содержание великой армии, организовать

[1] Эта записка находится в Correspondance под № 18734.

бюро военных разведок и набрать для него агентов, а, главное, сделать Варшаву местом свидания поляков со всей бывшей Польши — центральным пунктом деятельности и пропаганды, пылающий страстями очаг, пламя которого разнеслось бы на далекое пространство и вызвало бы мятеж.

В записке говорилось, что, прежде всего, требуется, чтобы министры герцогства эффектным воззванием, содержание которого подскажет им посланник, созвали народное представительство, сейм, и предупредили его об опасности. Когда сейм соберется, он громогласно поставит на очередь великий вопрос, и постановит, чтобы министры представили ему доклад касательно восстановления прежнего королевства. Не присваивая себе права принимать путем подачи голосов окончательных по этому докладу решений, он будет действовать сообразно с ним и, считая, что соединение разъединенных братьев негласно совершилось, преобразуется в общепольскую Конфедерацию, т. е. сообщество для деятельной борьбы, в верховный совет вооруженной нации. По его образцу всюду будут формироваться воинствующие подкомитеты — очаги местной агитации. В каждом воеводстве будет свой собственный очаг. Затем следует отправить к императору депутацию. «Император ответит депутатам, что одобряет одушевляющие поляков чувства. Он (Его Величество) скажет им, что возрождение их отечества зависит только от их усердия, от их усилий и их патриотизма. Этот способ действий, которого предполагает держаться император, в достаточной степени указывает его посланнику, какое положение он должен занять и какого поведения придерживаться».

Не высказываясь официально по поводу будущего, посланник будет внушать такие слова, такие деяния, которые бы поддерживали безмерные надежды и опьяняли общественное мнение. Здесь, по словам аббата, инструкция превращается в «курс деятельности политических клубов»[1]. В ней подробно объясняется, как нужно взяться за дело, чтобы взволновать народ во всех его слоях; как действовать, чтобы создать, поддерживать и, всячески разнообразив агитацию, довести умы до белого каления. «Требуется обширная и многосто-

[1] Ambassade dans le grand-duché de Varsovie, p. 69.

роняя деятельность. Нужны и прокламации, и сообщения в сейме, и выступления депутатов, и, если возможно, столько речей, столько деклараций и отдельных манифестов, сколько будет отделов в Конфедерации. Каждый день нужно выпускать статьи всевозможного характера и стиля, направленные к одной цели, но обращенные к разным чувствам и разным умам. Таким путем удастся привести всю нацию целиком в некоторого рода опьянение».

Дошедший до безумия патриотический экстаз заставит всех жителей герцогства взяться за оружие; но, если это горячечное состояние остановится у границ герцогства, главная цель не будет достигнута. Необходимо, чтобы оно передалось за его пределы; чтобы соседние страны воспламенились его огнем; чтобы поголовное восстание распространилось на русские губернии. Поэтому посланнику вменяется в обязанность отправлять в Литву, Подолию, Волынь, во все части прежней Польши, за исключением австрийской Галиции, сочинения, прокламации, пасквили, всякого рода зажигательные листки, и распространять их там во множестве, дабы увлеченная этими воззваниями польская знать в России сформировалась в воинственные банды, в храбрую, подвижную кавалерию, в своего рода верховых шуанов, задачей которых будет действовать на флангах и в тылу неприятеля, непрерывно тревожить его, «поставить его в то положение, в каком была французская армия в Испании и республиканская во времена Вандеи». Созданием повсеместной партизанской войны задача посланника будет выполнена только наполовину. Кроме задач революционера, на него возлагаются задачи организатора. Вызвав поголовное восстание, он должен привести в порядок эту беспорядочную толпу, ввести в ней дисциплину и привести деятельность отдельных частей в соответствие с общим планом восстания; он должен управлять восставшими, согласовать их быстрые набеги с движениями великой армии, наконец, обеспечить единство направляющей руки и единство маневрирования, без чего не может быть плодотворного усилия и отвечающего цели содействия.

В этом сложном деле следует начать все сразу и продолжать без перерыва; но необходимо, чтобы вспышка не произошла преждевременно и чтобы Польша не выступила слишком рано на сцену. Пока у Наполеона остается надежда внушать русским сомнения относительно близости войны, он не хочет пренебречь этим обстоятельством. Поэтому посланник на первых порах должен ограничиться тем, чтобы приобрести полное доверие и упрочить свое влияние; чтобы привлечь на свою сторону видных деятелей и создать из своего дома «центр, куда будут стекаться все классы и всевозможные интересы». Таким образом, он соединит в своих руках все пружины этого крупного дела; но чтобы пустить их в ход, должен ждать дальнейших указаний. Для вящей предосторожности было условлено, что королевский декрет о преобразовании совета министров в исполнительный комитет, т. е. объявление о крупных нововведениях, не будет опубликован раньше 15 июня. В этот день император будет уже на Висле. Тогда, в момент, когда он примет командование над своими войсками и двинет их вперед, станут приводиться в исполнение и выступят на сцену и подготовленные в Варшаве события. Выступление Польши и результаты агитации должны в точности совпасть с первыми шагами великой армии, не опережая их ни на один день.

28 мая после полудня Наполеон торжественно простился с собравшимися в Дрездене дворами. Всю следующую ночь во дворце шла непрерывная суматоха. Чины императорской свиты, флигель-адъютанты, ординарцы, шталмейстеры, адъютанты флигель-адъютантов — выходили на главный вестибюль и торопливо сбегали с лестниц. Рано утром Наполеон вышел из своих покоев; он остановился на несколько минут в зале, где стоял почетный караул, чтобы в последний раз принять добрые пожелания и знаки почтения Фридриха-Августа; затем, нежно обняв Марию-Луизу, быстро отправился в путь. Еще не было и пяти часов утра, а его почтовая карета уже катилась по мостовой, и вслед за нею мчался военный конвой, нарушая утреннюю тишину топотом лошадей и бряцанием оружия[1].

30 отбыл в Потсдам и прусский король, крайне довольный — как приказал он возвестить всей Европе в дипломатическом циркуляре — «драгоценными днями»[2], проведенными им в Дрездене. Мария-Луиза оставалась в Дрездене до 4 июля, затем отбыла в Прагу, где император разрешил ей провести несколько недель

[1] Журнал обер-гофмейстера.
[2] Archives des affaires étrangeres, Prusse, 250.

у родителей. Там, чтобы утешить и поразвлечь ее, предполагалось давать в ее честь балы, празднества, блестящие приемы. Между прочим, имелись в виду поездка в Карлсбад, посещение рудников Франкенталя, их иллюминованных на этот случай галерей и гротов, стены которых, покрытые блеском металлических руд, казались усыпанными бриллиантами[1]. Император — ее отец — будет осыпать ее благословениями, императрица расточать ей не вполне искренние ласки, и, наконец, после многих уверений в нежных чувствах, мачеха и падчерица расстанутся холоднее, чем встретились. Вестфальская королева уехала из Дрездена через час после императрицы и вернулась в Кассель. Вюрцбургский великий герцог направился в Теплиц, и в течение нескольких дней все общество государей рассеялось. В Дрездене наступили тишина и спокойствие, но глаза все еще были ослеплены всем виденным. Как будто по небу пронесся метеор, оставив за собой горящий пурпуром и блеском след. Но мало-помалу его свет начал бледнеть и гаснуть. После восторга вступило в свои права размышление, и многие спрашивали себя, не было ли виденное ими чудо только блестящим миражом. «Чудный сон», — вздыхая, говорил добрый саксонский король, трепетавший иногда за сверхчеловеческую судьбу, с которой он связал свою собственную. «Чудный, но слишком короткий сон»[2].

V

Герцог Бассано остался в Дрездене до 30 мая. Накануне его отъезда вслед за императором по дороге к Северу, ему был сделан визит, доставивший ему большое удовольствие. Его посетил консул Синьёль, избранный посредником в затяжных переговорах, которые велись с Бернадотом. Почти два месяца Синьёль непрерывно шмыгал между Швецией и местопребыванием французского правительства. Теперь, явившись снова, он похвастался, что привез вести, которые в состоянии вполне удовлетворить нас. Как будто счастье, прежде чем покинуть Наполеона, хотело осыпать его своими

[1] См. относительно этих празднеств Bausset, II, 60 et suiv.
[2] Серра Марé, 5 июня 1812 г.

обманчивыми дарами, ибо последняя, единственная, не считая России, противившаяся ему сила, видимо, склонялась пред ним и готова была вполне подчиниться. Бернадот приносил повинную и просил позволения занять в наших рядах свое место. Опираясь на собственноручную записку принца, Синьёль указывал на положительные основы к примирению и соглашению. Оставаясь верным своей неотвязной мечте, Бернадот не затрагивал вопроса о Финляндии; он желал только одного — чтобы ему дали Норвегию, предлагая уступить датчанам, в возмещение за Норвегию, шведскую Померанию и уплатить двенадцать миллионов. Он говорил, что, если согласятся удовлетворить его желание, он примет нашу сторону и не будет считаться с прежними обязательствами; что подпишет союзный договор, двинет против России пятьдесят тысяч человек, отдаст себя в распоряжение Наполеона и во всем будет следовать его указаниям. Если потребуется, он даст слово не женить своего сына без позволения императора[1].

Такая неожиданная перемена фронта могла бы поставить в тупик, если бы ее совершил кто-нибудь другой, а не Бернадот. Впрочем, она все-таки заинтриговала историков. Ее истинный характер и причины были предметом многостороннего рассмотрения. Была ли эта перемена искренна? Чистосердечно ли возвращался к нам Бернадот? Или же следует предположить, что, отказываясь от своих обязательств к России и открывая переговоры с Францией, он просто хотел выиграть время, выждать исхода войны, или, по крайней мере, исхода первых сражений, и тогда уже без промаха принять решение? Хотя второе объяснение гораздо правдоподобнее первого, но истина, в том виде, как она рисуется по шведским документам, говорит иное. Бернадот заботился сохранить за собой право входа в наш дом не только из страха перед нашими военными силами. Это не помешало ему двумя месяцами раньше принять в отношении императора вызывающий тон и заключить союз с его врагами. Причина в том, что он боялся, что Россия не посмеет вступить в борьбу и бросит его на произвол судьбы. Этот страх внушил ему в самое последнее время его посол в Петербурге граф Левенхильм на основании некоторых, опровергнутых даль-

[1] Письмо герцога Бассано императору, 30 мая 1812 г. Archives des affaires étrangères Suède, 297.

нейшими событиями, подозрений, которые, придя на ум шведскому послу, страшно обеспокоили его. Ключ к разгадке этой тайны дает отчаянная депеша Левенхильма от 17 апреля.

Нами было уже указано, что известие о франко-австрийском союзе произвело на царя удручающее впечатление. Это испытание было для него очень тягостно, и Левенхильм, который сразу же уловил это, счел долгом предупредить свое правительство. Он немедленно же написал своему королю. «Император крайне удручен известием об австрийском союзе. Здесь предполагалось, что Австрия так или иначе вмешается в дело, но никогда не думали об оборонительном и наступательном союзе. Император, как видно, вполне предался на волю Божию, и решил поступить так, как повелевают ему честь и безопасность России. Но в душе он угнетен. Он видит, что вокруг него создается европейская лига и начинает бояться за исход». Не приведет ли этот страх и к тому, что теперешняя твердость Александра растворится под воздействием Румянцева, и царь поддастся его малодушным советам? Подобную слабость у царя, — которой, к слову сказать, совершенно не было, — Левенхильм вполне допускал и почти предсказывал. «Нет сомнения, — продолжает он, что, увидя сочувствие своим излюбленным идеям о мирном соглашении с Францией, канцлер скоро возьмет верх и не упустит случая восторжествовать над бесконечно более благородными и мужественными стремлениями императора»[1].

Нужно прибавить, что в известных кругах петербургского общества было большое смятение. Многие задавались вопросом: не приведут ли упорство и воинственная политика императора Россию к гибели, и не следует ли дворянству прибегнуть, ради спасения государства, к крайним мерам? «Вашему Величеству трудно представить себе, — продолжал Левенхильм, — до чего в настоящее время доходит свобода речей в столь деспотической стране, как Россия. Чем ближе подходит гроза, тем более высказывается сомнений в искусстве того, кто держит в своих руках бразды правления... Император, осведомленный обо всем, не может не знать, до какой степени упало к нему доверие его народа.

[1] *Archives du rayaume de Suède.*

Поговаривают даже о существовании партии в пользу великой княгини Екатерины, супруги принца Ольденбургского, во главе которой стоит граф Растопчин. Вот, государь, по общему мнению, причина огорчения императора, тем более, что Его Величество питает к великой княгине особенную любовь. При легкости, с какой русский народ применяется к переворотам, при его склонности быть под управлением женщин, ничего нет удивительного, если воспользуются настоящим критическим временем в империи, чтобы произвести переворот».

Слухи, передаваемые Левенхильмом, дошли до Стокгольма и иными путями[1]. В продолжение нескольких дней в шведской столице ежеминутно со страхом ждали известия, что император Александр заявил о своей покорности, или что внутренний переворот поверг Россию в хаос и бросил ее, беззащитную, к ногам ее противника.

Ожидание подобных событий приводило в ужас Бернадота и его советников. Если Россия не выдержит и сдастся до боя, думали они, Швеция останется без прикрытия и подвергнется наихудшей участи. Не может быть сомнения, что тогда Наполеон, как бешеный, набросится на нее и заставит ее дорого поплатиться за измену; может быть, даже поставит русским в обязательство разгромить ее. Следует заметить, что Англия не дала еще согласия на русско-шведский договор и выдвигала препятствия[2]. В это критическое время, когда Бернадот начал сомневаться во всех своих союзниках, он почувствовал необходимость подготовить себе путь обращения к милосердию Наполеона и хотел предохранить себя от его гнева. Вот почему Синьёль получил приказание спешить в Дрезден с предложениями, по внешности вполне определенного характера.

В действительности же о желании войти в соглашение не было и речи. Бернадот вовсе не хотел связывать себя с нами неразрывными, бесповоротными обязательствами. Единственной его целью было оставить за собой будущее и избегнуть всякого рода случайностей до тех пор, пока горизонт не прояснится в Петербурге. Доказательством этого служило то, что Синьёль — он вынужден был сознаться в этом герцогу Бассано

[1] Тараш Гольцу; Сабатье-де-Кабр Маре, 21 апреля 1812 г.
[2] См. Ernouf, 338.

— не имел надлежащих полномочий. Этот предприимчивый, не пользующийся доброй славой агент, занимавшийся сомнительными делами, вроде тех переговоров, которые теперь были ему поручены, предлагал герцогу Бассано подписать тотчас же любую бумагу, высказывая уверенность, что принц утвердит ее, хотя очевидно было, что принц умышленно не снабдил его формальными полномочиями. Таким образом, Бернадот оставлял за собою право, смотря по обстоятельствам, или отказаться от заключенного Синьёлем акта, или же поставить его себе в заслугу пред Наполеоном, представить ему этот акт как доказательство своего раскаяния. Он и не думал отдаляться от России; но в предвидении того случая, если она потеряет мужество, только морочил нас, делая вид, что отрекается от нее и изменяет ей.

Доказательством его несомненного двуличия служит тот факт, что он не прекратил своих враждебных интриг. Уверяя в своих добрых намерениях, он по-прежнему вредил нам, где только мог. В Германии его агенты постоянно поддерживали попытки России парализовать действие наших союзов. Пообещав царю еще более крупную услугу, дав ему слово, что уговорит турок заключить мир, он с удвоенной энергией взялся за это дело. Один из его флигель-адъютантов, генерал барон Таваст, переплыл Балтийское море с поручением поехать в Вильну, и, сговорившить там с императором Александром, не теряя ни минуты, направиться в Бухарест, где в это время шли переговоры, и дать делу решительный толчок, который привел бы к соглашению[1].

Таваст приехал слишком поздно, чтобы приписать себе честь этого дела. Развязка на Востоке была уже близка. Чтобы по возможности ослабить следствия франко-австрийского договора, Александр счел необходимым во что бы то ни стало прийти к соглашению с Турцией, дабы не иметь против себя этого врага, когда Наполеон выставит против него Австрию. Со спешно отправленным курьером Кутузов получил приказание направить все усилия к заключению мира; он был уполномочен уменьшить свои притязания и потребовать только линию Прута, т. е. Бессарабию, и ни клочка Молдавии. Правда, Александр не делал последней уступки даром. Вместе с Бернадотом и прочими нашими врагами, он желал, чтобы мир был закреплен и упрочен союзом, и чтобы Турция присоединилась к его политике и приняла участие в войне. Таким образом, этого исконного союзника Франции, на которого Наполеон всегда возлагал надежды, рассчитывали обратить против нас и бросить на правый фланг империи[1].

Облеченный полномочиями, великий визирь, расположившись на Дунае по близости Бухареста, непосредственно следил за ходом переговоров. У него уже не было армии, а только жалкие остатки. По отзывам современников, голод, болезни, дезертирство сократили его войска до пятнадцати тысяч человек. Турция, действительно, выбилась из сил. Кроме этих законных причин к переговорам, имелись и побочные, в которых нельзя было признаться. Россия и Англия сыпали золото пригоршнями; драгоман Порты Моруцци состоял у них на жалованье и искусно эксплуатировал против нас недоверие Турции. Говорят, что русская канцелярия, чтобы окончательно уронить нас в глазах Турции, пустила в ход последнее средство. Уверяют, будто она извлекла из своих архивов письмо от 2 февраля 1808 г., в котором Наполеон приглашал царя к разделу Востока, и представила его как решающий довод на конгресс[2]. Миссия Нарбонна в Вильне довершила дело и окончательно смутила министров Порты. Предупреждение нашей дипломатии, что этот шаг — простая формальность, ни к чему не привело. В этом случае Наполеон попался в собственную западню. Турки вообразили себе, что он не решил еще порвать окончательно с Россией; иначе зачем вести переговоры. Поэтому, опасаясь, что вдруг импраторы примирятся, что наступит второй Тильзит, что им же придется уплатить расходы по примирению, они думали только о том, чтобы покончить свою распрю с Россией и, таким образом, оградить себя от этой ужасной случайности[3].

Кутузов воспользовался этим настроением и, чтобы

---

[1] Сабатье де Кабр Маре, 21 апреля. Сухтелен императору Александру, 30 марта и 10 апреля.

[1] Соловьев, Александр I, 222, по переписке императора с Кутузовым.

[2] Ernouf, 323, по записке Марé.

[3] Переписка Латур-Мобура, май 1812 г., passim.

поскорее покончить дело, не настаивал на союзе; он разъединил эти два вопроса и ограничился только заключением мира, который и был подписан в Бухаресте 28 мая, с обычной оговоркой, предоставлявшей право утверждения государям. По договору Турции возвращались оба княжества, по отделении от них Бессарабии, присоединенной к Русской империи, которой предоставлялись, сверх того, некоторые территориальные права в Азии. В неопределенных выражениях высказывалось в договоре согласие на автономию сербов под верховной властью султана, туманно подтверждался неточно установленный протекторат царя над румынскими княжествами и даже над всеми православными христианами Леванта. Вообще статьи договора носили отпечаток той спешности, с какой они были составлены. Двусмысленно, плохо редактированные, они создавали источник для споров в будущем. Русские уполномоченные не заботились о точном определении прав своего государя, а старались только обеспечить полную свободу действий его военным силам.

Этот заключенный на скорую руку мир явился для Наполеона тяжким ударом; он уравнивал дипломатические победы Франции и России. С другой стороны, мир без союза только наполовину удовлетворял Александра и Бернадота. «Кутузов, — писал Александр, — не отнесся с должным вниманием к весьма важному предмету»[1]. Но нельзя ли иным путем, рукой другого исправить неоконченную задачу? Нужно заметить, что, еще до подписи договора в Бухаресте, Александр назначил главнокомандующим дунайской армией вместо Кутузова адмирала Чичагова. Чичагов был человеком изобретательным и предприимчивым. Он восторгался Наполеоном, изучил его приемы, подражал даже его манерам и жестикуляции и считал необходимым сражаться с ним его собственным оружием, т. е. разрушительными ударами. Перед отъездом в Яссы — в главную квартиру, он поверг на благоусмотрение царя и канцлера колоссальный и необычайный план, суть которого состояла в том, чтобы с помощью турецкого, а главным образом, христианского Востока, устроить против нас грандиозную диверсию.

Переговоры с Портой продолжались, и с целью добиться скорейшей ратификации договора были перенесены из Бухареста в Константинополь. Отчего, говорил Чичагов, не воспользоваться этим случаем и не поднять снова вопроса о союзе, ослепив взоры султана надеждой приобрести Далмацию и Ионические острова? Отчего не попытаться добиться от турок, если не активного содействия, то, по крайней мере, доброжелательного непротивления: права на проход через их территорию и разрешения воспользоваться их христианскими подданными для нападения на иллирийские провинции? Прибавим, что дунайские и балканские христиане — молдаване, валахи, сербы, босняки, черногорцы, — возбужденные восьмилетней борьбой, в которой они принимали участие, вооруженные с головы до ног, готовы были снова ринуться в бой. Чичагов предлагал следующее: он испросит у султана разрешение набрать из них вспомогательные банды, призовет к себе этих мятежных повстанцев, сформирует полки, создаст из этих народов армию, во главе которой, как союзник Порты, переправится через Дунай; пересечет полуостров, нападет с высот иллирийских Альп на французскую Далмацию и дойдет до Адриатики. После захвата побережья и внезапного нападения на Триест он обогнет с севера Венецианский залив, перейдет Альпы и протянет руку восставшим тирольцам и угнетенным швейцарцам. В это же время англорусский флот нападет с юга на Италию и вызовет восстание в Неаполитанском королевстве. Словом, дело шло о том, чтобы перебросить в государство завоевателя войну, которую тот перенес за восемьсот лье от своей границы, и в то время, как второй Аннибал пустится в далекие предприятия, выполнить маневр в стиле Сципиона. Адмирал получил приказание действовать согласно этим данным, дать туркам почувствовать красоту этого плана и возбудить их аппетиты[1]. Но он должен умолчать о том, что, ввиду более верного воодушевления христианских племен, а главным образом, славянских народов, ему поручено говорить им об осво-

[1] Соловьев, 223.

[1] Mémoires de Tchitchagof, опубликованные в Revue contemporaine du 15 mars 1855. Solovief, 223. В собственноручном письме от 12 апреля английскому агенту Торнтону, находившемуся в Швеции, Александр излагал весь план диверсии, прося помочь английскими эскадрами и деньгами. Matrens, XI, n° 412.

бождении из-под власти турок; что он должен разжечь едва начинавшие проявляться в них стремления к свободе и заронить в них надежду на создание славянской империи под покровительством и защитой России. Таким образом, идея о слиянии родственных народностей для образования крупных национальных единиц, возникшая из событий, порожденных французской революцией, явившаяся следствием перемены взглядов на существовавшие доселе принципы, делалась, как в Германии, так и на Востоке, орудием в руках наших врагов. Идея о панславизме обозначилась в русской политике сперва как средство отразить нашествие Наполеона и отвлечь в сторону часть его армий.

Сомнительно, чтобы Александр и Румянцев заблуждались насчет фантастичности и романического характера подобного предприятия и его шансов на успех, равно как и относительно возможности организовать у турок, с их согласия и на их глазах, восстание их христианских подданных. Но, может быть, одна угроза подобного восстания могла привести к практическому и крайне желательному результату, на который неоднократно указывал Бернадот? У райи придунайской области были в Австрии кровные братья. Христианским племенам северной Турции сочувствовали по ту сторону границы однородные им группы. Толчок, данный первым, сообщится и вторым. Через молдаво-валахов не трудно вызвать волнение среди румын Трансильвании; через славян Турции — среди славян Турции — среди славян Австрии. Создав на флангах Австрии многочисленные очаги волнения, рассыпав порох окрест ее восточных владений, Россия получит возможность занести пожар во внутрь Австрии, заставит ее дрожать за свое существование и, может быть, помешает ей оказать Наполеону существенную помощь.

Переговоры о русско-турецком союзе велись в Константинополе при энергичной поддержке шведских и английских агентов весь конец мая и в течение июня. Тем временем Чичагов укреплял свою позицию на Дунае — базу своих будущих военных операций. Имея в виду серьезное нападение на французские гладения, он держал сербов и черногорцев наготове, поддерживал тайные сношения с недовольными в Далмации, снабжал оружием валахов, мечтал о том, чтобы перебросить их с частью русских войск в Трансильванию и

подготовлял против Австрии обходное движение[1].

Но необходимость подобной диверсии сделалась уже менее настоятельной. В конце апреля в Вильну прибыло сообщение, имевшее характер доброго предзнаменования. Еще до того, как проводить своего государя с супругой на свидание с Наполеоном, еще до клятв и сердечных излияний в Дрездене, Меттерних позаботился представить по секрету доказательство истинного характера предстоящих сцен. Из его слов было ясно, что все это будет пустой комедией. Решив известить русский кабинет о заключении франко-австрийского союза, он сопровождал свое сообщение такими комментариями, которых было вполне достаточно, чтобы убедить в ничтожном значении союза. Он дал понять, что его двор вовсе не смотрит серьезно на подписанные с Францией обязательства; что вспомогательный корпус будет, насколько возможно, воздерживаться от участия в войне и едва перейдет границу; что если России угодно будет вникнуть в положение Австрии и отнестись к ней снисходительно, оба государства могут втайне оставаться друзьями, хотя по внешности и будут состоять в войне[2].

Русское министерство приняло к сведению слова Меттерниха, но просило, чтобы Австрия дала ему ручательство своих намерений — какую-нибудь гарантию — и обязалась точно ограничить свою деятельность. В этих видах, в строжайшей тайне, открыты были переговоры. Чтобы во время хода переговоров оказать давление на решение Австрии, Александр предоставил Чичагову вести на Юге пропаганду. Он сообщил в Вену, что в его распоряжении имеются средства вызвать восстание среди мадьяр и что он не задумается воспользоваться ими, если его поставят в необходимость сделать это. Эти угрозы, пущенные в ход салонами и русскими партиями в Вене, оказали влияние на общество, а через него и на правительство: это и было главной причиной, заставившей Австрию сделать еще шаг на пути тайных компромиссов.

В нескольких следовавших одно за другим сообщениях Меттерних дал формальное уверение, что вспо-

---

[1] Переписка Отто, Андреосси и Латур-Мобура, июнь и июль 1812 г., passim.

[2] Martens, Tra ésde la Russie avec l'Autriche, III, 87.

могательный корпус ни в каком случае не будет усилен и даже не будет доведен до полного состава; что постараются изыскать средство дать Наполеону, вместо тридцати тысяч человек двадцать шесть тысяч; что Австрия никогда серьезно не вмешается в распрю; что она не двинет своих главных сил и сохранит их для лучшего употребления. В награду за такую полуизмену Австрия требовала, чтобы война была строго ограничена и чтобы, кроме места, где австрийские войска, к сожалению, должны будут вступить на русскую территорию, т. е. направо от великой армии, не было совершено ни одного враждебного действия на всем протяжении границ обеих империй. Иначе говоря, Австрия требовала, чтобы русские отказались от контратаки со стороны Венгрии и Трансильвании. Александр принял второе положение соглашения и отказался от диверсии на Востоке, которую к тому же стремительность нападения Франции делала невыполнимой. На этих основах между Веной и Петербургом состоялось, хотя и на словах, но формальное соглашение; произошел обмен взаимных обещаний: с той и другой стороны было дано слово. Договором, подобным тому, какой оба двора заключили в форме намеков в 1809 г., они обязались взаимно щадить один другого, соразмерять свои удары и в течение фиктивной войны тайно потворствовать друг другу[1].

Поведение Австрии не было единичным фактом. Большинство наших союзников замышляло измену и ждало только удобного времени. Прусский король, скрепив своей подписью союзный договор с нами, написал царю письмо с извинениями. Было решено, что, несмотря на войну, сношения с Россией будут продолжаться через тайных, но формально аккредитованных представителей. «Вот как следует поступать государствам, которые с давних пор состоят друзьями и которым суждено снова сделаться таковыми»[2], — говорила Пруссия. Королевства Конфедерации, те самые королевства, которые или создал, или расширил сам Наполеон, отличались не меньшим двуличием. Русский посол в Баварии, Барятинский, утверждает, «что, начиная с короля и кончая последним гражданином, за исключением некоторых молодых офицеров, думающих, что они герои или мечтающих сделаться таковыми, все классы общества с одинаковым отвращением смотрят на возможную войну с Россией[1]. Король говорит, «что он в ужасном положении»; наследный принц гордится тем, что отклонил от себя командование войсками. Эта война, говорит он, «противна моим принципам; вот почему я не хочу вести ее, хотя страстно люблю мое ремесло»[2]. Когда царю придется отозвать своих агентов ото всех по внешности «офранцузившихся»[3] дворов, баварский министр Монжелас откажет Барятинскому в выдаче паспортов на выезд в Россию; если Барятинский пожелает получить их с тем, чтобы ехать лечиться на воды, ему выдадут, но при условии, что он останется где-нибудь поблизости, например, в Карлсбаде, ибо разлука будет только временной, с сохранением надежды снова свидеться[4]. Со всех концов Германии — за редкими исключениями — Александр получает те же уверения в тайной симпатии. Его все осуждают; считают, что он слишком смело и без серьезных поводов подвергает себя опасности, но никто не может удержаться, чтобы не высказать ему пожелания успеха.

Таким образом, проследив в только что сделанном нами обзоре настроение Европы, начиная со шведских интриг в Стокгольме и направляясь через Константинополь, Вену и Мюнхен в самое сердце Европы, мы видели, что великая армия со всех сторон охвачена сетью затаенной вражды; что эта вражда для своего проявления ждет только момента, когда изменит нам судьба, и счастье повернется не в нашу сторону. Вот реванш за ту лесть, которая расточалась триумфатору в Дрездене, вот обратная сторона этой лучезарной картины. Да, короли оказывают Наполеону содействие, но содействие вынужденное. По секрету они говорят, что не признают обязательств, вырванных у них силой. На устах у них любовь и преданность, в сердце — из-

[1] Martens, III, 87, 89, Соловьев, 223—224.
[2] Соловьев, 215.

[1] Martens, VII, 112.
[2] Id.
[3] Joseph de Maistre, Correspondance.
[4] В Вюртемберге министр Цеппелин заявил Алопеусу, что «Его Величество вовсе не намерен считать себя в войне с Россией». Martens, VII, 124.

мена; они клянутся в дружбе, на деле же они простые рабы. Навернется случай порвать цепи, и они без зазрения совести воспользуются им, в уверенности, что найдут в своем народе отклик своим стремлениям и своей ненависти.

Ближайшие помощники императора — маршалы, корпусные командиры и состоявшие при армии администраторы и чиновники смутно сознавали опасность. Во время похода по Германии они заметили, что идут по минированной почве, где для взрыва достаточно малейшего сотрясения. Коменданты крепостей и начальствующие лица, до французских королей включительно, которых Наполеон поставил на страже Германии, в течение целого года, не переставая, предупреждали его. Осенью 1811 г. Жером написал ему поразительное по своей проницательности письмо[1]. Письма Раппа, коменданта Данцига, полны знаменательными признаниями. В них Рапп высказывает беспокойство по поводу ненависти, которая скопляется вокруг него, хотя он наносит жителям «только неизбежный вред». Некоторое время спустя он не выдерживает и, выйдя за пределы своей военной компетенции, посылает политическое донесение со следующими выводами: «Всюду умы взвинчены, всюду ожесточение. Дело обстоит так, что, если кампания будет для нас несчастлива (чего нет оснований допускать), все — от Рейна до Сибири — поднимутся против нас. Я не распространитель тревожных слухов, и не люблю слыть за человека, который все видит в мрачном свете, но то, о чем я предупреждаю — достоверно»[2]. Даже Даву — непоколебимый Даву — поддается подобию страха. Он вспоминает, что в 1809 г. дело висело на волоске, и умоляет, чтобы хорошенько вдумались в этот урок.

Эти донесения выводят из терпения, злят Наполеона. Он делает Раппу строгий выговор и отсылает его к роли солдата. Он и сам видит опасность, но не допускает, чтобы другие замечали ее, а тем более, указывали ему на нее, ибо, благодаря своему непобедимому счастью, а, главное, стольким и столь тщательно выполненным мерам для обеспечения успеха кампании,

[1] Correspondance du roi Jérame, V, 247—249.
[2] 18 ноября 1811 г. Archives nationales, AF, IV, 1656.

он уверен, что преодолеет опасности. Правда, в деле подготовки все, до последних мелочей, было превосходно задумано и рассчитано, но выполнение оставляло желать многого. Вследствие огромного количества средств, вследствие необычайной их сложности, он не может сам следить за выполнением своих приказаний. Он не в состоянии обнять столько предметов, как бы велики ни были его силы. Лица же, которым он поручает выполнение, не обладают ни его авторитетом, ни его зорким взглядом. Невнимательное отношение подчиненных, беспечность солдат, нерадивость и иногда недобросовестность администрации, уже в силу своих громадных размеров ускользающие от надзора, приводят к недочетам. В некоторых местах пути уже загромождены, начинается сутолока. Дисциплина падает, средства, требующие доставки, и съестные припасы запаздывают. Армия не желает поддерживать в хорошем состоянии то, что имеет: люди не заботятся о своей амуниции, морят лошадей, и многие корпуса явятся пред неприятелем с негодными к употреблению лошадьми, с недостаточным количеством провианта, с дурно организованным служебным персоналом и недостаточно обученными солдатами[1].

Между начальниками происходят нежелательные пререкания. Даву и Бертье в открытой ссоре; Даву озлоблен, Мюрат недоволен, Жюно устал и телом и душой. А сколько других начальников идут отяжелевшим шагом, еле волоча ноги, без прежнего увлечения и былой энергии! Они слишком богаты, слишком знатны; в них нет уже прежних порывов слепой, беззаветной преданности; они размышляют и критикуют. Отголоски глухой оппозиции ближайших к императору лиц доходят до них и подрывают их доверие. Они знают, что предприятие осуждается такими людьми, как Камбасерес, Моллиен, Декрé, Лавалетт. Из разговоров они знают, что не только Коленкур, но и другие лица, хорошо знакомые с Россией, высказывали императору свои опасения; что один из них, полковник Понтон, на коленях умолял его остановиться. Эти рассказы ходят по штаб-квартирам и вселяют неуверенность, для воз-

[1] Mémoires inédits de M. de Saint-Chamans, которые должны в скором времени появиться в свете, содержат по этому поводу характерные подробности.

буждения которой достаточно простого здравого смысла. Даже в свите императора гуляют тревожные фразы. Шепотом повторяются слова Семонвилля, бывшего члена народного конвента, ныне сенатора, который приобрел такую известность своим умением предугадывать будущее, что правительство, от которого он начал сторониться, считается обреченным на гибель. Говорят, что во время пребывания своего в Женеве у префекта Капелла, он сказал при виде проходивших мимо солдат, отправлявшихся в армию: «Ни один из них не вернется: они идут на убой»[1]. Считая, что одного крупного бедствия достаточно, чтобы рассеять чары и все перевернуть вверх дном, он рискнул прибавить, что поход в Россию дает надежды Бурбонам.

Подобного рода предчувствия и сокровенные мысли не проникают еще в главную массу наших войск. Чем ниже спускаешься по иерархической лестнице, тем более видишь доверия, мужества и беззаветной преданности. Из конца в конец несметной армии, которая, по приказанию императора, стоит еще на Висле, все чины, помимо высшего начальства, объяты воинственным трепетом, трепетом страстного желания поскорее вступить в дело. Выслужившиеся из рядовых и желающие пробить себе дорогу офицеры, жаждущая приобрести военную славу золотая молодежь — все они желают, чтобы поскорее началась кампания. Они стремятся к чинам, к отличиям, к великим подвигам; они жаждут славы и наживы.

Помимо того, нравственное влияние Наполеона на эти бесхитростные души так сильно, что не оставляет места размышлению, и, несмотря ни на что, только он, только обаяние его личности сплачивает все части этого разрозненного сборища; только его имя заставляет умолкать раздоры и воспламеняет в сердцах единодушный порыв. Даже наиболее враждебные контингенты — пруссаки, испанцы, славяне с берегов Адриатики, т. е. те элементы, которых силой включили в ряды армии, — подпадают под его влияние. Они ненавидят его, и все-таки идут за ним, ибо чувствуют своего рода гордость сражаться под командой такого вождя; они знают, что достаточно одного его одобрительного отзыва, чтобы навсегда поставить их в почетный ряд. Что же касается французских солдат, то и украшенные нашивками ветераны, и молодые, взятые от сохи рекруты остаются, подобно народу, из недр которого они вышли, непоколебимо преданными человеку, зачаровавшему их воображение. За свою кровь они всегда ждут от него неслыханных наград, великого будущего и всяких благ земных. Среди них распространилось убеждение, что Россия только стадия на пути в другие страны, что они пойдут дальше, что Наполеон поведет их в глубь сказочной Азии, в волшебный мир, где нужно только нагибаться, чтобы запасаться сокровищами и собирать короны. Их вера в подобное будущее — беззаветная и непреложная — высказывается в их детски наивных письмах. После вероломного поддакивания союзных королей, после предостережений министров и генералов, после мрачных донесений начальников, после предсказаний недовольных высокопоставленных лиц приведем письмо солдата. Вот что пишет своим родителям один фузилер 6-го гвардейского полка первого батальона четвертой роты:

«Сперва мы вступим в Россию, где нам придется немножко подраться, чтобы проложить себе путь дальше. Император, должно быть, уже приехал в Россию, чтобы объявить ему — тамошнему маленькому императору — войну. О! Мы живо разделаем его под белый соус! Если бы мы были одни, и то было бы достаточно. А! Отец, и как же здорово готовятся к войне. Наши старые солдаты говорят, что никогда не видали ничего подобного. И это правда, ибо ведут сильное и огромное войско, но мы не знаем, для России ли оно. Кто говорит, что пойдем в Ост-Индию, кто в Египет (Egippé); не знаешь, кому верить. Мне лично решительно все равно. Я хотел бы, чтобы мы пошли (irions) на край света». Тот же солдат пишет в другом письме: «Мы идем в Ост-Индию; она находится в тысяча трехстах лье от Парижа»[1].

Итак, Индия — этот волшебный магнит, который увлекал некогда великих искателей приключений в борьбу с морскими волнами, мерцает и пред очами наших солдат. Вдали, по ту сторону мрачной и таинственной России, им чудится страна, сияющая светом

---

[2] Неизданные документы.

[1] Эти письма сообщил нам M. Maurice Levert, который напечатал часть их в Revue de la France moderne.

и золотом, с — залитыми солнцем долинами покоя, сладостных утех и блаженства. Вот видения, которые грезятся им в их лагерях на Висле, во время спанья на сырой земле, на холодном ветру северной весны, неприглядной, как наша зима. И по утрам, когда у полковых знамен раздается с барабанным боем и звуками сигнальных рожков утренняя заря, все эти взрослые дети Галлии вскакивают с беззаботным, радостным, как песнь жаворонка, весельем. Ретиво принимаются они за дневную работу, за ученья, за подготовительные к походу занятия. Они смотрят на будущее с полной надеждой, не помышляя об опасностях. Они убеждены, что ими руководит божество, что непогрешимый вождь ведет их к победе.

XIII



ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ НЕМАН

Часть первая

ВТОРЖЕНИЕ

Наполеон в Познани. — Энтузиазм населения. — Ответ Бернадоту. — Пребывание в Торне. — Последние приготовления. — Главная забота императора: вопрос о хлебе. — План нападения. — Наполеон отправляет свои войска в поход до объявления войны. — Воинственное настроение Наполеона. — Chant du départ. — Встреча с Мюратом; сентиментальная комедия. — Опустошительный поход через восточную Пруссию и нижнюю Польшу; загромождение путей: первые беспорядки. — Манифест о войне. — Обман в последнюю минуту. — Известия из Петербурга. Отказ русского императора принять французского посланника. — Наполеон догоняет головную колонну. — Его прокламация к войскам. — Он мчится на аванпосты и подъезжает к Неману. — Он видит Россию. — Переодевание. — Разведка верхом. — Приключение. — Мрачные предчувствия. — Прибытие войск. — День 23 июня. — Ночь. — Привал при мертвой тишине. — Первые выстрелы. — Вос-

---

[1] Данные для изложения заимствованы из неизданных источников, на которые мы будем указывать по мере хода нашего рассказа, а также из громадного количества сочинений и мемуаров, оставленных современниками; главная из них после знаменитых трудов Ségura — сочинения Baudus, Berthezéne, Boulard, Bourgoing, Castellane, Chambray, Denniée, Dupuy, Fezensac, Grouchy, Gourgaud, Labaume, Marbot, Roguet, Soltyk.

ход солнца. — Волшебная картина. — Энтузиазм войск; император весел и деятелен. — Инцидент на реке Вилии. — Занятие Ковно. — Сорокавосьмичасовое дефилирование войск. — Вторжение начинается.

I

Из Дрездена Наполеон, не останавливаясь, проехал в Познань. С его вступлением на польскую землю среди поляков вспыхнул энтузиазм, который, по мере движения императора вперед, охватывал все большие районы, как будто рядом с ним шел прообраз их возродившейся родины. В Познани его встретили неистовыми, бурными возгласами «ура»; все население приветствовало его приезд и заранее праздновало его победы. Вечером на шпице кафедрального собора, сверкая огнями, загорелась огромная лавровая корона, как светящийся маяк, разбрасывала на далекое пространство лучи света и надежды. Солдаты, граждане, власти, знать, женщины — поочередно являлись приветствовать освободителя. Он приветливо принимал почести, был ласков с простым народом, строг со знатью, которую держал в ежовых рукавицах. «С 1806 г. он не сделал успехов», — сказала одна светская дама[1]. Как раз в это время он получил последнее предложение Бернадота. Герцог Бассано поспешил передать их императору, и высказал мнение, что не следует пренебрегать ими. Но Наполеон, уже целый год наблюдавший за эволюциями Бернадота, за колебаниями его политики, и в этот раз сообразил, что этот честолюбец не имел в виду быть ему преданным, а желал только оградить себя. «Пусть выступает в поход, коль скоро обе его родины предписывают ему это, — сказал он, — в противном случае пусть мне больше не говорят об этом человеке!»[2]. В последний раз встретив на своем пути бывшего имперского маршала, лицемерно забегавшего к нему с неискренним предложением сделки, он бросил ему этот ответ и прошел мимо.

Он приказал объявить в Варшаве, что желает посетить столицу герцогства, в сущности, не имея намерения выполнить свое обещание. Распространяя такой слух не только в Варшаве, но и по всему Северу, он рассчитывал наэлектризовать поляков и держать в постоянном ожидании, так сказать, начеку, расставленные в великом герцогстве французские и союзные корпуса. Главной же его целью было внушить русским, что решительное нападение произойдет со стороны Варшавы по направлению Гродненской и Волынской губерний; благодаря этому маневру, он рассчитывал отвлечь в эту сторону их внимание и силы[1]. План его был такой. В то время, когда обманутый относительно его истинных планов неприятель начнет выставлять большую часть своих войск против Варшавы и против нашего правого фланга, он передвинет свой левый фланг к северу. Направив главную часть армии вдоль побережья Балтийского моря, он перебросит ее с нижней Вислы на Кенигсберг, затем на Неман, переправится через Неман около Ковно и внезапно вступит в Литву. Его главная цель — Вильна. В этом месте он рассчитывает пробить брешь в русской армии, прорвать ее линию, разбить ее на несколько отдельных частей, разгромить одну за другой эти части и этими молниеносными ударами решить или, по меньшей мере, предрешить судьбу кампании.

Поэтому по выезде из Познани он уклоняется влево и, свернув с варшавской дороги, подъезжает к Висле у Торна. Его главная квартира и лица его свиты, что само по себе составляет почти целую армию, еще до него прибыли в Торн и внесли в город много оживления и шума. Торн — важный стратегический пункт и центр боевых сил Наполеона. Здесь он окружен со всех сторон войсками, расположившимися в местах бесчисленных стоянок. Вблизи, немного позади Торна, стоит гвардия; впереди, вправо, влево от него — всюду стоят полки его великой армии. Налево до самого моря — расставлены эшелонами занимающие оба берега нижней Вислы корпуса Нея, Удино, Даву, формирующийся корпус Макдональда; направо — в семичасовом расстоянии от Торна — стоит Евгений с итальянской армией и баварцами; он прикасается к полякам Понятовского, которые, в свою очередь, опираются на три сгруппированных около Варшавы кор-

---

[1] Souvenirs d'un officier polonais (Brandt), опубликованная бароном Ernouf'ом, стр. 230.

[2] Ernouf, 341, по личным воспоминаниям герцога Бассано.

[1] Id., 385, Corresp., 18769, 18780, 18800.

пуса под командой короля Жерома. Этот ряд армий, подкрепленный четырьмя состоящими исключительно из кавалерии корпусами, замыкается на обоих флангах прибывшими на свои места прусским и австрийским контингентами. Он тянется без перерыва на протяжении двухсот лье, выставляя против неприятеля полмиллиона штыков.

Не двигая вперед ни одной части своих войск, Наполеон обдумывает меры, которые непосредственно предшествуют началу кампании, и принимает последние предосторожности. Он придвигает резервы, доводит до полного комплекта наличный состав и предметы снаряжения; приказывает ссыпать сперва в ящики, затем из ящиков в лядунки миллионы патронов, в громадном количестве сложенных в магазинах на Висле. Его всегдашняя забота — вопрос о продовольствии; в этом вопросе он усматривает и главное затруднение, и величайшую опасность предстоящей кампании. Он приходит к следующему заключению: необходимо, чтобы у всех войск в минуту их столкновения с неприятелем было провианта на двадцать—двадцать пять дней. Для достижения установленной цифры предлагается всем корпусным командирам забрать в занятой стране все зерно и тотчас же обратить его в муку. Император неуклонно и лично наблюдает за этим делом, подгоняя своих сотрудников. В двадцати пунктах — в Плоцке, Модлине, Варшаве, по всей линии Вислы, приказывает он молоть, «усиленно молоть»[1], и добытые таким путем груды муки распределяет между корпусами, не трогая несметных запасов провианта, которые везутся вслед за армией на десятках тысяч подвод.

В начале первой недели июня эти важные приготовления были закончены или, по крайней мере, казались законченными. Сверх того, в странах, по которым нашим войскам предстояло идти к Неману, весна уже сделала свое дело. Высокая, густая, сочная трава обещала обильный запас фуража — перед нами расстилался огромный ковер лугов восточной Пруссии. Итак, настал благоприятный для начала действий час— тот час, который Наполеон назначил десять месяцев тому назад и к которому готовился с таким терпением, коварством, с такими усилиями скрыть свои приготовления. Наконец-то он достиг столь упорно преследуемой цели: русские не тронулись с места и не помешали ему довести до конца его подготовительный труд. Ему удалось собрать войско, снабдить их всем необходимым, доставить на место, доведя до изумительных размеров и высшей степени совершенства свои военные средства, которых, по его мнению, было вполне достаточно, чтобы сокрушить всевозможные препятствия. В настоящий момент он имеет преимущество перед неприятелем: он везде превосходит его и количеством сил, и выгодами стратегического положения. Теперь он может обрушиться на него со всеми своими силами. Теперь великая армия покинет стоянки и перейдет в наступление, и да свершится предназначенное Роком! Долгое время сдерживая рвение своих войск, император дает им волю. До сих пор он все затягивал; теперь со всем торопит.

Он останавливается на следующем плане действий. Корпуса левого фланга во главе с корпусом Даву должны быстро двинуться в поход и сконцентрироваться на пространстве между дельтой реки Вислы и местностью, прилегающей к Кенигсбергу, затем идти на Неман и переправиться через реку. Центр, т. е. армия Евгения, последует за этими корпусами: она пойдет в том же направлении и сольется с ними. Выдвинув таким образом левый фланг и центр, император «откажется» на время от правого фланга, оставит его на месте. Вестфальский король с тремя корпусами, поддерживая связь с австрийцами Шварценберга, останется в окрестностях Варшавы вместе с польской армией Понятовского в выжидательном и наблюдательном положении. Если стоящая перед ними армия Багратиона, заметив движение нашего левого фланга, попытается остановить его диверсией, и, произведя контратаку, нападет на Варшаву, войска Жерома встретят и задержат ее. Император предоставит ей «завязнуть там»[1], а сам тем временем переправится через Неман. Оттеснив другие русские войска и затем внезапно переменив направление, он нападет на нее с тыла или истребит ее, или захватит в плен. Если же армия Багратиона, вдохновившись иным решением, пойдет вниз по течению пограничной реки на соединение с войсками,

[1] Corresp., 18765.

[1] Corresp., 18785.

которые будут защищать переправу через реку и прикрывать Вильну, Жером, лишь только ясно обрисуется эта эволюция, должен перейти в наступление. Он перейдет Неман около Гродно, бросится вслед за Багратионом, будет преследовать его по пятам, ударит ему в тыл или во фланг, постарается замкнуть кольцо, которым император хочет охватить левый фланг русских, и, присоединясь со всеми своими силами к общему движению, окажет содействие вторжению.

Приказы корпусным командирам о выступлении в поход были отправлены начальником главного штаба принцем Невшательским; для Даву, Евгения и Жерома император прибавил от себя особые инструкции, которые вполне разоблачают его мысль[1]. Наполеон решительно обнажает шпагу, а между тем, между ним и Россией не произошло никакого нового инцидента. Со времени возвращения Нарбонна дипломатическое положение не изменилось. Император Александр еще не уведомил, признает ли он правильным безрассудный поступок князя Куракина и берет ли на себя ответственность за его декларацию о разрыве. Наполеону еще не известно, какой прием оказан был графу Лористону в Вильне; был ли его представитель принят и выслушан царем; обратил ли царь внимание на его намеки на мирное соглашение — все это бесспорное и ясное доказательство того, что целью этого шага было желание отсрочить войну, но не избегнуть ее. Наполеон идет на врага потому, что готов к войне, что считает, что все выгоды на его стороне; что он в состоянии победоносно покончить с распрей, от мирного решения которой давно отказались и он сам, и его противник. Тем не менее, делая последние распоряжения, он еще не объявляет войны. Чтобы насколько возможно дольше поддерживать в русских заблуждение насчет их безопасности, чтобы придать подготовленному нападению более удручающий характер внезапности, он до последнего момента не будет признавать официально, что состоит в разрыве с ними. Прежде чем гласно объявить о своих обидах и выпустить манифест о войне, он будет еще выжидать, пока его войска не выиграют несколько переходов, пока они вплотную не подойдут к русской границе, и так сказать, не насядут на врага.

[1] Corresp., 18766—18772.

В Торне он остается еще несколько дней, чтобы сделать смотр отправляющимся в поход войскам, посетить магазины, госпитали, улучшить организацию служб и окинуть все хозяйским взглядом. До оставления гвардией ее квартир он пожелал видеть входящие в ее состав корпуса, и с особым вниманием сделал им осмотр. Он любил эти мужественные солдатские фигуры, их железную грудь, любил этих храбрецов, которые в его присутствии горели внутренним огнем, которые недвижно стояли на параде и стремительно сокрушали все на своем пути. Их выправка и вид порадовали его. Несмотря на утомительный и тягостный путь, их лица сияли восторгом, глаза горели. Один командир артиллерии приблизился к Его Величеству и сказал: «С такими войсками, Государь, вы можете пойти на завоевание Индии»[1]. Император был, видимо, доволен комплиментом. В эти дни, сдержанный на словах, он был щедр на милости.

Он пожелал лично отдать гвардейским полкам приказ о выступлении в поход, сам отправил их в путь и присутствовал при их уходе[2]. Непрерывное прохождение войск, их сделавшиеся знаменитыми формы, несмолкаемый грохот барабанов, звуки труб, приветствия этих чудных войск; отъезд офицеров, из которых каждый имел при себе приказ, долженствующий сдвинуть с места и привести в движение огромное количество людей — все это громадное движение, совершавшееся вокруг него, по мановению его руки, оживляло его, приводило в лихорадочное состояние. Теперь, когда жребий бесповоротно брошен, он всецело отдается своим воинственным инстинктам: он опять становится только солдатом, самым великим и самим пылким, какой когда-нибудь существовал. Он мечтал только о победах, о завоеваниях. По вечерам, покончив с отправкой бесконечных приказов и немного отдохнув, он спал урывками, — император прогуливался под сводами зала старого монастыря, в котором имел пребывание, и во время ходьбы, усиливавшей быстроту и полет его фантазии, нередко приходил в восторженное состояние при мысли, что поведет в бой столько людей и подаст сигнал к переселению народов. Однажды ночью

[1] Mémories militaires du général baron Boulart, 241.
[2] Id., 240—241.

спавшие рядом с его покоем дежурные офицеры были поражены, услышав, как он громким голосом запел приуроченную к обстоятельствам песню, один из тех революционных припевов, которые так часто вели французов к победам. Он пел знаменитую строфу из Chant du départ: Et du Nord au Midi la trompette guerriére A sonné l'heure des combats. Trembles, ennemis de la France...[1]

6 июня он покинул Торн. В это время корпуса левого фланга уже снимались с мест и выступали в поход. Его нетерпение пуститься в путь было так велико, что он упредил назначенный им самим час отъезда. Так как его экипажи не были готовы, он сел на коня и верхом промчался часть перехода, предоставив своей растерявшейся от столь поспешного отъезда свите следовать за ним, кто как мог. В следующие дни, так как отправившись в легкой почтовой карете он ехал быстрее, чем шли его тяжелые колонны, он решил, что успеет, не отставая от них, посетить Данциг, оставшийся теперь в тылу нашей операционной линии, и осмотреть этот огромный склад оружия и провианта. Он рассчитал, что этот крюк займет у него приблизительно полнедели. Верный своей системе скрывать свои планы, он говорил властям Данцига и чинам штаба, что ведет переговоры и что мир возможен. Более откровенный с Раппом, комендантом крепости, он признался, что война начинается, и подстрекал его к деятельности[1].

В Данциге он застал Даву и не отдал должной справедливости этому бесподобному организатору. Затем встретился с Мюратом. Первые минуты свидания зятьев были холодны и тягостны. Оба они имели законные причины жаловаться один на другого, и с некоторых пор, не стесняясь, высказывали свои обиды. Мюрат, недовольный тем, что его не пригласили на свидание государей, неоднократно говорил, что императору доставляет удовольствие умалять и унижать его; что в нем видят только неаполитанского вице-короля; что на него смотрят, как на орудие власти и тирании, но что он сумеет избавиться от несносных требований. Наполеон упрекал Мюрата в том, что у

[1] Souvenirs d'un officier polonais, 232. И с Севера до Юга прозвучала труба, возвещая час битвы. Трепещите, враги Франции...
[2] Неизданные документы. Cf. Les Mémoires de Rapp., 169—173.

того все нагляднее проявляется наклонность к неповиновению; что своим поведением, своей речью он уклоняется от прямого пути; что втайне питает к нему злобу и заводит подозрительные шашни. Он встретил его с суровым лицом, со словами горечи; затем, круто изменив тон, он заговорил в духе оскорбленной и неоцененной дружбы. Он расстрогался, начал изливаться в жалобах; сделал неблагодарному трогательную сцену; припомнил ему их долголетнюю дружбу; говорил, что они побратались на поле брани. Король, человек с открытой душой, весьма склонный к великодушным порывам, не устоял перед таким обращением; он, в свою очередь, тоже растрогался почти до слез, забыл на время все прежнее, и Наполеон снова покорил его. Вечером того же дня в присутствии своих близких друзей Наполеон хвастался, что так превосходно сыграл комедию. Чтобы снова завладеть Мюратом, — говорил он, — он чрезвычайно кстати то выражал ему свое «неудовольствие, то играл на чувствах, ибо с этим итальянским Pantaleone[1] все это необходимо». «В сущности, — продолжал он, — это доброй души человек. Он любит меня больше своих Lazaroni. Когда он на моих глазах — он мой: но вдали от меня, как все слабохарактерные люди, он предан тем, кто ему льстит и кто близок к нему. Он подпал под влияние своей жены, женщины властолюбивой. Она и вбивает ему в голову кучу планов, кучу глупостей. Он дошел до того, что мечтает властвовать над всей Италией, что отклоняет его от мысли сделаться польским королем. А впрочем, не все ли равно! Я посажу там Жерома; я устрою Жерому чудное королевство, но для этого следует, чтобы он отличился в чем-нибудь, ибо поляки любят славу».

Дав затем более общий оборот разговору, он начал жаловаться на всех созданных им королей; называл их слабыми, хвастунишками, плохо понимающими свою роль. Говорил, что они видят только приятные стороны высокого положения и не признают его обязанностей; что они стараются подражать законным государям, а нужно постараться заставить забыть о них. К чему им блистать, зачем эта мания стремиться ввысь, страсть к роскоши, к чванству и к громадным тратам? «Мои братья не помогают мне, — с горечью повторял

[1] Полишинель (Прим. перев.).

император. — Однако, — продолжал он, — я служу им хорошим примером. — Его непрерывный труд, его строгая экономия должны бы были служить им образцом. Видали ли когда-нибудь, чтобы он ради своего удовольствия копейкой попользовался из сумм, потребных на государственные нужды и общественную пользу? Он долго говорил на эту тему и кончил разговор удивительно верными словами: «Я король народа. Я делаю затраты только для того, чтобы поощрять искусства, чтобы оставить нации славные и полезные воспоминания. Никто не скажет, что я одаряю любимцев и любовниц. Я вознаграждаю за услуги, оказанные отечеству — и только»[1]

II

Впереди императора между Данцигом и Кенигсбергом, через восточную Пруссию и северные округа Польши двигались, подолгу задерживаясь на стоянках, семь выступивших в поход корпусов армии. Помещавшийся влево от них огромный залив — Фриш-гаф, который образовало в этом месте Балтийское море, был загроможден судами, ибо наиболее тяжелые предметы, как то: материалы для наводки мостов, осадная артиллерия — шли водой. Страна, через которую проходили наши войска, была плодородна, но скучна и однообразна. На сколько хватал глаз, виднелись зеленые пустыри, вперемежку с лесом и болотами; на всем пути — огромные луга, еловые и березовые леса, реки с топкими берегами. Кое-где были разбросаны выстроенные из бревен однообразные поселки. Всюду одна и та же картина — угрюмая, бесконечная. Несмотря на приказание быстро идти вперед, войска вынуждены были делать остановки, отклоняться в сторону и иногда возвращаться назад, ибо громадный обоз, который тащила за собой армия, стеснял ее движения. Обозы с продовольствием и с предметами боевого снаряжения мешали друг другу, благодаря чему в тылу наших колонн двигался одухотворенный хаос. Чтобы в начале кампании не тратить запасов продовольствия, войска обшаривали и забирали все, что было в стране. Императору угодно было, чтобы все совершалось законным порядком, путем закупок. Солдаты не считались с этим приказанием, а просто брали. Они опустошали амбары, снимали на подстилку лошадям солому с крыш, обходились с союзной страной, как с завоеванной. Фураж забирали, не считаясь с нуждами населения и без всякой системы. Кавалерия, проходившая первой, забирала все сено и всю траву, артиллерии и обозу приходилось снимать незрелые рожь, ячмень и овес, разорять население и все-таки давать животным отвратительный корм. Вынужденные часть дня посвящать на розыски фуража, люди начали усваивать привычки и характер беспорядочных, недисциплинированных войск; с первого же момента выяснилась невозможность держать в порядке разноплеменную и разноязычную толпу; трудно было заставить повиноваться эту, напоминающую переселение народов, армию, где за каждым полком шло целое стадо животных и тянулся нескончаемый хвост подвод.

Наши союзники-немцы держались подальше от дорог и грабили беспощадно. Во многих местах происходили уже безобразия — грабились дома, истреблялся урожай, опустошались деревни; семьи оставались без крова и хлеба и ввергались в нищету. Еще не было войны, а все гнусности войны были уже налицо. В особенности отличался своими деяниями вюртембергский контингент. Он сбился с пути, бросался то вправо, то влево, путался между другими корпусами, вносил всюду опустошение, беспорядок и мешал движению, «задерживая все роды оружия»[1]. Пришлось показать пример строгости и заклеймить эту часть строгим выговором в приказе по армии. Наши французы оказались более стойкими против испытаний и соблазнов войны, но у них, среди молодых солдат, сказывались уже признаки утомления и недовольства. Они не могли понять, зачем заставляют их тащить на себе столько провианта. Лишняя ноша вызывала среди них ропот. Да и сама страна, где все бежало и пряталось при их приближении, вызывала их озлобление. Они находили, что Пруссия, а, главное, Польша — безобразны, грязны и бедны. Они плохо чувствовали себя, ночуя в неудобных помещениях, страдая от ночных холодов и утрен-

[1] Неизданные документы.

[1] Corresp., 18809.

них туманов, наступавших после удушливой дневной жары. Но по свойству своего характера — строить воздушные замки — они мирились с настоящим, рисуя себе будущее в самых радужных красках. Они жили надеждой найти по ту сторону Немана другую — лучшую почву, иной, не столь недружелюбно принимающий солдата народ, и стремились в Россию, как в обетованную землю[1].

13 июня головная колонна под командой Даву прошла Кенигсберг и подошла к Инстербургу, расположенному на полпути между столицей восточной Пруссии и Неманом. За ней шли другие корпуса, отставшие вследствие загромождения путей. В тот же день примчался из Данцига в Кенигсберг император, который желал ускорить и упорядочить движение. Он задерживает, впредь до получения сведений о положении неприятеля, движение авангарда и подгоняет остальные колонны. Чтобы вернее держать в руках свою армию, чтобы сделать неотразимым натиск этой массы, которую он вскоре бросит за границы России, он стягивает, так сказать, уплотняет ее. Теперь, готовясь дать войскам последний толчок, который перенесет их по ту сторону Немана, он приказывает составить акты, в которых торжественно и в узаконенной форме объявляется война.

Высокомерное требование России вывести войска из Пруссии до соглашения по существу спора и представленная Куракиным просьба о паспортах доставляют Наполеону вполне достаточные для этого поводы. Теперь он возбуждает вопрос о нанесенных ему обидах, которые до сих пор умышленно держал под сукном; теперь он пользуется и вооружается ими. Он поднимает брошенную ему перчатку и отвечает на вызов. Но на каком основании припишет он самому русскому правительству то поведение, которое он доселе умышленно рассматривал как личные поступки сумасбродного посланника; на каком основании примет его поступки за злоумышленное проявление враждебной воли самого правительства, даже не выслушав его объяснений? —

[1] Mémoires de Boulard, 240—241; Souvenirs d'un officier polonais, 231—234; Mes campagnes, par Pion des Loches, 279—280; Peyrusse, Memorial et Archives, 77; Souvenirs manuscrits du général Lyautey; Mémoires inedits de Sainnt-Chamans; в последних мемуарах дается особенно характерное описание этой части похода.

Россия сама косвенным путем только что помогла ему дать делу это второе толкование. Она не сделала тайны из поставленных в ультиматуме условий. Ее заграничные агенты были своевременно осведомлены о них. Они говорили о них в высокомерном и хвастливом тоне; они точно определяли их смысл и подчеркивали их значение. Печать ухватилась за эти разговоры; английские журналы воспроизвели на своих страницах требования Александра, обсуждали и одобряли их, и вся Европа узнала, что непременным условием начала переговоров царь хотел поставить освобождение Германии и удаление из нее наших войск. Огласка, данная оскорбительному требованию, подтверждала оскорбление, делая его более тяжким и невыносимым. На эту причину и должен был сослаться прибывший в главную квартиру герцог Бассано в ноте о разрыве, адресованной России и сообщенной всем европейским кабинетам[1].

Одновременно с объявлением о войне герцог подписал доклад — сочетание софизмов с истиной, в котором вкратце излагались наши отношения к России за последнее время, и произносилась против нее грозная обвинительная речь. Этот доклад предназначался сенату; его должны были прочесть в торжественном заседании, напечатать вместе с оправдательными документами в Moniteur и разъяснить в газетах. Итак, Наполеон громогласно объявляет о своих причинах к войне и делает Францию и Европу судьями своего права. В письмах, тоже предназначенных гласности, герцог Бассано в тот же день написал в одном — Куракину, что император уступает его просьбе и позволяет послать ему его паспорта; в другом — Лористону, чтобы тот потребовал свои паспорта и покинул русскую территорию.

Подписанные в Кенигсберге 16 июня документы и письма были помечены ложным числом, несколькими днями раньше, а именно 12 числом, в соответствии с этим и местом их отправления был указан Торн. Этот совершенный в последнюю минуту обман имел целью заставить думать, что император двинул свои войска по ту сторону Вислы только после того, как узнал, что русские предали оскорбительной огласке свои требова-

[1] Archives des affaires étrangères, Russie, 154.

ния и что только это новое оскорбление сломило его упорное стремление к миру и заставило его решиться объявить войну. Кроме того, способ пометить документы задним числом был выгоден тем, что, благодаря этому, для непосвященных увеличивался промежуток между объявлением войны и самой войной, благодаря чему скрывалась от публики страшная стремительность нашего наступления. Имелось в виду, чтобы русские получили наши сообщения одновременно с прибытием на их территорию императора, который явится в сопровождении всех своих войск, дабы заставить русских сознаться в своей неправоте и понести должное возмездие. Предупреждение о нападении и самые удары последуют непосредственно друг за другом.

Из Кенигсберга император спешит к своим колоннам. Из них пришедшие раньше снова со всех сторон выступают в поход, отставшие же, не останавливаясь, продолжают двигаться вперед. По мере того, как он догоняет их, он делает им осмотр. По его приказанию на улицах деревень выстраиваются перед ним полки; барабаны бьют поход, играет музыка, и эти сцены, всегда приводящие в волнение, веселят сердца солдат[1]. Таким образом, император добирается до передового корпуса Даву. Гвардия только что нагнала этот корпус и следует за ним в недалеком расстоянии. Тут он находится среди самой красивой, самой здоровой и самой стойкой части своей армии, среди бесподобных войск, которых еще не коснулся зарождающийся в других корпусах упадок дисциплины. Но служба по снабжению армии и тут оставляет желать многого, ее неисправность вносит некоторый беспорядок. Наполеон старается улучшить эту службу, довести до совершенства; эта забота неотступно преследует его. «В этой стране, — пишет он своим помощникам, — самое главное — хлеб»[2]. Чтобы теперь же обеспечить правильность распределения хлеба и сделать на будущее время обильный его запас, он увеличивает число военных пекарен. По его приказанию во многих местах устанавливаются и топятся переносные печи, в которых легионы солдат-работников пекут хлеб. Эти походные печи перемешиваются вместе с корпусами; они приходят прежде всех на места биваков, где работают целый день, а ночью горизонт на далеком пространстве светится от них заревом пожара. Император лично руководит устройством этих подвижных мастерских; он постоянно посещает их, осматривает, заботится, чтобы они всегда были снабжены всем необходимым. С этих пор он идет вместе с передовыми корпусами и, став во главе колонн, упорядочивает и ускоряет движение войск, прибавляет шагу. 17-го ночует в Инстербурге, 19-го в Гумбиннене, и расстояние до Немана сокращается с каждым днем.

[1] Notice sur la vie militaire et privée du general marquis de Caraman, содержащие его письма к жене, стр. 114.
[2] Corresp., 18818.

В Гумбиннене прибыл в главную квартиру курьер из нашего посольства в России. Он приехал прямо из Петербурга и привез известие, что император Александр, не довольствуясь тем, что выпроводил Нарбонна, отказался принять и Лористона, запретив ему приехать в Вильну. Таким образом, царь нарушил правила международной вежливости и общепризнанные права посланников и этим еще раз доказал свое желание уклониться от всякого нового обсуждения. Наполеон отметил эту выдающуюся обиду. Он затаил ее в своей душе, решив воспользоваться ею в том случае, если бы русские после начала враждебных действий захотели открыть прения и стали бы оспаривать его права оскорбленного.

21-го рано утром он приехал в Вылковишки. Отсюда до Немана оставалось приблизительно семь лье пути по лесистой, песчаной, усеянной холмами местности. В Вылковишках он остановился на несколько часов и в этом скромном местечке, в этом жалком скопище крытых соломой избушек, пока вокруг него располагались семьдесят пять тысяч человек Даву, продиктовал горячую прокламацию, в которой призывал своих солдат «ко второй польской войне»[1].

Прокламация была отправлена всем корпусным командирам с приказанием прочесть ее перед фронтом полков, когда они подойдут к Неману и будут готовиться к переправе. Он решил, что в эту торжественную минуту она произведет на их воображение более сильное впечатление и вызовет среди них пламенный энтузиазм. Остальную часть дня Наполеон употребил

[1] Corresp., 1885, по оригиналу, хранящемуся в военном архиве.

на принятие необходимых мер, чтобы на следующий день — 23-го — вся его армия подтянулась к Неману и стала позади лесистых холмов, идущих вдоль левого берега. На этой последней остановке он отдал наиподробнейшие приказания; он указал Даву, Удино, Нею и командующему гвардейской пехотой герцогу Тревизу их путь и их назначение. Движение войск должно было начаться перед рассветом и производиться быстро — так, чтобы все полки аккуратно явились к назначенному времени и заняли свое место на громадном сборном пункте. Но сам он в пылу увлечения не ждет, пока пройдет ночь, пока войска снимутся с биваков. Он решает, что в этот раз не пойдет с ними; он покидает их и выезжает вперед.

Под вечер он въехал в большой сосновый бор, окаймлявший берег реки, поужинал в доме ксендза маленькой, затерянной среди леса деревушки, и задал ксендзу ряд вопросов. «За кого молитесь вы, — спросил он,— за меня или за русских? — За Ваше Величество, — ответил тот. — Как поляк и католик, — продолжал он, — вы должны это делать». И приказал выдать ему двести наполеондоров[1]. В одиннадцать часов он снова сел в карету и отправился дальше в сопровождении Дюрока, Коленкура и Бессьера — своих обычных товарищей по путешествию и войне, оставив далеко позади себя остальную свиту, главную квартиру и экипажи. Из офицеров генерального штаба только один — адъютант графа Лобау, будущий маршал Кастельянт, мог угнаться за ними, сделав двадцать восемь лье на одной и той же лошади. Окруженный слабым конвоем, но находясь под защитой кавалерийских отрядов, которые во всех направлениях производили рекогносцировку местности, император обгоняет идущую по дороге пехоту, обгоняет головные колонны, обгоняет конные форпосты и едет прямо к Неману, горя нетерпением увидать реку и наметить место переправы.

Он отдал строгое приказание, чтобы ни одна часть французской кавалерии, ни один отряд наших войск не показывались на берегу. Только несколько офицеров, между прочими, генерал Гаксо, были посланы для производства съемки очертаний реки; но им приказано

[1] Journal de Castellane, 104.

было выполнить это поручение в строжайшей тайне — так, чтобы их не заметили. Надеясь, что русские еще не знают, что мы так близко подошли к ним, все еще думая обмануть их бдительность до момента переправы через Неман, рассчитывая неожиданно для них выполнить эту гигантскую операцию, император заботился о том, чтобы вид французского мундира не указал им преждевременно на близость опасности. «Необходимо, — сказал он, — чтобы первый пехотинец, которого видит неприятель, был понтонер»[1]. Только несколько эскадронов варшавских улан и варшавской легкой кавалерии стояли на охране на левом берегу реки; но в их присутствии не было ничего подозрительного, ибо они находились на собственной территории и уже несколько месяцев занимали эту позицию. Русские офицеры, осматривавшие из Ковно в зрительные трубы горизонт, давно привыкли видеть их.

Ночью с 22 на 23 июня, один из этих полков — 3-й полк легкой кавалерии — расположился на биваках в закрытой местности, в полутора лье от Немана, у дороги, которая идет из Вылковишек к реке, против самой Ковны. В это время, особенно на этой широте, ночи очень короткие. Темнота держится очень продолжительное время в промежутке между продолжительными сумерками и долгим рассветом, которые едва оттеняют природу своим прозрачным покровом. В два часа ночи, когда забелевшее небо предвещало уже близость рассвета, кавалеристы спали еще на земле тяжелым, непробудным сном, подле сложенных в козла пик. Вдруг раздался громкий звон бубенчиков и шум колес. Запряженный шестеркой дымящихся, покрытых потом лошадей почтовый экипаж, окруженный несколькими всадниками, останавливается на дороге. Из него быстро выходит путешественник со своим спутником; это император и Бертье. Император весь в пыли, лицо его пожелтело и осунулось от утомительного путешествия. Его тотчас же узнают и окружают. Польские офицеры, захваченные врасплох спящими, сконфуженные, суетятся около него. Выйдя из экипажа, император осматривается, наводит кое-какие справки. В нескольких стах метров впереди виднеются первые дома польской деревни Алексота, где кончается дорога; дальше — река и неприятель. Из деревни, расположенной на

[1] Corresp., 18839.

возвышенности, господствующей над Неманом, открывается вид на Ковно. На эту-то возвышенность и хочет император прежде всего пойти на разведку[1].

Но не привлекут ли внимание неприятеля его мундир, эполеты и шляпа с трехцветной кокардой, не возбудят ли они тревогу? Не нарушит ли он собственного приказания, преждевременно показав врагу француза? Ничего подобного! — говорит он. Он пойдет incognito, переодевшись. И вот в открытом поле снимает он мундир офицера гвардейских егерей и надевает снятый с польского полковника сюртук. Затем он требует подходящий к новому костюму головной убор. Ему подают уланский кивер. Он рассматривает его, примеряет, находит, что он слишком тяжел, и берет простую фуражку; заставляет переодеться и Бертье. В этом странном наряде в сопровождении группы офицеров они и направляются к деревне. Император приказывает открыть самый зажиточный дом, окна которого выходят на реку. Теперь с этого наблюдательного поста он может любоваться тяжелой массой воды, катящейся у его ног; за ней он различает правый берег и видит Россию.

В незначительном и угрюмом городе Ковно с белыми постройками католического монастыря на окраине не было видно никакого оживления, никакой жизни: он казался не то необитаемым, не то покинутым; ничто не указывало на присутствие в нем многочисленного войска, на приготовления к обороне. Вправо и влево от него тянулся песчаный, местами покрытый травою, берег, а далее виднелись сливавшиеся с горизонтом мягкие контуры пересеченной местности, пестревшей лесом и кое-где разбросанными постройками. В этой развернувшейся перед ним при слабом свете приближающегося рассвета картине Наполеон читал, как на карте. Он быстро схватил главные рельефы местности, значение и направление ее линий.

Когда он вполне вник в расстилавшийся перед ним вид, когда запечатлел его в своей памяти, он возвратился пешком в лагерь легкой кавалерии более бодрым, освежившись, как будто эта разведка успокоила его

[1] Soltyk, Napoleon en 1812, Memoires historigues sur la cenpragne de Russie, 8—10. Солтык был офицером польской кавалерии и с этого дня был причислен к императорскому генеральному штабу.

нервы. Он весело спросил, идет ли ему польский костюм. «Теперь, — прибавил он, — нужно отдать то, что нам не принадлежит», и снял свой наряд. Дорогою он закусил немного. Между тем, стали прибывать его экипажи, верховые лошади, часть его штата. Приехал принц Экмюльский; явился осведомленный о прибытии императора генерал Гаксо, который уже несколько дней находился в этих местах. Тогда Наполеон сел на коня и в сопровождении старших чинов своего штаба поехал на вторую разведку. Съехав с дороги, он повернул направо, пытаясь проехать к Неману по полю и желая видеть его выше Ковно. Он не был намерен устраивать переправу перед городом и, следовательно, атаковать русскую позицию с фронта; он хотел обойти ее и напасть с фланга. Поэтому он решил переправиться немного выше города, на несколько лье вверх по течению. В эту-то сторону он и отправился искать местности, удобной для наводки мостов.

Подъехав к цепи холмов, которые, идя вдоль реки и закрывая ее, лишают возможности ее видеть, он сошел с коня, оставил позади себя свою свиту и, взяв с собой только инженерного генерала Гаксо, начал обходить гребни холмов, тщательно скрываясь и стараясь держаться по возможности под деревьями: хотя и без этих предосторожностей слабый свет наступавшего утра делал его мало заметным для глаз неприятеля. Таким образом, он мог вблизи осмотреть реку, мог измерить глазом ее ширину и изучить изгибы и особенности ее течения. Около деревни Понямон река образует резкую кривизну, почти кольцо, выпуклая сторона которого повернута к западу и углубляется в польскую землю. В этом месте левый берег стоит выше правого, сверх того, он командует над ним, благодаря врезавшимся в кривизну, расположенным амфитеатром, холмам, которые расходятся отсюда в разные стороны. Поставленные на эти высоты батареи могли, в случае надобности, прикрыть своим огнем противоположный берег и сделать его недоступным неприятелю, обеспечив, таким образом, безопасность высадки. Кроме того, наши колонны, войдя в кольцо, могли развернуться, не боясь нападения на свои фланги; они могли опереться и левым и правым крылом на его изгибы и затем спокойно выйти из него. Наполеон решил, что переправа совершится на следующий день — 24-го, в том месте,

где как будто сама русская территория шла ему навстречу и приглашала его вступить на нее.

После секретной разведки он возвратился к тому месту, где оставил свой штаб. Снова все сели на коней, и в то время, как рассвет медленно вступал в свои права, принялись объезжать и исследовать местность позади высот. Теперь Наполеон ехал по возделанным холмам, по посевам ржи и пшеницы, по долинам и буграм. Он мысленно намечал позиции, на которых будет размещать войска по мере их прибытия, запоминал небольшие лощины, где мог бы продержать их в течение ночи скученными, незаметно для неприятельского глаза, пока понтонные команды, принявшись ночью за работу, создадут сооружения, необходимые для выполнения крайне важной операции следующего дня. Он ехал безостановочно, мчался, по своему обыкновению, во весь опор и, неутомимый телом и умом, составлял свой план и обдумывал распоряжения. Дюрок, Бертье, Коленкур, Бессьер, Даву, Гаксо — галопом следовали за ним на некотором расстоянии. Вдруг они увидели, что лошадь его шарахнулась в сторону, сам он свернулся с седла, упал и исчез из глаз.

Все бросились к месту, где упал император. Они нашли его уже на ногах. Он сам поднялся, отделавшись только ушибом бедра. Он стоял, выпрямившись, неподвижный, около дрожавшего коня. Причиной прыжка, вследствие которого занятый своими думами и, по обыкновению, небрежно сидевший на лошади всадник вылетел из седла, был проскочивший между ног лошади заяц. Подобные истории бывали с императором во время походов довольно часто. В таких случаях он обыкновенно свирепствовал, напускался на своего коня, на тех, кто ему сделал седло, на обер-шталмейстера и винил всех в своей неловкости. В этот раз он не произнес ни одного слова. Насупившись, как будто пораженный какой-то мыслью, он молча вскочил на седло, и небольшая группа всадников помчалась дальше навстречу тоскливому, пасмурному утру. Внезапный страх обуял сердца его спутников, и никто из них не мог побороть мрачного предчувствия, «ибо при столь важных обстоятельствах, накануне столь важных событий поневоле делаешься суеверным», — сказал один из спутников императора. Несколько минут спустя Бертье, ехавший рядом с Коленкуром, дотронулся до его руки и сказал:

«Лучше бы нам не переправляться через Неман; это падение — дурное предзнаменование»[1].

Наконец, император доехал до места, где решил провести день, и где, по его соображениям, он будет в центре подходивших войск. Палатки его были уже поставлены. Это были две хорошо знакомые солдатам палатки из полосатого — белого с голубым—тика: одна для него, другая для начальника штаба; перед первой прохаживался взад и вперед стоявший на карауле гренадер. Устроившись в палатке, император приказал принести карты, сведения о состоянии войск, свои рабочие принадлежности, и в то время, когда молодые офицеры его свиты устраивались на соседнем гумне, где острый и злой язык графа Нарбонна поддерживал веселое настроение, принялся диктовать приказы. Он точно определил операции предстоящей ночи: как и когда навести мосты, в каком порядке и как начать переправу в ранние часы завтрашнего дня. Он составил длинную инструкцию, достойную удивления по точности и ясности изложения. Все в ней было предусмотрено, рассчитано, предписано. Войскам оставалось только выполнить движение, порядок которого заранее был определен до мельчайших подробностей[2].

Между тем со всех сторон начали прибывать войска. Сперва пришли авангарды и штабы, затем крупной рысью подъехали и заняли возвышенности батареи полевой артиллерии: еще позднее явились главные массы — пехота, кавалерия, артиллерия. Они изливались по всем дорогам, поднимались на кручи гор и наполняли долины, уподобляясь нараставшему с неимоверной быстротой наводнению. Император смотрел на эту картину и апатично, без одушевления, без того огня, которым обыкновенно горели его глаза, отдавал необходимые приказания по размещению корпусов. «Обыкновенно веселый, полный огня в минуты, когда его войска выполняли какое-нибудь крупное дело, он весь день был очень серьезен и озабочен»[3]. Он, видимо, не

---

[1] Неизданные документы написаны одним из высших чинов штаба. Эти документы, проверенные с помощью крайне подробного труда Солтыка и мемуаров других авторов, позволили нам воспроизвести жизнь Наполеона в течение часов, предшествовавших переправе.

[2] Ordre pour le passage du Niemen, Corresp., 18857.

[3] Неизданные документы.

освободился еще от неприятного чувства и оставался под гнетом тяжелого впечатления. После падения с лошади он чувствовал себя немного разбитым, а главное, был расстроен. В воздухе стояла духота: жара раздражала нервы. Небо, покрытое тяжелыми свинцовыми тучами, сквозь которые по временам прорывались ослепительные снопы лучей палящего солнца, давило и жгло. Ища прохлады и тени, император от времени до времени скрывался в палатку. Пробыв там несколько минут, он снова выходил, садился перед палаткой на складной стул, перелистывал толстую книгу в красном переплете, в которой находились сведения о наличном составе русских войск, затем прерывал свое занятие и задумывался. Суеверный, как Цезарь, он думал о случившемся с ним происшествии. Иногда он заговаривал о нем, делая вид, что смеется над этим случаем; но смех его звучал фальшиво и быстро обрывался. Он раздражался, читая на лицах то же беспокойство, какое охватывало и его, и, несмотря на все усилия казаться невозмутимо уверенным и веселым, чувствовал, как в душе его поднималась глухая тоска.

Его тяжелое настроение усиливалось еще тем обстоятельством, что он не получал известий с неприятельского берега. Из этой мертвой страны не доносилось ни одного звука; ни малейшего движения не показывалось в ней. Только на плоском песчаном берегу блуждало несколько казаков да проезжали по временам кавалерийские патрули, проскальзывавшие между группами дерев. Но эти мимолетные видения исчезали так же быстро, как и появлялись. Где же неприятель? Что делает он? — спрашивал себя император. — Наверно, он стоит в недалеком расстоянии от реки; вероятно, он уже догадался, что мы подошли, и готовится встретить нашу атаку. Если он примет сражение, он в скором времени доставит нам победу — и Наполеон страстно мечтает о сражении и о первой победе.

Что же касается поляков на правом берегу — жителей Литвы, то, без сомнения, думал он, они ждут нас как освободителей. Они, наверно, поднимутся при нашем приближении, бросятся нам навстречу и проложат нам путь. Наполеон ждет от них какого-нибудь дружественного знака и, не получая, старается вызвать его. Он оказывает особое внимание всему польскому. Утром этого дня он назначил в свою свиту несколько польских офицеров, рассчитывая воспользоваться ими, как посредниками для сношений с их соотечественниками по ту сторону реки, и удивляется, что до сих пор ни один из поляков русской Польши не является к нему. Кончилось тем, что ему привели трех литовцев, случайно найденных на левом берегу. Это были бедняки крепостные, отвратительного вида, с тупыми лицами. Наполеон приказал спросить их: знают ли они, что крестьянам великого герцогства уже дарована свобода? Надеются ли они на подобное же благодеяние? Страдают ли они от русских порядков? Желают ли избавиться от них? Так как они медлили с ответом, то император, обращаясь к переводчикам, резко сказал: «Спросите их, польское ли у них сердце?»[1]. И, чтобы они лучше его поняли, присоединил к словам жест, положив руку на сердце. Изумленные, словно окаменевшие, крестьяне, не говоря ни слова, с тупым видом продолжали глядеть на него. Ничего не добившись от них, он отпустил их с милостивыми словами.

Чтобы иметь сведения о том, что происходит по ту сторону реки, были пущены в ход все общепринятые меры предосторожности; была выпущена целая туча шпионов; но ни один из них не возвращался, не показывался в главной квартире. Даву ворчал и жаловался, что ничего не знает. По опросе остальных корпусных командиров оказалось, что и они не имеют никаких сведений, что ни один шпион не вернулся. Видели только одного мариенпольского жида, прибывшего из литовских губерний, который проскользнул через неприятельскую линию. Он рассказал, что русские всюду снимают аванпосты, что войска уходят из Литвы, что заметно громадное отступательное движение. При этом известии император нахмурил брови; но поспешил сказать, что, вероятно, неприятель сосредоточивается около Вильны, чтобы дать сражение впереди нее. Он не допускал, чтобы дела обстояли иначе; он горячо отрицал возможность отступления на неопределенное расстояние и не терпел, чтобы об этом говорили, хотя это предположение начало озабочивать его.

Под вечер он потребовал к себе Коленкура и, желая поговорить с ним, пригласил в свою палатку. Раз-

---

[1] Soltyk, 16.

говор начался с намеков на утреннее происшествие. Император спросил, вызвало ли оно тревогу в главной квартире, говорят ли еще о нем, Затем он долго расспрашивал бывшего посланника в Россию о стране, о состоянии дорог, о способах сообщения, о жителях. «Обладают ли крестьяне энергией? — спросил он. — Способны ли они подчиняться, подобно испанцам, способны ли на партизанскую войну? Думаете ли вы, что русские без боя отдадут Вильну?» Видимо, он страшно хотел этого сражения, и просил герцога откровенно высказать свое мнение относительно плана отступления, приписываемого неприятелю. Коленкур ответил, что он лично не верит в возможность правильных сражений. «В России земли настолько много, что они могут уступить нам большое ее количество»; они, вероятно, постараются заманить нас внутрь страны; постараются разъединить наши силы и отдалить нас от наших средств. — «Тогда Польша моя! — сказал император, возвысив голос. — Какой позор для Александра, какой неизгладимый позор потерять ее без сражения! Это значит опозорить себя в глазах поляков». Он продолжал говорить с возрастающим оживлением, употреблял оскорбительные выражения, как будто обращался к самому императору Александру, как будто, задев его за живое своими оскорблениями, хотел вывести его из бездействия, бросить ему вызов, заставить его вступить в бой.

Он добавил, что отступление не спасет русских; что он нападет на них с быстротой молнии; что, наверное, захватит их артиллерию и обозы, а по всей вероятности, и целые корпуса; что за Вильной, где он, вероятно, прорвет их линию и разъединит их силы, он будет в состоянии обойти и окружить, по крайней мере, одну из их армий. Он сказал, что постарается поскорее прибыть в Вильну, чтобы приступить к выполнению этих разрушительных планов; он высчитывал, во сколько часов его войска дойдут до города, «как будто дело шло о том, чтобы идти в караул». — До истечения двух месяцев, — сказал он в виде заключения, — Александр будет просить меня о мире: крупные помещики принудят его к этому».

Он с увлечением заговорил о своих надеждах: забрасывал Коленкура вопросами; но ответы на них начинал сам, очевидно, рассчитывая на то, что его собеседник будет продолжать и развивать их в его духе. Он старался вырвать у него, хотя бы невзначай, какую-нибудь одобрительную фразу, какое-нибудь слово сочувствия, которое поддержало бы в нем веру, которое, вопреки начинавшей выясняться действительности, позволило бы ему предаваться иллюзиям и служило бы оправданием его мечтам. Но герцог Виченцы молчал: он словно окаменел в своем мрачном прямодушии, в своем честном упорстве — ничего не говорить против совести. Раздраженный таким молчаливым противоречием, император настоял, чтобы герцог заговорил и объяснился. Тогда ему пришлось выслушать повторение того, что разоблачил сам Александр, т. е. какой план обороны изложил он, а именно: что русский государь постарается избегать вступать в открытый бой с противником, гениальность которого ему известна; что он начнет длительную и упорную войну; последует примеру испанцев, которые часто были биты, но никогда не покорились; что «он скорее отступит в Камчатку, чем уступит провинции и подпишет непрочный мир». В этот раз Наполеон выслушал эти зловещие слова, которые уже слышал от Коленкура, с большим вниманием, с громадным терпением, как будто они глубже поразили его ум. Затем, ничего не ответив, прекратил разговор.

III

Время шло к вечеру, и с каждым часом приближался момент, назначенный для подготовительных работ к переправе. До наступления ночи император еще раз сел на коня и объехал лагери. Места, еще утром пустынные и мертвые, почернели от войск, кишели людьми. Он приказал перенести свои палатки ближе к Неману, и в то время, как его первые приказания приводились в точности в исполнение, предался кратковременному отдыху.

С восьми часов вечера, подкрепившись горячей пищей, войска Даву начали занимать высоты. Они построились в шестнадцать линий по числу полков; каждый полковник стоял во главе 1-го батальона, перед знаменем; генералы — в центре своих бригад или дивизий. Эта шедшая впереди других авангардная армия

без шума, не зажигая огней, заняла назначенную ей за ночь позицию, застыла на месте, как бы прижалась к земле и ждала только момента, чтобы разом подняться, подойти к Неману и начать вторжение. Слева от нее выравнивались по обеим сторонам деревни Алексота кавалерийские дивизии Мюрата. Впереди 1-го корпуса инженерные саперы и гвардейские моряки под начальством генерала Эбле начали спускать к реке материалы для устройства переправы. Наступившие сумерки скрывали их от глаз. С наступлением ночи триста стрелков 13-го армейского полка переехали на лодках реку и вышли на противоположном берегу; они нашли его незанятым; после них с соблюдением величайшей тишины были спущены на воду понтонные мосты.

В полночь переправа была готова. По ту сторону реки продолжали двигаться вперед стрелки, которых вскоре нагнало несколько отрядов легкой пехоты и поляков. Перед ними расстилался лес; осмотрев его опушку, они вошли в него. Из чащи леса донеслись до них лошадиный топот и лязг оружия. Они поняли, что вблизи их находится незримый неприятель, что он следит за ними: то тут, то там высовывались пики; виднелись мчавшиеся галопом казаки и даже русские гусары, которых в ночной темноте можно было отличить по их длинным белым султанам. Вдруг раздался оклик: «Кто идет!»... — «Франция!» — ответили наши. Голос, принадлежавший русскому офицеру, продолжал по-французски: «Что вам здесь нужно?» — «F... это вы сейчас увидите!»[1] — ответили наши. Опустив карабины, они дали залп, но неприятель успел уже исчезнуть; они стреляли по призраку. По выходе из леса они добрались до лежавшей в кольце реки деревни, которую император приказал занять, укрепить перекопами, баррикадами и превратить в редут. При входе в деревню наши солдаты услышали шум быстрого галопа. Они увидали удиравших казаков, из которых некоторые, повернувшись на седле, открыли по нашим огонь. Одновременно в нескольких местах глухо раздались в ночной тиши одиночные выстрелы, заставившие вздрогнуть отдыхавшего в палатке императора: они рассердили его, ибо он желал, чтобы ни малейший шум не выдал до

[1] Soltyk, 21.

утра его таинственных операций. Итак, первые выстрелы великой войны были сделаны.

Короткая двухчасовая ночь прошла. Мосты были наведены, и входящая в состав 1-го корпуса дивизия Морана проскользнула на ту сторону реки на поддержку и подкрепление аванпостов. В час с четвертью небо стало светлеть. Мало-помалу темнота спустилась с холмов левого берега, где неясно стали обрисовываться копошившиеся войска. Расстилавшийся над долиной ночной покров стал медленно таять. Внезапно появившееся на горизонте солнце зажглось и начало подниматься на безоблачном небе. Его лучи, достигнув земли, побежали по фронту рядов наших войск и заиграли на штыках, пиках, саблях, касках и кирасах. Все осветилось, все обозначилось, и перед взорами предстала величественная, законченная, как по общему замыслу, так и в мельчайших деталях, картина. На широкой водной пелене, изрытой островами, стоят три наведенных моста; на противоположном берегу, загораживая своими черными рядами вход в кольцо, стоит развернутая в боевом порядке дивизия Морана; на откосе близ мостов занимает позицию артиллерийский резерв 1-го корпуса с направленными на север орудиями; на высоком берегу равняются в линию другие батареи; галопом несутся офицеры и эскадроны польской кавалерии с колышащимися над головами, переливающимися разноцветными огнями пиками; наконец, на расположенных амфитеатром холмах развертывается и двигается в путь громадное количество войск. Двести тысяч человек снимаются с мест и идут в полном порядке, не торопясь, ровным и бодрым шагом. Всюду картины точно рассчитанной деятельности и дисциплинированной силы, зрелище строго обдуманного и методического вторжения в момент его грозного и быстрого движения. Армия первой линии, вся целиком, с бесчисленными штабами, стоит в парадных боевых формах, в мундирах всех цветов, с длинными рядами красных султанов, с горящими на солнце орлами, с знаменитыми знаменами, покрытыми славными надписями. На этот день армия освобождена от тяжелого обоза. Она легка и подвижна; она полна энергии и одушевления! пропитана преданностью и самопожертвованием. Прежние горести, уныние, лишения и страдания длинных переходов, все это уже забытый сон. Радостное утро рассеяло этот густой туман; оно раскрыло сердца и на-

полняет их волшебными надеждами. Колонны спускаются с вершин и занимают склоны, в которых вымыты три главных лощины; по ним блестящей сталью лавой спускаются войска: не смешиваясь, они сходятся вплотную у места переправы; втягиваются на мостах длинными узкими лентами, затем снова расширяются, восстановляют прежние дистанции — затем медленно разливаются по русской земле.

Войска Даву переправились ранним утром. Сперва пехотные дивизии с батареями конной артиллерии и бригадами легкой кавалерии без обозов и экипажей; только железо, люди и лошади. Император разрешил проехать только одному экипажу — с вещами — принца Экмюльского. Но вскоре мосты задрожали и заскрипели под тяжелыми массами. С грохотом прошли дивизии тяжелой кавалерии и кирасиры — воины-гиганты с римскими гребнями и развевающимися конскими хвостами на касках. После 1-го корпуса пошла гвардия, ее молодые и старые полки, блестевшие золотом, украшенные шнурами и нашивками — цвет и краса армии. Тут энтузиазм — безграничен. Во время похода в ее рядах и в штабах постоянно были веселые мысли, говорили только о победах. Один гвардейский майор сказал, что войско будет праздновать день 15 августа в Петербурге, и эта острота имела успех. Хотя приподнятое настроение и не разделяется всеми, хотя несколько недовольных — кое-кто из офицеров специальных родов оружия — указывают на трудности предприятия и сомневаются в успехе кампании, однако, эти грустные нотки затериваются среди всеобщего ликования и восторга. Всех этих людей воодушевляет, главным образом, сознание, что они на глазах и в руках привыкшего к победам вождя; их воодушевляет чувство, что он около них, с ними; что он окружает их своим присутствием, ибо до них со всех сторон — с вершин холмов, с реки — доносится «ура!», указывающее на его прибытие; в разных местах они поминутно видят родной им силуэт человека, руководящего предприятием.

С трех часов утра он уже на лошади, лично наблюдает за всем и всюду вносит жизнь. Чтобы он мог с большими удобствами присутствовать при проходе войск, гвардейские артиллеристы приготовили для него на дороге к мостам незатейливый трон из ветвей и

дерна, с балдахином из зелени. Но он недолго пробыл на этом парадном посту. Ему не сиделось на месте: он жаждал деятельности. На рассвете он был уже на враждебном берегу. Когда проходили 9-й уланский и 7-й гусарский полки, офицеры и солдаты узнали в фигуре, стоящей на площадке на другом конце моста, императора. Опьяненный развертывавшейся перед его взорами величественной картиной, охваченный сознанием своего всемогущества, не сомневаясь в своем счастье, он вернул себе прежнюю уверенность, хорошее расположение духа и веселое настроение. Играя хлыстиком, он вполголоса напевал песенку Marlborough s'en va-t-en guerre. «Эта подходящая к случаю и в то время рассмешившая нас песня вполне оправдалась на деле» , — пишет командир Дюпюи[1].

Вскоре император проехал за реку и нагнал переправившиеся дивизии. Бодрый, всецело отдаваясь своему делу, он галопом носился между ними и указывал каждой ее дорогу и направление. На протяжении двух с половиной лье он сопровождал движение авангарда, иногда останавливаясь, чтобы расспросить изредка встречавшихся жителей страны; но сообщаемые ими сведения не имели определенного характера. Из донесений вернувшихся шпионов он узнал, что неприятель выставил против него только завесу из кавалерийских частей. Итак, в течение дня он не будет иметь дела с серьезным сопротивлением. Действительно, наши войска беспрепятственно подвигались вперед, гоня перед собой несколько отрядов казаков, которые, рассеиваясь при их приближении, уносились, как вспугнутая стая птиц. Ковна была занята без боя, и армия, развернувшись по обеим сторонам дороги, идущей в Вильну, могла спокойно расположиться около города и заняться усиленными разведками по всем направлениям.

Слева тотчас же натолкнулись на вторую реку — Вилию, которая, пройдя через Вильну и длинным обходом приблизившись к Неману, вливается в него ниже Ковны. Необходимо было переправиться через этот приток и узнать, что происходит за ним, дабы избегнуть неожиданного нападения неприятеля на наш фланг в то время, когда главные силы армии пойдут на Вильну. 13-му полку армейской пехоты поручено было най-

[1] Souvenirs militaires, 166.

ти в присутствии самого императора брод. Так как поиски продолжались довольно долго, то командовавший полком полковник Гюгенек, потеряв терпение, вызвал охотников переплыть реку и произвести рекогносцировку противоположного берега. На этот вызов выступили из рядов триста солдат и горячо взялись за выполнение опасного дела. Их удача родит зависть; смелость делается заразительной. На берегу Вилии стояло несколько французских и польских кавалеристов. Присутствие императора вызывает в них желание отличиться, кружит им головы, доводит до безумной отваги; еще несколько минут — и все всадники с лошадьми, оружием, в полной аммуниции бросаются в воду, стараясь добраться до правого берега. Быстрое, стремительное течение увлекает и крутит их. Многие из этих несчастных с трудом борются с бурным потоком; скоро они выбиваются из сил, предаются на волю Божию, и, наконец, потеряв всякую надежду на спасение, но с сознанием исполненного долга, кричат в последний раз: «Да здравствует император!» и погружаются в пучину. При виде этого несчастья полковник Гюгенек поддается велениям своего мужественного сердца. Не снимая блестящего мундира, он дает шпоры коню, направляет его в реку и бросается на помощь всадникам. Ему посчастливилось схватить одного из них и с торжеством доставить на крутой берег. Однако его подвиг не заслуживает одобрения. Император встречает его холодно. Он находит, что его поступок, достойный похвалы в частном человеке, не достоин стоящего перед неприятелем начальника части, который имеет право жертвовать своей жизнью только ради родины. Озаботившись лично о мерах к спасению кавалеристов, из которых погиб только один, он осыпал упреками полковника за его доблестный и человеколюбивый порыв, называя его напрасной тратой геройства[1].

Отдав приказание перебросить мост через Вилию и переправить на ту сторону дивизию Леграна с несколькими кавалерийскими полками для выслеживания и наблюдения за неприятельскими отрядами, замеченными в этом направлении, он кончает день в Ковне, остановившись в монастыре, в гостях у монахов. Отсюда он торопит с подвозом провианта, устраивает разведочную службу, увеличивает меры предосторожности для обеспечения левого крыла, ускоряет общее движение и переправу войск, которые по трем мостам непрерывно идут с левого берега до Немана.

[1] Читатель видит, в чем заключался этот случай, раздутый и искаженный Толстым.

В этом месте вторжение идет безостановочно, нескончаемо, корпус за корпусом. После семидесяти пяти тысяч Даву, после двадцати тысяч кавалеристов Мюрата, после гвардии идут двадцать тысяч солдат Удино — третий корпус в полном составе. На смену этих масс прибывают другие. Сперва три дивизии Нея. Идя из более отдаленных мест, они усиленными переходами догоняют армию. После них подходят еще войска — новые авангарды, новые штабы, новые плотно сомкнутые ряды колонн. Всюду пестрота мундиров и необычайное разнообразие народностей. Легкая конница баварцев и саксонцев смешалась с нашими кирасирами; поляки распределены по всем кавалерийским корпусам; бригады Гессена и Бадена представляют Германию в составе императорской гвардии; затем развернутый в бригаду голландский полк, пополненный корсиканскими, флорентийскими и римскими рекрутами, вюртембержская пехота, замкнутая между двумя французскими дивизиями. Несмотря на стечение народов и на загромождение местности, операция продолжается в том же порядке, с тем же рвением. Между тем, вслед за великолепным утром, за благодетельной утренней прохладой наступила убийственная жара. Небо начало заволакиваться; по потемневшему горизонту пошли гулять багровые отблески, засверкала молния. Вскоре разразилась гроза, и ураган с проливным дождем обрушился на наши батальоны. Они встретили его, не дрогнув. «Эта бесполезная ярость неба против земли»[1] представляла чудную картину, — пишет в своих воспоминаниях один гвардейский офицер, фанатичный поклонник императора. Впрочем, гроза скоро прошла; первое испытание было непродолжительно. Переправа ни на минуту не была прервана, и войска всех родов оружия без остановки проходили по прочно наведенным мостам. Она продолжалась в течение сорока восьми часов, 24-е и 25-е, день и ночь. 26-го пришли к реке кирасиры и драгуны Гру-

[1] Boulart, 212.

ши, которыми и завершился весь наличный состав войск, переведенный самим императором на правый берег[1].

При вступлении на неприятельскую землю каждый корпус получал свое направление и шел к указанному ему более или менее далекому посту. Начались усиленные, трудные, установленные по воле императора переходы при такой удушливой влажной жаре, которая заставляла наших ветеранов жалеть о знойной Испании. Иногда, чтобы забыть о своей усталости, войска принимались петь. Полковой запевала начинал какую-нибудь народную песню, какой-нибудь популярный куплет, а пехотинцы хором подхватывали припев, ритм которого подбадривал их и облегчал движение. Старинные песни наших провинций — бретонские, провансальские, пикардийские, нормандские, то грустные, то веселые, то восторженные, то заунывные, служили нашим ссыльным солдатам как бы вестью с родины, как бы воспоминанием о семейном очаге, и неслись вместе с ними в эти далекие края, где никогда не видали людей с Запада. Эти люди покорно двигались вперед; они доверчиво шли на Север, к неизвестному будущему, и с удивлением присматривались и к почве, столь не похожей на наши веселые поля, и к бесплодной, немой, холмистой и все-таки однообразной местности, где точь-в-точь повторялись одни и те же рельефы, где с неизменным однообразием следовали одна за другой все те же картины; они с удивлением смотрели на страну, которой нет конца и где все так похоже одно на другое. Люди шли то по топкой грязи, то по пыльным дорогам, проходили по унылым березовым и буковым лесам, карабкались по песчаным холмам. Начался поход, продолжительность которого не поддавалась никакому определению; Россия засасывала наши колонны в свои бездонные пучины.

[1] Corresp., 18863.

Часть вторая

ПРИБЫТИЕ В ВИЛЬНУ ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Военный совет Александра. — Разноголосица. — Поездки по окрестностям Вильны. — Влияние Александра на женщин. — Праздник 24 июня; дурное предзнаменование. — Известие о вторжении неприятеля приходит к царю во время бала; невозмутимое спокойствие Александра. — Рок и Промысел Божий. — Инстинктивное отступление. — Миссия Балашова. — Предложение примирения in extremis; причины и истинная цель этого шага. — Балашов на аванпостах. — Встреча с неаполитанским королем. — Прием Даву. — Наполеон хочет принять русского посла только на другой день после победы. — Он узнает об отступлении русских. — Его разочарование. — Он ускоренным маршем отправляет свою армию на Вильну. — Первые признаки разложения армии. — Вступление Наполеона в Вильну; ледяной прием; пожар магазинов. — Запоздалые, принудительные овации. — Император упорно хватается за надежду отрезать и захватить в плен часть русских войск. — Непрерывные грозы; стихии ополчаются против нас. — Жертвы грозы. — Неприятель ускользает и испаряется. — Неоправдавшаяся радость. — Колонна Дорохова в большой опасности: ее исчезновение. — Неудачное начало кампании. — Холодное отношение литовцев. — Наполеон решает принять Балашова. — Продолжительный и достопримечательный разговор с Балашовым. Жесткие речи. — Цель императора — заставить Александра дрожать за свою личную безопасность и довести его до быстрой сдачи. — Балашов за императорским столом. — Знаменитые ответы. — Оскорбительные слова Наполеона Коленкуру; решительный отпор. — Отъезд Балашова. — Протест Коленкура; просьба об отставке. — Терпение императора: каким образом прекращает он сцену. — Окончательное прекращение всяких отношений между императорами. — Война наступает непосредственно за разрывом.

I

В тот день, когда Наполеон во главе двухсот тысяч человек переходил Неман, граф Растопчин, назначенный губернатором Москвы, писал царю: «У вашего государства два могучих защитника — пространство и климат. Русский император грозен в Москве, страшен в Казани, непобедим в Тобольске»[1].

Не все лица, входившие в состав военного совета Александра, держались такого мнения. В недели, непосредственно предшествовавшие вторжению, имели место горячие споры. Сторонники нападения ожесточенно, яростно отстаивали свои идеи. Другие советники настаивали, чтобы, по крайней мере, перед Вильной дано было сражение, чтобы Польша не была уступлена без боя. Почти все осуждали официально принятый план Фуля, но никто не мог сказать положительно, чем его заменить. Заседания совета лихорадочно следовали одно за другим, не приводя ни к каким результатам. В дело вмешались интриги; Армфельт бесновался, «из кожи лез»[2]. Он называл Фуля злосчастным человеком, исчадием ада; говорил, что проклятый немец, обезьянничающий с Веллингтона, был помесью «рака с зайцем»[3]. Вольцоген — тень и отражение Фуля — в свою счередь, называл Армфельта «интриганом, пользующимся дурной славой»[4]; Паулуччи критиковал все вкривь и вкось; Беннигсен поминутно менял мнения и противоречия самому себе; главный интендант Канкрин считался образцом бездарности; умевший хорошо сражаться, но плохо говоривший Баркалай мог бы сказать много замечательного, но ему не удалось ничего высказать. Старик Румянцев, едва оправившийся от апоплексического удара, с сокрушительным сердцем, с искривленным гемиплегией ртом, гримасничая, присутствовал при крушении своей системы, своих надежд на мир[5].

Постоянный прилив иностранцев, стекавшихся со всех сторон в главную квартиру, усиливал и без того невообразимые беспорядок и смятение этой Вавилонской башни. Один за другим явились прусский ех-министр Штейн, швед Таваст, английский агент Бентинк; все они вмешивались в прения и усиливали разлад. Армия была прекрасная, хорошо налаженная; администрация — разнуздана; командный состав ненадежен, не дружен, плохо осведомлен о намерениях и силах противника. Как будто война, предусмотренная, предрешенная восемнадцать месяцев тому назад, застала врасплох весь штаб. Что же касается императора, то, не видя в плане Фуля какого-нибудь чуда, он все-таки остановился на нем, ибо нужно же было иметь какой-нибудь план, тем более, что для замены его не было найдено лучшего. Собственно говоря, царь надеялся победить независимо от талантов и операций своих генералов. Он основывал свои надежды на силе своей воли, на решении сопротивляться без конца, упорно, до последней крайности; на том, что борьба будет в стране, которая как бы самой природой была создана и приспособлена для бесконечного сопротивления.

После дня, проведенного среди вздорных интриг и вечно спорящих советников, он посещал по вечерам соседние замки, где приводил в восторг хозяев своей знаменитой любезностью, своей чарующей простотой, своим полными обаяния разговорами, в которых его живой и тонкий ум светился нежным блеском. Он был любезен со всеми, внимателен к старикам и женщинам. После обеда он просил дам сесть за фортепьяно, внимательно слушал их любимые романсы и любезно переворачивал страницы нот. Он любил ездить по деревням, где охотно присаживался у домашнего очага простолюдинов, и вызывал их на разговоры, разоблачая себя только при отъезде каким-нибудь щедрым подарком, какой-нибудь милостью, которые делали людей счастливыми. В этом внимании к своим литовским подданным, в этой отеческой заботливости он видел средство сделать их глухими к предложениям грабителя[1].

В Вильне он часто приглашал знать; привлекал к себе женщин, окружал их утонченной любезностью и, действуя на их тщеславие, отличая своим вниманием то ту, то другую обольстительную красавицу, поддерживал среди них соперничество и соревнование в искусстве нравиться ему. Близость военных действий не ос-

---

[1] Schildner, 245.
[2] Tegner, III 397.
[3] Id., 396.
[4] Id., 394.
[5] Tegner, III, 390—397; Shildner, 246—247. Бюллетени, посланные Лористоном с его последними депешами, май 1812 г.

[1] Mémoires la comtesse de choiseul-Gouffier, 55—77.

тановила в кругах, близких к императору, пышной и полной удовольствий жизни, считавшейся в те времена необходимым спутником двора, при каких бы условиях он ни находился. Блестящие собрания, приемы следовали одни за другими. На 24 июня гарнизонные и штабные офицеры получили разрешение устроить в честь Его Величества загородный бал. На этот праздник, который должен был начаться днем и продолжаться до глубокой ночи, имелось в виду пригласить все высшее общество города и окрестностей. Местом для бала было избрано поместье графини Беннигсен Закреты, которое она предоставила на этот случай офицерству. Закреты были летним местопребыванием в польском духе, т. е. простой архитектуры дом, вокруг которого был разбит великолепный парк. Не было упущено ничего, что могло придать красоту природе. Тут были убранные цветами террасы, изумрудные лужайки с проточной водой, насыпной остров, искусственный водопад, с большим художественным вкусом сделанные просеки, через которые открывался вид на окрестные поля и на покрытые свежей зеленью холмы. Какая чудная обстановка для нарядного летнего собрания! На газоне против виллы соорудили бальную залу с галереями. За два дня до праздника на ней рухнула крыша, и все содрогнулись при мысли, что подобный инцидент — случись он двумя днями позднее — превратился бы в катастрофу. Некоторые увидали в этом зловещее предзнаменование. «Мы покончим с ним наши счеты танцами под открытым небом»[1], — спокойно сказал Александр.

И, действительно, бал начался на лугу между рощами, в которых были спрятаны оркестры и хоры; под вечер перешли в апартаменты, и длинный ряд пар, принимавших участие в полонезе — национальном польском танце, пройдя по саду в такт музыке, поднялся по лестнице и, извиваясь длинной лентой, обошел галереи. Император Александр приехал рано. С его появлением всюду явились красота и оживление. Вдруг в разгаре вечера к нему подошел министр полиции, генерал Балашов, и с страшным волнением в голосе прошептал ему на ухо несколько слов: присланный из Ковно гонец привез донесение, что французы громадными массами переправляются через реку и что началось вторжение[1].

[1] Schildher, 217.

При этом известии Александр не растерялся и проявил полное самообладание; на его лице не дрогнул ни один мускул. Чтобы не расстраивать собрания, он приказал Балашову в тайне держать это известие, а сам так же любезно и приветливо продолжал переходить от одной группы к другой. Он восторгался ночным праздником, освещением рощ, игрой света на водопаде и, обратив внимание на луну, которая, сияя на небе, вливала свои бледные лучи в сияние расставленных по земле огней, назвал ее «самой красивой частью аллюминации»[2]. Пробыв еще около часа, он удалился. Тотчас же по его отъезде среди присутствующих распространилась ужасная весть; ураган ужаса пронесся над праздником и разогнал общество.

По возвращении в Вильну Александр провел за работой остаток ночи. Отправив в Петербург основу дипломатической ноты, которая должна была служить ответом на французский манифест и опровергнуть его по всем пунктам, он в благородных и полных достоинства выражениях составил дневной приказ по армиям. В воззвании к войскам Наполеон сказал: «Россия увлечена злым роком; да свершится предназначенное ей». Против слепого божества, которое призывал его соперник, Александр указал на Промысел Божий. «На нападающего Бог»[3], — сказал он.

Генеральный штаб, находящийся при его квартире, принимал необходимые меры для выполнения знаменитого плана. Было решено, что главная армия Барклая отступит от Вильны на Свенцяны, затем на Дриссу, а Багратион во главе второй армии бросится на фланг французов, тщательно избегая вступать в бой с превосходящими его силами. Спустя некоторое время, когда были получены более точные сведения о численном превосходстве французов, Багратиону было приказано отступить и, когда будет возможно, присоединиться к главной армии[4]. Изложенные на бумаге кабинетные правила тотчас же уступили место внутреннему чувству, которое подсказывало, что спасение и победа не в соб-

[1] Bogdanovitch, I, 113.
[2] Mémoires de la comtesse de choiseul-Couffier, 90.
[3] Bogdanovitch, I, 113.
[4] Bogdanovitch, I. 113 ef suiv.

ственных силах, а в необъятности пространств, и которое заставило все корпуса отступать и сплачиваться в одну массу. Счастье русских, что в эту кампанию они подчинились не плану, а инстинкту.

27 июня Александр собирался покинуть Вильну. Но предварительно он приступил к выполнению одной чрезвычайно важной формальности, которая должна была оправдать его, если не перед его совестью, то, по крайней мере, в глазах общественого мнения. 26-го он приказал позвать Балашова, который, исполняя должность министра полиции, в то же время состоял в числе его флигель-адъютантов и, обращаясь к нему на «ты», что часто употребляется русскими государями в разговорах с подданными, сказал ему: «Ты,конечно, не знаешь, зачем я позвал тебя, — я хочу послать тебя к императору Наполеону»[1]. Затем он объяснил ему, что его миссия будет состоять в том, чтобы отвезти последнее предложение о переговорах о мире.

Конечно, у Александра не было ни надежды, ни желания остановить войну. Он знал, что вопрос о войне был решен столь же бесповоротно его противником, как и им самим. В расточаемых ему Наполеоном предложениях о примирении ему не трудно было разгадать: простую хитрость, которая имела задачей обмануть и парализовать Россию на то время, пока завоеватель подготовлял свои средства. Правда, если принять во внимание только показную сторону дела, то Наполеон несколько раз обращался к России с предложениями о примирении, на которые не получал ответа. Эти настойчивые усилия были истолкованы европейской публикой в пользу и в оправдание французского императора; из них сделали вывод, что, раз Россия систематически отказывается от последних шансов на мир, значит она желает войны. Чтобы рассеять это впечатление, Александру необходимо было не оставаться в долгу и ответить такими же благовидными попытками, восстановить в этом отношении равновесие и даже склонить

[1] Эти слова приведены Балашовым в его чрезвычайно подробном собственноручном докладе о своей миссии. Тьер был знаком с этим документом; Богданович пользовался им; он был почти целиком напечатан в Recueil de l'Académie des sciences de Saint-Pétesrbourg, 1882. Татищев поместил крайне важные выдержки из него в своем сочинении об Александре I и Наполеоне, 590—609.

весы на свою сторону. Наполеон отправил к нему флигель-адъютанта Нарбонна и он с своей стороны решил отправить флигель-адъютанта. В своем письме Наполеон выразил желание, прежде чем прибегнуть к оружию, исчерпать все пути к примирению. Не дав тогда ответа, Александр хочет составить его теперь в подобном же духе. В дни, предшествовавшие переправе через Неман, он подготовил проект письма к Наполеону. Он тоже сделал предложение вести переговоры, беря за исходную точку ультиматум, и, обнаруживая, наконец, свою затаенную мысль, прибавил, «что намерен открыть свои гавани судам всех наций, если Наполеон будет затягивать теперешнее неопределенное положение»[1]. Это значило под личиной желания мира сделать его совершенно невозможным. Так как теперь это письмо уже не годилось, Александр заменил его другим, которое и решил доверить Балашову. Во втором письме он порицал Куракина за просьбу о паспортах, которая послужила предлогом для нападения. «Если вы, Ваше Величество, — говорил он, — не намерены проливать кровь ваших подданных из-за подобного недоразумения и если согласны удалить ваши войска с русской территории, я сочту все, что произошло, не имевшим места, и примирение между нами всегда возможно»[2].

Подобный шаг со стороны Александра, который должен был получить самую широкую огласку, покажется тем более достойным похвалы, что был сделан в ту минуту, когда его территория была уже нарушена, когда нападающие нахлынули на его границы. Заговорив о мире после того, как ему было нанесено грубое оскорбление — можно ли лучше показать искренность своих намерений, желание щадить человечество и избегнуть пролития крови? Превосходно изучив своего соперника, он не боялся, что тот поймает его на слове, а, между тем, облекаясь в тогу умеренности и кротости, он надеялся вернуть к себе колеблющиеся умы и окончательно привлечь на свою сторону сочувствие Европы.

В ночь с 27 на 28 он опять велел позвать к себе Балашова, передал ему письмо и в торжественных выражениях подробно истолковал его. Балашов должен был сказать, что переговоры могут начаться тотчас же,

[1] Schildner, 247.
[2] Tatischef, 588.

если Наполеон того желает; но при одном обязательном, «непременном» условии, чтобы французская армия предварительно переправилась обратно через Неман. «До тех пор, пока хотя бы один вооруженный солдат останется на русской территории, император Александр не произнесет и не выслушает ни одного слова о мире — в этом он клянется своей честью»[1].

Балашов уехал тотчас же. Когда взошло солнце, он был уже в нескольких льё, в деревне Рыконты, занятой еще русскими, где ему сообщили, что в недалеком расстоянии находятся французские аванпосты. Тогда он взял с собой унтер-офицера из гвардейских казаков, рядового казака и трубача, и продолжал путь. Приблизительно час спустя вдали обрисовались силуэты двух стоявших на карауле французских гусар с поднятыми пистолетами. Заметив маленькую группу русских, гусары прицелились и хотели выстрелить; звук трубы остановил их. Они узнали сигнал, которым обыкновенно возвещалось по прибытии парламентеров. Один из гусаров галопом подъехал к Балашову, приставил к его груди пистолет и потребовал, чтобы он остановился. Другой отправился предупредить полкового командира, который доложил об этом неаполитанскому королю, находившемуся по близости аванпостов. Через несколько минут явился адъютант короля, которому поручено было проводить Балашова в главную квартиру принца Экмюльского, расположенную немного дальше, поближе к императору.

Продолжая путь с конвоем французских офицеров, Балашов вскоре столкнулся с блестящей группой свитских, во главе которой ему не трудно было узнать по «немного театральному» костюму самого Мюрата. Вот из чего состоял в высшей степени фантастичный наряд неаполитанского короля: большая шляпа полукруглой формы с развевающимися по ветру перьями, среди которых выделялся высоко и победоносно стоящий султан; зеленого бархата доломан, на манер гусарского, обшитый золотыми жгутами; наброшенный на плечо ментик; вышитые золотыми жгутами ярко-малинового цвета рейтузы; сапоги из желтой кожи; множество драгоценных украшений, и, в довершение эффекта серьги, драгоценные камни которых горели разноцветными огнями по обеим сторонам его лица. Когда Мюрат проезжал в таком наряде мимо наших лагерей, солдаты улыбались и находили, что он одет, «как тамбурмажор». В бою же, когда покрывавшее его золото чернело от пороховой копоти, когда вихрь сражения трепал перья на его шляпе, когда стрельба из ружей и пушек окружала его молниями, он походил на сияющего золотом, неуязвимого бога войны. Увидав Балашова, он сошел с коня; Балашов последовал его примеру. Затем, сняв шляпу широким жестом, он, подобно изящному романтическому рыцарю, с улыбкой на устах, подошел к послу неприятеля. «Я счастлив видеть вас, генерал, — сказал он, — но сперва наденем шляпы».

Завязался разговор. В продолжение некоторого времени в крайне вежливой форме шел спор по вопросу, кто желал разрыва, кто первый провинился и кто был зачинщиком. В сущности, Мюрату не нравилась эта война на краю света, оторвавшая его от теплой страны, где ему хорошо жилось и где он вошел во вкус королевского сана. Он страдал вдали от своего королевства и от своей семьи; жаловался на трудности сообщений, на редко приходившие к нему известия, ибо этот герой ста сражений обладал нежным сердцем и беспокоился за близких его сердцу людей. Вполне искренно он закончил разговор словами: «Я очень желаю, чтобы императоры сговорились и прекратили войну, которая началась вопреки моему желанию». После этих слов, возвращаясь снова к призывавшим его важным обязанностям, он с любезной непринужденностью простился с Балашовым, сел на коня и долго еще вдали по виленской дороге виднелся колыхающийся круп его лошади и развевавшийся по ветру султан.

Совершенно иной прием оказан был Балашову в бедном домишке, где остановился принц Экмюльский. В походе этот знаменитый, суровый солдат отдавался весь своему делу. Он как бы мучился сознанием своей ответственности; лицо его было строго, озабочено, мрачно; подчас его дурное расположение духа прорывалось наружу, и он с скорбным видом вершил великие дела. В момент прибытия Балашова он был занят отправкой приказов, педантично подготовлял выступление в поход, приводил в движение свои 75000 человек и был крайне раздосадован, когда его оторвали от дела. Когда Балашов сказал, что ему поручено передать послание императору, и спросил, где находится Его Величество, маршал

[1] Эта и следующие цитаты до стр. 507 взяты из донесения Балашова.

заносчиво ответил: «Ничего не знаю», — и добавил: «Давайте ваше письмо, я ему доставлю». Балашов ответил, что его государь строго-настрого приказал ему передать послание в собственные руки. Такой формализм окончательно вывел Даву из терпения. «Все равно, — с сердцем сказал он; здесь вы у нас: нужно делать, что вам велят». Балашов передал письмо, но сумел дать понять, насколько его достоинство было оскорблено подобным насилием. «Вот письмо, маршал, — ответил он и, сам возвысив голос, сказал: «сверх того, я попрошу вас забыть о моей особе и вообще обо мне и помнить только о звании флигель-адъютанта Его Величества императора Александра, которое я имею честь носить». Эти слова заставили Даву умерить тон. «Милостивый государь, — сказал он, — к вам отнесутся с должным вниманием».

Действительно, пока он отправлял офицера с письмом к императору, он оставил у себя в той же самой комнате врага, который, по обычаям войны, был его гостем. Некоторое время оба молча, в смущении смотрели друг на друга, подыскивая, но не находя предмета для разговора. Даву имел угрюмый и рассеянный вид. Балашов после всего происшедшего считал, что не его дело делать первый шаг. Наконец, маршал нарушил это молчаливое tête-á-tete и, позвав адъютанта, сказал: «Пусть подают завтрак». Вслед за тем весь штаб сел за стол. Во время завтрака Даву старался завязать беседу с Балашовым и поддерживать нечто вроде разговора, но во всех его словах проглядывало глубокое недоверие. В попытке начать переговоры он видел только ловкий ход, придуманный русскими, чтобы выиграть время с большими удобствами совершить отступление. Он напрямик сказал это Балашову. Кроме того, он не хотел, чтобы тот блуждал взорами по нашим войскам, позициям и боевым средствам. Чуя в парламенте шпиона, он хотел поскорее избавиться от него и с нетерпением ждал приказаний императора.

II

Скоро во всех частях французской армии узнали о прибытии русского эмиссара. Слух об этом распространился с быстротой молнии и произвел сенсацию в главной квартире, где возбудил среди некоторых чинов главного штаба, сожалевших об открытии враждебных действий, смутную надежду на мир. Что касается императора — он торжествовал. Он видел в этом первый признак растерянности русских и приписал появление Балашова страху, который обуял царя и его советников при известии о быстроте нашего вторжения. Он сказал Бертье: «Мой брат Александр, так гордо обошедшийся с Нарбонном, кажется, хочет уже примириться; он испугался. Мои маневры смутили русских. Не пройдет и двух месяцев, как они будут у моих ног»[1].

Впрочем, он не торопился принять Балашова. Он попросил Даву задержать его у себя до нового приказания, решив попустить его в свое присутствие только после первой победы и взятия Вильны. Он решил, что прикажет привести к себе Балашова только тогда, когда после блестящего дела перед ним откроются врата Вильны, и что примет его в том самом городе, где этот посол получил инструкции своего государя. Стараясь постоянно бить на эффект, всегда тщательно заботясь о красивых декорациях и сценической обстановке, он рассчитывал ошеломить представителя России, приняв его в собственном дворце, даже в собственном кабинете императора Александра, и представши перед ним воплощенным олицетворением победы. Тогда только что начав войну и уже одержав победу, он будет вправе заговорить громко, предъявить в более суровой форме свои требования и, быть может, при посредничестве Балашова довести до сведения врагов первые основы капитуляции, которую хотел предписать им и которой рассчитывал быстро завершить кампанию.

Но прежде чем нанести задуманный удар, прежде, чем идти на Вильну, он принимает необходимые меры предосторожности для обеспечения успеха своему предприятию. Обставляя всегда чрезвычайно обстоятельно выполнение своих смелых планов, он проводит еще два дня, 25 и 26 июня, в Ковно, посвящая эти дни подготовке к бою, производству разведок, заготовке провианта и освещению местности. Он знал только то, что перед ним стоит первая русская армия под командой Барклая-де-Толли; этого мало: он хочет знать состав и распределение всех корпусов этой армии, хочет иметь сведения об их числе, силе и местонахождении; по его сло-

---

[1] Неизданные документы.

вам он хочет прежде всего «разобраться на этой шахматной доске». Даву и Мюрату поручается исследовать местность на далекое расстояние. Этим корпусным командирам приказывается: быстро произвести разведки, но при этом избегать пускать в дело слишком сильные отряды, заботиться о том, чтобы не разбрасывать своих войск и не подвергать их опасности. Наполеон умеряет пыл Мюрата, стремительно бросившегося вперед и упрекает его в торопливости. Левое крыло постоянно заботит его. По его мнению, оно слабо и слишком выдвинуто вперед. Он уже перебросил по ту сторону Вилии часть корпусов Удино и Нея; он приказывает во что бы то ни стало разузнать о том, что происходит впереди них, устанавливает связь с дивизиями Макдональда, которые только что перешли Неман между Тильзитом и Георгенбургом и должны были действовать параллельно с главной армией. Он подгоняет стоящие еще на левом берегу Немана корпуса Евгения, которые должны были дойти до Прен, а не дошли еще и до реки[1]. Он хочет начать движение только тогда, когда обеспечит фланги и стянет войска. Тогда став во главе колонн, назначенных для главного нападения, он быстро двинет их на Вильну, где, по его расчетам, найдет готового встретиться с ним противника и где ждет его победа.

Эта надежда сразиться и победить под Вильной быстро рушилась. 26-го император узнал, что отряды нашей кавалерии находятся в расстоянии пяти льё от литовской столицы и что они подошли к ней, не встретив сопротивления. Неуловимая линия русских аванпостов отступала перед ними, нигде не задерживаясь и уступая малейшему натиску. Главные силы неприятеля покинули превосходную позицию в Троках, служившую оплотом Вильне, и, пройдя через Вильну, уходили по направлению к северо-востоку. Корпуса Витгенштейна и Багговута, с которыми Удино и Ней старались войти в соприкосновение, отходили в том же направлении. Все указывало на то, что первая русская армия действовала по заранее обдуманному плану — отступать, уклоняясь от боя.

Эти известия страшно раздосадовали императора. Сначала он не хотел верить этому и только по получении повторных и верных донесений уступил перед очевидностью[1]. Его досада вызвала в нем подъем энергии, подвинула его на лихорадочную деятельность. Видя, что неприятель уклоняется от сражения, он с жаром хватается за план захватить его врасплох в момент беспорядочного спешного отступления и, по крайней мере, отрезать и взять в плен несколько корпусов.

Часть войск Барклая-де-Толли, именно левое крыло под командой Тучкова и Дохтурова, находилась еще к югу от Вильны. Чтобы добраться до главного сборного пункта, который по всем данным был намечен на довольно далеком расстоянии к северу-востоку по направлению к Двинску и укрепленному Дриссинскому лагерю, этим войскам нужно было обогнуть Вильну и сделать длинный обход. Наполеон думал: если наша армия стремительно бросится на Вильну и, пройдя через нее, придет раньше русских на пункт, через который им неизбежно нужно пройти, то, может быть, ей удастся преградить им путь, отрезать отступление и нанести непоправимое поражение? Кроме того, стоявшая до сих пор на границах герцогства Варшавского вторая русская армия — армия Багратиона — наверное, должна тоже двинуться к северу на соединение с первой, чтобы оказать ей содействие в выполнении общего плана обороны. Не зная о нашем приходе в Вильну, колонны Багратиона наткнутся на неожиданно водворившиеся в этом месте наши главные силы. Встреченные с фронта императором, подвергаясь с фланга нападению Евгения, преследуемые с тылу поляками Понятовского, сансонцами и вестфальцами Жерома, которым был отправлен приказ начать движение и вступить в Россию, они, вероятно, не вырвутся из этих тисков. Поэтому прежде чем распечатать послание Александра и дать ответ на его последние предложения, он успеет еще добиться блестящих результатов. «Если русские не захотят сражаться перед Вильной, — сказал он, — я заберу некоторую их часть»[2]. При достижении этой цели весь вопрос сводился к быстроте и выигрышу времени; требовалась только совокупность быстрых и точно выполненных маневров. 26 июня, днем, император приказывает ускорить движение на Вильну. Он предписывает всем корпусам снова двинуться в путь, идти вольно, быстро, без привалов и отдыха. «Ему хотелось

[1] Corresp., 18858—18873.

[1] Неизданные документы.
[2] Неизданные документы.

бы дать всем крылья»[1], — говорит один очевидец.

Получив такой энергичный приказ, армия в один дух отмахала около десяти лье, отделявших ее от Вильны, но этот усиленный переход потребовал от нее слишком большой затраты сил. Много солдат, взятых на службу слишком молодыми, не приобрели необходимой выносливости; они не могли угнаться за старыми; края дорог были усеяны отсталыми; некоторые умирали на дороге от усталости, изнурения, голода и жажды. Действительно, несмотря на необычную заботливость императора, армия не была в достаточной мере снабжена провиантом; до переправы у людей в мешках было провианта только на несколько дней, теперь «он был прикончен». Обозы, везшие больше, чем нужно продовольствия, задерживались вследствие своего огромного количества, своей тяжести и того страшного загромождения, которые они создавали на своем пути. Они испытывали страшные затруднения и не могли поспевать за войсками. Большая часть повозок с хлебом, говядиной, дровами остались позади. Немногие повозки, которым удалось догнать колонны, брались приступом и, несмотря на сопротивление интендантов, взламывались и опоражнивались.

На дороге происходили сцены беспорядка и насилия; то тут, то там бушевала толпа; в воздухе стояли руготня и проклятия, — все это создавало новые препятствия, и страшно задерживало прибытие других обозов.

Лишенная самого необходимого, умирая с голода, большая часть армии должна была жить на счет страны, на счет той самой русской Польши, которую Наполеон , желая склонить на свою сторону, особенно хотел щадить. Эта бедная, некультурная страна с трудом удовлетворяла свои собственные потребности; жилища встречались редко, в одиночку; деревни были расположены далеко от дорог, затеряны среди лесов. Чтобы добраться до них, солдатам приходилось бросать ряды, разбегаться в разные стороны и забираться далеко от дороги. Многие из них, как только замечали группу домов или одиночное жилище, собирались в шайки, набрасывались на добычу и угрозой и побоями отбирали у крестьян их скудное имущество. Они грабили хижины и уносили на дрова мебель, оставляя позади себя

[1] Id.

развалины, внося всюду опустошение и накликая на свою голову проклятие тех, которых пришли освободить. Число шаек, а также грабителей, действовавших в одиночку, увеличивалось с часу на час. Мародерство — эта язва наших войск — принимало неслыханные размеры. Целые отряды, целые полки распадались, дробились, распылялись в человеческую пыль, которая падала на страну и опустошала ее. Эти беспорядки, эти признаки упадка дисциплины и распада — роковые предвестники будущего, возникли сами собой в силу создавшегося положения вещей. Обманывая все предварительные расчеты, сводя к нулю усилия гения, они указывали на главный недостаток предприятия — на слишком большие требования, которые поставил Наполеон слабым человеческим силам. Небывалых размеров военная махина, которую он смастерил, стесненная сложностью и необычайным множеством пружин, работала плохо, ее замысловатые колеса сразу же портились или отказывались действовать. Эта громадная машина, только что пущенная в ход, уже скрипела и разваливалась.

Наши кавалерийские авангарды подошли к Вильне в ночь с 27 на 28 июня; они без боя заняли превосходную оборонительную позицию — крутые высоты в три уступа, которые представляли природный укрепленный лагерь. «Самая стратегическая местность, какую только можно встретить», — сказал знаток этого дела Жомини[1]. Не соблазняясь столь удачно приспособленной к сопротивлению местностью, конница и легкая пехота неприятеля продолжали отступать. Наши войска наблюдали за их движениями и преследовали их по пятам. Временами, когда преследование становилось невыносимым, русские поворачивались к нам фронтом, вступали в непродолжительный бой, но затем снова отступали. Вблизи Вильны произошла довольно горячая, кончившаяся не в нашу пользу стычка, во время которой был взят в плен брат генерала Сегюра.

Тем не менее 28-го утром наши егеря и драгуны проникли в город. Население ждало нас и готовило нам встречу. Хотя среди жителей не было полного единодушия, но у большинства в резкой форме сказались патриотический пыл, страшная ненависть ко всему русскому и большой подъем духа. Радуясь нашему прихо-

[1] Письмо герцога Бассано министру полиции, 21 июля 1812 г. Archives nationales, AF, IV, 1648.

ду, они ожидали увидеть освободителей, которые обойдутся с ними, как с союзниками и вместе с независимостью внесут к ним порядок. Вместо того они увидали толпу голодных, которые набросились на предместья города, взламывали лавки, грабили трактиры и склады с провиантом и тащили все, что попадалось им под руку. При таком зрелище ужас напал на всех; все думали только о том, чтобы запереться и забаррикадироваться у себя в доме, укрыть в надежном месте свое добро и спрятаться самим подальше. Царивший при нашем вступлении беспорядок сразу остановил народный порыв и охладил энтузиазм.

Между тем вслед за авангардом крупной рысью въехал в город император со свитой и частью своего штаба. Он был уверен, что в Вильне его ждет такой же прием, как в Познани. Он надеялся, что его встретит взрыв радости; что на пути его будут триумфальные арки; что прелестные польки, которые в других местах разжигали умы и всей душой отдавались делу народного возрождения, будут усыпать путь его дождем цветов. Он учитывал этот порыв польских чувств и включил его в свои расчеты. Он надеялся, что литовская столица при первом же его появлении перейдет на его сторону; что она поднимет знамя мятежа и даст толчок остальным частям провинции; что воодушевленная этим примером русская Польша целиком встанет под его знамена и облегчит его задачу, выставив против России, рядом с нашей армией, воскресшую, ожившую нацию. Он вступил в Вильну в девять часов утра. Вместо праздничного, обезумевшего от восторга и любви к нему города, о котором он мечтал, он нашел мертвый город. Длинные, некрасивые и пустынные предместья носили следы погрома; в центральных кварталах с мрачными и красивыми улицами царили безмолвие и тишина; нигде не показывались шедшие ему навстречу толпы обывателей; в окнах — ни одного женского лица. Только несколько человек из подонков населения, главным образом, жиды, с гнусным, подобострастным выражением трусливо прокрадывались вдоль стен.

В первую минуту этот холодный прием не особенно огорчил императора. Он мог быть объяснен неожиданностью его приезда. По своему обыкновению он не объявил о своем прибытии; следовательно, возможно, что он захватил всех врасплох. Может быть, думал он, нужно дать обывателям время опомниться; нужно подождать, пока они выйдут ему навстречу, проявят усердие и подготовят прием? Он проехал вдоль всего города до противоположного конца к перекинутому через Вилию деревянному мосту, по которому при отступлении только что прошли русские. Здесь его ждало новое разочарование: мост представлял из себя дымящуюся, догоравшую развалину. Чтобы задержать преследование, неприятельская армия зажгла его позади себя. По берегам реки поднимались к небу густые столбы дыма; несколько рядов построек поблизости реки превратились в пылающий костер. Это было все, что осталось от многочисленных амбаров, куда русские в течение восемнадцати месяцев складывали всевозможные продовольственные припасы. Вынужденные бросить эти богатые склады, драгоценный клад для нашей лишенной пока всего необходимого армии, они отдали их пламени, лишь бы они не доставались нам.

Эта картина разрушения заставила императора призадуматься; в течение некоторого времени он как вкопанный смотрел на нее. Между тем вокруг него стало собираться простонародье. Он спросил стакан пива и поблагодарил, сказав Dobre piwa, хорошее пиво. Он выучил несколько польских слов и пользовался ими при всяком удобном случае[1]. Он принял меры для ограничения пожара; сделал смотр одной дивизии; затем вернулся в город и направился к дворцу, в котором хотел остановиться.

«Немыслимо, — думал он, — чтобы за это время не распространился слух о его приезде. Ведь должны же были видеть, как проехали и вошли во дворец остальной его штаб, его слуги, экипажи, его штат — все, что обыкновенно сопровождало его». Несмотря на столько безусловных признаков его присутствия, вид города не менялся; никого не появилось у окон, не было и помину об украшениях; улицы по-прежнему были пустынны; ни малейшего следа восторга или даже простого любопытства. Теперь император не мог побороть своего волнения, его разочарование прорвалось наружу. Когда он въехал во двор дворца и сошел с коня, когда поместился в апартаментах императора Александра, когда занял покои, где проживал его бежав-

[1] Réminiscences de la comtesse de Choiseul-Couffier, p. 63.

ший соперник, его лицо не выражало гордости от сознания, что он так победоносно занял его место. С грустью вспоминая прошлое, он сравнивал холодность Вильны с теми страстными возгласами, с какими его принимали в городах великого герцогства, и не мог удержаться, чтобы не сказать: «Здешние поляки совсем не похожи на познанских поляков»[1].

Он сурово обуздал беспорядки, благодаря которым не оправдались его надежды: назначил страшные наказания за нарушение дисциплины и мародерство; приказал загнать в огороженное вблизи города место всех отсталых, которых удалось подобрать; не отступал ни перед какими средствами, чтобы успокоить население и воскресить доверие[2]. Стараниями начальника генерального штаба были разысканы и осведомлены о намерениях императора представители городского управления и влиятельные в городе лица. К ним осторожно и по секрету обратились с призывом, пригласили их покинуть свои убежища, явиться к императору и выразить свои чувства. Таким образом, удалось вызвать некоторое подобие запоздалого проявления симпатии и радости, создать нечто вроде энтузиазма и устроить на пути следования наших корпусов, которые продолжали проходить через город и располагаться вокруг него, подобие оваций с их обычными аксессуарами: цветами, венками и украшениями.

Между тем Даву со своими пятью дивизиями был уже налицо. Мюрат привел всю свою кавалерию. Ней и Удино подходили слева с высоты; прочие же полки громадной колонны, состоящие из гвардии и резервов, подзадержались в пути и шли эшелонами по дороге из Ковно в Вильну. С 28-го по 30-е Наполеон подготовлял обходные движения, имевшие задачей опередить отступающие русские войска и захватить часть их. По его плану, в то время, когда неаполитанский король, подкрепленный несколькими дивизиями пехоты, будет подвигаться по прямой линии вперед и, подобно клину, врежется между обеими неприятельскими армиями, Удино, Ней и Макдональд по-прежнему будут двигаться к северо-востоку, преследуя по пятам Барклая-де-Толли; по всей вероятности, тревожимая армия Барклая-де-Толли не уйдет без урона. «Мне достанется ножка или крылышко»[1], — сказал император. Он предписал Даву взять с собой часть пехоты, как можно больше кавалерии и поворотить направо по направлению к югу. По его мнению, с этой-то стороны и должен был представиться благоприятный случай для выгодных нападений.

[1] Неизданные документы.
[2] Cahiers du capitaine de Coighet, 192.

В это время в очень недалеком расстоянии, к юго-востоку от Вильны, близ Ошмян, обозначились русские силы. Что это были за войска, забравшиеся так близко к нам и, очевидно, не знавшие о грозившей им опасности? Быть может, это корпуса Дохтурова и Тучкова, которые, потеряв голову, стараются кратчайшим путем присоединиться к Барклаю? Наполеон более склоняется к тому, что это авангард Багратиона[2]. Он все еще думает, что армия, которой командует князь, идет по направлению к Вильне. Из перехваченных эстафет он узнает, что слух о нашем быстром появлении в Вильне не проник еще в глубь России. Следовательно, можно надеяться, что Багратиона не успели вовремя предупредить; все данные говорили за то, что его армия, не зная о грозившей опасности, очертя голову бросится в расставленные ей сети и не ускользнет от полного или частичного разгрома. Чтобы поставить ее между двух огней, Наполеон приказывает Евгению и Понятовскому ускорить фланговое движение и горячими посланиями побуждает их к этому. Сам он постоянно усиливает, в особенности кавалерией, войска Даву, которые, находясь в головных колоннах, должны гнаться за неприятелем; он отправляет из Вильны одну за другой дивизию Дессе, дивизию Сен-Жермена, валенсийских кирасир и гвардейских улан; поручает Нансути и Груши с их составленными всецело из конных дивизий корпусами, оказать содействие движениям принца Экмюльского с тем, чтобы тот мог «свершить хорошие и блестящие дела»[3]. Упорно предаваясь надежде в скором времени захватить в плен целую армию, прилагая все старания подготовить это дело, Наполеон ежедневно встает в два часа утра и отправляет приказания; он весь отдается военным комбинациям и, как бы забыв о вестнике мира, не считает нужным принять Балашова, который все еще остается под надзором Даву.

[1] Неизданные документы.
[2] Corresp., 18875, 18877.
[3] Id., 18880.

III

Император построил свои расчеты, не приняв во внимание более грозного врага, чем разбросанные и уступавшие ему по численности русские войска. Климат Севера подготовил ему первое жесткое предостережение. В течение нескольких дней погода стояла переменная — то солнце, то дождь, с явной наклонностью испортиться вконец. 29-го, после полудня, над великой армией на всем занимаемом нашими войсками пространстве собралась и разразилась гроза. Гвардию она захватила на пути к Вильне; другие, находившиеся правее, корпуса — во время их пребывания в городе и передвижений вблизи него, армию же принца Евгения — еще на берегах Немана. Ярость стихий была ужасна. Молния пересекала небо во всех направлениях; она ежеминутно падала на землю, ударяла в наши колонны, убивала в пути солдат. После грозы — словно небо разверзлось: полил дождь, какой бывает только на Севере, беспросветный, ледяной. Наступил жестокий холод. Словно законы природы извратились, словно среди жаркого лета наступила суровая зима.

Войска провели ночь на затопленных водой бивах, без огня, без защиты от ужасных порывов вихря, завернувшись в плащи, с которых потоками текла вода. Наутро перед их глазами предстала отчаянная картина. Места стоянок превратились в озера из грязи; все необходимое для жизни солдат предметы были поломаны и разметаны ветром; опрокинутые повозки представляли грустную картину разрушения. Наконец, что было всего важнее и что наносило непоправимый ущерб, — на земле сотнями, тысячами лежали с окоченевшими членами мертвые или умирающие лошади. Питаясь в течение нескольких недель одной травой, не получая овса, измученные непосильной работой животные были в невозможных гигиенических условиях. Они оказались не в состоянии бороться с внезапным нападением температуры, с насквозь пронизывающим их холодом и, обессилев, падали. Явление беспримерное в истории войны: одна ночь свершила дело целой эпидемии; наши солдаты в оцепенении, с ужасом стояли перед этими жертвами грозы.

Все с отчаянием думали о лишних трудах, о хлопотах, какие вследствие этого несчастья выпадут на их долю. Из офицеров — одни думали о своих несчастных эскадронах; другие — о лишенных лошадей батареях; третьи — о бедственном положении своих экипажей. Некоторые страшно сердились на войну, которая так плохо началась, и на того, кто завел их в эту страну. Командир гвардейской артиллерии, генерал Сорбье, кричал, «что нужно быть безумным, чтобы пускаться в подобные предприятия»[1]. Когда был сделан приблизительный подсчет несчастья и потерь, было установлено, что число погибших лошадей доходило до нескольких тысяч, по некоторым данным — до десяти. Это бедствие непоправимо ослабило кавалерию и артиллерию, задержало подвоз провианта, отчасти нарушило порядок перевозки и внушало армии боязнь, что впереди ей предстоит еще много лишений и тяжких страданий[2].

Начиная с этого времени, упорно продолжавшаяся дурная погода задерживала все дела и мешала военным операциям. Армия надрывалась в бесплодных усилиях выбраться из топи, в которой она увязала, и едва могла двинуться в путь. Во всех прибывавших в главную квартиру донесениях указывалось на трудности передвижения. Все корпусные командиры в один голос жаловались, смотря по натуре и характеру, одни в более, другие в менее резких выражениях. Вспыльчивый генерал Роге, производивший со своей дивизией разведки для итальянской армии, ругал и проклинал дождь. Ней двигался вперед, но какая удивительная энергия требовалась для этого! Он полз, как черепаха, и не развертывал фронта. 30-го он писал императору: «Дождь, не прекращающийся со вчерашнего дня — с трех часов пополудни, позволяет армии идти только по большой дороге; проселочные затоплены и представляют наполненные водой ямы, из которых пехотные солдаты не могут выкарабкаться и по которым даже кавалерия проходит с величайшим трудом»[3]. Мюрат приводил в пример самые неприятные воспоминания из своей военной жизни, которые остались у него от зим-

---

[1] Pien des Loches, 282.

[2] Переписки, находящиеся в национальных архивах, AF, IV, 1644. Cf. Boulart, Brandt, Chambray, Cogniet, Gourgand, Laboume, Ségur.

[3] Эта и следующие выдержки из писем взяты из национальных архивов, AF, IV, 1644.

ней кампании в болотах Польши в конце 1806 г. «Дороги, — говорит он, — страшно испортились; в некоторых местах мне казалось, что я снова в Пултуске». Евгений больше других впал в уныние. В его переписке весьма много опасений за будущее и мало надежд. Он писал начальнику штаба: «Чем дальше мы идем, тем больше теряем лошадей... Я не могу в точности сказать Вашей Светлости числа павших транспортных лошадей, но оно очень велико. Я в отчаянии, что должжен постоянно говорить Вашей Светлости об ужасном состоянии провианта и лошадей, но мой долг не скрывать этого от вас. Я могу надеяться только на средства, которые мы, может быть, найдем впереди, ибо, если местность, по которой нам придется идти, так же обездолена, как и та, по которой мы уже прошли, я положительно не знаю, до чего мы дойдем в самом непродолжительном времени».

Несмотря на недостаток в самом необходимом, на зловещие предвидения, поиски неприятеля не останавливались; все старались поскорее добраться до него, ибо все чувствовали, что он тут вблизи, что до него рукой подать. Утром, 1 июля, когда ненадолго разгулялась погода, в окрестностях Вильны поднялась тревога. Накануне генерал Пажоль, дошедший до Ошмян, наткнулся на сибирских драгун, синих гусар и казаков. Произошла горячая схватка на саблях. Город был взят, отнят и снова взят. Бордезуль, находившийся вблизи тех же мест, тоже донес о сильном неприятельском отряде. Императору и всей главной квартире пришло на ум, что на Вильну идет Багратион, что он попадет в развернутую вокруг города сеть войск и попадется в западню. В наших лагерях пронесся крик: к оружию. Солдаты надеялись на сражение. Но почти тотчас же поливший дождь затянул горизонт и покрыл все своей серой пеленой; снова водворились мрак и неопределенность. Вдруг, в самый сильный ливень, солдаты увидали среди себя императора на белом коне. Он приехал с Бертье, чтобы изучить места, которые рассчитывал сделать базой блестящей операции. Он старался рассмотреть рельефы почвы и подступы позиции. Видели, как он наводил зрительную трубу на покрытые пеленой дождя леса и холмы. Вокруг него яростно бушевал ветер. Вода капала с намокших краев его шляпы и ручьями текла по серому сюртуку. По прошествии некоторого времени он сказал: «Ужас, какой дождь»[1] и, повернув коня, направился к городу.

Переброшенные на юг от Вильны кавалерийские части то видели неприятеля, то теряли его из виду, и никак не могли в точности выяснить, какие это силы и куда они идут; не знали, имеют ли они дело с Багратионом или с кем-либо другим. В действительности Багратион никогда не приходил к Вильне. Покинув при первом известии о переправе верхнее течение Немана, он, вместо того, чтобы направиться к северу, на свой страх бросился на восток по направлению к Минску, вовнутрь России. Считая невозможным нагнать теперь же первую армию, он надеялся присоединиться к ней только путем огромного обхода. Теперь он был уже в безопасности. Чтобы предпринять против него необходимое движение, пришлось бы расширить круг наших эволюций, двинуть Даву на Минск и подождать, пока Понятовский и Жером войдут в линию. Такая операция требовала для своего выполнения много времени и притом с сомнительным успехом. Русские, на которых наткнулся Пажоль в Ошмянах, принадлежали к корпусу Дохтурова; но этот генерал, избегая показываться под Вильной, огибал город, держась от него на весьма большом расстоянии. Наши драгуны и егеря столкнулись и имели дело только с кавалерийской колонной Дохтурова, прикрывавшей и защищавшей его левое крыло, в то время, как его корпус, пользуясь этим прикрытием, проскальзывал с возможной скоростью, оставляя позади себя опасное место. Можно было еще броситься ему вслед, нагнать его и нанести ему вред во время отступления, но уже не было никакой возможности окружить и забрать его.

Только одна часть неприятельской армии оставалась под ударом и подвергалась страшной опасности. Это было несколько пехотных и кавалерийских полков под командой генерал-майора Дорохова, входивших в состав 6-го корпуса Барклая. Не получив вовремя приказания присоединиться к общему отступлению, этот арьергард задержался на юге от Вильны; как вдруг он увидал, что его со всех сторон окружают наши посты. Теперь он блуждал, как безумный; ежеминутно менял направление и, всюду натыкаясь на наших, метался в отчаянии во все стороны, ища выхода. Люди шли день

[1] Souvenirs d'un affiefer polonais, 229.

и ночь, голодные, изнуренные, со стертыми ногами, в поту и крови. Некоторые солдаты несли по три, по четыре ружья, выпавших из рук их ослабевших товарищей, и, несмотря на это, они шли без остановки, подгоняемые властным голосом своего командира, который говорил им, что сейчас придут французы и всех заберут в плен.

На их счастье характер местности облегчал им бегство. Нашим войскам, преследовавшим Дохтурова и Дорохова, трудно было ориентироваться в стране, покрытой лесами, пересеченной оврагами и лесными прогалинами. Они не могли разобраться в сведениях, которые им давали местные жители; путали названия местностей и фамилии, принимали Дохтурова за Дорохова и обратно. Пажоль, Нансути, Моран, Бордезуль — ежеминутно входили в соприкосновение с неприятелем, но не могли схватить его; чувствовали только, что он скользит у них между пальцами. Бывало так, что легкая кавалерия входила в деревню вслед за казаками. Избы были еще нагреты их присутствием, пропитаны их запахом, заражены насекомыми; но неуловимый враг уже исчез. По временам казалось, что неприятель хочет принять бой. Его пехота показывалась на опушке леса; застрельщики открывали огонь, наши конные отряды отходили в сторону. Но, когда командиры, собрав войска и получив подкрепления, двинулись на неприятеля, того уже и след простыл. От того, что накануне казалось нам значительной величиной, оставались только неясные контуры, которые мало-помалу расплывались в туманной дали. Эта мельком показавшаяся армия-призрак испарялась при нашем приближении; она таяла на наших глазах, исчезала при одном прикосновении[1].

Однако на север от Вильны, в районе, где Ней и Удино действовали против Багговута и Витгенштейна, где стоявшие друг против друга французские и русские корпуса постоянно приходили в соприкосновение, не обнаруживая своих сил, имело место несколько отдельных схваток, несколько горячих аванпостных дел.

[1] Письма Даву, Пажоля, Морана, Бордезуля. Archives nationales, AF, 1643, 1644. Письма Бертье королю Жерому, приведенные Du Casse. Mémoires pourservir á l'histoire de la campagne de 1812, стр. 137 и след. Bogdanovitch 1. 132 и след., по донесениям русских генералов.

Обе стороны дрались храбро, но без ожесточения. Французы и русские, между которыми не стояла ни традиционная вражда, ни оскорбления, нанесенные народом народу, не вошли еще во вкус борьбы, не успели воспылать друг к другу ненавистью[1]. 28 июня у герцога Реджио была стычка с стоявшим в окрестностях Вилькомира корпусом Витгенштейна. Невзирая на то, что у герцога кроме кавалерии была только одна дивизия пехоты, он энергично схватился с неприятелем, убил и взял в плен несколько сот человек и оттеснил его на большое расстояние, не причинив, однако, серьезного вреда. Император поздравил командира и войска 2-го корпуса. Но какое значение могло иметь для него, мечтавшего о втором Аустерлице или Фридланде, или, по меньшей мере, Абенсберге и Экмюле, это блестящее авангардное дело. Всем офицерам, являвшимся к нему с донесениями, он прежде всего задавал вопрос: «Сколько пленных?»[2]. Ответы вовсе не отвечали его желаниям. Ему сообщалось, что было подобрано несколько человек отсталых, несколько дезертиров, захвачено несколько заблудившихся отрядов и обозов. Этим и ограничивалась наша добыча, и император тщетно ждал тех колонн обезоруженного неприятеля, тех бесконечных рядов артиллерийских обозов, тех охапок захваченных знамен, которые некогда представляли ему при возвращении с поля сражения его солдаты.

Чтобы обновить нравственное состояние своей армии, а главное, чтобы поднять против России литовских поляков, ему необходимы были трофеи, блестящие бюллетени о победах. Несмотря на то, что им были пущены в ход всевозможные средства, чтобы вызвать и разжечь энтузиазм, поведение населения ничуть не оправдывало его ожиданий. Чтобы заставить почетных

[1] Генерал Льотей в своих неизданных воспоминаниях рассказывает по этому поводу сцену, которая напоминает известные эпизоды из Крымской войны. «Начавшийся ранним утром бой был прерван среди дня на один или два часа. Нас отделял от русских овраг, наполненный грязной водой. И нам и им необходимо было напоить лошадей, и с нашей, и с их стороны подошли к оврагу. Русские пили с одного берега, мы с другого. Завязался не вполне понятный разговор жестами; обменялись водкой и табаком; мы были богаче и щедрее их. Вслед за тем эти добрые друзья обменивались уже пушечными выстрелами. Я встретил молодого офицера, говорившего по-французски; в ожидании лучшего мы обменялись несколькими любезными словами».

[2] Неизданные документыт.

жителей Вильны выступить на сцену, чтобы убедить их дать свое имя и принять участие в рискованном деле, пришлось разыскивать их по домам, вербовать одного за другим, упрашивать, чтобы они примкнули к нам, почти силой добиваться их содействия. В селах у каждого класса населения были свои причины к недоверию. Буйства наших солдат и разбои немецких союзников приводили в отчаяние крестьян, убегавших и притаившихся в лесах при нашем приближении. Чтобы вернуть их в села и примирить с собой, Наполеон обещал им личную свободу, отмену крепостного права; но эти обещания восстановляли против него вельмож, крупных помещиков, рабовладельцев. Несмотря на все это, большинство знати хорошо относилось к Наполеону, но упорное сомнение относительно его истинных намерений насчет Польши, затем неуверенность в успехе его оружия и боязнь мщения русских сдерживали порыв их сердец[1]. Все, что происходило в Литве — подготовка народного самоуправления, образование временного правительства, набор местной милиции — все это было делом немногих вельмож, с давних пор преданных нашему делу и уже скомпрометированных в глазах неприятеля. Народ вяло следовал за ними и ни разу не выступил по собственному почину. Император видел преданных ему отдельных лиц, но не общее движение; людей, но не нацию. Он дважды ошибся в своих расчетах: армия царя, ускользнув от него без боя, разрушила его первоначальные планы; русская Польша поднялась только наполовину и не оказывала ему решительного содействия. За разочарованием в военном деле наступило разочарование в деле политики.

IV

Тогда Наполеон решил принять Балашова и вытребовал его в свою главную квартиру. За неимением других трофеев он хотел представить полякам его; ибо армия и население могли думать, что посол царя приехал в роли просителя; что его присутствие указывает на то, что Россия еще до борьбы признает себя побежденной. 30 июня Балашова привезли опять в Вильну. Его поместили в дом принца Невштательного, где принц просил его «быть, как у себя дома»[1], и где его предупредили, что император тотчас же даст ему аудиенцию.

[1] См. по этому предмету Chambroy, Histoire de l'expédition de Russie, 45.

Фиктивные переговоры, инициативу которых взял на себя Александр, могли привести только к безрезультатным препирательством о старых недоразумениях. Если бы Наполеон согласился на условия своего противника, поставленные в выражениях, не подлежащих обсуждению, если бы отвел свои войска обратно в Неман, он тем самым нанес бы смертельный удар не одной своей гордости. Признаваясь перед всем миром в своем бессилии, выставляя на вид свою ошибку, он разрушил бы свой престиж, подорвал бы обаяние, которое приковывало к его судьбе столько народов; поощрил бы русских к обороне, а Европу к восстанию. Не подлежит сомнению, что мысль об отступлении даже не промелькнула в его уме. Неудачное начало кампании, несомненно, огорчало его. Он часто бывал «серьезен, озабочен, мрачен»[2]; но трудности не могли сломить его; наоборот, они еще более воодушевляли его львиное сердце, а успешность, с какой русские ускользали от него, подстрекала его еще настойчивее преследовать их, еще более стремиться овладеть этой добычей. Даже предполагая, что Александр, отказавшись от своих предварительных требований, согласится ввиду появления наших войск на его территории вести переговоры; что он впредь будет уважать законы континентальной блокады и будет действовать против англичан согласно нашим требованиям, эта сделка, которую император принял бы во всякое другое время, теперь не удовлетворила его. В присутствии Бертье, Коленкура и Бессьера он, не стесняясь, сказал: «Александр издевается надо мной. Не думает ли он, что я пришел в Вильну за тем, чтобы начать переговоры о торговых договорах? Нужно покончить с этим северным колоссом, нужно отбросить его и поставить между ним и цивилизованным миром Польшу. Пусть русские принимают англичан в Архангельске — на это я согласен; но Балтийское море должно быть для них

[1] Донесение Балашова.
[2] Неизданные документы.

закрыто... Прошло то время, когда Екатерина заставляла дрожать Людовика XV, и одновременно с тем, заставляла славославить себя во всех парижских листках. Со времени Эрфурта Александр слишком зазнался. Приобретение Финляндии вскружило ему голову. Если ему нужны победы, пусть сражается с персами, но пусть не вмешивается в дела Европы. Цивилизация не может иметь ничего общего с этими жителями Севера»[1].

Решив отнять у русских все предоставленные им завоевания или, по крайней мере, часть их, он рассчитывает добиться этого в самом непродолжительном времени несколькими громкими, смело нанесенными ударами, и думает, что сумеет найти для этого случай. Его все еще не покидала надежда, что Александр, который столь же быстро падал духом, как и увлекался несбыточными горделивыми надеждами, смирится и раскается, лишь только почувствует на себе острие шпаги. По его мнению, чтобы поскорей навести царя на мысль о необходимости покориться, не нужно было делать ему этот шаг слишком тягостным по форме: необходимо было оставить открытым и даже обеспечить бывшему союзнику путь к возврату. Поэтому Наполеон, вовсе не придавая серьезного значения объяснениям Балашова, решил принять его вежливо, с целью поощрить на будущее время к присылке новых послов. Несмотря на войну, он стремился найти средство поддерживать правильные сношения с Александром, чтобы тот при первом охватившем его душу смущении, после одного или двух проигранных сражений, знал, куда обратиться с предложением о мире и капитуляции, и как довести до него о своем раскаянии. При этом, желая и иными способами приблизить минуту безусловной покорности, он намерен был в присутствии Балашова показать, что совершенно застрахован от неудачи, что вера его в успехе непоколебима. Намереваясь запугать Русского указанием на свои силы и средства, он хочет придать своей любезности тон подавляющего превосходства.

1 июля, в десять часов утра, он послал одного из своих камергеров за Балашовым. Привезенный во дворец флигель-адъютант был введен в залу, в которой в последний раз видел Александра и которая служила

[1] Id.

теперь кабинетом императору французов. Ничто в ней не изменилось, исключая хозяина. В смежной комнате Наполеон кончал завтрак. Через несколько минут Балашов ясно услыхал шум отодвигаемого кресла; вслед за тем отворились двери, и император спокойно, не торопясь, с видом завоевателя, который удобно устроился и прекрасно чувствует себя в неприятельской стране, вошел в кабинет, куда приказал «подать себе кофе».

На поклон Балашова он любезно ответил: «Рад познакомиться с вами, генерал. Я слышал о вас много хорошего. Знаю, что вы искренно привязаны к императору Александру, что вы один из его преданных друзей. Буду говорить с вами откровенно и поручаю вам точно передать мои слова вашему государю»[1].

После этого вступления первые его слова были: «Мне все это очень прискорбно, но император Александр окружен дурными советниками. По своему обыкновению, он предпочитает напасть не на государя, а на его приближенных. — К чему эта война? — продолжал он. Два великих монарха толкают своих подданных на резню, а, между тем, предмет их ссоры точно не определен. Балашов ответил, что его государь не желает войны; что он все сделал, чтобы избежать ее. Как на веское доказательство этого, он сослался на предложение о мире, передать которое было ему поручено. Тогда Наполеон заговорил о прошлом. Завязался спор о событиях, которые были случайной причиной разрыва. Оба собеседника до пресыщения высказывали свои обиды, не желая признавать и принимать во внимание обид противника. По мере того, как император вспоминал поступки, в которых ясно обозначилось, что Россия намерена действовать наперекор Франции, что она относится к Франции пренебрежительно, даже не желает вступать с нею в разговоры, он начинал говорить с большей запальчивостью, с возрастающей резкостью, все больше подогревая себя огнем собственных речей. Его, быть может, и притворный в начале разговора, гнев перешел в действительный, он не на шутку вошел в роль обиженного.

Он начал большими шагами ходить по комнате. По некоторым вырывавшимся у него знакам нетерпения

[1] Эта и все следующие цитаты до стр. 535 взяты из донесения Балашова.

можно было судить о его внутреннем волнении. Неплотно запертая форточка в окне открылась, и в комнату ворвалась холодная струя воздуха. Император с силой захлопнул форточку. Но форточка была плохо подогнана. Не прошло и минуты, как под напором ветра она снова открылась и начала биться. Император был в таком возбужденном состоянии, что не мог выносить этого раздражающего шума. С бешенством схватил он форточку, оторвал и выбросил на улицу. Слышно было, как она упала на землю, и как зазвенело разбитое стекло.

Вслед за тем Наполеон обратился к своему собеседнику с горькими жалобами на то, что Россия, вынудив его ополчиться против нее, помешала ему кончить войну с Испанией и умиротворить Европу. Затем, срывая завесу и оставляя в стороне словопрения и дипломатические тонкости, которых до сих пор держался, он прямо подошел к сути дела. Он превосходно очертил все, что с давних пор казалось ему двусмысленным и подозрительным в поведении Александра. Он дал понять, что русский государь неуклонно шел к войне с того момента, как позволил разным темным личностям — нашим заведомым врагам — приблизиться к своей особе и овладеть его доверием. Кем окружен он, кто составляет его интимный круг? Разве это русские, впитавшие в себя смысл и традиции национальной политики? — Ничего подобного. Его окружает группа иностранцев: не имеющие родины советчики, какой-то кружок эмигрантов и изгнанников — пруссак Штейн, швед Армфельд, бежавший из нашей армии Винцингероде и многие другие, эти вечные сеятели интриг и раздоров. С полным основанием указывал Наполеон на спрятавшихся, на засевших за спиной клявшегося ему в верности государя, своих личных, ожесточенных врагов, которых он всегда встречал на своем пути и которые восстановляли против него королей и составляли европейские заговоры. Изгнанные им из всех стран, на которые распространялась его власть, эти люди отправились в Россию с тем, чтобы похитить у него союзника, про которого он думал, что подчинил его обаянию своего гения. Его гнев разразился против этих соблазнителей, а затем и против слабохарактерного монарха, позволившего овладеть собой и направить себя на ложный путь.

Тщетно давал он себе слово быть спокойным — не

показывать гнева, а только сожаление; бранить, но дружески и свысока. Увлеченный чувством ненависти, он нарушил данное себе слово, перестал сдерживаться, начал наносить обиды и оскорбления. Его голос сделался отрывистым и пронзительным. Каждая фраза дышала страстью или ненавистью. Каждое слово было оскорблением.

Император Александр, говорил он, хвастается своими благородными чувствами. Он хочет быть рыцарем на троне. Но окружать себя презренными людьми, сборищем и отребьем Европы, значит ли следовать этому правилу? Среди самих русских кто его избранники? Кому вверил он начальство над своими армиями и судьбу страны? «Я не знаю Барклая-де-Толли, но Беннигсен!..» Намек на насильственную смерть Павла I — на заговор, в котором Беннигсен принимал участие и которое ускорило воцарение Александра, был на устах императора. Он несколько раз проглядывал в его разговоре.

Мы неоднократно указывали, что до какой бы степени ни доходили припадки его гнева, он всегда отлично умел владеть собой и пользоваться проявлением своего гнева для достижения своих целей. Теперь его желанием было не столько оскорбить Александра, сколько застращать его. Конечно, он не прочь смешать его с грязью, но, главное, хочет нагнать на него страху. Его цель доказать, что царь, доверившись иностранцам и приобщившись к их вражде, идет вразрез с национальными традициями; но при первом удобном случае приверженцы этих традиций восстанут против него и могут подвергнуть опасности его корону и даже жизнь. Нужно сказать, что в течение одного века недовольство высших классов в России неоднократно проявлялось заговорами, покушениями, дворцовыми или казарменными переворотами. На протяжении шестидесяти лет эти внутренние кризисы приводили к переменам царствования. На основании этих прецедентов вся Европа была убеждена в неустойчивости власти в Петербурге. Вот одна из причин, почему Наполеон безусловно верил в успех своего предприятия и что побуждало его отважиться на него. В разговорах он почти ручался, что при том критическом и тяжелом положении, в какое он вскоре поставит Россию, возмущение высших классов окажет косвенное содействие вторжению и быстро положит конец сопротивлению. Во

всяком случае, чтобы заставить Александра поскорее сдаться, он старается напугать его возможностью мятежа; он стремится лишить его мужества, и все его слова, все намеки направлены к тому, чтобы внушить сыну Павла I мысль, что участь его отца может быть и его участью. Он старается внушить ему мрачные видения, окружить его призраками загробного мира, которые бы навели его на мысли об ожидающей его будущности.

— Разве, — сказал он, — император Александр так прочно сидит на престоле, что может безнаказанно доводить своих подданных до отчаяния и подвергать их бедствиям неудачной войны? — Люди, — продолжал он, — которым Александр отдает на поругание свое доверие, первые, лишь только это покажется им выгодно, обратятся против него; они изменят ему, продадут его, «затянут веревку, которая пресечет его жизнь». Разве эти слова не были намеком на шарф, которым будто бы умертвили Павла I? — Что нужно для повторения подобных ужасов? — продолжал он. — Для этого достаточно порядочного толчка со стороны — такого, который встряхнул бы общественное мнение; достаточно известия о проигранном сражении, о крупном военном погроме! А такой погром неизбежен. Тут Наполеон целым рядом бесподобных и потрясающих данных старается доказать, что война неминуемо сложится во вред русским и приведет их в расстройство. Он утверждает, что она плохо началась для них и что способ, которым она началась, позволяет предсказать ее исход; он выбивается из сил, чтобы доказать это. Он старается показать, что все события начального периода враждебных действий, которые, как нам известно, доставили ему столько разочарований, слагаются в его пользу. Разве несоразмерность сил в людях, в деньгах — словом, во всякого рода средствах, не очевидна; разве она не подавляюща? — спрашивает Наполеон. Он хвастается, что ему все известно о руских армиях; что он знает состав и достоинство каждой из них; знает число дивизий, средний наличный состав батальонов. Он приводит цифры, излагает все подробности; причем самодовольно вспоминает о своей собственной мощи, делает выкладки, сравнения, и, искусно сопоставляя свои и русские войска, старается показать, что сила всюду на его стороне. Превосходно умея придавать утверждениям по меньшей мере смелый характер

строго выведенных истин, он доказывает, что задача успешной кампании им уже решена, что он уверен, безусловно уверен в своем деле, что он уверен, как дважды два — четыре, в победе.

Да и кто в Европе, высказывает он, может сомневаться в подобном результате? Даже англичане сожалеют о войне, ибо предвидят «несчастье для России и, быть может, наихудшее несчастье», т. е. переворот. Что же касается континентальной Европы, то она идет с нами, она следует за нашей звездой. Правда, русские хвастаются, что отняли у нас некоторых традиционных союзников. Говорят о мире, который они будто бы заключили с турками — и Наполеону, в сущности крайне недовольному и сильно заинтригованному этим договором, очень хотелось бы узнать, каковы его условия. Он подвергает Балашова правильному допросу, но тот уклоняется от ответов. Тогда он делает вид, что относится пренебрежительно к туркам и шведам — к этим жалким союзникам, не имеющим существенного значения. Вот увидят, продолжает он, что, лишь только счастье повернется в его сторону, они вернутся к нему, что они примкнут к победителю. Он говорит, что прекрасно знает, что у него стараются похитить, переманить его немецких союзников; его войска перехватили письмо, написанное одним принцем — родственником русской императорской семьи, в котором подговаривают пруссаков к дезертирству. Жалкие способы. Разве так должны действовать императоры? Пусть государи ведут войну — это их право: но, по крайней мере, они должны влагать в свои войны подобающие этим великим турнирам благородство и величие души. Впрочем, чего надеются достигнуть подобными приемами? Только того, что избавят его армию от «нескольких бездельников»: что отнимут у него несколько сот солдат. Но ведь у него их 550000 — да, 550000 полностью — против 200000 русских. «Скажите императору Александру, что я даю ему мое честное слово, что у меня по ту сторону Вислы 550 000 человек».

Проделав этот выпад, он смягчается, меняет тон, и легко, почти небрежно, подходит к тому, к чему хотел придти. Вывод, который должны были сделать из его слов, из того, чего он не договаривал и на что намекал, был тот, что император Александр может быть уверен, что будет побит; что он окружен опасностями, что ему остается только один выход: как можно скорее

прекратить борьбу и покориться его воле. Что же касается его, то он будет воевать, ибо его вынуждают к этому; но что от этого он не сделается ни более воинственным, ни более озлобленным; что «он ничего не имеет ни против переговоров, ни против мира». Конечно, пусть не обращаются к нему с требованиями об эвакуации Вильны или об отступлении его армии. На подобные условия нельзя смотреть серьезно. Но если император Александр пожелает дать себе отчет о существующем положении и решится на надлежащие жертвы, то всякий, кто бы ни явился от него, будет желанным гостем. Может быть, он захочет вернуть графа Лористона, чтобы всегда иметь под рукой человека, с которым можно было бы начать переговоры? — Ему нужно сделать только знак, и прежний посланник снова поедет в Петербург. Может быть, он хочет теперь же установить условия войны — так, чтобы сохранить требования гуманности и цивилизации, заключить договор на самых любезных основах, поставить в лучшие условия раненых и пленных? — Наполеон готов вести эти переговоры параллельно с враждебными действиями, — и здесь-то все более обнаруживается его сокровенная мысль. Его главное желание — не прерывать сношений с Александром, сохранить возможность в свое время снова завладеть им и, уже покорного и раскаявшегося, снова привлечь к себе. Поэтому он начинает говорить о царе с сожалением, как о заблудшем друге, к которому, невзирая ни на что, в глубине души, относятся снисходительно и с которым желают снова сойтись. Затем, выложив во время разговора все эти мысли, не настаивая, однако, на них и предоставляя своему противнику заботу уловить их и воспользоваться ими, он с удивительной развязностью заговорил о безразличных вещах.

Он расспрашивает Балашова о русском дворе, справляется о канцлере. «Говорят, граф Румянцев болен? У него был удар?.. Скажите, пожалуйста, отчего удалили... того, который состоял у вас в Государственном Совете... Как его фамилия? Спи... Спер...» Он намекал на Сперанского, но у него не было памяти на фамилии, и к тому же ему нравилось искажать их. Он хочет знать, за что попал в опалу человек, которого он когда-то видел в Эрфурте. Он с видимым удовольствием из простого любопытства задает подобные вопросы, как будто его прекрасное положение, его спокойное, уверенное настроение позволяют ему развлечься болтовней. В заключение, совсем развеселившись и сделавшись приятным, он завершил разговор следующими, более чем любезными словами: «Не хочу далее злоупотреблять вашим временем, генерал. В течение дня я приготовлю вам письмо к императору Александру».

V

В семь часов вечера Балашов был приглашен на обед к Его Величеству. Кроме него приглашенными были: Бертье, Дюрок, Бессьер и Коленкур. Коленкур получил приглашение вне правил и был немного удивлен этим, ибо с некоторых пор его повелитель не баловал его подобными милостями. Само собой разумеется, что во время обеда главным образом говорил и направлял разговор император; но он снова сделался надменным, своенравным и задорным. Говоря с собеседником не с глазу на глаз, а перед целой аудиторией, он имел в виду убедить не его одного, а подействовать на определенное количество лиц. Его очевидной целью было поставить Балашова в затруднительное положение и смутить его при свидетелях неожиданными вопросами. Можно было думать, что в его лице он хотел смутить и унизить Россию. На его счастье, он имел дело с противником, которого трудно было сконфузить; он столкнулся с патриотом, обладающим живым умом и редкой находчивостью. В происшедшем словесном состязании его противник мужественно оспаривал у него победу.

В начале разговора Наполеон принял откровенно-дружеский и добродушно-насмешливый тон. Он коснулся самых игривых предметов, как будто находил нужным дать отдых своему уму после дневных занятий. Он намекнул на частную жизнь Александра, на его успехи у женщин, на его любовные похождения, которые, по-видимому, поглощали его даже в то время, когда наши войска переходили границу.

— «Правда ли, — спросил он, — что в Вильне император Александр каждый день пил чай у местной красавицы?» И, повернувшись к стоявшему за его креслом дежурному камергеру Тюренню, спросил: «Как вы называете ее, Тюренн?».

— «Сулистровска, Государь», — ответил камергер,

на обязанности которого лежало иметь точные сведения об этих предметах.

— «Да, Сулистровска». — И Наполеон вопросительно взглянул на Балашова.

— «Государь, — ответил Балашов, — император Александр всегда любезен с дамами, но в Вильне я видел, что он был занят совсем другим делом».

— «Отчего бы и не так? — сказал император. В главной квартире это еще допустимо».

Но он ставил Александру в упрек еще более компрометирующие связи. Он хотел знать, правда ли, что русский монарх, не довольствуясь тем, что принял на свою службу Штейна и Армфельта, позволил подобным людям сесть за свой стол и есть его хлеб?

— «Скажите откровенно, ведь Штейн обедал у русского императора?

— «Государь, все знатные особы приглашаются на парадные обеды Его Величества.

— «Как можно сажать Штейна за стол русского императора? Если даже император Александр решился выслушать его, во всяком случае, не следовало приглашать его к обеду. Неужто он вообразил, что Штейн может быть ему предан? Ангел и дьявол никогда не должны быть вместе».

После того, он с любопытством самонадеянности заговорил о России, как о стране, которую он в скором времени посетит и исколесит во всех направлениях. Москва была уже у него на языке.

— «Генерал, — спросил он, — сколько, по вашему мнению, жителей в Москве?

— «Триста тысяч, Государь».

— «А домов»?

— «Десять тысяч, Государь».

— «А церквей?»

— «Более трехсот сорока».

— «Отчего так много?»

— «Наш народ часто бывает в них».

— «Какая тому причина?»

— «Та, что наш народ набожен».

— «Ба, в наши дни нет набожных людей!»

— «Прошу прощения, Государь, не везде так».

Может быть, в Германии и Италии нет уже набожных людей, но в Испании и России они еще есть».

Намек был колкий и заслуженный. Нельзя было умнее сказать императору, что до сих пор среди на-

родов только одному народу удалось держать его под угрозой, и это был верующий народ; что другой столь же непоколебимый в своей вере народ сумеет, уповая на Бога, последовать данному примеру, и что Россия будет для него второй Испанией. После такого отпора император замолчал на несколько минут; затем, повторяя нападение, и, смотря в упор на Балашова, он сказал:

— «По какой дороге идти на Москву?»

На такой недвусмысленный вопрос ответа пришлось подождать с минуту. Балашов не торопился, видимо, обдумывая его, затем сказал:

— «Государь, этим вопросом вы ставите меня в затруднительное положение. Русские, подобно французам, говорят, что всякая дорога ведет в Рим. Дорогу в Москву можно избрать по желанию. Карл XII взял ее на Полтаву».

Напомнив неожиданно об имени и печальной судьбе шведского завоевателя, предупреждая императора, что, вместо того, чтобы идти в Москву, он может попасть в Полтаву, Балашов отвечал на похвальбу пророческой угрозой и сквитался очень остроумно. Но нельзя сказать, чтобы его кстати сказанные слова произвели тогда особенно сильное впечатление на присутствующих. Его ответы приобрели известность уже позднее, когда события выдвинули их и подчеркнули их значение.

После обеда перешли в соседнюю залу. Тут император пустился в философские рассуждения, высказывая сожаление об ослеплении государей и о безрассудстве людей. «Боже мой! Чего люди хотят?» Император Александр получил от него все, чего только мог желать — все, о чем его предшественники даже не смели и мечтать: Финляндию, Молдавию, Валахию, кусок Польши. Если бы он по-прежнему оставался в союзе, его царствование было бы записано золотыми буквами в летописях его народа. «Он испортил лучшее царствование, которое когда-либо было в России... На свое несчастье он бросился в эту войну: может быть, виной тому дурные советы, а то и предопределение судьбы». И какими способами он ведет ее? Снова начиная горячиться и приходя в ярость, Наполеон повторил свои жалобы, все причины к неудовольствию, все тот же непосредственно к личности царя относящийся довод, которым старался затронуть в го-

сударе общечеловеческие свойства и который должен был внедрить в Александра тревогу за личную безопасность и заставить его дрожать за свою жизнь. Император Александр, — говорил он, — став во главе своих армий, не только не защищен от своих подданных, но подставляет себя в первую очередь и, в случае неудачи, отдает себя в жертву их ярости. «Он берет на себя ответственность за поражение. Война — моя сфера. Я привык к ней. Совсем иное дело он. Он — император по рождению. Он должен царствовать, а для командования назначить генерала. Если тот хорошо будет вести дело — наградить его, плохо — наказать. Пусть генерал будет ответственным перед ним, а не он перед народом; ибо и государи тоже несут известную ответственность; не следует забывать этого».

Он еще долго продолжал говорить на эту тему, и, быстрыми шагами прохаживаясь перед стоявшими перед ним гостями, не скупился на зловещие предосторожности и жесткие слова. Вдруг он направился к Коленкуру, который оставался серьезным, не вмешиваясь в разговор и не проявляя ни малейшего знака одобрения. Ударив его слегка по щеке, он обратился к нему со следующим вопросом: «Ну, что же вы, старый царедворец петербургского двора, ничего не говорите?» Возвысив голос, он добавил: «О! Император Александр хорошо обращается с посланниками. Он строит политику на ласковом обращении. Он сделал из вас русского»[1].

При этих словах Коленкур побледнел и изменился в лице. Вследствие того, что он имел мужество высказываться против войны, ему много раз и даже публично приходилось выслушивать эпитет русского, что оскорбляло его чувства патриота. Он страдал от этого; но до сих пор переносил неприятную шутку, которой его повелитель упорно его преследовал. В этот раз это было уже слишком. Повторять в присутствии иностранца, врага, упрек, против которого говорила вся его жизнь, значило сомневаться в его чувствах француза и в его верности. Несправедливость перехода границы, придирчивость обращалась в оскорбление. Коленкур не в силах был сдержаться и ответил тоном, какого император не привык слышать: «Вашему Величеству угодно делать вид, будто сомневаетесь, что я хороший француз; вы делаете так, конечно, только потому, что я не в меру доказал это своей откровенностью. Милостивое внимание императора Александра относилось к Вашему Величеству; как ваш верный подданный, Государь, я никогда не забуду о нем»[1].

[1] Неизданные документы.

По выражению лица говорившего все поняли, что герцог оскорблен до глубины души. Мороз пробежал по коже присутствующих; сам император почувствовал себя неловко и был смущен. Он переменил разговор, поговорил еще с Балашовым и любезно отпустил его. Но вместе с приготовленным императору Александру письмом, в котором он подводил итоги ссоры, он приказал передать ему экземпляр воинственной речи, с которой обратился к своим войскам перед переправой через Неман. Это было его ответом на требование отступить за реку. Обращаясь к Бертье и фамильярно называя его по имени, он сказал ему: «Александр, вы можете дать прокламацию генералу — это не секрет»[2].

В то время, как Балашов выходил из дворца и садился в карету с тем, чтобы отправиться к своему императору, у Наполеона происходила бурная сцена, которою и завершились события этого дня[3]. Оставшись в кругу своих приближенных, император подошел к Коленкуру, стоявшему в стороне с расстроенным и мрачным лицом. Жалея и почти стыдясь, что огорчил верного слугу, почти друга, он хотел положить конец ссоре и постарался умастить нанесенную им рану. Тоном благосклонного упрека он сказал герцогу: «Вы напрасно сердитесь», — и чтобы доказать, что он только пошутил, он сделал вид, что продолжает шутить. «Конечно», — сказал он, — вы опечалены тем, что я собираюсь причинить зло вашему другу». Затем он повторил свою излюбленную фразу: «Не пройдет и двух месяцев, как русские вельможи принудят Александра просить у меня мира». В последний раз он взял на себя труд объяснить герцогу и присутствующим, почему он ведет эту войну. По обыкнове-

[1] Id.
[2] Донесение Балашова.
[3] Рассказ об инциденте, о котором Сегюр, по-видимому, знал, целиком взят из неизданных документов, на которые мы постоянно ссылаемся в этой главе.

нию мешая правду с ложью, он, однако, вполне справедливо напомнил, что союз с Россией был только способом привлечь ее на свою сторону, что это был обманчивый призрак; но из этого факта он выводил неверное заключение, что наступательная война на Севере предписывалась условиями времени; что она самая полезная, самая политичная из всех его предприятий; что она неизбежно приведет к общему миру.

Но Коленкур не слушал его. Всецело поглощенный нанесенным ему оскорблением, думая только о защите своей чести, он с страшной запальчивостью заговорил об оскорбивших его словах. Он сказал, вернее, закричал, что считает себя более французом, чем виновники этой войны; «что Его Величество при всех заявил, что он не одобряет этой войны, но что он гордится этим. Ввиду же того, что высказываются подозрения относительно его патриотизма и его преданности, он просит позволения удалиться из главной квартиры, и удалиться безотлагательно, на другой же день; просит Его Величество дать ему командование в Испании; просит разрешения служить ему вдали от его особы». Тщетно император старался успокоить его милостивыми словами, Коленкур не унимался. Поддавшись чувству негодования, он потерял всякую меру. Он, видимо, не в силах был совладать ни со своими словами, ни с жестами. Остальные генералы, озадаченные такой вспышкой, в ужасе от такой смелости, в страхе, что их друга постигнет непоправимая немилость, окружили его и старались успокоить. Но Наполеон не мешал ему высказываться; он все время оставался чрезвычайно спокойным и кротким. Вспыльчивый император сделался самым терпеливым повелителм. Удивительный знаток людей, он подчинял свои поступки чувству уважения. Искренно привязанный к тем, кто приобрел его любовь, он никогда не покидал их и в конце концов отдавал им справедливость, хотя очень часто заставлял их страдать от своей вспыльчивости и недостатков своего характера. Он превосходно умел распознавать людей, истинно ему преданных, и многое прощал им. Вместо того, чтобы приказать Коленкуру замолчать, он просто сказал ему: «Что с вами? Кто сомневается в вашей верности? Я отлично знаю, что вы честный человек. Я только пошутил. Вы слишком обидчивы. Вы отлично знаете, что я вас уважаю. Теперь вы мелете

вздор. Я больше не буду отвечать вам на то, что вы говорите». Но так как сцена продолжалась, то, чтобы прекратить ее, он решил удалиться, прошел в свой кабинет и заперся. Коленкур хотел броситься за ним и потребовать отставки. Дюроку и Бертье пришлось силой удержать его. Впоследствии потребовались неимоверные усилия, чтобы этот выведенный из себя честный человек забыл свои обиды и вступил снова в отправление своих обязанностей. Честно, с редким мужеством предупредив императора, указав ему на ожидавшую его пропасть, он в конце концов согласился делить с ним до конца испытания и опасности кампании.

Послание, привезенное Балашовым, и ответ Наполеона были последними сношениями между разошедшимися навсегда союзниками Тильзита и Эрфурта. С этих пор и на предложения, и на угрозы Наполеона Александр будет отвечать ледяным молчанием. Не противник его, воздержавшийся от объявления войны насмерть, а он сам стремится к такой войне. Он поклялся, что бы ни случилось, выдержать ее и довести до конца. Чтобы предохранить себя от малейшей слабости, от каких бы то ни было уступок, он приготовился к поражениям, к занятию неприятелем своих городов, к опустошению своих провинций; он приучил себя к мысли временно пожертвовать половиной своего государства, чтобы спасти другую. Он уклониться от второй на территории Польши войны, которую предлагал ему Наполеон в виде короткого поединка, и вот начинается война в России, война без сражений, война с природой и пространством. 16 июля Наполеон выступил из Вильны. Израсходовав массу энергии на реогранизацию своих войск и на снабжение их провиантом, он двинул их на Двину и Днепр. Он все время старается изолировать и окружить ту или другую из русских армий, изобретает множество талантливых, грандиозных во всех отношениях достойных его комбинаций, которые, наверное, обеспечили бы ему победу, если бы чересчур большое развитие театра военных действий не позволяло неприятелю постоянно ускользать от него и расстраивать его планы преследования. В погоне за убегающим противником Наполеон будет идти все дальше и дальше. Он углубится в беспредельное пространство, пройдет по мрачной, таинственной империи и среди окружаю-

щей его со всех сторон тьмы инстинктивно направится к светлой, сияющей на горизонте точке, от которой он не в силах оторвать глаз. Он не решает еще бесповоротно идти на Москву, но судьба, которой он повинуется с самого начала своей карьеры, та судьба, которой он был и рабом и творцом, влечет его к этой столице. Его сверхчеловеческая судьба обязывает его непрерывно подниматься на все большую высоту: она позволяет ему держать в повиновении народы только при условии, что он постоянно поражает их новыми чудесами с постоянно возрастающим, исключительным блеском и величием. Москва — этот причудливый и волшебный город, город его мечтаний, притягивает его к себе еще и потому, что это почти азиатское завоевание обещает его гордости неизведанные еще наслаждения: оно искушает его, как захват нового мира. Наконец, он надеется, что, завладев национальной святыней русских, он вызовет в них столь сильное потрясение, что оно бросит их к его ногам. Чем труднее и тяжелее кажется ему война с русскими, чем больше она усеяна испытаниями и опасностями, тем упорнее цепляется он за надежду, дойдя до сердца России, быстро покончить войну с нею. Он сказал Коленкуру: «Я подпишу мир в Москве».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шестьдесят дней спустя Наполеон был в Москве. Его армия проложила кровавый след по русской земле и со славой и честью свершила свой путь. Этапы ее ознаменовались тяжкими испытаниями, страданиями, безрезультатными успехами и славными неудачами. Сперва бои под Островной и Витебском с Барклаем, который, отступая с большим расчетом, не давал случая разбить себя, затем Могилев, где Багратиону не было нанесено настолько сильного поражения, чтобы лишить его возможности продолжать свой круговой обход и соединиться с первой армией; далее Смоленск, где русская пехота была изрублена на месте и все-таки держалась сомкнутыми рядами. В Смоленске — остановка тягостная, тревожная; здесь констатированы были громадные потери — сто тысяч человек не явились на перекличку, — они вырваны были из армии болезнями и дезертирством; затем ужасная схватка при Валутиной; еще дальше лихорадочная, тщетная погоня за решительным сражением; наконец, столь желанный бой, ибо ропот войск заставил Кутузова принять сражение, от которого русские так долго уклонялись. Наступил день Бородина — тот адский бой, когда от пушечной пальбы земля дрожала на протяжении восемнадцати верст[1] и в котором полегло солдат не меньше, чем взрослого населения в огромном городе. После резни перед ним предстала, как огромный оазис среди пустынных равнин, Москва с ее белыми стенами, с ее покрытыми золотом, вермильоном и

[1] Joseph de Maistre, Correspondance, IV, 219.

лазурью соборами с сияющими, как небесные созвездия, куполами, с ее дворцами, парками и зеленеющими садами. Но лишь только армия бросилась в город, добыча исчезла, унеслась в огненном облаке. Поселившись в Кремле, Наполеон царил над развалинами; его окружали одиннадцать тысяч сгоревших домов. Пожар продолжал делать свое дело, пожирая остатки города: среди сгоревших домов уцелело только триста сорок церквей, поднимавшихся над пеплом пожарища. Армия, пресыщенная награбленным добром, по горло засыпанная ненужным богатством, которое она отвоевала у пламени, отдалась, не смея заглянуть в будущее, беспробудному пьянству. В окрестностях Москвы было разграблено четыре тысячи усадеб и деревень. В лесах скиталось, уподобляясь превобытным людям, выгнанное из жилищ население в двести тысяч душ. Еще далее собирались уже шайки озверелых крестьян; они нападали на наши обозы, резали одиноких солдат или живыми закапывали в землю.

Среди этого опустошения Наполеон ничего не предпринимал и ждал. Он обратился к царю с предложениями мира и со дня на день ждет, что Александр пришлет кого-нибудь для переговоров, признает себя побежденным и вручит ему свою шпагу. Наполеон уверен, что в скором времени явится столь желанный парламентер. Почему бы ему и не явиться? — думает он. Ведь это в порядке вещей, ибо русские все время и всюду терпели поражения. С ними должна повториться та же история, что и с австрийцами, с пруссаками и многими другими, с которыми все решалось одним сражением с последующим занятием столиц. Однако, предложение о мире не приходило, и Наполеон, с удивлением смотря на пожар и систематическое разрушение, спрашивал себя, с каким народом имеет он дело; что за племя, которое само сжигает свои города, которое думает, что этим выполняет святое дело. Иногда он придумывает великолепные военные комбинации, отказаться от выполнения которых вынуждает его слабость его полководцев и солдат. По временам он мечтает прибегнуть к гигантским и необыкновенным средствам: думает объявить себя польским королем, воскресить смоленское княжество или татарские республики, соблазнить русское дворянство обещанием конституции, а народ отменой крепостного права, и хочет выпустить революционное воззвание, которое, вызвав социальную войну, облегчило бы его задачу. Он думает о средствах оказать нравственное давление на Россию, силится найти в этой глыбе какую-нибудь трещину, чтобы вогнав в нее клин, раздробить это государство на части. В конце концов он ни на чем не останавливается. Придя к сознанию, что все его планы несбыточны, что все это пустое место, чувствуя, что его гений бессилен, что его изобретательность, его нравственные силы истощены, он предается мрачному бездействию; он старается ни о чем не думать и, чтобы забыться, переносится в область воображаемого и читает романы. По ночам он приказывает ставить около окна две зажженные свечи, чтобы проходящие мимо дворца солдаты, видя свет, думали, что он, увлеченный работой, еще не спит и что его всегда деятельный и изобретательный ум придумывает спасение[1].

Александр уехал в Петербург, признав, что его присутствие в армии стесняет свободу действия и способствует разладу. Он был в восторге от солдат и недоволен генералами. Ему опротивело их соперничество; их ссоры гудели у него в ушах. Он понимал, что все идет плохо. Твердо решив не сдаваться, он, тем не менее, был удручен народным бедствием. Вернувшись из армии, он жил близ столицы на Каменном Острове, в скромной летней резиденции. Нередко видели его одиноко, в задумчивости и блуждающего в окрестных рощах. Он искал источник силы и надежды, который бы утолил его лихорадочное волнение. Однажды он спросил Библию. Впервые открыв эту книгу утешения, он нашел применимое к его положению место и почерпнул в нем силы. Его душа очищалась в горниле бедствий — ее величие росло вместе с несчастьями.

Кутузов до конца обманывал его; лгал ему без зазрения совести. После Бородина старый генералиссимус выпустил бюллетени о победе, а на другой день после его сообщения распространилось известие, что Москва взята и сожжена.

Весть об ужасном осквернении священного города огорчила Александра, но, кроме того, озлобила его. Она вызвала в нем чувство жестокого гнева, заледе-

---

[1] Journal de Costellane, 1, 161.

нила его сердце; она создала в нем страстное желание отомстить, дала волю и силу его решению. Он увидел в этом неизгладимое оскорбление, нанесенное и ему лично, и его народу, и решил, что только полное истребление врага может искупить его. В глазах русских — поднять святотатственную руку на Москву — то же, что ударить их мать. Вся страна от края до края была глубоко потрясена этим событием. Но оставалось вопросом, к чему приведет это душевное потрясение. Скажется ли оно подъемом энергии и еще большим ожесточением войны? Или же вызовет окончательный упадок духа, подорвет мужество, лишит власть средств продолжать войну? Вот на что никто не мог ответить. В петербургском обществе шли дурные толки; оно с озлоблением перечисляло совершенные ошибки, обвиняло в неспособности генералов и возлагало ответственность на верховную власть. Народ злобно и угрюмо молчал; на лицах застыло выражение сердечной тоски. Раз пала Москва — этот любимый Божией Матерью, хранимый ангелами город; раз «чужак, без разрешения императора, проник в Кремль», не значит ли это, что сам Бог отвернулся от России и проклял ее вождей? Впервые народ как будто усомнился в царе, усомнился в помощи Божией. Лица, окружающие Александра, жили в постоянном страхе, почти в ожидании катастрофы. Боялись дворцового заговора, волнения дворян, народного мятежа. Наполеон предвидел и предсказывал такие события: он возлагал на них большие надежды. Сбудутся ли они? Приведет ли ожидаемый переворот, совершенный на глазах врага, к потере способности к сопротивлению? Сдастся ли Россия?

Между тем, жизнь при дворе шла как бы машинально, своим порядком. Церемониал и этикет не отреклись от своих прав. 18 сентября нужно было отпраздновать годовщину коронации. Обычай требовал, чтобы в этот день император с императорской фамилией показались народу и при торжественной обстановке проследовали в собор для присутствования на благодарственном молебствии. Приближенные царя страшно боялись за эту поездку. После усиленных просьб удалось убедить его отправиться в храм вместе с императрицами в карете, а не верхом, как он имел обыкновение это делать. Толпа присутствовала при проезде молча, без обычных приветствий. Она

смотрела на проезжавших мимо нее кавалергардов в роскошных мундирах, на экипажи-гала — эти большие с зеркальными стенками золоченые кареты. Она имела возможность рассмотреть ордена и знаки отличия, туалеты государынь и придворных дам; их обнаженные плечи, греческие прически, диадемы из драгоценных камней — словом, всю роскошную и нарядную обстановку, составляющую резкий контраст с ужасами этого времени. Подъехав к церкви, высочайшие особы и свита вышли из экипажей и поднялись на паперть между двумя рядами народа, который почти касался их. Толпа не проронила ни одного звука, даже шепота не было. Тишина была такая, что ясно были слышны звон шпор и шуршанье длинных, тащившихся по мраморным ступеням шелковых платьев. Но вот религиозная церемония кончилась. Поезд вернулся во дворец в том же порядке, среди той же трагической тишины, и каждый поздравил себя, что прошел этот день[1].

После этого прошло около месяца. Император получил известия более утешительного характера; донесения о нравственном состоянии войск, о их упорном желании защищаться, о бедственном положении французов ободрили его и еще более укрепили его в решении не обращать внимания на предложения о мире. Но настроение населения по-прежнему внушало беспокойство; оно было загадочно и непроницаемо. Никому не удавалось заглянуть в эти темные души; никто не знал, что происходит в толще народных масс. Дни ожидания, наслаиваясь один на другой, сгущали страшную, висевшую над городом тревогу. Вдруг в один из таких дней свинцовую атмосферу столицы прорезал пушечный выстрел с Петропавловской крепости, тяжелая громада которой, увенчанная длинным золотым шпилем, подобно яркому лучу света уходящим в глубину неба, возвышается на окраине Петербурга. Раздается один выстрел, за ним другой, третий; выстрелы следуют один за другим через правильные промежутки времени и заканчиваются залпом, полным радости, гордости и торжества. С души свалилась тяжесть. Москва свободна. Французская армия дала сигнал к отступлению.

---

[1] Mémoires de la comtesse Edling, 79—80.

В эти дни Россия победила Наполеона; победила без сражения. В окрестностях Москвы враждебные действия прекратились сами собой. В одних местах было условлено прекратить военные действия, в других перемирие установилось по молчаливому соглашению. Аванпосты подходили друг к другу и вступали в беседу. Мюрат, как всегда, в шляпе, украшенной перьями, спокойно парадировал перед русскими, и когда один казак исподтишка прицелился в него и хотел выстрелить, унтер-офицер отвел в сторону ружье и не допустил убийства героя. Теперь борьба завязалась между двумя моральными силами: с одной стороны, обаяние Наполеона, которое могло отдать в его руки материально побежденную Россию, с другой, — вера русских в правоту своего дела, в неистощимое богатство их средств в надежду на помощь Провидения. Этот культ, воздаваемый отечеству, слившись с их христианским чувством, не допустил их, невзирая ни на какие бедствия, до отчаяния. Из этих двух сил одержала верх самая благородная, самая святая. Да! была минута, когда душа России была поколеблена и смущена; но Россия опомнилась и совладала с собой. Великое испытание поколебало ее, но не сразило. Дворянство, потерявшее свое имущество, свои именья и дворцы, не отшатнулось от царя; из среды его не поднялось ни одного голоса, который властно потребовал бы мира. Народ отрекся от своих сомнений, обуздал свое горе. Он понял план сопротивления и спасения родины, которым вдохновлялся император, и инстинктивно примкнул к нему. С мрачной покорностью судьбе он сплотился около своего государя — своего отца. В эти торжественные дни у государя и народа была одна душа, одна скорбь, одна молитва; между ними, по молчаливому соглашению, состоялся тесный договор. Каждый с печалью в душе стойко остался на своем месте и исполнял свой долг. Пораженная, израненная Россия встала на ноги; она поднялась плотной, нераздельной массой и была несокрушимо сильна своей верой и своим послушанием. А так как наша армия была уже надорвана и не могла идти дальше, так как на помощь неприятелю уже подходила зима, то нужно было уходить. Наполеон слишком поздно решился на это. Теперь он старался хитрить с судьбой, обольщал себя надеждой оставить гарнизон в Кремле и зазимовать на позициях вблизи своего завоевания; говорил не об отступлении, а о маневрировании. Он старался обмануть самого себя обмануть других; галантно писал Марии-Луизе, что покидает Москву только для того, чтобы быть поближе к ней[1]; помещал в бюллетенях, что не стоит сохранять Москву, ибо она не что иное, как труп. Чтобы закрепить за собой уже потерявшую значение победу, он наспех собирал трофеи, ограбил церкви, опустошил Кремль. Обремененная награбленным добром армия потащила за собой пятнадцать тысяч повозок, увела в своих рядах толпу обездоленных людей и бродяг и, забрав эти отбросы, подобно грязной реке, вытекла из ворот Москвы.

Зима превратила неудачу в бедствие, Наполеон инстинктивно направился на юг, в южные губернии, в теплые и урожайные места. Но под Малоярославцем Кутузов преградил ему путь. Произошло убийственное сражение, в котором истощенная армия, потеряв веру в свои силы, не смогла преодолеть препятствие. Она отбросилась на свой тыл, с неимоверным трудом переменила фронт и, не слушаясь уже императора, увлекая его за собой, пошла по старой, уже опустошенной дороге — по тому разоренному пути, где встречались только развалины и трупы убитых в прежних сражениях. Пришлось пройти вдоль Москвы-реки, опять смотреть на нагие, обобранные трупы убитых в великом бою, которые, насколько глаз хватал, покрывали холмы и белели вдали, как громадные стада овец[2]. В следующие затем дни раненые и хромые, которые не в состоянии были следовать за армией, тысячами валялись по дороге и умирали рядом с русскими пленными, которых убивал португальский контингент, чтобы избавиться от труда стеречь и кормить их. Везде валялись «свежие или старые»[3] трупы, всякого рода и племени; целое море трупов окружает армию и, как ни привыкла она к картине смерти, однако, эта картина действует на ее воображение, волнует ее. Вдруг наступает зима с ее морозами. Небо потемнело; снег повалил хлопьями. Вместе с зимой начался великий развал армии. Лошади падают на скользкой земле;

[1] Перехваченное русскими письмо: Archives de Saint-Pétersbourg.
[2] Souvenirs d'un afficier polonais, 306.
[3] Journal de Castellane, L, 180.

приходится убивать их, взрывать зарядные ящики, бросать повозки, бросать орудия. Кавалерии больше не существует, почти нет артиллерии; мало съестных припасов: к холоду присоединяется голод. Страшные, острые физические страдания надрывают сердце, ослабляют энергию, заставляют забывать чувство долга, возвращают человека в первобытное варварское состояние, возбуждают в нем животные инстинкты. На первый план выступают потребности природы: единственной заботой делается есть и, по возможности, не очень страдать. Беспорядок и отсутствие дисциплины прогрессируют с каждым днем. Корпуса тают, дивизии рассеиваются, от полков остаются жалкие остатки. Не проходит часа, чтобы какой-нибудь батальон, какая-нибудь рота, батарея не разваливалась и не превратилась в беспорядочную толпу, в ужасную массу отсталых и оторванных от своих частей солдат. Вся армия, мало-помалу превращается в беспорядочную толпу. Но вот неприятель нагоняет нас и начинает теснить. Спереди, сзади, со всех сторон несется гиканье казаков; сперва слышится их крик, вернее, неясный вой, так что непривычное ухо с трудом отличает его от воя ветра в основном лесу[1], вслед за тем раздается бешеный галоп их коней, и тотчас со всех сторон показываются пики. Наши противники сознают, что счастье повертывается к ним; они вопят об отмщении и бросаются на нас, как бешеные. В их сердце загорается надежда на полное отмщение; является желание преследовать нас до конца, до полного истребления. Их офицеры гарцуют вокруг наших беспорядочных отрядов и, разряжая в них свои пистолеты, кричат: «Париж, Париж!»[2]. Армия Кутузова вытягивается по флангу нашей колонны, постоянно нападает на нее, наносит ей поражения, разбивает ее на отдельные части, которые то ведут бой в одиночку, то опять смыкаются. Каждый день отмечен каким-нибудь несчастьем. Корпус Евгения подвергся нападению на реке Вопь и был разбит. Даву отрезан — сперва под Вязьмой, затем под Красным. Император с гвардией вынужден был вернуться ему на выручку. Окруженный со всех сторон неприятелем, Ней чуть не вынужден был сдаться; он был на краю гибели и,

[1] Souvenirs manucrits du général Lyautey.
[2] Id.

если спасся, то только каким-то чудом, благодаря необычной, почти сверхчеловеческой энергии. К этому присоединяются обманутые расчеты и обычные спутники несчастливо сложившейся компании. В Смоленске оказалось провианта меньше, чем думали, магазины в Минске захвачены неприятелем; Сен-Сир потерял линию Двины; Удино и Виктор опоздали придти на выручку; выжидательное поведение австрийцев дает повод думать о скорой измене. Ужасы отступления растут с каждой минутой, с каждым переходом. По выходе из Смоленска насчитывается едва тридцать семь тысяч воинов. От вошедшей в Россию гордой колонны в четыреста пятьдесят тысяч солдат осталась бегущая по снегу толпа людей, оставляющая за собой длинный, залитый кровью след да не имеющий уже имени сброд остатков частей великой армии. Целые тысячи безоружных отделяются от будущей толпы и ждут или смерти в лесах, под пиками казаков, или отправки рабами для населения далеких пустынных колоний.

Вокруг остатков нашей армии стягивается и замыкается железное кольцо. Впереди Березина, по которой идет лед, что делает ее почти непроходимой; сзади — преследует по пятам Кутузов; справа подходит Виттенштейн, слева — Чичагов с действовавшей в Молдавии армией, освободившейся после Бухарестского мира. Невольно напрашивается мысль: не пришел ли всему конец, не наступил ли полный и непоправимый разгром? Русские были уверены, что захватят всех, без изъятия. Генералы роздали войскам приметы императора, чтобы казаки, забрав его в плен, случайно не убили его, и чтобы Россия могла гордиться этой добычей[1]. Но вдохновение императора подготовляет спасение; необычайный подъем мужества и нечеловеческие усилия войск приводят его в исполнение. После семидесятидвухчасовой работы в воде среди движущихся льдин между обоими берегами устанавливается

[1] Вот эти приметы: «Стан полный, коренастый; волосы черные, гладкие, короткие; борода густая, черная, обритая около ушей; нахмуренные брови дугой; взгляд или желчный, или свирепый; нос горбом, запачкан табаком; подбородок сильно выдающийся; одет в простой мундир без знаков отличия, а чаще всего, чтобы не обращать на себя внимания, в серый полукафтан; его постоянно сопровождает мамелюк». Дневной приказ от 12 октября 1812 г. Archives des affaires étrangéres, Russie, 154.

и поддерживается сообщение. Армия начинает переправу, купив ее ценой сражений с Чигаговым и Витгенштейном и ценой еще более ужасной борьбы с толпой отсталых, с отделившимися от нее самой частями, и пролагает себе путь по каше, образовавшейся из оторванных снарядами частей человеческого тела.

В Сморгони император, отчаявшись в спасении армии и боясь, чтобы Германия не преградила ему дорогу, а Франция не ускользнула из его рук, бросает свои войска. По его отъезде Север наносит им последние, ужасные удары. Температура падает до двадцати четырех, двадцати пяти, двадцати семи градусов Реомюра. Страдания достигают высших пределов — такой степени, что даже теперь, спустя три поколения, воспоминания о них вызывают в нас острую, насквозь пронизывающую боль и по коже продирает мороз. Ужасные картины. Отмороженные руки не в силах держать ружья, пальцы отваливаются, целые части тела отгнивают; вместо армии — сплошная рана, на которую страшно смотреть. Стоявшие дотоле в Германии войска, посланные подобрать остатки армии, сами заражаются общим беспорядком; их тоже охватывает дух поражения, заедает хаос. Наконец, показывается Вильна с ее натопленными домами, и бесформенная ватага врывается в город; там он находит только лишения и презрительное или враждебное отношение; но все-таки кров и стены, куда, как затравленный зверь, бросаются солдаты, чтобы свалиться и заснуть, ни о чем не думая. На другой день нагрянул неприятель. Он засыпает нас ядрами; нужно опять бежать или умирать. Менее изувеченные уходят, остальные, обреченные на избиение, остаются. Виленские жиды, возненавидевшие нас из боязни рекрутчины, упреждают работу казаков. Это отродье топчет и добивает каблуками победителей Европы. Когда в город вошли русские, им пришлось сжечь двадцать пять тысяч трупов, сваленных в этом месте ужасов и заразы, худшем, чем ад при Березине. По ту сторону Вильны ледяная гора останавливает остатки французской колонны. Артиллерии не удается подняться на скользкую гору; после тщетных усилий взобраться на нее, войска вынуждены отказаться от дальнейших попыток. Приходится бросить последние пушки, сломать и отдать последние повозки. Содержимое фургонов выкидывается и разбрасывается по дороге. Беглецы и казаки расхищают всевозможные сокровища армии. Однако, небольшое количество пехоты перевалило через гору и идет дальше, еле волоча ноги. Около Ковно маршалы возвращаются к своему старому ремеслу. Ней опять превращается в солдата, берет в руки ружье и расстреливает последние патроны; но ничто не в силах предотвратить окончательной гибели армии. Все кончено. Триста тридцать тысяч человек полегло костьми или взяты в плен; несколько тысяч человек в одиночку или небольшими группами, без ружей, без мундиров, одетые в странные, вызывающие смех и жалость отрепья, перешли по льду через Неман. Все свершилось в течение каких-нибудь шести недель; но эти недели тянулись так долго, были так жестоки, как будто это была целая вечность страданий. Бертье написал императору: «Нет больше армии»[1]. Он ошибался и в другом письме противоречил самому себе. Он пишет, что около все еще высоко поднятых орлов жмутся небольшие группы офицеров и унтер-офицеров, которых уравняло несчастье. Преодолевая страдания и природу, оставляя за собой на снеговой равнине блестящий след героизма, они отступали до конца и среди полного развала того, что составляло нашу материальную силу, сберегли душу великой армии.

Около этих бессмертных остатков Наполеон создал новую армию, и пошел во главе ее на неприятеля, который между тем вторгся в Германию и вызвал восстание в Пруссии. Император одержал победу при Люцене, затем при Бауцене. За этими обессилившими его успехами последовало дипломатическое сражение в Дрездене и Праге, где союзники завели разговор о мире, не имея намерения заключить его; где Меттерних взял на себя задачу рассеять сомнения своего государя и убедить его в неискренности императора; где император признал законные требования своих врагов, но отказался сделать вовремя уступки, которые затрагивали только его гордость. Он признал, что спор между ним и Александром решен военным счастьем; согласился уплатить царю ставку борьбы и предложил ему уступки, но не хотел дать таковых

---

[1] Archives nationales, AF, VI, 1643.

ни изменившей ему Пруссии, ни спекулировавшей на его несчастье Австрии. Он с безрассудным упорством предавался слепой надежде разъединить своих врагов, примириться с Александром, быть может, снова завладеть им и запугать Австрию. Когда события вывели его из заблуждения, когда он готов был пойти на все уступки — было уже слишком поздно. К этому времени вся Европа объединилась и с бешенством поднялась на него. Сперва она терпела от него поражения, но зато била его полководцев, затем мало-помалу начала теснить и его самого; замкнула его в тесный круг и, наконец, задавила численным превосходством.

Александр довел свою месть до конца. Он с яростью кинулся на поверженного колосса, который еще так недавно касался головою неба. По взятии Москвы, он, будто бы, сказал следующие слова: «Отныне нет мира с Наполеоном. Мы не можем царствовать вместе: он или я, я или он»[1]. Он сдержал свое слово. Называя себя при всяком удобном случае другом человечества и цивилизации, он проникся мыслью, что, утоляя свое злопамятство, он служит тому и другому. До него не было монарха, который бы вел войну с таким увлечением и с такой ненавистью. После переговоров в Праге он сам едет на свидание с австрийским императором, заклинает Франца отклонить запоздалые уступки Наполеона и порвать с ним всякие сношения; он вырывает у него согласие подписать конвенцию и втягивает его в общую свалку. После Лейпцига, когда победоносная Европа хлынула на Францию и перешла наши границы, он является олицетворением самой жестокой истребительской политики против Наполеона; он вносит в нее дух искоренения. На конгрессе в Шатильоне он не довольствуется унижением императора и оттеснением Франции в прежние границы. По прошествии шести дней он приказывает прекратить переговоры и если и соглашается возобновить призрачные дебаты, то только потому, что поражения у Шампобера и Монмираля смутили его союзников и заставили их усомниться в своем счастье[2]. При первой же возможности он внушает им веру в свои силы. Он становится душой, энергией, отвагой коалиции. В его поступках, словах постоянно проглядывает стремление не вести больше переговоров с Наполеоном, а свергнуть его с престола и, уже отнявши у него Европу, отнять и Францию. Но главное его желание — отомстить за Москву в Париже. Он, в свою очередь, хочет войти в столицу врага — показаться там в ореоле своей славы и великодушия. Его месть будет состоять в том, что, завоевав Париж, он помилует его[1]. В критический момент кампании он настоял на прямом ударе — на походе на гордый и чарующий город, который Европа столь же ненавидела, как и Наполеона, который проклинала и к которому все-таки стремилась всей душой.

Наконец, Париж занят; император низложен. Тогда Александр обрел в себе прежние чувства умеренности и человеколюбия. Его политический инстинкт, не затемненный уже чувством ненависти, внушил ему, что Франция нужна Европе и, в особенности, России. Он взял на себя задачу успокоить и утешить ее. В 1815 г. он избавил Францию от чересчур жестоких увечий, от слишком большого расчленения и оказал нам эту великую услугу с тем скромным тактом, который еще больше увеличивает цену этой услуги. Будем же ему благодарны за то, что он не возложил на Францию ответственности за свою борьбу с Наполеоном, за поединок насмерть, к которому привел их союз.

После этих сцен прошло восемьдесят лет. Мы думаем, что теперь настало время отнестись беспристрастно и вывести из них поучение. Нам кажется, что вывод, который мы сделали в предисловии к нашему труду, ярко выступает из тех событий, которые мы проследили и которые долго и тщетно изучали. Мы сказали, что союз нес в самом себе зародыш смерти, начало своего разрушения, ибо это был союз ради войны и завоеваний. Он преследовал цели расхищения и поглощения других государств, а договоры, направленные к такой цели, никогда не заключаются без обоюдной задней мысли, без взаимного недоверия, из которых неизбежно рождаются сопер-

[1] Tatistchef, 612.
[2] Hehr Houssaye, 1814, 86—110.

[1] Id., 88.

ничество и ненависть. Действительно, в Тильзите мы были свидетелями, как Наполеон пробудил и подстрекнул в Александре честолюбивые стремления к территориальным захватам, но при этом дал себе слово удовлетворять его стремления в строго рассчитанных дозах. Про себя же он думал, что, обеспечив себя со стороны России, он может беспрепятственно пуститься во всевозможные предприятия; что он может перевернуть вверх дном весь мир, захватывать непокорные государства, гнуть их в бараний рог и подчинять своей политической системе. Неизвестно, было ли говорено во время свидания на Немане об Испании. Вероятно, что нападение на нее — первоисточник всех наших бедствий — признавалось в тильзитском договоре. По мере того, как Наполеон увеличивал и расширял свои захваты, он сознавал необходимость удовлетворить алчность своего союзника и вместо неограниченных и смутных надежд дать ему нечто более существенное. За Испанию он заплатил русским Финляндией; позднее, чтобы предохранить себя от последствий испанской войны, он предоставил царю княжества; за кусок Востока он купил обещание содействия на случай возмущения Австрии. Но Александр уже потерял к нему доверие; в свою очередь и он захотел получать, ничего не давая сам. Он подписал эрфуртский договор, но не выполнил его условий. Не отказываясь брать за счет Турции, он оказал нам против Австрии только фиктивную помощь, и кампания 1809 г., наступившая, правда, по ошибке императора, но против его воли, привела к новым разделам; в результате недоверие возросло до крайних пределов, сделалось непримиримым. Получив от Александра недоброкачественную помощь, Наполеон вынужден был позаботиться о своей безопасности и принять против царя некоторые меры предосторожности, вследствие чего он несоразмерно распределил доли и вознаградил преданность поляков в ущерб России. В этот день союзу был нанесен смертельный удар. Наполеон сделал некоторые усилия вернуть союз к жизни; Александр приложил старания избегнуть войны; но их попытки могли кончиться только неудачей. Их вина была не в том, что они объявили друг другу войну, а в том, что поставили себя в такое положение, при котором неминуемо должна была вспыхнуть между ними война. С того момента,

как они захотели разделить между собою власть, они осуждены были оспаривать ее друг у друга и результатами борьбы, роковой для Наполеона и Франции, были: спасение Англии, усиление ее мощи и возвышение Пруссии, т. е. подготовка для России грозных соперников, тогда как осуществление естественных задач ее политики не подвинулось вперед ни на шаг.

В следующие полстолетия Франция и Россия делали попытки к сближению; но они или прерывались, или отходили на задний план. Неоднократно Франция и Россия объяснялись в любви и думали, что поняли друг друга. Испытанные разочарования не разрушили добрых стремлений; они только лучше доказали, как велика та сила сродства, которая влекла оба государства одно к другому. Тем не менее для того, чтобы наглядно, всенародно и неопровержимо выступила параллельность их интересов, чтобы чувство солидарности глубоко вкоренилось в национальное сознание обеих сторон, чтобы оно оказалось сердечным порывом и заменило существовавший в 1807 и 1808 гг. непрочный союз императоров союзом народов, нужно было, чтобы влияние французской революции дало в Европе свои конечные результаты, чтобы Франция и Россия жестоко поплатились, хотя далеко не в одинаковой степени, за свои ошибки. Вместе с тем перед правительствами обеих стран впервые обрисовались истинные, разумные условия союза. Нет сомнения, они поняли, что вне полноты взаимно-сдерживающих обязательств все будет несбыточным и опасным. В заключенном таким образом союзе не поддающийся сердечным порывом, сохраняющий, невзирая на выкрики толпы, хладнокровие наблюдатель усматривает для Франции и России и величайшее счастье, и жертву с их стороны; он видит в нем, с одной стороны, счастливую гарантию их безопасности и достоинства; с другой — отсрочку традиционных и нерушимых стремлений и надежд, принесенных сообща в жертву миру и человечеству. Заложенный и закрепленный на этих основах союз мог бы взять за девиз следующие гордые слова: «Я сохраню то, что есть». Восстановив равновесие в Европе, теперь менее сложное, он существует для сохранения его. Он поддерживает существующий строй, ничуть не заблуждаясь насчет его несовершенств и опасностей; он поддерживает как со-

храненные, так и захваченные позиции; он даже поддерживает содеянные в прошлом несправедливости, дабы предупредить более крупные в будущем. Созданный в целях обороны и охраны, он может проявить — и будет проявлять свою деятельность только в видах обуздания честолюбивых замыслов, нарушающих существующий уклад, в видах поддерживания равновесия сил. На место завоевательных стремлений союза времен первой империи он поставит справедливое разделение влияний. Этим ограничиваются его задачи, в этом его величие и право на существование.

ПРИЛОЖЕНИЯ

НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА НАПОЛЕОНА I С ГЕНЕРАЛОМ КОЛЕНКУРОМ, ГЕРЦОГОМ ВИЧЕНЦЫ (1808—1809).

В первом томе мы узнали, что в напечатанной Корреспонденции и в хранящихся в национальных архивах рукописях недостает писем, написанных Наполеоном генералу Коленкуру, герцогу Виченцы, в бытность Коленкура послом в России. Мы добавили, что пространные ответы посланника дали нам возможность восстановить, если не самый текст, то смысл этих инструкций. После того эти письма были найдены в виде копий — безусловно, подлинных — в бумагах, оставленных графом де Ла-Ферроней, французским посланником в России во времена реставрации. Маркиз Шабриллан, владелец этих бумаг, и маркиз Коста-де-Борегар, который пользовался ими, любезно разрешили нам опубликовать эту ценную серию писем. Эти письма являются естественным дополнением нашего труда и заполняют самый важный из пробелов, указанных в переписке Наполеона в том виде, как она была опубликована во время второй империи[1].

---

[1] О безусловной подлинности переданных нам копий см. исследование, опубликованное нами в Revuebleue, 30 mars, 1895.

Париж, 2 февраля 1808 г.[1]

Генерал Коленкур, я получил ваши письма. Последнее, на которое я теперь отвечаю — от 13 января. При сем вы найдете письмо к императору Александру. Я не сомневаюсь, что граф Толстой пишет много глупостей. В моем присутствии этот человек холодный и сдержанный, но у него, как у большинства военных, привычка много говорить о военных предметах, что составляет плохую тему для разговоров. Несколько дней тому назад на охоте в Сен-Жермен он ехал в одном экипаже с маршалом Неем, причем, они обменялись резкими словами и даже вызвали друг друга на дуэль. Было замечено, что во время этого разговора у Толстого сорвалось с языка три мысли. Во-первых, что в скором времени у нас будет война, во-вторых, что император Александр слишком слаб, и что, если бы Толстой был хотя бы пятнадцать дней императором, дела приняли бы иное направление; в третьих, если бы пришлось поделить Европу, то следовало бы, чтобы справа Россия примыкала к Эльбе, слева — к Венеции. Можете себе представить, что мог ответить на это маршал Ней, который не имеет ни малейшего понятия о том, что делается, и столько же знает о моих планах, сколько последний барабанщик армии. Что же касается войны, то он сказал Толстому, что будет в восторге, если она скоро начнется; что русские всегда были биты; что в Париже он скучает без дела; а что касается заявления, чтобы справа Россия примыкала к Эльбе, а слева к Венеции, то с этим мы далеко не согласны; что, наоборот, по его мнению, следует отбросить Россию за Днестр. Принцы Боргезе и Саксен-Кобургский были в том же экипаже. Можете судить о впечатлении, какое могут произвести такие смехотворные своры. Толстой говорил то же самое Савари и другим лицам. Он сказал Савари: «Вы потеряли голову в Петербурге; нужно думать не о степях Молдавии и Валахии, а о Пруссии». Савари ответил ему то, что и должен был ответить. Я делаю вид, что ничего об этом не знаю. Я очень хорошо обхожусь с Толстым, но не говорю с ним о делах; он ничего в них не смыслит

[1] Относительно всех событий или инцидентов, на которые намекается в письмах, см. 1-й том и первые три главы 2-го тома.

и негоден для них. Одним словом, Толстой — дивизионный генерал, который никогда не стоял близко к управлению делами и который критикует все вкривь и вкось. По его мнению, император плохо руководил военными делами: нужно было сделать то, нужно было сделать это, и т. д., и т. д. Но когда ему говорят: «Скажите министры», он отвечает, что министры никогда ни в чем не виноваты, так как император набирает их, откуда хочет; что его дело сделать удачный выбор. Не делайте никакого употребления из этих подробностей. Это может встревожить петербургский двор и может произвести только дурное впечатление. Я не хочу навлекать неудовольствия на этого простодушного маршала (Sic) Толстого, которой, как видно, очень предан своему государю. Я хотел сообщить вам все это только для вашего руководства; но дело в том, что у России плохие слуги. Толстой не годится для своего дела, которого не знает и не любит. Но, как видно, он лично предан императору, чего далеко нельзя сказать о молодых людях посольства; впрочем, обо мне, даже по секрету, они говорят в самых приличных выражениях. Единственно, что неприятно поражает нашу страну, это манера, с какой они говорят о своем правительстве и своем государе.

Тотчас же по получении вашего письма от 13-го, я отправил адъютанта с приказанием Бернадоту переправить в Сканию 14.000 французов и голландцев. С своей стороны, Дрейер написал об этом своему двору; ему очень нравится эта мысль.

Непременно скажите императору, что я хочу всего, чего он хочет; что моя система неразрывно связана с его системой; что между нами не может произойти столкновения, ибо мир достаточно велик для нас обоих; что я не тороплю его с эвакуацией Молдавии и Валахии, пусть и он не торопит меня с эвакуацией Пруссии; что известие об эвакуации Пруссии вызвало большую радость в Лондоне, что служит доказательством, что она может послужить нам только во вред[1].

Скажите Румянцеву и императору, что я не далек от мысли о походе в Индию, о разделе Оттоманской

[1] Этот и следующий параграфы, которые были сообщены в копиях петербургскому кабинету и хранятся в его архивах, были опубликованы Татищевым, Alexandre Ier et Napoléon, 309—311.

империи и об отправке на сей предмет армии от 20 до 25000 русских, от 8—10000 австрийцев и от 35—40 000 французов в Азию, а оттуда в Индию; что ничего нет легче этой операции; что не подлежит сомнению что, прежде чем эта армия придет на Евфрат, Англия уже будет объята ужасом; что я знаю, что, для достижения этого результата нужно учинить раздел Турецкой империи; но это дело требует, чтобы я повидался предварительно с императором; что я не могу откровенно говорить об этом с Толстым, у которого нет полномочий от своего двора и который, видимо, не сторонник этого плана. Поговорите откровенно по этому поводу с Румянцевым; изучите с ним карту, представьте мне данные для суждения и ваши и его мысли. Свидание с императором тотчас же разрешило бы вопрос; но если свидание не может состояться, необходимо, чтобы Румянцев, изложив ваши общие мысли, прислал мне человека — сторонника этого плана, с которым бы я мог сговориться; с Толстым говорить об этих делах невозможно. Что же касается Швеции, то я ничего не имею против него, чтобы император Александр завладел ею, даже Стокгольмом. Следует даже побудить его сделать это с целью вернуть Дании флот и колонии. У России никогда не будет подобного случая поставить Петербург в центр и отделаться от этого географического врага. Дайте понять Румянцеву, что, говоря таким образом, я не воодушевлюсь робкой политикой, а единственно желанием — путем усиления обоих государств дать мир вселенной: что, без сомнения, русская нация нуждается в поступательном движении; что я ни от чего не отказываюсь, но нужно обо всем сговориться. Я произвел рекрутский набор, потому что мне везде нужно быть сильным. Я приказал увеличить мою армию в Далмации до 40 000 человек; чтобы довести армию в Корфу до 15 000 человек, полки уже в пути. Все это вместе с усилением тех войск, которые у меня в Португалии, вынудило меня набрать новую армию; что я с удовольствием буду смотреть на расширение пределов России и на рекрутские наборы, которые она будет производить; что я ни в чем не завидую ей; что я буду помогать России всеми моими средствами. Если император Александр может приехать в Париж, он доставит мне большое удовольствие. Если он может сделать только полпути, поставьте циркуль на карту и отметьте середину между Петербургом и Парижем. Чтобы взять на себя это обязательство, вам нет надобностей ждать ответа. Я, наверное, прибуду в срок к месту свидания. Если свидание никоим образом не может состояться, тогда Румянцев и вы изложите письменно ваши мысли, предварительно хорошенько взвесив их: пусть пришлют мне человека, который бы держался взглядов Румянцева. Укажите ему (Румянцеву), как поступает Англия, как она без стеснения забирает все. Португалия — ее союзник: она отбирает у нее Мадеру. Только путем энергичных и решительных действий можем мы довести до наивысшего предела величие наших империй; только таким путем Россия может осчастливить своих подданных и положить основу благосостоянию своего народа. Это главное. Что за дело до остального?

Императору плохо служат здесь. Два русских корабля, которые стоят уже четыре месяца в Порто-Феррайо, не хотят выйти из этой дрянной гавани, где они гибнут, а между тем они могли бы идти в Тулон, где у них всего будет вволю. Русские корабли, которые в Триесте могли бы принести пользу общему делу, а там они бесполезны и я не ручаюсь, что, если англичане осадят Лиссабон, Сенявин не поcодействует его защите и кончит тем, что попадет в плен. Необходимо, чтобы министерство дало определенные приказания этим эскадрам и сказало им, на мирном или на военном они положении. Это mezzo termine ни к чему не ведет и недостойно великой державы. За сим, молю Бога, и т. д.

Р. — Moniteur познакомит вас с последними известиями из Англии, если вы их еще не знаете.

Париж, 6 февраля

Генерал Коленкур, 2 февраля я послал вам письмо с господином Арбергом. 5-го была охота в Сен-Жермент; я приказал пригласить на нее Толстого и долго беседовал с ним. Он говорил мне о заметках в Moniteur, высказал опасение, что мы не эвакуируем Пруссии и дал мне заметить странные вещи. Датский посланник Дрейер, который часто беседует с ним, написал в этом духе своему двору. У этого человека

превратные понятия о могуществе Англии; он утверждает, что ни в Финляндии, ни в Скании ничего сделать нельзя. Если бы это и было так, зачем говорить это. Я нашел в его разговоре прямоту, но мало идей и одну только мысль: страх перед Францией. Я обратил его внимание на то, что все выходки его посольства ведут к тому, чтобы уронить доверие к императору Александру и внести тревогу в страну; что относительно эвакуации Пруссии мы не заключали с императором условий sine gua non, что необходимо считаться с обстоятельствами: что дела с Австрией были окончены только пятнадцать дней тому назад, когда были выведены войска из Браунау; что тильзитским договором не установлено время эвакуации Пруссии, равно как и время эвакуации Молдавии и Валахии; что моя главная цель — идти вместе с Россией; что не следует бояться Франции и не доверять ее намерениям.

Париж, 17 февраля.

Генерал Коленкур, только что получил ваше письмо от 29 января. Шампаньи представил мне ваши депеши. Вы найдете при сем перехваченное письмо г. Дрейера, которое познакомит вас с дурным направлением Толстого. По получении ваших писем я написал, как говорил вам, Бернадоту, чтобы он переправил 12 000 человек в Сканию, и вот Толстой стал поперек дороги и причинил беспокойство Дрейеру. Обратите внимание, что письмо Дрейера от 12-го; а это доказывает, что разговор с Толстым был у него 12-го, а, между тем, мой разговор с Толстым в Сен-Жермене происходил 5-го; после этого разговора он написал письмо и, по-видимому, этот разговор должен был рассеять его опасения. Вы воспользуетесь письмом Дрейера постольку, поскольку найдете это удобным. Толстой мало расположен к Румянцеву. Если его не отзовут, что очень важно, то пусть император напишет ему или прикажет написать. Надеюсь в скором времени получить от вас письмо, так как мой курьер должен был приехать к вам несколько дней спустя после отъезда вашего. Очень желаю знать, что думают об ответе в Moniteur на английскую декларацию. Не следует беспокоиться о русской эскадре; но необходимо, чтобы известили ее, на мирном она положении или на военном. Моя тулонская эскадра, состоящая из 9 кораблей, ушла 10 февраля, чтобы снабдить провиантом Корфу, отвезти туда необходимые боевые запасы и другие предметы и затем очистить от пиратов Средиземное море. Мои брестская и лориентская эскадры также ушли, чтобы гоняться за англичанами и присоединиться в указанном месте к тулонской эскадре. Но оба русских корабля, которые стоят у острова Эльбы, не хотят придти в Тулон. Если бы они получили приказания, это принесло бы пользу общему делу, а им было выгодно приобрести опыт в морском деле. Равным образом я приказал бы взять эскадру, которая в Триесте, и ввести ее в одну из моих гаваней, если бы она получила на то приказания, но ни одна эскадра не получает определенных предписаний, а здешний посланник не дает им надлежащих указаний. Не знаю, от чего это зависит; указываю только на факт. После вашей депеши от 29 января я написал два письма императору. Я еще не получил его письма, о котором вы мне сообщаете и которое мне, вероятно, передаст граф Толстой завтра. Что же касается дел с Испанией, я ничего не скажу вам о них; но вы должны понять, что мне необходимо заставить действовать государство, которое не приносит никакой пользы общему делу. Мои войска вошли в Рим; бесполезно говорить об этом; но если с нами заговорят, скажите, что, так как папа — религиозный глава моей страны, то мне подобает упрочить за собой духовную власть — тут дело идет не о территориальном расширении, а о мерах предосторожности.

P. S. — 18 февраля — Я только что видел Толстого, который вручил мне письмо императора. Я много говорил с ним. Думаю, что, если ему окажут доверие и будут хорошо руководить из Петербурга, тогда безразлично, кто здесь будет посланником, он или другой. В моих предыдущих письмах я в достаточной мере обрисовал его, теперь обрисую его окончательно в двух словах: это дивизионный генерал, который не сознает, что не следует говорить того, что он говорит: он немного в разладе с направлением двора, но все-таки предан императору. — Принц Понте Корво пишет мне от 11-го, что ему предстоит свидание с наследным принцем в Киле и что он немедленно выступает в поход. Вы понимаете, что я не могу пройти через остров Рюген, ибо там у меня нет кораблей, чтобы защитить путь; но сегодня я пишу, чтобы войска были посажены на суда, чтобы и с этой стороны угрожать шведскому королю.

— О переговорах с Англией нет и речи; но все идущие оттуда слухи доказывают, что желают всеобщего мира и сознают безумие теперешней борьбы. Впрочем скажите императору, что переговоры не будут ни приняты, ни начаты прежде, чем я не сговорюсь с ним. Думаю, что он во всяком скучае получит Финляндию, что будет для него выгодно, ибо тогда красавицы Петербурга не будут слышать пушечных выстрелов.

Париж, 6 марта 1808 г.

Генерал Коленкур, Шампаньи не так давно отправил к вам курьера, с которым я не писал вам, ибо мне нечего было сказать вам. Я получил ваши письма от 26 февраля. Подожду ответа императора и вашего курьера, и тогда напишу вам. Принц Понте-Корво вступил в Гольштейн 3 марта. Думаю, что теперь он уже на берегах Балтийского моря. С ним более 20 000 человек, что с 10 000 человек, которых могут дать ему датчане, составит корпус в 30000 человек. Если погода будет благоприятна, он скоро будет в Швеции, и желаемая императором диверсия скоро состоится. — Королева Каролина имела дерзость объявить войну России: она захватила стоявший в палермской гавани русский фрегат и подняла в нем флаг Сицилии. Посланник и консул России со свитой, прибизительно в шестьдесят человек, высадились в Чивита-Веккии и находятся теперь в Риме. — Герцог Мондрагон уехал. — Полагаю, что мое последнее письмо рассеяло беспокойство насчет набора лошадей и рекрутов. Если остались еще некоторые облачки, вы можете добавить, что вся моя гвардия вернулась; что тридцать полков отозваны во Францию; что несколько тысяч человек, признанных инвалидами или хромыми, оставили армию и не были замещены; что все вспомогательные войска, приблизительно сто тысяч человек, распущены по домам; что большой корпус под командой принца Понте-Корво идет в Швецию, и что, в действительности, великая армия уменьшена более чем на половину своего прежнего состава. — Вам, конечно, не будут говорить о делах в Испании; но в случае, если с вами заговорят о них, вы можете сказать, что, царящая при дворе и в управлении анархия вынуждает меня вмешаться в ее дела; что уже три месяца ходят слухи, что я отправляюсь туда; однако, это не должно помешать нашему свиданию.

Вы знаете, что во Франции я в два-три дня проезжаю двести лье. Следовательно, это ни в каком отношении не может задержать дел. — Шампаньи посылает вам ноту, которая была отослана Себастиани; вы можете показать ее в министерстве. Я сделал запрос Порте, как поступит она, если ей не будут возвращены Валахия и Молдавия и какие в ее распоряжении средства заставить эвакуировать их. Она ответила, что начнет войну, и представила огромный список своих средств. — Не забудьте, что прусский посланник все еще в Лондоне; и хотя говорят, что ему приказано вернуться, он не возвращается. Ничто не может сравниться с глупостью и недобросовестностью мемельского двора. — Алопеус старается убедить меня, что англичане желают мира. Шампаньи посылает вам копию письма, которое он хочет написать[1]. За сим, молю Бога и т. д.

Генерал Коленкур, Сен-Аньян в два часа пополудни; теперь шесть. Дела в Испании давно требуют моего присутствия. Я отказывался от этой поездки из опасения, что данное вам полномочие условиться о дне свидания заставило императора уже уехать. Из присланных вами многочисленных денег вижу, что свидание отложено. Раз это так, я после обеда уезжаю в Бордо, чтобы быть в центре дел. Вот ваше руководство для дел в Испании. Приложенный при сем Moniteur познакомит вас с опубликованными в Мадриде актами. Но известия, которые я получил сегодня утром с курьером, меняют положение вещей. Король Карл протестовал и заявил, что его сын заставил его подписать отречение от престола; если бы он не подписал, грозили ночью убить королеву, 23-го моя армия вступила в Мадрид, где ей был оказан великолепный прием. Мои войска размещены в городских казармах и расположились лагерем на высотах. Я не признал принца Астурийского и, быть может, и не признаю его, но я еще не уверен в этом. Несчастный король бросается в мои объятия и говорит, что его хотят убить. Был вызван бунт с целью убить принца Мира. К счастью, мои войска пришли вовремя и спасли его: принц еще жив. Великий герцог Бергский прибыл в Мадрид четыре часа спустя после войск. Церемониал помешал ему иметь

[1] Об этом поползновении начать переговоры с Англией см. недавно вышедший том Мартенса, Treités de la Russie, XI, 150—151.

свидание с новым королем, так как он не знал, признаю ли я его. Письма короля Карла вызывают слезы. Сообщаю это для вас лично: храните это в тайне. Вы можете намекнуть об этом императору и испанскому посланнику — он приверженец принца Мира и будет говорить в вашем духе. Вы скажете императору, что я откладывал поездку в Испанию, чтобы не опоздать на свидание, но что я уехал через два часа по получении ваших писем. На днях отвечу на все ваши депеши. Передавая императору Moniteur, вы скажете ему, что я ни при чем в делах Испании; что когда произошли эти события, мои войска были в 40 лье от Мадрида; что все ненавидят принца Мира и любят короля Карла. Равным образом вы скажете ему, что короля принудили подписать отречение и что вы не будете удивлены, если я приму решение восстановить его на троне. Дурные языки в Петербурге скажут, что я руководил всем этим. За сим да хранит вас Бог.

Байонна, 18 апреля 1808 г.

Генерал Коленкур, в Байонне я получил ваше письмо от 24 марта. Вы должны были уже получить мое письмо. Я уехал непосредственно за прибытием вашего курьера в Париж. Если бы он привез извещение, что день свидания назначен, я немедленно же отправился бы на свидание. Радуюсь успехам русского императора в Швеции. Надеюсь, что дела не задержат меня надолго здесь. Инфант Дон Карлос здесь. Жду бывшего короля Карла, который очень желает поговорить со мной, а также жду принца Астурийского — нового короля. Дела в Испании очень запутываются. Вы скажете императору, что король Карл протестует против своего отречения и всецело полагается на мою дружбу. Это ставит меня в очень затруднительное положение. Скажите это только одному императору. Надеюсь, однако, вскоре освободиться от всего этого. Вы вскоре получите записку о делах в Константинополе. Пока же вы не должны скрывать от Румянцева, что в этом деле есть шероховатости, и что если причиной тому ультиматум России, трудно будет уладить дело; но я не думаю этого, что я просил о свидании не из простой формальности, а потому, что предвидел эти затруднения; что нужно тридцать курьеров, чтобы покончить с этим делом; что тридцать курьеров по два месяца каждый потребуют трех лет, а мы кончили бы все в тридцати совещаниях, по два на день, что заняло бы пятнадцать дней. Маршал Сульт собрал все корабли, стоявшие около острова Рюгена. Принц Понте-Корво в Фионии. У него 15000 французов, 15000 испанцев, 15000 датчан. Он уже прошел бы, если бы Дания так долго не виляла с вопросом о разрешении пройти по ее территории. Теперь она находит, что он достаточно быстро идет; чудес не бывает. Теперь, быть может, весна помешает переходу. Но постараются сделать даже невозможное, и диверсия все-таки имеет свое значение. Я только что получил манифест шведского короля. В нем сплошная ложь. Мне не известно, занимались ли политикой во время попойки генерал Гранжан, которого я не знаю, и другие офицеры. Впрочем, не следует придавать значения болтовне военных и притом в присутствии неуполномоченных лиц. Во всяком случае, мне трудно поверить, чтобы это была правда. Мы слишком большие друзья Дании, чтобы думать об отобрании от нее Норвегии. Что же касается г. Бурьена, все это ложь: он ответит за это обвинение. Так как он служит по дипломатической части, то, если это окажется верным, он будет строго наказан. Но как сделал он то, что ему приписывают, раз он не видал шведского посланника в Гамбурге? Нельзя себе представить более безумного манифеста. Повторите же Румянцеву, что турецкий вопрос — дело весьма запутанное; что желательно свидание без предварительных условий. Не переставайте настаивать, что это не простая формальность, а средство быстро уладить все вопросы. Я нахожу, что вы говорите недостаточно внушительно и недостаточно защитили мои интересы. В ожидании будущего Россия уже обладательница чудной провинции, каковой результат более чем не отвечает ее делам, но я ничуть не завидую ей в этом.

У меня нет времени писать больше. Я сильно занят здесь делами, которые доставляют мне много хлопот. Дарю отправит вам это письмо эстафетой. За сим молю Бога и т. д.

Байонна, 26 апреля 1808 г.

Генерал Коленкур, при сем найдете письмо Дрейера, из которого вы увидите, что Толстой по-прежнему невозможен. Говорю это только для вашего руководства. Французские журналы полны глупостей. Что принц

Мира оставил так много денег, это — неправда; не было найдено ни одного су. Сегодня вечером жду приезда этого несчастного человека, которого мои войска вырвали из рук испанцев. Его заперли в тюрьму, где жизнь его висела на волоске и где он поминутно слышал крики населения, которое хотело вздернуть его на фонарь. Когда мне его передали, он не брился семь дней и более месяца не менял рубашки. У меня здесь принц Астурийский, с которым я обхожусь хорошо, но которого не признаю. Через три дня я жду короля Карла и королеву. Испанские гранды приезжают сюда ежеминутно. В Испании все спокойно. Все крепости в наших руках. Мадрид, где находился великий Бергский, занят 60 000 человек. Отец обвиняет сына, сын обвиняет отца. В Испании много партий. Думаю, что развязка близка. — Если с вами заговорят об экспедиции в Сканию, вот каково положение дела: Я мог начать эту экспедицию только с 40 000 человек. У принца Понте-Корво было 15 000 французов и 15 000 испанцев. Необходимо было, чтобы датчане дали 10000 человек. Но я желал, и должен был желать, чтобы эти 40 000 человек высадились сразу; если бы одна часть высадилась, а другая осталась на другом берегу, экспедиция не удалась бы, и пришлось бы отдать войска на избиение. Вы понимаете, что я не мог допустить подобной ошибки. Принц Понте-Корво поехал в Копенгаген, и увидал, что средств к переправе хватает только на 15 000 человек; следовательно, нужно было бы совершить три поездки. Итак, переправу пришлось отложить. Ему приказано было переправить сразу все 40 000 человек; вот суть дела. В настоящее время датский король может сосредоточить свои войска в Зеландии; у него 25 000 человек. Я приказал принцу Понте-Корво переправить 6 000 человек. Следовательно, Дании нечего бояться. Если она боится, ее страх не имеет основания, если только эти люди не из картона.

Албанцы только что убили без всякого повода и причины полкового командира и четырех итальянских офицеров. В Константинополе царит страшное волнение. Все налаживается к тому, чтобы свидание, которое, по моему расчету, может состояться в июле, привело к доброму результату. Для этого следует, чтобы Россия проявила поменьше честолюбия. У меня нет известий из Австрии; я вижу, что она то вооружается, то разоружается; мне неизвестно, что она делает. К вам скоро

приедет курьер Шампаньи с первыми нотами о делах Турции. Повторяю, жаль, что свидание не состоялось; вместо того, чтобы быть здесь, я был в Эрфурте. Думаю, что потребуется слишком много времени, чтобы придти к соглашению через курьеров. За сим молю Бога и т. д.

— P. S. — Сию минуту получил ваше письмо от 5 апреля. Я нахожу, что вы слишком беспокоитесь о шведском походе. Мне доставляет удовольствие все, что делает император, но не требуется, чтобы вы так усердствовали. У вас имелись инструкции по вопросу о Финляндии; вам не были даны инструкции для остального.

Мне известно, что в Петербурге жалуются на то, что я не делаю подарков офицерам, которые привозят депеши. Дело в том, что я ни одного из них не видел. У нас принято, что я делаю подарки только тем офицерам, которые передают непосредственно мне письма императора. Если они передают письма в посольство, я их не знаю. Если же желают, чтобы с офицером обошлись с должным вниманием, необходимо, чтобы его фамилия была упомянута в письме государя. Если бы, например, в письме было сказано: «Посылаю вам одного из моих офицеров», не называя его, этот оставшийся неизвестный офицер не может рассчитывать на особый почет. Впрочем, к императору относятся с таким уважением, что офицеры его принимаются здесь очень хорошо. Но когда они доставляют депеши в посольство, они не представляются. Даю вам эти подробности для вашего руководства.

Следующее письмо без числа; оно было написано в последних числах апреля или в начале мая.

Господин Коленкур, я получил ваше письмо от 12 апреля. Поздравьте от меня императора со взятием Свеаборга. — Вы уже получили объяснения по поводу копенгагенских дел. Дело в том, что нужно иметь возможность переправиться и притом переправиться, по крайней мере, с 30 000 человек за раз, ибо нельзя поручиться за вторую переправу, и если первые высадившиеся войска будут изолированы, они рискуют потерпеть неудачу. Принц Понте-Корво шел форсированным маршем в надежде, что Бельты будут покрыты льдом. Он сам отправился в Копенгаген, чтобы обеспечить себе средства к переправе, и, видя, что можно за раз переправить только 15 000 человек, прекратил поход. Но движение войск продолжается, и несколько тысяч

человек переправились в Зеландию. Но эти операции могут совершаться только с большой осторожностью. — Вот Финляндия и русская провинция. — Турецкие дела требуют больших разговоров. Досадно, что император отложил свидание. Вместо того, чтобы ехать в Испанию, я был бы в Эрфурте. Надеюсь, что через десять-двенадцать дней я кончу здесь мои дела. — У меня здесь король Карл и королева, принц Астурийский, инфант Дон-Карлос, — одним словом, вся испанская семья. Они крайне раздражены один против другого. Разлад между ними дошел до последней степени. Все это может кончиться переменой династии.

— Для вашего руководства скажу вам, что с приезда Алопеуса я ни слова не слыхал об Англии, и лишь только что-нибудь узнаю, Россия тотчас же будет извещена об этом; там должны рассчитывать на это. — Равным образом я ничего не слышу об Австрии, и мне ничего неизвестно о ее вооружениях. Со всех сторон мне доносят, что в Венгрию отправляется огромное количество пушек, провианта и войск. Нужно, чтобы Россия непременно знала об этом, и знала бы также что предо мной австрийцы отрицают эти вооружения, или по крайней мере, говорят, что они незначительны. За сим молю Бога и т. д.

Байонна, 8 мая 1808 г.

Господин Коленкур, прочел присланное вами[1] сочинение о французской тактике. Я нашел, что в нем все сплошь неверно и пошло. За сим, молю Бога, да сохранит он вас.

Байонна, 31 мая 1808 г.

Господин Коленкур, получил ваши письма от 28 апреля и от 4 и 7 мая. Министр иностранных дел, должно быть, писал вам. Я не одобряю того, что вы написали в вашей записке императору. Французскому посланнику не подобает писать, что русские должны идти в Стокгольм. — Здешние дела вполне закончены. Вы найдете при сем мою прокламацию к испанцам. Испанцы

---

[1] Дело идет о появившемся в России сочинении, которое достал себе Коленкур.

спокойны и даже преданы мне. Англичане, привлеченные желанием поживиться от испанских дел и надеждой захватить самые крупные суда, явились перед Кадиксом с сильным флотом. Но с ними не захотели разговаривать. Они отправили парламентера на корабль в 80 тонн; по ним стреляли калеными ядрами и сломали у них мачту. — Мне кажется, что вы не в достаточной степени высказываете мой довод. Я хотел свидания, чтобы постараться устроить наши дела с Россией. В России не хотели свидания, так как хотели его только при известных условиях и в том случае, если я заранее соглашусь на все, что предлагает Румянцев. Но для того, чтобы переговорить об этих делах, я и желал свидания. Тут софизм, который вы не в достаточной мере уловили и не дали почувствовать. В настоящее время мои намерения те же: я желаю свидания. С 20 июня я свободен, но я хочу свидания без условий. Кроме того, нужно условиться заранее, что я не принимаю предложенных Румянцевым основ, которые для меня слишком невыгодны. Я сказал императору Александру: примирите интересы обеих империй. Но жертвовать интересами одной империи ради другой и даже ставить ее в зависимое положение не значит примирять интересы обеих империй. К тому же тогда между нами неизбежно произойдет столкновение, ибо Россия, владея выходами из Дарданелл, будет у врат Тулона, Неаполя и Корфу. Поэтому необходимо, чтобы вы дали понять, что Россия хочет слишком многого и что немыслимо, чтобы Франция могла согласиться на эти сделки; что этот вопрос крайне трудно решить и что оттого-то я и хотел попробовать сговориться во время совещания. Сущность великого вопроса все в том же: кому будет принадлежать Константинополь? За сим молю Бога, да сохранит он вас.

Байонна, 15 июня, полдень.

Господин Коленкур, Талейран заболел и остался в Берлине[1]. Ваши письма от 22 и 25 марта привезены мне эстафетой. Для вашего руководства вы найдете при сем бумаги, которые познакомят вас с тем, что произошло

---

[1] Здесь говорится не о князе Беневентском, а об одном из его родственников, которому поручалось отвозить дипломатические депеши.

в делах Испании. Завтра собирается здесь совет; он довольно многочислен. Испанский король уже признан, объявлен по всей Испании и скоро уедет в Мадрид. Я не оставляю за собой ни одной деревни. Испанская конституция очень либеральна; народное представительство сохраняет в ней все свои права. — Англичане поджигают испанцев; несколько городов подняли знамя мятежа; но это пустяки и, когда вы будете читать это письмо, вероятно, все будет успокоено. Несколько летучих отрядов дали уже пять-шесть уроков. — Я согласен на свидание. Предоставляю вам назначить время. Вы не получите этого письма раньше 1 июля. Император ничего еще не решит до 15-го. Вы должны предупредить меня с таким расчетом, чтобы оставалось 16—18 дней на доставку вашего письма, 10 дней мне на поездку на свидание и 5—6 дней на приготовления. Следовательно, требуется, чтобы император не выехал к месту свидания раньше 35-го дня после отправки вашего письма из Петербурга. Поэтому свидание не может состояться раньше сентября, и, откровенно говоря, я предпочитаю это время года всякому другому; во-первых, потому что не будет так жарко, а во-вторых, я кончу здесь мои дела и могу несколько дней пробыть в Париже. — Несколько полков переправились в Зеландию. Флиссингенская эскадра выходит на рейд. Англичанам причиняют всевозможные беспокойства. Два русских корабля теперь в Тулоне, где их приводят в порядок. — Вы не приминете заметить, что Франция ничего не выиграет от перемены династии в Испании, если не считать большей безопасности в случае общей войны, и что Испания будет более независима под управлением одного из моих братьев, чем под управлением Бурбона; что к тому же ею так плохо управляли, она до такой степени была отдана во власть интриги, в народе царило такое брожение без определенной цели, что реформа сделалась необходимой. — Думаю, что император прав, не обращая внимания на недавнее новшество в английских эскадрах; но ему нечего бояться их, что я и сказал русскому офицеру, который недавно уехал отсюда. Единственное, что могло бы внушить беспокойство — это острова, если бы их не успели укрепить. — Сообщите мне, что представляет из себя маленький Монморанси. Оправдал ли он то, чего можно было ожидать от его молодости? Скажите испанскому посланнику, чтобы он вел себя корректно, что новый

король утвердит его и пришлет ему полномочия; что он должен говорить в благоприятном смысле, и должен всегда, как на непреложный довод, опираться на конституцию, которая преобразует и доведет его родину до такого процветания, какого никогда нельзя было бы ждать от управления Бурбонов.

P. S. При сем вы найдете коротенькую записку по-испански, с которой познакомитесь, а затем передадите испанскому посланнику. — Как вам известно, за месяц до своего назначения испанский король был избран кастильским советом и городом Мадридом. Впрочем, пишу все это для вашего руководства. Чем меньше будут говорить с вами об этом, тем менее следует поднимать разговор.

Байонна, 16 июня 1808 г.

г. Коленкур, несколько актеров из Оперы бежали из Парижа в Россию. Мне желательно, чтобы вы не знали о их дурном поведении. У нас в Париже не будет недостатка в танцовщиках и актрисах. За сим молю Бога и т. д.[1].

Париж, 28 июня 1808 г.

г. Коленкур, только вчера получил ваше письмо от 4-го. Как видно, ваш курьер заболел в Кенигсберге. Вероятно, вы уже получили мое письмо от 15-го. Вы найдете при сем новые бумаги относительно испанских дел; впрочем, вероятно, вы уже прочли их в Moniteur. Несколько провинций подняли знамя мятежа; их усмиряют. Для России результатом этой кампании будет то, что одна часть английского флота, предназначенного для Балтийского моря, отправится в Америку, а другая — в Кадикс. Я с прискорбием узнал, что русские потерпели несколько неудач на севере Финляндии. Несколько полков пришли в Копенгаген. В настоящее время поход не состоялся, но все может легко устроиться в будущем ноябре. До ноября осталось только четыре месяца, следовательно, нельзя терять времени. Нужно,

[1] Это коротенькое письмо — единственное из всей серии, которое в рукописи находится в национальных архивах; оно было опубликовано под № 14, 107 в Correspondance.

чтобы Россия убедила Данию обратиться ко мне с просьбой переправить в Норвегию 40 000 человек, и чтобы русские солдаты готовы перейти Финский залив, когда он замерзнет. Встреча произойдет в Швеции, и тогда англичане вынуждены будут уйти оттуда с позором, и Швеция была завоевана. Скажите императору, что через 15 дней я буду в Париже. Вы понимаете, что, прежде чем говорить с ним об испанских делах, я желаю знать, как на них посмотрят в Петербурге. Вы должны были уже получить от Шампаньи инструкции о том, что вам следует говорить. Испания не будет иметь для меня большей ценности, чем прежде имела. Испанский король уезжает послезавтра в Мадрид. Посылаю вам статью из венского журнала, которую нахожу нелепой. Покажите ее в Петербурге и сообщите, что о ней думают. За сим, молю Бога, да хранит он вас.

Байонна, 9 июля 1808 г.

Г. Коленкур, вы найдете при сем новую испанскую конституцию и бюллетень последнего заседания совета с принесенной на нем присягой. Король уезжает в Мадрид завтра в 5 часов утра. Вот назначенные королем министры: по министерству иностранных дел Кеваллос, тот же самый, что был раньше, государственный секретарь. Уркино, который был первым министром шесть лет тому назад, по министерству внутренних дел Жовелланос, бывший министр юстиции, который был сослан на Минорку; по морскому — Маззаредо; по военному — Офрилл; по министерству по делам Индии— Аланза; по финансам—Кабаррус. Получил ваше письмо от 17-го. Досадно, что английская статья произвела дурное впечатление на императора. Я вторично дал приказание по министерству полиции смотреть за тем, чтобы ничего враждебного нашему союзу с Россией не печаталось. — Я уже писал вам насчет французских актеров и актрис, которые находятся в Петербурге. Их могут оставить у себя и забавляться ими, сколько угодно. Тем не менее император прав, говоря, что его агенты поступили дурно, сманив наших актеров. Бегству этих людей посодействовал Бенкендорф. Если представится случай говорить об этом, скажите, что я с своей стороны очень рад, что у нас в Париже есть чем позабавить императора. Вы найдете при сем два письма к императору, одно — относительно смерти великой

княжны — уже давно написанное. Не понимаю, как могли забыть отправить его вам. Вы должны исходить из того положения, что я не знаю, чего хочет Австрия; что она сильно вооружается; что успешно принимает меры для этого; что строит крепости в Венгрии; что, говорят, она разрушает стены Кракова и выводит войска из Галиции. Когда спрашивают у австрийцев объяснений насчет вооружений, они отвечают, что совсем не вооружаются. Однако, это более чем очевидно. До сих пор я смотрел на это с сожалением. Думаю даже ничего не говорить об этом. Тем не менее, если это надоедает императору, мы можем через Андреосси и князя Куракина сообща приказать сказать им, чтобы они разоружились и оставили всех в покое. У меня с ними нет никакой распри; мы стоим на самой дружеской ноте. В сущности, эти вооружения приносят вред только им, ибо расстраивают их финансы.

P. S. — Король уехал сегодня утром. Я проводил его до границы. Весь Совет провожал его приблизительно в ста экипажах, но эти экипажи были снаряжены немного поспешно.

Англичане во множестве крейсируют перед Кадиксом и Ферролем с целью поддерживать восстание. Я уверен, что второй флот, который был предназначен в Швецию, отправлен в Кадикс и другие места. Таким образом, это отвлекает их от того, что делает Россия.

Байонна, 21 июля 1808 г.

Г. Коленкур, вы должны поблагодарить императора за то, что он приказал сказать мне относительно испанского короля. Он не имеет дела с неблагодарным, и так как он, не дожидаясь моей просьбы, сделал дело мне столь приятное, то вы сможете сказать ему, что я только что дал приказания покончить дела с Пруссией. При этом летний сезон подходит к концу, а зимой мои войска не будут в состоянии ее очистить. Я хотел дождаться исхода моих переговоров с императором, но, так как они отложены, а зима приближается, вы скажете, что, ввиду того, что дела в Турции почти что улажены, весьма вероятно, что по получении этого письма договор с ней будет уже подписан. Испанские дела идут хорошо. 14-го маршал Бессьер одержал славную победу, повлекшую за собой покорение Леонского королевства и северных провинций. Рассказывая об

этом императору, вы скажете ему, что англичане всюду в Испании подливают масла в огонь, что они сыплют деньгами, вступают в сношения с монахами и что, вероятно, теперь там идет смута. Сегодня ночью я уезжаю, чтобы объехать мои южные провинции, и оттуда вернусь в Париж, куда приеду до 15 августа. За сим, молю Бога, да хранит он вас.

Рошфор, 5 августа.

Находясь постоянно в разъездах (пропуск в тексте) — я спешу отправить его с извещением о происшедших за это время переменах. Вчера прибыл курьер с известием об ужасной катастрофе с генералом Дюпоном. Этот генерал, углубившись в Андалузию, дал отрезать себе отступление, дал себя окружить, отделить от двух своих дивизий и после плохо обдуманного и плохо веденного дела сдался на капитуляцию. От восьми до девяти тысяч французов вынуждены были положить оружие, равно как и два или три швейцарских полка, состоявших на службе Испании и перешедших на нашу сторону. Это одно из самых необычайных по нелепости и глупости дел. При настоящем положении вещей это событие произвело огромное впечатление в Испании. Умы возбуждаются. Моя армия вынуждена будет очистить Мадрид, чтобы сконцентрироваться. В настоящую минуту 40 000 англичан высаживаются в разных местах. Сообщаю вам это известие для вашего руководства. Думаю, вам следует подождать прибытия курьера, который в скором времени будет вам отправлен, дабы, когда будете говорить о других новостях, у нас был предлог сослаться на его приезд и сказать, что у вас нет свежих известий. После крайне серьезного оборота, какой принимают дела в Испании, возможно, что эту зиму я оставлю на левом берегу Эльбы 150 000 французов, сверх 100 000 союзных войск. 80 000 человек я отправлю. В таком положении я проведу зиму. Данциг будет охраняться саксонцами и поляками. Польшу я предоставлю ее собственным войскам, чтобы не угрожать ни России, ни Австрии. Все это также только для вашего руководства. Все заставляет думать, что поступки Австрии обусловливаются страхом. Я оставляю достаточно войск, чтобы сдержать ее. Но, если она позволит Англии увлечь себя, она ошибется в своих расчетах. При существующих условиях мне было бы приятно, если бы император заговорил и довел до сведения Австрии о своем неудовольствии по поводу ее вооружений. — Вот и шведский король окончательно покинут англичанами. Сообщайте мне, что из этого выйдет. Дело темное. Я крайне доволен настроением французов в провинциях. Завтра я проеду через Вандею.

Рошфор, 6 августа 1808 г.

Генерал Коленкур, я писал вам вчера. Задерживаю мой отъезд из Рошфора на два часа, чтобы ответить на ваши петербургские письма от 16 и 17 июля, которые я только что получил. Австрия вооружается и становится заносчивой. Если только у нее нет какого-нибудь соглашения с Россией, эти вооружения и заносчивость смешны. Англичане высаживают много людей на берега Испании. В настоящую минуту это представляет для меня некоторое неудобство ввиду того, что это поразительно подстрекает к восстаниям в Испании и Португалии, но, по крайней мере, я утешаюсь тем, что эти события послужили диверсией в пользу императора и совершенно освободили его от врагов. Уезжаю для объезда Вандеи. 15 августа буду в Париже. Буду ждать там, что вы напишите мне относительно свидания. Вот уже год, как продолжается мой союз с императором; итак, он должен внушить доверие той и другой стороне. Я не далек от мысли вывести мои войска с границы Вислы и предоставить занимать ее полякам и саксонцам. Благодаря этому французский часовой будет отделен от русского расстоянием между Эльбой и Неманом. Если вы получаете английские журналы, вы увидите, что 5/6 заключающихся в них известий или неверны, или вымышлены. Я сообщил вам то, что есть в этих сообщениях верного. Лиссабону угрожают английские корабли и мятеж. Между русским адмиралом и генералом Жюно царит полное согласие; не знаю, что из этого выйдет. Я, однако, быстро подвигаю мои войска. Дела по-прежнему очень серьезны, так как часть испанской армии перешла на сторону англичан. Вы не премините вспомнить, что армия генерала Дюпона состояла из рекрутов, и, что это дело, хотя и крайне плохо руководимое, не случилось бы со старыми войсками, которые в своей душе нашли бы чем замазать промахи генерала.

Сен-Клу, 20 августа 1808 г.

Г. Коленкур, посылаю вам доклад морского министра и проект декрета, который он мне предлагает. Я не хочу принять его, не узнав предварительно, подходит ли это императору. Император делает бесполезные затраты, сохраняя ни к чему не годные корабли. Вооруженные транспорты не годятся для войны. Эти корабли совсем гнилые. Остается турецкий корабль, который можно было бы отправить в Анкону, где его разоружили бы. Вследствие этого останется не у дел довольно большое количество матросов. С этими матросами поступят так, как пожелает император: их или отправят в Россию, или я возьму их на свое иждивение и помещу экипажи трех пришедших в негодность кораблей на три моих флиссингенских корабля или на другие. Они будут на моем жалованье и будут служить на положении союзников. Офицеры приобретут познания, матросы приучатся к делу, и это принесет всем пользу. Но необходимо, чтобы эти экипажи числились, безусловно, на моей службе, ибо моя эскадра может пострадать, если в состав соединенной эскадры войдут независимые элементы. Поговорите об этом с морским министром. Может быть, было бы удобнее, если бы император или его министр сами приняли это решение? Вы должны настоять на том, чтобы турецкий корабль был отправлен в Анконскую гавань, где он будет разоружен. За сим молю Бога, да хранит он вас.

Сен-Клу, 23 августа 1808 г.

Генерал Коленкур, только что получил ваше письмо от 1 августа. Вчера я получил чудные подарки императора. Я заказал великолепную мебель, чтобы рельефнее выделить их; они действительно очень красивы. Генерал Коленкур, Монтескье везет вам два бюста императора, сделанных в Севре по присланной им модели. Кажется, уже изготовлено около пятидесяти штук. Поэтому вы можете выписать их, сколько вам угодно. Я видел в Севре красивый сервиз из египетского фарфора, который можно отправить императору 1 сентября. Надеюсь, что он будет доволен им.

Выказанные Дюпоном, Мареско и некоторыми другими глупость и трусость непонятны; они только и делали что глупость за глупостью. Это испортило мои дела в Испании и вынуждает меня приступить к рекрутскому набору, чтобы пополнить мои потери и быть всегда наготове. 1-й и 6-й корпуса и три драгунских дивизии великой армии отправились в Майнц. Я увожу с берегов Рейна количество войск, приблизительно равное тем войскам, которые я беру, чтобы подкрепить три корпуса маршалов Даву, Сульта и принца Понте-Корво. Я оставляю в Германии 60 эскадронов кирасир, три дивизии драгун и приблизительно двадцать полков легкой кавалерии. Впрочем, я поставил на военную ногу все войска Рейнской Конфедерации, так что я могу выступить против Австрии с 200 000 человек. Тем не менее, я очень желал бы, чтобы император приказал поговорить с Австрией, хотя у меня нет повода к распре с ней. Я заключил конвенцию с Пруссией и, если, как я думаю, у меня не будет ссоры с Австрией, Силезия и Берлин еще до наступления зимы будут в распоряжении Пруссии, что послужит серьезным поводом для успокоения Австрии и даже России. Нужно, чтобы князю Куракину в Австрии было дано полномочие, и чтобы ему было предоставлено сказать, что, если австрийцы сделают хотя бы малейшее неуместное движение, Россия присоединит к моим войскам сто тысяч человек. Сообщите мне, каковы намерения императора по этому вопросу. В его интересах, чтобы я быстро покончил с испанскими делами. Лишних тридцать тысяч человек могут ускорить взятие известной гавани и причинить огромный вред англичанам. До сего времени я взял из Германии приблизительно такое количество войск, какое посылаю, но, если бы я был уверен, что, если Австрия придерется ко мне, Россия будет действовать заодно со мной, я мог бы вывести оттуда гораздо больше войск, что было бы очень выгодно. Набор конфедеративных войск дорого стоит их государям. Поговорите об этом с императором. Если он сделает заявление венскому двору и, в случае нападения на меня Австрии, двинет 100 000 человек, я распущу войска конфедеративных государей по домам, что будет большим благодеянием для всей Германии. О Португалии ничего нет нового. По сей час оттуда нет известий. Ваше письмо пришло двумя днями раньше письма из Константинополя, которое Шампаньи посылает вам. Вы узнаете из него, что 28 июля Селим был убит, Мустафа свергнут с трона, и на его место посажен новый султан. Не верьте никакому дурному известию. Испания будет покорена, когда кончится жара,

которая превращает страну в безводную пустыню и делает ее невыносимой для наших войск.

Сен. Клу, 26 августа 1808 г.

Г. Коленкур, только что получил наше письмо от 9-го. Третьего дня уехал Монтескье: поэтому это письмо может дойти до вас раньше его. Вот что произошло. Два дня тому назад к Меттерниху прибыл курьер из Вены с извещением о решении его двора дать мне удовлетворение по всем вопросам и к первому сентября привести все в прежнее состояние. Меттерних получил даже приказание испросить у меня аудиенцию и на словах передал мне эти уверения, что он и сделал вчера до Комедии. Я дал ему часовую аудиенцию, в продолжение которой он расточал мне всевозможные уверения в добрых чувствах, и заявил, что его двор готов признать нового испанского короля. Итак, у меня есть основание думать, что к 1 сентября, т. е. через несколько дней, все вернется в прежнее состояние. Тогда я распущу по домам конфедеративные войска, и в Германии снова все будет спокойно. Конвенция с Пруссией еще не подписана; надеюсь, что это будет сделано завтра или послезавтра. Как только я увижу, что Австрия держит свои обещания, я постараюсь собрать 100 000 человек в Байоннском лагере. 1-й и 6-й корпус великой армии подходят к Майнцу. Англичане хотят напасть на Португалию. До 15 августа ничего нового в Лиссабоне не произошло. Жюно был в хорошем положении, равно как и русская эскадра. Благодаря крайней непредусмотрительности принца Понте-Корво, находящаяся на Севере испанская дивизия села на корабли и отправилась в Испанию; хотя я неоднократно говорил ему, что он должен разместить свои войска так, чтобы быть уверенным в них, но Ла Романа и другие испанские генералы вскружили ему голову. Вы можете говорить об этом деле. Вы можете сказать, что, не желая обезоруживать мои войска, я предпочитаю и перешедших на мою службу солдат лучше победить в Испании, чем лишать их оружия; но что эта измена возмутила меня, и изменники будут наказаны. Дела в Испании идут посредственно. Испанский король в Бургосе. Армия занимает линию Дуеро.— Сарагосса взята; каждый дом подвергался осаде, так что город совершенно разрушен и не существует более. Мои добрые войска прибывают со всех сторон, и тотчас же, как спадет жара, произойдет суровая расправа с мятежниками. Партия короля состоит из всех здравомыслящих людей, но они дрожат перед кинжалом монахов и перед настояниями английских агентов. Вам не следует так сильно торопить императора Александра действовать против Австрии, так как она, видимо, не хочет давать к этому повода.

Вы получите со следующим курьером доклады, сделанные в виде опровержения ложных слухов, по моему приказанию, Сенату о заключенных с испанским королем договорах, и реляции, которые ясно обрисовывают прошлые и настоящие события в Испании, хотя история с Дюпоном более чем верна. Он и Мареско высказали столько же глупости, сколько трусости и малодушия. Я подозреваю, что Виллутрей вел себя в этом деле не так, как подобает офицеру моей свиты. Вероятно, я не оставлю его при себе. Прежний испанский король все еще в Компьене, хворает подагрой. Принцы — в Валансей. Со времени последних известий из Константинополя мы ничего не знаем. За сим молю Бога и т. д.

P. S. — Количество бежавших с маркизом Ла Романа испанских войск доходит только до 5 000 человек; 7 000 остались в руках принца Понте Корво. Я приказал их разоружить и держать как пленников.

Сен-Клу, 7 сентября 1808 г.

Г. Коленкур, я только что получил ваше письмо от 23 августа. Уеду отсюда 20 сентября, чтобы вовремя приехать в Эрфурт. Генерал Удино уезжает, чтобы принять начальство над Эрфуртом. Гоффурьеры уезжают, чтобы приготовить квартиры. Батальон моей гвардии отправляется туда для несения гарнизонной службы. Маршал Ланн уезжает для несения гарнизонной службы. Маршал Ланн уезжает для встречи императора на Висле. Находящийся в Берлине маршал Сульт предупрежден, чтобы все было устроено, как подобает. Несмотря на все меры, боюсь, что в Эрфурте будет неудобно. Может быть, было бы лучше, если бы предпочли Веймар. Замок там великолепный и там бы-

ло бы удобнее. Я не могу припомнить причин, заставивших предпочесть Эрфурт. Если это сделано ради меня, мне было бы так же хорошо и в Веймаре. Тем не менее, в Эрфурте все будет готово. — Вы найдете при сем Moniteur, который познакомит вас с испанскими делами. Я имею известия из Португалии от 20 августа; в Лиссабоне все было в наилучшем виде; между русскими и французами наилучшие отношения, и те и другие готовы были защищаться против всякой случайности. Вчера состоялось в Сенате чрезвычайное заседание под председательством великого канцлера, на котором присутствовали принцы. Шампаньи прочел два доклада о текущих делах и сделал сообщение о многих договорах, заключенных с принцами испанского дома. Вследствие этого состоялось сенатское решение о наборе 160 000 ратников. Впрочем, все совершенно спокойно. В Испании мы берем верх; между мятежниками произошел разлад. Король выигрывает с каждым днем; прибывают сильные подкрепления, и все уже готово, чтобы двинуться вперед. Так как у императора нет особых дел, которые бы его задерживали в России, он хорошо бы сделал, если бы из Эрфурта проехал в Париж. Если вы думаете, что это входит в его планы, немедленно же уведомьте меня об этом. Вследствие вашего последнего письма неополитанский посланник Мондрагон уезжает из Парижа и продолжит свое путешествие. Испанский посланник получит вскоре новые верительные грамоты.

P. S. — К Moniteur'у от 5 числа прилагаю сегодняшний номер, в котором напечатаны разные документы относительно испанских дел. Не будет никакого неудобства, если вы передадите экземпляр Румянцеву и сообщите их содержание императору.

Сен-Клу, 7 сентября 1808 г.

Генерал Коленкур, маршал Ланн едет на Вислу навстречу русскому императору с назначением распределить все конвои и приветствовать государя: он передаст ему от меня письмо. За сим молю Бога и т. д.

Сен-Клу, 14 сентября 1808 г.

Г. Коленкур, только что получил ваше письмо от 29 августа. В вышедших номерах Moniteur, а вы уже нашли, а во вчерашнем номере, который я вам посылаю, найдете все документы, относящиеся к испанским делам. Среди мятежников царит величайшее смятение; мои войска быстро приближаются к Испании, моя армия крепнет с каждым днем. Испанский король в Бургосе, в тридцати лье от него нет ни одного неприятеля. — Император должен был встретиться с маршалом Ланном на Висле. Генерал Удино находится в Эрфурте, над которым он принял начальство. Часть моего штата уже прибыли туда. Князь Беневентский уезжает 16-го и приедет в Эрфурт 20-го. Шампаньи уезжает 18-го. Я уеду 20-го. Принц Невшательский поедет со мной. — Принц Вильгельм простился со мной сегодня утром. Все прусские дела кончены. Наконец, до 1 сентября состоится набор 80 000 рекрутов 1806, 1807, 1808 и 1809 гг. Набирать другие 80 000 я подожду; посмотрю, каков будет исход событий. Меня очень тронули слова императора. Последние известия из Лиссабона от 18 августа: в то время агличане, по-видимому, производили большие движения. Дальнейших сведений у меня нет.

Аранда де Дуеро, 27 ноября 1808 г.

Г. Коленкур, только что получил ваше письмо без числа, предполагаю, что оно от 5 ноября, Думаю, что Шампаньи сообщит вам с курьером обо всем, что произошло важного в Испании, как-то сражение при Бургосе, дела при Эспиноза и Тудела, в которых были истреблены армии Галиции, Астурии, Эстремадуры, Арагонии, Андалузии, Валенции и Кастилии. Генерал Сен-Сир тотчас же по взятии Роза, что случится в скором времени, вступит в Каталонию, чтобы соединиться с генералом Дюгемом, у которого в Барселоне 15 000 человек, вполне снабженных провиантом и находящихся в превосходном состоянии. Вы можете сказать императору, что через шесть дней я буду в Мадриде, откуда напишу ему. Нет ничего хуже испанских войск; 6 000 наших людей атакуют 20, 30 и даже 36 000. Это поистине сволочь; даже войска Ла Романа, которых мы вышколили в Германии, не выдержали. В конце-концов полки Замора и Принцессы постигла участь изменников; они погибли. Англичане сосредоточиваются в Португалии. Они двинули дивизии в Испанию, но, по мере нашего движения вперед, отступают. Несколько дней тому назад я отправил Шампаньи при-

казания ответить на ноту Англии. Что же касается Австрии, то ее поведение только смешно. Я оставляю в Германии 100 000 человек; в Италии у меня 150 000 и половина рекрутского набора; она уже в пути. Впрочем, главное дело здесь уже сделано. — Русский посланник в Мадриде был оскорблен чернью, которая забавлялась тем, что таскала по улицам и затем повесила двух состоящих на его службе французов. Впрочем, через несколько дней он будет освобожден. За сим молю Бога и т. д.

Мадрид, 5 декабря 1808 г.

Г. Коленкур, со вчерашнего дня мы в Мадриде. Бюллетени познакомят вас с событиями, которые имели место после сражения при Бургосе, после битв при Эспиноза и Тудела и сражений при Сомо-Сиерро и Ретиро. Англичане имели подлость дойти до Эскуриала, и оставаться там несколько дней; но при первом же известии, что я приближаюсь к (sie) Сомо-Сиерра, отступили, бросив испанский резерв. Говорят, что русский посланник уехал три недели тому назад в Картагену, где должен был сесть на корабль и уехать через Триест во Францию. Погода здесь чудная; совсем как май месяц. Наши колонны идут на Лиссабон.

Мадрид, 10 декабря 1808 г.

Г. Коленкур, вы найдете при сем полученное мною донесение о русском корабле. Смотря по тому, как найдете удобнее, можете сообщать или не сообщать императору.

Вальядолид, 7 января 1809 г.

Г. Коленкур, только что получил ваше письмо от 8 декабря. Бюллетени быстро следуют один за другим. Известия из Константинополя, известия из Австрии, а также необходимость быть ближе к Франции вынудили меня вернуться в центр, ибо отсюда до Луго 100 лье, что с обратной поездкой курьеров составит 200 лье. Я оставил герцога Далматинского с 30 000 человек для преследования отступающих англичан; маршал Ней стоит во второй линии на горах, отделяющих Галицию

от Леонского королевства. Герцог Далматинский должен быть уже в Луго. Возможно, что, когда вы получите это письмо, я буду уже в Париже. Скажите императору, что в Италии и Далмации я могу выставить против Австрии 150 000 человек, не считая неаполитанской армии; что на Рейне у меня 150 000 человек и, кроме того, 100 000 человек Конфедерации; что, наконец, при первом же сигнале я могу вступить в Австрию с 400 000 человек; что в настоящее время моя гвардия в Вальядолиде, где я дам ей отдохнуть восемь дней и затем направлю в Байонну; что я готов двинуться на Австрию, если она не изменит своего поведения, и, что если бы не желание не делать вреда нашему союзу, я уже начал бы войну с этой империей, ибо испанские дела, которые занимают у меня 200 000 человек, не мешают мне думать, что, раз я уверен в России, я вдвое сильнее Австрии; что единственное зло, которое я вижу в этом, то, что это стоит много денег; что я только что произвел набор еще в 80000 человек; что я желаю, чтобы мы приняли, наконец, подобающий тон с Австрией. Я же предлагал это в Эрфурте. Иначе нам не удастся покончить, как следует, турецких дел. Может быть, у нас был бы мир, если бы англичане не возлагали надежд на настроение Австрии. — Что касается русских кораблей в Тулоне, нет сомнения, что за них будет уплачено. Я только что написал по этому поводу. Вы можете уверить, что испанской армии более не существует, и если вся страна не покорена, то только потому, что очень грязно и нужно много времени; но всему бывает конец. За сим молю Бога и т. д.

Вальядолид, 14 января 1808 г.

г. Коленкур, при сем вы найдете письмо, которое я хотел написать императору; но я нашел, что в нем сказано слишком много для письма, которое будет сохранено. Посылаю его вам, дабы вы могли воспользоваться им как общей инструкцией. Я напишу императору менее содержательное письмо. За сим молю Бога и т. д.

Проект письма к императору Александру, посланного в виде инструкции для посланника

Мой Брат, давно уже не писал я В. И. В. Однако, это не значит, что я не вспоминал часто, даже среди грома орудий, о счастливых минутах, которые вы доставили мне в Эрфурте. Одно время я надеялся сообщить В. В. о захвате английской армии. Она ускользнула от меня только на двенадцать часов. Ручьи, которые в обыкновенное время очень мелки, вышли благодаря ливням, из берегов, а неблагоприятная погода задержала движение моих войск на 24 часа. Англичан жестоко преследовали. 4 000 англичан и остатки корпуса Ла Романа были взяты в плен, были взяты 18 пушек, от 700 до 800 повозок с боевыми припасами и багажом и даже часть их казны; по принятому у них нелепому обычаю они обязаны были сами убить своих лошадей. Дороги и улицы в городах были завалены трупами. Эта жестокая манера — убивать бедных животных — сильно восстановила против них население. Я лично преследовал их до гор Галиции. Далее я предоставил это дело маршалу Сульту. Надеюсь, что, если будут дуть противные им ветры, они не будут в состоянии сесть на суда. Они не возьмут с собой лошадей, которых осталось у них не более тысячи пятисот или тысячи восьмисот. Послезавтра король вступит в Мадрид. Угроза обойтись с ними, как с покоренной страной, и боязнь потерять самостоятельность сильно повлияли на них. У них нет больше армии. Если вся страна еще не занята, то только потому, что она велика и нужно на это время.

Когда Ваше Величество будет читать это письмо, я будут уже в моей столице. Моя гвардия и часть старых кадров возвращаются в Байонну. Я хотел сформировать мой Булонский лагерь, который сильно бы тревожил англичан, но вооружения Австрии помешали мне сделать это. Я собрал в Лионе 20000 человек, чтобы посадить их на мою тулонскую эскадру и пригрозить англичанам походом в Египет или Сирию, чего они очень боятся: вооружения Австрии опять-таки помешали мне сделать это. Я хочу приказать этим войскам перейти Альпы и вступить в Италию. Я имею верные доказательства, что Австрия дала обещание не признавать короля Жозефа. Ее поверенный в делах последовал за мятежниками. Он бежал из Мадрида и теперь находится в Кадиксе. Я располагаю верными доказательствами, что Австрия обещала снабдить мятежников 20 000 ружей. Англия надеялась поддержать смуту в Испании, заставить нас порвать с Турцией, заставить Австрию объявить нам войну и вместе со Швецией уравновесить наше могущество. Весьма сожалею, что Ваше Величество не приняли в Эрфурте энергичных мер против Австрии. Мир с Англией невозможен, пока останется хотя бы малейшая надежда вызвать смуты на континенте. Ваше Величество легко поймет, что я не придаю значения признанию Австрией короля Жозефа. Я придаю гораздо большее значение тому, чтобы она разоружилась и положила конец тревожному состоянию, в котором держит Европу. Я предчувствую, что война неизбежна, если вы, Ваше Величество, и я не заговорим с Австрией решительно и твердо, если мы не вырвем ее слабохарактерного монарха из вихря английских интриг, в который он вовлечен. Вашему Величеству известно, как мало придаю я значения ее войскам и вооружениям. Кто знает их лучше Вашего Величества? Тем не менее, не подлежит сомнению, что Европа переживает критическое время и что не может быть надежды на мир с Англией, пока не пройдет этот кризис. Если Австрия хочет мира, Ваше Величество и я ручаемся за него; пусть она разоружится; пусть признает Валахию, Молдавию, Финляндию под владычеством Вашего Величества и пусть перестанет ставить препятствия интересам наших государств. Если же она будет противиться этому, необходимо, чтобы наши посланники совместно сделали соответствующие шаги и уехали немедленно и одновременно. Император не позволит им уехать, и мир будет восстановлен. Если же он так ослеплен, что позволит им уехать, мы — вы и я — примем с общего согласия меры, чтобы покончить с государством, которое в течение пятнадцати лет постоянно терпит поражения, постоянно нарушает спокойствие на континенте и втайне потворствует влиянию Англии. Мое желание, равно как, вне всякого сомнения, и желание Вашего Величества, чтобы Австрия была счастлива, спокойна; чтобы она разоружилась и по отношению ко мне пользовалась миролюбивыми и деликатными средствами, а не прибегала к силе. Если это невозможно, нужно принудить ее оружием: вот путь к миру. Вы ви-

дите, Ваше Величество, что я откровенно говорю с вами. Из прямых источников я узнал, что Англия была крайне встревожена походом моих дивизий на Булон. Австрия оказала ей существенную услугу, заставив меня отменить его. Без сомнения. Ваше Величество вполне убежден в принципе, что даже одно облако на континенте помешает англичанам заключить мир. Если между нами сердечное единение, единство интересов и намерений, такового облака не должно быть; но необходимы доверие и твердая воля.

Вальядолит, 11 января 1809 г.

Г. Коленкур, сию минуту получил ваше письмо от 20 декабря. Посылаю вам Понтона, ибо мне казалось, что он был приятен императору. Император может пользоваться им, как ему будет угодно и сколько времени пожелает. — 9-го мы вступили в Луго. 9-го герцог Далматинский пришел в Бетансос, близ Коруньи. Англичане потеряли приблизительно половину своей армии, 600 повозок с боевыми припасами и багажом и от 3 до 4 000 пленных. Корпус Ла Романа совершенно уничтожен и рассеян. Вы можете, безусловно, верить бюллетеням, в них говорится все. Через четыре дня король торжественно вступит в Мадрид. За два месяца нация очень изменилась; она устала от народных волнений и очень желает видеть конец всему этому. Я уже сообщал вам, что с той минуты, как выражено было желание, чтобы на герцога Ольденбургского смотрели, как на члена императорской фамилии, не должно быть и подобия затруднений. Раз император дает ему титул Императорского Высочества, все кончено; даже в Париже его будут так величать. Русский император может сделать то, что сделал австрийский император и даже я сам. Всех членов одной семьи величают при чужих дворах так, как их величают при их собственных. Этот принцип уничтожает все препятствия. Вы напрасно делали из этого затруднения. Каждый вправе предписывать для своей семьи какие он хочет законы и, раз они предписаны для семьи, ни один посланник не имеет права считать себя равным. Вы не должны уступать старшинства ни принцу Ольденбургскому, ни его отцу, но должны уступить зятю русского императора, если он дает ему это звание при своем дворе. Но довольно об

этом. — Что касается Австрии, я предвидел то, что случилось. Если бы император захотел говорить твердо в Эрфурте, этого бы не было. Она обещала дать оружие мятежникам, и все было уже готово, чтобы отправить его из Триеста. У нее тайные обязательства с Англией и, чтобы открыто перейти на ее сторону, она ждет только затруднений с Портой. Император может рассчитывать на это. Если император не заговорит громко, война на континенте неизбежна. Австрия падет к нашим ногам, если мы сообща сделаем твердые шаги и пригрозим ей удалить наших посланников в случае, если не дадут того, чего мы требуем. Признание короля Жозефа ничего не значит само по себе. Оно важно только потому, что отказ придает смелость Англии и предвещает смуты на континенте. Разоружение Австрии — вот главное. Австрия не может сказать, что теперешний состав ее войск представляет ее обычное военное положение. У нее нет средств поддержать его. Она ставит Европу в критическое положение; ей и придется платить за битые горшки. Для вас одного: когда вы прочтете это, я буду в Париже. Рассчитываю вернуться 20 этого месяца. Вся моя гвардия в Вальядолиде и 2000 моих конных стрелков в Виктории. Я только что приказал приступить к набору 80000 рекрутов нынешнего года. Я готов ко всему. Но наш союз может поддержать мир на континенте только при условии, что заговорят решительным тоном и примут твердое решение. — Что же касается прусских дел, я не понимаю, о чем вы говорите. Договор с Пруссией был заключен до эрфуртских совещаний и с тех пор ничего не было в нем изменено. Я просил Румянцева остаться в Париже до 1 февраля. Я желаю видеть его в Париже, и мы посмотрим, следует ли сделать новый шаг. Дела здесь идут настолько хорошо, насколько можно желать. Я маневрировал так, чтобы овладеть английской армией; две случайности помешали мне: 1-е, переход через Пуэрто де Гвадаррама — довольно высокую гору и до такой степени непроходимую в момент нашего перехода, что она задержала на два дня наш поход. Чтобы заставить перейти ее, я должен был стать во главе пехоты. Артиллерия прошла только восемнадцать часов спустя. Нас встретили дожди и грязь, которые задержали нас еще на двенадцать часов. Англичане ускользнули только на один переход. Сомневаюсь, чтобы половина из них села на корабли; если же они и сядут

на корабли, то без лошадей, без припасов, страшно измученные, крайне деморализованные, а главное, с позором. По приезде в Париж напишу вам. За сим молю Бога и т. д.

Париж, 6 февраля 1809 г.

Г. Коленкур, только что получил ваши письма от 15 и 17 января. Мне прискорбно, что ваше здоровье расстраивается... Думаю, что Румянцев останется здесь еще несколько дней. Мы только что получили известия из Англии. Посмотрим, можно ли что-нибудь извлечь из них. Румянцев посылает их императору. Мой последний набор в 80 000 человек будет готов к военной службе раньше двух недель, так что в Германии у меня будет столько же войск, сколько было перед тем, как я взял оттуда часть их для испанской армии. В Италии у меня будет более сильная армия, чем когда бы то ни было. Я писал вам, что поведение Австрии помешало мне сформировать лагери в Булони, Бресте и Тулоне. Эти три лагеря навели бы ужас на Англию, потому что я мог бы угрожать всем ее колониям. Австрия глупеет с каждым днем, и я убежден, что не представится возможность вредить Англии, пока не заставим это государство разоружиться. За сим молю Бога и т. д.

Париж, 23 февраля 1809 г.

Г. Коленкур, получил ваши письма от 5 февраля. Письма, полученные вами по моем приезде в Париж, познакомили уже вас с положением дел. Англия заключила мир с Портой. Это является следствием соглашения Австрии с Англией. Английское посольство было торжественно принято в Константинополе интернунцием. Император, вероятно, подобно мне, будет возмущен этим попранием нейтралитета и чувства уважения, с каким должна относиться к нам Австрия. Вооружения продолжаются по всей Австрии. Мои войска, которые шли в Булон, Тулон и Брест, где вместе с эскадрой должны были угрожать Англии и ее колониям, вернулись обратно и целиком двинуты в Страсбург, чтобы создать там обсервационный лагерь из 80 000 человек. Герцог Риволи примет командование над этим обсервационным лагерем. Генерал Удино перешел со своим корпусом в Аугсбург. Вам известно, что этот корпус состоит из 12.000 человек гренадер и 4-х батальонов стрелков; четыре вновь сформированных роты этих батальонов выступили в поход, чтобы присоединиться к ним, что доведет этот корпус, вместе с кавалерией, приблизительно до 40000 человек. Я вытребовал для охраны шведской Померании войска из Мекленбург-Шверина, и приказал соединиться всем корпусам рейнской армии, состоящим из прежних корпусов маршалов Даву и Сульта, что составит 30 полков пехоты. Все войска Конфедерации в сборе. Моя итальянская армия в полном составе. Здесь весьма энергично производится рекрутский набор. При таком положении вещей я могу, если понадобится, вступить в Австрию в апреле месяце с силами вдвое большими того, сколько нужно для покорения ее. Тем не менее, я ничего не сделаю такого, что могло бы мало-мальски повредить моему согласию с Россией; но нельзя и думать о мире с Англией, пока мы не уверены в Австрии. Если бы, как я рассчитывал сделать это, у меня в настоящее время было 80.000 человек в Булони, 30000 в Флиссигене, 30000, в Тулоне, Англия очутилась бы в весьма незавидном положении.

В Флиссигене, Бресте и Тулоне у меня собраны огромные средства для высадки, и хотя мой флот уступает флоту Англии, но он не ничтожный. У меня на рейдах 60 вооруженных кораблей и столько же фрегатов. Если бы одна из этих экспедиций проскользнула в Индию или Ямайку, или бы обе эскадры соединились, они нанесли бы громадный вред Англии. Странные вооружения Австрии парализовали все эти средства. Вооружения Австрии равносильны тому, как если бы она заключила союзный договор с Англией; они создают даже более важную диверсию, чем война, ибо война была бы скоро окончена: они стоят дороже, ибо Австрии придется расплачиваться за все. Вот что вам следует внушить императору. Внушите ему, что я не отказываюсь ждать несколько месяцев, но, что было бы крайне несправедливо, если бы результат моего союза с Россией выразился бы в том, что парализовал бы мои средства и держал бы меня в разорительном, трудном и бесцельном положении. На что ссылается Австрия? Что ей угрожает? Разве угроза сделалась больше оттого, что я взял из Германии половину моих войск, чтобы двинуть их в Испанию, за 500 льё от нее, и оттого, что я удалил остаток моей армии из Силезии? В угоду России я отказался от этих гарантий против Австрии.

Чтобы идти заодно с Россией, я позволил Австрии возвысить тон. Пора кончить с этим. Наш союз делается достойным презрения в глазах Европы. Он не может доставить ей благодетельного спокойствия. И результаты, которые мы видим в Константинополе, столь же позорны, как и противны интересам наших подданных. Нужно, чтобы Австрия и на самом деле разоружилась: чтобы я мог в течение лета вернуть мои войска; чтобы я мог даже при неблагоприятных условиях спокойно отправить в море 25—30 000 человек, не боясь, что у меня в любой момент будет война на континенте. Необходимо, чтобы разоружение Австрии было не фиктивным, а действительным. Необходимо, чтобы Австрия отозвала из Константинополя своего интернунция и прекратила постыдную торговлю, которую она поддерживает с Англией. При этих условиях я не прочь гарантировать неприкосновенность Австрии против России и чтобы Россия гарантировала ей таковую против меня. Но если эти средства окажутся бесполезными, тогда нужно двинуться на нее, разоружить ее или разделить на три короны и возложить эти короны на главы трех принцев австрийского дома, или оставить ее неразделенной, но так, чтобы могла поставить под ружье только сто тысяч человек, и — приведя ее в такое положение — заставить ее действовать заодно с нами против Порты и против Англии. Моя брестская эскадра вышла в море; эскадры в Лориенте и Рошфорте также вышли в море, и вскоре я буду в состоянии сообщить вам о каком-нибудь морском деле. Если бы я не узнал в Испании о движениях Австрии и если бы мои войска не вынуждены были (слово пропущено) из Меца и Лиона, мои эскадры ушли бы с десантом в 20 000 человек.

Париж, 6 марта 1809 г.

Г. Коленкур, получил ваше письмо от 3 февраля. Подробности, сообщенные вами о представлении Шварценберга, доставили мне удовольствие. Знаменитое письмо к австрийскому императору, на которое жалуются, находится в руках Румянцева. Если вы не знаете еще его содержания, можете попросить Румянцева сообщить его вам. Что же касается моих слов, сказанных Винценту, они в том же роде, как и слова, сказанные мною в присутствии всего дипломатического корпуса Меттерниху. Может быть, Австрия искала оснований для своего поведения в басне «Волк и ягненок?» Было бы любопытно, если бы она сообщила мне, что я ягненок, а ей хотелось бы быть волком. Шампаньи отправил вам курьера, который доставит вам его разговор с Меттернихом. Вы постараетесь показать эту бумагу императору. Посылаю вам письмо из Дрездена, из которого вы узнаете, до какой степени встревожены все при саксонском дворе; то же самое происходит и при баварском. Вскоре после заявления Меттерниха я должен был отправить мои войска в Булонский лагерь, в Брест и Тулон. Они были уже в пути, но беззрассудные действия Австрии заставили меня отдать приказ остановить их на Саоне и Мерте. Со времени этого заявления всюду во Франции началось движение. 20 марта герцог Риволи будет в Ульме с 20 пехотными полками, с 10 полками кавалерии и 60 пушками. Генерал Удино с корпусом вдвое большим, чем в предыдущие кампании, т. е. 18 000 пехоты, 8 000 кавалерии и 40 пушек находится в Аугсбурге. Герцог Ауерштедский с 4 пехотными дивизиями, составленными из 20 полков, с дивизией, составленной из всех кирасирских полков и 15 полками легкой кавалерии, стоит в Бамберге, Байрейте и Вюрцбурге. Баварские войска составляют 3 дивизии и стоят в Мюнхене, Штраубингене и Ландсгуте: эта армия состоит из 40 000 человек и будет находиться под командой герцога Данцигского. Вюртембержцы собраны в Нересгейме; гессен-дармштатские войска в Мергентгейме; баденские, в числе 6 000 человек, в Форцгейме. Саксонская армия, состоящая из 30000 человек, собирается в Дрездене. Принц Понте-Корво отправляется туда же с саксонскими войсками, Вестфальский король будет командовать резервом, готовым двинуться туда, где он будет нужен. Князь Понятовский командует поляками, левое крыло которых опирается на Варшаву, а правое простирается до Кракова. Через несколько дней я отправлю из Парижа 1 500 человек конной гвардии и 3000 пехоты. Все остальное уже в пути. Головная колонна прошла уже Бордо. Моя далматинская армия станет на границах Кроации, имея свою главную квартиру в Зарах, где у нее укрепленный лагерь и провианта на один год. Итальянская армия, состоящая из 6 французских пехотных дивизий и 2 итальянских, будет собрана в конце марта в Фриуле. Он состоит приблизительно из 100 000 солдат. Австрийцы увидят, что нас не всех убили на славном поле сражения при Ронсе-

во. Все, что доходит из Вены — сплошное безумие. Рассчитываю, что император Александр сдержит свое обещание и двинет свои войска. Тогда, если Австрия захочет попытать счастья, я уверен, что мы сможем соединиться в Вене. Шампаньи отправит к вам завтра курьера, с которым вы получите ноту, которая будет передана Меттерниху: она познакомит вас с положением вопроса. Англичане опубликовали документы о переговорах и статьи эрфуртского договора. Все это урезано и подделано, что вынуждает меня сделать сообщение Сенату, дабы восстановить текст всех этих документов. Примите угрожающий и твердый тон с Шварценбергом. Настоящее положение вещей не может продолжаться. Я хочу мира с Австрией, но мира прочного и такого, какого я вправе требовать после того, как трижды спас независимость этого государства.

Я отправил брестский флот в море. Моей целью было снять блокаду с Лориента, чтобы выпустить оттуда пять кораблей, которые я посылаю в колонии. Эта первая операция удалась. После этого флот должен был отправиться в Рошфор, чтобы соединиться с эскадрой острова Э и захватить четыре английских корабля, которые имели глупость стать на якорь на рейде Пертью-Бретона. Но мой тупоумный контр-адмирал вздумал позабавиться охотой за четырьмя неприятельскими кораблями, которых встретил в пути, вследствие чего четыре корабля, стоявшие на якоре, вовремя были предупреждены и успели выйти в открытое море. Их не застали только на несколько часов; и если бы не эта потеря времени, их непременно захватили бы; соединение эскадр у острова Э состоялось; у меня там 16 линейных кораблей и 5 фрегатов. Если бы Булонский лагерь был сформирован, если бы у меня было 16 000 человек в Бресте и 30 000 в Тулоне, я задал бы ходу англичанам; а этого-то я и надеялся добиться моим союзом с Россией.

Вы, вероятно, прочли в Moniteure два письма венского газетчика редактору Gazette de Hambourg. На первый взгляд кажется, что эти письма не имеют значения; но кто захочет поразмыслить, поймет, что это способ вести переписку с Англией, а хвастливое указание на силы Австрийского дома— средство поддержать надежды против Франции. В письмах говорится о неблагоприятном направлении России, потому, что знают, что об этом не может быть иного мнения и потому, что, признавая без обиняков союз России с Францией, хотят убедить, что Австрия в состоянии выдерживать борьбу с обеими империями. Австрия должна совершенно разоружиться и удовольствоваться гарантиями со стороны России и Франции, как это предложил Румянцев. Что же касается провинций этой заранее побежденной монархии, я для себя ничего не хочу; мы сделаем из них то употребление, какое найдем нужным. Можно будет разделить Австрийскую империю на три составляющих ее короны, что будет одинаково выгодно Франции и России, так как эта операция, во-первых, ослабит значение угрожающей Польше, Венгрии, Богемское королевство уже с давних пор завидует Конфедеративным странам, а собственно Австрия оплакивает свое владычество над Италией. Что же касается боязни России, которую могли бы ей внушить по отношению ко мне, то разве мы не разобщены Пруссией, которой я вернул в целости крепости, которые мог бы срыть, и разве мы не разобщены также и австрийскими государствами? Когда эти государства сделаются отдельными величинами, нам можно будет уменьшить количество наших войск, заменить повсеместные наборы, которые ведут даже к вооружению женщин, небольшим количеством регулярных войск и, таким образом, изменить введенную покойным прусским королем систему больших армий. Казармы превратятся в дома призрения, а рекруты будут заниматься хлебопашеством. Пруссия уже делает это; нужно заставить Австрию сделать то же. Что же касается выполнения, я согласен на все; все равно, пожелает ли император Александр присоединиться ко мне в Дрездене во главе 40 000 человек, или же пойдет прямо на Вену с 60 или 80.000 человек. Во всех этих предположениях я беру на себя три четверти пути. Если дела дойдут до того, что вам нужно будет подписать что-нибудь относящееся к разделу трех государств, считайте себя уполномоченным на это. Если же после завоевания захотят гарантировать неприкосновенность монархии, я согласен и на это, лишь бы она была вполне разоружена. Я с доверием отнесся к Вене, я мог расчленить Австрию. Я поверил обещаниям императора; я думал, что полученный им урок подействует. Я думал, что он даст мне возможность всецело отдаться морской войне. Трехлетний опыт доказал, что я ошибся; что разум и политика

не могут побороть страстей и униженного самолюбия. Возможно, что австрийская Польша может дать повод к беспокойству в Петербурге, но она не может служить препятствием. Можно будет разделить ее между Россией и Саксонией или же создать независимое государство. — Декларация английского короля должна убедить императора Александра, что пока у английского короля будет надежда сеять смуту на континенте, морскому миру не бывать и, если Австрия не согласится разоружиться и будет терять время, то Англия выиграет во времени настолько, насколько Европа потеряет. Впрочем, месяц, два или три для меня не имеют значения: мои войска останутся в Германии до тех пор, пока мое соглашение с Россией не будет прочно установлено. — Теперь март. Можно вести переговоры до августа; но тогда необходимо, чтобы Австрия или сама решилась, или чтобы ее принудили к этому силой. Этого требует честь наших государств, это вменяют нам в обязанность интересы мира. За сим молю Бога и т. д.

Мальмезон, 21 марта 1809 г.

Г. Коленкур, получил ваше письмо от 28 февраля с приложенными к нему документами. Несколько курьеров Шампаньи должны были доставить вам краткое изложение разговора министра с Меттернихом и копию с ноты, которую он передал ему несколько дней спустя. Вот каково положение вещей в настоящее время. Австрия через Триест получила деньги. Эти деньги могли придти только из Англии. Австрия муссирует Турцию: она покрыла своими войсками Богемию, Инн, Каринтию и Карниолию. Нельзя допустить, чтобы император не знал через Вену о всех делаемых Австрией сумасбродствах. Шампаньи посылает нам на немецком языке копию с прокламации принца Карла, которая равносильна объявлению войны. Тем не менее, Меттерних, все еще говорит в мирном тоне и до сих пор не сделал еще декларации. Низшие агенты наводили справки в венском кабинете с целью узнать, не следует ли ввиду возможного объявления войны опасаться чего-либо для царствующего саксонского дома. Вместо того, чтобы дать ответ, что нет никакого повода к войне, поспешили уверить, что саксонскому королю и его семье нечего бояться и что к ним отнесутся с уважением. Вы видите, что с 28 февраля дела очень ухудшились. Румянцев, вероятно, давно уже приехал в Петербург. Он выскажет там мнение согласное с моим. Я и не думаю нападать; но при настоящих условиях, думаю, что необходимо принять меры, чтобы русские войска были двинуты и чтобы русский поверенный в делах в Вене был отозван в случае, если австрийцы перейдут свои границы. Необходимо, чтобы это приказание было известно Шварценбергу и чтобы оно было сообщено в Вену. Австрийское министерство уверено, что Россия ничего не предпримет и что в этой войне будет соблюдать нейтралитет даже тогда, когда объявит войну. Вы понимаете, насколько это будет противно чести России и гибельно для общего дела. — Вот мое военное положение: Саксонская армия собрана около Дрездена, и принц Понте-Корво, вероятно, уже поехал туда, чтобы принять над ней командование. Главная квартира герцога Ауерштедтского в Вюрцбурге, его армия занимает Байрейт, Нюренберг и Бамберг. Корпус Удино стоит на Лехе. Герцог Риволи расставил свой корпус вблизи Ульма. Вюртембержцы в Нерейсгейме. Баварцы в Мюнхене, Штраубинге и Ландсгуте. Инженерный генерал Шамбарльгак в Нассау, где он строит предмостное укрепление, чтобы обеспечить переправу через Инн. Идут работы над укреплением крепостей Куфштейн, Гронах и Форигейм. Поляки должны собраться под Варшавой и вдоль р. Пилицы. Склады наполняются отовсюду. Здесь не сделано еще официального сообщения, ничего дельного еще не издано, ибо хотят хранить молчание до последней минуты. Мнение Додюна, моего поверенного в делах в Вене, и большинства лиц, проживающих в этом городе то, что Австрия зашла слишком далеко и уже не в силах остановиться, и что, если война может быть избегнута, то только благодаря зрелищу грозных сил России, которые могут отнять у этих людей всякую возможность надежды на успех. Один австрийский генерал сел на корабль в Триесте и отправился в Лондон, чтобы условиться насчет операций. При таком положении дел нужно предвидеть два случая: 1-е, Австрия нападет — не следует составлять ноты; русский поверенный в делах должен уехать из Вены, а русские войска тотчас же вступят в Галицию и угрожать нападением на Венгрию, чтобы задержать часть сил на этой стороне. Если судить по своему разуму, то все заставляет думать, что Австрия, видя, какое количество фран-

цузских войск наводняет Германию и не ожидая, что они так быстро вернутся, нелегко решится перейти в нападение. Но следует предвидеть этот случай и послать инструкции русским и французским агентам в Вене. Мысль, что русское посольство тотчас же уедет, может быть, окажет сдерживающее действие на воинственное настроение господствующей партии. Второй случай тот, что в течение апреля и мая дела останутся в теперешнем состоянии, и что в это время можно будет вести переговоры. В таком случае нота, которую предлагает передать русский император, кажется мне подходящей. За сим молю Бога и т. д.

Париж, 24 марта 1809 г.

Г. Коленкур, курьер Шампаньи доставит вам известие о произведенном Австрией покушении. Вы, вероятно, видели уже прокламацию принца Карла. В Триесте, да и повсюду, все те же волнения. Всюду громкие призывы к войне. События идут скорее, чем думают в Петербурге. Вы не пишите, где находятся русские войска. Если Россия не выступит в поход, у меня одного будет на руках Австрия и даже босняки. Я достаточно говорил об этом Румянцеву. Для своей заносчивости англичане рассчитывали и на Австрию, и на Турцию, и на то, что мои войска заняты в Испании, а войска русского императора—в Финляндии и Турции. Наступило время доказать противное. — Я смотрю на Додюна, как на пленника в Вене; только вчера в 4 часа пополудни узнал я о задержании его курьера в Браунау. Я тотчас же приказал сказать Меттерниху, что у меня не (неразборчивое слово). Я не мог бы его видеть. Я приказал поступать так же с курьерами австрийцев, и задерживать их депеши, пока не будут возвращены мои. Я не ожидал такого непредвиденного покушения и не отправил еще ни моей гвардии, ни моего багажа. Но сегодня утром я поспешил отправить кавалерию и артиллерию моей гвардии и мои походные экипажи. Тем не менее в расположении моих войск не произошло никаких изменений. Я не хочу нападать, пока не получу от вас известий; но все заставляет меня думать, что Австрия нападет первая. Неужели результатом нашего союза будет то, что мне одному придется сражаться со всей Австрией и, кроме того, с несколькими тыся-

чами босняков? Неужели император захочет, чтобы его союз не имел никакого значения и не принес никакой пользы общему делу? Что же касается средств, то мне кажется, что у императора имеются свободные войска на границах Трансильвании , в Петербурге и около Галиции. Всякий план хорош, лишь бы занять часть австрийских войск. Несколько дней тому назад я писал об этом. Может быть, император пожелает прислать мне вспомогательный корпус? Я берусь кормить его. Пусть он прикажет ему перейти Вислу между Варшавой и Торном и пододвинет его к Дрездену. Может быть, он хочет вступить в Галицию или в Трансильванию? Пусть двинет войска, которые у него стоят там. Отчего бы ему не помешать сношениям с Австрией и не подвергнуть ее такому же тягостному положению, в каком находимся мы — Австрия и я? Такое намерение России могло бы напугать ее. — Нота императора кажется мне хорошей. Если он прикажет передать ее Шварценбергу, вы можете передать Шварценбергу подобную же ноту. Пусть Австрия разоружится, я удовольствуюсь этим; но она, как видно, решила начать войну. Прокламация принца Карла от 9 марта вышла на девятый день после приема Шварценберга. Получаемые мною известия из Англии приняли определенный характер: в Лондоне радость. Австрийские агенты уже взбунтовали несколько тирольских общин. Посланник Порты в Париже получил приказание вступить в сношения с австрийским посольством и писать через его посредство. В Петербурге — не меньше чем здесь — должно быть известно, какие разговоры ведет публика в Австрии. Повторяю еще раз — если что и может еще предупредить войну, в чем я начинаю сомневаться, ибо австрийцы совсем потеряли голову, то это: 1-е , что Россия отнесется к ним полувраждебно, т. е. двинет к границам Трансильвании и Галиции войска; и, если она хочет отдать один корпус на мое содержание, пусть пошлет его в герцогство Варшавское; — в таком случае настойте на том, чтобы он не проходил через Варшаву; 2-е, чтобы в петербургских журналах были помещены статьи о прокламациях принца Карла и о статьях Gazette de Pètersbourg относительно Турции; 3-е, чтобы в русских провинциях поприжали австрийцев и начали дурно обращаться с ними. Слух об этом распространится в монархии и покажет, что войны не желают. Если что-нибудь может помешать разрыву, то

только эти меры. Поверенные в делах России и Франции должны объявить, что получили приказание покинуть Вену, если Австрия сделает малейшее враждебное движение. Но, может быть, эти меры уже запоздали. Вы, конечно, понимаете, что я ничего не боюсь. Но после того, как я потерял союз с Турцией, после того, как из-за эрфуртского совещания я навлек на себя войну с Австрией, после того как мой тесный союз с Россией отвлек от французской партии принца Карла — явного врага русских, я и праве ожидать, что для блага этого союза и ради всеобщего спокойствия Россия будет действовать решительно. — Мои войска, стоящие в Италии, будут все выставлены к 1 апреля, и к тому же времени будут готовы войска, стоящие в Германии. Предоставляю вам самые широкие полномочия. Если император желает прислать мне 4 хороших дивизии, в общем 45—60 000 человек, пусть двинет их в поход, и в то же время доведет до сведения Австрии, что посылает мне эту помощь, так как она продолжает занимать угрожающее положение. Это наведет ужас на Австрию и Англию. Они увидят, что союз не фиктивный, а существует на самом деле. Если император хочет сам управлять своими войсками, у него все средства к этому. Пройдя через Галицию, он вскоре достигнет Ольмюца. Там его армия будет жить хорошо, запасется провиантом, совершит мощную диверсию и будет угрожать непосредственно самой Австрии, что вынудит ее двинуть в эту сторону 60.000 человек. Через Трансильванию он может угрожать Венгрии и не давать хода венгерскому восстанию. Если наш союз не вздор, мы сделаем все, чего захотим. Вы уполномочиваетесь подписать всякого рода договор или конвенцию, которые пожелали бы вам предложить. Если Галиция будет завоевана, император может оставить себе половину, а другую половину можно отдать герцогству Варшавскому. Я не хочу никакого увеличения. Я хочу только морского мира, а вооруженная Австрия служит препятствием к этому миру. — Словом, все имеет такой вид, как будто я в войне с Австрией, и это всем очевидно: подобная же внешность должна быть и между Россией и Австрией. Мои войска готовы выступить в поход; русские войска также должны быть готовы к выступлению.—Голос Румянцева в Вене не может привести ни к чему. Там с величайшим хладнокровием говорят, что русские заняты в Турции, Финляндии и Швеции, а что мои войска заняты в Испании и Корфу. На этих мечтах строят свои успехи; заблуждение, которое заставляет пожимать плечами мыслящих людей. Нам тоже нужно так действовать. Больше я ничего не могу сказать вам; вы столь же хорошо, как и я, понимаете положение вещей. Скажите Румянцеву, что вы уполномочены подписать ноту и передать ее вместе с ним. Я разделяю чувства императора и согласен на ноту, которую он хотел предоставить. Но ничего не подействует, если он не примет высокомерного и серьезного тона. Нельзя выразить, как все раздражены здесь задержанием курьера. За сим молю Бога и т. д.

Париж, 9 апреля 1809 г.

Г. Коленкур, только что получил ваши письма от 22 и 23 марта. Я крайне доволен тем, что вы сообщаете мне о намерениях России и, в особенности, Румянцева. Шампаньи отправляет к вам курьера, чтобы познакомить вас с положением дел. Австрийцы, предварительно собравшись в Богемии, вернулись в Зальцбург. Они отходят в настоящее время на Вельс. Они крайне удивлены силой моих армий, чего они вовсе не ожидали. Действительно, в Далмации ли, в Италии ли, на Рейне ли — всюду я выставлю против них 400.000 человек. Все готово. Принц Невшательский находится при главной квартире. Дарю, все — при армии. Мои лошади и часть моей гвардии прибыли два дня тому назад в Страсбург. Другая часть здесь или подходит из Испании. Я увеличил мою гвардию двумя полками стрелков и 4 полками рекрутов. Я уже писал вам в письме от 24 марта, что, если император пожелает прислать мне три или четыре дивизии, я беру на себя их прокорм и содержание с момента их перехода через Вислу, что, если он хочет действовать сам по себе, пусть двинет корпус на Галицию. Адъютант герцога Зюдерманландского приедет завтра в Париж. Через несколько дней пошлю вам нового курьера. Хочу дождаться известия о впечатлении, какое произвела в России революция в Швеции. Посылаю вам приказ, данный мною командиру русской эскадры в Тулоне.

Париж, 10 апреля 1809 г.[1]

Г. Коленкур, из передвижений австрийцев и из перехваченных мною писем видно, что они начнут враждебные действия самое позднее 15 или 20-го. Сегодня утром князь Куракин передал мне письмо императора. Получил от герцога Зюдерманландского письмо, которое показал Куракину. Подожду отвечать ему, пока не получу новых известий из России. Во всяком случае мой ответ будет неопределенного характера. Шампаньи пишет вам подробнее. Если император не поспешит вступить в враждебную страну, он не принесет никакой пользы. Его генералы будут предупреждены о времени начала враждебных действий, хотя, думаю, вы еще раньше узнаете об этом через русского поверенного в делах в Вене. Из перехваченных писем видно, что австрийский император отправляется сам в главную квартиру, вероятно, в Зальцбург.

II

ВОЗИЛ ЛИ НАПОЛЕОН В РОССИЮ ИМПЕРАТОРСКИЕ РЕГАЛИИ?

В крайне редкой брошюре под названием: Petites causes et grand effeis, le secret de 1812 г. Сюдр передает следующий факт со слов участвовавшего в русском походе г. Дестютта де Траси. Во время похода на Москву, между Вильной и Витебском, г. де Траси, заметил среди транспорта с багажом фургон с императорскими гербами, охраняемый кавалерийским пикетом. Командующий этим отрядом офицер объяснил ему, что в фургоне находятся императорские регалии; что ему проговорился об этом один младший чин. Позднее г. де Траси узнал от одного из членов императорской фамилии причину перевозки этих регалий. После победоносного мира Наполеон хотел короноваться в Москве и принять титул императора Запада, главы европейской Конфедерации, защитника христианской веры. (Cf. le Supplément littéruire du Figaro, 4 mai 1895) В Ferue retrospecire. (№ от 10 мая 1895 г.) виконт Груши опубликовал несколько выдержек из Mémoire du comte de Langeron, который, состоя на службе России, сделал

[1] С этого письма кончается непосредственная переписка Наполеона с его посланником в России.

поход 1812 г. В рассказе об отступлении находится следующая фраза: «В пяти верстах от Вильны, по ковенской дороге, французы бросили свои последние экипажи — среди других и экипажи Наполеона. В них нашли его портфели, ордена, скипетр и императорскую мантию, в которую, как говорят, закутался казак». (Cf. le Supplément littéraire du Figaro, 11 mai 1895).

К этим показаниям мы можем добавить еще одно. 6 апреля 1812 г., говоря о Наполеоне и желая еще боше подтвердить его доходившее до безрассудства честолюбие, Бернадот сказал русскому послу Сухтелену: «Он приказал привезти в Германию принадлежности для коронации, вероятно, чтобы короноваться императором». (Recrele de la Societe imperiale d histoire de Russie, XXI, 438). В Париже у Бернадота были корреспонденты, между прочим, его жена, которые довольно точно извещали его о выдающихся событиях и, в особенности, о ходивших по городу слухах.

Из всех трех показаний ни одно само по себе не доказательно; но сходство их придает им значение и наводит на размышления. Однако в книгах парижского архиепископа, в котором хранились императорские регалии, именно те, которые были употреблены при короновании, нет никакой пометки о перемещении этих регалий в 1812 г. Как известно, регалии состояли из короны золотого лавра, которую Наполеон возложил на свою главу, скипетра с рукою правосудия, мантии из пурпурового бархата, подбитой горностаем и усеянной пчелами, колье, кольца и, кроме того, из того, что называлось les honneurs de charle — magne, т. е. корона, подобная той, какая, по преданию, приписывалась Карлу Великому и которая употреблялась при короновании французских королей; шпага того же стиля и императорская держава. Последние предметы неслись маршалами впереди императора. Корона Карла Великого находилась во времена второй империи в королевском музее вместе с несколькими принадлежностями исподней одежды, которые были надеты на Наполеона во время церемонии коронования. Что же касается мантии, будто бы взятой казаком, то она теперь хранится в сокровищнице церкви Notre-Dame. Сверх того, в полностью сохранившихся императорских счетах не указано, чтобы регалии были изготовлены в двух экземплярах, или чтобы какая-нибудь из них была восстановлена после 1812 г., хотя в 1813 г. Наполеон поднимал вопрос о ко-

ронований Марии-Луизы, что поставило бы в необходимость иметь эти регалии налицо. При этих условиях мы не можем считать доказанным факт перевозки регалий в Россию. Тем не менее достоверно, что слух об этом ходил в известных близко стоявших ко двору кругах, как это доказывают разговоры, слышанные де Траси и Бернадотом.

III

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГРАФА НЕССЕЛЬРОДЕ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I-му. (ОКТЯБРЬ 1811 г.)[1]

Государь, приступая по приказанию Вашего Величества к изложению мыслей, которые я имел честь представить вам в воскресенье, думаю, что было бы бесполезно подробно перечислять события, которые привели нас к тому положению, в каком находятся в настоящее время наши отношения к Франции. Достаточно сказать, что они уже не таковы, какими были после Тильзита и Эрфурта, и что уже с начала сего года между обоими государствами создалось поистине натянутое положение, которое с минуты на минуту заставляет предусматривать возможность войны. Эта перемена отношений побудила Ваше Величество собрать и организовать значительные средства обороны. Ваши армии сильнее, чем когда-либо; они ограждают вашу империю от неожиданного нападения, а так как в ваши планы не входит мысль о нападении даже с чисто оборонительной целью, то цель нашей политики тем самым была бы уже не достигнута, если бы это положение не обострилось вследствие отказа обсуждать интересы Ольденбургского дома, каковой отказ возбудил в императоре Наполеоне чрезмерное беспокойство и заставил его подозревать задние мысли. Поэтому это положение может сделаться если не причиной, то предлогом к войне, которой Ваше Величество желает, насколько возможно, избегнуть, однако, не принося жертв, несовместимых с достоинством Вашего Величества и интересами вашей империи. Это желание основано на бесспорных данных, но, если бы таковых и не было, все-таки, смотря на дело с широкой точки зрения, всякая война, предпринятая при настоящих обстоятельствах, не обещает надежды на успех.

[1] Archives de Saint-Pétersbourg.

Действительно, более чем доказано, что крушение старой политической системы — все печальные перевороты, свидетелями коих мы были, все зародившиеся и укоренившиеся перед нашими взорами ужас наводящие нововведения, все испытываемые нами притеснения и предстоящие всевозможные перевороты, которые заставляют нас дрожать за будущее — все это является результатом тех одиночных, спешно начатых и плохо задуманных войн, в которые с 1792 г., а главное, с 1805 г. великие державы бросались одна за другой, правда, в силу крайне справедливых и достойных похвалы причин, но со столь плохо рассчитанными средствами, что они не могли обеспечить за ними не только успеха, но даже гарантировать их от непоправимых неудач. К этой же категории пришлось бы, к несчастью, причислить и нашу войну, если бы мы пожелали предпринять ее теперь. Но, судя по всему, что было, судя по определенным заявлениям императора Наполеона в разговоре 15 августа, мы можем льстить себя надеждой избегнуть ее при условии принятия предлагаемых нам переговоров. Продолжать же отказываться от них — значило бы доставить ему возможность свалить на нас ответственность за войну, и, в некотором роде, дать ему право приступить к приготовлениям к войне с нами. Его приготовления потребовали бы усиления и наших. Кризис с каждым днем начал бы принимать все более тревожный характер, и, в конце концов, единственным средством выйти из него сделалась бы война. Истинная цель переговоров должна состоять в том, чтобы выяснить, искренно ли высказываемое императором Наполеоном желание придти к соглашению, не выдвигает ли он таковое при всяком удобном случае только потому, что убежден, что мы отринем его, или же он думает, что время для приведения в исполнение враждебных нам планов, существование коих у него, к несчастью, более чем подтверждается неопровержимыми данными, еще не приспело. При последнем предположении можно было бы воспользоваться настоящим положением вещей, чтобы достигнуть соглашения, сущность и характер которого способствовали бы улучшению нашего теперешнего положения и обеспечению нам на некоторое время спокойствия, которое, если им мудро вос-

пользоваться, могло бы подготовить гораздо более прочные выгоды, чем какое-нибудь выигранное в настоящее время у французов сражение. Ради этого следовало бы, не колеблясь и вполне доброжелательно воспользоваться предлагаемым нам средством кончить настоящие споры и как можно скорее послать в Париж такого человека, который был бы пригоден для ведения столь важного дела, который пользовался бы доверием Вашего Величества, и, зная в совершенстве ваши измерения, был бы формально уполномочен заключать все, что согласуется с ними, и в то же время мог бы вступить с императором Наполеоном в откровенные и точные объяснения вроде тех, какие давал ему до сих пор только герцог Виченцы, но которые не произвели особого впечатления потому, что император Наполеон не находит нужным смотреть на них, как на имеющие официальный характер. Достойно сожаления, что этот шаг не был предпринят еще весной, когда неудачи, истощившие французские войска в Испании, сделали бы императора Наполеона более уступчивым относительно условий подобного соглашения. Впрочем, блестящие победы генерала Кутузова в Турции исправили в настоящее время этот недочет, и, если, как надо надеяться, результатом этих побед будет почетный и умеренный мир, возможно, что настоящий момент еще более благоприятен. Всякий сделанный после этого мира миролюбивый шаг непременно произведет хорошее впечатление и разрушит поддерживаемые во Франции опасения, что мы ждем только этого результата, чтобы начать войну.

Главные предметы, подлежащие обсуждению во время этих переговоров, суть:

1. Интересы герцогов Ольденбургских;

2. Уменьшение боевых сил России и Франции на границе;

3. Положение герцогства Варшавского — теперешнее и в будущем;

4. Положение Пруссии — теперешнее и в будущем;

5. Торговые сношения России.

1. На первом месте я ставлю ольденбургские дела не потому, чтобы этот вопрос имел большое значение по сравнению с остальными, а потому, что он единственный, который выдвигался до сего времени как предлог к неудовольствию французским правительством, и потому, что достоинство Вашего Величества требует, чтобы нам было дано удовлетворение за обиду, нанесенную принцам, родственникам вашего дома. Но так как мы не могли и не хотели протестовать против деяний, в которые, между прочим, входил и захват территории этих принцев, и так как без счастливой войны с Францией мы не можем надеяться заставить ее восстановить в прежнем виде Ольденбургское герцогство, то нам остается только одно — принять принцип вознаграждения. Но выбор такового труден. Эрфурта или всякой другой расположенной между государствеми Рейнской Конфедерации территории было бы недостаточно, и, сверх того, она постоянно была бы под страхом подвергнуться одинаковой с герцогством Ольденбургским участи. К тому же Франция ничего не имеет в своем распоряжении, а Ваше Величество держится слишком либеральной политики, чтобы желать, чтобы Франция обобрала кого бы то ни было. Поэтому единственный способ устроить это дело был бы обмен наших прав на Ольденбург, передачи которых желает Наполеон, на такие уступки, которые доказали бы, что он действительно хочет мира — одним словом, на те сделки, какие будут изложены ниже.

2. Уменьшение боевых сил России и Франции на границе.

Я далек от мысли ослабить в каком бы то ни было отношении наше военное положение или желать прекращения мудрых работ, предписанных для создания новой системы укреплений! Но отведя от наших границ часть наших войск, мы всегда имели бы возможность расставить их эшелонами на позициях, где они могли бы быстро сосредоточиться и придти вовремя на угрожаемое место всякий раз, когда распоряжения Франции укажут нам на близость нападения, на действительную опасность. Следовательно, если установить полную взаимность мероприятий, мы дадим мало, а выиграем много, ибо, если император Наполеон твердо намерен прекратить настоящий кризис, он не может отказаться:

1. От сокращения наличного состава гарнизона Данцига, причем в одной из статей будет точно определен его минимум[1];

2. От обязательства не посылать французских войск в герцогство Варшавское.

Если бы можно было прибавить третью статью, по

---

[1] Максимум? (Прим. перев.).

которой армия герцогства была бы ограничена более отвечающим денежным средствам этого государства количеством войск, это, без сомнения, было бы выгодно. Мне кажется, попытка достигнуть этого не представит никаких неудобств.

3. Я никогда не придавал большого значения ни формальному заявлению, ни договору, по которому император Наполеон раз навсегда обязался бы отказаться от того, что называется восстановлением Польши, ибо, пока мы будем жить с ним в мире, он не будет об этом думать, если же будет война, никакая конвенция не помешает ему сделать это. Но, так как он во многих случаях высказывался по поводу этого весьма определенно, можно было бы воспользоваться его словами, чтобы включить в договор статью, содержащую эту декларацию, конечно, при условии, что она не будет сочтена за большее, чем она стоит, и что она не послужит предлогом к большей уступчивости по другим, более важным вопросам, ибо единственной выгодой, какая отсюда может воспоследовать, может быть только впечатление, какое эта статья произведет на умы поляков.

4. Гораздо большее значение я придаю статье, по которой на некоторое время могло бы быть обеспечено политическое существование Пруссии; более того, я считаю эту статью главным предметом соглашения. Ваше Величество не может отнестись безразлично к судьбе государства, на которое, невзирая на теперешнее его слабое состояние, следует смотреть или как на авангард сил, с которыми Наполеон рано или поздно обрушится на Россию, или как на таковой же России, который она противопоставит его планам. Так как истинная цель соглашения, о каковой цели нужно было бы громогласно объявить перед лицом Франции — есть поддержание всеобщего спокойствия, то всякое по этому поводу постановление будет бесплодно и безрезультатно, доколе прусская территория не будет свободна. Франция заявила, что всякое с нашей стороны вторжение в герцогство Варшавское повлечет за собой войну. Отчего бы и нам не ответить, что всякое с ее стороны нападение на Пруссию, всякая посылка войск в эту страну сверх нормы, установленной договорами для гарнизонов крепостей по р. Одеру, равносильны объявлению войны? К тому же, от Франции требовалось бы только добросовестное выполнение обязательств, принятых ею на себя по отношению к Пруссии в 1808 г., притом менее выгодных для этой страны, чем обязательства, включенные в тильзитский договор. Она должна была бы дать нам обязательство очищать крепости на Одере по мере того, как прусское правительство будет уплачивать оставшуюся за ним контрибуцию, а так как половина таковой уже уплачена, то Глогау следовало бы уже теперь возвратить Пруссии. Чтобы облегчить Пруссии возможность расплатиться с Францией, может быть, можно было бы воспользоваться статьей тильзитского договора, по которой выговаривается в пользу Пруссии уступка в триста тысяч душ, в случае, если Ганновер не будет возвращен Англии. Между тем, Франция распорядилась этой страной и я не понимаю, зачем прощать ей нарушение этой статьи — ей, которая никогда ничего не прощает. Вообще, всякий способ отнять у Наполеона повод занимать долее крепости на Одере хорош, и должен быть проведен с полной энергией. Только при условии, что на прусской территории не будет больше французских войск. Пруссия при всяких обстоятельствах будет иметь возможность принять решение, отвечающее ее истинным интересам, а так как этим она будет обязана нам, то нужно надеяться, что она последует тому направлению, на которое ей уже теперь указывает настроение ее народа, а, главным образом, ее армии.

5. Торговые сношения России.

Ваше Величество отказал уже Наполеону в его последних настояниях, как относительно новых, более распространительных мер так называемой континентальной системы, так и в принятии трианонского тарифа[1], и в изгнании нейтральных кораблей. Вам не следует уступать ни по одному из этих вопросов. Этот отказ, как и все, что может отличить Россию от толпы слабых союзников, слепо повинующихся произволу и капризам Франции, хорошо обдуман и делает ей честь, и лучше разрыв и, быть может, даже война, чем несколько статей, которые лишат нас возможности держаться системы, которой мы следовали в нынешнем году по отношению к торговле!

Вот начала, на которых должны быть установлены переговоры и должно быть основано вытекающее из оных соглашение. Но если и допустить, что соглашение

---

[1] Тариф, в силу которого колониальные товары облагались пошлиной до 50% их стоимости.

состоится наиудовлетворительнейшим образом, остается еще один капитальный пункт, который следует рассматривать почти как краеугольный камень: следует, чтобы Австрия была приглашена гарантировать соглашение.

Император Наполеон, сам когда-то предлагавший эту гарантию[1], не имеет основания отклонить ее. У венского же двора не может быть весьма веских причин согласиться на нее; ибо отсюда и для него, и для нас проистекли бы крупные выгоды.

Россия и Австрия, т. е. две единственные континентальные державы, единение которых в настоящее время могло бы еще оказать существенный противовес непомерному могуществу Франции, впервые после шести лет были бы связаны не только общими интересами, которые никогда не переставали существовать, но и надежными и открыто признанными узами. Во всем кругу политических отношений нет предмета, по которому бы правильно понимаемые интересы обоих государств не были бы в полном согласии. Я не исключаю отсюда даже турецких дел, ибо, хотя относительно этого единственного пункта и может возникнуть между Россией и Австрией несходство во взглядах, которое прибавляет ко всем другим соображениям столь важный повод желать скорой развязки войны с Турцией, я, тем не менее, убежден, что при нынешних обстоятельствах истинный государственный человек в России скорее согласится пожертвовать крупной территориальной выгодой, чем вызвать неудовольствие Австрии, равно как и в Австрии истинный государственный человек скорее согласится, примириться с последствиями при обычных условиях, не отвечающими его политической системе, чем разойтись с Россией или быть простым зрителем при нанесении ущерба ее достоинству заключением мира на основах, слишком далеко расходящихся с теми, о которых говорилось до сего времени. Этот мир представил бы необъятные выгоды: он устранил бы между Россией и Австрией все существующие поводы к зависти, тогда как статья о гарантии в договоре, заключенном с Францией, узаконила бы, так сказать, между ними доверительные и непрерывные сношения, приучила бы оба двора думать и действовать относительно всех существенных интересов Европы в одном и том же духе, и сделалась бы зародышем формального союза, задачей которого было бы установить как меры, которые пришлось бы принять против возможных посягательств Франции на гарантированное соглашение, так и помощь, которую следовало бы взаимно оказывать друг другу. Я смотрю на соглашение России с Австрией, как на единственное, остающееся после стольких крушений, средство спасения. Если, считая с сегодняшнего дня, через известный промежуток времени, оно не будет установлено на твердых началах, и если Австрии не удастся восстановить свои финансы и свою армию так, чтобы соглашение не было бессильным и, следовательно, бесполезным, тогда рушатся наши последние надежды и все погибнет безвозвратно. Самое роковое следствие преждевременного разрыва между Францией и Россией будет заключаться в том, что таковое соглашение сделается невозможным; величайшее же благодеяние мирного соглашения с Францией будет состоять в том, что оно даст возможность подготовить союз с Австрией и будет ему благоприятствовать.

За время более или менее устойчивого мира, который последует за указанным соглашением, Россия и Австрия будут иметь время заняться своими внутренними делами, приведением в порядок своих финансов и армий. Их союз и взаимное доверие облегчат эти дела. В самых опасных обстоятельствах много значит знать, что все планы, все поступки, все усилия соседа направлены к общей цели, что можно рассчитывать на его преданность, не бояться диверсии на наших флангах и быть глубоко уверенным, что успехи обоих государств в деле восстановления их сил могут возбудить беспокойство только в том, на кого они в глубине души смотрят, как на своего единственного врага.

Если во время этого мира император Наполеон задумает какой-нибудь новый захват, Россия и Австрия найдут в акте о гарантии законный предлог воспротивиться этому. Тот день, когда оба государства в первый раз дерзнут высказать одни и те же принципы и заговорят с французским правительством одним и тем же языком, будет днем, в который возродится из пепла свобода Европы. Этот день будет предвестником воскрешения политического равновесия, без которого, что бы ни делали, достоинство государей, самостоятельность государств и благосостояние народов будет только грустным воспоминанием.

[1] Без сомнения, намек на взаимные гарантии, которые Наполеон предлагал установить в 1809 г. между Францией, Россией и Австрией.

Таким образом, от одной хорошо рассчитанной меры получится целый ряд выгод, и Ваше Величество, отвратив грозу, увидит плоды своей мудрой политики — зачатки истинного мира, которого — если он только совместим с существованием императора Наполеона — при том жалком положении, в каком находятся все государства, как в моральном отношении, так и в отношении их материальных средств, можно добиться только этим путем.

Может быть, возразят, что все эти прекрасные мечты — ибо они зиждутся только на добросовестном отношении французского правительства — испарятся в тот момент, когда окажется, что, предлагая начать переговоры, оно хотело только замаскировать свою игру, выиграть время или поставить нам западню. Но даже в таком случае нашей отзывчивостью на его миролюбивые демонстрации мы ничего не теряем. В виду того, что война не была объявлена весной, всякая отсрочка послужит нам только на пользу. Настоящий момент, несмотря на все, что можно сказать относительно войны в Испании, был бы самым роковым, какой мы могли бы избрать. Старинное правило, что все, чего хочет избегнуть наш противник, уже в силу этого служит нам на пользу, недопустимо без ограничений. Мой противник может иметь весьма серьезные причины не желать того, что в конечном результате целиком обратится в его пользу. Думаю, что нет надобности распространяться по этому поводу, так как, мне кажется, что мысли Вашего Величества о пользе избегнуть войны, как и о средствах достигнуть этого, уже вполне установлены. На мысли, которые я имел смелость представить вам, вы возразили, что, если кончить теперешнюю распрю соглашением, то исчезнет и та обида, которую Франция нанесла нам, присоединив к себе Ольденбург, а что вы желали бы оставить за собой право воспользоваться ею для открытия своих гаваней в тот момент, когда император Наполеон не будет в состоянии вести с нами войну только из-за этой причины. Думаю, что в этом отношении Ваше Величество может положиться на всем известный характер императора; ибо, наверное, император не замедлит дать вам новые поводы к жалобам и упрекам. К тому же ваши обязательства с ним не вечны, и если в течение еще некоторого времени они не окажут на Англию воздействия, которого он тщетно надеется при помощи их добиться, Ваше Величество всегда будет вправе заявить Франции, что не может долее жертвовать интересами своей империи ради идеи, нелепость которой доказал шестилетний опыт. Никто не усмотрит в этом заявлении нарушения договоров, и если к тому времени нам удастся упрочить нашу оборону и довести ее до тех размеров и усовершенствований, которые она должна иметь при жизни Наполеона, я даже сомневаюсь, чтобы ваше заявление могло вызвать войну.

СОДЕРЖАНИЕ

Альберт Вандаль

НАПОЛЕОН И АЛЕКСАНДР I

том IV

РАЗРЫВ ФРАНКО-РУССКОГО СОЮЗА

Ответственный за выпуск
ТАРАСОВА М. Ф.

Художник
ЦАРЁВ С. А